

Славянский АЛЬМАНАХ



2003

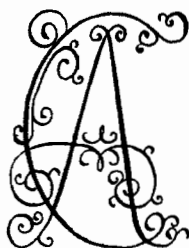
Министерство культуры и массовых коммуникаций
Российской Федерации

Российская академия наук

Институт славяноведения

СЛАВЯНСКИЙ АЛЬМАНАХ

2003



ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИНДРИК»
Москва 2004

УДК 94(367)
ББК 63.3(4)
С47

Редколлегия:

Т. И. Вендина, профессор

В. К. Волков, чл.-корр. РАН, профессор, директор Института славяноведения РАН

М. А. Робинсон, заведующий Научным центром «Россия и славянские народы» Института славяноведения РАН (отв. редактор)

В. А. Хорев, профессор

Уч. секретарь — *Е. П. Аксенова*

Славянский альманах 2003. — М.: Индрик, 2004. — 560 с.
ISBN 5-85759-257-7

Восьмой выпуск альманаха предлагает вниманию читателей материалы научной конференции, прошедшей в 2003 г. в Воронеже, а также Круглых столов и симпозиумов, проводившихся в Воронеже и Москве. Содержание разделов альманаха составляют статьи по актуальным проблемам истории, литературы, культуры и языка славянских народов от эпохи Средневековья до современности. Книга рассчитана как на специалистов, так и на широкий круг читателей.

ISBN 5-85759-257-7

© Институт славяноведения РАН, 2004
© Коллектив авторов, 2004
© Издательство «Индрик», 2004

От редколлегии

Ежегодно в России 24 мая отмечается разнообразными мероприятиями День славянской письменности и культуры. К этому национальному празднику приурочено и проведение ежегодной научной конференции «Славянский мир: общность и многообразие» и соответствующих ей Круглых столов и симпозиумов.

В 1996–2002 гг. такие конференции проводились в Костроме, Орле, Ярославле, Пскове, Рязани, Калуге и Новосибирске. Их материалы составили содержание семи выпусков «Славянского альманаха», который, являясь ежегодником, выходит в свет в мае к очередной конференции. Восьмой выпуск альманаха предлагает вниманию читателей материалы научной конференции, прошедшей в 2003 г. в Воронеже, Круглых столов и симпозиумов, проводившихся в Воронеже и Москве. В альманахе помещены также материалы близкие по проблематике к проводившейся конференции.

Альманах имеет сложившуюся структуру, которая состоит из семи разделов: «Пленарное заседание», «История», «История культуры», «Языкознание», «Публикации», «Рецензии», «Хроника». Содержание разделов альманаха составляют материалы по актуальным проблемам истории, литературы, культуры и языка славянских народов.

Мы полагаем, что ежегодное издание «Славянского альманаха» будет способствовать дальнейшему изучению и распространению знаний о славянском мире.

Место славяноведения в системе гуманитарных знаний

Поставленная в заголовке проблема сразу же вызывает каскад вопросов: как очертить границы гуманитарных знаний, какую роль играют гуманитарные знания в культуре того или иного народа, как, наконец, культура отдельного народа соотносится с конкретной цивилизацией, к которой он принадлежит? Каждый из этих вопросов содержит понятия, имеющие десятки, а то и сотни определений в науке, и каждое из них зачастую не совпадает с распространенными в быту и общественном сознании представлениями. Чтобы разобраться в поставленной проблеме, следует установить систему координат каждого из употребляемых понятий и определить, что мы подразумеваем под каждым из них, рассмотреть их в иерархической последовательности. Начнем с самых широких категорий. И первой из них будет «цивилизация».

Понятие «цивилизация» вошло в науку в середине XVIII в. в тройном ряду антагонистических определений «дикость — варварство — цивилизация» во Франции и Англии¹. В XIX в. оно было использовано американским исследователем первобытного общества Л. Г. Морганом, а от него перенято Ф. Энгельсом в труде «Происхождение семьи, частной собственности и государства» и легло в основу марксистского учения об общественно-экономических формациях. В этом качестве оно получило широчайшее распространение в нашей стране, удерживавшееся до конца существования коммунистического режима. Под ним подразумевалась определенная степень развитости общественно-политических отношений, причем социализм рассматривался как отдельная и высшая форма цивилизации. Для марксистской литературы характерно смешение понятий «цивилизация» и «культура», которые считали синонимами. Именно так трактует вопрос «Советская историческая энциклопедия»². Такая путаница до сих пор в ходу. Наиболее часто с ней приходится сталкиваться в работах о русской культуре, трактуемой как «русская цивилизация»³.

Между тем развитие науки уже давно подходило к другому пониманию цивилизации как конкретного культурно-исторического типа, характерного для группы государств (или народов) и обладающего рядом черт, свойственных только им⁴. Такое толкование получило широкое распространение уже после Первой мировой войны, особенно после выхода в свет трудов О. Шпенглера⁵ и А. Тойнби⁶. Выражение «мировая цивилизация» до сих пор остается

научной абстракцией, несмотря на бурное развитие процессов глобализации и новых информационных технологий, давших основание говорить о новой эпохе в жизни всего человечества. Реально на земном шаре сосуществуют несколько крупных цивилизаций, причем их число продолжает оставаться спорным вопросом. Интерес к этим проблемам был подстегнут провокативными прогнозами о возможном «столкновении цивилизаций»⁷, которые не получили широкой поддержки или практического подтверждения⁸. Но они дали толчок развитию цивилизационных исследований, в частности в России, где в 90-х гг. появились многочисленные труды по этой проблематике⁹. При этом наблюдается решительный переход от определения понятия к выработке концепции, к раскрытию структурообразующих факторов цивилизаций, критериев их вычленения.

Одно перечисление цивилизационных механизмов впечатляет как их числом, так и значимостью. Сюда принято относить социально-экономические и политико-правовые институты данного общества, государственное устройство, этнические связи и взаимоотношения, менталитет отдельных народов, религию и выработанные длительной практикой этические нормы и формы поведения. В этих рамках культура представляется как один из важнейших интегрирующих механизмов цивилизации, во многом определяющих ее специфику и своеобразие. Современные представления очерчивают конкретную цивилизацию как сложную социокультурную систему, охватывающую как материальные, так и духовные стороны существования общества.

Не менее сложно обстоит дело с определением культуры. Число ее дефиниций зашкаливает за несколько сотен¹⁰. В качестве базового возьмем определение культуры как сферы духовного производства общества. Входящие сюда компоненты чрезвычайно многообразны. Помимо религиозных верований, моральных и этических норм, искусства во всех его видах и проявлениях, форм проявления этнического самосознания и национальных «картин мира», сюда в последние столетия начала властно вторгаться наука. В наше время наука превратилась в решающую производительную силу общества, изменила цели и перспективы существования человечества, заставила его задуматься над общностью будущей судьбы. И если естественные науки развиваются у различных народов и в рамках различных цивилизаций по единому пути, то иначе обстоит дело с науками гуманитарными. Именно гуманитарные знания по-прежнему отличают одну цивилизацию от другой, лежат в основе различия их культур, особенно если учесть, что каждая культура формирует особый тип человеческой личности. А человек и является главным носителем культуры.

Если обратиться к различным цивилизациям, то можно констатировать, что область гуманитарного знания в них различается как содержательно, так и по форме. Человек европейской цивилизации воспринимает мир и действительность совсем не так, как, скажем, человек китайской, индийской или мусульманской цивилизации. У них разное историческое прошлое и накопленное культурное наследие. У них разные области интересов, разные представления о системе ценностей, разные источники гуманитарного знания, разные формы искусства, разные нормы поведения и культура быта, всего уклада жизни. К области гуманитарного знания следует также отнести народные предания и легенды, то, что мы называем «семейной историей», а также бытовые механизмы их ретрансляции последующим поколениям. И эти особенности сохраняются, надо полагать, до тех пор, пока существуют различные национальности. Иной перспективы не прогнозируют даже самые радикальные аналитики.

Совершенно очевидно, что гуманитарные науки в странах, обладающих их достаточно развитым комплексом, уделяют различное внимание отдельным гуманитарным дисциплинам и областям гуманитарного знания, хотя основное внимание, как правило, уделяется тем из них, которые можно отнести к разряду собственного страноведения. Несмотря на то, что трудно провести границу между гуманитарными и обществоведческими дисциплинами (эта граница всегда спорна и на протяжении обозримого времени не раз менялась), все же гуманитарные дисциплины ближе к тому определению культуры, которое видит в ней сферу духовного творчества человека. Ядром гуманитарных знаний является историко-филологический комплекс. Именно он лежит в основе славяноведения как особой исследовательской сферы комплексного характера.

Опираясь на очерченный выше понятийный аппарат, можно приступить к рассмотрению вопроса о месте славяноведения в мировой науке (в числе ее гуманитарных дисциплин), причем как в странах, относящихся к европейской цивилизации, так и в самих славянских странах. Очевидно, что различия здесь будут весьма значительными.

Славяноведение, зародившееся как академическое направление исследований (первоначально преимущественно в самих славянских странах) в конце XVIII — начале XIX вв. одновременно со становлением большинства других современных гуманитарных дисциплин, быстро развивалось и распространялось и заняло видное место в мировой науке с конца XIX — начала XX в. Тогда же встал вопрос о проведении международных конгрессов славистов, инициатором которого стала Российская Академия наук¹¹, признанный лидер славистических исследований (это свое место она сохраняет

и ныне). Однако вследствие войн и революций в начале XX в. первый международный конгресс смог состояться только в 1929 г. в Праге¹². Российское (советское) славяноведение переживало тогда трудный период¹³. Особого развития славяноведение достигло во второй половине XX в., когда все славянские страны составляли ядро мировой социалистической системы и, соответственно, одного из полюсов двухполюсного устройства мира. Естественно, что интерес к славяноведению во всем мире подогревался тогда политическими соображениями, а славяноведение зачастую переплеталось с так называемой советологией, которая была как бы своеобразным дополнением к нему. Эти особенности отпали после крушения коммунистических режимов в 1989–1991 гг. Однако интерес к славяноведению продолжает оставаться на высоком уровне. Последние международные конгрессы славистов (в 1993 г. в Братиславе, в 1998 г. в Кракове, в августе 2003 г. в Любляне) собирали до тысячи исследователей из нескольких десятков стран.

В мировой науке (в неславянских странах) славянский мир, т. е. совокупность всех славянских народов, рассматривается как единое целое. Однако преимущественное внимание уделяется России как наиболее крупной славянской стране и русским как самому многочисленному славянскому народу: русские составляют примерно половину всего славянства, а на долю восточного славянства, т. е. русских, белорусов и украинцев, приходится две трети численности славян. В мировой науке существуют и некоторые региональные особенности в подходе к славистике. Если для стран европейской цивилизации характерно считать славистикой главным образом ее филологические составляющие, а исторические компоненты изучать отдельно, то для азиатских стран характерно преимущественное внимание к истории и политологическим исследованиям. В период после Второй мировой войны там были созданы сильные славистические центры. Так, в Японии в 1955 г. был основан Славистический Центр на о. Хоккайдо¹⁴. Для японской науки славяноведение представляется изучением одного из регионов мира, охватывавшим первоначально всю Восточную Европу и Советский Союз. После 1991 г. к этому региону применяется новое название — «славянский евразийский мир». Однако интенсивность его изучения не снижается, при этом России как непосредственному соседу уделяется основное внимание. Этот регион изучается также другими научными центрами в Японии. Одновременно ведется преподавание славистики в университетах Токио, Киото и других городов.

Близким, по сути, является подход к славяноведению и в Китае. Здесь в рамках Академии общественных наук (она объединяет в стране все дисциплины общественного профиля и гуманитарных наук, в отличие от Академии естественных наук) функционирует

сильный Институт Восточной Европы, России и Центральной Азии (современное название)¹⁵, расположенный в Пекине. Одновременно имеются центры и кафедры по изучению славистики в университетах Пекина, Шанхая, Харбина и некоторых других городов. Помимо изучения славянских языков основное внимание уделяется исследованию преимущественно новейшей истории и современных политических процессов в славянских странах. Эти дисциплины рассматриваются в Китае как составная часть изучения международных отношений. В стране действует также всекитайская Ассоциация по изучению Восточной Европы, России и Центральной Азии. Для азиатских стран в общем комплексе их гуманитарных знаний славяноведение занимает периферийное место и является лишь одной из гуманитарных дисциплин (аналог — место востоковедения в славянской картине мира).

Наиболее распространены славистические исследования в США, где помимо научного интереса существуют и другие стимулы к их развитию, заключающиеся в существовании многочисленных славянских диаспор, которые оказывают заметное влияние на направленные деятельности университетов и научных центров. Там разнообразными областями славистики занимается более 10 тыс. человек. Американской славистике, равно как и западноевропейской, свойственна тенденция разводить историческую и филологическую составные части славяноведения, хотя обе они интенсивно изучаются. Схожая ситуация (хотя и не столь масштабная) по стимулам развития и направлениям исследования сложилась в славистике Канады и Австралии, где также имеются деятельные славянские диаспоры.

Для западноевропейских стран, в которых славяноведение присутствует повсеместно (но традиционно наиболее развито в Германии), наблюдается склонность не всегда учитывать вклад славянских народов в культуру и науку европейской цивилизации, к которой они по праву принадлежат. Среди большинства населения Западной Европы господствует геополитический стереотип представлений о европейской цивилизации как о романо-германской «оси». Слова о Европе «от Атлантики до Урала» (другой вариант — «Европа, включая Россию до Владивостока») остаются на поверхности политической жизни, а существование реального славяно-романо-германского треугольника как основы европейской цивилизации еще не вошло органической частью в общественное сознание. При открытии XII Международного конгресса славистов в Кракове в 1998 г. президент Польши А. Квасьневский выразил уверенность, что «славянский фактор вскоре придаст нашей старой Европе новую динамику, укрепит ее идентичность и поможет положить конец историческим спорам»¹⁶. Но эти слова остаются пока только пожеланием,

связанным со вступлением ряда славянских стран в Европейский Союз.

Не ушло окончательно в прошлое и противопоставление католических стран православным, хотя культура и тех, и других (как и вся европейская цивилизация) стоит на фундаменте христианства и античного наследия, эллинского и римского. Такое противопоставление разделяет не только Запад Европы от ее Востока, но и сами славянские народы, что оказывает в ряде случаев существенное влияние на их национальное самосознание. В целом можно сказать, что в современных условиях для неславянских стран, входящих в европейскую цивилизацию, славяноведение помогает создать более полную и реальную картину ее истинного облика и по-новому взглянуть как на историю европейской цивилизации, так и на ее геополитические основы. Уяснение этих проблем и их укоренение в общественном сознании прежде всего западноевропейских стран призвано сыграть большую роль в судьбах всего континента, оказать существенное влияние на структуру их гуманитарных знаний.

В славянских странах, помимо собственного страноведения (что также является частью славистики), под славяноведением подразумевается изучение главным образом инославянской среды — истории, культуры, литературы и языков других славянских народов. Для каждой из них славяноведение имеет не только научное, но и общественно-политическое значение. Для каждой из них принадлежность собственного народа к славянской группе играет значительную роль в своей национальной самоидентификации¹⁷. Эти представления занимают разное место у народов каждой из трех ветвей славянства — восточной, западной и южной, но присутствуют повсеместно. Поэтому в системе их гуманитарных знаний славяноведение представлено весьма полно, хотя не всегда бывает четко выделено институционно. Вместе с тем каждому из них присуще сознание своей принадлежности к Европе. В каком соотношении выступают эти две стороны их национальной самоидентификации?

На протяжении долгих веков письменной истории славянских народов ни они сами, ни их летописцы, а позднее первые историки не высказывали сомнений в их принадлежности к Европе, а проще, по традиции своего времени, к христианскому миру. Правда, уже первые трещины в европейской христианской цивилизации, прошедшие по линии противопоставления Рима и Византии как духовных центров, вылилось в схизму, в раскол между католичеством и православием. Этот раскол внес новые черты в политическую жизнь славянских стран, поскольку демаркационная линия пролегла по населенной ими территории и разделила их на две части. Завоевание турками Византии и падение Константинополя (29 мая 1453 г.) нанесло сильный удар по православию. К тому времени

южные славяне также подпали под османское иго, и на политической карте Европы остались два славянских государства — Польша и Россия, которая после ликвидации последних остатков зависимости от Золотой Орды (1480 г.) быстро набирала силу и становилась заметной фигурой в европейской политике. Отношения между ними, принявшие в XVI—XVII вв. форму соперничества и вражды, определили на долгие годы положение в славянском мире.

Польша, которая после объединения с Великим княжеством Литовским (Люблинская уния 1569 г.) стала именоваться «Речь Посполитая», превратилась к тому времени в одно из крупнейших европейских государств. Своеобразная идеология польской шляхты (идеология «сарматизма», отличавшаяся национальной мегаломанией, сословной исключительностью и мифологическими представлениями о происхождении шляхты от сарматов, завоевавших еще в древности польское славянское население) оставляла мало места для славянского самосознания. Однако оно существовало, находя отражение в широко распространенной легенде о трех братьях — Чехе, Лехе и Русе, от которых якобы произошли славянские народы¹⁸. Отношения между Польшей и Россией значительно обострились в результате католической экспансии против православия на восточнославянских землях, входивших в Речь Посполитую (Брестская уния 1596 г.), и особенно польской интервенции в период «смутного времени» в Российском государстве в начале XVII в. Именно в противостоянии с Россией в значительной степени складывалось польское национальное самосознание. Тогда укрепились стереотипные представления о превосходстве польской культуры, строившиеся на дихотомии «цивилизация» — «варварство» (последнее предписывалось России)¹⁹. Они оказались весьма живучими. В их свете Польша представляла как форпост Европы против «варварской» России. Принадлежность к Европе в глазах носителей польского самосознания стояла выше чувств этнической общности с другими славянскими народами, не говоря уже о России²⁰, враждебное отношение к которой принимало зачастую формы откровенной русофобии. Отголоски этих представлений сохранились до сих пор.

Когда мы констатируем факт, что славянские народы в политическом плане никогда не были дружной семьей, это относится в первую очередь к русско-польским отношениям. Ответным эхом была русская полонофобия, коренившаяся первоначально в противостоянии православия и католицизма, а в XVIII и XIX вв. дополнявшаяся политическими факторами (разделы Польши и прекращение существования независимого польского государства в конце XVIII в., польские восстания 1830 и 1863 гг.). В новое время, особенно в XVIII и XIX вв., когда складывалась современная культура всех европейских народов, в той числе и славянских,

российско-польское противоборство находилось в резком контрасте с развитием представлений об отношениях славянских народов между собой, причем не только в России.

Начавшееся национальное возрождение славянских народов, проживавших как в границах Австрийской империи, так и в Османской империи, принесло с собой идеи славянской взаимности (солидарности), зародившиеся в их собственной среде. Наиболее активно эти процессы протекали среди чехов, а также словаков, давших в конце XVIII — первой половине XIX в. ряд выдающихся ученых и мыслителей, основоположников славяноведения и идеологов славянской солидарности. Имена Й. Добровского, П. Й. Шафарика, Ф. Палацкого, Я. Колара, Л. Штура и многих других свидетельствовали о том, что проблемы славяноведения заняли одно из центральных моментов в системе гуманитарных знаний и политической мысли этих народов к середине XIX в. Такое положение не было случайным: сам факт принадлежности к великой семье славянских народов служил одним из действенных стимулов развития национальных культур и процесса собственной самоидентификации. Весьма ярко их отразил Я. Колар в лирико-эпической поэме «Дочь Славы» (1824 г.) и в труде «О литературной взаимности между племенами и наречиями славянскими» (1836 г.). Его творчество получило широчайшее распространение и стало источником вдохновения культурных и политических деятелей ряда славянских народов.

Бурное возрождение славянских народов, ставшее одним из феноменов европейской истории XIX в., встречало в западноевропейских странах настороженное отношение со стороны одних политических сил (в частности, в австрийских правящих кругах, которые иногда были не прочь использовать национальные движения некоторых из них в борьбе с мажоритарными политическими стремлениями) и откровенно враждебное отношение со стороны других. Среди последних выделялись те немецкие политические силы, которые стремились к объединению германских земель в единое государство в великогерманской форме, которое включало бы в себя также все земли Австрийской империи. В национальных движениях славянских народов они видели препятствие на пути к осуществлению своих целей. Отсюда проистекала враждебность к ним. Она проявилась в появлении термина «панславизм», который появился в ходе проводившейся в Венгерском королевстве мажоритаризаторской политики, когда стремление словацкого народа к развитию своего языка и культуры получило оценку как стремление к образованию единой славянской нации во главе с Россией. Отсюда выводилась ложная альтернатива — либо мажоритаризация, либо потеря свободы и подчинение России.

Появившись в конце 1840 г. термин «панславизм» вызвал бурную полемику и мгновенно был подхвачен германской националистической прессой пангерманского толка. Он сразу же стал боевым лозунгом в борьбе против национального возрождения славянских народов, вначале преимущественно против чехов и словаков. Заложённая в нем тенденциозность, где сознательно смешивались воедино стремления славянских народов к развитию своей культуры и подозрения в захватнических планах России, делали его удобным инструментом для различных политических спекуляций. В момент своего появления он не отражал реальной действительности и свидетельствовал скорее о степени зрелости германского национализма, который использовал его как знамя для объединения своих сил против гипотетического врага²¹. Мрачным юмором истории явилось то, что некоторые славянские деятели восприняли эти обвинения для развития их в позитивном духе и конструирования соответствующих теорий. Но их построения никогда не достигали того уровня разработанности, какой отличались пангерманские концепции. Термин «панславизм» получил широкое распространение накануне и в ходе революций 1848 г. в Европе, а также широко использовался пангерманскими кругами в последующие десятилетия, особенно в годы проведения германской «мировой политики» и накануне Первой мировой войны. Использовали его впоследствии и гитлеровцы. Он до настоящего времени бытует в русофобских публикациях на Западе и в тех странах, где существуют подобные течения. Приходится с сожалением констатировать, что его наличие в политическом лексиконе свидетельствует о негативных представлениях на Западе о славянских народах, является извращённым «вкладом» в их славяноведение. Трудно расценить его иначе как проявление славянофобии.

Одновременно пробуждались и южнославянские народы — сербы, хорваты, словенцы, болгары. Их положение весьма разнилось. Первыми начали политическую борьбу сербы, подняв в 1804 г. восстание против османского ига. Наиболее тяжелым было положение болгар, но и они сделали много для возрождения своей культуры и приложили усилия для начала народного образования уже в первой половине XIX в. Среди южнославянских народов получили широкое распространение надежды на помощь со стороны России в деле их национального освобождения. За такими ожиданиями стояли определенные политические реалии: с конца XVII в. Россия вела ряд войн с Турецкой империей, нанося ей все более тяжелые поражения. Велика была ее помощь и сербскому вооруженному восстанию начала XIX в.: без ее поддержки Сербия не смогла бы добиться (хотя бы на первых порах) политической автономии и консолидироваться как хотя и зависимый от Порты, но отдельный

организм. Российское покровительство играло позитивную историческую роль. Опираясь на него, в сербских правящих кругах в середине 40-х гг. XIX в. созрела программа объединения всех сербских земель в рамках одного государства²².

Если представить картину славянского мира, сложившуюся в середине XIX в., то она будет разительно отличаться от нынешней. На политической карте Европы существовало только одно независимое славянское государство — огромная Российская империя, занимавшая по праву место среди ведущих держав своего времени. Сербия оставалась зависимым княжеством в составе Османской империи. Все остальные славянские народы входили в состав других многонациональных государств — Австрийской империи (чехи, словаки, хорваты, словенцы, частично сербы), Оттоманской Порты (зависимая от нее Сербия, поработанные болгары и населенные сербами земли в Боснии и Герцеговине, где они составляли тогда примерно половину населения, если не больше). Некоторые сложившиеся позднее и отпочковавшиеся от других славянские народы тогда еще не оформились либо делали лишь первые шаги на пути развития национального самосознания²³. В идеологическом плане положение было еще сложнее. В России развивались и противоборствовали два течения — славянофилы и западники. Первые отстаивали мысли о самобытном развитии страны и отличались «славянолюбием» (по терминологии своего времени), тогда как вторые призывали брать пример с Запада и ориентировались на его духовные ценности. В правящих кругах страны ни одно из них не пользовалось поддержкой: они стояли на принципах «теории официальной народности» и легитимизма, особенно после участия русских войск в подавлении революционного движения на территории Австрийской империи, в Венгрии в 1849 г. Различным идеям «славянской взаимности» в России, которые разделялись многими деятелями национальных движений славянских народов, противостоял польский мессионизм, видевший перспективу в объединении славян под руководством польского народа и противостоящий России. Среди славянских народов Австрийской империи были распространены идеи австрославизма, видевшего перспективу в достижении национально-культурной автономии в рамках австрийской монархии и усиления в ней своего влияния. В широких массах южнославянских народов бытовали надежды на помощь России в деле национального освобождения. Идеи панславизма, в том виде как его рисовала западная пропаганда, особенно в германских землях, разделяли очень немногие лица как в России, так и среди других славянских народов.

Одним из них и, вероятно, одним из первых и наиболее ярких представителей был словак Л. Штур. Под влиянием поражения

революции 1848 г. и связанных с нею надежд на обретение автономии он в 1851 г. написал трактат «Славянство и мир будущего» с явно панславистских позиций. В нем содержались призывы к интеграции славян под эгидой России, к принятию православия в качестве их общей религии и русского языка как общеславянского литературного языка. Однако труд Л. Штура был издан только десять лет спустя после его смерти в переводе на русский язык в Москве в канун Славянского съезда в Москве и Петербурге в мае-июне 1867 г. в совершенно другой исторической обстановке. После поражения в Крымской войне (1853–1856 гг.), отмены крепостного права (1861 г.) и последовавших реформ Россия вступила на путь медленных и не всегда последовательных преобразований. Время публикации трактата Л. Штура дало повод славянофильским течениям рассматривать его как один из программных документов съезда, и часть их разделяла выраженные в нем мысли. Однако более широкие круги российской общественности встретили его довольно критически.

Интересную оценку дал несколько позднее этому противоречивому и спорному сочинению Л. Штура известный русский ученый А. Н. Пыпин, двоюродный брат известного революционера-демократа Н. Г. Чернышевского. Пыпин писал: «В его взглядах на Россию есть идеализация, есть незнание частных фактических ошибок; но это не помешало ему сделать и существенно верные замечания о русской внешней и внутренней политике — и указать, что в ней должно быть изменено, чтобы славянство могло довериться русскому союзу. Тем нашим шовинистам, которые в последние годы считали „расхолаживанием“ всякое напоминание о наших внутренних нуждах и недостатках, было бы очень полезно взглянуть в приведенные сейчас слова Штура об этих предметах: они увидели бы, что для разумных славян, даже с величайшей привязанностью к России, эти предметы составляют пункт величайшей важности, — такой, что без изменения в наших внутренних делах самый союз с Россией, столь крайне необходимый для славян, казался им невозможным»²⁴.

Последующий период развития был тесно связан с Восточным кризисом 1875–1878 гг. (восстание в Боснии и Герцеговине, сербско-турецкая война, апрельское восстание в Болгарии 1876 г., русско-турецкая война 1877–1878 гг.) и итогами Берлинского конгресса 1878 г. Итогом русско-турецкой войны (десятой за последние два столетия) было освобождение Болгарии, достижение полной независимости Сербией и Румынией, расширение Греции. На Балканах создалась система независимых государств. Однако последующее развитие событий принесло много неожиданностей русской общественности. Вскоре последовала внешнеполитическая переориентация Сербии и Болгарии на кайзеровскую Германию

и Австро-Венгерскую империю (так она стала называться после дуалистических преобразований 1866 г.), падение российского влияния на Балканах, дальнейшее развитие концепций австрославизма в Габсбургской монархии среди населявших ее славянских народов (этому способствовала и аннексия Австро-Венгрией в 1878 г. Боснии и Герцеговины). В России слышались разочарованные голоса о «неблагодарности» славян, что сопровождалось падением интереса к славянскому вопросу, разложением славянофильских концепций. При этом забывалось, а может быть, просто не было тогда осознанно обществом, что на каждом историческом этапе любой народ и его политическая элита будут руководствоваться своими непосредственными национально-государственными интересами, и эти интересы будут меняться с каждым серьезным поворотом в международной обстановке в развитии собственной страны.

В последующем развитии русской общественной мысли и национального самосознания, связанных со славяноведением, сложилось три проблемы, вокруг которых не стихают дискуссии и живая полемика. Каждая из этих проблем выражена дихотомией. В дополнение к ведущим еще с XIX в. проблемам «Россия и Славяне» и «Россия и Запад» в XX в. добавилась сравнительно новая — «Россия и Восток». Последнюю развили до уровня концепции русские ученые, оказавшиеся в эмиграции. Эти три проблемы сохраняют свое значение вплоть до настоящего времени, которое придало им дополнительные краски. Вместе они составляют своего рода треугольник, отнюдь не равнобедренный, в котором пульсирует общественная жизнь. Именно эти дискуссии свидетельствовали и ныне продолжают свидетельствовать о том, что проблемы славяноведения востребованы нашим временем, что они выполняют определенную социальную функцию, обладают значительным общественным потенциалом. Более того, они входят непременно компонентом в наши гуманитарные знания, в ту их часть, которая имеет дело с определением и выработкой концепции национально-государственных интересов страны.

Именно это обстоятельство явилось причиной гонений на славяноведение в России вскоре после установления большевистского режима в стране после октябрьского переворота 1917 г. Оно не вязалось с исповедуемым большевиками коммунистическим мессианизмом, целями мировой революции и провозглашенным стремлением к созданию Всемирного Союза Советских Социалистических Республик (преамбула Конституции СССР 1924 г.), идеологией пролетарского интернационализма. Кафедры славяноведения в университетах страны были закрыты, многие ученые-слависты подверглись репрессиям²⁵, славяноведение изгнано из Академии наук. Такое положение удерживалось примерно два десятилетия, что нанесло

науке серьезный ущерб. Советское руководство решительно отмежевалось от любых форм славянского движения или сотрудничества как от «реакционных». В то же время другие славянские страны руководствовались своими национально-государственными интересами и задачами. То, что раньше было принято именовать общеславянскими проблемами, отошло на второй план. Кризис «славянской идеи» был налицо.

Острее всего это почувствовала и ощутила на себе многочисленная русская эмиграция, оказавшаяся за пределами страны, причем в значительной мере в славянских государствах (многочисленные и влиятельные русские землячества возникли в Югославии и Болгарии, Чехословакии и Польше). Именно эта среда сформировала основные черты возникшего после Первой мировой войны и гражданской войны в России кризиса «славянской идеи» и выдвинула для России альтернативную ей концепцию — теорию евразийства²⁶. Кризис, по мнению основателей евразийства (Н. С. Трубецкой, П. Н. Савицкий и др.), состоял в забвении общеславянских задач, в отказе оплатить исторический долг перед Россией, в выдвижении лозунга «славянство без России», в безоглядном стремлении «в Европу» из политических элит. Эти упреки кажутся списанными с наших дней, с рубежа XX и XXI вв. Но они были выдвинуты еще в начале 20-х гг. XX в. Такая переключка побуждает обратить более пристальное внимание к сложившемуся тогда положению, проследить аналогии между прошлым и настоящим.

Ситуация стала меняться только накануне Второй мировой войны в связи с расистской пропагандой германского нацизма, проповедью превосходства немецкой нации («нация господ») и изображения славянских народов как «недочеловеков», участь которых — на свалке истории, а их территория — будущее «жизненное пространство» германской нации²⁷. Тогда были сделаны первые шаги по возрождению славяноведения в Советском Союзе. В Московском университете были воссозданы кафедры славяноведения вначале на историческом факультете (1939), а позднее — на филологическом (1943). Были созданы предпосылки для возвращения славяноведения и в Академию наук. Но потребовались многие годы, чтобы вырастить новые кадры, возобновить научные традиции. Второй раз за первую половину XX в. «славянская идея» была востребована политиками. Первый раз это произошло в годы Первой мировой войны²⁸, и Вторая мировая война подхватила эстафету и усилила ее. Возрождение в стране славяноведения как науки было для тогдашнего советского руководства побочным продуктом.

Советская пропаганда сразу же после нападения гитлеровской Германии на Советский Союз взяла на вооружение лозунг славянского единства в борьбе против общего врага. По инициативе совет-

ского руководства в Москве был создан Всеславянский комитет, стали проводиться всеславянские митинги и другие мероприятия. Расчет оказался правильным, политический эффект оказался большим. Он свидетельствовал о том, что идеи славянской взаимности существовали у славянских народов не только на уровне сознания, но и подсознания²⁹. Эти чувства многократно усиливались сознанием угрозы, которая исходила для всех них от германского нацизма. Его антиславянские установки перешли в годы войны из сферы пропаганды в область конкретного планирования и легли в основу «Генерального плана „Ост“»³⁰ — родного и большого брата всемирно известного «холокоста». В его основу была положена идея завоевания «жизненного пространства» и путем уничтожения славянских народов. Не удивительно, что именно славянские народы, и в первую очередь русский, сыграли решающую роль в разгроме фашистского блока в Европе.

Дальнейшие события показали, что советские лидеры и коммунистические руководители тех стран, где после войны установились режимы советского типа, использовали его только как инструмент в своих собственных интересах, политически эксплуатировали его. Особенно ясно это стало после разрыва отношений в 1948 г. между Советским Союзом и Югославией (лучше сказать — между Сталиным и Тито). Но, отодвинув идеи славянской взаимности на задний план, социалистические режимы интуитивно продолжали использовать реально существовавшие между славянскими странами чувства культурной и этнической близости для налаживания сотрудничества в рамках социалистического содружества в течение всего периода его существования.

Распад этого содружества, падение социалистических режимов в результате «бархатных революций», развал многонациональных Советского Союза и Югославии в 1989–1991 гг. породили третий кризис не только «славянской идеи», но и всей системы отношений между славянскими государствами и их соседями. В условиях зарождавшегося тогда «нового мирового порядка» произошло то, что получило название «энтропии славянского мира» (термин «энтропия» взят из астрономии и обозначает разбегание звезд, рассеяние энергии). Более того, на постюгославской территории распад федеративного государства привел к этногражданским конфликтам и кровопролитию. Такое развитие событий явилось неизбежным следствием социальных и национальных экспериментов социалистических режимов в своих странах, в частности их национальной политики и оставленной ими в наследство социальной структуры общества³¹.

Ситуация во всех странах постсоциалистического региона — как славянских, так и неславянских — имеет много общего. Все они

смотрят на Запад. Все стремятся присоединиться к НАТО, а также вступить в Европейский Союз (ряд из них уже преуспел в достижении этих целей). В таких условиях ни о какой славянской солидарности речь идти не может. Положение в значительной степени напоминает прежние кризисы славянских макроидеологических доктрин. Как будто для того, чтобы подчеркнуть эту схожесть, в России скачкообразно возрос интерес к евразийским концепциям. Но отмеченная схожесть — только внешняя, кажущаяся. Основное отличие — в совершенно иной ситуации, складывающейся во всем мире. Помимо становления новой конкретно-исторической системы международных отношений — «нового мирового порядка» с его тенденцией к созданию однополюсного мироустройства, следует отметить два взаимонакладывающихся процесса — глобализации и развития информатики. Оба они могут иметь для славянских стран непредвиденные последствия. Если первое касается преимущественно политико-экономической сферы, второе относится к внутреннему миру, миру культуры, столь важному для любого народа.

Новые информационные технологии порождают новую информационную среду, которая способствует кризису как национального самосознания отдельных народов, так и индивидуальной идентичности отдельного человека, что ведет к утрате мировоззренческих ориентиров. В мире бушуют информационно-психологические войны. Их жертвами становятся все славянские народы, а не только Югославия и Россия, как может показаться на первый взгляд. Ничем иным нельзя объяснить, например, прошедшие в Болгарии и Словении дискуссии, во время которых была поставлена под вопрос их славянская идентичность, или сетования ряда чешских интеллигентов, будто славянский язык их народа затрудняет их входение в Европу. Вывод напрашивается единственный: это проявление кризиса их национального самосознания. Процессы глобализации и связанные с ними информационные технологии создают угрозу их национальным культурам. Особенно велика опасность для меньшинств по численности народов, каковых среди славянских — большинство. Эта угроза осознается частью политических и интеллектуальных элит славянских государств, что порождает умеренный оптимизм и надежды на оживление культурного сотрудничества славянских народов. Следует особо подчеркнуть, что такое сотрудничество не направлено против кого-либо. Не противоречит оно и желаниям многих стран вступить в Европейский Союз и НАТО. Но оно отвечает их стремлениям сохранить свою национальную культуру, свои национальные ценности в рамках общей для всех них европейской цивилизации. В этих рамках славяноведение приобретает особое значение для их собственных гуманитарных комплексов, для сохранения своего национального самосознания.

Особое значение приобретают эти проблемы для восточнославянских народов — русских, украинцев и белорусов. Распад их единого федеративного государства дорого обошелся каждому из них, причем цена уплачена еще не полностью. Продолжение прежнего курса не сулит никому ничего хорошего. Предпринимаемые усилия для их экономической интеграции, а также развития их политического сотрудничества не будут успешными без расчистки интеллектуальных завалов в головах, которые достигли больших высот. Обретенная независимость подчас трактуется как «историографический суверенитет» и ведет к созданию мифологических и политизированных взглядов на свою историю и культуру, которые расходятся с выводами мировой исторической науки. Анализ же создавшегося положения в культуре и, шире, в системе гуманитарных знаний Украины и Белоруссии входит в России в задачу славяноведения. Оно приобрело сейчас объективно такое значение, что его можно без натяжки охарактеризовать как науку о национально-государственных интересах страны. Такая оценка не содержит преувеличений. Из этого мы и должны исходить в наших прогнозах его дальнейшего развития.

П Р И М Е Ч А Н И Я

- ¹ Подробности см.: *Мусорина Н. Г.* К вопросу о возникновении понятия «цивилизация». М., 1983 (ИНИОН, депонир.).
- ² Советская историческая энциклопедия. М., 1974. Т. 15. С. 769–770.
- ³ См., например: *Чусовитин А. Г.* Российская цивилизация: Учебное пособие. Новосибирск, 1997; *Тонких В. А., Ярецкий Ю. Л.* Россия: цивилизация и культура. М., 1998. Такое толкование воспроизводит зачастую теории евразийцев, развивавшиеся русскими учеными и мыслителями, оказавшимися в эмиграции (Н. С. Трубецкой, П. Н. Савицкий и др.).
- ⁴ Впервые такое определение было введено в научный оборот Н. Я. Данилевским в его книге «Россия и Европа», в которой он отстаивал идею самобытности славянских народов (журнальный вариант — 1869 г., первое отдельное издание — 1871 г.). Современное издание: *Данилевский Н. Я.* Россия и Европа. М., 1991. О его взглядах подробнее см.: *Аринин А. Н., Михеев В. М.* Самобытные идеи Н. Я. Данилевского. М., 1996.
- ⁵ Первое издание на русском языке см.: *Шпенглер О.* Закат Европы. М.; Пг., 1923.
- ⁶ *Тойнби А.* Постигание истории. 2-е изд. М., 2002.
- ⁷ *Huntington S.* The Clash of civilizations? // *Foreign Affairs*, 1994, Summer.
- ⁸ См.: Локальные цивилизации в XXI в.: столкновение или партнерство?: Материалы к междисциплинарной дискуссии. Кострома, 21 мая 1998. М., 1998; *Василенко И. А.* Диалог цивилизаций: социокультурные проблемы исторического партнерства. М., 1999. Заметим, что наиболее крупные конфликты XX в. — Первая и Вторая мировые войны — происходили преимущественно внутри одной, европейской цивилизации.
- ⁹ Отметим только некоторые из них: Сравнительное изучение цивилизаций мира (Междисциплинарный подход). Сб. статей. М., 2000; *Ерасов Б. С.* Цивилизации:

- Универсалии и самобытность. М., 2002; *Черняк Е. Б.* Цивилиография: Наука о цивилизации. М., 1996; *Яковец Ю. В.* История цивилизаций: Учебное пособие. 2-е изд. М., 1997; *Сенилов Г. П.* История цивилизаций: Краткий справочник. М., 1998; Сравнительное изучение цивилизаций. Хрестоматия: Учебное пособие / Сост. Ерасов Б. С. М., 1999; *Бабушкин С. А.* Теория цивилизаций. Курск, 1997; *Семенникова Л. И.* Цивилизации в истории человечества: Учебное пособие. Брянск, 1998; *Моисеева Л. А.* История цивилизаций: Курс лекций. Ростов-на-Дону, 2000.
- ¹⁰ Обилие литературы по культурологии впечатляет. Имеются и небольшие исследования, посвященные понятийному аппарату. См., например: *Мирошникова С. П.* Типизация культуры в современной культурологии и соотношение таких понятий, как «культура», «цивилизация», «этнос». Запорожье, 1994. (ИНИОН, депонир.)
- ¹¹ Славяноведение в дореволюционной России. Изучение южных и западных славян / Отв. ред. Д. Ф. Марков. В. А. Дьяков. М., 1988. С. 311.
- ¹² *Горяинов А. П., Досталь М. Ю., Робинсон М. А.* Методологические проблемы истории славистики как объект анализа в рамках международных съездов славистов // История, культура, этнография и фольклор славянских народов. XI Международный съезд славистов. Братислава, сентябрь 1993 г. Доклады российской делегации. М., 1993. С. 196–197.
- ¹³ *Аксенова Е. П.* Очерки из истории отечественного славяноведения. 1930-е годы. М., 2000.
- ¹⁴ Slavic Research Center, Hokkaido University, Sapporo, Japan. В 1958 г. стал выходить ежегодник «Славистические исследования» (на японском языке), от которого в 1983 г., к 25-летию его существования, отпочковался журнал, публиковавшийся на европейских языках, преимущественно на английском: «Acta slavica japonica» (имеется в ряде российских библиотек). О первых десятилетиях развития японской славистики см.: *Ито Т.* История и современное состояние славяноведения в Японии // Советское славяноведение. 1980. № 2.
- ¹⁵ Институт был создан в марте 1965 г. и первоначально носил название Институт по изучению Советского Союза и Восточной Европы. В годы «культурной революции» его деятельность была временно приостановлена, но возобновилась в феврале 1976 г. После распада Советского Союза институт сменил свое название на нынешнее. В настоящее время в нем трудится более 100 исследователей, которые сосредоточили свои усилия на изучении экономических и политических систем входящих в его компетенцию стран, их внешней политики и национальных отношений.
- ¹⁶ Текст выступления А. Квасневского см.: Славяноведение. 1999. № 1. С. 3–4.
- ¹⁷ Развитие этнического самосознания славянских народов в эпоху раннего Средневековья. М., 1982; Развитие этнического самосознания славянских народов в эпоху зрелого феодализма. М., 1991; Этническое самосознание славян в XV столетии. М., 1995.
- ¹⁸ Эта легенда продержалась в исторических хрониках и литературе почти до середины XVIII в. Из польских хронистов и ранних историков ее разделяли Я. Длугош, М. Меховский, М. Стрыйковский и др. О происхождении легенды и этапах ее развития см.: *Мыльников А. С.* Картина славянского мира: взгляд из Восточной Европы. Этногенетические легенды, догадки, протогипотезы XVI — начала XVIII в. СПб., 1996. С. 141–203. См. также другую монографию того же автора: *Мыльников А. С.* Картина славянского мира: взгляд из Восточной Европы. Представления об этнической номинации и этничности XVI — начала XVIII в. СПб., 1999. Фактически обе они составляют двухтомник, рассматривающий проблему с разных сторон, и стали классическими еще при жизни автора.

- ¹⁹ О стереотипах взаимного восприятия русских и поляков см.: Polacy a Rosjane. Warszawa 2000; Россия-Польша: Образы и стереотипы в литературе и культуре. М., 2002.
- ²⁰ См. материалы российско-польской научной конференции «Миф Европы в литературе и культуре России и Польши» (Москва, 13–14 мая 2003 г.).
- ²¹ Подробности см.: *Волков В. К.* К вопросу о происхождении терминов «пангерманизм» и «панславизм» / Славяно-германские культурные связи. М., 1969. С. 25–69.
- ²² *Никифоров К. В.* Сербия в середине XIX в.: (Начало деятельности по объединению сербских земель). М., 1995.
- ²³ О некоторых теоретических проблемах, связанных со становлением наций, см.: *Мыльников А. С.* Народы Центральной Европы: формирование национального самосознания. XVIII–XVIII вв. СПб., 1997.
- ²⁴ *Пыпин А. П.* Панславизм в прошлом и настоящем (1878). М., 2002. С. 144–145.
- ²⁵ *Горяинов А. П.* Славяноведы — жертвы репрессий 1920–1940-х годов. Некоторые неизвестные страницы из истории советской науки // Советское славяноведение, 1990, № 2; *Аксенова Е. П.* «Изгнанное из стен Академии» (Н. С. Державин и академическое славяноведение в 30-е годы) // Советское славяноведение, 1990, № 5; *Ашин Ф. Д., Алпатов В. М.* «Дело славистов»: 30-е годы. М., 1994; *Аксенова Е. П.* Очерки из истории отечественного славяноведения...
- ²⁶ *Вандаковская М. Г.* Историческая наука российской эмиграции: «евразийский соблазн». М., 1997.
- ²⁷ *Borejsza J. W.* Antislawizm Adolfa Hitlera. Warszawa. 1988.
- ²⁸ См.: *Фирсов Е. Ф.* Словацко-русское общество памяти Людовита Штура в России и идея славянского единства // Славянский вопрос: Вехи истории. М., 1997. С. 152–168.
- ²⁹ *Марьина В. В.* Славянская идея в годы Второй мировой войны: (К вопросу о политической функции) / Славянский вопрос: Вехи истории. М., 1997. С. 169–181.
- ³⁰ *Поскова А. Ф.* «Генеральный план «Ост» (К итогам изучения в советской и польской исторической литературе) // Советское славяноведение. 1965. № 3.
- ³¹ *Волков В. К.* Этнономенклатура и распад государства: СССР и Югославия // Свободная мысль. 2000. № 9, 10.

А. Н. Пыпин как историк и теоретик славянского возрождения

Выдающийся русский ученый XIX в. А. Н. Пыпин (1833–1904), обладая огромной эрудицией, внес заметный вклад в различные отрасли гуманитарных знаний. Одной из основных областей его многогранной научной деятельности было славяноведение. Интерес к славянским народам возник у ученого еще в молодости и сохранялся на протяжении всей жизни. Он получил хорошую славистическую подготовку в университетские годы и имел возможность непосредственно наблюдать жизнь славянских народов во время заграничных командировок¹. Ученый всегда пристально следил за научной славистической литературой — отечественной и зарубежной.

А. Н. Пыпин оставил огромное количество работ научного, научно-публицистического, критико-библиографического характера, посвященных славянским народам. Крупные обобщающие работы ученого отражают историю славянских литератур², поэтому в славяноведении Пыпин в основном был известен как филолог, и его научное наследие рассматривалось с точки зрения литературоведения³.

Однако в многочисленных работах «славянского цикла» Пыпин выступал не только как историк литературы или, шире, — как историк культуры. В его трудах отражена история славянских народов с древних времен до конца XIX в. Он уделил внимание и общим проблемам истории всего славянства, и историческому прошлому каждого славянского народа. Кроме того, ученого с полным основанием можно назвать историком общественной мысли и общественного (в том числе национально-освободительного) движения славянских народов.

История славянских народов не являлась для Пыпина предметом специального исследования. Но исторические сведения сопровождали все основные славистические труды ученого, являясь необходимой и органичной их частью. Как правило, они соединялись с этнографическими, статистическими, культурологическими и другими данными, поскольку Пыпин рассматривал славянство в целом — как сложный, многоаспектный мир, требующий всестороннего изучения.

Арсенал научных методов Пыпина широк и разнообразен. В исследовании общественно-исторического и национально-культурного развития славянства Пыпин опирался на сравнительно-исторический метод⁴ изучения, позволявший любое явление проследить

в развитии и сопоставить с другими явлениями. Ученый высоко ставил объективность научной работы. Он считал, что в основе исследования должны лежать «строго определенные факты», аналитическое изучение которых должно привести к доказательным выводам и обобщениям⁵. Пыпин ценил критический подход к исследуемым явлениям, фактам и документам. По всем изучаемым вопросам он приводил разные точки зрения. Его работы проникнуты трезвым историческим оптимизмом, основанным не на фантазиях, а на реалистической оценке действительности⁶. Пыпина всегда отличало бережное отношение к источникам, стремление к максимально точной передаче содержания документов⁷. Говоря о методе своей работы, Пыпин отмечал соединение в нем «исторической критики» и «живого фактического наблюдения»⁸. С учетом этого можно говорить о комплексном научном методе, применявшемся им в научной деятельности. Ученый стремился к тому, чтобы его работы были просты и доступны для понимания не только специалистам-славистам⁹.

Строгости цензуры выработали у Пыпина привычку к осторожности в выражениях и к передаче мыслей с помощью недомолвок, прозрачных намеков, очевидных аналогий (подразумевая, например, под «литературными мнениями» общественно-политические взгляды) и т. п. Таким образом, ученый «продолжал думать между строк»¹⁰. Тем не менее, Пыпин в большинстве случаев находил способ донести до читателей свою позицию в том или ином вопросе.

Основное внимание в своих славистических трудах Пыпин уделил эпохе формирования наций и развития национального движения — одной из самых ярких и значительных вех в истории славянских народов, получившей романтическое название — «славянское возрождение». Начавшиеся с конца XVIII в. подъем национального самосознания и распространение национально-просветительской мысли переросли затем в борьбу за самостоятельное политическое, культурное и духовное развитие. Эпоха национального обновления, по мнению Пыпина, охватывала и весь XIX в., поскольку национальные процессы в славянском мире не были завершены. «Наше время, — писал ученый, — есть по преимуществу время национальных возрождений»¹¹. Национальная борьба, по его словам, «составляет основной вопрос новейшей славянской истории»¹². Этот период исторической жизни славянства представлял особый интерес для Пыпина; он описывал и анализировал его как историк и теоретик возрождения. Кроме того, ученый являлся современником одного из этапов национального пробуждения славян и был знаком со многими деятелями славянского национального движения.

Период становления и развития славянских наций может быть условно поделен на два этапа¹³. Пыпин основное внимание уделил

первому этапу — с конца XVIII до середины XIX в., который был связан с «пробуждением» наций. Второй этап, принявший эстафету в середине XIX в., — этап консолидации наций, растянувшийся на многие десятилетия и отмеченный редкими яркими событиями, представлен Пыпиным не столь подробно. К тому же этот этап не был завершен и находился в стадии развития. Ученый не предлагал четкую схему стадийности развития славянских народов, но, рассматривая конкретно-исторические ситуации каждого из них, давал свою периодизацию национальных процессов*, которая, учитывая индивидуальность народов, вместе с тем отражала в той или иной степени общую ситуацию. Поэтому к «славянскому возрождению» он относил все национальные процессы, происходившие в славянском мире в XIX в.

Ученый изучил и емко представил все, что было характерно для каждого этапа возрождения, обратив внимание на неизбежность (закономерность) смены одного этапа другим (как, например, романтические настроения первого этапа уступали место реалистическим потребностям следующего этапа).

А. Н. Пыпин подошел к славянскому возрождению как к явлению многоплановому, привлекая для его исследования данные различных наук, публицистические материалы и свои собственные впечатления, вынесенные из посещения славянских земель. Ученый показал, что это явление не носит сугубо славянского характера, но у славян оно получило особую окраску и смысл ввиду особых условий, в которых проходило формирование славянских наций (национально-политическое, социальное, религиозное и культурное угнетение).

Пыпин уделял внимание национальному развитию каждого славянского народа. Но наиболее важными представляются его анализ и оценки славянского возрождения как общего для большого славянского этноса явления, имеющего историческое значение.

Пыпин аргументированно утверждал, что становление славянских наций проходило по общим законам формирования и развития наций. Однако этот процесс связан для него не только с социально-экономическими явлениями и общественно-политическими событиями, а прежде всего с ростом самосознания и, следовательно, — с повышением образовательного, культурного и научного уровня. В связи с этим большое внимание он уделил проблеме формирования литературных языков и национальных литератур, научным разработкам в области истории, филологии и этнографии.

* Так, в начальном этапе формирования наций Пыпин выделял стадию пробуждения национального самосознания, которое развивалось и укреплялось на следующей стадии — литературного движения.

Обращаясь к историческому прошлому славянских народов, Пыпин отмечал, что из-за утраты национальной самостоятельности для большинства славян к концу XVIII в. оставалось лишь два пути развития: полное растворение в господствующей нации и гибель славянских этнических единиц или активное возрождение собственной национальности. Славянство пошло по второму пути.

Среди факторов, способствовавших пробуждению славян, Пыпин называл внутреннюю политику Иосифа II (для славян Австрийской империи), русско-турецкие войны (для славян Османской империи), борьбу между религиозными конфессиями за умы и души славянского населения, идеи эпохи Просвещения и Французской революции, идеи эпохи романтизма, взгляды немецких философов и т. д.

В возрождении Пыпин видел внешнюю и внутреннюю стороны. Во внешних отношениях народов основным выступал «национальный принцип», внутренняя жизнь обществ обогатилась новым «демократическим элементом»¹⁴. В кратком определении возрождения Пыпин подчеркивал, что оно означает вступление народных масс в общественную жизнь¹⁵.

Все движение славянства с конца XVIII в., как утверждал ученый, состояло в борьбе за права национальностей. Цель этого движения заключалась в достижении «той широты национальной деятельности, которая обеспечила бы славянству независимость его внутренней жизни и... создание своей самобытной культуры»¹⁶.

Сушность славянского возрождения, по определению Пыпина, заключалась «в поднятии национального чувства, в пробуждении бессознательного дотоле общества и народа». Добиться этого можно было, по мнению ученого, прежде всего с помощью распространения образования в широких массах, для чего нужна была литература на языке, понятном народу. Наряду с повышением уровня национального образования и развитием национального самосознания Пыпин связывал с понятием возрождения также и политическое освобождение славянских народов¹⁷.

Определяя характер славянского возрождения, Пыпин подчеркивал, что оно «было по преимуществу народное, демократическое», поскольку простой народ составляет «основу нации» и без его участия национальный подъем не достигнет необходимого уровня. Давая такое определение славянскому национальному движению, ученый напоминал, что с «падением старых государств славяне потеряли весь высший „культурный“ класс». Национальная жизнь сохранилась только в народной массе и «могла возродиться только из среды народа». И действительно, писатели, ученые, политические деятели эпохи возрождения были в основном из низших слоев или сельских священников. Любовь к народу была у них «непосредственной», а не «теоретической». И возрождавшиеся литературы

черпали содержание из народной жизни. Основой литературного языка становился обработанный народный язык. Для реставрации подавленной народности необходимо было изучить происхождение народа, его историю, быт, предания, обряды, культуру. Дело подъема национальности нуждалось в кадрах — отсюда возникла забота о народном образовании (школы, учебники, популярные книги). Все это свидетельствовало, как утверждал Пыпин, о том, что славянское возрождение зародилось в народе и служило целям и задачам народа. Таким образом, он связал социальный характер движения с национальными интересами славянских народов¹⁸.

Эпоха славянского возрождения тесно связана с процессом становления и развития славянских национальностей. Рассматривая возрождение как общеславянское явление, Пыпин отмечал, что характерной чертой его является стремление каждого славянского народа выразить и утвердить свою национальную индивидуальность. Он подчеркивал, что в основе славянского движения лежал именно национальный принцип. При этом Пыпин обращал внимание на то, что стремление к национально-политической самостоятельности сочеталось, если речь шла о разъединенных народах, не составлявших «одного политического целого», с задачей «объединения племени»¹⁹. Ученый считал, что по пути национализма необходимо было пройти каждому славянскому народу, чтобы потом могло начаться «сознательное сближение» славянства. В этом он видел естественный ход исторического развития²⁰.

В процессе становления наций и национальных отношений Пыпин выделял две тенденции. Одна заключалась в стремлении создать мононациональное государство или добиться равноправного существования наряду с другими народами в составе федеративного государства. Другая предполагала сближение наций при постоянном политическом и культурном общении (правда, замечал Пыпин, этой тенденции препятствуют теории национальной исключительности)²¹.

Пыпин отмечал также, что на формирование наций влияют такие факторы, как язык, религия, обычаи, войны, государство, экономика и др. Он подчеркивал, что развитие наций зависит прежде всего от условий политической и экономической жизни народов, а не от неопределенных «народных начал» (на которых строили свои концепции славянофилы)²².

Наблюдая процессы формирования славянских наций, Пыпин делал важный теоретический вывод о том, что «развитие или упадок» нации происходят независимо от воли отдельных личностей — они подчинены «общему естественному закону истории»²³.

Затрагивая проблемы развития наций, Пыпин выдвинул верные положения о роли национальных стремлений в политической жизни.

Ученый отмечал, что они могут быть прогрессивными, если являются «орудием политического, общественного и нравственного возрождения целых племен»²⁴, если направлены на «освобождение народа от чужеземного гнета» (Сербия) и либерализацию общественной жизни (отчасти — славянские земли в Австрии). Но они могут быть и реакционными, когда становятся «орудием реакционных классов общества или реакционных правительств», которые надеются политическим путем или дипломатическими интригами «достигнуть подавления чужой национальности» (например, действия Венгрии по отношению к словакам и хорватам)²⁵.

Пыпин никогда не упускал из виду связь национального вопроса с социальным, хотя и не всегда акцентировал на этом внимание. Он подчеркивал, что решение национальных задач еще не гарантирует «народного блага» — необходимо «поднять права народа», для чего недостаточно одних национальных стремлений, нужны «иные средства»²⁶.

Касаясь национальной идеологии, ученый напоминал, что национальные идеи «выводятся из развития идей политических и в особенности экономических»²⁷.

Таким образом, славянское возрождение и процесс формирования славянских наций вызвали у Пыпина серьезные рассуждения по теории национального вопроса вообще, поскольку все его выводы касались не только славянских, но и других европейских народов²⁸.

Славянское возрождение, по мнению Пыпина, имело не только *общий характер*, но и сходные «*главные источники*» движения; это — «унижение народности», которое наполняло «лучшие умы» горячим желанием вывести соотечественников «из рабского состояния физического и нравственного». При таком характере и источниках славянского движения, утверждал Пыпин, «его нравственно-политическое *право* не может подлежать никакому сомнению»²⁹.

Ученый отмечал, что, испытывая длительное национальное, социальное, религиозное угнетение, славянские народы лишались «основы национального идеала», и пробуждение национального чувства у всех славянских народов одинаково выражалось в стремлении изучать историю своего народа, его материальную и духовную культуру³⁰.

Славянское возрождение совершалось «в духе освобождения и просвещения». Оно совпало с эпохой романтизма и черпало из него свои идеи. При этом Пыпин подчеркивал схожесть, «родство» славянского романтизма с западноевропейским. Не сбрасывая со счетов «увлечения и крайности» славянского романтизма, он признавал, что глубокое сочувствие вызывает присущее этому течению стремление к «народности», которое, в понимании ученого, есть

«стремление поднять значение народа, внушить уважение к его преданию, следовательно, к его нравственной автономии, и, наконец, ввести его как полноправного деятеля в национальную жизнь». По определению Пыпина, это был романтизм «не феодальный, а демократический, — не оставшийся только капризом литературной школы, но соединенный с заботой о практической помощи народному сознанию, о популярной литературе и пр.»³¹. Однако Пыпин отчетливо понимал, что романтизм «забегал вперед», выдавая желаемое за действительное³².

Со временем, отмечал Пыпин, романтическое, «платоническое увлечение народностью» перерастало в «политическое стремление». Это стремление «обнаруживалось и в желании достигнуть свободы внутренней и свободы от прямого иноплеменного ига», и в постановке на повестку дня «реального вопроса»: что нужно, чтобы славянские народы заняли достойное место в жизни всего человечества? Политическая борьба славян «была еще мало удачна, но далеко не бесплодна» (южное славянство перешло от полного рабства к образованию государств)³³.

Пыпин выделял два основных, по его мнению, пути, или средства, подъема национального самосознания: 1) «обращение к старине», напоминание о славном, героическом прошлом; 2) широкое народное образование³⁴. Если не хватало подлинных древних памятников, создавались подделки. В этом стремлении к «сочинению» прошлого Пыпин видел «довольно нередкое, так сказать, патологическое явление», связанное с интересом к исторической судьбе народа. Это было характерно в основном для первого этапа возрождения, когда научные исследования только начинались и еще не давали ожидаемых результатов; в этот период люди «с неправильно понятым патриотизмом» и производили более или менее удачную подделку. Пыпин отмечал, что это явление наблюдалось почти у всех славянских народов³⁵. Так или иначе, обращение к старине повлияло, как указывал Пыпин, и на развитие научных исследований, и «на постановку общественно-национальных вопросов». Пыпин отводил науке большую роль в общественном развитии³⁶. Славянское возрождение нашло выражение в исторических и этнографических исследованиях и в популярной литературе³⁷.

В связи с установкой на широкое народное образование выявлялась необходимость «говорить с народом на его языке». Такая задача стояла перед возрождавшимися славянскими литературами. Потребность и обусловленность появления новых литератур, что было общим характерным явлением в славянском мире, Пыпин объяснял тем, что старая литературная традиция, как и политическая жизнь славянских народов, была прервана надолго, к тому же старая литература не годилась «для потребностей нового времени»,

да и народный язык, развиваясь, «удалился от прежней книжной речи». Таким образом, новая литература, по словам Пыпина, «должна была спуститься до народа, и в то же время возвышала доселе пренебрегаемый язык массы до книги, до выражения высших понятий образованности»³⁸. Обращая внимание на диалектическую взаимозависимость составляющих этого процесса, Пыпин подчеркивал, что «возвышение народных языков на степень языков литературных повторялось во всем славянском мире» (курсив мой. — Е. А.). Литература возрождения «разбилась на множество ветвей, и каждая хотела быть самостоятельной», поэтому наряду с «обширными» литературами были и «микроскопические — и по числу тех, для кого они предназначались, и по числу и даже качеству произведений, их составлявших»³⁹.

Рассматривая это явление, Пыпин приходил к заключению, что раз «мелкие литературы» возникают, значит, имеют право на существование, и «принудительное противодействие их развитию вредит как тем, что вносит в племенные отношения новую дозу вражды, так и тем, что стесняет, заглушает проявления народности»⁴⁰. Развитие национальных литератур Пыпин считал «непосредственным следствием» и вместе с тем «орудием славянского возрождения»⁴¹. Под воздействием идей возрождения малочисленные народы добровольно отказывались «от близко родственной литературы», чтобы развивать свою собственную (так, от чешской литературы отделилась словацкая, своя литература была у сербов, хорватов, словенцев; у лужичан было сразу две литературы: «одна для нескольких десятков тысяч верхних, другая для нескольких десятков тысяч нижних лужичан») ⁴². Среди деятелей славянского возрождения, как отмечал Пыпин, были люди, опасавшиеся, что развитие «малых литератур» приведет к полному раздроблению сил славянства. В начале своей научной деятельности он и сам разделял это мнение, полагая, что «небольшая литература всегда останется на младенческой степени» и ее роль будет сведена к «элементарным и популярным книгам», в то время как «большие таланты малых народов» смогут реализовать себя в «чужих более сильных литературах»⁴³. При этом Пыпин считал, что не может быть и речи о «вреде» литератур «малых» славянских народов, которые совершают «предварительную работу», приводящую в движение «массу народных сил». Преимущественно педагогическая и этнографическая по содержанию литература способствовала сближению интеллигенции с простым народом, помогала сплачивать национальные силы и укреплять «народное сознание»⁴⁴.

Что касается более развитой литературы «большого» народа, то, по мнению Пыпина, она только обогатилась бы за счет «филиальных» литератур. Он считал, что «большая» литература ни в коем случае не должна притеснять «малые» литературы, чтобы не compro-

метировать «свое достоинство». Преимущество языка и литературы, считал ученый, должно достигаться «силою их внутреннего авторитета, а не принуждением и содействиями администрации»⁴⁵.

Обращая внимание на развитие научных исследований в славянских землях, Пыпин подчеркивал, что наука не может быть «национальной», научные достижения принадлежат всему человечеству, и научные разработки славянских ученых должны также влиться в мировую науку⁴⁶.

Проблематика славянского возрождения включала в себя очень важный вопрос об идеологических основах славянского движения. Наряду с идеологией, одухотворявшей национальный подъем каждого славянского народа в отдельности, сформировалась характерная для ментальности славянских народов идея, отражавшая стремления всего славянства. Славянская идея опиралась на представления о единстве происхождения, общности культуры славян и подразумевала прежде всего сплочение, солидарность славянских народов в борьбе с инонациональным угнетением, за самостоятельное национальное развитие. Развитие этой идеи, обусловленное развитием наций, определенным состоянием общественной мысли и политическими условиями в каждой стране и в славянском мире в целом, привело к формированию различных ее вариантов, учитывавших культурное и политическое сближение или объединение всех или части славянских народов. Славянская идея тесно связана с такими понятиями, как «панславизм», «славянская взаимность», «славянский вопрос» и др. Рассматривая процессы, связанные со становлением и развитием славянских наций, Пыпин особенно пристальное внимание уделял славянской идее, лежавшей в основе теоретической и практической деятельности представителей славянского возрождения. Этот вопрос нашел отражение во многих работах ученого, относящихся к разным периодам времени⁴⁷.

А. Н. Пыпин отмечал, что славянская идея (которую он чаще именовал «панславизмом») является «понятием крайне неопределенным», нечетким; идеологи славянской взаимности, мечтая о будущем «соединении славян в одно великое целое», расходились в определении сущности и путей объединения славянства⁴⁸. Ученый отстаивал мнение, что идея объединения «есть явление новое в истории славянских народов», она не являлась исконно присущей славянству, а зародилась в период национального возрождения благодаря определенным факторам⁴⁹. Позже оформилось идеологическое обоснование объединительных проектов, получившее название «панславизм». Источником этой идеи он называл «глубокий национальный инстинкт и стремление к народно-общественной свободе»; ее «начальные средства» он видел «в национальном предании и в освободительных идеях европейской образованности»; цели

заклучались в освобождении славянских народов и установлении их национальной и культурной солидарности, основанной на этнических и исторических связях⁵⁰.

Национальное возрождение, поднявшее на новую высоту образование, науку, литературу, способствовало осмыслению этнокультурной общности славянства. Вместе с пониманием невозможности поодиночке бороться за свои права это привело к осознанию необходимости сплочения, что и нашло выражение в так называемом панславизме⁵¹. С одной стороны, отмечал Пыпин, воспоминания о былом могуществе целого племени порождали идеализированные панславянские мечтания. С другой стороны, панславизм «становился практически необходимым» в качестве средства общественной борьбы, «в особенности против иноземного угнетения». Логика процесса развития славянских наций, по мнению Пыпина, предполагала, что возрождение отдельных племен завершится возрождением всего славянства, которое должно выразиться не только в области образования, науки и культуры, но и в политической жизни. Таким образом, в умах деятелей возрождения утвердилась идея славянского союза⁵². При этом Пыпин подчеркивал, что панславизм был теоретическим, идеальным, философско-историческим «построением», которое никогда не было «правительственной системой»⁵³.

Термин «панславизм» был, по словам Пыпина, столь же неопределенным, как и понятия о его «элементах и действительных силах». В чем была его сущность и цель, «какой связи и объединения искали славянские народы», этого, писал ученый, они еще сами не знали⁵⁴. Не делая окончательного вывода, Пыпин давал свое определение панславизму, который, по его мнению, не представлял собой «выяснившееся движение», а был «теорией, идеалом, порывом», возникшими в поисках лучшего будущего и выхода из тяжелого положения славянских народов⁵⁵.

Пыпин подробно рассмотрел различные варианты и интерпретации панславизма⁵⁶. При этом он постоянно подчеркивал диалектическую связь между идеалом «панславянского отечества» и «национальным вопросом». Идеал стал общим, поскольку славянские народы принимали его, как только перед ними вставали национальные проблемы⁵⁷. Тем не менее, Пыпин верно подмечал, что в период формирования наций на первый план неизменно выдвигались собственные национальные задачи, что представляло собой закономерное и в целом прогрессивное явление⁵⁸. Он неизменно относил панславизм «к числу самых характеристических проявлений национальной идеи»⁵⁹ (курсив мой. — Е. А.). Романтически окрашенная идея «всеславянства», не исчезая совсем, оставалась лишь «отвлеченной почвой», общим фоном. То почти затухая, то активизируясь, эта идея все больше использовалась в интересах политической

борьбы каждого славянского народа, причем задачи, которые «обслуживала» славянская идея, у разных народов были порой совершенно различны⁶⁰.

Пыпин выделял две причины (внутреннюю и внешнюю, субъективную и объективную), которые способствовали стремлению к межславянскому общению и формированию идеала всеславянского единения. Это — «внутренние возбуждения» славянских народов в период возрождения, основанные на чувстве племенного родства, и «внешняя опасность», угрожавшая существованию славян со стороны иноплеменных сил⁶¹. Порожденная национальными движениями идея «всеславяинства», оформившись, в свою очередь оказала влияние на национальные движения, которые, как отмечал Пыпин, еще более усилились, «когда в помощь домашнему народному интересу возникло сознание общеплеменного пробуждения, связи всеславянской»⁶².

При любых возможных вариантах единения славян, подчеркивал Пыпин, права отдельных народностей «требуют самого внимательного и осторожного обращения». О необходимости учитывать это диалектическое единство Пыпин писал: «Общий национальный интерес племени, как здоровая нравственная сила, может вырасти только на признании народностей частных» (когда славянские народы будут спокойны за свое существование, у них скорее возникнет «потребность собраться и сосредоточиться» перед внешней угрозой)⁶³.

Изучая славянскую идею, Пыпин выделял определенные стадии ее развития, которым соответствовали те или иные формы ее выражения. Так, 30-е гг. он называл «медовым месяцем панславянских мечтаний и стремлений»⁶⁴ и рассматривал романтически окрашенные научный и литературный варианты панславизма. 1848 г. и последующие периоды были уже связаны в значительной мере с политическими интерпретациями идеи славянского единства. Пыпин показал, что различные варианты славянской идеи имели как прогрессивный, так и консервативный и даже реакционный характер, сводя на нет идею объединенного славянства.

Пыпин отстаивал мнение, что славянская идея (какую бы форму она ни принимала) представляет собой специфическую форму идеологии национального возрождения славянских народов или, по крайней мере, очень важный ее компонент. Именно примат национальной идеи перед общеславянской являлся, по мнению ученого, препятствием практическому объединению славян⁶⁵.

Наблюдая за развитием национального движения славянских народов, Пыпин приходил к выводу, что для их объединения нет реальных оснований, но не исключал полезности и возможности в отдаленной перспективе совместных действий славян в тех или иных областях.

Рассматривая славянское возрождение в целом, Пыпин в то же время замечал, что, несмотря на приблизительную одновременность начала этого исторического явления у всех славянских народов, у каждого народа национальное пробуждение «возникало отдельно, без какой-нибудь связи с другим племенем, у каждого по своим особым причинам и с особым характером», каждое славянское племя своим путем «приходило к национальному сознанию и работало для его укрепления»⁶⁶. В связи с этим Пыпин не только дал общие характеристики славянского возрождения, но и осветил процесс возрождения каждого славянского народа.

А. Н. Пыпин обращал внимание на то, что у *болгарского* народа возрождение по-настоящему началось позже, чем у многих других славянских народов — в 30–40-х гг. XIX в., но проходило аналогичные стадии развития⁶⁷.

Находившийся в течение нескольких веков под османским и фанариотским игом болгарский народ, напоминал Пыпин, был низведен до состояния «простой рабочей силы». Движение в защиту болгарского народа началось в среде низшего и среднего болгарского духовенства⁶⁸.

Наиболее ранним проявлением и «первым толчком» болгарского возрождения Пыпин называл труд иеромонаха Паисия Хилендарского «История славенобългарская о народах и о царях и святых българских, и о всех деяниях българских» (1762). В книге, написанной «на полуцерковном языке», доказывалось, что у болгар есть своя славная история, достойными которой они должны быть⁶⁹. Ученик Паисия Софроний Врачанский в 1806 г. издал первую книгу на новоболгарском языке⁷⁰.

В 20–30-х гг. внимание к болгарам привлек своими исследованиями Ю. Венелин. Его труд «Древние и нынешние болгаре»⁷¹ произвел сильное впечатление на немногочисленных образованных болгар. Венелин, по определению Пыпина, больше, чем кто-либо другой, способствовал пробуждению национального сознания болгар, рассматривая вопросы их истории и этнографии. Его труды нашли «горячее сочувствие» у деятелей болгарского возрождения⁷².

В Болгарии стали открываться школы для народа. Пыпин отмечал, что существенную поддержку делу народного образования оказали болгары, жившие в Одессе (В. Априлов, Н. Палаузов) и Бухаресте. Часть болгарской молодежи получала образование в России и странах Западной Европы. В 30–40-х гг. за пределами Болгарии возникали болгарские типографии, издававшие преимущественно «народно-педагогическую литературу»⁷³.

С 40-х гг., по мнению Пыпина, болгарское возрождение сделало качественно новый шаг в своем развитии. В национальное движение вступило поколение, получившее образование за границей

и знакомое с европейскими освободительными идеями. Его представители подходили к «национальному делу» вполне сознательно, не ограничиваясь сферой народного образования, а имея в виду также проблемы существования нации. Начало было положено церковным вопросом, который, по оценке Пыпина, «был для болгар первым опытом политического самосознания» и борьбы «за свое народное право»⁷⁴. После Крымской войны началась открытая борьба с фанариотами за болгарскую церковь. Пыпин видел национальное содержание в этом религиозном по форме движении, результатом которого стала «национально-церковная автономия» (в 1870 г. был учрежден болгарский экзархат)⁷⁵.

Если до середины XIX в. болгарское возрождение, по мнению Пыпина, проявлялось «отрывочно», то в 50–60-х гг. оно стало заметным. Публицистика в болгарских органах печати, издававшихся за пределами Болгарии, становится «не лишенным значения фактором политической жизни», ставя вопросы о правах болгарского народа. В это время стали выходить в свет этнографические сборники. Ранняя болгарская история заняла «важное место в разысканиях о древнейших судьбах славянской православной церкви, первого просвещения и письменности у болгар, сербов и русских»⁷⁶.

Среди деятелей болгарского возрождения Пыпин называл П. Славейкова, Н. Герова, К. Жинзифова, Л. Каравелова, братьев Миладиновых, Г. Раковского, М. Дринова и других писателей, поэтов, публицистов, этнографов, историков, большинство из которых принимали самое активное участие в национально-освободительной борьбе. Благодаря усилиям таких людей, литература болгарского возрождения, по данным, приведенным Пыпиным, насчитывала ко второй половине 70-х гг. более 800 книг и свыше 50 периодических изданий. Эту литературу ученый оценивал как самостоятельную, подающую большие надежды, но в некоторых отношениях незрелую⁷⁷.

Наблюдая за развитием болгарского возрождения, Пыпин мог в конце 70-х гг. XIX в. сделать вывод, что «прочные формы» литературного языка еще не установились, не принято единое правописание. Переход от древних форм к современному литературному языку у болгар (как и у сербов) осуществлялся не постепенно, а «скачком». Пыпин указывал, что история болгарского языка, его современное состояние, его наречия еще ждут своих исследователей⁷⁸.

Этнографические и исторические исследования в Болгарии стали развиваться, по мнению Пыпина, под влиянием западнославянской, русской и западноевропейской науки⁷⁹. В силу объективных причин Болгария не располагала достаточными средствами для научных работ. Работы иностранных ученых о Болгарии объективно помогали болгарам «познакомиться с их отечеством». Пыпин сделал

интересное наблюдение, что национальное возрождение «поддерживалось и чужими силами, когда свои еще не могли действовать»⁸⁰.

Пыпин обратил внимание на то, что «печальное положение» народа заставило болгарских патриотов в поисках опоры для национального движения в героических событиях прошлого иногда прибегать к мистификациям, к подделкам древних памятников (многие специалисты опровергали подлинность изданного С. Верковичем в 1874 г. в Белграде сборника «Веда Славян») ⁸¹.

В последнее перед освобождением Болгарии десятилетие, как отмечал Пыпин, национальные стремления болгар достигли уже «полной определенности». О политической свободе думали не только образованные люди, но и простой народ, который вел «с турками партизанскую гайдуцкую войну»⁸².

Не соглашаясь с характеристикой гайдучества как «разбойничества», Пыпин утверждал, что это движение, возникшее в Болгарии и Сербии в ответ на насилие турецких властей, было внутренним народным и имело «национально-героический и освободительный характер»⁸³. Во время Русско-турецкой войны 1877–1878 гг. тысячи членов гайдуцеских отрядов пополняли болгарское ополчение ⁸⁴.

О падении Османской империи и возрождении южных славян Пыпин писал как о «давно назревавшем историческом процессе». Однако соперничество европейских держав в области дипломатии препятствовало скорейшему разрешению балканского кризиса. Отношение Европы к славянам определялось политическими интересами и опасением усиления России ⁸⁵.

Пыпин уделял немало внимания отношению русского государства, общества и народа к южнославянскому вопросу. Россия, считал он, способна оказать угнетенным народам военную помощь в деле освобождения от «страшного ига». Вмешательство России в решение судьбы балканских славян определялось и «национальным сочувствием» в обществе к «славянскому делу», и политическим интересом в черноморском регионе (в частности, приобретением надежных союзников среди родственных славянских народов). Он писал о пожертвованиях и отправке добровольцев на Балканы, о широкой кампании в печати в поддержку освобождения славян. Отмечая искренность симпатий к единоплеменникам и единоверцам, Пыпин в то же время подчеркивал, что русское общество и народ очень мало знали о них. К тому же, добавлял он, движение в поддержку славян не снимало с общества первостепенной обязанности — заботиться об изменении «внутреннего положения» в своей стране ⁸⁶. Это, в частности, как и уважительное отношение к освобождаемым народам, лишь повысило бы авторитет России на Балканах, который, по мнению Пыпина, невозможно удержать только силой ⁸⁷.

Освобождение Болгарии Пыпин считал «великим историческим фактом»; однако его значение подрывалось Берлинским трактатом, согласно которому «из приобретений сан-стефанских делались все новые и новые уступки»⁸⁸. Критикуя Берлинский конгресс и его политические последствия для Болгарии, Пыпин призывал помнить и о том, что и Россией было допущено немало ошибок в балканском вопросе накануне, в ходе и после войны, в частности, в период русского гражданского управления. Эти ошибки давали повод деятелям национального движения для «опасения за автономию своего народа»⁸⁹. Пыпин отчетливо понимал, что русское влияние на умы южного славянства (в сфере образования, свободной печати, литературы, науки, в экономической деятельности и гражданском общественно-политическом развитии) может быть завоевано только в конкурентной борьбе с Западом⁹⁰.

Вскоре после окончания русско-турецкой войны, принесшей освобождение болгарскому народу, Пыпин писал, что «совершается великий переворот» в жизни болгар, для которых первоочередным становится вопрос политических преобразований (Болгария осталась «лишь номинально зависимою», а, по сути, стала свободным конституционным государством)⁹¹. В этот период болгары, указывал Пыпин, испытывали «неясность и неурядицу переходного положения», что отражалось на внутренних и внешних делах Болгарии. Болгарскому народу, считал Пыпин, нужно сначала создать свое управление, войско, школу, литературу и т. д. — все, что «требуется для цивилизованного существования». Вместе с тем ученый отмечал, что в Болгарии уже начался процесс «внутреннего преобразования» и «приспособления национальных данных быта и характера к новым условиям политической свободы и просвещения»⁹². Только что обретший свободу народ («накануне составлявший бесправную раю») оказался «совершенно способным к европейским свободным учреждениям, к народному представительству, к свободе печати и т. д.»⁹³. Тем не менее он полагал, что болгары находятся на такой ступени своего возрождения, которую многие другие народы уже прошли, поэтому одной из первых забот болгарских властей и общества после освобождения, по мнению Пыпина, должно стать развитие образования. С этой проблемой тесно связаны задачи литературной обработки живого языка, принятия единого правописания и т. п. Пыпин считал, что русские научные силы могли бы помочь болгарам в историческом и этнографическом изучении их родины⁹⁴.

Вместе с тем Пыпин отмечал, что болгарский вопрос не решен до конца — Болгария оставалась раздробленной⁹⁵. Присоединение через несколько лет к Болгарии Восточной Румелии Пыпин рассматривал как естественное событие, которое «указывалось здравым смыслом», поскольку происходило объединение нации⁹⁶.

В конце XIX в. Пыпин отмечал, что после «периода мрачной стамбуловщины»*, когда русско-болгарские отношения осложнились, наступили другие времена, и вернулось дружеское взаимное расположение России и Болгарии. Но чтобы не повторялись печальные явления прошлого, необходимо, как полагал Пыпин, хорошее знание родственными народами друг друга⁹⁷.

Проследивая события, связанные с национальным пробуждением и национально-освободительным движением болгарского народа на протяжении XIX в., Пыпин выявил различные факторы, влиявшие на национальный подъем⁹⁸. Ученый считал, что освобождение Болгарии и начало эпохи самостоятельного существования должны были способствовать завершению процесса возрождения и решению задач формирования нации.

Исторические судьбы югославянских народов сложились неодинаково, в результате чего к концу XVIII в. они находились в составе разных государств. Условия их национального развития были различны, что накладывало отпечаток на характер их национального возрождения. К тому же они придерживались разных религиозных воззрений, что также сказывалось на внутриславянских отношениях в период национального подъема. У сербов, как считал Пыпин, национальное возрождение проходило «иначе и успешнее», чем у болгар. Положение сербов, по оценке ученого, было не столь тяжелым; их «политическая полунезависимость сохранялась долее». К тому же «сербское племя» жило не только на территории Османской империи, но и в адриатическом Приморье, и в австрийских землях (т. е. не все сербское население испытывало жестокий турецкий гнет)⁹⁹. Пыпин очень точно уловил и отразил «двуцентровой» характер¹⁰⁰ национальных процессов у сербов.

Возрождение у православных сербов Османской империи «утверждается прочно» в начале XIX в., когда в результате Первого (1804–1813 гг.) и Второго (1815 г.) сербских восстаний произошло «политическое освобождение Сербии (хотя и неполное)». Образование Сербского княжества (1830 г.)**, как первая победа, по мнению ученого, укрепило национальное возрождение «сознанием выдержанной борьбы»¹⁰¹.

Пыпин отмечал, что у сербов (как и у болгар) вера, язык и предание составляли наследие старины, с которым народ надеялся вернуть свободу. Косовская битва оставила сильный след в народной

* После избрания на болгарский престол в 1887 г. Фердинанда Саксен-Кобургского к власти в Болгарии пришло правительство С. Стамболова, противника России, установившего в стране военно-полицейскую диктатуру. Стамболов был отправлен в отставку в мае 1894 г.

** Султанский указ провозглашал Сербию самоуправляющимся княжеством под верховной властью Турции.

памяти; с ней были связаны воспоминания о мужестве и героизме сербского народа, о православной церкви, помогавшей сохранять народность (слово «серб» стало синонимом православного). В возрождении сербского народа Пыпин отводил значительную роль сербскому эпосу, отмечая, что юнацкие песни — это и история народа, и «единственное средство общенародного сознания о совершающихся событиях»¹⁰². Еще одним признаком возрождения была организация народных школ.

Австрийские сербы, как отмечал Пыпин, также организовывали свои школы. В 1771 г. у них возникла первая сербская типография. Начался переход «от старой церковной книжности к новому образованию». Старый «славено-сербский язык» (смесь церковнославянского с народным) долго использовался сербами в качестве литературного языка. Среди представителей «славено-сербской школы» Пыпин называл историка И. Раича, написавшего «Историю разных славенских народов, наипаче же Болгар, Хорватов и Сербов» (Вена, 1794—1795. Ч. 1—4)¹⁰³.

Но «славено-сербский» язык должен был уступить место народному языку, на котором стала развиваться новая сербская литература. Первым представителем этой литературы Пыпин называл Досифея Обрадовича, воспринявшего освободительные идеи XVIII в. и начавшего издание книг гражданским шрифтом. С него, по словам Пыпина, началась сербская литература, обращенная к народу и его нуждам, проникнутая гуманизмом и любовью к науке. Досифей Обрадович отстаивал веротерпимость и мечтал о соединении разрозненных частей сербского племени в одно крепкое государство. «Это был, — писал Пыпин об Обрадовиче, — прямой и непосредственный начинатель сербского возрождения»¹⁰⁴. Но он не произвел еще реформы в области языка и литературы.

Задачу реформирования литературного языка решил Вук Караджич. Он разработал новое сербское правописание и в основу литературного языка положил язык народа (под давлением «славено-сербской партии» книги Караджича и разработанное им фонетическое правописание были сочтены «вредной ересью» и запрещены в Сербском княжестве вплоть до 60-х гг.). Находя некоторые недостатки в системе литературного языка, предложенной Караджичем, Пыпин оценивал ее в целом как имеющую важное значение для сербского национального развития. Заслугу Караджича Пыпин видел также и в раскрытии богатства сербской народной поэзии. Для славянского возрождения открытый Караджичем сербский эпос был своего рода «новым „историческим правом“». Научные труды Караджича, по оценке Пыпина, тоже составили «эпоху в славянской литературе», ученый называл их «энциклопедией» этнографических сведений о сербском народе¹⁰⁵.

В реформаторской деятельности Караджича Пыпин усматривал прежде всего стремление сербов свободно и независимо от каких-либо чужих влияний «выразить свою национальность»¹⁰⁶. Это была исторически необходимая ступень национального возрождения, которую проходили и другие славянские народы¹⁰⁷.

Пыпин отмечал, что развитие народного образования вызвало учреждение в 1826 г. «Матицы Сербской», ставшей вскоре не только литературным, но и «ученым обществом». Вслед за ней появились матицы в Загребе, Задаре, Любляне¹⁰⁸. Стали издаваться сербские периодические издания и альманахи.

Пыпин обращал внимание на то, что в первой трети XIX в. литературно-научная деятельность осуществлялась в основном в австрийской Сербии, где для этого было больше условий и возможностей. Но с 30-х гг. национально-литературное движение начинается и в княжестве Сербия. В 40-е гг. в Белграде был открыт музей и основано «Общество сербской словесности», ставившее своей целью обработку языка и распространение наук (в 1864 г. оно было преобразовано в «Сербское ученое общество»). Издававшийся с 1847 г. научный журнал «Гласник» помещал материалы по сербской истории и древней литературе. Начали выходить научные исследования по истории, этнографии, языкознанию¹⁰⁹.

По наблюдениям Пыпина, в 60-х гг. сербское возрождение приобрело новые черты. Национально-политические интересы стали проявляться в движении, которое возглавила организация под названием «Омладина» (с 1866 г.), стремившаяся к достижению свободы своей родины и объединению югославян¹¹⁰. Ученый обращал внимание на то, что цели сербских националистов нашли отражение в идеологии «пансербизма».

Пыпин критически относился к славянофильской позиции «старшинства» русских по отношению к сербам, он резко высказывался против роли «незванного и непрошеного наставничества», которую славянофилы пытались навязать сербам с 1861 г. («Послание к сербам»)¹¹¹.

В 70-х гг. Пыпин пристально следил за развитием событий на Балканах. Сербия находилась «между надеждою свободы и страхом гибели», не чувствуя стабильности «ни в политическом, ни в национальном отношении». Свои чаяния сербы связывали с Россией, в то же время опасаясь, что освободители могут сделать «из Сербии русскую губернию». Пыпин утверждал, что русско-сербские отношения могут быть крепкими лишь на основе уважения «к чужой личности, к чужому общественному типу, народности»¹¹². Он считал, что укрепление связей двух родственных народов возможно на основе взаимного изучения, знакомства с литературами и сближения «нравственно-политических и образовательных интересов»¹¹³.

Ученый был убежден, что сербский народ, «показавший в своей истории столько силы», имеет будущее, имеет перспективы самостоятельного развития. Политическое освобождение и объединение сербского народа составляет «неотвратимую» историческую задачу¹¹⁴.

Относительно «новым», по сравнению с другими частями «югославянского племени», Пыпин считал *хорватское* возрождение¹¹⁵. Хорватам, находившимся под двойным подчинением (венгерским и австрийским), «грозила двойная опасность». В конце XVIII в. у них начинает пробуждаться «инстинкт самосохранения». Приоритетную роль в деле подъема народного образования и «возвышения» народного языка Пыпин отводил Т. Миклошичу и его последователям¹¹⁶.

Настоящее хорватское возрождение Пыпин относил к 30-м гг. XIX в. Оно осуществлялось, как подчеркивал ученый, «опять в особой форме»¹¹⁷. Толчок хорватскому возрождению*, по мнению ученого, дали «национальные притязания венгров». Таким образом, национальный подъем одного народа явился ответом и на чуждое влияние и притеснения, и на аналогичное национальное пробуждение господствующего народа. Отличием хорватского движения, как полагал Пыпин, было и то, что национальная литература развилась как отражение «политического вопроса»¹¹⁸.

Хорватская оппозиция политическому и национальному господству венгров выразилась сначала в защите латинского языка, который был заменен на венгерский в официальной сфере, церкви и школе. Это подтолкнуло развитие собственного национального движения — «иллиризма». Пыпин отмечал, что это движение требует изучения и оценки. Венгры, например, представляли его как «плод интриги австрийского правительства». Но Пыпин решительно не соглашался с подобной оценкой; он считал, что иллиризм был выражением «давнего брожения национальных сил»¹¹⁹.

В 30-х гг. XIX в. общественно-политическое и культурное движение — «иллиризм» — принесло «идею политического освобождения и сербо-хорватского единства». Использование хорватской литературой, как отмечал ученый, «иллирского» языка (языка «старой западно-сербской литературы») входило в задачу соединения югославянского племени «в одно национальное целое»¹²⁰.

В то же время перед хорватским национальным движением в 30-х гг. XIX в. встал вопрос, который решали почти все славянские народы — вопрос о литературном языке. Основу языка хорватов составляет «кайкакское» наречие, но литература на нем имела бы,

* Пыпин отмечал, что, в отличие от «живого народного эпоса» сербов, хорватский народный эпос «или вовсе не существует, или очень скуден» («вопрос остается еще открытым»).

по мнению Пыпина, ограниченные пределы распространения¹²¹. Пыпин с одобрением отзывался о признании хорватами в качестве литературного более распространенного сербского языка, но при употреблении латинского алфавита. Пыпин считал такое решение «благом» для общего дела и определял как «очень редкий пример литературного самоотречения» в славянском мире¹²².

Лидером иллирийского движения Пыпин называл Л. Гая, преобразовавшего хорватскую орфографию и издававшего политическую газету «Novine Horvatzke»¹²³.

Начавшееся как национально-культурное движение, иллиризм, по утверждению Пыпина, в 40-х гг. оформляется в политическую партию и выступает с требованиями отделения от Венгрии. Политическая программа этой партии, как подчеркивал ученый, преследовала в первую очередь национальные интересы, хотя идеологи движения призывали к объединению южнославянских народов — сначала литературно-языковому, затем и политическому. Открытая борьба хорватов против венгров началась, по словам Пыпина, «в политической полемике», затем продолжилась «в уличных демонстрациях» и в боевых действиях «с оружием в руках» в 1848–1849 гг.¹²⁴

С 1848 г. Пыпин связывал новый этап в национальном движении югославян, когда австрийские сербы и сербы княжества стали союзниками хорватов. Совместно они оказали помощь австрийскому правительству в подавлении венгерского восстания. И хотя австрийские власти обманули ожидания славян (централизация охватила славянские земли, в Хорватии вместо мадьяризации началась германизация), «патриотическое одушевление» осталось. Формировались политические группировки («партии») со своими периодическими органами печати. Создавались «патриотические кружки», в задачи которых входило распространение образования в народе¹²⁵.

Отмечая развитие идеологии «панхорватизма» параллельно идеологии «пансербизма», Пыпин напоминал, что сербское и хорватское движения не только шли независимо друг от друга, но и «относились ревниво друг к другу», претендуя на главенство «в сербо-хорватском мире»¹²⁶.

В конце 70-х гг. Пыпин отмечал, что в Хорватии нет объективных условий для открытой борьбы. В такой ситуации, при «невозможности практического действия развивается политическая фантазия». К нереальным он причислял идеи «панхорватизма», притязания на Боснию и Герцеговину и др. В то же время к «отрадной стороне» национального развития хорватского народа Пыпин относил усиление «научной и образовательной деятельности», что, по его взглядам, могло привести к лучшему осознанию национальных интересов и задач. Одним из шагов на этом пути являлось основание в 1867 г. в Загребе Юго-Славянской академии. Среди

ученых Пыпин особенно выделял И. Штросмайера, Ф. Рачкого, В. Ягича¹²⁷.

В других частях «сербского племени» Пыпин также отмечал признаки возрождения. Первым вкладом в национальный подъем *черногорского* народа он считал сочинение владыки Черногории Василия Петровича «История о Черной Горе» (1754). Последующие правители также вносили свою лепту в развитие национальной культуры. До 50-х гг. XIX в. «владыка» был и главой церкви (митрополитом), и князем, и военачальником, иногда — и народным поэтом. Последний черногорский владыка Петр II Петрович Негош, по оценке Пыпина, «один из лучших сербских поэтов нового времени». Ученый отмечал оживление деятельности в области национальной литературы с 60-х гг. XIX в. В 1870 г. в Цетинье начала издаваться первая черногорская газета «Црногорац» (затем «Глас Црногорца»)¹²⁸.

Территория *Далмации* и *Дубровник* в начале XIX в., напоминал Пыпин, были включены в состав так называемой Иллирии, подвластной Франции, а после Венского конгресса (1814) — Австрии¹²⁹. Ученый подчеркивал, что общее возрождение югославянских народов там «отразилось теми же стремлениями к обособлению национальности и изучению народа и старины». Иллиризм нашел сторонников в Далмации и повлиял на развитие общеславянского сознания. Процесс возрождения активизировался в 40-х гг. XIX в., но столкнулся с «таким же стеснением», как и хорватский «иллиризм». С 50-х гг. деятельность, направленная на подъем славянского движения, пришла в упадок, но, как утверждал Пыпин в конце 70-х гг., «патриоты не теряют надежды на будущее»¹³⁰.

Национальное движение постепенно развивалось и в *Боснии*. Первая книга, как отмечал Пыпин, была напечатана там в 1866 г., тогда же стала издаваться газета «Босна» — официальное издание (на сербском и турецком языках)¹³¹.

Во время балканских событий 70-х гг. Босния и Герцеговина первыми подняли восстание против Османского владычества, а в результате, по словам Пыпина, «получили весьма прискорбную участь» — австрийскую «оккупацию». Берлинский трактат (1878) не решил проблемы этих земель, которые, как отмечал Пыпин, нуждались в освобождении, как и прежде, и чувствовали себя «преданными». То, что происходило в Боснии и Герцеговине, занятой австрийскими войсками, Пыпин называл не «оккупацией», а «резней». При этом, замечал Пыпин, Австрия получила две богатые провинции, ничего не сделав для освобождения балканского славянства от турецкого ига. В этих землях стала распространяться австрийская культура, подавляя развитие местного «национального элемента». Босния и Герцеговина должны были стать ступенью на пути к завоеванию Австрией всего Балканского полуострова¹³².

В самом начале XX в. Пыпин отмечал, что в Боснии и Герцеговине за время австрийской оккупации налицо «цивилизационный прогресс»: построены железные и шоссейные дороги, промышленные предприятия, развивалось сельское хозяйство, открыты новые школы, церкви. Но при этом не учитывались национальные интересы народа. Босния и Герцеговина постепенно превращались в колонию, использовались для сбыта австрийских товаров и помещения свободных капиталов, что подрывало местную экономику. Происходила «денационализация» местных жителей, православное население подвергалось окатоличиванию. Кроме того, на этих землях велась усиленная пропаганда «национально-хорватской» идеи. В целом, подытоживал Пыпин, процесс «водворения чисто австрийского режима» зашел очень далеко; правительство руководит и церковью, и школой, и Австрия рассчитывает со временем «превратить оккупацию в полное присоединение»¹³³.

У словенцев, наравне с другими славянами, в конце XVIII в., как отмечал Пыпин, появляются попытки осознания «своего национального интереса». Как и у других народов, у них велась выработка литературного языка, составлялись словари, принималось новое правописание. Особое внимание учеными уделялось славянской древности, мифологии, филологии. Народная поэзия словенцев, как замечал Пыпин, «не богата и очень мало изучена». Политическое оживление, связанное с событиями 1848 г., сопровождалось появлением политических изданий, призывами к национальному возрождению, организацией различных обществ. В 1865 г. была основана Словенская Матица¹³⁴. По мнению Пыпина, ввиду малочисленности словенцев широкая литературная и научная деятельность на их языке была невозможна, поэтому писатели и ученые (такие, как Е. Копитар и Ф. Миклошич, известные трудами в области языкознания) вынуждены были издавать свои труды на немецком языке¹³⁵. Пыпин обращал внимание на то, что германизация в Словении была довольно ощутимой и проявлялась в различных сферах. Однако стремление к «национальной особности» удерживало словенский народ от «окончательного падения»; это же стремление препятствовало объединению с хорватским движением. С 60-х гг. XIX в., по наблюдениям Пыпина, у словенцев началось «оживление» национальной жизни¹³⁶.

Национальные процессы в *Македонии* Пыпин вначале рассматривал с точки зрения болгарского освободительного движения. Македонию он называл «болгарским краем», населенным преимущественно болгарами. Он относил возрождение этого края, как и «македонского наречия», к области явлений болгарской истории и культуры (в пользу этого свидетельствует упоминание братьев Д. и К. Миладиновых — участников культурно-просветительного движения

Македонии, в ряду деятелей болгарского возрождения). В Македонии, по мнению Пыпина, национальное движение было слабее, чем в других болгарских областях, так как там была сильна греческая фанариотская пропаганда (мечты о восстановлении Византийской империи и территориальном распространении греков). Ученый считал, что присоединение Македонии к Болгарии есть «капитальный национально-политический вопрос»¹³⁷.

Но по Берлинскому мирному договору Македония осталась турецкой провинцией и стала «яблоком раздора» между болгарскими, сербскими и греческими политиками, как отмечал Пыпин на рубеже XIX–XX вв. Ее судьба, писал он, зависит от «степени политической и культурной энергии» самой Македонии и ее соседей. Ученый изменил свою прежнюю точку зрения, заявляя, что в македонском вопросе вовсе не становится «на сторону болгарских притязаний»; он полагал, что самое справедливое решение этого вопроса могло бы быть достигнуто беспристрастным опросом населения¹³⁸.

Больше всего внимания Пыпин уделил *чешскому* возрождению, которое представляло, по его оценке, «один из главных фактов» славянского движения XIX в.¹³⁹ Чешскому национальному подъему он придавал особое значение в целом славянском возрождении, указывая на его особенности и общие для всех славянских народов черты. «У чехов, — писал Пыпин, — возрождение шло своими путями, опять отдельно, и проистекало из их собственных данных и условий». Чехам грозило полное онемечивание. Но в то же время, в эпоху правления Иосифа II, в общество проникали и освободительные, «просветительные и гуманные идеи», давшие толчок национальному пробуждению. Национальный «инстинкт», исторические воспоминания и «гуманитарная образованность» того времени явились, по мнению Пыпина, теми факторами, которые «положили первые основания» возрождения¹⁴⁰.

В процессе-возрождения, начавшегося в конце XVIII в., Пыпин выделял несколько этапов. Первый этап он связывал с изучением чешской истории, защитой прав чешского языка, развитием литературы¹⁴¹. Одним из тех, кто стоял у истоков нового национального движения, Пыпин называл В. М. Крамериуса¹⁴². Первые чешские ученые были в основном из среды духовенства. Ф. М. Пельцель содействовал пробуждению «национального чувства», труды И. Добровского легли в основу чешского возрождения и способствовали тому, что чешское национальное самосознание «стало опираться на общеславянскую историческую основу»¹⁴³.

Новая генерация «энтузиастов возрождения» являлась в основном выходцами из народных масс (отчасти из среднего класса). Такие ученые и поэты, как П. Шафарик, Ф. Палацкий, Й. Юнгманн, В. Ганка, Я. Коллар, Ф.-Л. Челаковский (как и следующее

поколение — Я. Воцель, К. Эрбен, К. Маха и др.), деятельность и вклад которых в чешское возрождение Пыпин подробно характеризовал, представляли, по его оценке, «замечательные ученые силы, работавшие не только для своей народности, но и для самосознания целого славянства»¹⁴⁴. (Среди деятелей чешского возрождения первого поколения Пыпин назвал словаков П. Шафарика и Я. Коллара, что было не случайно, так как в то время они выступали как представители «общенационального» чешско-словацкого и общеславянского движения.)

Начало того этапа становления нации, когда повысился «уровень национального сознания» и утвердился «новочешский» литературный язык, Пыпин относил примерно к 1820 г. Национальные теории того периода и отношение к народу были окрашены романтизмом и идеализмом. Занимаясь сравнительным изучением славянских народов, чешские ученые первыми проявили интерес к проблеме «давнего единства славянского мира», а поэты призывали к будущему славянскому единению. Это привлекло к чешскому возрождению внимание остального славянства¹⁴⁵.

Поскольку национальное движение нуждалось в опоре на историческое прошлое, свидетельствовавшее о былой независимости, начались, как отмечал Пыпин, усиленные поиски старинных памятников. В случае отсутствия подлинных документов появлялись более или менее искусные подделки («Рукопись Краледворская», «Любушин суд» и др.). Пыпин вначале верил в подлинность чешских находок, потом, под давлением научных аргументов, он изменил свое мнение, но, несмотря на это, рассматривал данные рукописи как свидетельства той эпохи, когда они были созданы. Они давали «пищу для национальной гордости и самосознания» и поддерживали стремления чехов к национальной самобытности. Но именно в этом «побуждении» Пыпин и усматривал своего рода «социальный заказ», «источник открытия». Без этих «находок» чешское движение лишилось «ярких заявлений национальной (именно противонемецкой) исключительности». Подложные памятники, по мнению Пыпина, наносили вред научному изучению чешских и общеславянских древностей, но в то же время приносили и определенную «пользу», оказывая сильное влияние «на ход чешского возрождения»¹⁴⁶.

Пыпин отмечал, что вся чешская литература той эпохи (научная, художественная, популярная, драматургия) представляла замечательное явление славянского движения — «нравственное воскресение почти умиравшей национальности». Ученый подчеркивал, что чешская литература занимала передовые позиции в славянском мире с начала возрождения¹⁴⁷. Вместе с тем укреплялась чешская школа; были организованы Чешский музей, «Матица чешская» и «Матица народная»¹⁴⁸.

В 40-х гг. XIX в. чешское национальное движение вступает в новую фазу — фазу политической борьбы. У чехов появился политический клуб «Славянская липа», политические газеты. «Национальное сознание, — писал Пыпин, — проникло из городских кружков в село». Во время революционных событий 1848 г., напоминал ученый, чехи выступали за сохранение «государственного единства Австрии» на федеративной основе. Пыпин считал, что чешские политики излишне доверяли обещаниям австрийского правительства¹⁴⁹.

Чехи выступили инициаторами созыва в Праге съезда представителей славянских народов Австрии. Одной из главных целей съезда, как указывал Пыпин, было противодействие планам германского объединения, которые предусматривали включение и славянских земель в новое государственное формирование и их германизацию. В документах съезда высказывалось пожелание федеративного устройства государства на основах равноправия всех народов австрийской империи. Несмотря на «верноподданное настроение» славян, писал Пыпин, съезду не удалось закончить свою работу, а после подавления революционных выступлений наступила пора реакции и «оскорбительных притеснений». Национальное движение «опять становилось почти преступлением»¹⁵⁰.

После отмены в 1851 г. октроированной конституции вновь возобладала «бюрократическая централизация», господство немцев и полицейских порядков. «Положение чехов и чешской народности, — замечал Пыпин, — опять стало невыносимо»¹⁵¹. Ученый полагал, что перед чехами стоит задача достижения прежде всего «общественной и политической» свободы, от которой зависит и «свобода национальности»¹⁵².

Федералистские обещания австрийского правительства, нашедшие отражение в «дипломе» 1860 г., быстро сменились централистскими тенденциями «патента» 1861 г. Протесты против ущемления прав национальностей в периодической печати привели к преследованию чешской журналистики (на эту тему Пыпин опубликовал в «Современнике» большую статью под названием «Процессы о печати в Австрии»¹⁵³).

В 60-е гг., как отмечал Пыпин, четко обозначились основные направления национального движения — консервативное («старочехи» во главе с Ф. Палацким) и либеральное («младочехи» во главе с В. Ваврой). Разногласия между ними наметились по вопросам чешского национального движения и по польскому вопросу. Однако и те, и другие, как подчеркивал Пыпин, были «федералисты и защитники исторического права «чешской короны»»¹⁵⁴. А. Н. Пыпин подчеркивал несостоятельность программы, пассивность и нерешительность действий чешских либералов, уповавших на конституцию, довольствовавшихся «ближайшими вопросами», не выходящими

за узконациональные рамки, и не ставивших более широких социальных задач¹⁵⁵.

После введения в 1867 г. системы австро-венгерского «дуализма» положение чехов, как подчеркивал Пыпин, еще более ухудшилось. С этого года чехи перестали посылать своих представителей в рейхсрат. Некоторые события в общественной жизни Чехии (поездка чешской делегации на славянский съезд в Москву, торжества по поводу 500-летия со дня рождения Я. Гуса и др.) Пыпин назвал «яркими национальными манифестациями», на которые правительство, в свою очередь, отвечало объявлением осадного положения в Праге. В 1879 г. правительство «намекнуло на уступки», и чехи вновь послали в рейхсрат своих депутатов. Но Пыпин, неоднократно писавший о коварстве австрийского правительства, с сомнением относился к тому, что власти учтут интересы чешского народа¹⁵⁶ (и, как выяснилось, оказался прав).

В начале XX в., подводя итоги развития чешской нации за прошедшее столетие, Пыпин отмечал, что на этом пути достигнуты вполне определенные результаты — целый народ возродился к национальной жизни¹⁵⁷.

Национальные процессы, происходившие у *словаков*, представлялись Пыпину также заслуживающими внимания. Он напоминал, что до конца XVIII в. словаки пользовались чешским литературным языком или латынью. Затем последовало введение венгерского языка в сфере образования, в управлении, суде, военных и церковных делах. В религиозном отношении словаки исповедовали как католицизм, так и протестантизм. Литература, возникавшая в кругах протестантского духовенства «говорила» чешским языком. В ней проявлялся большой интерес к истории своего народа и «общеславянской» истории, что сближало ее с литературой чешского возрождения. Католическое духовенство, считая чешский язык протестантов «еретическим», писало на словацком языке (А. Бернолак составил словарь словацкого языка и выработал способ письма, получивший название «бернолачина»). В 30-х гг. словацкую литературу прославил, как отмечал Пыпин, национальный поэт Ян Голый, признанный и католиками, и протестантами¹⁵⁸.

В словацком возрождении Пыпин также видел черты, отличавшие его от аналогичных процессов у других славянских народов. Он отмечал, что у словаков не было такого «исторически памятного» прошлого, которое они могли надеяться восстановить, отсутствовала «всякая мысль о возможности отдельного политического бытия», и потому весь национальный пыл у них «обращался на патриотизм идеальный, на отечество всеславянское, на панславизм — в том или другом смысле и объеме». Характерно, что поэт-словак Я. Коллар написал поэму о славянском единстве — «Дочь Славы»,

а ученый-словак П. Шафарик исследовал славянскую этнографию, общую славянскую древность и историю славянской литературы. Оба деятеля, как отмечал Пыпин, не помышляли о самостоятельности словацкого народа, который они считали «частью чешского племени», а также об отдельном литературном словацком языке. Тем не менее они уделяли внимание изучению и изданию словацких народных песен, и потому, считал Пыпин, их труды, действуя на национальное чувство словаков, способствовали «сепаратным стремлениям» словацких патриотов¹⁵⁹.

Возрождение словаков, как подчеркивал Пыпин, развивалось параллельно с венгерским национальным движением и в основном как реакция на него. Борьба велась в политической, церковной, литературной областях. Вместе с тем в 30-е гг. стало все сильнее проявляться желание словацких патриотов «быть не „чехо-словаками“, а именно и исключительно словаками». Стремление к отдельной литературе теперь поддержали не только католики, но и протестанты¹⁶⁰.

Наиболее ярким представителем словацкого возрождения Пыпин называл Л. Штура, который энергично выступал в защиту прав словацкого народа. Под его редакцией выходила газета на словацком языке («Slovenské národné Noviny»), которая составила, по определению Пыпина, целую «эпоху в умственном и общественном развитии словаков», способствуя росту национального самосознания. Перу Штура принадлежит работа «Славянство и мир будущего» (1852–1853). В литературном языке Штур заменил тернавское наречие «гораздо более чистым», по словам Пыпина, тренчинским наречием (в нововведениях Штура чехи увидели «настоящую измену общенациональному чехо-словенскому делу»). Штура не привлекало чешско-словацкое единство, у него, как отмечал Пыпин, был более широкий взгляд на славянскую взаимность. Однако на первом месте стояли «настоятельные требования времени и ближайшего народного интереса»¹⁶¹.

Активными участниками словацкого национального движения Пыпин называл также И.-М. Гурбана, М.-М. Годжу, Я. Краля, М. Гатталу и др.¹⁶²

В 1848 г. словацкие волонтеры участвовали в военных действиях против венгров. 1848 год, как отмечал Пыпин, принес словацкому народу некоторую свободу: было уничтожено крепостное право, словаки получили гражданские права, появилась свободная печать. Но в своем политическом положении относительно положения венгров словаки ничего не выиграли¹⁶³.

В период реакции наблюдался упадок словацкого национального движения, которое вновь оживилось в 60-х гг. Словаки требовали признания национальной равноправности, добивались (хотя и

безуспешно) употребления родного языка на словацких землях. Это, по мнению Пыпина, возбудило народный патриотизм. Новый импульс получила общественная и литературная деятельность; в 1863 г. была основана словацкая «Матица». Но в 70-х гг. словаки, по словам Пыпина, испытали «новое тяжкое гонение» — венгерское правительство закрыло словацкие гимназии и прекратило деятельность «Матицы» (1875), нанеся удар по словацкому движению¹⁶⁴.

Возникновение словацкой литературы (на словацком языке), отделение ее от чешской Пыпин характеризовал как «один из любопытных эпизодов славянского возрождения», который, по его мнению, представлял «близкую параллель с развитием литературы малорусской» (когда «главная» народность определяла язык «частной народности» как наречие, а ее национально-культурные стремления считались гибельным «сепаратизмом»)¹⁶⁵.

Положение словацкого народа к началу 80-х гг. XIX в. Пыпин характеризовал как «неопределенно-тяжелое», но при этом замечал, что среди словаков «теплится» национальное чувство (хотя в то же время обращал внимание на рост эмиграции из Словакии)¹⁶⁶.

В основном славистическом труде («История славянских литератур») Пыпин не рассматривал процессы развития польской нации через призму истории польской литературы («польская» глава в книге принадлежала В. Д. Спасовичу). Но польский вопрос был настолько острым для России, что Пыпин не мог обойти его вниманием, стараясь проанализировать причины, сохранявшие его актуальность (насколько позволяли цензурные условия).

Поляки занимали особое положение в славянском мире. Как отмечал Пыпин, они не участвовали в славянском возрождении. Национальный подъем у поляков, по сравнению с другими славянскими народами, был направлен «совсем иначе, своеобразно и исключительно»¹⁶⁷. Это определялось историческими условиями, сформировавшими определенную национальную ситуацию и особую постановку национального вопроса (при этом Пыпин уделял основное внимание «русской» Польше).

Антипатия между Польшей и Русью возникла, как отмечал Пыпин, еще в средние века (из-за «Литвы» и Южной Руси). Польская интервенция начала XVII в., присоединение Малороссии к России, разделы Польши, лишь добавляли неприязни во взаимные отношения. Поляки мечтали о восстановлении польского государства в границах 1772 г. Противоречия из-за украинских и белорусских земель, по мнению Пыпина, не могли оставаться только предметом «домашнего спора» между Россией и Польшей, поскольку конфликты в одной части разделенной Польши отзывались и в других ее частях¹⁶⁸.

Значительная часть недолго существовавшего при Наполеоне Герцогства Варшавского отошла в 1815 г. к России, составив Царство

Польское с конституционными учреждениями. Вооруженное восстание 1830—1831 гг. вызвало, по словам Пыпина, «вооруженное усмирение», отмену конституции и автономии Царства Польского. Это выступление поляков Пыпин называл «политической ошибкой», безнадежной борьбой, но подчеркивал, что восставших побуждала любовь к родине, защита своей национальности. После подавления восстания многие его участники эмигрировали в Европу, оказывая большое влияние на польское и европейское общественное мнение. Европейское революционное движение 1848 г. сформировало революционный радикализм польской эмиграции (уживавшийся с католическим консерватизмом и национальной нетерпимостью)¹⁶⁹. 1848 г. ознаменовался подъемом освободительного движения и в «прусской» Польше, которое было быстро подавлено. Пыпин с беспокойством писал о возможной перспективе скорого исчезновения славянских «ручьев в море германском»¹⁷⁰.

Восстание 1863 г. — новый этап польского национально-освободительного движения; с ним связано обострение «польского вопроса» в России. Восстание было беспощадно подавлено. После восстания были осуществлены реформы в социально-экономической области, которые, как подчеркивал Пыпин, не имели продолжения в области национальной политики, и положение поляков «оставалось столь же, если еще не более трудным, чем было в прошлом периоде» (утрата высшего образования на родном языке, подчинение печати строгой цензуре и т. п.)¹⁷¹.

Пыпин справедливо отмечал шляхетский характер национального движения в Польше, что придавало ему черты «односторонности и исключительности». В национальных воззрениях поляков неизменно присутствовало представление о «свободе», но эта свобода считалась принадлежностью только высшего класса и не распространялась на народные массы. К тому же эта «свобода» уживалась с преследованием православного населения, нетерпимостью по отношению к украинцам, белорусам и русинам¹⁷².

В 20—30-х гг., как отмечал Пыпин, «новейшее славянское движение» нашло отголосок и в Польше. Имена польских ученых (С. Линде, В.-А. Мацеевский, Я. Кухарский, З. Ходаковский и др.) занимают достойное место в славянском возрождении (хотя Пыпин отмечал, что в польской научной литературе слабее, чем у других славян, представлены этнографические исследования)¹⁷³. У поляков не прерывалась литературная традиция, им не нужно было создавать новую литературу, а представители романтического направления уже «понимали необходимость идеи народности для национального самосознания» (К. Бродзинский)¹⁷⁴. В этот период польские историки, обращаясь к прошлому, склонны были, по словам Пыпина, «поэтизировать и прикрашивать его», что не могло не дать «целому

национальному сознанию ложного, и вредного для него самого, направления». Некритическое отношение к истории отражалось, как указывал Пыпин, и на современных отношениях. Правда, в 70-х гг. он отмечал, что мистический романтизм и революционная фантастика стали уступать место «трезвой оценке старого и недавнего прошлого (особенно в трудах представителей Краковской исторической школы). Пыпин неоднократно напоминал, что история Польши и русско-польские отношения требуют спокойного и беспристрастного изучения¹⁷⁵.

Рассматривая положение польской революционной эмиграции в 30–40-х гг., Пыпин замечал, что их патриотическое чувство основывалось на иллюзии. При отсутствии возможности вести реальную борьбу романтические взгляды в этой среде сменялись мистицизмом (А. Товянский), мессианизмом (А. Мишкевич), «фантастическими построениями» (Г. Вронский). Мистическая «польская идея» стала для них «религией и панацеей для всего человечества»¹⁷⁶. На этой почве появилась и «теория» Г.-Ф. Духинского (о происхождении русского и польского народов), в которой, по утверждению Пыпина, «мнимая филология и этнография служили только лишним выражением политической ненависти»; истинные ученые не принимали ее всерьез¹⁷⁷. Вместе с тем, как отмечал Пыпин, в эмигрантской среде были и реалистически мыслящие люди, считавшие, что поднять народ на борьбу можно только во имя освобождения крестьян с землей (Я. Яворский)¹⁷⁸. Пыпин специально противопоставлял мистическую и реалистическую точки зрения, чтобы подчеркнуть, что польские революционеры, игнорируя интересы народа, обрекали дело своей борьбы на провал. К тому же следовало учитывать, что трудно сразу истребить в народе ненависть к панам, которая накапливалась веками. Подтверждение этой мысли он находил в событиях 1846 г. в Галиции, где «польских помещиков истребляли... польские же крестьяне» (несмотря на решение о передаче земли крестьянам, отмене барщины и других повинностей)¹⁷⁹.

После восстания 1863 г. в России, как указывал Пыпин, многие считали обрусение единственным способом «умиротворения Польши», и в Царстве Польском были приняты соответствующие административные меры. Пыпин утверждал, что «размеры и формы» обрусительства «несомненно будут стеснять свободное развитие» Польши. К тому же поляки жили не только в Российской империи, и у них были возможности для сравнения европейской свободы и российской несвободы. Пыпин с большим сожалением замечал, что в России не допускались даже малейшие признаки не только сочувствия к полякам, но просто «справедливости и беспристрастия в объяснении польского вопроса»¹⁸⁰.

Он уделял большое внимание позициям представителей различных направлений общественной мысли России, отмечая общее и различия в отношении к польскому вопросу славянофилов, М. П. Погодина, А. Ф. Гильфердинга, Н. Я. Данилевского, В. И. Ламанского, украинофилов и др. Пыпин постоянно подчеркивал свое несогласие с наиболее распространенными в общественном мнении точками зрения, относительно судьбы Польши, но даже в высказываниях «противников польских начал» он выделял верные подходы, послышки, замечания, которые в условиях жесткой цензуры так или иначе помогли бы показать истинное положение польского вопроса. Позиции «полонофагов» Пыпин противопоставлял взгляды «либералов» (включая в их число и представителей демократического направления), которые объясняли русскому обществу, что обрусительская система недопустима — средства для мирного урегулирования конфликта должны быть иными, так как речь идет о «славянских братьях»¹⁸¹.

Ученый был убежден, что «сильный народ» мог бы не прибегать к насилию над побежденной национальностью и дать полякам определенную свободу в области образования и литературы. В результате денационализаторских мероприятий Варшава, по наблюдению Пыпина, перестала быть «умственным и культурным центром» поляков, передав свои права Кракову, Львову, Познани. Отношение России к Польше, по словам Пыпина, настораживало других славян, стремившихся не к «стеснению и подавлению народности», а к «братскому признанию, помощи и союзу» в единоплеменной среде. Методы «исцеления» Польши Пыпин откровенно и бесстрашно характеризовал как «политические репрессалии», которые могут прекратить «внешние волнения», но не уничтожат внутреннего недовольства¹⁸².

Обладая реалистичным взглядом на политическую ситуацию, Пыпин, очевидно, понимал, что в создавшихся условиях у Польши было мало шансов добиться национальной целостности и независимости. В этой ситуации он считал достойным для России и русского народа делом не «русифицировать», а постараться «сохранить польскую национальность»¹⁸³. Чувство исторического оптимизма придавало ему уверенности, что в будущем межнациональные противоречия будут сняты. Путь к этому Пыпин видел в устранении системы «обрусения», создании в Польше условий для общественного и национального развития, расширения в России либеральных свобод и общественной самодеятельности, что создало бы почву для «действительной солидарности» двух народов. Вместе с тем Пыпин понимал, что решение польского национального вопроса не может быть односторонним. Он призывал поляков к беспристрастной оценке фактов и осмыслению того положения, что, «защищая свое

национальное право, они должны уважать и чужое¹⁸⁴. Пыпин полагал, что русско-польскому сближению могло бы способствовать взаимное изучение литератур обоих народов и развитие исторического знания¹⁸⁵.

Возрождение небольшого народа саксонской и прусской Лужицы (нижних и верхних *лужицких сербов*) Пыпин считал одним из «любопытных эпизодов современного славянского движения»: покоренный и окруженный немцами, этот народ сумел сохранить свою национальность. В лужицком возрождении, которое стало заметно проявляться с 1830-х гг., Пыпин выделил типологические моменты, присущие всем славянским движениям: начавшееся «из собственных местных потребностей маленького племени», оно вскоре «примкнуло к целому славянскому движению и вступило на путь славянской „взаимности“»¹⁸⁶.

Национальное развитие серболужичан с конца XVIII в. шло по тому же пути, что и у других славянских народов: изучение этнографического материала и народных песен (К.-Г. Антон), усилия, направленные на возрождение родного языка (Ю. Мён), первые лужицкие периодические издания (Я. Дейк). Основное внимание Пыпин уделял верхнелужицкому движению (как более развитому). Главным представителем серболужицкого возрождения он считал будишинского пастора А. Любенского, занимавшегося изучением лужицкой истории, языка, этнографией. Он отмечал также деятельность Ф.-А. Клина, сумевшего законодательным путем отстоять сохранение народного языка в школе и ставшего основателем серболужицкой Матицы (1847). В 1848–1849 гг. он стал политическим руководителем лужичан. Среди «ревностных деятелей» серболужицкого возрождения Пыпин называл также поэта А. Зейлера, многие песни которого стали народными¹⁸⁷.

Поскольку у лужичан не было реальной возможности добиваться национальной независимости, то свое национальное развитие, как указывал Пыпин, они тесно связывали с «сочувствиями всеславянскими». С конца 1830-х гг. деятели национального движения стали проявлять заботу о народном образовании, улучшении политического и социального положения своего народа. Пыпин указывал, что от национальных интересов и задач, породивших движение возрождения, они перешли к общим основам национального развития¹⁸⁸. Наиболее ярким представителем серболужицких национальных стремлений этого периода Пыпин называл Я. Смолера, который пропагандировал лужицкий язык, изучал народный быт, обычаи; он обозначил на карте границы серболужицких поселений, подготовил издание верхне- и нижнелужицких народных песен (совместно с Л. Гауптом)¹⁸⁹. Смолер ставил также задачу «распространить национальное сознание в самой народной массе». Другой деятель

национального движения — писатель, журналист, собиратель народных песен Я. Иордан предложил новое правописание по чешскому образцу. В 40-е гг. Иордан активно выступал в немецкой печати по славянскому вопросу, защищая славянство от нападок и обвинений в панславизме¹⁹⁰.

В 1848 г. лужичане оказались, как отмечал Пыпин, под влиянием, с одной стороны, национального движения австрийского славянства, с другой — призывов немецких демократов к социальным и политическим преобразованиям. Лужичане поняли, что ни в том, ни в другом движении им не отведена никакая роль. По словам Пыпина, лужицкая «народность осталась вне политических смут и выиграла». За сохранение верности королю сербы-лужичане получили право употребления родного языка в народной школе, суде и церкви. Кроме того, добавлял Пыпин, приняв сторону феодалов в борьбе с демократией, лужицкие патриоты «поправили материальное положение сельского населения лужичан»¹⁹¹. То, что Пыпин не давал оценку подобной позиции руководителей лужицкого национального движения с морально-этической точки зрения, можно понять. Лужицкая народность была слишком мала и слаба, чтобы вести самостоятельную борьбу, а славянское движение, как не раз подчеркивал ученый, не было единым и сплоченным. В таких условиях малочисленный народ выживал, как умел (принципиально действия лужичан не отличались от поддержки австрийскими славянами императорской власти).

В 1860-е гг., как отмечал Пыпин, у лужичан появились новые журналы и газеты. Были основаны общества, издававшие дешевые книги для лужичан-католиков и лужичан-протестантов¹⁹².

Национальное возрождение нижних лужичан в сравнении с верхнелужицким шло, по мнению Пыпина, хуже (основные составляющие движения были те же, но проявлялись значительно скромнее). У них тоже «явилось несколько деятельных патриотов» (Конф, Й.-З.-Ф. Шиндлер, И. Г. Цвар и др.), но и к 80-м гг., по оценке Пыпина, «успехи» нижнелужицких сербов были «очень слабы». 1848 год внес некоторое оживление и в их движение. Национальный подъем сопровождался введением в гимназии г. Коттбуса преподавания лужицкого языка (1857 г.), изданием духовных сочинений и учебных книг (авторами которых были пасторы и сельские учителя), выходом одной газеты¹⁹³.

Как и другие славянские народы, лужичане, по словам Пыпина, создавали свою особую литературу, даже две литературы¹⁹⁴.

Прослеживая историческую судьбу сербов-лужичан, Пыпин приходил к заключению, что народу грозило полное уничтожение, но «общий поток национального движения» (т. е. развитие национализма и процесс формирования наций в Европе) «вынес и эту маленькую народность»¹⁹⁵.

Возрождение *галицких* и *угорских русинов* Пыпин рассматривал отдельно. Больше внимание он уделил национальным проблемам Восточной Галиции.

В результате разделов Польши русины оказались в составе Австрийской империи. Пыпин отмечал, что австрийское правление не ликвидировало русинско-польскую борьбу, а лишь иногда нейтрализовало ее, и в Галиции «польский элемент снова господствовал над русинским». В кровавых событиях 1846 г. Пыпин видел не только национальный, но и социальный протест русинских крестьян против польских помещиков. Не оправдывая методы борьбы (названные им «страшной резней»), он объяснял причины народного гнева тем, что польская шляхта игнорировала интересы крестьян вообще, а русинских — тем более. Австрия, как отмечал Пыпин, воспользовалась борьбой русинов против поляков в своих целях, но в то же время дала русинам «перспективу политических прав». Австрийское правительство, следуя политике «разделяй и властвуй», то поддерживало русинов, то приносило их в жертву полякам¹⁹⁶.

С появлением национального движения перед русинами встали вопросы об их этнической принадлежности и истории, о том, кому отдать симпатии «в современном составе русского племени» — великорусам или малорусам и т. п.¹⁹⁷

Пыпин подчеркивал, что в начале XIX в. проявления национального самосознания русинов были еще весьма слабы¹⁹⁸. Среди факторов, способствовавших пробуждению русинов, ученый отмечал и дошедшие до них «отголоски славянского возрождения», и проникновение произведений украинской литературы и народной украинской поэзии. Вслед за выходом в свет первых сборников украинских народных песен началось изучение и русинских песен в Галиции (З. Доленга-Ходаковский, Вацлав из-Олеска). Пыпин обращал внимание на то, что начало этому изучению было положено польскими учеными, которые, тем не менее, оценивали эти песни «выше польских»¹⁹⁹.

Национально-культурные устремления русинов, как отмечал Пыпин, начали проявляться в 30-х гг. XIX в.²⁰⁰, когда возник кружок галичан — студентов Львовского университета (И. Шашкевич, И. Вагилевич, Я. Головацкий, Г. Илькевич и др.), которые «поставили себе целью изучение своей народности и основание галицкой литературы». Примеры возрождения других славянских народов укрепили их в уверенности, что и русины «имеют такое же право на особое литературное развитие. В 1837 г. они издали в Пеште сборник «Русалка Днестровая» (с этой книги, как указывал Пыпин, начинается новейшая галицкая литература)²⁰¹.

Национальное движение русинов выразилось, как отмечал Пыпин, в стремлении «к изучению народной поэзии, старины

и преданий»²⁰². В 30–40-е гг. появлялись сборники народных песен и отдельные труды, посвященные народному творчеству²⁰³, а также грамматики (И. Левицкого, И. Вагилевича и др.).

Ключевым моментом национального движения в Восточной Галиции стал вопрос о языке: положить в основу языка народные говоры или искусственную «ломаную церковно-русскую» речь, выбрать непривычный гражданский шрифт или знакомый церковный, принять польскую или русскую азбуку и т. д. В Галиции были сторонники всех этих направлений²⁰⁴. Высказывая свое мнение, Пыпин замечал, что «литература не может существовать с языком искусственным»; в ее основу должен быть положен «живой народный язык»²⁰⁵.

1848 год, как отмечал Пыпин, принес галицким русинам надежды на лучшее будущее (принятие конституции, освобождение крестьян, провозглашение равных прав народностей). Защита прав народа объявлена целью собравшейся во Львове Головной рады (род политического клуба). В это же время была основана Галицко-русская матица для издания дешевых книг. Русины требовали введения родного языка в сфере образования, в управлении и суде. Но австрийское правительство предпочло оставить в качестве официального немецкий язык²⁰⁶.

В конце 40-х гг., как отмечал Пыпин, вопрос о языке вышел за пределы «филологических разногласий» и приобрел политический характер. «Русская азбука» стала для русинов символом национальной борьбы²⁰⁷. После 1848 г. появилось немало периодических общественно-политических, научных, литературных изданий, важнейшим из которых ученый считал «Зорю Галицку». В русинском национальном движении образовались две группировки. Партия «святоюрцев» («москвофилов», «старорусская»), состоявшая из галицкого духовенства и близких к церковной иерархии светских «русофилов», по определению ученого, «отличалась клерикальным консерватизмом» и «пренебрежением к черни», заискивала у власти и лавировала в политике. Политические взгляды партии «народовцев» («украинофилов») Пыпин характеризовал как «более свободолюбивые и демократические». Представители этой партии прежде всего думали о возрождении народа и считали единственным средством национального подъема в Галиции «заботу о народных массах, их образовании и самосознании»²⁰⁸.

Отношение «святоюрцев» к проблеме языка исходило, как указывал Пыпин, из «теории общерусского единства», опирающейся на положение, что русины с великорусами — одна национальность, у них общая история и литература (Пыпин в связи с этим замечал, что исторические судьбы этих народов и их литературные традиции разошлись еще в XIII в.). «Святоюрцы» отстаивали литературный

язык, в основу которого был бы положен церковнославянский язык, при этом меньше всего думая о простом народе, которому был чужд этот язык. А партия, забывающая о народе, напоминал ученый, «работает сама против своей народности»²⁰⁹.

«Народовцы», как отмечал Пыпин, стремились к развитию литературы на народном языке, к «сближению и соединению с малорусским возрождением в России». Они поняли значение книг для народа, которые подняли бы его самосознание²¹⁰.

Сравнивая языковую ситуацию в Галиции и Сербии, Пыпин обнаружил одноплановые явления: «мнимая общерусская школа» у галичан была похожа на «славено-сербскую школу», которая напала на языковую реформу В. Караджича²¹¹.

В 60-х гг., отмечал Пыпин, разногласия между представителями двух направлений национального движения усилились. В центре споров оставалась проблема литературного языка, азбуки, правописания, что было одним из важнейших пунктов в борьбе по вопросу об идентичности. В отличие от других славянских народов русины никак не могли прийти к единому мнению относительно литературного языка²¹². Поэтому и русинская литература «не установилась вполне ни относительно литературных форм и языка, ни азбуки», а «размеры и уровень» ее — «невелики»²¹³. Ученый обращал внимание на то, что в это время подъем украинского национального движения оказал влияние и на Галицию. Для русинов выбор между «русофильством», «украинофильством», «австрославизмом» и другими возможными вариантами развития составлял «реальное жизненное дело», связанное с вопросами «внутреннего политического положения и самого существования» русинской народности²¹⁴. Расстановка национальных сил в Восточной Галиции была весьма запутанной, в связи с чем Пыпин замечал, что проникшимся славянской идеей русинским «патриотам» следовало бы сначала разобраться в своих собственных национальных отношениях²¹⁵.

В начале 60-х гг. русинская языковая проблема дискутировалась на страницах российских журналов и газет. Славянофильски ориентированные публицисты поддерживали позиции москвофилов из львовской газеты «Слово». Демократические и украинофильские органы печати выступали в поддержку тех сил, которые стремились к сближению русинского национально-культурного движения с украинским²¹⁶.

Среди изданий, основанных в 60-х гг. «народовцами», Пыпин упоминал журналы «Вечерницы», «Мета», «Нива», «Правда». В 1868 г. «народовцы» основали общество «Просвита», издававшее популярные книги для народа (Пыпин высоко оценивал усилия этого общества). В том же направлении работало и «Товарищество имени Шевченко», основавшее свою типографию. Чтобы не потерять

вливания в народе, «старорусская» партия тоже стала издавать книги на народном языке (высокомерно считая, что им «можно писать только для простонародья») ²¹⁷.

Силы обеих партий были невелики. Пыпин писал: «Обе партии чувствовали, что Галиция не может существовать самобытно...». Становилось ясно, что «их национальный центр находится „за кордоном“» — в России или Малороссии. По мнению ученого, «малорусская народность», на которую ориентировались «народовцы», была схожа с русинской (хотя некоторые исторические различия сказались «на складе народности» таким образом, что полностью отождествлять малорусов и русинов — неправомерная «натяжка» ²¹⁸).

Он считал «теоретической и практической ошибкой» «старорусской» партии непризнание ею «народовцев», что мешало двум идейным течениям работать вместе на пользу своего народа. В споре двух партий Пыпин явно симпатизировал «народовцам», заявляя, что нельзя мириться с обскурантизмом «старорусов». Но и в позиции «народной» партии он усматривал недостатки — в проповеди «отдельности и исключительности южнорусского племени» ²¹⁹.

В русинской литературе Пыпин отмечал сочинения О. Федьковича, наиболее близкие к русскому и украинскому реализму в отношении к народной жизни и ее описанию. Среди русинских ученых, разработавших историю и этнографию Галиции, Пыпин упоминал Д. Зубрицкого, И. Шараневича, А. Петрушевича, Я. Ф. Головацкого. В области филологии отмечал имена О. Огоновского, О. Партицкого, Е. Желеховского и др. ²²⁰ Литература русинского возрождения нашла отражение в библиографии, изданной И. Е. Левицким ²²¹.

Пыпин отчетливо понимал и подчеркивал в своих трудах, что в Галиции «остается еще очень много работы для установления национальной жизни», основы которой не совсем ясны самим участникам национального движения. Условия внутренней борьбы в русинском обществе Пыпин оценивал как сложные, средства — ограниченные, при этом национальное движение имело сильных врагов ²²².

В 80-е гг. Пыпин отмечал, что в русинском движении появилось «новое направление — социализм»; его приверженцы считали, что никакая политическая и общественная цель не может быть достигнута без улучшения материального быта народа ²²³.

На рубеже 70–80-х гг. XIX в. ученый отмечал, что деятели русинского национального движения никак не выяснят своего отношения к «двум русским народностям» (великорусам и малорусам). В это время препятствия к развитию украинского национального движения в российской империи не поддерживали надежд на то, что оно сможет оказать реальное влияние на этнически родственное население Галиции. Поэтому Пыпин высказал мнение, что

русинам нужно ориентироваться на русскую культуру, изучать русскую литературу. Знакомство с русским «национальным сознанием», по его мнению, «принесло бы галицкому возрождению несомненную пользу»²²⁴. В конце столетия в новых условиях, когда украинофильское движение проявляло бóльшую активность в Галиции Пыпин вновь уверился в возможности его влияния на русинское движение.

Исходя из реальной ситуации, при которой в политическую и экономическую борьбу все больше втягивались народные массы, защита их интересов и просвещение были возможны только на понятном народу языке, и русинское движение, утверждал Пыпин, не может обойтись без народного языка, если хочет быть понято народом и служить его интересам²²⁵. Таким языком ученый считал украинский, не видя целесообразности в отдельном (от большей части «племени», живущего в России), самостоятельном национальном самовыражении. В конце XIX в. Пыпин отмечал, что язык «галицкой литературы» еще «не установился» и находится «в переходном положении»²²⁶.

«Единственный логический путь» национального возрождения русинов виделся Пыпину в сближении с украинским национальным движением, наиболее близким по духу и по характеру²²⁷. При этом Пыпин подчеркивал, что единение галичан с украинской ли, русской ли «национальной жизнью» невозможно искусственным или насильственным путем, оно может осуществиться только естественным, «органическим» образом²²⁸.

Начало «особенного национального движения» *угорских* (венгерских) русинов Пыпин связывал с 1848 г. — годом венгерского восстания, которому русины вначале сочувствовали, надеясь на «установление народной самобытности». Но венгерское революционное правительство не предоставило ее, и они «разочаровались» в венгерском движении. Однако события революционной эпохи возбудили «мысль о национальном праве», которая, по выражению Пыпина, «нашла своих ревнителей». Первым из них ученый называл А. Добрянского, объединившего вокруг себя кружок людей, готовых бороться за народное дело и требовавших от Австрии автономии Угорской Руси, равных прав с венграми, учреждения русинских школ и университета во Львове и др. Австрия обнадежила, но, как и следовало ожидать, надежды «конечно, потом не оправдались»²²⁹.

Ближайшим сподвижником Добрянского Пыпин называл А. Духновича, писавшего популярные и учебные книги, драмы, стихи, собиравшего народные песни. Продолжателями «патриотического дела» были в основном священники и литераторы. Ими было создано «Общество св. Василия» (1866), издававшее учебники и книги для народа²³⁰.

Языковая проблема у угорских русинов была, по мнению Пыпина, такой же, как и у галицких. У угорских писателей «русский» язык — «такая же неправильная смесь, как у „старорусской“ галицкой школы, и понимание литературного вопроса — то же». Власти так же «вмешивались в вопросы правописания, чтобы язык не походил на «московский» (возникал даже план заменить кирилловскую азбуку «латино-мадьярской»). Однако Пыпин выявлял и разницу в языковой политике в разных частях Австрийской империи, населенных русинами. Так, в отличие от Галиции, в Угорской Руси «власти желали ввести кулишовку»²³¹.

Угорские патриоты (М. Лучкай, А. Духнович, А. Павлович, И. Галько и др.) также занимались собиранием народных песен, обрядов, обычаев и т. д. Самый обширный сборник был составлен Я. Ф. Головацким²³².

В целом, Пыпин полагал, что всему русинскому возрождению следовало бы вплотную заняться изучением народного быта. Это, по его определению, «благодарная задача» как в научном, так и в практическом плане. Вместе с тем он видел определенную пользу в знакомстве с русской культурой, что, по его мнению, ни в коей мере не противоречило стремлению к разработке «своего народного языка» и развитию своей национальной жизни²³³. Однако перспективы русинского возрождения представлялись Пыпину не слишком отчетливо, поскольку само национальное движение не давало для этого определенных посылок.

А. Н. Пыпин с симпатией и в то же время с научной объективностью относился к развитию каждого славянского народа, справедливо оценивая различные проявления национальной жизни. Он признавал за каждым славянским народом право на самостоятельное существование.

Ученый проследил весь процесс возрождения славянских народов, от самых его истоков. Он подверг анализу причины, условия, механизмы развития этого яркого исторического явления, выявил общие черты и национальные особенности, охарактеризовал деятельность наиболее известных представителей национальных движений, общественных организаций, печатных органов. Ученый доказал, что идеология славянского возрождения являлась глубоко национальной по содержанию.

Национальные процессы, протекавшие у славянских народов с конца XVIII и на протяжении всего XIX в., Пыпин рассматривал в рамках общих законов формирования и развития наций.

Пыпину удалось показать не только национальную, но и народную, «демократическую» направленность славянского возрождения. Рассматривая процессы «пробуждения» славянских народов в сравнительном ракурсе, Пыпин делал обобщения, многие из которых

носят теоретический характер, как, например, рассуждения по теории национального вопроса.

Заслуга Пыпина как историка славянского возрождения состоит в том, что с помощью сравнительно-исторического изучения процессов национального развития в славянском мире он сумел определить типологические черты славянского национального движения и представить это явление как *общеславянское*.

Подводя промежуточные итоги, Пыпин отмечал, что национальные процессы в славянских странах (или землях) не завершены. В национальном развитии славянства в XIX в. достигнуто немало, но этого еще недостаточно «для обеспечения национальной жизни»: еще не восстановлена цельность некоторых народов, не обеспечена политическая равноправность славянских народностей с господствующими. Пыпин видел единственный путь решения этих проблем в справедливой борьбе за обеспечение прав национальностей²³⁴. Он считал, что «будущность славянства в его собственных руках»²³⁵.

Пожалуй, никто из русских ученых XIX в. не занимался славянским возрождением в таком объеме, как Пыпин. И хотя он рассмотрел не все компоненты этого исторического явления, для своего времени его исследования можно назвать «энциклопедией славянского возрождения».

П Р И М Е Ч А Н И Я

- ¹ См.: Аксенова Е. П. «Я не сделался славистом» (К 170-летию со дня рождения А. Н. Пыпина) // Славянский альманах 2002. М., 2003. С. 144–151.
- ² Пыпин А. Н., Спасович В. Д. Обзор истории славянских литератур. СПб., 1865; *Они же*. История славянских литератур. СПб., 1879–1881. Т. 1–2 (в обоих трудах Спасовичу принадлежала глава о польской литературе).
- ³ См.: Никитин С. А. Славяноведение // Очерки истории исторической науки в СССР. М., 1960. Т. 2. С. 507; Ровда К. И. Чехи и русские в их литературных взаимосвязях. 50–60-е гг. XIX в. Л., 1968; *Он же*. Россия и Чехия. Взаимосвязи литератур. 1870–1890. Л., 1978; Беляева Ю. Д. Литература Югославии в России. Восприятие, изучение, оценка. Последняя четверть XIX — начало XX в. М., 1979; Вулетић В. А. Н. Пыпин и руско-српске књижевне везе у другој половини 19. века. Нови Сад, 1969.
- ⁴ Пыпин А. Н. О сравнительно-историческом изучении русской литературы // Вестник Европы. 1875. № 10. С. 642.
- ⁵ Там же.
- ⁶ А. В. [Пыпин А. Н.] Литературное обозрение // Вестник Европы. 1892. № 4. С. 877.
- ⁷ Пиксанов Н. К. Академик А. Н. Пыпин. К столетию со дня рождения // Вестник АН СССР. 1933. № 4. С. 41.
- ⁸ Пыпин А. Н. Мои заметки. Саратов, 1996. С. 200.
- ⁹ Пыпин А. Н., Спасович В. Д. История славянских литератур... Т. 2. С. XVI.
- ¹⁰ Веселовский А. Н. А. Н. Пыпин. СПб., 1905. С. VII.

- ¹¹ Пыпин А. Н. О сравнительно-историческом изучении русской литературы... С. 660.
- ¹² Пыпин А. Н., Спасович В. Д. История славянских литератур... Т. 1. С. 45.
- ¹³ См.: Формирование наций в Центральной и Юго-Восточной Европе. М., 1981. С. 45.
- ¹⁴ Пыпин А. Н. Первые слухи о сербской народной поэзии // Вестник Европы. 1876. № 12. С. 699–700.
- ¹⁵ Пыпин А. Н. О сравнительно-историческом изучении русской литературы... С. 665.
- ¹⁶ Пыпин А. Н. Польский вопрос в русской литературе // Вестник Европы. 1880. № 6. С. 305–306.
- ¹⁷ Пыпин А. Н. Панславизм в прошлом и настоящем. СПб., 1913. С. 25, 108.
- ¹⁸ Там же. С. 179.
- ¹⁹ — А. — [Пыпин А. Н.] Вопрос о национальности и панславизм // Современник. 1864. № 1. С. 185.
- ²⁰ Пыпин А. Н. Панславизм в прошлом и настоящем... С. 46, 167; Пыпин А. Н., Спасович В. Д. История славянских литератур... Т. 1. С. 218–219.
- ²¹ — А. — [Пыпин А. Н.] Вопрос о национальности и панславизм... № 1. С. 188–189.
- ²² Там же. С. 194–196, 210–211.
- ²³ Там же. С. 200.
- ²⁴ Пыпин А. Н. Панславизм в прошлом и настоящем... С. 167.
- ²⁵ Там же; — А. — [Пыпин А. Н.] Вопрос о национальности и панславизм... № 1. С. 211.
- ²⁶ — А. — [Пыпин А. Н.] Вопрос о национальности и панславизм... № 1. С. 212.
- ²⁷ Там же. С. 211.
- ²⁸ См.: Аксенова Е. П. История народов Центральной и Юго-Восточной Европы в журнале «Современник» (1863–1866 гг.) // Исследования по историографии славяноведения и балканистики. М., 1981. С. 242–243.
- ²⁹ Пыпин А. Н. Панславизм в прошлом и настоящем... С. 47, 166.
- ³⁰ Там же. С. 26.
- ³¹ Там же.
- ³² Пыпин А. Н., Спасович В. Д. История славянских литератур... Т. 2. С. 1108.
- ³³ Пыпин А. Н. Панславизм в прошлом и настоящем... С. 51, 169.
- ³⁴ Там же. С. 47.
- ³⁵ Пыпин А. Литературные заметки // Вестник Европы. 1877. № 7. С. 380.
- ³⁶ Пыпин А. Н., Спасович В. Д. История славянских литератур... Т. 2. С. 804–805.
- ³⁷ Пыпин А. Н. Русское славяноведение в XIX столетии // Вестник Европы. 1889. № 8. С. 717.
- ³⁸ Пыпин А. Н. Панславизм в прошлом и настоящем... С. 26, 47–48.
- ³⁹ Там же. С. 26; Пыпин А. Н., Спасович В. Д. История славянских литератур... Т. 2. С. 1108.
- ⁴⁰ Пыпин А. Н., Спасович В. Д. История славянских литератур... Т. 2. С. 1118.
- ⁴¹ А. П. [Пыпин А. Н.] Старая и новая Болгария // Вестник Европы. 1877. № 5. С. 295.
- ⁴² Пыпин А. Н., Спасович В. Д. История славянских литератур... Т. 2. С. 1108–1109.
- ⁴³ А. Р. [Пыпин А. Н.] Два месяца в Праге // Современник. 1859. № 4. С. 357; Пыпин А. Н., Спасович В. Д. История славянских литератур... Т. 2. С. 1109.
- ⁴⁴ А. П. [Пыпин А. Н.] Старая и новая Болгария... С. 297.
- ⁴⁵ Пыпин А. Н., Спасович В. Д. История славянских литератур... Т. 2. С. 1118.

- ⁴⁶ Пыпин А. Н. О сравнительно-историческом изучении русской литературы... С. 674.
- ⁴⁷ См.: А. Р. [Пыпин А. Н.] Два месяца в Праге // Современник. 1859. № 3–4; Пыпин А. Вячеслав Ганка // Современник. 1861. № 3; Он же. Литературный панславизм // Вестник Европы. 1879. № 6, 8–9; Он же. Панславизм в прошлом и настоящем // Вестник Европы. 1879. № 9–12 (отд. изд.: СПб., 1913); Он же. Из истории панславизма // Вестник Европы. 1893. № 9; и др.
- ⁴⁸ Пыпин А. Н., Спасович В. Д. История славянских литератур... Т. 2. С. 1094; — А. — [Пыпин А. Н.] Вопрос о национальности и панславизм... № 2. С. 479.
- ⁴⁹ См.: Пыпин А. Н., Спасович В. Д. История славянских литератур... Т. 2. С. 1095–1096.
- ⁵⁰ Пыпин А. Н. Панславизм в прошлом и настоящем... С. 52–53.
- ⁵¹ Пыпин А. Н., Спасович В. Д. История славянских литератур... Т. 1. С. 33.
- ⁵² Там же. Т. 2. С. 1093, 1095–1096.
- ⁵³ Пыпин А. Н. Панславизм в прошлом и настоящем... С. 171.
- ⁵⁴ Там же. С. 4–5.
- ⁵⁵ Пыпин А. Н. Литературный панславизм // Вестник Европы. 1879. № 6. С. 591.
- ⁵⁶ Подробнее об этом см.: Аксенова Е. П. Славянская идея в интерпретации А. Н. Пыпина // Славянский альманах 1998. М., 1999. С. 87–97.
- ⁵⁷ Пыпин А. Н., Спасович В. Д. История славянских литератур... Т. 2. С. 967.
- ⁵⁸ — А. — [Пыпин А. Н.] Вопрос о национальности и панславизм... № 1–3.
- ⁵⁹ Пыпин А. Н. Панславизм в прошлом и настоящем... С. 54.
- ⁶⁰ Там же. С. 106.
- ⁶¹ Пыпин А. Н. Литературный панславизм... № 9. С. 319.
- ⁶² Пыпин А. Н., Спасович В. Д. История славянских литератур... Т. 2. С. 926.
- ⁶³ Пыпин А. Н. Литературный панславизм... № 9. С. 319.
- ⁶⁴ Там же. № 8. С. 714.
- ⁶⁵ См.: Пыпин А. Н. Панславизм в прошлом и настоящем... Гл. 6–7.
- ⁶⁶ Там же. С. 46–47.
- ⁶⁷ А. П. [Пыпин А. Н.] Старая и новая Болгария... С. 298–299.
- ⁶⁸ Пыпин А. Н. Панславизм в прошлом и настоящем... С. 18–19; Пыпин А. Н., Спасович В. Д. История славянских литератур... Т. 1. С. 52.
- ⁶⁹ Пыпин А. Н. Панславизм в прошлом и настоящем... С. 19; Пыпин А. Н., Спасович В. Д. История славянских литератур... Т. 1. С. 105–106, 108.
- ⁷⁰ Софроний Врачанский. Квриакодроміон». Рымник, 1806.
- ⁷¹ Венелесин Ю. Древние и нынешние болгаре в политическом, народописном, историческом и религиозном их отношении к россиянам. М., 1829. Т. 1.
- ⁷² Пыпин А. Н., Спасович В. Д. История славянских литератур... Т. 1. С. 110–112.
- ⁷³ Там же. С. 113–115; Пыпин А. Новая книга о Болгарии // Вестник Европы. 1891. № 11. С. 321.
- ⁷⁴ Пыпин А. Новая книга о Болгарии... С. 290; А. П. [Пыпин А. Н.] Старая и новая Болгария... С. 301.
- ⁷⁵ Пыпин А. Н., Спасович В. Д. История славянских литератур... Т. 1. С. 116–117; Пыпин А. Н. Панславизм в прошлом и настоящем... С. 20; А. В. [Пыпин А. Н.] Литературное обозрение // Вестник Европы. 1889. № 9. С. 418.
- ⁷⁶ Пыпин А. Новая книга о Болгарии... С. 288, 315.
- ⁷⁷ Пыпин А. Н., Спасович В. Д. История славянских литератур... Т. 1. С. 121–125, 129.
- ⁷⁸ Там же. С. 126–128.

- ⁷⁹ *Пыпин А. Н.* Панславизм в прошлом и настоящем... С. 21.
- ⁸⁰ *А. П. [Пыпин А. Н.]* Старая и новая Болгария... С. 299–301.
- ⁸¹ *Пыпин А. Н., Спасович В. Д.* История славянских литератур... Т. 1. С. 134–135; *Пыпин А.* Литературные заметки... С. 379–381.
- ⁸² *Пыпин А. Н.* Панславизм в прошлом и настоящем... С. 21.
- ⁸³ *Пыпин А. Н.* Болгария и болгары перед войной // Вестник Европы. 1878. № 3. С. 282.
- ⁸⁴ Там же. С. 283. См. также: *Улуян А. А.* Болгарский народ и русско-турецкая война 1877–1878 гг. М., 1971. С. 153–154, 156.
- ⁸⁵ *А. П. [Пыпин А. Н.]* Несколько слов по поводу южнославянского вопроса // Вестник Европы. 1876. № 10. С. 877, 880, 895.
- ⁸⁶ Там же. С. 876–877, 879, 898.
- ⁸⁷ *А. П. [Пыпин А. Н.]* Еще несколько слов по южнославянскому вопросу // Вестник Европы. 1887. № 3. С. 386.
- ⁸⁸ *А. В-нв. [Пыпин А. Н.]* Что делается в Болгарии? (По поводу книги г. Немировича-Данченка: «После войны». СПб. 1880) // Вестник Европы. 1880. № 9. С. 419.
- ⁸⁹ *А. П. [Пыпин А. Н.]* Литературное обозрение // Вестник Европы. 1888. № 5. С. 373–375.
- ⁹⁰ *А. П. [Пыпин А. Н.]* Старая и новая Болгария... С. 292.
- ⁹¹ *Пыпин А. Н., Спасович В. Д.* История славянских литератур... Т. 1. С. 136; *А. П. [Пыпин А. Н.]* Литературное обозрение // Вестник Европы. 1901. № 3. С. 396.
- ⁹² *Пыпин А.* Новая книга о Болгарии... С. 328–329.
- ⁹³ *А. В-нв [Пыпин А. Н.]* Что делается в Болгарии?... С. 437; *Пыпин А.* Новая книга о Болгарии... С. 327.
- ⁹⁴ *Пыпин А. Н., Спасович В. Д.* История славянских литератур... Т. 1. С. 126–128, 137; *Пыпин А. Н.* Предположения об историко-этнографическом изучении южнославянских земель, особенно Болгарии (1876 г.). СПб., [1880]. С. 4.
- ⁹⁵ *Пыпин А. Н.* Панславизм в прошлом и настоящем... С. 69.
- ⁹⁶ *Пыпин А.* Новая книга о Болгарии... С. 329.
- ⁹⁷ *А. П. [Пыпин А. Н.]* Литературное обозрение // Вестник Европы. 1901. № 3. С. 395.
- ⁹⁸ *Пыпин А. Н.* Панславизм в прошлом и настоящем... С. 20–21.
- ⁹⁹ Там же. С. 21–22; *Пыпин А. Н., Спасович В. Д.* История славянских литератур... Т. 1. С. 201.
- ¹⁰⁰ См.: Формирование наций в Центральной и Юго-Восточной Европе... С. 46.
- ¹⁰¹ *Пыпин А. Н.* Панславизм в прошлом и настоящем... С. 22; *Пыпин А. Н., Спасович В. Д.* История славянских литератур... Т. 1. С. 201.
- ¹⁰² *Пыпин А. Н.* Первые слухи о сербской народной поэзии // Вестник Европы. 1876. № 12. С. 702–703; *Пыпин А. Н., Спасович В. Д.* История славянских литератур... Т. 1. С. 163.
- ¹⁰³ *Пыпин А. Н., Спасович В. Д.* История славянских литератур... Т. 1. С. 202–205.
- ¹⁰⁴ Там же. С. 205, 207–211; *Пыпин А. Н.* Панславизм в прошлом и настоящем... С. 24.
- ¹⁰⁵ *Пыпин А. Н., Спасович В. Д.* История славянских литератур... Т. 1. С. 214–218; *Пыпин А. Н.* Панславизм в прошлом и настоящем... С. 24–26.
- ¹⁰⁶ *Пыпин А. Н.* Панславизм в прошлом и настоящем... С. 27.
- ¹⁰⁷ См.: *Данченко С. И.* Русско-сербские общественные связи (70–80-е гг. XIX в.). М., 1989. С. 89.
- ¹⁰⁸ *Пыпин А. Н., Спасович В. Д.* История славянских литератур... Т. 1. С. 221.

- ¹⁰⁹ Там же. С. 221, 225–227, 236–237.
- ¹¹⁰ Там же. С. 235.
- ¹¹¹ А. П. [Пыпин А. Н.] Несколько слов по поводу южнославянского вопроса... С. 888, 890.
- ¹¹² Там же. С. 888, 892, 895.
- ¹¹³ Д. [Пыпин А. Н.] Сербский перевод тургеневской «Нови» // Вестник Европы. 1877. № 12. С. 875; Он же. Начатки литературной солидарности // Вестник Европы. 1878. № 8. С. 826; А. А. [Пыпин А. Н.] Литературное обозрение // Вестник Европы. 1879. № 2. С. 771, 774.
- ¹¹⁴ А. П. [Пыпин А. Н.] Несколько слов по поводу южнославянского вопроса... С. 893; Д. [Пыпин А. Н.] Сербский перевод тургеневской «Нови»... С. 877. См. также: Данченко С. И. Русско-сербские общественные связи... С. 46.
- ¹¹⁵ Пыпин А. Н. Панславизм в прошлом и настоящем... С. 29.
- ¹¹⁶ Пыпин А. Н., Спасович В. Д. История славянских литератур... Т. I. С. 200–201.
- ¹¹⁷ Пыпин А. Н. Панславизм в прошлом и настоящем... С. 29.
- ¹¹⁸ Там же. С. 29–30; Пыпин А. Н., Спасович В. Д. История славянских литератур... Т. I. С. 240, 281.
- ¹¹⁹ Пыпин А. Н., Спасович В. Д. История славянских литератур... Т. I. С. 240–241.
- ¹²⁰ Там же. С. 200–201.
- ¹²¹ Там же. С. 241.
- ¹²² Пыпин А. Н. Панславизм в прошлом и настоящем... С. 31.
- ¹²³ Пыпин А. Н., Спасович В. Д. История славянских литератур... Т. I. С. 242–243.
- ¹²⁴ Там же. С. 244–246; Пыпин А. Н. Панславизм в прошлом и настоящем... С. 30.
- ¹²⁵ Пыпин А. Н., Спасович В. Д. История славянских литератур... Т. I. С. 234–235, 252.
- ¹²⁶ Там же. С. 201.
- ¹²⁷ Там же. С. 256–260.
- ¹²⁸ Там же. С. 228–232; Пыпин А. Н. Первые слухи о сербской народной поэзии... С. 702.
- ¹²⁹ Пыпин А. Н., Спасович В. Д. История славянских литератур... Т. I. С. 171.
- ¹³⁰ Там же. С. 232, 252–254.
- ¹³¹ Там же. С. 233.
- ¹³² Пыпин А. Н. Панславизм в прошлом и настоящем... С. 69; А. П. [Пыпин А. Н.] Литературное обозрение // Вестник Европы. 1901. № 3. С. 396.
- ¹³³ Там же. С. 396–399, 402–403.
- ¹³⁴ Пыпин А. Н., Спасович В. Д. История славянских литератур... Т. I. С. 291, 293, 295–296, 301.
- ¹³⁵ Там же. С. 295, 297–298.
- ¹³⁶ Там же. С. 291–293, 295–298, 301–303.
- ¹³⁷ Там же. С. 19, 129; А. П. [Пыпин А. Н.] Взаимные отношения славянства. По поводу болгарских дел // Вестник Европы. 1878. № 6. С. 766–767.
- ¹³⁸ Т. [Пыпин А. Н.] Литературное обозрение // Вестник Европы. 1894. № 8. С. 885–886, 889; 1900. № 8. С. 841, 848.
- ¹³⁹ Пыпин А. Вячеслав Ганка... С. 1.
- ¹⁴⁰ Пыпин А. Н., Спасович В. Д. История славянских литератур... Т. 2. С. 918–919; Пыпин А. Н. Панславизм в прошлом и настоящем... С. 33–34.
- ¹⁴¹ Пыпин А. Н., Спасович В. Д. История славянских литератур... Т. 2. С. 928.
- ¹⁴² Пыпин А. Вячеслав Ганка... С. 5.

- ¹⁴³ *Пыпин А. Н., Спасович В. Д.* История славянских литератур... Т. 2. С. 925.
- ¹⁴⁴ Там же. С. 925–926; *Пыпин А. Н.* Панславизм в прошлом и настоящем... С. 34–35.
- ¹⁴⁵ *Пыпин А. Н., Спасович В. Д.* История славянских литератур... Т. 2. С. 930, 934.
- ¹⁴⁶ Там же. С. 805–806, 810, 819, 932–934.
- ¹⁴⁷ Там же. С. 957, 985.
- ¹⁴⁸ *Пыпин А.* Панславизм в прошлом и настоящем... С. 36.
- ¹⁴⁹ *Пыпин А. Н., Спасович В. Д.* История славянских литератур... Т. 2. С. 949, 970.
- ¹⁵⁰ Там же. С. 798, 972; *Пыпин А. Н.* Панславизм в прошлом и настоящем... С. 36–37.
- ¹⁵¹ *Пыпин А. Н., Спасович В. Д.* История славянских литератур... Т. 2. С. 798.
- ¹⁵² *А. Р. [Пыпин А. Н.]* Из Праги // Современник. 1860. № 2. С. 298.
- ¹⁵³ Современник. 1863. № 3–5.
- ¹⁵⁴ *Пыпин А. Н., Спасович В. Д.* История славянских литератур... Т. 2. С. 997–998.
- ¹⁵⁵ — *А. — [Пыпин А. Н.]* Процессы о печати в Австрии // Современник. 1863. № 4. С. 624–625; Там же. № 3. С. 420.
- ¹⁵⁶ *Пыпин А. Н., Спасович В. Д.* История славянских литератур... Т. 2. С. 799–800.
- ¹⁵⁷ *А. П. [Пыпин А. Н.]* Литературное обозрение // Вестник Европы. 1902. № 11. С. 382.
- ¹⁵⁸ *Пыпин А. Н., Спасович В. Д.* История славянских литератур... Т. 2. С. 1000, 1010, 1017–1023.
- ¹⁵⁹ Там же. С. 1025–1026.
- ¹⁶⁰ Там же. С. 1027–1030.
- ¹⁶¹ Там же. С. 1030–1033.
- ¹⁶² Там же. С. 1034–1040, 1044–1045.
- ¹⁶³ Там же. С. 1013.
- ¹⁶⁴ Там же. С. 1013, 1041, 1047–1048, 1058.
- ¹⁶⁵ Там же. С. 1000.
- ¹⁶⁶ Там же. С. 1049.
- ¹⁶⁷ *Пыпин А. Н.* Панславизм в прошлом и настоящем... С. 38.
- ¹⁶⁸ *Пыпин А. Н.* Польский вопрос в русской литературе // Вестник Европы. 1880. № 1. С. 712.
- ¹⁶⁹ Там же. № 1. С. 711–714; № 10. С. 700; *Пыпин А. Н.* Панславизм в прошлом и настоящем... С. 9–10, 41, 157.
- ¹⁷⁰ *Пыпин А. Н.* Польский вопрос в русской литературе... № 1. С. 713.
- ¹⁷¹ Там же. № 11. С. 305.
- ¹⁷² *Пыпин А. Н.* Панславизм в прошлом и настоящем... С. 38–39, 44.
- ¹⁷³ Там же. С. 45.
- ¹⁷⁴ *Пыпин А.* Казимир Бродзинский // Вестник Европы. 1891. № 10. С. 767–769.
- ¹⁷⁵ *Пыпин А. Н.* Панславизм в прошлом и настоящем... С. 44–46; *Пыпин А. Н.* Польский вопрос в русской литературе... № 3. С. 240–241, 271.
- ¹⁷⁶ *Пыпин А. Н.* История русской этнографии. СПб., 1891. Т. 3. С. 259–261.
- ¹⁷⁷ *Пыпин А. Н.* Польский вопрос в русской литературе... № 1. С. 710–711; *Он же.* Панславизм в прошлом и настоящем... С. 42; *Он же.* История русской этнографии... Т. 3. С. 261–262.
- ¹⁷⁸ *Пыпин А. Н.* История русской этнографии... Т. 3. С. 262–266.
- ¹⁷⁹ Там же. С. 266.
- ¹⁸⁰ *Пыпин А. Н.* Польский вопрос в русской литературе... № 11. С. 298, 303; *Он же.* Новые романы Сенкевича // Вестник Европы. 1888. № 2. С. 666.

- ¹⁸¹ Пыпин А. Н. Польский вопрос в русской литературе... № 11. С. 300.
- ¹⁸² Там же. С. 305–306.
- ¹⁸³ Там же. С. 306–307.
- ¹⁸⁴ Пыпин А. Н. Панславизм в прошлом и настоящем... С. 43–44.
- ¹⁸⁵ Пыпин А. Н. Новые романы Сенкевича... С. 665, 667.
- ¹⁸⁶ Пыпин А. Н., Спасович В. Д. История славянских литератур... Т. 2. С. 1068–1069.
- ¹⁸⁷ Там же. С. 1080.
- ¹⁸⁸ Там же. С. 1081.
- ¹⁸⁹ Pjesnički Hornuch a Delnych Lužiskich Serbow. 1842–1843. Ч. 1–2. Издано по новому чешскому правописанию. В подготовке издания принимал участие И. И. Срезневский.
- ¹⁹⁰ Пыпин А. Н., Спасович В. Д. История славянских литератур... Т. 2. С. 1082–1083.
- ¹⁹¹ Там же. С. 1084.
- ¹⁹² Там же. С. 1086–1088.
- ¹⁹³ Там же. С. 1089–1090.
- ¹⁹⁴ Там же. С. 1091.
- ¹⁹⁵ Там же.
- ¹⁹⁶ Там же. Т. 1. С. 408–409.
- ¹⁹⁷ А. В-нв. [Пыпин А. Н.] Литературное обозрение // Вестник Европы. 1885. № 1. С. 440.
- ¹⁹⁸ Пыпин А. Н. История русской этнографии... Т. 3. С. 131.
- ¹⁹⁹ Пыпин А. Н., Спасович В. Д. История славянских литератур... Т. 1. С. 414.
- ²⁰⁰ Пыпин А. Н., Спасович В. Д. Обзор истории славянских литератур... С. 232.
- ²⁰¹ Пыпин А. Н., Спасович В. Д. История славянских литератур... Т. 1. С. 414–415; Пыпин А. Н. История русской этнографии... Т. 3. С. 252.
- ²⁰² Пыпин А. Н., Спасович В. Д. История славянских литератур... Т. 1. С. 443–444.
- ²⁰³ Илькевич Г. Галицкие приповедки и загадки. Вена, 1841.
- ²⁰⁴ Пыпин А. Н. История русской этнографии... Т. 3. С. 135.
- ²⁰⁵ Пыпин А. Н., Спасович В. Д. История славянских литератур... Т. 1. С. 416–417.
- ²⁰⁶ Там же. С. 417.
- ²⁰⁷ Пыпин А. Н. История русской этнографии... Т. 3. С. 135.
- ²⁰⁸ Пыпин А. Н., Спасович В. Д. История славянских литератур... Т. 1. С. 418, 420, 424–425.
- ²⁰⁹ Там же. С. 419–420.
- ²¹⁰ Там же. С. 418.
- ²¹¹ Там же. С. 420.
- ²¹² Там же. С. 418, 422–423.
- ²¹³ Пыпин А. Н., Спасович В. Д. Обзор истории славянских литератур... С. 237.
- ²¹⁴ А. В-нв. [Пыпин А. Н.] Литературное обозрение // Вестник Европы. 1885. № 1. С. 439–440.
- ²¹⁵ Пыпин А. Н., Спасович В. Д. Обзор истории славянских литератур... С. 238.
- ²¹⁶ Там же. С. 237.
- ²¹⁷ Пыпин А. Н., Спасович В. Д. История славянских литератур... Т. 1. С. 430–431.
- ²¹⁸ Там же. С. 429, 438–439.
- ²¹⁹ Там же. С. 430, 437–438; Пыпин А. Н. Особый русский язык // Вестник Европы. 1888. № 11. С. 359.

- ²²⁰ *Пылин А. Н.* История русской этнографии... Т. 3. С. 413–414; *Пылин А. Н., Спасович В. Д.* История славянских литератур... Т. 1. С. 432–436.
- ²²¹ *Левицкий Н. Е.* Галицко-русская библиография XIX столетия (1801–1886). Львов, 1887–1888. Вып. 1–7.
- ²²² *Пылин А. Н., Спасович В. Д.* История славянских литератур... Т. 1. С. 438.
- ²²³ *А. В-нь [Пылин А. Н.]* Литературное обозрение // Вестник Европы. 1885. № 1. С. 441.
- ²²⁴ *Пылин А. Н., Спасович В. Д.* История славянских литератур... Т. 1. С. 418, 447.
- ²²⁵ *Пылин А. Н.* История русской этнографии... Т. 3. С. 230–231, 328.
- ²²⁶ *Пылин А. Н.* Особый русский язык... С. 356–357.
- ²²⁷ *Пылин А. Н., Спасович В. Д.* История славянских литератур... Т. 1. С. 439–440.
- ²²⁸ *Пылин А. Н.* История русской этнографии... Т. 3. С. 234, 327.
- ²²⁹ *Пылин А. Н., Спасович В. Д.* История славянских литератур... Т. 1. С. 441.
- ²³⁰ Там же. С. 441–442.
- ²³¹ Там же. С. 442–443.
- ²³² *Головацкий Я. Ф.* Народные песни Галицкой и Угорской Руси. М., 1878. Т. 1–4 (в 1863–1877 гг. публиковались в «Чтениях» Общества истории и древностей российских, с предисловием О. М. Боянского).
- ²³³ *Пылин А. Н.* История русской этнографии... Т. 3. С. 328.
- ²³⁴ *Пылин А. Н.* Панславизм в прошлом и настоящем... С. 166.
- ²³⁵ *А. Н. [Пылин А. Н.]* Будущность славянства // Вестник Европы. 1877. № 12. С. 829.

А. А. Поповкин
(Лиски, Воронежская обл.)

Архиепископ Виталий (Максименко) как всеславянский деятель

Имя архиепископа Виталия (Василий Максименко, 1873–1960) хорошо известно церковным историкам, исследователям русской эмиграции. Начальник Почаевской Типографии, глава Почаевского Трудового Типографского братства, вождь волынского крестьянства, участник I Всероссийского монашеского съезда (1909), кандидат в члены Высшего Церковного Совета при Патриархе Тихоне (1917), узник временного правительства, Петлюры и «Второй Речи Посполитой», устроитель «Нового Почаева» в Закарпатье, епископ Детройтский, основатель семинарии и книгопечатни св. Иова Почаевского в Джорданвилле, член Синода Русской Православной Церкви за границей — таков жизненный путь приснопоминаемого владыки Виталия.

Служение архиепископа Виталия было многогранным: он трудился на поприще духовного образования (Джорданвилль) и воспитания детей (Почаев, Ладомирово), на посту председателя Почаевского отдела Союза Русского Народа решал экономические и политические вопросы жизни Волыни, принимал участие в дискуссиях о реформе монастырской жизни в начале XX в., в 1930–1940-е гг. занимался урегулированием отношений различных русских церковных юрисдикций в США. И все же наибольшую известность ему принесла миссионерская и книгоиздательская деятельность в восточнославянских землях, объединенных понятием «Наследие Святого Владимира» — Волыни и Карпатской Руси.

Эта деятельность может рассматриваться как часть истории духовной культуры особого восточнославянского этноса — русинов, но не только — она связала воедино усилия Сербской Церкви, Чешской и Словацкой Православной Церкви, Русской Православной Церкви за границей, усилия русинов на Родине и в рассеянии. Усилия эти были отданы на воплощение идеи *православного славянского единства, идеи восстановления «прадедовской Веры» в униатском обществе Закарпатья*. Деятельность эта может рассматриваться и в межславянском, и во всеславянском контексте, причем под первым нами подразумеваются прагматические отношения славянских народов, а под вторым — проявление вековечного стремления «все языки славянские утвердить в Православии и единогласии» (Тропарь свв. Кириллу и Мефодию, глас 5) и через то проявить их онтологическое единство.

Служение владыки Виталия как всеславянского деятеля можно разделить на три периода. Первый период (1902–1917) включает в себя миссионерскую работу на Волини и землях Галичины и Угорщины, которая выражалась в печатании апологетических книг и листков (в 1902 г. в Почаевской типографии был издан огромный труд выходца из Кенигсберга Адама Зерникова «О Единой Святой Соборной и Апостольской Церкви», середина XVII в., в котором на основании творений св. отцов древности опровергались католические и протестантские заблуждения), а также в тайной помощи проповеднику православия на Прешовщине св. Алексею (Кабалюку, скончавшемуся в 1947 г.), в храмовом строительстве (Троицкий собор московской архитектуры в Почаеве 1912–1913 гг.) и в учреждении скита в православной чешской колонии Здолбуново. Во время Первой мировой войны архимандрит Виталий посылает в освобожденные русской армией области Галичины и Закарпатья иноков-миссионеров (среди них — св. Тихон (Шарапов)). Революция и захват власти петлюровцами прерывают многостороннюю деятельность Виталия — главы Почаевского Типографского Братства (1902–1917 гг.), а в 1919 г. он не по своей воле покидает Россию. Фактически Виталий не беженец и не эмигрант, поскольку был взят в плен польскими войсками и увезен в подводный каземат Ивангородской крепости. После освобождения из плена архимандрит Виталий уезжает в Королевство Сербов, Хорватов и Словенцев (1920), где пытается воссоздать типографию.

Второй период всеславянского служения начинается для него в 1923 г. основанием монастыря св. Иова Почаевского в Ладомирово (Словакия) и завершается в 1934 г. с отбытием в США. В рамках миссионерского проекта Сербского Патриарха Димитрия (Павловича) в Чехословакии архимандрит Виталий организует в Ладомирове монашескую типографию, где печатает «Орган Православного Движения на Карпатской и Пряшевской Руси» — газету «Православная Карпатская Русь», создает приходы и школы. Благодаря Виталию протягиваются нити старческой преемственности от Старого Валаама через Сербию в Карпатскую Русь. Благотворное воздействие «Нового Почаева» в Ладомирово преодолевает границы и ощущается и на Лемковщине, с 1921 г. бывшей под властью Польши. В период епископского служения в США (1934–1960 гг.) и третий период всеславянского служения Виталий становится одним из руководителей кампании поддержки православной церкви в Повисленье — против «антиславянской и антибратской» политики II Речи Посполитой. Он подписывается под обращением к польскому правительству Общерусского собрания 8 марта 1936 г., под резолюцией XVI Конвенции Русского (Русинского) объединенного общества взаимопомощи в Северной Америке (сентябрь 1938 г.), содержащими

острое осуждение гонений на православие в Польше. В августе 1938 г. на II Всезарубежном соборе в Сербии именно архиепископ Виталий настоял на осуждении гонений в Польше, хотя первоначально этот вопрос не были склонны рассматривать так остро.

В 1938 г. в штаб-квартире Русского объединенного общества взаимопомощи в Северной Америке (РООВА) в Кесвилле архиепископ Виталий освятил храм св. равноапостольного князя Владимира в память 950-летия крещения Руси, что послужило напоминанием о «наследии св. Владимира» уже в рассеянии.

После Второй мировой войны братия Ладомирова в основном переместилась в Джорданвилль, старцем, «аввой» которого стали называть Виталия. Он до конца жизни остался верен своим убеждениям и после кончины был погребен у храма св. Владимира в Кесвилле.

Все начинания Виталия на всеславянском поприще увенчались успехом. Монастырь Ладомирова и приходы, в которых он служил на Прешевщине, ныне входят в состав автокефальной Православной Церкви Чешских земель и Словакии. Действует Почаевская типография и книгопечатня св. Иова, где издается «Православная Русь» — преемница «Православной Карпатской Руси». Все это свидетельствует о жизнеспособности идеи православного славянского единства, о том, что она соответствует глубинным стремлениям народного духа, замыслу Божию о славянском мире.

«Мир детства» сербов в путевых записках П. А. Ровинского *

П. А. Ровинский и его работы о Сербии

Павел Аполлонович Ровинский (1831—1916), как и многие другие представители его поколения «шестидесятников», был многогранно талантлив: выдающийся славист, вошедший в историю науки своим фундаментальным трудом по истории и этнографии Черногории¹; проницательный журналист; незаурядный педагог; и еще — неутомимый путешественник, объехавший в буквальном смысле слова полмира, от США до Китая, и проведший около тридцати лет на Балканах.

Он родился в Саратовской губернии в дворянской семье. Получил блестящее образование, окончив в 1848 г. саратовскую гимназию (где сдружился с А. Н. Пыпиным и Н. Г. Чернышевским), а затем с золотой медалью историко-филологический факультет Казанского университета. Несмотря на то, что тот считался «одним из самых скромных провинциальных университетов»², в нем бывали и исключения — кафедру славянских наречий держал известный ученый В. И. Григорович, только что вернувшийся из путешествия по славянским странам. Ему и был обязан Ровинский своим интересом к славистике³... По получении диплома он перебрался в Петербург, где стал заниматься изучением истории славян и журналистикой.

По своим идейным воззрениям Ровинский был последователем Чернышевского, принимал участие в революционном движении, печатался в демократических изданиях того времени — журнале «Современник» и газете «Очерки». Являлся активным членом тайного общества «Земля и воля» (1862—1863)⁴.

Именно это обстоятельство помешало ему в 1862 г. совершить научную поездку за границу, настоятельно рекомендованную В. И. Григоровичем, — разрешения на выезд Ровинский так и не получил, поскольку «находился в сношениях с лицами, имеющими злонамеренное предприятие»⁵. А, между тем, еще не ведая об окончательном вердикте властей, он разработал «План путешествия по славянским землям», в котором писал: «Я избираю южнославянские земли...». Главной же познавательной целью при посещении

* Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ. Проект № 01-01-00215а.

южных славян объявлялось намерение «обращать внимание на их внутреннюю жизнь, на историю быта и просвещения», причем «изучение современности должно служить пояснением и дополнением истории...»⁶. Но исполнить свой план Ровинскому удалось только шесть лет спустя, когда у него наконец-то появилась возможность отправиться к южным славянам — на сей раз в качестве корреспондента солидной столичной газеты «Санкт-Петербургские ведомости».

Местом его пребывания была избрана Сербия, и это не случайно. Мирный вывод турецких гарнизонов из всех крепостей княжества в 1867 г., складывание Балканского союза и подготовка общего восстания против турок привлекали повышенное внимание русской публики. «То было особенное время, — вспоминал позднее сам Ровинский. — На Сербии сосредотачивались желания и надежды всего юга славянства. Одни полагали в ней свое спасение; другие ее боялись»⁷.

Итак, в начале марта 1868 г. он прибыл в Белград и оставался в Сербии до июля следующего года. Летом 1869 г., через Нови Сад, Вуковар, Осиек, отправился в Загреб, а в сентябре переехал в Швейцарию... После длительного перерыва, летом-осенью 1878 г., он провёл корреспондентом в Сербии еще несколько месяцев. Это была его вторая и последняя поездка туда.

* * *

О сербском периоде жизни и творчества П. А. Ровинского не раз упоминалось как в российской, так и в сербской (черногорской) научной литературе. С разной степенью полноты он нашел отражение в трудах А. Н. Пыпина⁸, М. М. Вукиевича⁹, М. Г. Долобо¹⁰, В. Г. Карасева¹¹, В. Я. Гросула¹², Л. А. Котлярской и М. М. Фрейденберга¹³, Н. И. Хитровой¹⁴, С. Ю. Иванова¹⁵, а также Латинки Перович¹⁶ и Павле Радусиновича¹⁷... В рамках общей библиографии работ Ровинского, опубликован и полный список его статей и очерков, написанных о Сербии и в Сербии¹⁸.

К своему пребыванию в Сербии в 1868–1869 гг. Ровинский обращался трижды. Сначала, в 1868–1870 гг., что называется, по горячим следам, он публикует в «Вестнике Европы» очерки: «Два месяца в Сербии (из путевых воспоминаний)»¹⁹ и «Белград, его устройство и общественная жизнь»²⁰. По оценке специалистов, эти работы «знаменуют новый этап в писательском и идейном росте Ровинского...»²¹. Затем, под воздействием антитурецкого движения в Герцеговине, в 1875 — 1876 гг. там же выходят написанные им по памяти и «несколько наспех»²² «Воспоминания из путешествия по Сербии в 1867 году»²³ и «Сербская Морава (воспоминания из

путешествия по Сербии в 1867 году)»²⁴. И, наконец, в 1878 г. Ровинский печатает три значительные статьи: «Россия и славяне Балканского полуострова»²⁵, «Битва у Каменицы, близ Ниша (в мае 1809 года)»²⁶ и «Болгарский хайдук Панайот и его записки»²⁷. К ним примыкает и работа предыдущего года: «Наши отношения к сербам»²⁸... В этих поздних публикациях — «более глубоких, продуманных и основательных» — автор размышляет не столько о реальных событиях, сколько о психологии целого народа, или отдельной его части. Он «как бы поднимается над конкретной действительностью... переключаясь на анализ более глубоких пластов народной жизни». Такие его страницы, уверяют нас знатоки, «могут войти в любую хрестоматию по истории Сербии XIX в.»²⁹.

Но почему? Что позволило коллегам столь высоко оценить сербские сочинения Ровинского, и что вообще делает их подлинной находкой для всякого исследователя социальной и культурной истории Сербии? Для ответа на данный вопрос следует проанализировать сам подход ученого к предмету своих наблюдений, особенности его творческого метода. Причем делать это наиболее целесообразно в *контрастном* свете, т. е. на фоне соответствующих представлений современников-европейцев...

Начнем с того, что о Сербии и Балканах европейские путешественники писали немало. И практически все их труды были пронизаны общим отношением к народам региона, что емко и исторично выразила Мария Тодорова: «Былое аристократическое неприятие эгалитарных крестьянских обществ сменилось предрассудками городской, буржуазной и рациональной, культуры по отношению к тому, что считалось суеверной, иррациональной и отсталой, руральной традицией Балкан, единственной ценностью которой признавалось то, что в глазах Европы она являла собой этнографический музей под открытым небом»³⁰.

Эта синтетическая формула *западного взгляда*, выведенная исследовательницей, органично корреспондирует и с размышлениями Ровинского, который в своем первом очерке подверг критике книгу австрийского путешественника Феликса Каница, признав, однако, что она «есть самое полное сочинение о Сербии»³¹. В каком-то смысле можно говорить, что именно несогласие с Каницем вызвало к жизни его собственные сербские труды... Что же инкриминировал ему Ровинский? Прежде всего то, что тот «совершал свои путешествия по Сербии... вовсе не с ученой целью»³², но ради «популяризации в немецкой публике и проведения известной идеи, тенденции»³³. При этом автор «ни на минуту не может забыть о том громадном расстоянии, которое находится между ним, человеком высшей цивилизации, и полуварварским сербом»³⁴. Такой снисходительно-тенденциозный подход автоматически сбивал прицел и при оценке

конкретных вещей: «Г. Каниц... имеет особенную способность или склонность выставлять наблюдаемые явления в ложном свете и придавать им ложное толкование»³⁵.

Итак, можно констатировать, что взгляд Каница, а равно и других наблюдателей из «просвещенной» Европы, на Сербию вполне вписывался в западную оппозицию *свой — чужой*, с очевидной и имманентно ей присущей априорной предвзятостью... И, как следствие этого, — «Иностранцы большее внимание обращают на памятники прошлого, на немую природу, а не на народ, войти в жизнь которого они не имеют ни охоты, ни способности. Они на все явления народной жизни смотрят издали и свысока, схватывают их поверхностно и дают им толкование по своему вкусу или по своим субъективным воззрениям, а часто под сильным наитием какой-нибудь политической тенденции»³⁶.

Ну а что же Ровинский? Его отношение к Сербии и сербам было принципиально иным. Во-первых, как *русский*, он воспринимал эту страну и ее народ как *своих*: «То, что недоступно в Сербии для каждого иностранца, вполне открыто для нас. Там вы чувствуете себя между своими, хотя и при другой обстановке...». Что значит: «Если вы отбросите все несущественное, перед вами воскреснет родной тип малоросса»³⁷. Ни о какой дихотомии *мы — они* при данном восприятии речи быть не могло. Действительно, славяне не были для него *лишь* предметом изучения (или праздного любопытства, как для многих на Западе). «Я не только наблюдал и изучал их, — писал он впоследствии, — но жил с ними и действовал. Так было со мною в Чехии, потом в Сербии, так случилось и в Черногории»³⁸. Важно, что и в таком, общекомплиментарном, контексте Ровинский особо выделяет сербов: «Характер и степень нашей культуры... более приближают нас к сербам, чем к остальным славянам...»³⁹.

Понятно поэтому, что, описывая Сербию, Ровинский не мог не сопоставлять все виденное с Россией — как писал он А. Н. Пылину, у него «постоянно идет сравнение... со своей родиной». И надо сказать, что выстроенные им сопоставительные ряды весьма органичны, поскольку «мерка, по которой я оцениваю сербский народ, служит та самая, которую я применяю к России»⁴⁰. Подобная органичность была чужда западному восприятию, в основе которого, как уже упоминалось, лежал стереотип о собственной суперприорности (своеобразная «презумпция цивилизационного превосходства»⁴¹), чему соответствовало очевидное неравенство в подходах, т. е. две противоположные «мерки», характерные для всякого *этноцентризма*: одна — для себя, другая — для «туземцев»...

Теперь обратимся непосредственно к предмету наблюдений Ровинского. Что же конкретно он изучал? Ответ на этот вопрос, в различных его вариациях, обнаружить не сложно — прежде всего

русский путешественник желал видеть «житье-бытие простого народа»⁴². А иначе и быть не могло, учитывая его народнические взгляды. «Народник в политике, он был народником и в науке, — справедливо констатировал М. Г. Долобоко. — Его тянул к себе народ, он инстинктивно стремился заглянуть в его душу, слиться с ним, сродниться. Отсюда его этнографические интересы, отсюда, после невозможности этнографических исследований на родной почве, перенесение их на почву ближайше родственного народа»⁴³.

При этом Ровинский в своих очерках не ограничивается лишь описанием жизни и быта сербов, он ставит перед собой задачу куда более важную, которая, как водяной знак на бумаге, проступает в его критике книги Каница. И так, «несмотря на подробное описание народного костюма, жилищ, домашней утвари, обычаев, обрядов и сцен из народной жизни, вы не находите в целой книге именно того, чего ищете, — изображения народа, как *живущего и действующего организма* (выделено нами. — А. Ш.)». Подобный подход Ровинский нарекает «описательной анатомией: вы видите кости и мускулы, но не видите их связи и движения». А если так, то цель исследователя должна состоять в том, чтобы «выразить ту жизнь, тот внутренний процесс, который совершается под внешней оболочкой и придает предмету то особое выражение, которое мы называем характером или физиономией»⁴⁴ (и что сейчас называется *менталитетом*)... Как видим, ученый при формулировании задач демонстрирует системный подход, стараясь, в отличие от Каница, «за деревьями видеть лес»... То был его универсальный принцип — и позднее в своих работах он также всегда желал «представить нечто цельное, имеющее значение общее и постоянное, а не случайное и временное»⁴⁵.

Отчетливо понимая всю сложность заявленной цели — связать воедино детали и представить цельную «физиономию» сербов — Ровинский предъявил к себе ряд жестких научно-этических требований, следование которым полагал непременным условием ее реализации: репрезентативность отбираемых для обобщения данных; объективность и непредвзятость; отсутствие личных амбиций. «Я старался обозреть все, что возможно, — писал он, — не хотел пропустить ни одного предмета, как бы он ни был далек от моих личных целей и воззрений». И далее: «Отрешившись, насколько возможно, от всякой тенденции, ...я смело могу сказать, что относился ко всему беспристрастно, стараясь передать каждое явление со всевозможной точностью...»⁴⁶. И наконец: «Двухмесячное пребывание в Белграде и менее чем четырехнедельное путешествие по внутренности Сербии дало мне только самое поверхностное понятие о стране и народе... Цель моя — единственно обратить внимание на те предметы и стороны народной жизни, которые попадались мне и могли быть пропущены другими»⁴⁷. Причем «не ругаюсь, что весьма

часто я пропускал факты крупные и, напротив, отмечал... мелкие и ничтожные, какие имели какое-нибудь соотношение с моим субъективным настроением, с той средой и с той местностью, которой я весь принадлежу»⁴⁸.

Эта очевидная самокритичность Ровинского в отношении сделанного им; вкупе с редким даром четко фиксировать свою задачу, а также неугомонностью в желании ее разрешить (он исходил Сербию пешком); при отсутствии столь свойственного другим пилигримам *этноцентризма*, привели к высокой оценке его сербских трудов — в них «он высказывает идеи такой степени зрелости, которая приближается к уровню современных исследований...»⁴⁹. Наглядным показателем их значения служит и вывод Л. Перович: «Трудно найти иностранного автора, писавшего о Сербии во второй половине XIX в., который не только лучше Ровинского разбирался бы в менталитете сербского народа, но и вообще писал о нем»⁵⁰... Добавим к этому, что четыре опубликованных в «Вестнике Европы» очерка Ровинского о Сербии вышли недавно отдельным изданием в переводе на сербский язык⁵¹, вызвав у сербов огромный интерес — тираж был раскуплен всего за несколько месяцев. В чем, думается, нет ничего удивительного.

Итак, как мы старались показать, высокопрофессиональные свидетельства П. А. Ровинского являются первоклассным источником для специалиста по социокультурной истории Сербии. Такое заключение справедливо и при исследовании «мира детства» у сербов, как неотъемлемой ее части... Более того — сюжеты, связанные с детьми, всегда были для него, отца многочисленного семейства, одними из самых близких. «Нетрудно узнать, — пишут исследователи, — что он думает о них, о семейном воспитании и школе: это сквозная тема его творчества; о чем бы он не писал, всегда его основное внимание отдано детям»⁵². Почему? Думается, что и в данной связи на Ровинского повлияла связь с народниками, для которых просветительская работа всегда была важнейшей сферой общественной деятельности (не даром, он целый ряд лет занимал должность директора детской колонии). Во время заграничной поездки 1868–1869 гг. Павел Аполлонович сам признался А. Н. Пыпину в своем желании «больше всего наблюдать тамошние учебные и воспитательные заведения: это моя задушевная задача»⁵³. Именно поэтому страницы записок Ровинского, посвященные детям, семье, школе, обретают для нас еще большую ценность...

«Мир детства»

Мир сербских детей, каким его видит и фиксирует Ровинский, есть не что иное, как составная часть сообщества взрослых, где первые

являются всего лишь младшими партнерами вторых. Практически все у них едино — участие в труде и досуге, одежда и пища. В обществе, таким образом, еще не произошло осмысления детства, как *особой* фазы в жизни человека, и формирования специфической «культуры детской», с жесткой межпоколенческой границей, заданными правилами поведения и ограничением жизни ребенка ее рамками. Для сравнения скажем, что на западе Европы такое осмысление произошло еще в XVII в.⁵⁴

Павел Аполлонович вполне уловил эту разницу. Так, говоря о «мире детей», что «в просвещенных странах составляет главный предмет заботливости», он подчеркнул: «В Сербии нельзя сказать, чтоб о детях заботились очень много». Причем для него оно, «может быть, и лучше — благодаря отсутствию педагогики, дети развиваются довольно свободно и самостоятельно»⁵⁵. И в результате: «В этих детях я не заметил ни боязни, ни застенчивости; а по разговорам и поступкам они точно взрослые»⁵⁶.

Причина такой ранней взрослости лежала именно в *существовании* двух еще не разделенных миров в русле *единого* для всех образа жизни, что было универсальной чертой всякого традиционного общества. В частности, российские исследователи также отмечают: «В крестьянском доме жизнь семьи происходила на глазах ребенка. Здесь он не был отделен от „взрослой“ среды, не было разрыва между сугубо взрослой жизнью и времяпрепровождением детей, поэтому постепенно и естественно протекало включение ребенка в праздничную и повседневную жизнедеятельность крестьянской среды». При этом, его «приобщение к труду начиналось „исподволь, по возможности...“»⁵⁷. Словно подтверждая сей факт, Ровинский отмечал виденное им в сербской задруге: «Редко вы услышите писк и крик детей: они также как будто все чем-нибудь заняты, даже самые маленькие, 5-ти и 6-ти лет»⁵⁸ — с этого возраста и начиналось то самое «приобщение к труду», т. е. фактическое, в меру сил, участие во *взрослой* жизни⁵⁹.

К 12–13 годам дети — уже совсем «взрослые»: они почти на равных участвуют в работах вместе со старшими. Описывая древний обычай *мобы*, когда хозяин созывает соседей для помощи в хозяйственных делах, Ровинский фиксировал: «Первые пришли *молодые* парнишки и девчонки лет по 12 и 14-ти, и как только пришли, сейчас заиграла дудка, ухватились за пояса и начали выплясывать в коло. Собирались *взрослые* и даже *пожилые* люди, примкнули и они к этому колу, и так пошли по дороге, выплясывая и выкрикивая (выделено нами. — А. Ш.)...»⁶⁰. И так, все вместе, они — не только на пути к работе, но и во время ее самой. Обратим внимание на это присутствие рядом молодых, взрослых и пожилых: такая трехпоколенческая вертикальная связь (в рамках семьи или коллектива) являлась главным

условием воспроизводства *преемственности* — одной из базисных установок традиционного общества.

Но подробнее об этом чуть позже, пока же воспроизведем еще одно наблюдение П. А. Ровинского: «Вспоминаю я одного сельского мальчика. В субботу он воротился из школы, где он обыкновенно оставался целую неделю... Через несколько времени хватились, а его нет. Едва успев несколько отдохнуть, он побежал посмотреть лошадей и, воротившись оттуда, обратился к отцу с упреком, почему лошадь похудела. „Если вы будете так скряжничать и не станете как следует кормить, не будет она вам как следует и работать“, заключал он свое увещание родителю»⁶¹.

Этот «подслушанный» русским ученым разговор — опять же весьма характерен для крестьянской среды. Во-первых, он наглядно иллюстрирует непреложное правило, согласно которому «на мальчиков ложилась значительная часть ухода за лошадьми»⁶². А во-вторых, обращает на себя внимание апелляция младшего члена семьи к старшему как к равному — сам факт ранней причастности к делам коллектива, следствием чего и было быстрое «взросление», приводил к тому, что «дети с раннего возраста начинают подражать взрослым и в разговорах, и в работе. Особенно этим отличаются мальчишки. В них, слушая некоторых... можно увидеть миниатюрного мужичка...»⁶³.

Другая причина подмеченной Ровинским «необыкновенной серьезности детей»⁶⁴ состояла в патриархальном укладе жизни сербской задруги. «Это не натуральная семья, а домашняя община», — указывал он, в которой «ребенку нет ласки от отца или матери, потому что дети все вместе находятся на попечении редуши, бабы и старейшины». И, «только удалившись в свой амбарчик, вне общего надзора... мать прижимает к груди свое детище, к которому не смеет почти признаться, находясь постоянно в общине с другими». Это «пригнетение семьи во имя общины, подавление естественного чувства, — резюмировал Ровинский, — и кладет тот тяжелый отпечаток, который скоро замечается посторонними наблюдателями»⁶⁵.

Снова, в который уже раз, острый взгляд русского «гостя» зафиксировал то, что станет достоянием этнографической науки век с лишним спустя: «В традиционном обществе уход за маленьким ребенком был обязанностью не только матери, но и остальных женщин семьи»⁶⁶. Или более обобщенно: «Во многих... традиционных культурах ребенок принадлежит не только отцу и матери, но и всей общности, в которой он живет, и, соответственно, общность принимает более непосредственное участие в его воспитании»⁶⁷.

Что же касается самой семьи — описанной Ровинским крестьянской задруги, — то присутствие в ней представителей сразу трех поколений гарантировало устойчивость и неизменность *традиции*,

когда «деды, держа в руках новорожденных внуков, не могут представить себе никакого иного будущего, отличного от их собственно-го прошлого». Прошлое взрослых, таким образом, «оказывается будущим каждого нового поколения; прожитое ими — это схема будущего для их детей...»⁶⁸. Когда же происходило удаление поколения дедов из мира, в котором воспитывался ребенок (при переходе от сложной к нуклеарной семье, что было характерно для городской культуры), его жизненный опыт сокращался на поколение, а его связи с прошлым ослабевали. Представленное некогда живыми людьми, оно становилось туманным, и его легче было отбросить⁶⁹. Перед нами — общая модель модернизации (урбанизации) условий воспитания...

А между тем и при описании жизни детей в Белграде Ровинский не приводит данных, которые свидетельствовали бы о каких-то важных изменениях в этом процессе — отдельная «детская», с ее *другой* (т. е. отличной от взрослой) жизнью, в столице также отсутствовала. Потому и в маленьких белградцах, как ранее в их сельских сверстниках, он не замечал «ни боязни, ни застенчивости»; да и «плач детей» ему «редко доводилось слышать...». Очевидна все та же «взрослость», когда «мне случалось, приходя к одному знакомому и не заставая его дома, от старших получать деликатно выпроваживающую фразу „господина дома нет“, а семилетний ребенок в то же время, как полный хозяин, приглашал войти в комнату и подождать отца, ташил за руку, усаживал, давал мне последний номер газеты и занимал разговором, спрашивая, давно ли я получил письмо от своих, когда я поеду домой и т. п. Откуда, — заключал с удивлением Ровинский, — в нем такая серьезность и такое умение...»⁷⁰.

Несмотря на то, продолжал он далее, что «надзора за ними нет почти никакого» и «они совершенно предоставлены сами себе», рукопашные драки между детьми «очень редки», а «проказ у них очень мало...». Более того, «шляющихся детей без дела там нет: они непременно исполняют какие-нибудь службы, так, например, носить кувшинами воду от чесмы (водопровода) их постоянная обязанность, или они в школе»⁷¹.

Как видим, и в городских детях, по описанию Ровинского, было мало детского — того, что на каждом шагу мы встречаем у детей *современных*. Он фактически приводит всего один пример настоящего каприза, когда ему «случалось видеть, как шестилетнего ребенка барского воспитания ташил в школу лакей...»⁷². Традиция и патриархальный обычай, таким образом, оставались крепки в сербском городе конца 1860-х гг. Сам же он являл собой поселение явно переходного типа, где «значительная часть горожан по роду занятий (а мы бы добавили, и по менталитету. — А. Ш.) мало чем отличается

от поселян»⁷³. Что, повторимся, подтверждают наблюдения П. А. Ровинского о белградских детях...

Сербская школа

Выше уже говорилось, что Ровинский — сам педагог — не мог, в контексте своих размышлений о сербских детях, обойти вниманием школу. Мало того, он считал показ всего, с нею связанного, своей «задушевной задачей». И, действительно, на страницах его записок часто встречаются наблюдения относительно школы и уровня образования вообще. Кроме чисто этнографического интереса, они значимы тем еще, что через этот важнейший критерий помогают разглядеть всю двойственную природу модернизации по-сербски. Иными словами, что такое школа в михайловской Сербии — институт или источник *реального* знания, и насколько тождественны эти (формальная и сущностная) ее ипостаси?

С одной стороны, русский путешественник отдает должное сербским властям за оперативное развитие школьного дела, признавая, что, «если измерить образованность народа количеством школ и одной грамотностью, то Сербия в короткое время сделала громадный успех»⁷⁴, причем «числом школ» она «значительно опередила Россию»⁷⁵.

Но, с другой стороны, ситуация выглядела не столь благостно — так, знакомый учитель («очень разумный человек», по определению Ровинского) «хорошо осознавал свою крайнюю неподготовленность для школьного дела. Он не только не имел самых элементарных понятий из географии и естественных наук, но не имел понятия о дробях из арифметики, не знал, кто такие римляне, памятники которых попадались ему на каждом шагу. Трудно припомнить все факты, доказывающие его невежество, но общее впечатление было такое, что он в школе учился только молитвам и кое-как священной истории и катехизису, преподаванием же других наук совершенно пренебрегали...»⁷⁶. Явление это, по-видимому, было вполне типичным и не вызывало в обществе никакого протеста, чему ярким примером служат слова одного из сербских собеседников Павла Аполлоновича: «„Удивительное дело это читать: учат, учат в школе, а дети все-таки читать не могут“ — добавил он с полной верой, что иначе и быть не может»⁷⁷.

Начальство с таких учителей тоже никак не взыскивало, проявляя вынужденную снисходительность: «Откуда же взять лучших?». Да «и что в этом за беда? Грамотность распространяется, а дальнейшее — потом». Мы, мол, государство маленькое, молодое, и «дело идет так, чтоб нельзя было сказать, что ничего не делается (выделено нами. — А. Ш.)»⁷⁸.

Как видим, в условиях, когда государство фактически не поощряло *прогресса* в школьном деле (в частности, никак не связывало получение образования с обретением каких-то конкретных преимуществ), оно развивалось формально — для внешнего, так сказать, потребления: самостоятельному *de facto* княжеству *пристало* иметь институт школы... Ровинский первым из путешественников разглядел это несоответствие между формой и сутью, буквально возопив (на фоне быстрого-то роста числа школ): «Где оно, истинное образование!»⁷⁹ и поставив под сомнение все значение официальной сербской статистики об успехах страны в данной сфере: «Какое после этого неверное понятие вы составите о Сербии по тем отчетам, которые всякий раз читают перед скупщиной»⁸⁰.

Он же сформулировал и обобщающий вывод из всего им виденного: «Нельзя не признать, что Сербия сделала во времени значительные успехи». Но, «зная, какими она располагала средствами, и сколько тратится на все, нельзя не потребовать больше того, что сделано». И, даже «не требуя многого, можно, кажется, требовать, чтоб в том, что делается, был толк и польза, а мы этого-то последнего и не находим»⁸¹. Действительно, школ немало, но они «содержатся весьма бедно, и ни один порядочный учитель не идет в них»⁸². В результате «грамотность распространяется, а дальнейшее потом...». Такова, повторимся, была сверхзадача властей. «Чего вы хотите от нас? Мы недавние, слава Богу, что и то имеем», — рефреном звучит в передаче Ровинского знакомая нам логика сербов, каковую он приписал их особой черте — «самодовольству»⁸³.

Но, спрашивается, распространялась ли она на самом деле — эта грамотность — в народной среде, и откуда тогда замеченное Ровинским: «Учат, учат в школе, а дети все-таки читать не могут...»?

Отношение сербского крестьянина к просвещению не было столь однозначным, как могло бы показаться уже из самого факта роста числа школ. «Хотят, чтоб мы своих девочек туда посылали, — объяснял Ровинскому его визави из провинции. — Это еще к чему? Да моя дочь и дома выучится всему, что ей надо. Выдам я и без того свою дочь за лучшего человека, войдет она в богатый дом, в полное хозяйство; не книжки ей тогда читать...»⁸⁴. Высказывание крайне показательное — и четверть века спустя ситуация оставалась практически той же. «Серб, будучи по природе человеком в высшей степени практическим, находит излишним посылать в школы своих детей, которые в школьный возраст нужны ему для присмотра за скотиной и для всевозможных услуг в хозяйстве. Хотя обучение в этой стране обязательно и бесплатно, но поселяне всеми правдами и неправдами стараются удерживать своих детей дома, и вследствие этого много сербов остаются безграмотными»⁸⁵, — отмечала известная русская путешественница и педагог Е. Н. Водовозова.

Что следует из этих, повторяющих друг друга, хотя и разнесенных во времени, наблюдений? То, что в патриархальной Сербии мотивация для получения образования еще не созрела — ведь традиционный образ жизни предполагал, что большинство детей пройдет по ней путем родителей, наследуя их занятия и обычаи. Для чего «домашнее образование» было куда важнее полученного на стороне *абстрактного* знания. В свое время мать Еврема Груича — одного из зачинателей сербского либерального движения — пыталась отговорить супруга от идеи отдать его в школу: «Оставь его. Твои родители тоже не знали грамоты, и ничего, жили неплохо...»⁸⁶. Все точно: «Зафиксированная и аккумулированная в бесписьменной народной культуре, хранимая в живой памяти и передаваемая механизмами неукоснительных традиций, ограниченная совокупность знаний и навыков вполне обеспечивала хозяйственный процесс»⁸⁷. Соответственно, как справедливо констатирует современная исследовательница, «представления о значении просвещения у большинства крестьян были весьма туманными»⁸⁸. Оно не стало для них жизненной ценностью и внутренней потребностью. Несмотря на открытие новых школ, подчеркнем еще раз...

Такое явление было типическим для традиционных обществ — многие русские университеты, основанные в начале XIX в., стояли «почти пустые, потому что в общей массе народа, — как писал мемуарист, — и даже в самом дворянстве не существовало еще истинной потребности учиться...». Лишь императорский указ 1809 г., о необходимости сдачи экзаменов при производстве в чины, «даровал кончившим университетский курс важные служебные преимущества». И «все бросились учиться». Со временем же бывшее возбуждение органично «влилось в нравы и из средства искусственного превратилось в естественный порядок вещей»⁸⁹.

В Сербии подобного стимула к просвещению не было — ни сверху, ни снизу; и в результате знание, полученное в школе, для многих действительно было абстрактным, ибо традиционное общество не поощряло новаций. Как таковое (не востребовавшее) оно не являлось повседневной необходимостью, что, в свою очередь, не могло не влиять на судьбу *формально* грамотных людей, назовем это так.

И откроем мемуары одного из образованных сербов — по должности окружного врача. «Нет лучшего школьного ревизора, — писал он на исходе XIX в., — чем окружной или срезский врач, поскольку у него есть возможность при призыве в армию видеть тех детей, которые десять лет назад посещали школу. В селе, где школа существует 30 лет, и где почти все прошли через нее, при призыве оказалось, что из 40 бывших учеников только двое умеют читать и писать; 15 человек не умеют писать, но кое-как читают, а остальные

и не читают, и не пишут. В том, что эти дети, по окончании школы, уходят в горы пасти скот и никогда больше не берут книгу в руки, виноваты не учителя. Просто у нас никто не желал об этом думать — ни одно правительство не предложило лекарства от болезни. И какой смысл в том, что такие большие деньги тратятся на учителей и школы, если в действительности народ не имеет от них никакой пользы», когда многие «дети забывают все...»^{90*}.

Перед нами — не что иное, как авторитетное подтверждение одной из главных тенденций в развитии сербского просвещения, вскрытой еще Ровинским, — «учат, учат в школе, а дети все-таки читать не могут», а также парафраз его же пожелания — «чтоб в том, что делается, был толк и польза...».

Кроме того, данное высказывание высветило и подлинную цену *самодовольства* сербских властей, подмеченного русским ученым. Уже сам их руководящий тезис: «...а дальнейшее — потом», как и основной мотив: «чтоб нельзя было сказать, что ничего не делается», не могли не привести к вполне закономерному итогу — несмотря на общее число закончивших школу, *реально* грамотных людей в Сербии было намного меньше, чем декларировалось. И это только подкрепляет вывод Ровинского об относительности сербской статистики — этой *формальной* компоненты всякого дела.

Таким образом, очевидно, что одна лишь голая форма — наличие почти в каждой общине *школьного здания* — автоматически не являлась свидетельством модернизации сферы просвещения. Немалые, по меркам Сербии, вложения в него, которых все равно не хватало, часто прокручивались вхолостую; соответственно и конкретные результаты были весьма скромны: как мы видели, даже в *реальном* «ликбезе» власти не преуспели, и огромное большинство детей оставались неграмотными... Иными словами, «все, что устраивает сербское правительство, обходится ему дороже, чем где бы то ни было, и к тому же все устроенное им обыкновенно не достигает своей цели»⁹¹.

Глубинные причины такого феномена, впервые эмпирически зафиксированного П. А. Ровинским, заслуживают, на наш взгляд, отдельного исследования...

* Полтора десятилетия спустя (в 1908 г.) члены Шумадийского учительского общества, опрашивая в окрестностях Крагуеваца сельскую молодежь, десять лет назад окончившую начальную школу, были вынуждены констатировать, что «у огромного большинства парней и девушек исчезло почти все полученное в школе знание, а многие из них вообще разучились читать и писать! Многие из них за время, прошедшее после школы, не написали ни единого слова и ничего не прочли!» (цит. по: *Исид М. Писменост у Србији у 19. веку // Образование код Срба кроз векове. Београд, 2003. С. 78*). Но уже то, что «они были в состоянии, мучительно и обливаясь потом, вывести свой автограф, — замечает Момчило Исич, — относило их к категории грамотных...» (там же). Таковы были критерии.

В качестве заключения приведем типологически емкий вывод Эрнста Геллнера, заметившего как-то, что «аграрное общество не обладает ни ресурсами, ни мотивами, необходимыми для того, чтобы грамотность распространялась широко, не говоря уже о том, чтобы она стала всеобщей»⁹².

«Человек вечной войны»

Перед тем как перейти к заключительному сюжету — особенностям воспитания детей у сербов, подмеченным Ровинским, сделаем несколько вводных замечаний.

Специфику любой пограничной культуры, — а Балканы всегда являлись одной из классических зон культурного пограничья (или «цивилизационно-контактных зон», как часто говорят сейчас⁹³) — составляют более выраженные, в сравнении со «стандартной ситуацией», открытость и закрытость. По одной и той же причине — продолжительное соприкосновение с чуждым культурным пространством, а нередко и существование внутри него в виде анклавов — такие культуры являются особенно восприимчивыми к идущим извне влияниям, и в то же время ревниво оберегающими свою самобытность. Постоянные колебания между двумя полярными тенденциями: *космополитической* и *охранительной* (оппозиция: быть в «открытии» или в «укрытии») суть качество любого пограничья⁹⁴.

У сербов, как этноса, такая амбивалентность проявилась после завоевания их турками (агрессии чуждой культуры) — сохранение православия в «коренной» Сербии и исламизация значительной доли православного населения в Боснии, сопровождавшаяся сменой этнического сознания. Впрочем, в самой Сербии также не обошлось без раскола — сербы, проживавшие в городах (цитаделях турецкой власти), практически выпадали из сербской социокультурной общности, ибо, как писал Вук Караджич, «народ не считает их сербами и презирает...»⁹⁵. Известны и факты участия сербов в боевых действиях на стороне турок, причем даже во времена Сербской революции начала XIX в.⁹⁶, не говоря уже про немалое число тех, кто колебался, выжидал или сохранял нейтралитет.

В то же время в сербских землях сформировался тип гайдука (бунтовщика и героя), боровшегося против существующей власти и опиравшегося в своей борьбе на *старые исторические традиции*. В историографии давно подмечена эта связь, или как ее еще называют, «героическая вертикаль сербов» — Косово поле 1389 г., Шумадия 1804 г., Сербия 1914 г. (М. Обилич, Карагеоргий, Ж. Мишич)⁹⁷.

Наличие и — чем далее, тем более открытый — конфликт двух ментальных начал у сербов под турками («раетинского» и героического)⁹⁸ классически иллюстрирует факт отцеубийства, совер-

шенного молодым Карагеоргием *. Компромисса между ними быть не могло...

Сербская революция привела к новому всплеску традиционализма — об этом уже писали историки⁹⁹. То же самое подтверждает Ровинский. Так, встретившись с родным братом Живоина Жуйовича, Марко, он заметил у того за поясом револьвер. И состоялся краткий, но весьма показательный, диалог: «Зачем ты, Машо, взял с собою револьвер, когда пути всего два часа и время дневное?» — «Так мне отец мой завещал, а ему его отец: ни шагу из дома не делать без оружия. Прежде, бывало, выедут на пашню — пистолет вечно за поясом, а у воза винтовка. Так турки нас приучили»¹⁰⁰. Заметим, что этот поведенческий стереотип сербов (быть в любой момент готовыми к *вооруженному* отпору — т. е. к *радикальной* защите *охранительной* культурной тенденции) — оказался удивительно стойким: в 1883 г., когда модернизирующаяся сербская власть пыталась изъять оружие у жителей Восточной Сербии, те ей ответили Тимокским восстанием.

Стойкость традиции и в эти, уже довольно отдаленные от Ровинского, времена сербской независимости подтверждают другие источники. Наиболее характерный из них, на наш взгляд, — отрывок из мемуаров Милана Стоядиновича о речах знаменитого радикального демагога, ужицкого проты Милана Джурича. «Главным его аргументом, — заметил премьер межвоенной Югославии, — была апелляция к прадедовским костям. Обычно он возглашал: „Прадедовские кости требуют от нас...“. Или же: „Кости наших прадедов взывают к нам из могил...“. Такой патриотический настрой его речей всегда имел большой успех»¹⁰¹.

Очевидный парафраз этого мотива о «прадедовских костях» и зафиксированного Ровинским отсыла его собеседника к «завещанию» отца и деда, лишний раз доказывает справедливость заключения, что одной из базовых традиционалистских установок была идея *преемственности*, т. е. «солидарности поколения живущего с умершими» или «участия минувших поколений в современности...»¹⁰².

* В 1786 г. Карагеоргий с семьей был вынужден бежать из Сербии в Австрию. Но его отец Петр, как пишет о том Радош Люшич, «уже в годах, пребывая в страхе от турецкой погони и неизвестности, которая их ожидала в соседней стране, в дороге передумал и предложил возвратиться в родное село. Такое его решение не было чем-то неожиданным, поскольку он принадлежал к той категории людей, для которой статус райи на родине казался предпочтительнее неизвестности бегства... Он не только высказался против переселения, но и пригрозил, что выдаст беглецов туркам. Страх перед ними, все еще весьма значительный в жизни сербов, вносил сильное беспокойство в раетинскую душу Петра... Убеждения близких не помогли — Петр повернул назад. И тогда его настигла пуля, выпущенная из ружья сына» (см.: *Льушић Р. Оцубство // Љушић Р. Србија 19. века. Београд, 1998. Књ.2. С. 227).*



И особо наглядно такое участие проявлялось в подходе родителей к воспитанию детей. Павел Апполонович оставил нам детальное его описание.

По словам путешественника, отцы семейств заставляют своих чад «выучивать в виде катехизиса историю падения сербского царства на Косовом поле»: «Где пропало сербское царство?» — На Косовом поле. — «Кто погиб на Косовом поле?» — Царь Лазар, 9 Юговичей и все сербское юнацтво. — «А еще кто?» — Царь Мурат. — «Как он помер?» — Его зарезал Милош Обилич. — «Чем же мы помнем царя Лазара, Милоша Обилича и всех сербских юнаков?» — Вечная им память. — «А Мурата?» — Будь он проклят. — «Кто неприятель сербов?» — Турок. — «А еще кто?» — Шваба. — «Чего же ты им желаешь?» — Я возьму саблю и посеку им головы¹⁰³».

Образованные сербы, признавая явный перекокс «героического» воспитания, тем не менее объясняли Ровинскому его необходимость: «Видите, в каком мы положении: мы должны из наших детей готовить вместо гуманных граждан — диких солдат, потому что нам еще грозит война с турками и борьба с варварами, с которыми нужно мериться тем же оружием, каким пользуются и они против нас»¹⁰⁴.

Сербские матери вторили сербским отцам на бытовом уровне. Ровинский описал визит в одну семью, где четырехлетний ребенок плакал от полученного в драке удара. «„Что же ты плачешь? — урезонивала его мать, — разве ты не юнак (герой. — *А. Ш.*), и не можешь сам его камнем?“ Ребенок сию минуту стих, схватил камень, который едва мог поднять, и спокойно уже сидел на пороге калитки, поджидая своего врага»¹⁰⁵. Как видим, юнацкое начало закладывалось в сербских детей с самого нежного возраста, что не могло не сказаться на формировании их мироощущения, каковое оставалось сугубо конфронтационным в рамках оппозиции *свой — чужой*. «Когда турки занимали крепость и жили вообще в Белграде, — заметил в этой связи Ровинский; — дети постоянно делали атаки на крепость, пуская туда град камней, и нередко вступали в бой с часовыми турецкими солдатами, а в городе завязывали бои с турками, и не равными себе детьми, но взрослыми...»¹⁰⁶.

* Заметим, что с течением времени в данной системе воспитания мало что менялось. Спустя почти полвека после путешествия Ровинского другой русский автор констатировал: «Когда старый дед учит внука владеть саблей или кинжалом, тогда жилище серба наполняется избытком высокого наслаждения и удовольствия... Премущественно, от поколения к поколению, передаются имена освободителей народа от турецкого ига и в честь их слагаются песни» (*Кожухов А. Н.* Сербия и сербы. Каменец-Подольск, 1915. С.12).

Данный подход проявляет себя особенно контрастно в сравнении с иным типом мышления. Иллюстрации ради приведем разговор видного сербского политика, врача и литератора (воспитанного в Европе и отнюдь не радикала) Владана Джорджевича с чешским национальным деятелем Ладиславом Ригером. На замечание Ригера о том, что «австрийское ярмо становится для чешского народа слишком тяжелым», его собеседник задал вполне естественный для всякого серба вопрос: «Почему тогда чешский народ не сбросит его?» На то был получен характерный ответ: «Народ, у которого почти в каждом втором доме стоит пианино, не поднимает революцию...»¹⁰⁷. Перед нами два наглядных проявления двух систем мышления *, названных Ю. М. Лотманом *бинарной* и *тернарной*. Вторая «стремится приспособить идеал к реальности», тогда как первая — «осуществить на практике неосуществимый идеал»¹⁰⁸.

Кстати, о фортепиано. В 1898 г., т. е. спустя целых двадцать лет после разговора Владана Джорджевича с Ригером, в старой сербской столице, Крагуеваце, по подсчетам педантичного Ф. Каница, на 14 тысяч жителей приходилось всего одно пианино, да и то стояло в доме переселенцев из Срема¹⁰⁹. Музыкальные запросы сербов из княжества были иными: героические песни, исполняемые на гуслях, помогали усиливать «участие минувших поколений в современности». Ровинский описал финал исполнения одной из таких песен: «А когда дошло дело до Вука Бранковича, что выдал царя на Косове, и пропел ему певец: „проклят будь и род ему и племя!“ — „проклят!“, крикнули тут все и повскачили с мест, как будто бы ища изменника, предавшего все сербство...»¹¹⁰.

Завершая свои заметки о Сербии, Ровинский писал, что страна произвела на него «впечатление полувоенного лагеря», что все в ней «временное, неустановившееся, все в каком-то ожидании чего-то, что вся она живет *накануне*, вся в каком-то воинственном настроении»¹¹¹.

* Прошли десятилетия, но в мышлении одних и других опять-таки ничего не изменилось. В начале рокового 1914 г. оказавшийся в сербской столице русский турист писал: «Белград делает сейчас заем в 40 миллионов франков, из которого 20 миллионов предназначено на постройку общественных зданий... Многие находят, что для Белграда это расход чрезмерный», утверждая «что украшать город хорошо... но что пушки, пожалуй, надежнее. Не лучше ли иметь лишних 20 скорострельных пушек, чем построить один дом». В ответ на это гость вспомнил о своей встрече с мэром Праги, «когда он показывал народный банк, который обошелся чуть не в четыре миллиона франков. Я спросил, как может маленькая Чехия возводить такие дворцы, которые считались бы роскошью даже в России или во Франции. Он ответил, что положение России и Чехии несравнимо... Чешский крестьянин знает, что он окружен со всех сторон немцами, которые хотят задавить его национальное самосознание, ему тяжело, его надо подбодрить. Вот и строятся дворцы для обслуживания народных нужд, чтобы показать народу его силу и мощь его единения. Каждая такая постройка есть новая крепость, она придает крестьянину веру в самого себя, в свои силы и укрепляет его дух» (Комаров Г. В. В Белград на Пасху. СПб., 1914. С. 7—8).

В итоге, резюмировал он, «во имя постоянно грозящей войны Сербия жертвует своими истинно человеческими интересами», ибо «на такой почве трудно ожидать, чтоб могли пустить глубокие корни гуманизм и гражданственность»¹¹².

И действительно, коллективный портрет серба второй половины XIX — начала XX в. вполне можно было бы подписать: *Ното Militans*, т. е. «человек вечной войны»¹¹³, формирование которого и проходило в условиях специфической системы воспитания, описанной Ровинским...

Но когда наступила пора решающих столкновений — во имя *отмщения Косова* — сербы (все, как один) двинулись в бой, да так, что выдавшие виды русские дивились: «Здесь узловой пункт. Нет шума, нет пьяных, нет плачущих женщин. Вообще ничего похожего на наши родные картины при отправке на войну запасных». И в глазах провожающей сына матери — «ни единой слезинки». В них только одно: «Наперед, сине, с Богом!»^{114*}

Как и несколько лет спустя, во время Первой мировой войны, одна только *сербская* мать, думается, могла написать сыну, оказавшемуся в австрийском плену: «Я все мыслю, что если тебя все-таки пленили, то ты, наверное, был ранен и не мог защищаться. Но, сынок, если ты сдался сам и при этом не был ранен, домой больше не возвращайся. Ты осрамил бы наше село, которое положило на алтарь отечества восемьдесят трех героев из ста двадцати, сколько их всего призвали в армию. Твой брат Милан погиб у Рудника. Должно быть, он был счастлив, когда видел, как его старый король стреляет из первых шеренг...»¹¹⁵.

П Р И М Е Ч А Н И Я

¹ Ровинский П. А. Черногория в ее прошлом и настоящем. СПб., 1888. Т. 1; СПб., 1897. Т. 2. Ч. 1; СПб., 1901. Т. 2. Ч. 2; Пг., 1915. Т. 3.

² Пыпин А. И. Мои заметки. М., 1910. С. 30.

³ Там же. С. 38; Долобо М. Г. П. А. Ровинский // Журнал Министерства Народного Просвещения. 1916. Кн. 7. С.17.

⁴ См.: Пантелеев Л. Ф. Воспоминания. М., 1958; Гросул В. Я. Российские революционеры в Юго-Восточной Европе. Кишинев, 1973; Юдин В. И. Сподвижник Чернышевского. Волгоград, 1983.

* В 1912 г. жена российского посланника в Сербии Н. Г. Гартвига писала из Белграда в Москву: «Только что хоронили чиновника министерства иностранных дел Ковачевича, тело которого привезли в кусках из-под Куманова. Старик-отец перед прощанием обратился к сыну со словами: „Прощай, юнак, ты видишь, я не плачу, ступай с миром к престолу Всевышнего и скажи царям Душану и Лазарю, что Косово поле освобождено“. Это был единственный сын старика...» (Центральный Исторический Архив Москвы. Ф. 179. Оп. 21. Д. 3017. Л. 31; Козлов В. Ф. Москва Сербин. Из истории русско-сербских связей XVII — начала XX вв. М., 2001. С. 52).

- ⁵ *Котлярская Л. А., Фрейденберг М. М.* Из истории отечественной славистики: П. А. Ровинский. Калинин, 1988. С. 20.
- ⁶ Цит. по: *Юдин В. Н.* Сподвижник Чернышевского... С. 81.
- ⁷ *Ровинский П. А.* Болгарский хайдук Панайот и его записки // Отечественные записки. 1878. Кн.8. С. 349, 351.
- ⁸ *Пылин А. Н.* Русское славяноведение в XIX столетии // Вестник Европы. 1889. Кн. 9. С. 291.
- ⁹ *Вукичевич М. М.* П. А. Ровинский и сербы // Известия Императорского Русского Географического Общества. 1916. Т. 52. Вып. 7.
- ¹⁰ *Долобко М. Г.* П. А. Ровинский... С. 16–25.
- ¹¹ *Карасев В. Г.* Сербский демократ Живоин Жувич. М., 1974. С. 84–103; 291–299.
- ¹² *Гросул В. Я.* Российские революционеры в Юго-Восточной Европе... С. 318–343; *Он же.* Революционная Россия и Балканы (1874–1883). М., 1980. С. 236–276.
- ¹³ *Котлярская Л. А., Фрейденберг М. М.* Из истории отечественной славистики: П. А. Ровинский... С. 29–42; *Они же.* Из истории отечественной славистики: П. А. Ровинский в Черногории. Калинин, 1989. С. 22–27.
- ¹⁴ *Хитрова Н. Н.* П. А. Ровинский о Сербии // П. А. Ровинский (1831–1916) и его время. Калинин, 1988. С. 37–47.
- ¹⁵ *Иванов С. Ю.* Ровинский о сербском народе (Опыт этнопсихологической характеристики) // П. А. Ровинский (1831–1916) и его время... С. 54–66.
- ¹⁶ *Перовић Л.* П. А. Ровински о Србији 1868. године // *Перовић Л.* Српско-руске револуционарне везе. Београд, 1993. С. 41–46; *Она же.* Предговор // *Ровински Павле Аполонович.* Записи о Србији (1868–1869). Нови Сад, 1994. С.7–22; *Она же.* Dugi о пата // *Perović L.* Ljudi, događaji i knjige. Београд, 2000. С. 162–165.
- ¹⁷ *Радусиновић П.* Павле Аполонович Ровински — стазама његовог живота и рада. Подгорица, 1996.
- ¹⁸ См.: Библиография печатных трудов П. А. Ровинского // *Котлярская Л. А., Фрейденберг М. М.* Из истории отечественной славистики: П. А. Ровинский... С. 60–70.
- ¹⁹ *Ровинский П. А.* Два месяца в Сербии (из путевых воспоминаний) // Вестник Европы. 1868. Кн.11. С. 364–386.
- ²⁰ *Ровинский П. А.* Белград, его устройство и общественная жизнь. I–II // Вестник Европы. 1870. Кн. 4. С. 530–579; Кн. 5. С. 132–188.
- ²¹ *Котлярская Л. А., Фрейденберг М. М.* Из истории отечественной славистики: П. А. Ровинский... С.38.
- ²² *Котлярская Л. А., Фрейденберг М. М.* Из истории отечественной славистики: П. А. Ровинский в Черногории... С. 22.
- ²³ *Ровинский П. А.* Воспоминания из путешествия по Сербии в 1867 году // Вестник Европы. 1875. Кн. 11. С. 5–34; Кн. 12. С. 699–725.
- ²⁴ *Ровинский П. А.* Сербская Морава (воспоминания из путешествия по Сербии в 1867 году) // Вестник Европы. 1876. Кн. 4. С. 517–558.
- ²⁵ *Ровинский П. А.* Россия и славяне Балканского полуострова // Древняя и новая Россия. 1878. Т. 1. № 2. С. 144–169.
- ²⁶ *Ровинский П. А.* Битва у Каменицы, близ Ниша (в мае 1809 г.): эпизод из истории войн за освобождение // Древняя и новая Россия. 1878. Т. 2. № 5. С. 53–63.
- ²⁷ *Ровинский П. А.* Болгарский хайдук Панайот и его записки... С. 345–388.
- ²⁸ *Ровинский П. А.* Наши отношения к сербам (поучение из прошлого и настоящего) // Древняя и новая Россия. 1877. Т. 1. № 2. С. 174–191.

- ²⁹ *Котлярская Л. А., Фрейденберг М. М.* Из истории отечественной славистики: П. А. Ровинский в Черногории... С. 24.
- ³⁰ *Тодорова М.* Имагинарни Балкан. Београд, 1999. С. 196.
- ³¹ *Ровинский П. А.* Два месяца в Сербии... С. 386.
- ³² Там же. С. 381.
- ³³ Там же. С. 377.
- ³⁴ Там же. С. 379.
- ³⁵ Там же. С. 378.
- ³⁶ Там же. С. 386.
- ³⁷ *Ровинский П. А.* Наши отношения к сербам... С. 187.
- ³⁸ *Ровинский П. А.* Черногория в ее прошлом и настоящем. Т. I... С. IV.
- ³⁹ *Ровинский П. А.* Наши отношения к сербам... С. 187.
- ⁴⁰ Цит. по: *Котлярская Л. А., Фрейденберг М. М.* Из истории отечественной славистики: П. А. Ровинский в Черногории... С. 72.
- ⁴¹ *Гордон А. В.* Новое время как тип цивилизации. М., 1996. С. 45.
- ⁴² *Ровинский П. А.* Воспоминания из путешествия по Сербии в 1867 году... С. 25.
- ⁴³ *Долобко М. Г.* П. А. Ровинский... С. 18.
- ⁴⁴ *Ровинский П. А.* Два месяца в Сербии... С. 378.
- ⁴⁵ Цит. по: *Котлярская Л. А., Фрейденберг М. М.* Из истории отечественной славистики: П. А. Ровинский... С. 39.
- ⁴⁶ *Ровинский П. А.* Два месяца в Сербии... С. 374.
- ⁴⁷ Там же. С. 373.
- ⁴⁸ Там же. С. 374.
- ⁴⁹ *Иванов С. Ю.* Ровинский о сербском народе (Опыт этнопсихологической характеристики)... С. 56.
- ⁵⁰ *Perović L.* Drugi o pama... S. 163.
- ⁵¹ *Ровински Павел Аполонович.* Записи о Србији (1868–1869). Нови Сад, 1994.
- ⁵² *Котлярская Л. А., Фрейденберг М. М.* Из истории отечественной славистики: П. А. Ровинский в Черногории... С. 5.
- ⁵³ *Котлярская Л. А., Фрейденберг М. М.* Педагогическая деятельность П. А. Ровинского // Советская педагогика. 1986. № 4. С. 102.
- ⁵⁴ См.: *Арьес Ф.* Ребенок и семейная жизнь при старом порядке. Екатеринбург, 1999.
- ⁵⁵ *Ровинский П. А.* Белград, его устройство и общественная жизнь. II... С. 184.
- ⁵⁶ Там же. С. 185.
- ⁵⁷ Православная жизнь русских крестьян в XIX–XX веках. М., 2001. С. 186.
- ⁵⁸ *Ровинский П. А.* Сербская Моравы... С. 549.
- ⁵⁹ См.: Православная жизнь русских крестьян в XIX–XX веках... С. 183–186. См. также: *Детинство у прошлости. XIX–XX век.* Приредили М. Ристовић и Д. Стојановић. Београд, 2001. С. 29.
- ⁶⁰ *Ровинский П. А.* Сербская Моравы... С. 538.
- ⁶¹ *Ровинский П. А.* Белград, его устройство и общественная жизнь. II... С. 185.
- ⁶² Православная жизнь русских крестьян в XIX–XX веках... С. 183.
- ⁶³ Там же. С. 187.
- ⁶⁴ *Ровинский П. А.* Сербская Моравы... С. 550.
- ⁶⁵ Там же. С. 549–550.

- ⁶⁶ Югославянские народы // Дети в обычаях и обрядах народов зарубежной Европы. М., 1995. С. 167.
- ⁶⁷ Стефаненко Т. Г. Этнопсихология. М., 2003. С. 98.
- ⁶⁸ Мид М. Культура и мир детства. Избранные произведения. М., 1988. С. 322.
- ⁶⁹ Там же. С. 350.
- ⁷⁰ Ровинский П. А. Белград, его устройство и общественная жизнь. П... С. 184–185.
- ⁷¹ Там же. С. 185–186.
- ⁷² Там же. С. 186.
- ⁷³ Овсяный Н. Р. Сербия и сербы. СПб., 1898. С. 113. См. также: Евреинов Б. П. Статистические очерки Сербского королевства. СПб., 1903. С. 34; Чериковер С. Г. Сербия. II. Босния и Герцеговина. М., 1910. С. 16; Мартынов Е. И. Сербия в борьбе с царем Фердинандом. Заметки очевидца. М., 1913. С. 19.
- ⁷⁴ Ровинский П. А. Белград, его устройство и общественная жизнь. П... С. 138.
- ⁷⁵ Ровинский П. А. Болгарский хайдук Панайот и его записки... С. 350.
- ⁷⁶ Ровинский П. А. Сербская Моравы... С. 523.
- ⁷⁷ Там же. С. 522.
- ⁷⁸ Там же. С. 523.
- ⁷⁹ Ровинский П. А. Белград, его устройство и общественная жизнь. П... С. 138.
- ⁸⁰ Ровинский П. А. Сербская Моравы... С. 523.
- ⁸¹ Ровинский П. А. Белград, его устройство и общественная жизнь. П... С. 138–139.
- ⁸² Там же. С. 140.
- ⁸³ Там же. С. 138.
- ⁸⁴ Там же. С. 173.
- ⁸⁵ Водовозова Е. П. Как люди на белом свете живут. Болгары, сербы, черногорцы. СПб., 1898. С. 104–105.
- ⁸⁶ Цит. по: Вулетич А. Породика у Србији средином 19. века. Београд, 2002. С. 82.
- ⁸⁷ Кузьмин М. П. Переход от традиционного общества к гражданскому: изменение человека // Вопросы философии. 1997. № 2. С. 60.
- ⁸⁸ Вулетич А. Породика у Србији средином 19. века... С. 82.
- ⁸⁹ Корф М. А. Записки. М., 2003. С. 469.
- ⁹⁰ Димитријевић Л. Како живи наш народ. Белешке једнога окружног лекара. Београд, 1893. С. 24–25.
- ⁹¹ Водовозова Е. П. Как люди на белом свете живут. Болгары, сербы, черногорцы... С. 104.
- ⁹² Геллер Э. Пришествие национализма // Нации и национализм. М., 2002. С. 150.
- ⁹³ См.: Вишняков Я. В. Военный фактор и проблема модернизации сербского государства в конце XIX — начале XX в. // Югославянская история в новое и новейшее время. М., 2002. С. 124, 134.
- ⁹⁴ См.: Топоров В. Н. Функция границы и образ «соседа» в становлении этнического самосознания // Советское славноведение. 1991. № 1. С. 29–30; Багно В. Е. Пограничное сознание, пограничные культуры // Канун. Вып. 2. Полярность в культуре. СПб., 1996. С. 420.
- ⁹⁵ Цит. по: Достян И. С. Борьба сербского народа против турецкого ига. XV — начало XX в. М., 1958. С. 125.
- ⁹⁶ Љушић Р. Социјална револуција. Проблеми // Љушић Р. Србија 19. века. Београд, 1994. Књ. 1. С. 18–19.
- ⁹⁷ См.: Љушић Р. Вожд Карађорђе. Друго издање. Београд, 2000. Књ. 1. С. 6–7.

- ⁹⁸ См.: *Јовановић М.* Језик и друштвена историја. Београд, 2002. С. 75.
- ⁹⁹ *Самарџић Р.* Традиција и преображаји Срба // *Самарџић Р.* Идеје за српску историју. Београд, 1989. С. 20; *Љушић Р.* Косовска традиција у ратном периоду Српске револуције (1804–1815) // *Љушић Р.* Србија 19. века ... Књ.1. С. 24.
- ¹⁰⁰ *Ровинскиј П. А.* Србска Морава... С. 533.
- ¹⁰¹ *Стојадиновић М.* Ни рат, ни пакт. Ријека, 1970. С. 11.
- ¹⁰² *Шацкиј Е.* Утопија и традиција. М., 1990. С. 230; *Манхејм К.* Консервативна мисаљ // *Манхејм К.* Диагноза нашег времена. М., 1994. С. 610.
- ¹⁰³ *Ровинскиј П. А.* Белград, его устројство и општествена живот. II... С. 186.
- ¹⁰⁴ *Ровинскиј П. А.* Белград, его устројство и општествена живот. II... С. 186–187.
- ¹⁰⁵ Там же. С. 185.
- ¹⁰⁶ Там же. С. 187.
- ¹⁰⁷ Рукописно Одељење Матике Српске. Бр. М.14.045. *Владан Ђорђевић.* Успомене: културне скице из XIX века. Књ.3. «У војсци». XXVIII.
- ¹⁰⁸ *Лотман Ј. М.* Култура и взрив // *Лотман Ј. М.* Семиосфера. СПб., 2000. С. 142.
- ¹⁰⁹ *Каниц Ф.* Србија. Земља и становништво. Београд, 1985. Књ. 1. С. 301.
- ¹¹⁰ *Ровинскиј П. А.* Србска Морава... С. 530.
- ¹¹¹ Там же. С. 557–558.
- ¹¹² *Ровинскиј П. А.* Белград, его устројство и општествена живот. II... С. 186–187.
- ¹¹³ Там же.
- ¹¹⁴ *Чириков Е. Н.* Поездка на Балкани. Заметки военного корреспондента. М., 1913. С. 23, 28.
- ¹¹⁵ Цит. по: *Лафан Р.* Срби — чувари каније. Предавања о историји Срба. Београд, 1994. С. 275.

А. Д. Чертков и Болгарское просвещение

Имя Александра Дмитриевича Черткова (1789–1858) известно в нумизматике, археологии, библиографии, славистике. Он был вице-президентом, а с 1848 по 1857 гг. председателем Московского Общества истории и древностей российских, членом-корреспондентом Академии наук, действительным и почетным членом многих отечественных и зарубежных научных обществ: Русского археологического общества, Римского археологического института, Королевского Копенгагенского общества северных антиквариев и др. Александр Дмитриевич родился и вырос в Воронеже. Его родные, принадлежа к высшему слою дворянского общества города, вписали особую страницу в его славную историю. Воронежский наместник Василий Алексеевич Чертков немало потрудился для благоустройства города и развития в нем просвещения, что заметно выделило Воронеж на фоне других провинциальных городов России. Дмитрий Васильевич Чертков, отец историка, столь пользовался уважением воронежского дворянства, что его восемь раз подряд избирали предводителем дворянства. Славился своей ученостью и библиотекой дед Александра Дмитриевича со стороны матери Евдокии Степановны Степан Иванович Тевяшев, житель города Острогожска, «прозывавшегося в краю Воронежскими Афинами»¹. У А. Д. Черткова был замечательный педагог Г. П. Успенский, впоследствии первый профессор русской истории в Харьковском университете, который «приохотил своего ученика к трудам и заронил в его душу благотворные искры любви к родной старине»².

Как и большинство молодых дворян той поры, Чертков предпочел военное поприще. Со своим лейб-гвардии Конным полком он участвовал в заграничных походах русской армии 1813–1814 гг. Свободное от тягот службы время после войн с Наполеоном А. Д. Чертков посвящал изучению российских и славянских древностей. Выйдя в отставку, он предпринял путешествие по Австрии, Италии, Сицилии, Швейцарии (1823–1825), где знакомился с фондами библиотек, архивов, музеев, стремясь отыскать в них затерянные рукописные и старопечатные памятники славянские, но, прежде всего болгарские. Немало времени Чертков провел в Ватиканской библиотеке, отсутствие печатного каталога которой повергло любознательного русского исследователя в недоумение. Особое внимание к болгарским манускриптам проявилось не случайно. В Вене Чертков близко сошелся с известным русским славистом

П. И. Кеппенем, в тот период поставившим перед учеными задачу поиска и обработки болгарских рукописей. Чертков познакомился и с видными чешскими учеными Е. (В.) Копитаром, Й. Палацким, В. Ганкой.

Впечатления и знания, полученные во время русско-турецкой войны 1828–1829 гг. при осаде крепости Силистрия, отразились впоследствии в его творчестве. Чертков переселился в Москву, которая в то время представляла собой средоточие славистических изысканий, центр споров об исторических судьбах славянства. Александр Дмитриевич со своими научными интересами в области истории легко и прочно вошел в ее научную жизнь. В 1833 г. он был принят в Общество истории и древностей российских почти одновременно с Ю. Венелиным, книга которого «Древние и нынешние болгары...» произвела необыкновенное действие среди болгар, живших в России. Многие из них (В. Априлов, Р. Жинзифов и другие) прежде стыдились признаться в том, что они болгары. Ю. Венелин силой своего таланта и пламенной любви к славянству доказал в первую очередь именно самим болгарам, сколь прекрасна их народность и великолепа их история. Пробужденное национальное самосознание представителей болгарской эмиграции заставило действовать их на ниве просвещения своего обездоленного народа. Априлов на свои деньги создал в Габрово школу нового типа, явившейся образцом для вновь создаваемых учебных заведений в Болгарии, которым требовались книги, в первую очередь по истории своего отечества. Болгарские эмигранты, теперь ставшие деятелями болгарского возрождения, ожидали от Ю. Венелина столь необходимую им книгу. После его ранней смерти болгары обратились к одному из его последователей Н. В. Савельеву-Ростиславичу, возлагая на него написание истории Болгарии, что также не было выполнено. Эти обстоятельства сподвигли Черткова взяться за перо. Надо заметить, что Венелин высоко ценил Черткова, считая, что он не просто принадлежит к истории славянской филологии, но находится в ее первой главе.

В 1842 и 1843 гг. вышли в свет монографии «О переводе Манасиной летописи на словенский язык по двум спискам: Ватиканскому и Патриаршей библиотеки, с очерком истории болгар» и «Описание войны великого князя Святослава Игоревича против болгар и греков в 967–971 гг.». Автором книг, в целом раскрывающих средневековую историю и культуру Болгарии, ее связи с Киевской Русью и Византийской империей, был Чертков, который приобрел уже известность исследованиями в области нумизматики, археологии, библиографии. Значение новых работ ученого было тотчас отмечено критикой. «Это уже не то, что громкие возгласы о высоком состоянии современного просвещения у болгар... Это ни более ни

менее как история древнего сильного царства болгар, весьма отчетливо с указанием на источники рассказанная по поводу слова о Манассиинной летописи...»³. Книги удостоились объявления высочайшего Его Величества благоволения. Книга «О переводе Манассиинной летописи...» позволила академикам Х. Д. Френу и П. И. Кеппену представить ее автора к званию члена-корреспондента Академии наук⁴.

Сочинения Черткова по истории Болгарии хорошо были известны в среде болгарской эмиграции и болгарских землях Турецкой империи. Немалая заслуга в распространении как сведений о книгах Черткова, так и самих его книг среди болгар принадлежит неугоминому радетелю болгарского просвещения Н. Н. Мурзакевичу. Будучи преподавателем в Ришельевском лицее, Николай Никифорович плодотворно использовал сведения и выводы «этой важной книги» «О переводе Манассиинной летописи...», рекомендуя ее болгарам, «истинным любителям своей отчизны». «Дай бог Вам здоровья для... подобных новых трудов»⁵. Мурзакевич сначала познакомил с ней одесских болгар, о чем он, в частности, сообщал в Москву О. М. Боянскому 15 февраля 1843 г.: «Книгу А. Черткова распространяю между здешними болгарами. Хватают наперерыв»⁶. Чертков щедро одарил своей книгой Одесский край: Мурзакевич сообщал, что все гимназические библиотеки Одесского округа ее получили⁷. «Болгары с восторгом приняли труд Ваш. Пошлю в Бессарабию: там живет более 60000 болгар, пускай там читают историю своего народа, знают и Ваше имя». О книге «Описание похода великого князя Святослава Игоревича...» Мурзакевич писал: «Важным трудом Вашим Вы наполняете значительный промежуток в нашей древней истории; я с большою пользою для себя и моих слушателей воспользуюсь результатами ученых Ваших исследований. Болгары же с неизъяснимою признательностью произносят дорогое для них Ваше имя. 3 экземпляра книги я раздал, а 3 послал в самую Болгарию. Если милость Ваша будет, то присылка еще 10 или 12 экземпляров была бы кстати. Постоянные и скорые пароходные сообщения и эти экземпляры отвезли бы в разные болгарские училища».

Передавая Черткову отзывы болгар на его книги, Мурзакевич присовокуплял, что после Венелина они признают Черткова «двигателем своего просвещения и национальности». Примечательно в этом плане письмо видного болгарского просветителя В. Априлова к А. Д. Черткову от 16 марта 1844 г.: «Долгом считаю благодарить Вас за оказываемое болгарам внимание в литературных трудах, коими Вы даруете ученый свет. Соотечественники мои узнают, что у них есть доброжелатели, на коих можно положиться. «О переводе Манассиинной летописи», «Описание войны великого князя Святослава» — «очень интересны для болгар, из них они могут изучить свою

историю. Желание мое, чтобы Габровская школа имела сих книг, и как я не могу расстаться со своими экземплярами, то покорнейше прошу одолжить для ней чрез И. Н. Денгогло по экземпляру; если же воля Ваша будет наградить и некоторых других школ, то я не премину исполнить Ваше приказание именем Вашим»⁸. «Дополнение к моей Деннице и краткую Священную историю с русского, напечатанную здесь, я надеюсь, что вы вовремя получите по моему назначению». Из письма Г. И. Бусилина, болгарского студента Московского университета, к настоятелю Карловского училища от 1843 г. мы узнаем, как он высоко оценивал произведение Черткова «О переводе Манассиной летописи», специально выслав его для библиотеки училища: «В ней мы увидим, какими были наши праотцы и какими стали мы, их чада. Как они любили свое отечество! Сколько пролили крови, когда сильные неприятели хотели отнять у них пядь земли! Можем ли мы с этого момента впредь, прочитав историю своих праотцев, быть достойными их детьми, если не постараемся жить и радеть о своем просвещении как и они?..» Брусилин призвал своих соотечественников глубоко изучать отечественную историю, приобретающую особое политическое звучание в период борьбы за национальное просвещение⁹. Исследования Черткова значатся в сохранившихся описях библиотек Денкоглу, С. Н. Палаузова, Г. С. Раковского.

Многочисленные факты перепечатки отдельных фрагментов из сочинений Черткова подтверждают, что его книги нашли живой отклик у болгар. В болгарском журнале «Любословие», открывшего эру болгарской журналистики, в 1844 г. К. Фотинов опубликовал описание славянских рукописей Ватиканской библиотеки, взятое из книги Черткова «Описание войны великого князя Святослава». В. Априлов в книге «Денница новоболгарского образования» поместил литографии миниатюр перевода хроники Константина Манассии, а в другой работе, обращая внимание своих читателей на «перевод Манассиной рукописи болгаролюбца г. Черткова и на истинно ученое сочинение „О войне великого князя Святослава...“», призывал своих соотечественников к благодарности ко всем ученым, которые трудятся на благо болгарского народа¹⁰. Монографии Черткова имели большое влияние на формирование исторических взглядов многих деятелей болгарского возрождения, ярко отразились на творчестве замечательного болгарского историка М. Дринова.

С середины 40-х гг. и до конца дней своих Чертков был поглощен раскрытием тайн происхождения славян, предками которых он считал пелазгов, фракийцев, этрусков. За этот период ученый издал пять солидных работ, посвященных проблемам истории и языка этих народов. Эти исследования стали тем источником, из которого

черпал вдохновение и идеи для своих исторических построений видный деятель болгарского возрождения Г. С. Раковский.

Мало известно о другой не менее существенной стороне деятельности Черткова — о его контактах с представителями болгарского возрождения. Первая половина XIX в. — это начало установления широких культурных русско-болгарских связей. Через Одессу в Москву и Петербург едут болгары: Х. З. Княжеский, архимандрит Рильского монастыря Стефан Ковачевич, воспитанник Ришельевского лицея Мутев. Мурзакевич взял на себя роль посредника в первую очередь с московскими учеными. Уверенный в неизменном расположении Черткова ко всем подвижникам просвещения, одесский историк непременно направлял следующих через Москву в гостеприимный дом на Мясницкой. Он также снабжал их рекомендательными письмами и к М. П. Погодину, О. М. Бодянскому, и просил москвичей познакомить болгар со «всеми теми, которые могут быть полезны для соплеменников». В 1846 г. заботам Бодянского и Черткова Мурзакевич поручал Хаджи Захария Княжеского, кончившего курс в Одесской духовной семинарии и принявшего русское подданство. Он желал в Синодальной типографии Москвы выучиться набору книг и по возвращении на родину там водворить это полезное дело. Мурзакевич охарактеризовал Княжеского как доброго человека, поведения честного и ревнителя славянства, известного в Болгарии своей грамотностью по маленьким брошюркам, изданных Обществом английских миссионеров. Княжеский мог сообщить москвичам об успехах болгарской книжности и о болгарщине основательнее, чем те, которые уже нечто им пересказывали¹¹.

Болгарин З. И. Княжевич также «хотел выпросить для предполагаемых им училищ несколько полных собраний всех учебных книг, употребляемых в наших гимназиях... Ю. Ф. Самарин, не имея возможности видаться с министром народного просвещения гр. С. С. Уваровым, просил А. Д. Черткова взять на себя доставление списка кому следует и приложить свои старания и ходатайства»¹². Чертков 17 января 1846 г. обратился с письмом к Уварову, зная, что тот был в дружеских отношениях с гр. Н. А. Протасовым, обер-прокурором Св. Синода, касательно просьбы болгар о присылке для продажи русских церковных книг в Константинополь, где они могли бы их получать от посольства или одного из чиновников консульства. Чертков напомнил Сергею Семеновичу о том, что в бытность его в Москве в гостях у Черткова хозяин имел честь показывать издававшийся в Смирне для болгар журнал, который печатался «на средства англичан, старавшихся посредством его действовать на мирных, но еще малопросвещенных болгар». Журнал этот, издаваемый «под влиянием англичан каким-то безграмотным Фотиным»,

был прислан из Одессы уязвленным до глубины души Мурзакевичем, который восклицал: «Пускай Бодянский полюбуется возрождающею грамотностью безграмотных... Этим же Фотиним издана преглупая География по-болгарски. В ней говорится о Пруссии, Англии и проч. И наравне с турками, персианами о русских. Какое!» Мурзакевич сожалел о чрезмерной осторожности в отношении с болгарам, чрез которую «утрачивается всякое влияние на преданную нам единоверную массу, в то время как англичане потихоньку и влекут к себе»¹³. Чертков разделял беспокойство одесского профессора об умалении русского воздействия на болгар при одновременном увеличении английского влияния на болгарское просвещение, о чем попытался вновь довести до сведения Уварова. «Иностранцы, иноверцы англичане или североамериканцы, лютеране, методисты, кальвинисты, пропагандисты и проч. и проч. издерживают деньги, заводят типографии, печатают книги на нашем церковном языке, издают журналы и все это для привлечения на их сторону единоверных нам словен, а мы даже не ссужаем их готовыми православными книгами, за которые они еще предлагают платить ту сумму, которую назначат». Чертков заканчивал свое письмо рекомендацией З. Княжеского, в покровительстве которого со стороны Уварова Чертков не сомневался. Министр народного просвещения сообщил оное по принадлежности обер-прокурору Св. Синода, о чем уведомил Черткова 26 января 1846 г.¹⁴

С. Ковачевич с дозволения Синода ехал в Москву и Петербург хлопотать об «испрошении пособий на счет учреждения типографии церковной в Рильском монастыре». С рекомендательными письмами Мурзакевича приехал в Москву воспитанник Ришельевского лицея Мутев, «человек добрый и образованный». Знакомство с ним, по мысли Мурзакевича, было бы не бесплодно и для науки. Спиридон Палаузов искал место в Азиатском департаменте, а А. Д. Чертков «был так добр, что дал мне по этому случаю рекомендательное письмо к Льву Григорьевичу Сенявину»¹⁵.

А. Д. Чертков задумал создать библиотеку, «посвященную познанию России и славянства в историческом, археологическом, литературном и других ученых отношениях» — знаменитую Чертковскую библиотеку. Книги на болгарском языке в основном вошли в раздел «редких сочинений (в России)». Многие издания были доставлены Черткову Мурзакевичем: болгарский Новый завет и календарь (1843), в 1845 г. болгарская карта, изданная в Страсбурге в 1843 г. В 1844 г. одесский историк писал Черткову об ожидании из Болгарии новостей, которые должен был привести один из его слушателей, проживший в Болгарии целый год и получивший поручение от Мурзакевича собрать топографические, этнографические, палеографические сведения и материалы. Он вез также несколько

рукописных и печатных книг. Однако и самое разыскивание, доставка болгарских книг было делом весьма нелегким. Так, о Болгарском Евангелии в переводе Сапунова Николай Никифорович хлопотал целых 2 года. Строгий запрет, наложенный на него Константинопольским патриархом, перевел его в разряд редких. Книжные посылки часто не доходили. В 1845 г. Мурзакевич писал Черткову о гибели в декабре у Дунайского устья корабля, на котором находились и заказанные им болгарские книги, что заставляло вновь повторять запрос. В Москву из Болгарии через Мурзакевича приходили не только книги, но и газеты и журналы. Он переслал Черткову «хотя не новые, но любопытные кажется сербские инкунабулы, которые достались из Болгарии»¹⁶. В принципе, сербские издания Чертков получал большей частью из Вены от известного книготорговца Венедикта, специализировавшегося на торговле славянскими книгами¹⁷.

В. Априлов подарил московскому ученому свое сочинение «Денница новоболгарского образования», надписав: «Милостивому государю Александру Дмитриевичу Черткову в знак истинного почитания 2 февраля 1842 г. Одесса от сочинителя». Чертков сопроводил выходные данные этой книги пространной аннотацией: «Словене, живущие под игом Оттоманской порты, кажется несчастнее наших германских собратий. Если эти последние были в таком множестве онемечены и олатыняны, то задунайские теперь еще часто принимают мухаммедановскую веру, делаются турками, волохами и греками, и что всего хуже стыдятся называть себя болгарами. Чтобы противодействовать этому несчастному направлению, происходящему от фанатизма турок, но более всего от невежества самих болгар, просвещеннейшие из них в том числе многие из живущих в Одессе завели на свой счет в Болгарии 12 училищ и напечатали нужные для них книги. Можно теперь надеяться, — продолжал ученый, — что болгары просветятся и вспомнят, что в IX, X и последующих столетиях они составляли великое южно-словенское царство, простиравшееся от Черного до Адриатического моря и от Карпат до Адрианополя...»¹⁸.

Как-то, в 1844 г. Мурзакевич, покупая для Черткова «книги XVI или XVII вв.», выторговал 20 руб., на которые заказал списать «неважную в ученом значении, но примечательную как первый опыт в отечественном бытописании болгарского монаха Паисия» «Историю славяно-болгарскую» (1762) со старинного списка, имевшегося у болгарского купца и радетеля просвещения В. Априлова (Жеравненский список). Ныне известно около 60 списков и вариантов переработки рукописи. Паисий Хилендарский (1722–1773), напоминая своим соотечественникам о былом величии Болгарии и стремясь пробудить национальное самосознание болгарского

народа, первым сформулировал программу задач, стоящих перед складывающейся болгарской нацией: распространение образования и просвещения в болгарских землях чрез национальные школы и литературу, за что высоко почитается и в современной Болгарии. Чертков, оценив ее патриотический пафос, решил опубликовать «Историю славяно-болгарскую» как первую работу по истории Болгарии, написанную болгариним. Однако заботы по должности губернского предводителя дворянства в Крымской войне, «преклонные лета, а за ним упадок сил, постепенно ослабили деятельность некогда веселого, бодрого и добродушного старца»¹⁹.

Со смертью Черткова болгарский раздел его библиотеки не угас. Интерес к болгарским изданиям вполне разделял библиотекарь Чертковской библиотеки П. И. Бартенев. Он живо интересовался болгарскими делами и был в добрых отношениях с болгарями, обучавшимися в Москве. Частым гостем у него был Савва В. Филаретов, который полюбился ему своей скромностью и застенчивостью, «характерной для отроков, но которая удивительна в человеке, которому за 30». Филаретов, проучившись год в Константинополе в патриаршем училище, поступил в Московский университет. Его рассказы о греческом духовенстве приводили в ужас доброго Петра Ивановича. Он не только держал Петра Ивановича в курсе болгарских происшествий, но снабжал его и болгарскими изданиями. В 1863 г. Бартенев обратился к С. Филаретову, состоявшего секретарем в русском представительстве в Царьграде (Константинополь, Стамбул), с приглашением «быть посредником между Вами и Болгарскими издателями книг и журналов и стараться, насколько возможно, своевременно доставлять сведения о книгопечатании у болгар». Филаретов на первый случай собрал все книги болгарские, находившиеся, у него под рукой и переписал их заглавия. В составлении каталога книг принял живое участие болгарский общественный и политический деятель Н. Геров, который в 1857–1877 гг. являлся вице-консулом России в Филиппополе (Пловдиве), а как раз в то время гостил в Константинополе. Он также с охотой обещался содействовать, чём только сможет. При Чертковской библиотеке работал студент филологического факультета Московского университета Р. Жинзифов, болгарин. Он хорошо разбирал под черк Герова, помогая Бартеневу при работе над составленным в Османской империи каталогом болгарских книг. 17 января 1861 г. именно к Бартеневу обратился попечитель Московского учебного округа генерал-адъютант Н. В. Исаков, к которому в свою очередь адресовался директор Азиатского департамента Министерства иностранных дел Н. П. Игнатъев, с просьбой прислать в департамент 10 экземпляров журнала «Братский труд», издаваемого болгарями, обучавшимися в Москве, с целью ознакомить русскую публику с языком

и бытом болгар, а своих соотечественников с бытом России и своим положением в ней. 10 мая Бартенев получил за доставленные журналы 10 рублей серебром, чтобы затем выдать их одному из авторов Ксенофону Жинзифову²⁰.

В Чертковской библиотеке сохранились работы видных деятелей болгарского возрождения с их автографами Л. Каравелова, Н. Герова. Так, Чертковской библиотеке подарен Н. Геровым первый выпуск его «Болгарского словаря» («Българский речник») с посвящением. Проставлена печать Чертковской библиотеки на сочинении Г. С. Раковского «Указатель или руководство...» («Показалец...»), а также на политической брошюре, взывающей о национальной болгарской церкви, «Глас единого българина», авторство которой приписывается Раковскому. Коллекция новоболгарских книг Чертковской библиотеки хорошо отражает достаточно специфический характер болгарской книжной продукции тех лет: в основном учебники (буквари, грамматики), педагогические и богослужebные книги, переводные и оригинальные, а также политические брошюры²¹. Бартенев, работая над выпуском нового каталога Чертковской библиотеки, поместил сочинения о славянах и на славянских языках в VI отделение каталога, которое так и не увидело свет. В настоящее время издания на болгарском языке из Чертковской библиотеки размещены по разным хранилищам Государственной публичной исторической библиотеки.

Самой важной задачей Болгарского возрождения в 30–50-е гг. XIX в. было развитие просвещения болгарского народа, пробуждение его национального самосознания. Появлявшиеся болгарские школы испытывали истинный голод в учебниках, в научной и художественной литературе, которая бы воспитывала чувство гордости за свой народ, культуру и историю, формировала бы новую личность болгарского патриота. Книги Черткова, в которых рассказывалось о наиболее ярких страницах прошлого Болгарии, а также критиковались греки за их несправедливо пренебрежительное отношение к болгарам-соседям, отвечали насущной потребности болгарского читателя. Он находил в книгах Черткова непосредственное обоснование праведности разгоравшейся борьбы своей против греков-фанариотов за национальную церковь, за свою национальную культуру, за свою национальную самобытность и, в конечном счете, самостоятельность.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ *Никитенко А. В.* Моя повесть о самом себе и о том, «чему свидетель в жизни был». Записки и дневники (1804–1877). СПб., 1904. Т. 1. С. 67.

² *Бартенев П. И.* А. Д. Чертков и его библиотека // Русский архив. 1863. № 1. С. 4.

- ³ (Кудрявцев П. П.) (Рец.) О переводе Манассиной летописи на словенский язык по двум спискам: Ватиканскому и Патриаршей библиотеки. с очерком истории болгар. М., 1842. А. Д. Черткова // Отечественные записки. 1843. Т. 26. № 1. Отд. VI. С. 25.
- ⁴ СПб. АРАН. Ф. 1. Оп. 2. 1842. Ед. хр. 53. № 201.
- ⁵ ОПИ ГИМ. Ф. 445. Д. 305. Л. 237.
- ⁶ Материалы для истории Императорского Общества истории и древностей российских. Переписка гг. Действительных членов Общества. Письма Н. Н. Мурзакевича к О. М. Бодянскому (1838–1866 гг.) // Чтения в Обществе истории и древностей российских. 1887. Кн. 1. С. 194.
- ⁷ Государственный архив Одесской области. Ф. 93. Оп. 1. Д. 24. Л. 82, 90, 91, 92, 93, 94, 95.
- ⁸ ОПИ ГИМ. Ф. 445. Д. 305. Л. 242, 263, 264, 267.
- ⁹ Письмо Георгия Илиевича Бусилина от 10.V.1843 г. настоятелю Карловского училища // Известия на Архивния институт на БАН. 1959. Кн. 2. С. 195.
- ¹⁰ Фотинов К. Любословие // 1844. Декабрь. С. 138–141; Априлов В. Мысли за сегашното българско учение // Събр. съч. София, 1940. С. 311.
- ¹¹ Материалы для истории... С. 199; ОПИ ГИМ. Ф. 445. Д. 306. Л. 10; ОР РГБ. Ф. 231. Разд. II. Карт. 21. Д. 68. Л. 15, 17 об. 23 июня 1848 г.; Л. 25. 30 декабря 1848 г.; Минкова Л. Осип Максимович Болянский и Българското възраждане. София, 1978. С. 131.
- ¹² Два письма Ю. Ф. Самарина к С. П. Шевыреву. 1846 г. СПб. // Русский архив. 1907. Кн. III. С. 430.
- ¹³ ОПИ ГИМ. Ф. 445. Д. 305. Л. 267.
- ¹⁴ ОПИ ГИМ. Ф. 445. Д. 296. Л. 52, 53; Д. 295. Л. 17.
- ¹⁵ Материалы для истории... С. 205; Палаузов С. Избрани трудове. София, 1977. Т. 2. С. 752.
- ¹⁶ ОПИ ГИМ. Ф. 445. Д. 305. Л. 264 об., 270, 220, 278 об.; Д. 306. Л. 12.
- ¹⁷ Чертков А. Д. Второе прибавление ко «Всеобщей библиотеке России». М. 1845. С. 102.
- ¹⁸ Там же. С. 118–119.
- ¹⁹ ОПИ ГИМ. Ф. 445. Д. 305. Л. 266; Мурзакевич Н. Н. Чертков А. Д. (некролог). // Записки Одесского Общества истории и древностей. 1858. № 4. С. 422.
- ²⁰ РГАЛИ. Ф. 46. Оп. 1. Д. 5. Л. 141; Д. 557. Л. 184, 438, 468.
- ²¹ Пашаева Н. М. Коллекция болгарской патриотической книги 30-х — 70-х гг. XIX в. в фондах Государственной публичной исторической библиотеки // Русско-болгарские связи в области книжного дела. София, 1987. С. 167–171.

У истоков французской славистики — между полонофильством и русофильством — альтернатива XIX в.

В XIX в. культурные связи Франции и России переходят в стадию систематических. Этот процесс был неизменно связан с политическими и экономическими аспектами. Развитие культурных взаимоотношений, остававшихся заложниками дипломатии, шло волнообразно: всплески оживления перемежались спадами интереса. При этом русскую культуру французы сводили едва ли не исключительно к литературе, именно с нее во Франции началось изучение России, а потом уже дошла очередь до научных связей, театра, архитектуры, живописи, музыки и пр.

Франция с литературным наследием России начинает знакомиться одной из последних в Европе. Хотя в 1755 г. в парижском журнале «Le Cameleon littéraire» (редактором которого был Теодор-Генрих Чуди), случалось, печатались переводы из русской поэзии, литература России воспринималась как сугубая экзотика. В 1821 г. г-жа де Сталь без тени сомнения писала об отсутствии литературы в России. Через полвека, в 1875 г., К. Куррьер в обзоре истории русской словесности высказался несколько иначе: «Мы верили слепо, что Россия не имеет литературы или что если эта литература существует, нас она не может заинтересовать»¹.

Первые попытки «основательного изучения» французами русской литературы были связаны в основном с переводами или представляли собой фактологически довольно бедные компиляции. Таковыми были: переводы Карамзина, Озерова, Крылова, Дмитриева; в 20-е гг. появляются переводы Ж.-М. Шопена, Э. Герля, Ф. де Пиньи, Ж. Акена, П. де Жюльвекура, С. Полторацкого, Н. и Э. Голицыных, Э. Мещерского и др.; а среди компилятивных обзоров — П. Эннекена и Ж.-Г. Шницлера. Непосредственным стимулом к познанию «русской загадки» стали воспоминания г-жи Сталь в 30-е гг. XIX в.

Западноевропейская публицистика первой половины XIX в. была исполнена выражением враждебного отношения к России. И причин тому было предостаточно. Во-первых, политическое возрастание России шло быстрее, чем внутренне развитие и образованность. «Европа видела военную и политическую силу, но еще не видела самостоятельной образованности, общественной жизни; видела поверхностное влияние европейских обычаев наряду с первобытной

дикостью... при всей политической силе, Россия оставалась несимпатична Европе чертами своего быта и нравов; с предполагаемой или действительной азиатской грубостью и суровостью»².

Во-вторых, главной претензией Европы к России стал «польский вопрос». Восстание 1830–1831 гг. было понято в Европе именно с польской точки зрения. Европейское общественное мнение под влиянием давних взглядов усмотрело в нем новое доказательство того, что Россия преследует народные свободы. «При неизвестности действительных отношений Польши и России бросался в глаза внешний факт — восстание и подавление конституционных учреждений. Симпатии были на стороне Польши. Россия была всегда слишком далека от Европы и географически и исторически... притом это была страна „схизматическая“ — обстоятельство чрезвычайной важности для общественного мнения в католических странах; наконец, Россия была страной полнейшей автократии. С другой стороны Польша всегда была ближе к Европе, это была страна католическая, стоявшая в давних исторических связях с немцами и их империей, знакомая с латинской наукой, наконец, Польша была страна конституционная, храбро бившаяся за свою свободу, побежденная и несчастная»³.

По всей Европе разносились жалобы эмиграции и вопли ненависти, которые находили себе подготовленную и благоприятную почву. Париж стал средоточием эмиграционной польской литературы. Эмиграция была поглощена революционными планами, целью которых было восстановление старой Польши. Отношение к России становилось все более и более острым. «Эмиграция составляла целый национальный островок... это была странная жизнь, чрезвычайно возбужденная, полная фантазий, надежд, сначала и бодрости, но вместе с тем глубоко печальная. Но возбуждение было лихорадочное, почвы для его исхода не было... польская фантазия развивалась до последней степени — и в сторону религии, и в политику и в историю. Явился мистицизм Товянского, собравший целую школу, мессианизм Мицкевича, фантазии Вронского, позднее историческая теория Духинского»⁴.

Французский менталитет разрывало на части: с одной стороны, крепла антирусская составляющая умонастроений, на николаевскую Россию смотрели как на «жандарма европейской свободы», с другой — Франция все же не оставляла надежд на примирение с Россией. Отражением именно такой линии явилась книга Ф.-Г. Эйхгофа «Histoire de la langue et la littérature des Slaves, Russes, Serbes, Bohèmes, Polonais et Lettons» (1839 г.). По своим установкам эта книга может быть охарактеризована как русофильская. «Господствующая тенденция нынешнего царствования, — пишет Эйхгоф, — коего мудрую попечительность нельзя не признать, очевидно, состоит,

прежде всего, в национализации России и в освобождении ее от рабской подражательности нравам и обычаям других народов»⁵. Еще более реакционно-монархический характер имела книга Поля де Жюльвекура «La Balalaïka» (1837 г.), в которой автор взхлеб превозносит Николая I. Однако в большинстве своем все историко-литературоведческие труды по русской словесности на французском языке тех лет представляли собой либо политически обусловленные опусы дилетантов из русской знати, либо продукцию реакционных групп французской интеллигенции, ориентировавшихся на Россию, представлявшуюся тогда европейскому общественному мнению оплотом мировой реакции.

Лишь с национально-освободительными движениями славянских народов во Франции 30-е гг. нарастает интерес к славянству, причем этот интерес имеет откровенно политический характер. После польского восстания 1831 г. и создания в Париже центра польской политической эмиграции, демократические круги Франции стали видеть в восстановлении польской государственности важный фактор усиления европейского революционного движения и ослабления самодержавной России. Учреждение кафедры «славянского языка и литературы» в Коллеж де Франс (Collège de France) в 1840 г. стало своеобразным идеологическим решением «польского вопроса» со стороны Франции, заключавшимся в пропаганде польского варианта «панславизма».

Возникновение термина «панславизм» относят к 1828 г., когда его впервые озвучил словак Я. Геркель. Термин быстро вошел во французский лексикон. Л. Леже был не вполне точен, когда утверждал, что в 1873 году «идея панславизма недавно была распространена во Франции русской пропагандой»⁶. Уже в 1832 г. этот термин встречается в статье неизвестного автора, который обвиняет царя Николая I в желании объединить под своим жезлом все славянские народы, с целью разрушить австрийскую империю изнутри⁷. В 1842 г. в труде Г. Вронского «Пролегомены мессианизма» термин приобретает уже другую окраску: «Уже семнадцать миллионов австрийских славян недавно выдвинули знамя панславизма... знамя панславизма открыто направлено против России», а в 1846 г. журнал «Revue des Deux Mondes» публикует статью С. Робера под названием «Два панславизма», в которой автор указывает на сосуществование двух видов панславизма: русскому «царскому» панславизму он противопоставляет федеративный панславизм как сближение всех славянских народов на почве демократических начал⁸.

Разночтения по данному термину наблюдались изначально⁹. У европейских публицистов преобладало мнение, что «панславизм» есть стремление славянского мира к объединению под предводительством России. Причем не столько славянские племена ищут

этого объединения, сколько идет к нему сама Россия, которой вообще приписывался тогда характер завоевательного государства, грозящего свободе чуть ли не всей Европы. Другие, не сомневаясь в тенденциях панславизма, находили более естественным и желательным иной вид панславизма, центром которого могла стать Польша, способная вместе с западным славянством составить оплот Европы от русского нашествия. Польша еще не погибла под русским владычеством, союз со славянством увеличит ее силы, а историческая вражда с Россией не может дать другой роли, кроме борьбы против русского народа: на этом основании для Европы была бы выгоднее эта форма славянского объединения. Не случайно в декрете об открытии кафедры «славянского языка и литературы» в Коллеж де Франс недвусмысленно определялось, что «крайне важно постигнуть внутреннюю суть этих народов, будущее которых неизвестно, но которые не останутся чуждыми нашей судьбе»¹⁰. Третьи, прежде всего сами славяне, полагали, что наилучшей формой славянского единения было бы ни то, ни другое, а свободная славянская федерация. Таковы были главные темы многочисленных проектов и фантазий о судьбах славянского мира.

Именно благодаря такой политической ситуации во Франции стало возможным учреждение кафедры «славянского языка и литературы» в Коллеж де Франс. Министр народного просвещения, философ Виктор Кузен, приглашая Мицкевича занять кафедру, написал ему в Лозанну письмо, в котором намекал на причины создания такой кафедры: «Уже одно ваше присутствие в Париже будет само по себе событием крупного политического характера. Но я не должен думать и не думаю ни о чем другом, кроме науки и литературы. Я имею в виду только литературу и ничего более. Я говорю с вами как благородный человек с благородным человеком. Поляки составляют в Париже группу, справедливо возбуждающую великодушные симпатии молодежи. Эти симпатии, естественно, коснутся и вас; но я живейшим образом желаю, чтобы тон вашего преподавания, в подтверждение ваших высоких достоинств, поддерживал в учреждении новой кафедры исключительно свойственный ей литературный характер. Лышу себя надеждой, что вы меня понимаете и примете благосклонно высказанные мною сомнения: они продиктованы моими обязанностями»¹¹. То, чего В. Кузен не смог написать по долгу службы прямо, он передал через Леона Фоше, который на следующий же день выразил это в письме Мицкевичу: «Кафедра, на которую вас приглашают, имеет политический характер — хотя создать для польской нации центр, хотя бы литературный»¹².

Однако даже при столь антирусской направленности кафедры либеральное министерство предупредило возникновение неприятных

последствий со стороны России — внесенный в Палату депутатов проект по литературе славянских народов львиную долю внимания уделял русской литературе. Лекции, посвященные русским писателям и поэтам, поляки читали вынужденно, что предполагает соответствующую тональность преподавания.

Мицкевич начал курс лекций в декабре 1840 г., но в ноябре 44-го уже был уволен, сначала в месячный отпуск, а затем вчистую за нелояльность политическому режиму, заключающуюся в проповеди мистического культа Наполеона. «Надо прочесть последние лекции в курсе Мицкевича в Коллеж де Франс, прочесть рассказы о впечатлении, какое он производил, чтоб увидеть до какой степени экзальтации доходил профессор и слушатели. Историю он превращал в ясновидение, Наполеон стал для него настоящим предметом культа — могущественный талант и глубокое чувство уходило на поэтический бред»¹³. Мицкевич в течение трех лет на своих лекциях говорил о славянстве, но поляки мало им интересовались: весь славянский мир заключен был в России и Польше. Славянский вопрос заключался только в их борьбе, славянство не входило в расчеты польских политиков о будущей судьбе польского народа или же входило в одном смысле — Польша будет в их союзе бороться с Россией. «Невозможность реальной политической деятельности создавала особую атмосферу, в которой польский патриотизм эмиграции вырождался в революционную отвлеченность и вместе с тем в рутину. Не могло быть уже речи о внимании к действительности и беспристрастной оценке фактов...»¹⁴. За время руководства кафедрой он успел сослужить службу в деле принижения российской культуры. Мицкевич признавался, что «принял должность профессора в Париже, рассматривая ее, как долг слуги польского и славянского дела, дела Франции»¹⁵, в силу этого его лекции были пронизаны резкими и в мрачных тонах фактами их русской истории и литературы. В его курсе не было никакой общей концепции, только отрывочные эскизы, лишённые цельности и законченности, что придавало освещению развития русской литературы второстепенное значение после литературы польской и сербской.

Подобные политические настроения перенял и приемник Мицкевича — Сиприен Робер. Однако в своем курсе он уделял им не столь пристальное внимание и был более объективен в филологических вопросах. По словам одного из слушателей, Луи Леже, он был замечательным лингвистом, который не превращал кафедру Коллеж де Франс в «треножник Сивиллы», подобно своему знаменитому предшественнику. «Он замкнулся в сфере языков и довольствовался тем, что излагал с замечательным литературным вкусом и всесторонней эрудицией уже многочисленные тогда *chefs d'oeuvre*'ы литературы сербской и чешской, русской и польской»¹⁶. По словам Леже,

Робер был странным, эксцентричным, но основательно образованным славистом, впрочем, преимущественно в отношении балканского славянства, России же он почти не знал, в ней не был и предпочитал не говорить о ней. Однако факты противоречат такому утверждению Леже. В статье Робера (его вступительной лекции в Коллеж де Франс) сообщается, что он прожил десять лет среди славян, причем побывал и в Москве, и на юге России и лишь затем отправился на Балканский полуостров¹⁷. Вообще же Робер не избегал говорить о России, освещал ее историю, политический строй, литературу без грубых ошибок. По его работам видно, что он следил за течением российской литературы и даже знал свежие новости. При всем при этом, он был настроен отнюдь не русофильски. Отмечая, что существующие программы кафедр грешат либо русофильством, либо полонофильством, он предупреждал, что его курс будет иным: «Единственным нашим путеводителем будут либеральное мнение и интересы Франции»; и чтобы избежать вмешательства в русско-польские распри, он высказывал намерение главное внимание уделять южным славянам¹⁸. Задачу своего курса он понимал, как известную политическую проблему, а цель — как практическую и цель национальной пользы; курс должен был сementировать связи между Францией и славянством Польши, Австрии и Иллирии. Свои общие взгляды С. Робер конкретизировал в двухтомной книге «Славянский мир в настоящем и будущем» («Le Monde Slave, son état présent et son avenir»), где России посвящено сравнительно немного места. Курьезна авторская характеристика устоев русской культуры (царь, чин и кнут) и трех опор русской нации (поп, мужик, купец).

В 1856 г. Робер бесследно исчез, не явившись на очередную лекцию, и его преемником был назначен Александр Ходзько, польский поэт-эмигрант. Его курсы отличала поразительная неосведомленность, незнание элементарных фактов русской истории и культуры. Более того, он исповедовал так называемую «туранскую» точку зрения по славянскому вопросу, т. е. не признавал в русских настоящих славян, считая их «азиатскими выселенцами — туранцами, — которых необходимо отбросить назад в Азию, в силу чего являлся адептом популярной в кругах польских эмигрантов теории политического характера «Европа для европейцев».

Таким образом, все три первых преподавателя славянских литератур в Коллеж де Франс (за исключением элементов особого подхода С. Робера) занимали как в отношении России, так и русской литературы отчетливо негативную позицию, что вполне отвечало антирусской политике французского правительства в то время. Тем не менее славянская кафедра не только не превратилась в барьер, но даже дала толчок нарождающемуся движению в пользу русской

изящной литературы; в то же время появились серьезные пропагандисты русской литературы во Франции, настоящие предвестники русофильского литературного движения.

Первым о необходимости изучения русского языка и литературы заговорил Л. Леже в своей работе «*Les langues d'utilité publique. — L'enseignement du russe*». Он указал на странный факт наличия в Париже двух кафедр турецкого языка и отсутствия хотя бы одной русской. По мнению Леже, поскольку Коллеж де Франс творит науку и не должен вмешиваться в политику и коммерцию, то публичное обучение русскому языку должно быть организовано на курсах при императорской библиотеке. К тому же ввиду отсутствия у Чехии и Польши международной самостоятельности изучение их языков, утверждал Леже, не имеет практического интереса. Несмотря на наличие в Турции 8 миллионов славян и слабое знакомство Франции с литературной продукцией славянства, констатировал Леже, за последние 30 лет, не сделано ничего, кроме перевода нескольких русских романов и сербских песен. «То, что эти романы и песни переведены, — писал Леже, — конечно хорошо, но не следует забывать, что этим песням не сегодня-завтра могут начать аккомпанировать пушки»¹⁹.

Тем не менее стоит отметить, что кафедра славянских языков и литературы явилась первой и единственной в мире. Подобной кафедры не было даже в Петербурге. «Пора сделать это, — писал чешский ученый Ганка Погодину, — раз уже даже в Париже существует славянская кафедра»; «Честь и слава французам, — говорил русский филолог Бодянский, — они первые поняли, какой интерес представляет изучение славян, их литературы и их языка»²⁰.

Несмотря на польскую волну, временно захлестнувшую Париж, Россия все-таки продолжает пленять некоторых французов, как политической значимостью, так и своей «азиатской экзотикой». Польский панславизм постепенно сдает позиции и уступает место осознанному изучению страны — предводительницы славян, России. Г. Вронский отмечает, что хоть панславянское знамя и направлено против России, только она способна объединить славян. В Париже появляется книга А. Гуровского «*Цивилизация и Россия*», в которой автор утверждает, что латинские и германские народы устарели и что им на смену придет третья, русская цивилизация, «ибо Россия молода и призвана объединить вокруг себя остальные славянские народы, которые отделились от своего источника и находятся теперь в упадке». В то же самое время Э. Шарьер пишет: «Впредь ни для Польши, ни для других, нарождающихся, народностей не может существовать претензий на независимое существование иначе как в проекте славянских народов под верховным руководством России»²¹. Идея о необходимости руководства России

славянскими народами достаточно быстро начинает восходить на французской демократической ниве. Франция даже в некоторой степени уже ознакомилась с идеологией первых русских славянофилов благодаря сочинениям Ф. фон Баадера и Г. Мармье²².

Таким образом, несмотря на засилье польских взглядов по славянскому вопросу, в первой половине XIX в. во Франции существуют разнообразные восприятия славянского мира как целого. В более широких кругах все возрастает интерес к русской литературе. В 80-х гг. очень много места русской тематике отводилось на страницах «Nouvelle revue» (редактором которого была Жюльетта Адан); когда ей на смену в 1886 г. пришел Э. де Цион, Россия стала едва ли не центральной темой этого печатного издания. Появляется ряд переводов из произведения русских классиков, принадлежавших перу видных писателей (Проспер Мериме, Ксавье Мармье, Луи Виардо, Александр Дюма-отец, Эжен де Порри, Тардиф де Мелло, Анри Делаво). Особую роль в истории взаимного литературного изучения России и Франции сыграл И. С. Тургенев. Благодаря ему на французском языке вышли произведения многих русских классических писателей. Также стараниями Тургенева в 1875 г. в Париже была открыта Русская общественная библиотека, фонд которой составляли книги, подаренные русскими, жившими во Франции.

Военная катастрофа 1870—1871 гг. породила во Франции серьезную ревизию отношений с заграницей. Она коснулась всех крупных европейских стран, в том числе и России — правительство стало смотреть на Россию и других славян как на возможных союзников в борьбе против Германии. Возлагавшиеся на нее надежды, первые признаки намечавшегося сближения с ней придали изучению России особый интерес.

По существу, французы должны были открывать почти неизвестную им землю. О первых статьях А. Рамбо и Л. Болье, посвященных России на страницах «Русского вестника» в 1875 г. писалось: «Статьи в „Revue des Deux Mondes“ — это почти то же, что записки Америго Веспуччи. Европе открывается в них целый новый мир, до сих пор почти неведомый, хотя и не отделенный от нее океаном»²³.

До этого момента Франция практически не имела научной россики. Мемуарные сочинения, туристические записки или умозрительные философские рассуждения весьма искаженно изображали действительное состояние России и не могли ни в коей мере служить опорой для ее постижения. Выражением нового понимания России и знамением времени стала критическая атака против А. де Кюстина и его книги «Россия в 1839 году» со стороны самих французов. Так, профессор Л. Леже осуждал смешную претензию судить о России, не зная русского языка, и отмечал грубые ошибки, допущенные

Кюстином и другими французскими авторами, бравшими на себя смелость писать о стране, которую не знали²⁴. Любительская информация не могла больше удовлетворять серьезного читателя, и исследование пришлось начинать заново: другими методами и способами.

Кроме того, что Франция становится внешнеполитическим партнером России, усиление культурных взаимоотношений двух стран в 80-е, а особенно в 90-е гг., было обусловлено еще одним немаловажным фактором. Речь идет не только о сращивании банковских капиталов, правительственных кредитах и займах, но и об огромных инвестициях французских предпринимателей в создание ряда крупнейших промышленных предприятий России. Это отразил в своих «Письмах из Парижа» за 1904 г. Л. Леже; по поводу открытия второй после Коллеж де Франс кафедры русского языка и литературы в г. Лилле он сообщает: «Лет 12 тому назад представители промышленности из Лилля настойчиво требовали открытия курсов русского языка для облегчения их сношений с Россией, и прежде всего с Псковской губернией, в которой они закупают лен»²⁵. Именно в таких благоприятных условиях — социальных, политических и экономических — стало развиваться изучение французами русской культуры, истории и литературы, которое происходило главным образом с 1871 по 1914 гг.

За эти годы появился ряд капитальных работ по истории России, принадлежащих перу Анатоля Леруа-Болье, Альфреда Рамбо, Леонса Пенго и др. Сочинения новой волны уже не представляли собой как, прежде всего, лишь компиляции из немецких и русских источников, а наоборот оперировали оригинальным материалом, вводили в научный оборот новые факты. При перечислении предвестников русофильского литературного движения стоит отметить их единственного серьезного предшественника — Ж.-К. Шницлера и его книгу «Империя царей с точки зрения современной науки», вышедшую между 1856 и 1866 гг. Это был истинно монументальный труд, содержащий в себе все то, что было на тот момент известно о России. После Шницлера разработку богатой, мало исследованной до тех пор почвы, почти одновременно подхватывают Л. Леже и А. Леруа-Болье.

Таким образом, 70-е гг. ознаменовали собой второй этап в развитии французской русистики. Рождается, по словам исследовательницы А. Бернар, т. н. «французский государственный панславизм»²⁶, который был связан с военной угрозой и поиском союзников для противостояния ей. Однако тема настоящего исследования предполагает концентрацию внимания не на государственной политике Франции, а на ее отражении в научной сфере. Тот самый «государственный панславизм» имел обратной своей стороной зарождение

русофильского литературного движения. Если на первом этапе развития русистики господствовали политические амбиции и панславизм в польском своем варианте, то на втором — уместно говорить об осознанном изучении литературы и истории страны — потенциальной союзницы. Отношение к России уже определяли не эмоции поляков, а внутри и внешне политические потребности самой Франции. Некая изначально идеологическая игра превратилась в реальность — Франция была вынуждена мимикрировать под политические и военные условия действительности; под германской угрозой она переделалась из полонофильских в славянофильские одежды. Мнимая угроза России, стоявшей во главе славянства, навеянная польскими эмигрантами, отошла на последний план. Кому как не самим французам было точнее определить ситуацию: так, Жюльетта Ламбер-Адан писала в своих мемуарах, что определяло ее отношение к России: «Неистовая и страстная антинемка, я была логически славянофилкой»²⁷, или там же: «Бисмарку нужно, чтобы мы ненавидели Россию, поэтому-то я ее и люблю»²⁸.

Объясняя свой интерес к России, Эжен Мельхиор де Вогюэ говорил: «...я пережил все те жалкие унижения, которые испытал каждый, кто был представителем Франции за границей после 1870 г., — унижения, прикрытые на Западе дипломатической вежливостью и резко ощущаемые на востоке, где с каждым человеком обращаются совершенно открыто, сообразно предполагаемой в нем силе. Чтобы прекратить эти унижения, нужна была поддержка, и достаточно было бросить взгляд на карту и задать себе вопрос о ближайшем будущем, чтобы увидеть, где следует искать этой поддержки»²⁹.

Анатоль Леруа-Болье в предисловии к своему труду «Царская империя и русские» объясняет, что причиной, обратившей его внимание на эту страну, были «не только ее колоссальные размеры, ее население, уже более многочисленное, чем вместе взятые Франция и Германия, та громадная роль, которую, судя по ее неизмеримой величине, будущее готовит России среди стран нашего старого континента, но и загадочный характер ее жителей и та тайна, которая как бы витает над Россией и ее судьбами, а главным образом та трудность, которая стоит на пути к ее познанию и пониманию»³⁰. В частном письме Гальперину-Каминскому он писал: «Я знал остальную часть Европы, мое внимание притягивалось к Востоку этой огромной империей, все еще походившей на наших картах на terra incognita. В июле 1870 года я собрался ехать в Москву, но война задержала меня. Печальные события 1870—71 гг. придали России еще больший интерес в наших глазах»³¹.

Другой французский ученый, занявшийся изучением русской литературы, К. Курьерр также свидетельствует: «Со времени последней войны в общественном мнении Франции свершилось резкая

перемена в пользу России. Открыли то, что она стоит того, чтобы ее изучать, и взялись за дело»³². Политическая установка французского журналиста в Петербурге отчетливо прослеживается и в следующих его словах: «Мне нет необходимости доказывать интерес, который представляет для нас в настоящее время сближение в Россией. Этот интерес очевиден из последних событий, давших России значительный перевес в Европе. Немцы, предупредившие нас, имеют в Петербурге ежесемесничник и две газеты»³³.

К концу XIX в., благодаря истинным представителям французской русистики, — Леже, Леруа-Болье, Рамбо, Вогюэ — русский язык и русская литература окончательно приобрели право гражданства не только во Франции, но и во всем мире. Все эти писатели были настолько основательно знакомы с предметом своих исследований, что их труды пользовались несомненным авторитетом и у русских ученых. Л. Леже избрал лингвистику и происхождение литературы, Леруа-Болье — учреждения и нравы, Рамбо — историю, Вогюэ — изящную литературу. Однако стоит заметить, что если труды Л. Леже и Э.-М. де Вогюэ, а также их популяризаторская деятельность сначала порождали, а затем расширяли интерес ко всему русскому и их работы распространялись в широкие массы читателей, благодаря особенностям и доступности предмета, изучению которого они себя посвятили, то А. Леруа-Болье и А. Рамбо со своими трудами могут справедливо считаться инициаторами строго научного изучения русской истории, литературы, культуры и языковедения, и их работы по своему характеру имели влияние, главным образом, в среде специалистов и ученых, как французских, так и русских.

В плеяде русистов особняком стоит Луи Леже. Он являлся первым профессором (1884 г.) на кафедре в Collège de France, все три его предшественника имели лишь титул «уполномоченных читать лекции». Леже направил свое изучение, главным образом, на происхождение славянских литератур и на филологию. Для ознакомления французского читателя и начинающего ученого с русской литературой Л. Леже сделал много, как талантливый популяризатор и умелый педагог. Поль Буайе считает, что можно смело задаваться вопросом: «Когда по свободному выбору, обусловленному случайной встречей, он отдался изучению славистики, занявшей потом всю его жизнь, кто во Франции или в другой стране имел точное представление о славянских народах, их географическом расселении, их языках, их чаяниях?» и утверждать также, что «универсальность его любознательности и его производительности дает ему в истории славистики место в одном ряду с Ягичем и может быть лишь ниже Буслаева»³⁴.

В 1892 г. Леже выпустил большую антологию «Русская литература», в которой в основном дал в своих и чужих переводах удачный

подбор образцов произведений писателей-классиков, а через год — «Историю русской литературы». К наследию Леже стоит еще прибавить несколько фактологически ценных страниц в его «Воспоминаниях славянофила», популярно написанный очерк «Николай Гоголь» и, наконец, сборник одновременно опубликованных и собранных вместе статей «Интеллектуальная Россия». Но, пожалуй, большую работу он проделал в деле осведомления российских ученых о состоянии французской исторической и филологической науки: с 1869 и по 1917 г. включительно из номера в номер выходили его «Письма из Парижа» в «Журнале Министерства Народного Просвещения». В них регулярно сообщались данные не только общекультурного и научно-политического значения, но и материалы, касавшиеся специализированного вопроса по изучению русского языка и литературы во Франции.

Несмотря на то, что первопроходец Л. Леже немало сделал на пути постижения французами «русской загадки», даже сам он зачастую утверждал, что начало изучения русской культуры и литературы во Франции нужно считать со времени вступления на научное поприще не только его, но и А. Леруа-Болье и А. Рамбо³⁵.

Именно А. Рамбо принадлежала мысль об издании в 70-е гг. специального журнала, посвященного России. В научных кругах России она была встречена весьма почтительно: И. И. Срезневский в неопубликованном письме от 8 марта 1876 г. писал Рамбо: «Получил известия, что Вы собираетесь издавать „Revue russe“. Вот прекрасная мысль, говоря о малой известности русской словесности, сколько материала и о России и о востоке можно брать из русских книг и повременников... принимайтесь с Богом, нельзя сомневаться в успехе»³⁶. Однако эти намерения не были осуществлены.

Кроме нескольких специальных исследований, касающихся некоторых отдельных эпизодов русской истории и которые были опубликованы на страницах «*Revue des Deux Mondes*» и «*Revue bleue*», А. Рамбо дал публике в 1878 г. общую историю России («*Histoire de Russie, depuis les origines jusque l'année 1877*»), прекрасную как в силу сжатости и образности изложения, так и по научному значению. Стоит отметить, что он создал этот труд в то время, когда во Франции не было даже необходимых элементов для подобного рода работ. Благодаря прекрасному знанию русского и даже старославянского языка он мог непосредственно пользоваться необходимыми оригинальными источниками. Он занялся изучением русского языка в 1869 г. под руководством Леже. После чего комиссия дипломатических архивов при министерстве иностранных дел поручила ему создание сборника инструкций, данных французским посланникам и уполномоченным в России. Это была сложная задача, но при помощи знаний и эрудиции Рамбо бесконечно длинные

и затянутые послания древних московских царей превратились из малозанимательных документов в последовательную историю франко-русских внешнеполитических сношений от их начала до Великой французской революции.

Преимущественно Рамбо посвятил свои изыскания русской истории, хотя и не удержался от соблазна проникновения в область эпической России. Он первый перевел и разобрал русские былины в своей книге «*La Russie épique*» («Эпическая Россия»), которая стала его первым значительным научным трудом о России. Воюю не преминул отдать дань справедливости Рамбо как очередному «работнику первого часа»: «Никогда эта отрасль истории литературы не была изучена лучше, чем во Франции, и изучена одним из наших»³⁷. В России книгу встретили восторженно; московское Общество любителей русской словесности послало Рамбо приветственное письмо. К. И. Бестужев-Рюмин в письме к Рамбо от 26 февраля 1876 г. писал: «Такого полного и так прекрасно написанного обзора народного русского эпоса не имеет пока и наша литература. Вы так хорошо вошли в дух этого эпоса, так ясно обрисовали стадии его развития»³⁸.

Значение этой работы Рамбо состояло еще и в том, что она открывала собой период изучения истории России французскими историками, составляющий новую главу в развитии французской историографии. После чего за изучение этой тематики взялись крупнейшие ученые: А. Вандаль, А. Сорель и др. После столь большой работы Рамбо переходит непосредственно к темам, связанным с проблемой франко-русских отношений; в этом плане он не мог остаться в стороне от общего дела своих коллег-русистов. Так, в своей статье о герцоге Ришелье он напоминает читателям о пользе сердечного согласия между Францией и Россией, замечая попутно, что данная идея уже не раз приносила плодотворные результаты для величия Франции и независимости Европы; в результате чего он делает вывод о том, что и сегодня, как и раньше, идея эта представляется гарантией европейского равновесия³⁹. Таким образом, и работы А. Рамбо также пополнили копилку аргументов в пользу союза и политического сближения Франции с Россией.

Исключительную роль во Франции в освоении поля русской литературы сыграл Э.-М. де Воюэ и его книга «Русский роман» («*Le roman russe*»). Переведясь на службу во французское посольство в Петербурге, Воюэ быстро овладел русским языком, женился на русской подданной, ознакомился с новой русской литературой и, по совету графини С. А. Толстой, стал знакомить французских читателей с русскими литературно-художественными ценностями на страницах журнала «*Revue des Deux Mondes*». Позднее эти статьи были выпущены отдельным изданием под заглавием «Русский

роман». Цель своей книги автор определил в предисловии следующим образом: «По соображениям литературным... по мотивам другого порядка... я убежден в необходимости работать над сближением двух стран при помощи взаимного влияния умственной, творческой деятельности в обеих странах. Между двумя народами, как и между двумя лицами, только тогда может установиться тесная дружба и солидарность, когда их умы приходят в соприкосновение»⁴⁰. Таким образом, движимый к изучению русской литературы политическими мотивами, Вогюэ не стал исключением в плеяде русистов того времени, однако, как никто другой из них, после Л. Леже, естественно, он преуспел в деле популяризации русской литературы во Франции.

Выбрав предметом своего изучения изящную литературу, Э.-М. де Вогюэ, по сути, проделал работу по приспособлению достояния русской культуры к интересам, запросам и потребностям носителей французской культуры. Именно его работы положили начало оценке культурных достижений другой нации и процессу диффузии культур Франции и России. «Русский роман» появился в столь своеобразный период, в течение которого наиболее интенсивно осваивались ценности русской культуры, благо плодотворная почва тому уже была заложена предшественниками Вогюэ. По словам шотландского просветителя Л. Фергюсона, именно на этом этапе к собственной культуре крайне необходимо добавить тот небольшой элемент, который она была почти в состоянии произвести самостоятельно⁴¹. По мнению Вогюэ, таким «толчком извне» должна была стать русская литература: «Я убежден, что влияние великих русских писателей будет спасительным для нашего истощенного искусства; оно поможет ему вновь поднять крылья... я не могу понять тех, кто пугается этих внешних займов и кажется встревоженным за целостность французского гения... Русские пришли вовремя; если мы еще способны переваривать, мы оздоровим нашу кровь за их счет»⁴². На фоне значительности интеллектуального займа у России Вогюэ, конечно, несколько принизил состояние культуры Франции, но на то были свои политические причины. Интересы Франции заставили ее искать сближения и союза с Россией, именно это значимое обстоятельство заставило французских литераторов и ученых найти в высоком уровне русской литературы и искусства веский аргумент в пользу политического союза с Россией. Литературная деятельность Вогюэ была вызвана условиями жизни первых десятилетий Третьей республики, она отвечала потребностям определенной крупнобуржуазной части французского общества и в соответствующих кругах снискала огромную популярность.

Луи Леже писал, что «Русский роман» Вогюэ составил эпоху; «Можно сказать, что книга Вогюэ относительно России будет для

французов тем же, чем была некогда классическая книга г-жи де Сталь о Германии»⁴³. Много лет спустя подобный отзыв дал товарищ А. Рамбо по Сорбонне, Пети де Жюллевиль в своей работе «История французского языка и литературы. «Его книга о русском романе была действительно таким же откровением о России, как некогда книга г-жи де Сталь о Германии... книга пришла вполне своевременно»⁴⁴.

Главное значение статей Вогюзэ, а затем и его книги, заключалось в том, что он понял огромную художественную ценность и жизненную силу русской литературы, ее мировую роль, открыто признал ее ценность как художественную, так и идейную для литературы французской; он открыто призывал французских литераторов учиться у русских и само влияние русских мастеров слова считал благотворным, плодотворным для литературы Франции. Он полагал, что русская литература, в лице своих романистов, опередила Запад. Русский роман реалистичен, но «русские защищают дело реализма новыми и лучшими аргументами, нежели их западные соперники»⁴⁵.

По свидетельству Э.-М. де Вогюзэ, освещение деятельности первопроходцев было бы неполным без А. Леруа-Болье. «Одно имя выделяется над всеми остальными: имя друга и учителя всех нас — Анатоля Леруа-Болье. Задолго до нас, сейчас же после войны, он увидел за собой и постепенно вполне раскрыл нам огромную неизвестную страну, он увлек нас, придав нам охоту собирать и то немногое, что было упущено им. Если правда и справедливость не пустые слова, то в истории открытия французами славянского мира этому твердому, настойчивому уму будет приписана большая часть дела, будет отведено самое почетное место, как первоначальной причине самых великих последствий подражатели, которых он вызвал, оказались бы очень неблагодарными, если бы не засвидетельствовали этого»⁴⁶.

Исследование жизни и творчества А. Леруа-Болье заслуживает отдельного пристального внимания, потому что во французской славистике именно с его именем и научно-познавательной деятельностью связывается зарождение идейного направления «французского славянофильства»⁴⁷. Совершенно справедливыми звучат слова Вогюзэ о том, что «в интеллектуальной жизни нашего поколения автору капитального труда „L'Empire des Tsars et les Russes“ необходимо отвести выдающееся место»⁴⁸.

Леруа-Болье принято называть первым «славянофилом». Он стал им не столько потому, что любил славян, сколько потому, что был неравнодушен к будущему великой России. Его деятельность явилась неким водоразделом между русофильским литературным движением, родоначальником которого считается Э.-М. де Вогюзэ, и осознанным изучением России. А. Леруа-Болье «рационализировал»

проблему выбора судьбы России — посвятив ее изучению 10 лет, он на основе тщательного анализа исторического ее опыта предложил модель (пусть идеалистическую и утопическую) развития общества и исторического пути России.

П Р И М Е Ч А Н И Я

- ¹ *Courrière C.* Histoire de la littérature contemporaine en Russie. Paris, 1875. P. 11.
- ² *Пыпин А. Н.* Панславизм в прошлом и настоящем. М., 2002. С. 6–7.
- ³ Там же. С. 10–11.
- ⁴ Там же. С. 155–156.
- ⁵ *Eichhoff F.* Histoire de la langue et la littérature des Slaves, Russes, Serbes, Bohèmes, Polonais et Lettons. Paris, 1839. P. 296.
- ⁶ *Léger L.* Le monde slave — voyages et littératures. Paris, 1873. P. 297.
- ⁷ *Cadot M.* La Russie dans la vie intellectuelle française (1839–1856). Paris, 1967. P. 471.
- ⁸ Подробнее см.: *Бернар А.* Несколько особенностей панславизма во Франции // Славяноведение. 1998. № 5. С. 38–39.
- ⁹ *Пыпин А. Н.* Панславизм... С. 5.
- ¹⁰ *Cadot M.* La Russie dans la vie... P. 477.
- ¹¹ *Léger L.* Russes et Slaves. Paris, 2-e série, 1896. P. 210–211.
- ¹² Ibid.
- ¹³ *Пыпин А. Н.* Панславизм... С. 157.
- ¹⁴ Там же.
- ¹⁵ Цит. по: *Берков П.* Изучение русской литературы во Франции. Библиографические материалы // Русская культура и Франция. М., 1939. Т. 33–34. С. 740. (Литературное наследство).
- ¹⁶ *Гальперин-Каминский И. Д.* Руссоведение во Франции // Русская мысль. 1894. № 9. Отд. 2. С. 33–34.
- ¹⁷ См.: *Cyprien R.* De l'enseignement des langues et des littératures slaves au Collège de France // Revues des Deux Mondes. 1846. P. 837.
- ¹⁸ *Берков П.* Изучение русской литературы во Франции... С. 740.
- ¹⁹ *Léger L.* Les langues d'utilité publique. L'enseignement du russe // Revue des cours littéraires. 1867–1868. № 7. V-e année. P. 116–117.
- ²⁰ *Гальперин-Каминский И. Д.* Руссоведение во Франции... С. 31.
- ²¹ См.: *Бернар А.* Несколько особенностей панславизма... С. 39–40.
- ²² *Cadot M.* La Russie dans la vie... P. 477.
- ²³ Цит. по: *Русский вестник* 1875. Т. 117. С. 819.
- ²⁴ См.: *Léger L.* Les écrivains française et la Russie // Nouvelles études slaves. Paris, 1886.
- ²⁵ *Леже Л.* Письмо из Парижа // ЖМНП. 1904. № 12. С. 113.
- ²⁶ *Бернар А.* Несколько особенностей панславизма... С. 41.
- ²⁷ *Adam J.* Nos amitiés politiques avant l'abandon de la revanche. Paris, 1908. P. 166.
- ²⁸ Ibid. P. 267.
- ²⁹ См.: *Vogüé E.-M. de.* Le roman russe. Paris, 1886. P. 1.
- ³⁰ *Leroy A.* Beaulieu Préface a «L'Empire des tzars et les Russes». Paris, 1881. P. 7.
- ³¹ *Гальперин-Каминский И. Д.* Руссоведение во Франции... С. 35.

- ³² Courrière C. Histoire de la littérature... P. 1.
- ³³ Ibid. P. 431.
- ³⁴ Boyer P. Louis Léger // Revues des études slaves. Paris, 1923. Т. 3. P. 128.
- ³⁵ Берков П. Изучение русской литературы во Франции... С. 744.
- ³⁶ Цит. по: Манфред А. З. Традиции дружбы и сотрудничества. Из истории русско-французских и советско-французских связей. М., 1967. С. 130.
- ³⁷ Vogüé E.-M. de. Le roman russe... P. 20.
- ³⁸ Цит. по Манфред А. З. Традиции дружбы... С. 132.
- ³⁹ Подробнее см.: Rambaud A. Le duc de Richelieu en Russie et la France // Revues des Deux Mondes. 1887. Т. 84. P. 618–663.
- ⁴⁰ Vogüé E.-M. de. Le roman russe... P. VII.
- ⁴¹ Подробнее см: Артановский С. Н. Историческое единство человечества и взаимное влияние культур. Л., 1967. С. 95.
- ⁴² Vogüé E.-M. de. Le roman russe... P. LIII–LIV.
- ⁴³ Леже Л. Письмо из Парижа // ЖМНП. 1886. № 1. С. 49.
- ⁴⁴ Petit de Julleville L. Histoire de la langue et de la littérature française des origines à 1900. Paris, 1899. Т. VIII. P. 687.
- ⁴⁵ Vogüé E.-M. de. Le roman russe... P. XII–XIII.
- ⁴⁶ Цит. по: Шаль П. Анатолий Леруа-Болье. СПб., 1913. с. 5.
- ⁴⁷ Подробнее см.: Данилова О. С. Французские «славянофилы» конца XIX — начала XX в. // Славянский альманах 2001. М., 2002. С. 217–233.
- ⁴⁸ Цит. по: Шаль П. Анатолий Леруа-Болье. С. 1.

Профессор Юрьевского университета Е. В. Петухов как славист

Евгений Вячеславович Петухов прожил большую жизнь, из которой более 50 лет приходится на дореволюционный период истории России. Из них он проработал 23 года в Юрьевском университете. Остальное время его жизни прошло при советской власти. Юрьевский период его деятельности был особенно плодотворен. Именно в это время ученый создал весьма значительные для русской культуры труды. Однако его смерть в 1948 г. не вызвала, видимо, никаких откликов в печати, во всяком случае, автору этих строк не удалось разыскать ни одного некролога. Такое явление объяснимо. В то время в Советском Союзе не только не ценилось, но и просто отторгалось культурное наследие дореволюционной России. Буржуазная наука с господством в ней множества мнений и самостоятельных взглядов на предметы изучения мешала укреплению и развитию единой для всего общества идеологии, «марксистского метода исследования». Поэтому достижения русских дореволюционных гуманитарных наук замалчивались. Эти науки были объявлены находившимися в состоянии «кризиса» и враждебными новой методологии. Впрочем, подобные характеристики не мешали ученым послереволюционного поколения использовать труды своих «буржуазных» предшественников, не ссылаясь на них, а подчас и выдавая их за собственные произведения.

О судьбе русских ученых гуманитарного профиля, в том числе и славистов, в советское время имеется довольно значительная литература¹. Большинство из них гибли из-за репрессий, от голода и лишений, другие уехали или были высланы за границу, а оставшиеся доживать свой век в России чаще всего были забыты. Е. В. Петухову повезло больше, чем другим. Он не был репрессирован, дожил до преклонного возраста и практически до конца жизни имел возможность заниматься профессиональной деятельностью. О нем сохранились некоторые архивные документы, а в 1927 г. отмечалось 40-летие его научной деятельности, и на эту тему была опубликована статья². Эти материалы имеют высокую степень достоверности. Сведения о Петухове имеются также во многих словарях и энциклопедиях дореволюционного периода, как правило, со списками его трудов³. В основном они написаны самим Петуховым — по просьбе редакций соответствующих изданий. В советское время об ученом упоминали «Краткая литературная энциклопедия»⁴,

словарь «Славяноведение в дореволюционной России»⁵ и некоторые другие издания. Профессор, по трудам которого о русской литературе и русском языке училось несколько поколений студентов высших учебных заведений и учащихся средних школ как до революции, так и в советское время, мог бы рассчитывать на более широкое признание.

Во всяком случае, он в большей мере заслуживает памяти потомков, чем это имеет место; его деятельность могла бы отразиться, например, в оценке его вклада в русскую культуру в виде специальной работы. Но такой работы нет.

Настоящая статья не претендует на исчерпывающее освещение творчества Е. В. Петухова; более того, она посвящена лишь краткой характеристике его жизненного пути и его сочинений прежде всего по славяноведению, которое отнюдь не являлось предметом исключительного интереса ученого, Основные труды Е. В. Петухова касаются русской литературы начиная с ее древнего периода и вплоть до середины XIX в. Но работы, написанные на славянские сюжеты, носят подчас уникальный характер, поэтому есть основания остановиться на них специально.

Евгений Вячеславович Петухов родился в 1863 г. в Томске, окончил там классическую гимназию с золотой медалью, а в 1881 г. поступил в Петербургский университет на историко-филологический факультет⁶. Петербургский университет находился в это время в состоянии расцвета, в нем наблюдалось большое оживление научно-учебной работы. Петухов с увлечением слушал крупнейшего исследователя русского народного эпоса профессора О. Ф. Миллера. А профессор М. И. Сухомлинов направил студента Петухова на изучение древней русской письменности. К изучению Византии и западноевропейского средневековья привлекал студентов профессор В. Г. Васильевский. Курс славяноведения Петухов прослушал у профессора В. И. Ламанского, призывавшего ко всестороннему изучению славянского мира.

Эта научная среда, участие в научно-литературном обществе, возглавлявшемся О. Ф. Миллером, и в кружке, объединившемся вокруг В. И. Ламанского, развивали историко-литературные интересы Петухова и формировали его художественно-литературные вкусы.

В 1885 г. В. В. Петухов окончил университет со степенью кандидата. По рекомендации профессора М. И. Сухомлинова он был оставлен при университете для приготовления к профессорскому званию по кафедре русской литературы⁷. С этого времени молодой ученый стал вести преподавательскую работу в средних учебных заведениях Петербурга по русскому языку и словесности. С января 1887 г. он работал по заданию Отделения русского языка и словесности Академии наук (ОРЯС) по подготовке нового издания

академического словаря русского языка. В 1888–1889 гг. Петухов стал преподавать русский язык и словесность в Мариинском женском институте. В то же время он читал историю русского языка на Бестужевских женских курсах, а в 1889 г. был принят приват-доцентом на историко-филологический факультет Петербургского университета, где читал специальные курсы «Переводная литература Древней Руси» и «Слово о полку Игореве».

Первый свой труд Б. В. Петухов посвятил древнерусской литературе, опубликовав его под названием «Древние поучения на воскресные дни великого поста»⁸. В 1887 г. молодой ученый попытался разобраться в довольно запутанной проблеме древней письменности «об авторстве Кириллов» и посвятил ей статью «К вопросу о Кириллах-авторах в древнерусской литературе»⁹. А в 1888 г. Петухов защитил в Петербургском университете диссертацию «Серапион Владимирский, русский проповедник XIII в.» и получил степень магистра русской словесности¹⁰. Работа вызвала отклик в журналах. Так, рецензент из «Вестника Европы»¹¹ указывает, что издание поучений проповедника осуществлено «с большим вниманием», в нем рассматривается состав поучений Серапиона, учитываются разные редакции и отношение их содержания к событиям времени. Но, как далее замечает рецензент, автор статьи «искал сличений, где их нечего было и искать»; нужно было «поискать аргументы в литературе Византии», а в представленном виде «половина книги оказывается совершенно ненужной».

В другой рецензии говорится, что В. В. Петухов принялся за выяснение историко-культурного значения проповеднической деятельности Серапиона, за выяснение связи выраженного исследованными памятниками литературного явления с древнерусской жизнью XIII в. С точки зрения рецензента, выполнение этой задачи нельзя признать вполне удовлетворительным, так как автор игнорировал в данном случае этнографическую сторону проблемы, а чтобы судить об известном явлении древнерусской жизни, необходимо учитывать этнографию той местности, среди которой возникли упомянутые произведения епископа Серапиона, «необходимо представить генетическое развитие тех суеверий древнерусского народа, против коих восставал в своих проповедях епископ Серапион... Кроме того язык этих древнерусских поучений не обследован»¹². Однако, несмотря на сдержанные отзывы рецензентов магистерская диссертация Петухова была существенным вкладом в изучение древнерусской литературы.

В 1889 г. Петухов назначается экстраординарным профессором историко-филологического института кн. Безбородко в Нежине по кафедре русской словесности¹³. Здесь он читал лекции, вел и другие занятия по русской литературе и славистическим предметам. Условия

для научной работы были в Нежине благоприятны: тихая жизнь маленького городка, богатая научная библиотека института, живые академические традиции. Ведь в Нежинском институте кн. Безбородко, как правило, преподавали и вели научную работу молодые абсолювенты столичных российских университетов, готовившие магистерские или докторские диссертации, а после их защиты занимавшие кафедры в университетах России. Так, из славистов здесь работали ставшие впоследствии известными деятели — филолог А. С. Будилович, историк русского языка Н. А. Лавровский, исследователь древнерусской письменности, будущий академик М. Н. Сперанский. Работая в Нежине, Е. В. Петухов подготовил докторскую диссертацию — «Очерки из литературной истории Синодика» (СПб., 1895) и, защитив ее в Петербургском университете в 1895 г., получил степень доктора русской словесности.

Диссертация свидетельствует о глубоком изучении Петуховым древней русской письменности. В 1895 г. он был назначен ординарным профессором Императорского Юрьевского университета «по кафедре русского языка в особенности и славянского языкознания вообще»¹⁴. Так началась плодотворная педагогическая и научная деятельность Е. В. Петухова в этом университете; она продолжалась здесь вплоть до его перемещения в Воронеж.

Вступительную лекцию профессор прочитал на тему «О главнейших направлениях в русской литературе в XVIII — первой половине XIX в.»¹⁵.

В Юрьевском университете царила своеобразная научная обстановка, обусловленная близким соседством с германской высшей школой и сильным влиянием ее традиций. Славистические темы не привлекали учащихся, профессор Петухов не был загружен педагогическими обязанностями, и он развил широкую научную и общественную деятельность. Профессор часто выезжал в научные командировки за границу, с 1889 по 1912 г. работал в архивах Праги, Вены, Парижа, Берлина, Белграда¹⁶, посещал Болгарию, Черногорию и другие славянские земли. Дважды (в 1905 и 1915 гг.) он избирался деканом историко-филологического факультета, заведовал Юрьевскими педагогическими курсами по подготовке учителей средних учебных заведений. В 1911 г. Петухов был избран директором Высших женских курсов в Юрьеве¹⁷, выполнял он и ряд других функций подобного характера. Кроме того Е. В. Петухов поддерживал тесный контакт с учеными Петербурга и Москвы, являлся с 1896 г. членом Московского Археологического общества¹⁸ и в том же году участвовал с докладом в работе X Археологического съезда¹⁹. С 1898 г. он состоял членом Общества любителей российской словесности (ОЛРС)²⁰ и активно в нем работал. В 1902 г. был командирован в Москву для участия в публичных собраниях ОЛРС,

посвященных юбилеям Н. В. Гоголя и В. А. Жуковского²¹, на заседании 6 апреля 1902 г. выступил с докладом «Жуковский в Дерпте»²², а в 1909 г. специально прибыл в Москву на открытие памятника Н. В. Гоголю²³.

В творчестве Петухова можно выделить несколько самостоятельных тем. Это исследование русской литературы; изучение истории науки и высших школ; славянская проблематика. Большое место занимает также публикация документов как по указанным темам, так и по другим вопросам. Работая в Юрьевском университете, Е. В. Петухов постепенно переходил от изучения древнерусской литературы к исследованиям по более поздним периодам времени. Он писал о сатирических стихотворениях М. В. Ломоносова, публиковал статьи по истории русской литературы XVIII в. Постепенно его труды стали охватывать и ряд характерных моментов истории новой русской литературы. Эту группу его сочинений составляют работы о А. С. Грибоедове, И. А. Крылове, Н. В. Гоголе, В. А. Жуковском, А. С. Пушкине, И. С. Тургеневе, М. Ю. Лермонтове, Ф. И. Тютчеве и других русских писателях. Охватив в своих исследованиях ряд эпох развития русской литературы, Петухов создает капитальное произведение общего характера под названием «Русская литература. Исторический обзор главнейших литературных явлений древнего и нового периода»²⁴.

Первый том (древний период) выдержал три издания и получил премию Академии наук²⁵. Эта обширная работа отличается серьезными достоинствами: стройностью плана изложения, глубокой эрудицией автора.

Труд этот занял видное место в ряду крупных общих обзоров истории русской литературы. Из богатейшего материала автор выделил все наиболее самостоятельное по происхождению и самое существенное для исторического изучения русской литературной мысли от зарождения письменности до последней четверти XVIII в. Ряд поколений студентов различных гуманитарных высших школ «пользовались и пользуются этим трудом при прохождении курсов истории русской литературы в качестве пособия», — такая оценка названного труда содержится в одном неопубликованном документе 1928 г.²⁶

Исследуя материалы о деятелях русской литературы, Е. В. Петухов основывался на новых, еще неизвестных науке данных, разысканных им в архивах во время многочисленных научных командировок. Некоторые из найденных документов были им напечатаны. В качестве примера можно указать на статью «Из истории одного литературного общества», которая представляет собой публикацию писем членов Санкт-Петербургского Вольного общества любителей словесности, наук и художеств. Это письма на имя секретаря

и председателя Общества от Карамзина, Жуковского, Капниста и других с выражением благодарности за избрание в состав названной организации. На ранее необработанных, а часто и вообще неизвестных материалах написана работа Е. В. Петухова об истории науки и высших учебных заведений России. Так, он нашел «несколько новых данных о научной деятельности А. Х. Востокова» и опубликовал их в 1890 г.²⁸ А. Х. Востоков был всегда известен прежде всего как великий русский филолог, а вот его творчество в области «изящней литературы» не обращало на себя должного внимания. На основании архивных документов Е. В. Петухов заполняет этот пробел. Он публикует неизданные материалы Вольного Общества любителей словесности, наук и художеств, созданного группой российских интеллектуалов в 1801 г. и просуществовавшего до 1824 г. А. Х. Востоков являлся активным членом этого содружества с 1802 г., он принимал непосредственное участие в его изданиях, рецензировал статьи по литературе, публиковал собственные стихотворения.

Е. В. Петухов в своей публикации предлагает ознакомиться с документами Общества. «...написанными рукой Востокова и носящими следы его личной литературной деятельности». Это отзывы ученого о различных сочинениях, о переводах (прозаических и стихотворных), «записки» для докладов в заседаниях Общества, рецензии и т. д. Так, в заседании 25 февраля 1811 г. Востоков высказал свое мнение о сочинениях, предназначенных для публикации в «Периодическом издании Общества». Имелись в виду материалы: «О происхождении славян — извлечение из Шлёцера Нестора с замечаниями Добровского»; «О славянском Евангелии в Реймсе»; «О славянах в долине Резии, с кратким словорасписанием»; «Отче наш по-кroatски, по-виндски и по-сербски». Об этих работах А. Х. Востоков сказал, что «...первые две преимущественно заслуживают быть помещены в издании нашем — по своему историческому содержанию, любопытному наипаче для русских; 3-я и 4-я содержат в себе отрывки собственно грамматические, и притом касающиеся до диалектов, весьма далеких от русского: написаны не столько для публики, сколько для ученых, таковыми изысканиями занимающимися, почему и полагаю я, что им приличнее место в какой-нибудь особой книге»²⁹...

Весьма интересен также документ, которой озаглавлен Петуховым как «Письмо А. Х. Востокова Д. И. Языкову». «Предложение Ваше, — пишет Востоков, — о препоручении мне перевода Богемской и Виндской грамматики принимаю я с величайшей охотой, как я уже о том отозвался Вам; и буду по силам моим стараться о исправнейшем выполнении оногo, дабы оправдать доверенность Общества и Ваше доброхотно обещанное мне ходатайство у министра

о одобрении сего предприятия. Но я думаю, что в исходатайствовании того успех будет еще надежнее, да и само предприятие гораздо полезнее и соответственнее с потребностью русской публики, ежели дать оному большую обширность, распространив все главные диалекты словенские, а именно ежели сочинить общий грамматический курс словенских диалектов для российского юношества и притом начать сперва с ближайших к России по географическому положению и по политическим связям народов, коих языки нам знать нужно. Таковы суть, например, польский и сербский. За оными уже по порядку можно проходить дальнейшие от нас диалекты — богемский, кроатский и прочие. Весь этот курс составит томов 5 или 6 посредственной толщины, кои содержать в себе будут столько же особых грамматик и могут продаваться вместе или в розницу». «В рассуждении источников, — продолжает Востоков, — откуда почерпать для составления сих грамматик, на первый случай не будет, кажется, недостатку. Новейшие и лучшие учебные книги для польского языка можно выписать прямо из Виленского университета; для иллирийских же языков — из Венгрии, Сербии, Булгарии и пр. особенно теперь, когда войска наши стоят там, и когда можно комиссию сию возложить на знакомых, буде только есть оные в армии у кого-нибудь из господ сочленов наших».

Е. В. Петухов отмечает, что письмо это не датировано, но все равно свидетельствует о том, что Востокова давно занимала мысль о создании словаря всех славянских наречий. Подчеркнем также, что автор статьи о письме Востокова перечисляет библиографические данные о творчестве ученого, биографические очерки о нем и отклики на кончину Востокова в 1864 г. Таким образом, работа Петухова дополняет сведения о творчестве русского филолога и показывает, что в соответствующих кругах русских ученых проявлялся определенный интерес к славянским языкам уже в начале XIX в.

Ценные документы извлечены Е. В. Петуховым из различных архивов для создания очерка биографии его учителя М. И. Сухомлинова³¹. Академик Сухомлинов являлся специалистом по русской литературе и по культурной истории России, но еще в студенческие годы слушал в Харькове лекции слависта И. И. Срезневского и предполагал изучать славянскую филологию. Его диссертация, написанная по окончании Харьковского университета в 1848 г., называлась «О значении эпохи Гуса и его последователей в истории европейской цивилизации»³². Однако в дальнейшем он стал профессором русской словесности в Петербургском университете. Е. В. Петухов в названной работе опубликовал в основном не напечатанные ранее материалы о Сухомлинове, хранившиеся в архиве Петербургского университета, снабдив их множеством комментариев, дополнений и пояснений.

Остановимся здесь лишь на тех материалах из документов о Сухомлинове, которые касаются славянства. Во время заграничных командировок с ученой целью М. И. Сухомлинов посещал и славянские страны, оставив о них интересные сведения. Так, обосновывая смысл своей первой командировки в 1858 г., Сухомлинов подчеркивает, что глубокое знание русского языка невозможно без изучения также и славянских наречий; что центром «славянской учености» является Прага, а в ней — П. Й. Шафарик³³. В донесении в историко-филологический факультет Петербургского университета от 4 сентября — 23 августа 1859 г. из Праги Сухомлинов пишет, что начал свое путешествие именно с этого города; что ученые там изучают «не только чешский язык и литературу, но вообще литературу и языки славянские»; отмечается, что в Пражском университете преподаются на чешском языке история чешской литературы и «отчасти политическая история»; что профессор Гаттала читает лекции об образовании слов в чешском и славянском (скорее всего, имеется в виду старославянский. — Л. Л.) языках, о формах церковнославянского языка и разбирает Любушин Суд; «Томек читает по-чешски историю Австрии от Вестфальского мира до периода Семилетней войны, а по-немецки — древнейшую историю Чехии по источникам, как упражнение в исторической критике». Из ученых, не читающих лекций в университете, особенным влиянием пользуется, как указывает Сухомлинов, Шафарик и Эрбен; последний занимается народной словесностью, издает собрание исторических памятников Чехии. Из Праги, доносит далее ученый, он ездил «во внутренность Чехии», а затем отправился в Польшу, Галицию, Венгрию, в Белград, Загреб, Княжество Хорватию, в Лужицы (Будишин). Краков, Львов.

В Венском университете, констатирует автор донесения, славянскую филологию преподает профессор Миклошич, который приводит филологическое объяснение текста Нестеровой летописи, проводит палеографические упражнения по сербским рукописям древней редакции; Шембера читает историю новой чешской литературы и «упражняет» слушателей в переводах на чешский язык; библиотека Венского университета богата рукописями, но многие из них ныне недоступны, так как находятся у профессора Миклошича, составляющего церковнославянский словарь.

Во Львовском университете, пишет далее русский ученый, профессор Головацкий читал фонетику русского языка в сравнении с чешским и польским, говорил о развитии языка русинского, давал объяснение Остромирова Евангелия; профессор Малецкий читал церковнославянский язык, историю польской литературы, проводил эстетический разбор произведений польских драматических поэтов.

Затем М. И. Сухомлинов пишет, что в университете «Песта» (т. е. Пешта, столицы Венгрии. — *Л. Л.*) профессор Ференц преподает славянские наречия, что он владеет 13-ю языками, свободно объясняется по-русски и знакомит учащихся с произведениями русских писателей. Далее Сухомлинов упоминает лиц, с которыми вел ученые беседы, и тех, кто сопровождал его по землям южных славян. Последней из славянских земель, посещенных русским путешественником, была Лужица. О лужицких сербах автор донесения сообщает сведения, уже известные тогда русским славистам, тем более, что в период его пребывания в Будишине «глава современных писателей лужицких» Я. А. Смолер находился в России и, надо полагать, осведомлял интересующихся лиц о положении лужицких сербов.

Пребывание М. И. Сухомлинова в Праге совпало с развитием полемики по поводу подлинности известной подделки — Краледворской рукописи. Он и об этом пишет в своем донесении. В Праге он застал «в самом разгаре спор о Краледворской рукописи», причем «самое резкое и подробное мнение contra выражено Бюдингером в историческом журнале, издаваемом Зибелем; самое лучшее опровержение представлено Палацким в том же журнале. Poleмика опирается преимущественно на исторические доказательства. И с той, и с другой стороны указывается на необходимость филологических доказательств, к которым призывают Миклошича. Миклошич еще не высказал своего мнения печатно, но, судя по устной беседе с ним, он принадлежит к сомневающимся в подлинности РК, и сомнение свое основывает на том, что форма языка не принадлежит XIII в., что склад песен чересчур нов и ненароден, что мифологический элемент не соответствует мифическим представлениям, господствовавшим в то время у чехов». «Я был свидетелем суда между Ганкою и Ку, — пишет далее М. И. Сухомлинов, — редактор газеты, обвинивший Ганку в подлоге, оправдывался тем, что он оказал Ганке честь, назвав его поддельщиком Краледворской рукописи, потому что в то же самое время самую рукопись назвал высоким поэтическим произведением, а высокое произведение может написать только талант! Суд признал обвинителя в подлоге неправым и присудил его к двухмесячному аресту и к штрафу в 100 гульденов»³⁴.

Об обсуждении проблемы рукописей в чешском обществе Сухомлинов говорит и в письме к И. И. Срезневскому от 6 февраля 1859 г., а именно: «4 февраля/23 января было археологическое заседание в Чешском музее. Дело шло о знаменитом „Суде Любуши“. Только третьего дня открылось, кем и у кого найдена драгоценная рукопись. Причина, почему до сих пор это не было известно, весьма проста: автор письма, читанного в заседании, — житель отдаленного края, и не подозревал, что история рукописи неизвестна. Он даже

не имел случая видеть „Älteste Denkmäler der Böhmischen Sprache“, изданные Шафариком и Палацким еще в 1840 году».

«В заседании 4 февраля 1859 года, — пишет далее Сухомлинов, — профессор Томек читал письмо к нему церковника Варжишка, который сообщал, что Иосиф Коварж, приказчик Зеленогорского поместья князя Иеронима Колоредо-Мансфельда, нашел в склепе (sklepe, т. е. погребу. — Л. Л.) в 1817 г. рукопись на четырех листах и отдал ее декану Непомуцкому Франциску Бубеле (Boubel), который мог с трудом ее читать, но взял ее как курьезную вещь. Он счел ее за какую-то чешскую песню про Любушу, да про распрю в Штаглаве... Узнав, что все старые песни стали посылаться в Прагу, в Музей, Коварж запросил Бубеле отослать туда и Любушин Суд в 1818 году. Все дело осталось без огласки, потому что иначе Коварж мог бы лишиться своего места: Мансфельд был крутого нрава и слушникам спуска не давал... Коварж был человек простой, не видел ни литературных, ни патриотических тенденций, и потому до крайности смешно обвинять его в подлоге, как делают это некоторые газеты, не зная, кто нашел рукопись».

Сухомлинов заключает свое сообщение тем, что эти сведения будут помещены в «Люмире», а сверх того «„Общество“ немедленно войдет в сношение с лицами, видевшими рукопись».

О том, какова точка зрения самого Сухомлинова на проблему рукописей, судить трудно. Тогда это дело еще не вполне прояснилось, но есть ощущение, что сочувствие молодого ученого было на стороне приверженцев подлинности РКЗ. Приведенный материал показывает, что заинтересованные русские слависты, к которым в первую очередь относится И. И. Срезневский, знали о спорах в Чехии из первых рук.

Весьма любопытны оценки, которые дает М. И. Сухомлинов чешским ученым. В письме к И. И. Срезневскому от 18/30 января он замечает: «Корифеи славизма (имеются в виду чешские ученые. — Л. Л.) не только не ниже, а даже выше своей славы. Беседа с Шафариком так поучительна, что несколько часов, проведенных с ним, скорее наведут на мысли, плодотворные для науки, чем несколько месяцев самого усидчивого чтения. А какой светлый ум у Палацкого!». «Но, — продолжает автор письма, — молодое поколение во многом расходится с прежним. Как общую черту можно заметить, что молодое поколение проникнуто глубоким уважением к Палацкому и решительно не сочувствует Шафарику. Причины Вам понятны»³⁶.

Е. В. Петухов продолжал обнародование документов о русско-чешских ученых связях в первой половине XIX в. В 1895 г. в архиве Национального музея в Праге он обнаружил в сборнике писем к В. Ганке корреспонденции русских ученых, а в 1896 г. напечатал

13 писем и один отрывок письма О. М. Бодянского к Ганке, по одному письму А. С. Хомякова и С. М. Соловьева и два письма Н. И. Греча³⁷. Бодянский просил чешского ученого организовать копирование различных славянских памятников и других материалов. Например, в письме от 28 апреля 1841 г. выражается просьба «...дать списать Сербскую повесть об Александре», «списать жизнеописание Жижки, Гуса, Иеронима», а также прислать некоторые книги по чешской истории³⁸. В письме от 4 июня 1843 г. из Москвы Бодянский осуждает статью серболужицкого деятеля Я. П. Йордана «Panslavismus», напечатанную в издававшемся им же в Лейпциге журнале. Е. В. Петухов публикует на немецком языке выдержки из статьи Йордана, вызвавшей недовольство Бодянского³⁹.

Что касается материалов из бумаг Шафарика, то Петухов разыскал в них данные, относящиеся к русскому языку и литературе. Обнародование указанных документов было важно как дополнение к сведениям о чешском национальном возрождении и, главное, о чешско-русских ученых связях, особенно если иметь в виду, что основные публикации источников об этих связях появились значительно позже, в том числе и в XX в. Все публикации источников осуществлены Петуховым квалифицированно, на уровне научных требований XX в.

Обнародовав архивные документы о контактах М. И. Сухомлинова со славянскими учеными, корреспонденцию О. М. Бодянского к В. Ганке и другие материалы, Е. В. Петухов внес существенный вклад в русское славяноведение, предоставив исследователям достоверный материал о характере русско-чешских научных связей в дореформенный период истории России. Наряду с публикациями юрьевский профессор издал ряд самостоятельных исследований об истории научных учреждений и творчестве отдельных ученых. Так, он написал историю кафедры русского языка и литературы Юрьевского университета. В обширной статье, посвященной этой институции⁴⁰, автор характеризует деятельность всех ученых, занимавших когда-либо эту кафедру, а именно Г. А. Глинки, А. С. Кайсарова, А. Ф. Воейкова, А. А. Котляревского, П. А. Висковатова и всех остальных, изложив их биографии и приведя список их трудов. Тот же материал об этих лицах с некоторыми корректировками он поместил в «Биографическом словаре Юрьевского университета». Данные об этих, а также и о других, уже скончавшихся к началу XX в. ученых Е. В. Петухов извлек из архива Юрьевского (Дерптского) университета.

Сам словарь⁴¹ представляет собой серьезное научное исследование по истории науки и просвещения. Отметим, что Е. В. Петухов интересовался состоянием высшего образования в Дерпте и в период, предшествующий созданию здесь университета нового времени.

Так, в статье «Латино-шведский университет в Дерпте и Пернове в XVII и начале XVIII века»⁴² автор познакомил читателя с историческими событиями, с тем, что во время военных столкновений соседних государств Дерпт оказывался под господством различных держав по меньшей мере четыре раза. Несмотря на это, здесь с XVII в. уже существовал университет. В XVII в. преподавателями были преимущественно немцы, а среди слушателей преобладали шведы. В XVIII в. восстановленный университет был уже шведским по профессорскому составу и немецким по составу студентов: местный элемент в этом университете не прослеживается ни в каком качестве. Об истории Юрьевского (Дерптского) университета Е. В. Петухов создал два фундаментальных труда, точнее — один в двух томах. Первый из них называется: «Имп. Юрьевский, бывший Дерптский, университет за сто лет его существования (1802–1902). Т. I; Первый и второй периоды (1802–1865)»; второй: «Имп. Юрьевский бывший Дерптский университет в последний период своего столетнего существования (1865–1902)»⁴³. Этот труд до сих пор является самым основательным и содержательным освещением истории Тартуского университета XIX в. Он основан на архивном материале, самостоятельно разработанном Е. В. Петуховым в результате разысканий во многих хранилищах. Эти книги и до настоящего времени являются самой цитируемой работой по истории названного университета. В свое время он получил премию Академии наук⁴⁴.

Интерес Е. В. Петухова к истории высших учебных заведений выразился также в издании очерка «Гимназия высших наук князя Безбородко в Нежине»⁴⁵. Как известно, эта гимназия позднее обрела статус института, а Петухов проработал в нем 6 лет и стал его историком-летописцем. Он изучал также рукописный отдел библиотеки института и обнаружил весьма интересные сведения о его составе. Оказалось, что здесь хранились рукописи XVI–XIX вв. различного содержания и числом более сотни — на старославянском, русском, греческом, латинском, немецком и некоторых восточных языках. Основой собрания была коллекция московского профессора С. П. Шевырева, приобретенная институтом в 1876 г. Петухов в своем очерке перечислил рукописи, дал описание некоторых из них и опубликовал часть еще не напечатанных текстов. Важным моментом описания является справка автора статьи о том, где и когда использовалась та или иная рукопись. В целом нежинское собрание рукописей состояло из случайных пожертвований, но исследователь ряда сюжетов может найти в них интересный материал, ставший доступным благодаря публикации профессора Е. В. Петухова⁴⁶.

Специальных работ Е. В. Петухова о славянах не очень много, но занятия его славянскими сюжетами не были случайными. Прежде

всего самую тесную связь с южнославянской письменностью имеет, как известно, древнерусская литература, т. е. предмет профессионального интереса Е. В. Петухова. Во время своих заграничных командировок он исследовал книгохранилища и архивы Сербии, Боснии, Герцеговины, Болгарии, Хорватии, Словении⁴⁷. Изучая Синодик XVII–XVIII вв., Петухов должен был выяснить ряд обстоятельств возникновения первой русской редакции чина православия. Для этого ученому было необходимо, как пишет он сам, «обратиться к литературе болгарской, наследством которой в древности пользовались русские переводчики, чтобы довести до русского народа греческую богослужебную и не-богослужебную литературу. Болгарский чин православия изучается по двум спискам Синодика царя Бориса. Один список находится в сборнике XIV в. среднеболгарской редакции. Рукопись принадлежит С. Н. Палаузову... Теперь эта рукопись в Народной библиотеке в Софии... Другой список рукописи, принадлежащий проф. Дринову, является частью той рукописи, которая находится в сборнике Софийском. рукопись писана около половины XVI в. с последовательным сербским правописанием и с примесью болгаризмов, указывающих на происхождение ее из западных областей. Сличение отрывков из чина православия по рукописи Дринова с соответствующими местами из чина православия по рукописи Московской Синодальной библиотеки приводит к заключению, что болгарский перевод, несомненно, сделан с той же редакции греческого Синодика, с какой и русские»⁴⁹. Таким образом, в изучении древнерусской литературы Петухов не мог обойтись без славянских рукописей — болгарских, сербских и других.

Выдающиеся знания древней болгарской литературы проявил Е. В. Петухов в статье «Болгарские литературные деятели древней эпохи на русской почве»⁵⁰. Автор констатирует, что в Болгарии в период правления царя Симеона возникла богатая литература. Она содержала определенную сумму фактов, из которой обильно черпали свое просвещение другие славянские народы — сербы и особенно русские. В этом отношении заслуга болгар очень велика. Далее автор останавливается на значении болгарских древних писателей — Климента, Иоанна Экзарха и Константина. Первый создал «Поучительные слова» и «Похвалы» Богу и святым. В России найдено несколько таких произведений Климента, епископа Величского, но на основании рукописных данных к творчеству Климента можно отнести всего 12 «Поучений». Почти все они русского происхождения. По мнению автора статьи, литературная деятельность Климента была гораздо шире, чем свидетельствуют о том известные его произведения⁵².

Затем Петухов говорит о другом литературном деятеле эпохи царя Симеона — Иоанне Экзархе, известном переводом богословского

сочинения Иоанна Дамаскина «О православной вере». Этот труд также был распространен в древней русской письменности — как целиком, так и в отрывках. Но самым замечательным сочинением является, по мнению Петухова, «Шестоднев» Иоанна Экзарха, представляющий собой философско-богословское толкование шестидневного творения мира Богом. Указав на материал, использованный Иоанном Экзархом в качестве источников этого сочинения, а также на то, что древнейший список от 1263 г. — сербский (который в XVII в. перешел в Московскую Синодальную библиотеку), автор статьи перечисляет целые «Шестодневы» русской редакции и отрывки из этого произведения⁵³. Что касается третьего сподвижника царя Симеона на поприще духовного просвещения болгарского народа — епископа болгарского Константина, то он составил «Учительное Евангелие», состоящее из 51 поучения; эти поучения предназначались для церковной беседы в воскресные дни. Названный труд Константина, как и другие его сочинения, не пользовались на Руси успехом, поскольку их содержание было слишком специфично и не отвечало потребностям русской церкви⁵⁴.

Ценной стороной статьи Е. В. Петухова является указание на то, как изучалась деятельность трех древнеболгарских авторов в литературе.

Из сделанных заключений видна большая роль русской науки XIX в. в исследовании этих вопросов.

Болгарская литература была и предметом университетских чтений профессора Петухова. В его архиве сохранилась рукопись под названием «Южнославянские литературы. Болгарская литература до второй половины XIX в.»⁵⁵. Текст лекций относится к 1920 г., когда Петухов уже не преподавал в Юрьевском университете, но надо полагать, что большая часть материала была наработана профессором еще в дореволюционный период и читалась именно студентам Юрьевского университета. Текст содержит конспективное изложение истории болгарской литературы с древнейших времен до второй половины XIX в.

Е. В. Петухов был прекрасно осведомлен обо всех памятниках древнеславянской литературы как за границей, так и в России. Разумеется, не составляла исключения и библиотека Юрьевского университета. В архиве ученого имеется рукопись под названием «Заметки о славянских рукописях библиотеки Юрьевского университета»⁵⁶. О публикации этого текста нам ничего неизвестно.

В процессе университетского преподавания Петухов читал лекции по всем славянским литературам, в том числе и по чешской. Это обстоятельство находит подтверждение в его архиве, где имеется рукопись, представляющая собой подробное изложение истории чешской литературы с древнейших времен до второй половины

XIX в. Текст в 148 листов датирован 1920 г., но нет сомнения, что в его основе лежит материал, подготовленный значительно раньше⁵⁷. С чешскими учеными он был в контакте. В 1947 г. Петухов вспоминал о своей поездке в Прагу в 1889 г., когда установил «научные и дружественные» отношения с пражской интеллигенцией. В 1895 г. он вновь побывал в Чехии, посещал эту страну и позднее. Состоял он в переписке и со словацким поэтом и национальным деятелем Светозаром Гурбаном-Ваянским, письма которого сохранились в архиве русского ученого (ИРЛИ. Ф. 669. № 267).

Во время заграничной командировки 1897 г. Е. В. Петухов, как уже упомянуто, посетил Лужицы. По возвращении в Россию он напечатал содержательный очерк «Лужицкие сербы»⁵⁹. Сам автор считал, что его очерк носит «этнографический и туристический характер»⁶⁰.

Однако это была не просто фиксация впечатлений от путешествия. Очерк представляет собой определенный вклад в очень немногочисленную русскую литературу того времени о лужицких сербах, в рамках которой он занял почетное — если не сказать уникальное для своего времени — место. Лужицкие сербы были известны в России лишь узкому кругу славистов, которые, проезжая из России через Германию в другие страны и возвращаясь из них в Россию, иногда заглядывали и в район Восточной Саксонии, где обитали в небольшом числе потомки полабско-балтийских славян. Сохранив своеобразный славянский язык и некоторые архаические особенности славянского быта, лужицкие сербы вызвали интерес отдельных славистов. Но прочая образованная публика России о них мало что знала⁶¹.

Заметим, что в основном очерк Петухова написан на основании существовавшей тогда литературы (не только русской, но и иностранной). Однако в нем много также и самостоятельных наблюдений и оценок. Прежде всего Петухов указал в своей работе на территорию расселения лужицких сербов, на факт разделения Лужиц на «Верхние» и «Нижние», на численность серболужицкого населения — 170 тыс. человек, на конфессиональные различия внутри него: все, за исключением 10 тысяч лужицких сербов Верхней Лужицы, относились к протестантскому вероисповеданию. Автор перечисляет города и деревни, где живут сербы-лужичане, а центром «теперешней серболужицкой интеллигенции и литературной жизни» называет Будишин. Затем Петухов излагает нелегкую историю народа, территория расселения которого начиная со средних веков переходила от одного владельца к другому, а после Тридцатилетней войны была разделена между Саксонией и Пруссией (с некоторыми изменениями по решению Венского конгресса 1815 г.).

Как отмечает Петухов, получивши христианство не от самих славянских первоучителей (хотя есть предание, что Кирилл-Константин

сам приходил в окрестности Сгорельца [Герлица]), а через поляков и чехов, и находясь в IX в. в связях с Великоморавской державой, лужицкие сербы еще в XIII в. сохраняли народный язык в богослужении и в суде. Однако этот тезис не находит подтверждения ни в чем, кроме позиции славянофильской русской литературы, которая основывала свою концепцию истории славян в частности на постулате единой христианской православной религии для всех славян. Е. В. Петухов определенно не был славянофильствующим ученым, он просто заимствовал вышеприведенное утверждение из соответствующей русской литературы. Сам факт занесения к лужицким сербам христианства славянскими апостолами едва ли мог иметь место. Изучение истории Великой Моравии в новейшее время показывает, что и после миссии Константина и Мефодия страна была в значительной мере языческой (что, разумеется, все же не исключает культурной деятельности славянской церкви Великой Моравии и ее значения для распространения славянской письменности и языка богослужения среди южных и восточных славян).

Затем Петухов характеризует в своем очерке старейшие памятники серболужицкого языка (от XVI в.), а также деятельность по разработке орфографии серболужицкого языка и созданию церковно-поучительных книг Михаилом Бранцелем (Френцелем) и его сыном Авраамом в XVII в. К периоду после Семилетней войны, как повествует далее Петухов, относятся первые труды ученого характера, в которых вопрос о сохранении серболужицкого языка и об изучении серболужицкого народного творчества поставлен на серьезную и сознательную почву. Такой поворот Петухов объясняет общим влиянием пробудившегося во второй половине XVIII в. теоретического интереса к народности. Это заключение Петухова также отличается от соображений некоторых русских славистов, объяснявших подобные явления зарождением славянского национального самосознания и ссылавшихся на труды К. Г. фон Антона, хотя работы последнего о славянах писались то на немецком языке, то по-латыни, а сам фон Антон был немцем.

Далее Петухов констатирует, что в XIX в. возрастает интерес к серболужицкой народности и появляются литературные и общественные деятели в среде самих лужицких сербов. Стимулов этого процесса Петухов не называет. Самыми замечательными представителями новейшего серболужицкого возрождения автор статьи считает Яна Эрнеста Смолера и Михаила Горника, которые «с необыкновенной энергией» работали в продолжение всей своей жизни над собиранием и изданием памятников народной серболужицкой жизни и быта, ревностно изучали историю и современное положение своего народа, основывали литературные общества и руководили ими «в народном духе», написали много научных и популярных

книг и принимали деятельное участие в серболужицкой журналистике, о чем и сообщает автор очерка. Затем Петухов перечисляет также других серболужицких деятелей и констатирует, что эти патриоты находили себе сочувствие и деятельную поддержку у представителей других славянских народностей.

Остановившись и на прочих вопросах серболужицкой национальной жизни, уже освещавшихся в литературе, Петухов излагает далее результаты своих наблюдений. Он считает, что в Нижней Лужице жители сохранили много исконно славянских черт в формах своего бытия, и описывает жизнь в Шпреевальде, где население занимается огородничеством. Садоводство на илистой и влажной почве — явление редкое, хлеб также сеется нечасто; важной основой хозяйства являются луга — лужицкие сербы разводят овец, а наряду с этим занимаются рыболовством. Основным средством передвижения в Шпреевальде была, по словам Петухова, продолговатая плоскодонная лодка. Ввиду обилия воды большая часть домов — деревянные и на сваях, тщательно и весьма искусно укрепляемых. Затем ученый приводит этнографические сведения об обычаях и суевериях (с. 12—15), о музыкальной народной культуре (с. 15—17), о природе и быте (с. 8—12). Отмечено, что Нижняя Лужица представляет особый интерес по остаткам чисто славянской народности в простых сельских формах ее жизни, мало тронутых городской цивилизацией. Верхняя же (а именно Саксония) привлекательна существованием в ней центра умственной жизни сербов-лужичан в г. Будишин: описывается Будишин, его местоположение, смешанное население, составляющее 25 тыс. человек, которые говорят на двух языках.

Ныне эти сведения представляются чрезвычайно любопытными, так как спустя сто лет население Будишина увеличилось раз в десять, а на серболужицком языке говорят разве только сотрудники Серболужицкого института и общественной организации «Домовина». Во всяком случае, автору этих строк во время многократных посещений Будишина начиная с 60-х гг. XX в. не приходилось слышать, чтобы в народе и в городе кто-нибудь говорил на серболужицком языке, кроме сотрудников указанных учреждений.

Что касается Е. В. Петухова, то он затем рассказывает о Сербской Матице, серболужицких проповеднических обществах, Будишинской гимназии, литературном обществе «Сербовка». Далее говорится об изданиях Матицы, приводятся цифры, касающиеся этих изданий за 50 лет, и отмечается, что Я. Э. Смолер собирал в России средства для работы Матицы и других серболужицких культурных учреждений⁶².

Многие факты из истории лужицких сербов, из их борьбы за свой язык и свою народность были известны и до поездки Петухова

в Лужицу. Более того, он и сам упоминает некоторых русских ученых, внесших существенный вклад в изучение прошлого и современности малого народа. Однако несмотря на повторение некоторых сведений очерк отличается трезвым взглядом на будущее национальное существование лужицких сербов. Автору оно не представлялось в позитивных красках, но работа имеет ценность как по фактическому материалу, так и благодаря выраженной в ней справедливой мысли, что сербам-лужичанам предстоит неизбежная германизация.

К серболужицкой теме Петухов обращался и в своих университетских лекциях, озаглавленных «Введение в славяноведение, историко-статистическое обозрение южного и западного славянства с древнейших времен до начала мировой войны 1914 года»⁶³. Вероятно, и эти лекции читались в Юрьевском университете, однако в архиве, где хранится их рукопись, указан год 1920-й.

Характеризуя в этих лекциях славян в целом, автор упоминает об исчезнувшем полабском славянстве и констатирует, что вымирание его «явилось результатом натиска со стороны более сильных народностей — норманнов, датчан, немцев, и это вымирание наблюдается и в наши дни: незначительная по численности серболужицкая народность погибает под натиском германизации» (Л. 5). Петухов считает, что к концу 1906 г. количество сербов-лужичан составляло 157 тыс. человек.

В лекциях студентам сообщалось также, что лужицкие сербы (лужичане) представляют собой остаток некогда существовавшего полабского (т. е. жившего на Лаббе — Эльбе) славянства, подобно тому как «тоже небольшой народец кашубы» является остатком славянства приморского. И далее: «В настоящее время лужицкие сербы (имя «сербов» есть общее — в противоположность частному имени сербов южной ветви славянства — и равнозначно имени «славян», а лужицкими они называются от имени Лужицы, указывающем на озерный характер обитаемой ими местности) живут в пределах бывшей Германской империи, а именно: одна часть их, большая, так наз. нижние лужичане, по нижнему течению Спревы-Шпрее, живут в Пруссии, в округе Бранденбургском, а другая — верхние лужичане — в Саксонии, по верхнему течению реки Спревы; немцы называли их венедами» — так информирует профессор своих студентов⁶⁴. И далее: «В настоящее время это — самая маленькая отрасль славянства, несомненно, вымирающая с каждым годом и под натиском окружающего ее со всех сторон германского мира с его мировой культурой».

Далее Петухов приводит цифры, показывающие уменьшение числа лужицких сербов. Указано, что, несмотря на их малое число, лужицкие сербы не представляют собой единства даже в языке: он

разделен на два наречия — нижнелужицкое и верхнелужицкое, это разделение настолько явственно, что простой народ из того и другого края иногда не понимает друг друга (Л. 82). Петухов полагает, что так и не происшедшее объединение языков свидетельствует о «присушей славянам тенденции к разъединению». Лужицкие сербы подобно словинцам и словакам не смогли в прошлом «создать себе политической самостоятельности». Далее в лекциях говорится о борьбе балтийских славян с датчанами, а с X в. — лужицких сербов с немецкой колонизацией; о том, что в XII—XIV вв. лужицкие сербы подчинялись то польским, то чешским князьям, а по Пражскому миру 1635 г. оказались во владениях маркграфов Бранденбургских (именно сербы нижнелужицкие). Разумеется, чешское и немецкое владычество «было не одно и то же», но и то, и другое представляло собой политическое подчинение, лишавшее лужичан свободы жить своей культурной жизнью. Отмечено, что с 1635 г. верхнелужицкие сербы стали политически принадлежать Саксонии. Таким образом, попав в круг немецкого влияния, они пошли по пути «национального уничтожения», не будучи в состоянии, «как маленький славянский островок», бороться с окружающим его «немецким морем». Тем не менее, констатирует лектор, имели место стремления сохранить свою народность. Но они только замедляли и до известной степени смягчали неизбежный процесс национального уничтожения. И далее в курсе лекций излагается ход борьбы народа за сохранение национального языка. Говорится о развитии литературы, создании словаря, о серболужицкой семинарии в Чехии, о попытке основать в начале XIX в. журнал на серболужицком языке. Затем рассказывается о характере борьбы лужицких сербов за национальное существование в XIX в. и называется ряд имен и мероприятий в их жизни, о которых автор говорил и в своем очерке и которые хорошо известны по литературе. Подводя итоги своему изложению, профессор выражает мысль, что все усилия лужицких сербов не могли прочно поставить на ноги национальное дело лужичан; что главным препятствием этому являются малочисленность народа, условия его политической жизни, германизирующая роль школы и оттого крайняя малочисленность интеллигентных сил; воспитание и обучение молодежи в немецкой школе невольно втягивают ее в круг немецких интересов и затем отрывают навсегда от своего народа. Конечно, в серболужицкой печати «звучат еще иногда нотки патриотического энтузиазма, порывов и стремлений к лучшему национальному будущему», но неизменный исторический закон «руководит ходом неизбежных событий». Сербы-лужичане вовлекаются в область человеческих идей и интересов; любовь к народности становится «чем-то интимным или почти музейным», и таким образом, «жизнь берет свое» (Л. 86).

Еще раз Е. В. Петухов обратился к сюжету о лужицких сербах на склоне жизни, в 1947 г. В докладе о своей научной деятельности⁶⁵ он вспоминал о своей поездке в Лужицу, когда тамошние сербы теряли «последние остатки своего национального существования». Племя, тогда умиравшее, но еще сохранявшее не только свои этнографические признаки, но и остатки своего интереса и симпатии к России, «может быть, теперь уже окончательно вымерло». Очевидно, профессор Петухов не имел информации о том, что лужицкие сербы выжили, а после Второй мировой войны наступил небывалый ранее расцвет их национальной культуры. Но, как известно, с 90-х гг. XX в. вновь начался период упадка, и похоже, что все же сбудется предположение о том, что лужицкие сербы превратятся в «народ музейный». По последним данным в Германии ныне насчитывается их уже всего 60 тысяч, и все они двуязычные.

К числу этнографических описаний славянства относится еще статья Е. В. Петухова «По берегам Адриатики», помещенная в газете «Рижский вестник» в 1898 г.⁶⁶ Кроме того, к славистическим работам Петухова относятся и те, которые он написал об отдельных славистах. В «Биографическом словаре Императорского Юрьевского университета» имеется несколько таких заметок, но наиболее интересна из них характеристика творчества А. А. Котляревского. Этот ученый занимал славистическую кафедру в Дерптском университете в 60-х—начале 70-х гг. XIX в., т. е. за 80 лет до проф. Е. В. Петухова. Последний не ограничился словарной статьей о Котляревском⁶⁷ — еще до издания словаря он посвятил ему специальную статью⁶⁸. В библиотеке Нежинского историко-филологического института Петухов обнаружил рукопись студенческой работы Котляревского на тему «Опыт характеристики народа по памятникам народной словесности». Петухов предположил, что эта работа написана по инициативе проф. О. М. Бодянского, у которого Котляревский проходил в Московском университете курс славяноведения. Весьма любопытной представляется характеристика мотивов Котляревского, которые, по мнению автора статьи, стали руководством для занятий студента избранной темой: «Его занимала история, а в истории на первом плане он видел народ с его верованиями, думами и обычаями. Как уроженец Малороссии, даровитый студент взял для сочинения своему профессору — малороссу же — такую тему, в которой его рано пробудившееся сочувствие к этнографическому элементу в истории нашло себе приложение в сфере интересов, близких не только его уму, но и сердцу; исторические судьбы — малорусского народа, его письменная и устная словесность, его современное состояние были предметом постоянного внимания А. А. Котляревского, который... являлся... одним из лучших знатоков южнорусской народной словесности и сочувственно следил за

разработкой ее». Изложив далее содержание работы А. А. Котляревского и указав на литературу, которую использовал последний, Петухов резюмирует: «Несмотря на компилятивность студенческой работы Котляревского, она указывает на серьезность занятий любимым предметом уже на 2-м курсе, а приведенные примеры могут служить свидетельством того, что живость изложения, сделавшаяся впоследствии одной из отличительных особенностей ученых работ Котляревского, проявляется уже и в его студенческом опыте, обличая талант, много способствовавший позднее влиянию Котляревского на своих слушателей и читателей и в живом слове, и в печатных произведениях»⁷⁰.

В отзыве на издание первого тома сочинений Котляревского⁷¹ Петухов оценивает его уже как зрелого исследователя. Он в общих чертах характеризует Котляревского как ученого-критика. Автор статьи отмечает: «С особой строгостью относился Котляревский к тем сочинениям, которые обнаруживают недостаточную полноту сведений их авторов по данному вопросу и несовременность, отсталость методов научного исследования; мистицизм и туманность в научных работах, пристрастная точка зрения на предмет, партийность в суждениях и взглядах, скороспелость и преждевременность выводов — находят в критике судью сурового и очень часто резкого. Вообще струя живого отношения к делу науки и научным вопросам очень ярко сквозит в рецензиях Котляревского и придает им особый интерес даже в настоящее время».

На наш взгляд, Петухов дал исчерпывающую характеристику творчеству Котляревского, характеристику объективную, с которой нельзя не согласиться. Кроме того, Петухов отмечает, что лучшим путем для достижения удовлетворительных результатов в исследовании старины Котляревский считал сравнительно-исторический метод. По мнению рецензента, это иногда доводило критика Котляревского «до таких странностей, как отрицание эстетики». Обратив внимание на симпатии Котляревского к западной науке и цивилизации, рецензент первого тома его сочинений отмечает, что они видны у него почти на каждой странице, и прямым выводом из этих симпатий являются отрицательное отношение его к мнениям славянофильского кружка и самостоятельные суждения.

Вообще же в отношении понятий и взглядов литературно-общественных и научных Котляревский представляется, по оценке Петухова, личностью вполне ясно очерченной и определенной, которой никто не откажет в убежденности и солидной научной подготовке. Библиографические познания «составили Котляревскому специальную известность — превосходного, образцового библиографа».

Следует заметить, что характеристика Петуховым особенностей творчества и мировоззрения крупнейшего русского слависта

А. А. Котляревского вполне согласуется с теми представлениями, которые возникли при изучении творчества этого ученого в целом. Е. В. Петухов глубоко понимал значение Котляревского в истории славяноведения и по праву высоко оценил его вклад в науку.

На славистические темы Петухов писал также рецензии и заметки о трудах своих коллег, в том числе и зарубежных ученых. Он обладал высокой славистической эрудицией, великолепно владел чешским, немецким и французским языками, знал и английский. Словом, юрьевский профессор принадлежал к первоклассным русским ученым, создавшим ряд важнейших трудов — преимущественно по русской литературе; но и славистические его работы представляют собой весомый вклад в разработку истории и культуры славян.

Творчество юрьевского профессора было по достоинству оценено современной ему научной общественностью: в 1916 г. он был избран членом-корреспондентом Академии наук по ОРЯС⁷² и в том же году утвержден в звании заслуженного профессора⁷³.

В связи с Первой мировой войной встал вопрос о переводе Юрьевского университета в центральную Россию. 5 октября 1917 г. декан историко-филологического факультета Е. В. Петухов был командирован в Петроград для обсуждения вопроса об организации в г. Воронеже «Отделения Юрьевского университета»⁷⁴. Весной весь личный состав Юрьевского университета был переведен в штат Воронежского университета⁷⁵. Так закончился юрьевский период жизни профессора Е. В. Петухова, когда он написал свои главные сочинения, внеся большой вклад в изучение русской литературы, в ее пропаганду, в распространение русского языка в Прибалтике. Воспитал он и ряд учеников, ставших в свою очередь профессорами высших школ. Это — Л. К. Ильинский, Н. К. Пиксанов, А. М. Путинцев, В. З. Кунцевич⁷⁶. Как ученый, Петухов принадлежал к числу тех исследователей, которые за основу своих выводов брали источник (документ или памятник письменности), подвергали его анализу сравнительно-историческим методом, учитывали достижения предшественников в изучении вопроса и стремились к объективному, беспристрастному освещению проблем. В мировоззренческом отношении Е. В. Петухов был человеком либеральным, но лояльным к властям, как и большинство профессоров; существующего режима он открыто никогда не осуждал. Правительство доверяло ему высокие должности в университете и вообще в сфере образования в России.

После революции все существование Петухова резко изменилось. В Воронеже жизнь его не сложилась. 11 мая 1919 г. в письме к А. И. Соболевскому из Воронежа Петухов пишет о тяжелом квартирном, продовольственном и топливном положении, о том, что в университете занятия идут, но сам он даже не знает, что следует

преподавать слушателям, а будут ли они еще и в следующем году, сказать трудно. Сообщает он также об отъезде профессоров, о размещении должностей в университете, о смерти многих, о том, что все заняты лишь добыванием хлеба насущного, а научная жизнь почти совсем замерла⁷⁷. О том, как тяжело ему жилось в Воронеже, Петухов писал Соболевскому и через несколько лет после переезда в Крым, что произошло в конце того же 1919 или в самом начале 1920 г. 5 декабря 1922 г. он сообщал: «Получил из Воронежа корзинку с некоторыми моими бумагами, уцелевшими от разгрома — ведь меня лишили начисто в Воронеже всех моих вещей — одежды, белья и проч.... Удивительно, как я еще остался жив»⁷⁸.

1 октября 1919 г. Е. В. Петухов был избран профессором Таврического университета, где стал преподавать славянскую филологию и русскую литературу. В 1925 г. Таврический университет был преобразован в Крымский педагогический институт. Здесь Петухов занимал некоторые академические должности, а также преподавал на Симферопольском рабфаке, в драматической студии и других местах. Институт отметил 40-летие его научной деятельности статьей в своих «Известиях», различные учреждения и лица прислали поздравительные письма и адреса⁷⁹, а Совнарком РСФСР назначил ему персональную пенсию в размере 150 рублей. В качестве профессора Е. В. Петухов читал лекции по славяноведению. Его вступительная лекция в Таврическом университете Симферополя, прочитанная 24 января 1920 г., называлась «Об изучении славянства в России». В дальнейшем он читал лекции по славянским литературам, однако публикаций на эту тему не обнаружено. Вообще Петухов в советское время свернул свою научную деятельность, хотя работал и в архивах, а с 1 января 1933 г. по май 1937 г. служил старшим научным сотрудником Крымского Центрального Архивного управления. Там он отыскал письма А. Н. Карамзина 1847—1848 гг. и опубликовал их как материалы по истории французской революции 1848 г.⁸¹, сопроводив их вступительной статьей. Весьма скрупулезно обследовал Петухов также материалы, связанные с пребыванием в Крыму русских писателей⁸².

Профессором по кафедре русской литературы Петухов работал в Симферополе до начала Великой Отечественной войны. О периоде 1941—1944 г. он писал уже после окончания войны: «Не имея возможности отправиться в эвакуацию на Кавказ по преклонному возрасту и по болезни и полной слепоте жены, жил в Симферополе во время оккупации Крыма, работая по своей специальности (русская литература) в городской управе (секция литература и литературно-художественного радиовещания). С возвращением Советской власти в Крым снова стал работать в Крымском пединституте профессором русской литературы и заведующим кафедрой литературы»⁸³.

Профессор Е. В. Петухов закончил свой земной путь ровно через год после написанных (или продиктованных?) слов — 2 ноября 1948 г., оставив потомству более 90 печатных работ, среди которых имеются и многотомные издания по русской литературе и истории высшего образования в России. Надо надеяться, что нынешнее поколение воздаст должное трудам этого талантливого русского ученого.

ПРИМЕЧАНИЯ

- ¹ См., напр.: *Ашин Ф. Д. Алатов В. М.* «Дело славистов». 30-е годы. М., 1994.
- ² *Лукьяненко А. М.* Очерк научной и педагогической деятельности проф. Е. В. Петухова к моменту ее сорокалетия (1887–1927) // *Известия Крымского Педагогического института им. М. В. Фрунзе*. Симферополь, 1927. Кн. 1. С. 145–147.
- ³ См.: Историко-филологический институт князя Безбородко в Нежине. 1875–1900. Нежин, 1900. С. 51–53; Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского Петербургского университета. 1869–1894. СПб., 1808. Т. 1. С. 142–144; Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского Юрьевского университета за 100 лет его существования. 1808–1902. Юрьев, 1903. С. 363–364; Словарь членов Общества Любителей Российской Словесности при Московском университете. 1911. С. 237–239; Императорское Московское Археологическое общество в первое 50-летие его существования (1864–1914). М., 1915. Т. 2. С. 296.
- ⁴ Краткая литературная энциклопедия. М., 1968. Т. 5. С. 732–733.
- ⁵ Славяноведение в дореволюционной России. Библиографический словарь. М., 1979. С. 270.
- ⁶ Биография Е. В. Петухова освещается в настоящей статье преимущественно по архивным данным, так как основная литература о нем относится к дореволюционному периоду и, естественно, содержит сведения о его жизни до 1917 г., а статьи, опубликованные в советское время, основаны на этой же литературе (за некоторыми исключениями).
- ⁷ ИРЛИ. Ф. 669 (Е. В. Петухов). № 1. Л. 154. Послужной список Е. В. Петухова, датированный 4 марта 1918 г., Юрьев.
- ⁸ Сборник Отделения Русского языка и Словесности РАН. Т. XL. 1886. Второе издание этой работы помещено в издании А. М. Пономарева «Памятники древнерусской церковно-учительной литературы». 1897. Вып. 3.
- ⁹ Сборник ОРЯС. Т. 42. 1887.
- ¹⁰ Указанный послужной список 1918 г.
- ¹¹ [Без автора. Реп. на кн.:] Серапион Владимирский, русский проповедник XIII века. Исследование с прибавлением «Поучений Серапиона Владимирского» по древнейшим их спискам Евгения Петухова. СПб., 1888 // *Вестник Европы*. 1888. Кн. 9. С. 103–105.
- ¹² Серапион епископ Владимирский, русский проповедник XIII века / Исследование Е. Петухова. С прибавлением его [Серапиона] «Поучений» по древнейшим спискам. [Рецензия без указания имени автора] // *Славянский вестник*. Казань, 1889. Кн. 3. С. 140.
- ¹³ Некоторые даты, приведенные в биографических статьях о Е. В. Петухове, а также в упомянутом послужном списке 1918 г., не совпадают между собой. Это объясняется

тем, что в послужной список вносилась дата утверждения приказа или представления, тогда как дата их написания проставлялась раньше. Например, между датой защиты диссертации и утверждением результата диспута прошло около полугода.

- ¹⁴ Указанный послужной список 1918 г. — таково официальное название кафедры. В литературе же она часто именуется «кафедра русской словесности», «кафедра русского языка и словесности» и т. п.
- ¹⁵ Текст см.: РГАЛИ. Ф. 449 (Соболевские). Оп. 1. Д. 34. Л. 99а.
- ¹⁶ ИРЛИ. Ф. 669 (Е. В. Петухов). № 154. Л. 24 об. Трудовой список Е. В. Петухова, 1938 г.
- ¹⁷ Послужной список 1918 г.
- ¹⁸ См.: Императорское Московское Археологическое общество в первое 50-летие его существования (1864—1914). М., 1915. Т. 2. С. 296.
- ¹⁹ *Петухов Е. В. О некоторых литературных фактах, связанных с именем Успенского Псково-Печерского монастыря в XVI—XVIII ст. // Труды X Археологического съезда в Риге (1896). 3 т. Рига, 1899—1900. Словарь членов Общества Любителей Российской словесности при Московском университете. М., 1911. С. 237—239.*
- ²⁰ Послужной список 1918 г.
- ²¹ См. об этом: *Клейменова Р. Н. Общество любителей российской словесности (1811—1931). М., 2002. С. 370.*
- ²² Послужной список 1918 г.
- ²³ *Петухов Е. В. Русская литература. Исторический обзор главнейших литературных явлений древнего и нового периода. Т. 1. Древний период. Юрьев, 1911 (3-е изд. — Пг., 1916); Новый период. Юрьев, 1914.*
- ²⁴ РГАЛИ. Ф. 449 (Соболевские). Оп. 1. Д. 34. Л. 99а.
- ²⁵ Там же. Документ именуется: «Дело: Библиографические и биографические сведения о кандидатах в действительные члены Академии наук с приложением предварительного письма к ним от 29 сентября 1928 г.». На Л. 99а содержится характеристика Е. В. Петухова.
- ²⁶ Исторический Вестник. 1889. № 7. С. 213—215.
- ²⁷ *Петухов Е. В. Несколько новых данных из научной и литературной деятельности А. Х. Востокова // ЖМНП. Ч. ССLXVIII. 1890. № 3. С. 56—118.*
- ²⁸ Там же. С. 105.
- ²⁹ Там же. С. 118.
- ³⁰ *Петухов Е. В. Материалы для биографии М. И. Сухомлинова // Известия ОРЯС 1911. Т. 16. Кн. 3. С. 182—247 (отд. оттиск).*
- ³¹ Там же. С. 5.
- ³² Там же. С. 14.
- ³³ Там же. С. 22—26.
- ³⁴ Там же. С. 37—38.
- ³⁵ Там же. С. 36.
- ³⁶ *Петухов Е. В. Из бумаг П. И. Шафарика и В. В. Ганки. К истории русско-чешских ученых и литературных сношений в первой половине XIX века. Юрьев, 1896.*
- ³⁷ Там же. С. 11.
- ³⁸ Там же. С. 18—21.
- ³⁹ *Петухов Е. В. Кафедра русского языка и словесности в Юрьевском (Дерптском) университете. Юрьев, 1900. 31 стр.*

- ⁴¹ Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского Юрьевского бывшего Дерптского университета за 100 лет его существования (1802–1902). Юрьев, 1903.
- ⁴² Петухов Е. В. Латино-шведский университет в Дерпте и Пернове в XVII и начале XVIII века // ЖМНП. Ч. CCCXXXV. 1901. № 5. С. 120–149.
- ⁴³ Петухов Е. В. Императорский Юрьевский, бывший Дерптский, университет за сто лет его существования (1802–1902). Т. 1. Первый и второй периоды (1802–1865). Исторический очерк. Юрьев, 1902 (620 стр.); *Он же*. Императорский Юрьевский, бывший Дерптский, университет в последний период своего столетнего существования (1865–1902). Исторический очерк. СПб., 1906. 211 стр.
- ⁴⁴ РГАЛИ. Ф. 449 (Соболевские). Оп. 1. Д. 34. Л. 99а.
- ⁴⁵ Петухов Е. Гимназия высших наук князя Безбородко. СПб., 1895.
- ⁴⁶ Петухов Е. В. Заметки о некоторых рукописях, хранящихся в библиотеке Историко-филологического института кн. Безбородко. Киев, 1895. 56 стр.
- ⁴⁷ ИРЛИ. Ф. 669. № 230. — Текст доклада о научной деятельности Е. В. Петухова (1947 г.).
- ⁴⁸ О понятии «Синодик» см.: Петухов Е. В. Очерки из литературной истории Синодика. СПб., 1895. С. IV.
- ⁴⁹ Там же. С. 51–53.
- ⁵⁰ Петухов Е. В. Болгарские литературные деятели древней эпохи на русской почве // ЖМНП. 1893. № 4. С. 298–322.
- ⁵¹ Там же. С. 298.
- ⁵² Там же. С. 300–310.
- ⁵³ Там же. С. 313–317.
- ⁵⁴ Там же. С. 318–320.
- ⁵⁵ ИРЛИ. Ф. 669 (Е. В. Петухов). № 12.
- ⁵⁶ Там же. № 36: Петухов Е. В. Заметки о славянских и русских рукописях библиотеки Юрьевского университета (1907, 32 листа).
- ⁵⁷ Там же. № 10: Петухов Е. В. Чешская литература до второй половины XIX в. Лекции. 148 листов. 1920 г.
- ⁵⁸ Там же. № 230: Текст доклада о научной деятельности Е. В. Петухова (1947 г.).
- ⁵⁹ Петухов Е. В. Лужицкие сербы (лужичане). Из путевых заметок летом 1897 г. Юрьев, 1898. 26 стр.
- ⁶⁰ ИРЛИ. Ф. 669. № 230. Текст доклада о научной деятельности Е. В. Петухова (1947 г.).
- ⁶¹ Сведения об изучении в России лужицких сербов см. в кн.: Лаптева Л. П. Русско-серболужицкие научные и культурные связи с начала XIX в. до Первой мировой войны (1914 года). М., 2000. Кроме того, краткие сведения о Е. В. Петухове как исследователе лужицких сербов имеются в кн.: Лаптева Л. П. Российская сорабистика XIX–XX веков в очерках жизни и творчества ее представителей: Справочник. М., 1997. С. 63–64.
- ⁶² Подробно о пребывании Я. А. (Я. Э.) Смолера в России см.: Лаптева Л. П. Русско-серболужицкие научные и культурные связи (по указателю).
- ⁶³ ИРЛИ. Ф. 69. № 11. Лекции 1920 г. (135 листов). Здесь — Л. 81–86.
- ⁶⁴ Там же. Л. 81.
- ⁶⁵ ИРЛИ. Ф. 669 (Е. В. Петухов). № 230.
- ⁶⁶ Петухов Е. В. По берегам Адриатики. I. Приморская Хорватия и Далмация. II. Черногория. Путевые впечатления // Рижский вестник. 1898. № 98, 100, 103, 105, 106, 110, 113, 115, 116, 119.

- ⁶⁷ *Петухов Е. В.* А. А. Котляревский // Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского Юрьевского, бывшего Дерптского, университета за 100 лет его существования (1802–1902). Юрьев, 1903. С. 357–358.
- ⁶⁸ *Петухов Е. В.* К биографии А. А. Котляревского // Киевская старина. 1894. № 4. С. 165–169.
- ⁶⁹ Там же. С. 165–166.
- ⁷⁰ Там же. С. 179.
- ⁷¹ *Е. П.* [Петухов Е. В.] [Рец. на кн.:] Сочинения А. А. Котляревского. Т. 1. СПб., 1881 // Исторический Вестник. 1899. Июль. Разд. Критика и библиография. С. 182–185.
- ⁷² ИРЛИ. Ф. 669 (Е. В. Петухов). № 157. — Диплом об избрании Е. В. Петухова членом-корреспондентом Академии наук по ОРЯС. 5 декабря 1916 г.
- ⁷³ ИРЛИ. Ф. 669. № 154 Послужной список 1918 г.
- ⁷⁴ Там же. Л. 24 об: Трудовой список Е. В. Петухова, 1938 г.
- ⁷⁵ РГАЛИ Ф. 449 (Соболевские) Оп. 1. Д. 34. Л. 99а.
- ⁷⁶ Там же.
- ⁷⁷ РГАЛИ. Ф. 449 (Соболевские). Оп. 1. Д. 295. — Письма Е. В. Петухова А. И. Соболевскому.
- ⁷⁸ Там же.
- ⁷⁹ ИРЛИ. Ф. 669 (Е. В. Петухов). № 161–188: Поздравительные письма и адреса в связи с 40-летием научной деятельности Е. В. Петухова (1927 г.)
- ⁸⁰ Там же. № 9; *Петухов Е. В.* Об изучении славянства в России. 43 листа. Рукопись. 1920 г.
- ⁸¹ Письма А. Н. Карамзина 1847–1848 гг. Материалы по истории французской революции 1848 г. По документам Крымского центрального архивного управления / Вступительная статья Е. Петухова. М.: Л., 1965.
- ⁸² *Петухов Е. В.* Крым и русская литература (историко-литературный обзор) // Известия Крымского педагогического института им. М. В. Фрунзе. Симферополь, 1927. Кн. 1. С. 48–68.
- ⁸³ ИРЛИ. Ф. 669 (Е. В. Петухов). № 154. Л. 44. Датировано: ноябрь 1947 г.

К истории Виленского Музея древностей

В 2005 г. исполняется 150 лет со дня основания Музея древностей в Вильне. Его история, а также история его коллекций после расформирования музея представляют интерес во многих отношениях. Восстановлению некоторых фрагментов этой истории посвящена данная статья¹.

Музей древностей и Археологическая комиссия в Вильно были учреждены в 1855 г. Как и многие другие известные музеи XIX в., возникшие благодаря инициативе частных лиц, Виленский музей древностей был основан стараниями ученого-самоучки, польско-литовского аристократа графа Евстахия Тышкевича, посвятившего свои знания и состояние на изучение истории края и создание общедоступного публичного музея. Однако музей этот имел совершенно особый характер и направленность. Это был один из первых региональных публичных музеев на территории Российской империи, коллекции которого были сформированы таким образом, что в совокупности представляли цельную картину национальной истории народа, населявшего эту часть империи. В его основу легла конкретная идея преемственности и общности культурных и исторических традиций, связывающих «западные земли» Российской империи с Великим княжеством Литовским и Речью Посполитой. В результате смены политической конъюнктуры эта идея в дальнейшем претерпела значительные изменения вплоть до полного отрицания каких-либо традиций и влияний, кроме сугубо российских.

Е. Тышкевич (1814—1873), член многочисленных ученых обществ, институтов и академий, на протяжении многих лет занимался изучением истории края, проводил археологические изыскания, писал труды по истории Великого княжества Литовского. Собранные архивные документы, памятники истории, произведения искусства и старины граф Тышкевич демонстрировал в своем доме в Вильно². С 1848 г. он предпринимает попытки по изменению статуса своей частной коллекции и передаче ее в общественное пользование. Им был разработан проект устава «Провинциального музея в г. Вильно», представленный в 1851 г. в канцелярию виленского генерал-губернатора, в котором указывалась главная цель будущего публичного музея, а именно: «собрание всего, что только заключают в себе губернии: Виленская, Гродненская, Минская и Ковенская в отношении естественной истории и древностей»³. В другом подготовительном документе Тышкевич подробно обосновывал необходимость

создания подобного Музея в виленском учебном округе тем, что при отсутствии университета (закрытого после восстания 1830–1831 гг.) именно музей мог бы стать столь необходимым обществу центром научной и культурной жизни, способствовать просвещению края. В связи с некоторым ослаблением с начала 50-х гг. XIX в. репрессивных мер русского правительства в отношении бывших польских провинций, в частности в области просвещения, Тышкевич в своем «Положении об устройстве Музея при Виленском учебном округе» высказывался о необходимости открытия минералогического и зоологического кабинетов в помощь учебным заведениям округа, которые в свою очередь «могут быть помещены в Музее, заключающем в себе Гимназическую библиотеку, собрание медалей и монет, портреты, бюсты и прочее остающееся в залах упраздненного Виленского университета, портящееся от времени без должного попечения. Все это предполагается соединить вместе с приношениями частных лиц в одно — музей в г. Вильне, который принесет желанную пользу, будучи доступен для каждого учебного заведения Виленского учебного округа»⁴. Спустя годы, уже после «преобразования», произведенного по распоряжению Главного Начальника края М. Н. Муравьева, Тышкевич открыто обозначил цели своей былой деятельности по созданию Археологической комиссии и Музея древностей в Вильне: «Собрать воедино все ученое в Вильно, образовать научное общество, создать музей и библиотеку как вспомогательные источники для работающих, открыть публичную читальню, заняться изданием полезных книг и объединить в одном большом целом рассеянные в силу разных событий отдельные индивидуальности, представляющие местную интеллигенцию, стало целью моей жизни...»⁵. Старания Тышкевича увенчались успехом — в апреле 1855 г. было высочайше утверждено «Положение о Музее Древностей и Временной Археологической Комиссии в Вильне», а в январе следующего 1856 г. музей был открыт для публики.

Залы музея разместились в здании бывшего Виленского университета и сосредоточили в себе более 13000 тысяч экспонатов, иллюстрировавших ход истории и развитие культуры на землях Великого княжества Литовского. Музей складывался из нескольких исторических и археологических отделений, естественнонаучного отдела, отдела «достопримечательностей, оставшихся от великих людей», отдела изящных искусств. В первом издании путеводителя по Вильно «Прогулки по Вильно и его окрестностям» А. Киркора в «Прогулке», посвященной музею, приводится подробное описание состава его коллекции. Автор перечисляет по порядку отдел «предметов, найденных в курганах и вообще в земле, по родам их», в котором были представлены местные памятники истории дохристианской эпохи; мифологический отдел, содержащий сакральные памятники

местной археологии и связанные с языческими культами древних литовцев; отдел скандинавской археологии с предметами, найденными Тышкевичем во время путешествия по Швеции; отдел предметов христианской эпохи; отделы оружия каменного, металлического, огнестрельного, доспехов; отдел археологический, в котором были представлены старинные надгробия, труменные портреты, архитектурные детали от старинных литовских замков и др. Отдел достопримечательностей, «небольшой, но драгоценный отдел», как характеризует его А. Киркор, содержал предметы, связанные с именами Стефана Батория, Станислава-Августа, К. Бекеша, Ю. Немцевича, Т. Костюшко, и многими другими, знаковыми для истории и культуры Литвы и Польши. Отдел изобразительных искусств содержал более трех тысяч портретов, видов, бюстов, эстампов и гравировальных досок, представляющих главным образом выдающихся людей и изображения знаменательных событий из общей литовско-польской истории⁶. Значительную часть музейного собрания составляла библиотека, включавшая ценные рукописи и автографы. В целом музей призван был стать своеобразной сокровищницей литовских памятников, «кои бы», как выразился основатель музея в своей речи на заседании «Комиссии для разбора и приведения в известность и надлежащий порядок предметов, находящихся в виленском музее древностей», «как в зеркале верно отражали жизнь и деяния литовско-русского народа во всех эпохах его исторического существования. [...] чтобы они были похожи и служили точными снимками с прошлого, на непреложных началах истории»⁷.

В первое десятилетие существования — время либеральных преобразований, наступивших после суровой николаевской эпохи, деятельность археологической комиссии и состав коллекций музея были направлены на изучение истории западного края во всем ее многообразии. Музей развивался и пользовался поддержкой местных и центральных властей в связи с тем, что национальная политика империи в то время претерпевала существенные изменения (в частности, признавалось право на некоторую культурную автономию народов, входящих в ее состав). В поддержке национальных культурных движений на западных землях виделось главное средство борьбы с «польской идеей» и влиянием католицизма.

Ситуация изменилась после польского восстания 1863 г. В массовой поддержке интеллигенцией и шляхтой Литвы восстания отразилось разное понимание литовской национальной идеи со стороны жителей бывшего Великого княжества и представителей российской власти. «Литовскость» еще была неотделима от «польскости», при том, что четкое разграничение между Литвой и собственно Польшей существовало в сознании издавна. Чувство одновременной принадлежности к традициям Литвы и Польши было на тех

землях чем-то само собой разумеющимся. Старинное «Gente Lithuanae (или Rutenae) natione Polonae» сохраняло свою значимость. В этом отношении очень показательны высказывания рожденного на литовских землях ксендза В. Мейштовича: «Литовцами были мы все: во дворцах, усадьбах и хатах, никому это не мешало быть поляком. Принадлежность к двум народам, составлявшим единую Речь Посполитую, была повсеместно признаваема. Не было принципа национальной исключительности. Не запрещалось литовцу быть поляком, а поляку литовцем. Языки, хоть и перемешанные, не разделяли людей — не было глоттологического национализма»⁸. Власти же, поддерживая начинания интеллигенции по изучению истории «западного края», не учли всей силы и глубины исторических и культурных связей, соединявших Литву и Польшу, а также того фактора, что намечающийся литовский сепаратизм, прокламирование самостоятельности литовской культуры и традиций со стороны литовской интеллигенции и шляхты в эти годы было продиктовано прежде всего политической конъюнктурой, а отнюдь не национальным самосознанием: «Представители консервативной литовской шляхты, декларируя идеи самостоятельности Литвы от Польши, ожидали поблажек от властей»⁹. В корреспонденции Тышкевича, как нам кажется, мы находим выражение именно такого подхода с его стороны в его хлопотах, связанных с открытием музея, а затем с попытками его сохранения в первоначальном виде. В письме, написанным по-русски к бывшему виленскому генерал-губернатору В. Назимову, который благосклонно отнесся к открытию музея, граф подчеркивал свою литовскость и одновременно свою верность существующим порядкам: «Я католик и литовец по происхождению, но, Ваше Высокопревосходительство, Вы хорошо знаете, что я всегда был душою, делом и помышлениями истинным и верным сыном России. Я всею моею жизнью доказывал мою преданность престолу и отечеству»¹⁰. Однако, имея представление о политической и исторической ситуации того времени, все высказывания Тышкевича подобного рода можно рассматривать только как дипломатические уловки, направленные на завоевание поддержки властей в его деле создания национального музея. Великое княжество Литовское в его унии с Польшей, его традиции и культура были главным объектом для научной деятельности музея. В силу устоявшихся традиций, верноподданнической схемы поведения и по цензурным соображениям подобные интересы в ориентации музея не афишировались прямо, а преподносились иносказательно, проявлялись в составе коллекций, в характере экспозиции, в научных приоритетах сотрудников музея.

После поражения восстания 1863 г. политика примирения канула в забвение, всяческие либеральные «автономические» настроения

были решительно прекращены стараниями Муравьева. То, что было заложено в официальной программе Музея древностей — «способствуя сохранению памятников древности, доставить возможность воспользоваться ими к изучению края» и «содействовать к вящему скреплению уз, соединяющих бывшие литовские губернии с прочими областями России»¹¹, было истолковано прямолинейно в соответствии с новыми принципами русификаторской политики. В соответствии с ней «западный край России должен был сделаться оплотом русской силы и рассадником русских государственных начал, те, которые желают оставаться в нем поляками и служить отвлеченной польской идее, должны чувствовать себя в нем временно терпимыми, но нежелательными иностранцами»¹². После широко развернутой акции по русификации системы просвещения, кассации католических монастырей и закрытия костелов, лишению прав собственности и высылке участников восстания и передаче их земель в руки природных россиян или всегда лояльных по отношению к режиму немцев, предпринятых для уменьшения роли и влияния польского стиля жизни и культуры на местное население, — пришла очередь и Музея древностей в Вильне, бывшего в глазах властей главным центром по распространению польских идей в крае.

Была создана специальная «Комиссия для разбора, приведения в известность и надлежащий порядок предметов, находящихся в виленском музее древностей», которая начала свою деятельность 3 марта 1865 г. Задание комиссии было четко обозначено в письме М. Н. Муравьева к председателю Комиссии, попечителю виленского учебного округа И. П. Корнилову. Муравьев писал, что, несмотря на высочайшую волю «содействовать к вящему скреплению уз, соединяющих бывшие литовские губернии с прочими областями России... большая часть предметов, заключавшихся в оном [музее], составляет коллекцию, относящихся к чуждой в этом крае польской народности. Такое совокупление в этом открытом для публики, хранилище литовско-русской старины предметов, относящихся к польскому народу и польской истории... служило к поддержанию в здешнем населении и обществе превратных понятий о том, что край этот польский, а не русский, а также — к возбуждению в публике польских идей, противуправительственных стремлений и притязаний на местные права Польши на западнорусский край»¹³. Эта тенденциозная «польскость» представленных в виленском музее экспонатов, «обнаруженная» вдруг Муравьевым, в соответствии с общими русификаторскими установками должна была смениться не менее тенденциозной «русскостью», представляемой как единственно правдивое отображение культурных и исторических традиций этих земель. Задачей комиссии стало «сообщить виленскому музею надлежащий характер, соответственный назначению — быть

собранием и хранилищем предметов, напоминающих о русской народности, православии, искони господствующих в здешнем крае, и содействовать к вящему скреплению уз, соединяющих литовские губернии с Россией»¹⁴. По распоряжению Муравьва все экспонаты музея должны были быть разделены на четыре разряда: русский, литовско-русский, общенаучный и польский. Вещи из трех первых разрядов оставлялись в музее, последний же разряд, в котором были сосредоточены предметы, «припоминающие польское в крае владычество и искусственно поддерживающие между здешним населением несбыточные надежды и преступные стремления»¹⁵, предписано было разместить в одной из зал, «впредь до дальнейшего об оных распоряжения». Следует подчеркнуть, однако, что разрабатываемая Комиссией новая концепция музея не предполагала полного исключения предметов четвертого разряда из экспозиции музея. Председатель комиссии А. Д. Столыпин подчеркивал, что отдельно взятые они не представляют никакого политического значения и после уничтожения пропольского характера музея могли быть возвращены в музей, «где они составили бы литовско-русский отдел в истинном смысле, ибо русская сторона была бы развита, приумножена и дополнена»¹⁶. «Дальнейшее распоряжение» последовало в 1868 г., когда новый виленский генерал-губернатор А. Л. Потапов распорядился составить подробный список вещей из четвертого разряда и отправить его в целом составе в дар Московскому Публичному и Румянцевскому музею. В связи с этим распоряжением была развернута активная корреспонденция между виленским генерал-губернатором, попечителем Виленского учебного округа, Министерством Народного просвещения и дирекцией Румянцевского музея в Москве. Экспонаты Виленского музея, выделенные в IV разряд, в сентябре 1868 г. были отправлены в Москву за счет канцелярии виленского генерал-губернатора, поскольку ни учебный округ, ни Министерство просвещения, ни Румянцевский музей не располагали средствами для перевозки запакованных в 39 ящиков исключенных из экспозиции музея предметов. В ящиках находилось 256 портретов, скульптур, памятников истории, а кроме того «56 портретов польских королей на больших и малых листах, 160 портретов частных лиц, 93 гравюры с икон и других священных католических изображений, 203 разных исторических картин, видов и т. п.»¹⁷.

Место «преобразованного» Музея древностей заняла Виленская публичная библиотека, основанная стараниями «русских деятелей Вильны», наводнивших Западный край в 60-е гг. Основанная еще в 1864 г., она была торжественно открыта для публики в 1867 г. в помещении Музея древностей. В ее состав вошло почти 20 000 томов из музейной библиотеки, но главное богатство ее книгохранилища

составляли библиотеки из закрытых католических монастырей и костелов, а также конфискованные у участников польского восстания. Читальный зал Публичной библиотеки разместился в главном зале Музея древностей — бывшей университетской ауле. Ее стены, украшенные фресками на мифологические сюжеты работы Смуглевича, после «преобразования» музея покрылись росписями в псевдорусском стиле. Музей древностей, переименованный в Виленский археологический музей, был переведен на второй этаж и с 1867 числился уже только «при библиотеке»¹⁸.

«Преобразование» музея не нанесло ущерба его археологическим коллекциям. И до этого бывшие гордостью музея коллекции местной первобытной археологии продолжали пополняться. Эта часть музейного собрания позволяла и в последующие годы отзываться о нем как о «правдивом и поразительном музейном богатстве»¹⁹. Однако что касается иных исторических отделов Археологического музея, то представленные в них памятники были связаны главным образом с общерусской историей, либо, напротив, представляли достопримечательности далеких эпох и народов. Художественный отдел, пострадавший более всего от преобразовательной акции Муравьева, совершенно утратил свою ценность. В нем были выставлены в большом количестве портреты российских монархов и деятелей Северо-западного края, «писанные на локти», как язвительно заметил автор путеводителя по Вильно начала XX в.²⁰ Портреты представителей иных эпох и национальностей не присутствовали. Но и в своем «обновленном» составе, в соответствии с великорусской концепцией, музей не производил впечатления целостности. Преобразование его, как писал А. Н. Пыпин, не разрешило «исторической и этнографической двойственности», характерной для западных земель и отражающейся в составе музея²¹. Все происшедшие с музеем перемены болезненно переживались его основателем. Е. Тышкевич подал в отставку, покинул Вильно и в 1873 г. скончался. О том, каким тяжким потрясением для него было все произошедшее, свидетельствуют его собственные слова в одном из писем В. Назимову, датированном 1865 г. В письме том, выражая благодарность бывшему генерал-губернатору за оказанное сочувствие, Тышкевич высказывается с пронзительной искренностью: «Ваше Превосходительство! Вы сделали доброе дело, Вы оживили и придали силы человеку, который думал, что его все оставили, что его участь — переносить одни поругания над его сединами, видеть искажения самых добрых намерений. смотреть, как это здание, столько лет созидавшееся трудом и самоотречением единственно во имя общей пользы, разрушается непосвященными в тайны науки, превратно истолковавшими свои обязанности и, на началах ложно понятого патриотизма, искажающими факты, и видящими злоумышление

в том, что еще так недавно было признаваемо всеми и достойным похвалы»²².

До середины 20-х гг. XX в. исключенные из коллекции Виленского музея экспонаты находились в составе Московского Публичного и Румянцевского музея. Руководствуясь статьей XI Рижского мирного договора, заключенного 18 марта 1921 г. между Советской Россией и Польской республикой о взаимном возвращении культурного имущества, со стороны Польши были предприняты попытки к возвращению коллекций Виленского музея. Польской стороне удалось в 1921 г. получить назад 24 деревянные скульптурные головы из Сенаторской залы Вавельского замка, хранившиеся в составе Виленской коллекции в Румянцевском музее²³, а в 1924 — мемориальные предметы, связанные с именем Т. Костюшки²⁴. В то же время независимая Литва на основе статьи IX мирного договора между Россией и Литвой от 20 июля 1920 г. также предъявила требования к России по возвращению коллекций первого музея литовских достопримечательностей. В отличие от аналогичных статей Рижского мирного договора, по которым России пришлось вернуть большинство из присвоенных в течение полутора веков культурных ценностей, принадлежавших Польше, договор между Россией и Литвой предусматривал возвращение только тех коллекций, которые попали на территорию России в результате военных действий в 1914—1917 гг. Однако Литве тогда так и не были возвращены рукописи, старопечатные книги, архивные материалы из Виленской Публичной библиотеки и Муравьевского музея, основанных взамен расформированного Музея древностей, эвакуированные в 1915 г. в Московский Публичный и Румянцевский музеи. Отказ советских властей выдать коллекции литовской стороне был бескомпромиссно прямолинейен: «Ценное имущество Виленского Муравьевского музея и Виленской Публичной Библиотеки, как не имеющие отношения к Литовской национальности и представляющие общеисторический интерес, должны быть оставлены в Московском Румянцевском музее»²⁵. В случае памятников, вывезенных с территории Литвы в Россию до Первой мировой войны ревиндикация могла наступить только тогда, когда выдача требуемых вещей «не причинит ощутимого ущерба российским архивам, библиотекам, музеям, картинным галереям, в которых они хранятся»²⁶. Это условие только в некоторой степени могло иметь отношение к экспонатам из Музея древностей, их выдача не могла привести к нарушению целостности коллекций Румянцевского музея.

Причина невыдачи основного массива коллекций ни одной из претендующих сторон была чисто политической. В секретных документах советской делегации эта причина раскрывается со всей очевидностью. Так, в докладе заместителя председателя Комиссии

Г. Лазариса читаем: «так называемые „Муравьевские коллекции“ пришли из Вильно, следовательно, при нашем толковании Рижского Договора они выдаче не подлежат (спорная территория)»²⁷. Таким образом, коллекции не выдавались в польское Вильно под предлогом спорности территории, а литовцы, чьи интересы официально защищала Россия, не могли их получить, поскольку данные собрания оказались на территории России задолго до Первой мировой войны.

Кроме того, очень важен факт, что культурное и архивное имущество, затребованное Польской республикой к возвращению, было разделено на четыре группы: подлежащее выдаче; подлежащее выдаче, но в виде эквивалента; не подлежащее выдаче по формальным основаниям; и подлежащее выдаче только в случае «достижения окончательного соглашения с Польской делегацией по всем музейным претензиям к СССР»²⁸. К этой, четвертой группе в дополнительной категории были отнесены и виленские коллекции: «Сверх того, в случае исключительной необходимости, могущей решить в положительную для СССР сторону вопрос о всем соглашении, не возражать против выдачи Польше коллекций Виленского Музея древностей (т. наз. коллекции Муравьева)»²⁹. Такой «исключительной необходимости» не наступило, и коллекции Музея древностей продолжали оставаться в составе Отдела древностей Румянцевского музея.

В связи с принятием решения о реорганизации Румянцевского музея в публичную библиотеку, отделы этнографии, древностей и изящных искусств были переведены в состав иных российских музеев и в государственный музейный фонд. Виленская коллекция была закрыта для публики одной из первых: «В первую очередь были свернуты коллекции б. Виленского музея, расположенные в витринах и шкафах нижнего этажа, как не имеющие никакого отношения к прямой задаче отдела»³⁰. 8 апреля 1921 г. на заседании коллегии Главмузея была учреждена специальная Ликвидационная комиссия по ликвидации Отдела древностей. В результате проведенных работ «комиссией было передано в Исторический музей и Музей-институт классического Востока — всего 38 321 предмет...»³¹. Предметы же из Виленской коллекции, кроме выданных ранее полякам вавельских голов и личных вещей Т. Костюшко, были оставлены «до окончательного выяснения»³². Хотя в утвержденном 8 апреля 1921 г. Положении о реорганизации Государственного Румянцевского музея первоначально можно предположить намерение передачи коллекций Виленского музея обратно в Вильно: «Виленский музей, входящий в свернутом состоянии в состав Отдела Древностей, подлежит передаче по принадлежности»³³.

Ликвидационная комиссия была распущена в 1922 г. с поручением ее председателю Н. Д. Протасову «произвести подготовку

передачи коллекции б. Виленского музея и предметов высокой материальной ценности»³⁴. Эта подготовка была начата Протасовым, который произвел инвентаризацию виленской коллекции, составил подробный меморандум и передал его Российско-Украинской делегации Смешанной Советско-Польской Специальной Реввакуационной Комиссии³⁵. Через некоторое время вывезенные в Москву экспонаты виленского Музея древностей коллекции оказались в составе Государственного Исторического музея и в Кабинете графики Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина. Экспонаты, хранящиеся в Отделении древностей Румянцевского музея, попали сначала в Государственный музейный фонд (1926 г.)³⁶. В составе Исторического музея были уже в 30-е гг.³⁷. Рисунки и гравюры из Музея древностей были переданы в ГМИИ в 1925–1927 гг.³⁸

В 1956, 1966 и 1967 гг. часть виленских коллекций вернулась в Музей истории и этнографии Литовской республики, преемник и наследник Музея древностей в Вильне³⁹.

Несмотря на столь непростую и насыщенную драматизмом историю Музея древностей (а может быть, именно благодаря этому), изучение и реконструкция его коллекций, насколько нам известно, не часто становились предметом научных исследований⁴⁰. В заключительной части статьи постараюсь кратко охарактеризовать те источники, которые, при условии привлечения дополнительных материалов иконографического, сравнительного и архивного характера, могли бы послужить основой для реконструкции и научного описания художественного отдела Музея древностей⁴¹.

Задачу реконструкции коллекции Музея древностей значительно осложняет то обстоятельство, что она не была полностью каталогизирована. Никогда в печатном виде не были изданы описи его художественного отдела. В первом и единственном опубликованном каталоге музея приводятся только сухие цифры: «портретов масляными красками императоров Российских, королей Польских и великих князей Литовских, замечательных военачальников и разных сановников, ученых, литераторов и артистов, а также видов развалин древних замков — 128, эстампов и полиטיפажей — 3101, гравированных досок — 161, бюстов замечательных мужей — 28»⁴². Некоторое количество экспонатов художественного отдела перечислено в описаниях музея, включенных в путеводитель по Вильно А. Киркора 1856 и 1862 гг.⁴³ Коллекции музея быстро пополнялись благодаря многочисленным пожертвованиям частных лиц и научных обществ. Быстро пополнялся и художественный отдел. В соответствии с сохранившейся документацией уже 1860 г. «коллекция портретов, эстампов и бюстов насчитывала в себе разных портретов и видов отдельных замков писанных масляными красками 137.

Эстампов и политапажей 3127, гравированных досок 161, бюстов 29, всего 3454 номера»⁴⁴. В отчете за 1862 г., последний перед январским восстанием год работы Виленской археологической комиссии и музея, упоминалось уже 156 «писанных масляными красками» портретов и видов, а общее количество предметов отдела равнялось 3865⁴⁵. Подробного списка произведений художественного отдела не было. Назначенная в 1865 г. «Комиссия для разбора» пользовалась каталогом «портретов, рисунков и пейзажей», складывающимся из 114 позиций⁴⁶. Такого каталога обнаружить не удалось, имеется, однако, рукописный каталог «Отдела картин, рисунков и гравюр» Музея древностей в Вильно («*Katalog obrazów, rysunków i sztychów, zawieszonych w Wileńskim Muzeum Starożytności*»), составленный хранителем отдела, членом Виленской археологической комиссии талантливым писателем и поэтом Л. Кондратовичем (Владиславом Сырокомлей)⁴⁷. В каталоге учитывалось сто позиций — выполненные маслом, акварелью и в графических техниках портреты, виды, исторические сцены, изображения костелов и монастырей, памятников и надгробий заслуженных и почитаемых персонажей из польской и литовской истории. Вероятнее всего, каталог был составлен в 1856 г., году торжественного открытия музея, и таким образом дает представление только о первоначальном составе коллекции художественного отдела. При каждой позиции каталога автором помещалась информация о технике исполнения, условные размеры, приводилась биография изображенного лица, в некоторых случаях даже краткие описания. Таких подробностей не имеется ни в одном другом известном списке предметов отдела. Каталог Сырокомли в связи с этим является исключительно важным источником при воспроизведении утраченных имен и авторства некоторых портретов художественного отдела Виленского музея.

Другие материалы, благодаря которым возможно хотя бы частично воспроизвести состав художественного отдела, имеют более позднее происхождение. Речь идет о списках предметов, отведенных в IV разряд муравьевской комиссией и вывезенных в 1868 г. в Румянцевский музей в Москве. Эти списки были опубликованы несколько раз в разных периодических изданиях. В 1868 г. газета «Виленский вестник», а затем «Вестник Западной России» приводили списки вещей, отправленных в Москву в 39 тюках⁴⁸. Почти двадцать лет спустя список вывезенных вещей был опубликован в «Историческом вестнике»⁴⁹. Списки эти, идентичные в принципе, разнятся в степени точности при описании произведений и по-разному их группируют, что делает содержащуюся в них информацию взаимно дополняемой. Исходным пунктом для списка, помещенного в первых двух источниках, следует считать данные, почерпнутые из «Дневника заседаний комиссии для разбора, приведения

в известность и надлежащий порядок предметов, находящихся в виленском музее древностей»⁵⁰, осуществившей весной 1865 г. в соответствии с распоряжением М. Н. Муравьева «сортировку» экспонатов Музея древностей по «национальному признаку». Всего в IV разряд было определено 256 предметов⁵¹. Список, опубликованный в «Историческом вестнике», за основу должен был иметь вариант списка более подробный, разделенный на дополнительные разряды, такие как: «Первый, памятники о королях польских в их изображениях и вещах, им принадлежавших, или к власти их в этом крае относящихся; второй, памятники о магнатах и шляхте, служивших короне польской, в их изображениях или предметах до них относящихся; третий, памятники латинства в крае и его деятелей; четвертый, изображения ученых, художников, связанные чем-либо с предыдущими отделами, и вещи до них лично или до профессии их относящиеся; пятый, предметы, не вошедшие в предыдущие отделы, вынесенные или по демонстративному их значению или по совершенному отсутствию в них научных достоинств и значения», и представленный «для дальнейших распоряжений» Главному Начальнику края⁵².

В изданном в 1906 г. каталоге Отделения древностей Румянцевского музея отдельный раздел посвящен памятникам, привезенным из Вильно. Раздел этот под названием «Коллекция Виленского музея» приводит перечень из более чем 470 предметов⁵³. Это значительно больше, чем было опубликовано в «Вестнике Западной России» и «Историческом вестнике». (Следует иметь в виду, что каталог Отделения древностей Румянцевского музея совершенно не учитывал графики, а также коллекций нумизматической и сфрагистики.) Этот каталог в свою очередь опирался на рукописный каталог вывезенных вещей, составленный еще в конце XIX в. сотрудником Отделения Ф. Ахрамовичем под руководством заведующего А. Кирпичникова⁵⁴.

Этот-то рукописный каталог, а также оригинальные списки вывезенных из Вильно экспонатов Музея древностей уже в 20-е гг. прошлого века, когда на основании статьи XI Рижского мирного договора в России активно работали Смешанная и Специальная Советско-Польские ревизорские комиссии по выявлению в российских собраниях произведений искусства из польских коллекций и возвращению их законным владельцам, считались безвозвратно утраченными. В частности, директор Румянцевского музея А. К. Виноградов в сделанном на заседании Советской делегации Смешанных СССР и Польши Резвакуционной и Специальной Комиссий докладе по вопросу о состоянии Виленской коллекции сообщал, что «восстановить первоначальную наличность коллекций и их состояние, в каком они поступили в Румянцевский музей

в 1868 г., представляется совершенно невозможным», поскольку «после смерти Кирпичникова [...] делопроизводство по передаче коллекций в Москву не было найдено»⁵⁵.

Как оказалось, документация не пропала, а в полном составе хранится в архиве Российской государственной библиотеки в Москве (варианты ее наверняка хранятся также в архивах Вильнюса). Среди обнаруженных нами документов — полные инвентари вывезенных в Москву предметов, состоящие из нескольких списков с дополнениями. Об этих списках шла речь в письме попечителя Виленского учебного округа П. Н. Батюшкова директору Румянцевского музея В. А. Дашкову: «Вместе с сим отправлены мною, опечатанные в 39^{ти} ящиках предметы IV (польского) отдела Виленского музея по прилагаемым при сем четырем описям, заключающим в себе: 1^а, предметы редкостей; 2^а, портреты, картины, гравюры и литографии; 3^а, дополнительная таковых же предметов; и 4^а, предметы Минц-кабинета: польские монеты, медали и ассигнации»⁵⁶.

Крайне важен материал, представленный в кратком очерке «Польская старина в Румянцевском музее» В. Д. Милиоти, опубликованном в журнале «Золотое руно» в 1907 г.⁵⁷ Статья возникла вероятнее всего на волне попыток возвращения коллекции Музея древностей обратно в Вильно, которые в 1906—1907 гг. предпринимал Виленский археологический музей. Но, как писал в 1921 г. литовский историк П. Галауне, «почему-то этот вопрос не был разрешен в положительном смысле и коллекции и дальше остались лежать в Румянцевском музее, где они находятся и в данное время»⁵⁸. В статье Милиоти приведены некоторые данные по печальной истории виленского собрания и помещены репродукции некоторых произведений (35 фотографий). Несмотря на то, что помещенные под снимками подписи не всегда верно определяют изображенное лицо, статья предоставляет неоценимый иконографический материал, необходимый для успешной реконструкции и анализа художественной части коллекции Виленского музея древностей⁵⁹.

Это практически все известные нам материалы, использование которых необходимо при реконструкции названной коллекции Виленского музея древностей. Работа по ее исследованию уже начала нами.

П Р И М Е Ч А Н И Я

¹ История Музея древностей в Вильно в той или иной степени привлекала внимание исследователей: См.: *Tautavičius A. Vilniaus Senienų muziejus ir archeologijos komisija / Muziejai ir paminklai. 1982. T. 4. № 5. S. 12–21; Aleksandravičius E. Sąrašų Valdžijoje XIX amžiaus Lietuva. Vilnius, 1996. S. 250–253; Kulnītė B. Z istorii Muzeum Narodowego Litwy // S tarożytności Litwy. Katalog wystawy Muzeum*

Narodowego Litwy z Wilna. Warszawa, 1994. S. 13–14; *Шуркайтэ Ё.* Некоторые проблемы развития и сохранения литовского искусства во второй половине XIX века // Искусство. 1997. № 7. С. 71–73; *Misius K.* Vilniaus Senienų muziejaus suvalstybinimas ir dailes jo eksponatų išvežimas 1863–1869 metais // Kultūros paminklai. 2000. № 6. P. 24–39; *Bucys Z.* Sources of the National Muzeum of Lithuania // Nordisk Museologi. 2001. № 1–2. S. 193–203; *Stolzman M.* Nigdy od ciebie miasto... Dzieje kultury Wileńskiej lat międzypowstaniowych (1832–1863). Olsztyn, 1987. S. 54–57; *Алексеев Л. В.* Судьба Виленского музея древностей // Вопросы истории. 1994. С. 160–163.

² Е. Тышкевич родился в Вильно, закончил гимназию в Минске, затем продолжал науку самостоятельно, занимаясь в 1832–1834 гг. в Императорской публичной библиотеке в Петербурге. С 1835 г. жил в Вильно, занимался археологическими изысканиями в крае и за границей (Швеции, Дании, Финляндии). С 1855 г. — председатель Виленской Археологической комиссии и куратор Музея древностей. Член академий и ученых обществ России, Дании, Швеции, Великобритании и др. Автор множества научных работ по истории и археологии Литвы и Западной Руси, таких как: *Rzut oka na źródła archeologii krajowej.* Wilno, 1842; *Opisanie powiatu borysowskiego.* Wilno. 1847; *Badania archeologiczne nad zabytkami przedmiotów sztuki i rzemiosła i t. d. w dawnej Litwie i Rusi Litewskiej.* Wilno, 1850; *Archeologia na Litwie.* Kraków, 1872. О Тышкевиче см.: *Krzyżanowski S.* Eustachy hrabia Tyszkiewicz i jego prace. Lwów, 1873; *J. Tyszkiewicz.* Tyszkiewicziana. Militaria, bibliografia, numizmatyka, ryciny, zbiory, rezydencje. Poznań, 1903. Т. 1; *Wileński słownik biograficzny / red. H. Dubowik, L. J. Malinowski.* Bydgoszcz, 2002. S. 412.

³ Библиотека Академии наук Литвы. Отдел рукописей (Далее — БАНЛ. ОР.). Ф. 31. Д. 1375 — «Устав Виленского Провинциального Музеума». Л. 1.

⁴ БАНЛ. ОР. Ф. 31. Д. 1371. Л. 1.

⁵ *Tyszkiewicz E.* Archeologia na Litwie // *Rocznik dla archeologów 1871.* Kraków, 1872. Цит. по: *Hołubowiczówna H. S.* Muzeum Starożytności Wileńskiej Komisji archeologicznej, a Muzeum Archeologiczne Uniwersytetu Stefana Batorego // *Światowit. Rocznik Muzeum Archeologicznego im. E. Majewskiego Towarzystwa Naukowego Warszawskiego.* 1936/37. Т. XVII. S. 9. (Здесь и далее перевод с польского автора. — *Н. М.*)

⁶ О составе музея см.: *Kirkor A. H.* Przechadzki po Wilnie i jego okolicach. Wilno, 1856. S. 226–249; *Kirkor A.* Перечневый каталог предметов в Виленском музее древностей. Вильно, 1858.

⁷ Дневник заседаний комиссии для разбора, приведения в известность и надлежащий порядок предметов, находящихся в виленском музее древностей // *Вестник Западной России.* Вильна, 1865. С. 49.

⁸ *Meysztowicz X. W.* Poszło z dymem. Gawędy o czasach i ludziach. Warszawa, 1989. S. 5.

⁹ См.: *Staliunas D-* Konserwatywna szlachta litewska w połowie XIX w. — Kwestia podwójnej świadomości politycznej // *Kultura Litwy i Polski w dziejach. Tożsamość i współistnienie.* Materiały międzynarodowej konferencji, zorganizowanej w dniach 15–17 października 1998. Kraków, 2000. S. 142.

¹⁰ БАНЛ. ОР. Ф. 31—1394. Л. 1 об.

¹¹ Цит. по: Дневник заседаний комиссии... С. 3–4.

¹² *Мосолов А. И.* Виленские очерки 1863–1865 гг. (Муравьевское время). СПб., 1898. С. 222.

¹³ Дневник заседаний комиссии... С. 3–4.

¹⁴ Там же. С. 3.

¹⁵ О Виленском музее древностей // *Вестник Западной России.* 1868. Т. 3. № 8. С. 202.

- ¹⁶ Дневник заседаний комиссии... С. 57.
- ¹⁷ О Виленском музее древностей... С. 202–213. Корреспонденция по пересылке экспонатов из Вильно в Москву хранится в Архиве РГБ в Москве (Оп. 1. Д. 85. Л. 155–158, 160–168 об., 172–172 и др), в Государственном историческом архиве Литвы и Отделении рукописей библиотеки Виленского университета (выходные данные см. *Misius K. Vilniaus Senieņu Muziejaus Suvalstybinimasir dalies jo eksponatų i veimas 1863–1869 metais* // *Kultūros paminklai*. 2000. № 6. S. 24–39).
- ¹⁸ См.: *Добрянский Ф.* Путеводитель по Виленской публичной библиотеке. Вильна, 1880.
- ¹⁹ *Kirkor A. H. Przewodnik historyczny po Wilnie i jego okolicach*. Wyd. II. Wilno, 1880. S. 220.
- ²⁰ *Gizbert-Studnicki W.* Wilno. Przewodnik po mieście i okolicach. Wilno, 1910. S. 90.
- ²¹ *Пыпин А. Н.* История русской этнографии. СПб., 1892. Т. IV. С. 113.
- ²² БАНЛ. ОР. Ф. 31—1394. Л. 1.
- ²³ Документация о передаче вавельских голов см.: Архив РГБ. Оп. 17. Д. 181. Л. 5–11. Памятники эти не имеют ничего общего с виленским Музеем древностей. В Румянцевский музей попали в 1869 г. в числе более чем двухсот исторических и археологических памятников из Политехнического института в Новой Александрии (б. Пулавы). (См.: Архив РГБ. Оп. 1. Д. 101. Л. 223–223 об.)
- ²⁴ Архив РГБ. Оп. 14. Д. 118. Л. 1–7.
- ²⁵ Там же. Оп. 17. Д. 129, 30 об.
- ²⁶ Цит. по: *Rygiel S. Sprawa zwrotu mienia kulturalnego Wileńszczyzny z Rosji*. Wilno, 1924. S. 3.
- ²⁷ ГАРФ. Ф. А-2307. Оп. 7. Д. 16. Л. 190. При заключении мирного договора с Литвой в трактате было записано о вхождении Вильно в состав Республики Литовской. В 1922 г. Виленский сейм объявил о присоединении Вильно к Польской Республике. В 1923 г. это состояние было закреплено решением Лиги наций, Россия, однако, не изменила своей позиции и продолжала рассматривать Вильно как территорию спорную между Польшей и Литвой. См. подробнее: *Polska w czasach niepodległości i II Wojny światowej (1918–1945)* // *Wielka historia Polski*. Kraków, 2001. Т. 9. S. 38; *Ochmański J.* Historia Litwy. Wrocław; Warszawa; Kraków, 1990. S. 287.
- ²⁸ ГАРФ. Ф. А-2307. Оп. 7. Д. 16. Л. 253–257.
- ²⁹ Там же. Л. 257.
- ³⁰ Отчет Государственного Румянцевского музея за 1916–1922 гг. М., Б. г. С. 279.
- ³¹ Там же. С. 284.
- ³² Там же.
- ³³ Архив РГБ. Оп. 17. Д. 171. Л. 33–33 об.
- ³⁴ Отчет Государственного Румянцевского музея... С. 285.
- ³⁵ Там же.
- ³⁶ Архив РГБ. Оп. 47. Д. 626. Л. 61.
- ³⁷ За информацию и содействие в исследованиях искренне благодарю работников ГИМ.
- ³⁸ Архив РГБ. Оп. 17. Д. 270. Л. 63.
- ³⁹ См.: *Starożytności Litwy. Katalog wystawy Muzeum Narodowego Litwy z Wilna*. 4.03–30.06.1994. Warszawa, 1994. S. 13.
- ⁴⁰ Оставшаяся в ГИМе часть экспонатов живописной коллекции Виленского музея, за исключением единичных экземпляров, никогда не была опубликована. Экспонаты

- из Литовского национального музея публиковались в разных источниках, прежде всего в каталогах (главным образом, предметы из исторических и декоративно-прикладных коллекций). Произведения из художественного отдела пока не имеют своего каталога. См.: Lietuvos TSR Istorijos ir Etnografijos Muzejus. 1855–1980. Katalogas. Vilnius, 1980; Starożytności Litwy... В упомянутых выше (см. прим. 1) статьях рассматриваются прежде всего исторические аспекты деятельности музея.
- ⁴¹ Подобное ограничение совершенно сознательно, поскольку обосновано имеющимся в нашем распоряжении материалом, а также профессиональными знаниями именно в области изобразительного искусства. Нами уже проделана работа по восстановлению и уточнению авторства и названий многих портретов из художественного отдела, предварительные результаты ее частично были представлены в магистерской работе, защищенной в 2003 г. в Варшавском университете: *Polityka Rosji wobec dziedzictwa kulturowego Rzeczypospolitej w XIX w. na przykładzie wybranych zbiorów, prywatnych i publicznych*.
- ⁴² *Киркор А.* Перечневый каталог предметов в Виленском музее древностей. Вильно, 1858. С. 20.
- ⁴³ См.: *Kirkor A. H.* Przechadzki po Wilnie i jego okolicach. Wilno, 1856. S. 248; Wilno, 1862.
- ⁴⁴ Vilniaus Universiteto biblioteka. F. 46–15. L. 4–4ар.
- ⁴⁵ Vilniaus Universiteto biblioteka. F. 46–20. L. 146.
- ⁴⁶ См.: Дневник заседаний комиссии... С. 20, 23.
- ⁴⁷ Lietuvos literatūros ir meno archyvas. F. 96. Ap. 1 V. 277. L. 20–37. Информацией о существовании этого списка автор обязан литовскому историку искусства Р. Яноньене, которая обнаружила этот неизданный каталог и в 1991 г. опубликовала о нем статью. См.: *Janonienė R.* Neskelbtas sauisis // *Krantai*. 1991. № 1. P. 71–72. Там же исследовательница поместила сокращенный литовский перевод каталога Кондратовича. Искренне благодарю исследовательницу за предоставленные сведения.
- ⁴⁸ Виленский вестник. 1868. № 68 (3.IX); Вестник Западной России. 1868. Т. 3. № 8. Отд. 4. С. 204–213.
- ⁴⁹ *Гордецкий М.* Виленский музей древностей // *Исторический вестник*. 1886. Т. 25. № 9. С. 600–620.
- ⁵⁰ Дневник заседаний комиссии... С. 1–74.
- ⁵¹ Там же. С. 47.
- ⁵² Там же. С. 47–48.
- ⁵³ Московский Публичный и Румянцевский музей. Каталог Отделения древностей. а) Древности христианские; д) Коллекция Виленского музея. М., 1906.
- ⁵⁴ См.: *Jodkowski J.* Pieczęcie polskie w muzeum Rumiancowskim w Moskwie // *Wiadomości numizmatyczne-archeologiczne*. 1913. № 8.
- ⁵⁵ ГАРФ. Ф. 2307. Оп. 7. Д. 16. Л. 211.
- ⁵⁶ Архив РГБ. Оп. 1. Д. 85. Л. 172.
- ⁵⁷ *М-и В.* Польская старина в Румянцевском музее. Виленская коллекция в Румянцевском музее. 35 репродукций с портретов и скульптур // *Золотое Руно*. 1907. № 11–12. С. 35–36, 5–28.
- ⁵⁸ БАНЛ. ОР. Ф. 179–216. С. 4.
- ⁵⁹ Иконографический материал статьи был использован современным литовским исследователем К. Мисюсом, однако без какого-то ни было критического осмысления, ошибочные атрибуты сохранили свое место. См.: *Misius K.* Vilniaus Senienų muziejaus suvalstybinimas ir dailes jo eksponatų veimas 1863–1869 metais // *Kultūros paminklai*. 2000. № 6. P. 24–39.

Эмигранты из балканских стран на территории Соединенных Штатов Америки в первой четверти XX в.

Актуальность изучения американо-балканских отношений в их исторической ретроспективе на сегодняшний день ни у кого не вызывает сомнений. В этой связи целесообразно рассмотреть начальный этап появления взаимного интереса у США и стран Балканского полуострова через призму деятельности эмиграции с Балкан на территории Соединенных Штатов, поскольку в ней нашли свое отражение многие сложные политические процессы, происходившие в то время в Старом и Новом Свете.

Перед началом Первой мировой войны в Соединенных Штатах обосновалось много выходцев с Балканского полуострова. Из-за отсутствия точных данных об их количестве наблюдается разница в цифрах, приводимых в источниках и научных работах. Английские эксперты из Королевского Института Международных дел в 1936 г. обобщили имевшиеся сведения по Румынии, Греции, Югославии и Болгарии и предложили следующую информацию о численности эмигрантов, уехавших с Балкан или вернувшихся из США в первой четверти XX в. В 1901–1910 гг. из Румынии в Соединенные Штаты эмигрировали более 53 тысяч человек, из Греции — 167,5 тыс. В предвоенные годы и первый год войны (1910–1914) Румынию покинули еще 10,5 тыс., Грецию — 61,5 тыс., а Болгарию — 4,3 тысячи граждан, желавших найти лучшую долю за океаном. По данным статистики в 1915–1919 гг. резко сократился поток эмиграции из Румынии (360 человек за четыре года), в два раза по сравнению с предыдущим периодом уменьшилось число греческих переселенцев, хотя по-прежнему представляло собой внушительную цифру (около 30,7 тыс. чел.). Что касается выходцев из Болгарии, то с 1915 г. наблюдался их отток на родину (3,6 тыс.)¹. В вопросе о количестве эмигрантов с территорий, вошедших в 1918 г. в состав Королевства сербов, хорватов и словенцев (с 1929 г. — Югославия), ближе всего к истине представляется цифра, которую приводит в своем исследовании известный ученый-балканист Дж. Пррик (США). Он говорит об одном миллионе южнославянских эмигрантов, обосновавшихся в Соединенных Штатах к 1914 г.² Хотя современниками описываемых событий назывались и другие цифры. Так, видный хорватский политик, д-р Франко Поточняк утверждал, что одних

только сербов, хорватов и словенцев в Соединенных Штатах в 1915 г. было полтора миллиона человек³.

Среди переселенцев из балканских стран самую большую диаспору в США образовывали хорваты (более 650 000). Основная их масса приехала в Америку еще в 1880-е гг. из Габсбургских провинций — Хорватии, Славонии, Истрии, Далмации и позже — из Боснии и Герцеговины. Гораздо меньше в США к началу мировой войны было словенцев. Они являлись выходцами из Штирии, Каринтии и Триеста. Их общая численность составляла около 250 000 человек⁴. Сербских эмигрантов в Соединенных Штатах было еще меньше, чем словенцев — не более 100 000. Причем только немногие из них эмигрировали сюда из Королевства Сербии, большая же часть выехала из хорватских провинций Австро-Венгрии. Среди других более или менее представительных групп южнославянских эмигрантов в США в то время следует отметить черногорцев (около 20 000) и македонских болгар (примерно 10 000).

Дж. Прпик, изучая статистику по данному вопросу, обнаружил, что в довоенный период многие славяне — выходцы из Австро-Венгрии ошибочно классифицировались американскими иммиграционными службами как австрийцы или венгры (по стране рождения — Австро-Венгрии), а всех остальных югославов условно группировали и подсчитывали по следующим смешанным категориям:

1. Хорваты и словенцы;
2. Черногорцы, сербы и болгары;
3. Далматинцы, боснийцы и герцеговинцы⁵.

Многие исследователи сходятся во мнении, что основными причинами эмиграции в Северную Америку для большинства выходцев с Балканского полуострова были причины экономического характера. От 55 до 84 % населения на их родине было занято в сфере сельского хозяйства, которое в ряде областей велось примитивными способами и не приносило большого дохода. Общей бедой многих крестьянских семей было малоземелье и невозможность хороших заработков в городах из-за слабого развития промышленного производства. Если исключить столицы, то на всем Балканском полуострове в то время насчитывалось только семь городов с населением более 100 000 человек⁶. Гонимые нуждой, в поисках работы с конца XIX в. десятки и сотни тысяч эмигрантов пересекали Атлантику, выбирая конечным пунктом своего «путешествия в лучшую жизнь» Соединенные Штаты Америки, экономика которых была на подъеме. США манили своей славой «страны равных возможностей» для энергичных людей любой национальности и вероисповедания.

Интересно отметить тот факт, что эмигранты из балканских стран и провинций империи Габсбургов рассчитывали на скорое возвращение на родину, в «Старый Край». Поэтому большинство из

них не стремилось когда-либо отождествлять себя с американской нацией. В Америку ехали, чтобы переждать трудные времена, заработать денег, но потом обязательно вернуться домой. Отсюда — та особая сплоченность в эмигрантской среде, настрой на сохранение своей национальной и культурной идентичности, на поддержание постоянной связи с родными краями, реакция на происходящее в Юго-Восточной Европе.

До начала Первой мировой войны эмиграция с Балканского полуострова представляла собой довольно обособленное существование румынской, греческой, болгарской и других диаспор. Югославской общины как таковой не существовало. Были — сербская, хорватская, словенская и т. д. Они исповедовали разные религии, говорили на разных языках. Их дети посещали разные школы. У каждого из вышеперечисленных землячеств были в США свои отдельные политические, экономические и общественные организации, учебные заведения, печатные издания, церковные приходы⁷. Одни общины считались влиятельнее и богаче других. В бизнесе особенно преуспели греки и хорваты. Хорваты к тому же основали в Соединенных Штатах крупнейшие (в эмигрантской среде) политические объединения. Хорваты из австро-венгерских провинций проживали во всех штатах, особенно ими была населена полоса между Сан-Франциско и Нью-Йорком. Их самые большие колонии находились в крупных промышленных центрах, таких как Нью-Йорк, Питсбург, Гонгстаун, Кливленд, Канзас-Сити, Сент-Луис, Сиэтл, Сан-Франциско, Лос-Анджелес⁸. Многие хорватские эмигранты быстро нашли свою нишу в деловом мире США и вскоре преуспели в области финансов, торговли и производства промышленных товаров. Со-размерно численности хорватских колонистов и их богатству росло их значение в американской экономике и политике, и одновременно укреплялись связи внутри самой диаспоры. События на старой родине и в стране, где они обрели кров и работу, освещались в регулярно выходившей печати на хорватском языке. Хорватам принадлежали самые многотиражные югославские издания в Соединенных Штатах, среди них — «Хорватский Свет» (ежедневная газета, Нью-Йорк, 10–12 тысяч экземпляров), «Хорватская Застава» (ежедневная газета, Чикаго, 4–5 тыс. экземпляров) и другие⁹.

В бизнесе неплохо преуспели выходцы из Далмации. Они, как правило, занимались в США выращиванием фруктов. Особенно прибыльными оказались выращивание и продажа яблок¹⁰.

Наименее влиятельными в США были болгарские общины. Помимо их малочисленности, этот факт можно объяснить социальным составом болгарской эмиграции 1890–1914 гг. Более 90 % переселенцев были обычными рабочими и крестьянами, среди них почти не было людей с образованием и ученых¹¹.

Обилие политических союзов, экономических объединений, культурных, просветительских и благотворительных обществ, организованных в США эмигрантами с Балкан (особенно в хорватской и словенской общинах), свидетельствовало об интенсивности общественной жизни и высоком уровне политической активности.

Начавшаяся в 1914 г. в Европе мировая война, первый очаг которой вспыхнул на Балканском полуострове, несомненно, должна была послужить причиной больших перемен во многих странах Старого Света. Ожидание этих перемен повлияло на жизнь эмигрантов из балканских стран, обосновавшихся в США. Одни, используя нейтральное положение Соединенных Штатов, с успехом занимались коммерцией и осуществляли военные поставки в свои родные страны. Большинство ощущали эмоциональную и моральную причастность к трагическим событиям в Европе и стремились оказать всевозможную помощь своим землякам, защищавшим Старый Край. Хотя часть эмигрантов высказывалась в то же время за невмешательство Соединенных Штатов в вооруженный конфликт в Европе.

Что касается хорватских, словенских, сербских общин в Америке, то начало войны на Балканах подтолкнуло их к созданию и развитию единого югославянского национального движения. Размышления эмигрантов о судьбах их стран по окончании войны дали благоприятную почву для возникновения проектов государственного устройства южнославянских земель. Происходившее на Балканском полуострове воспринималось иммигрантами как общая беда. Это чувство сблизило в Америке представителей разных эмигрантских землячеств. Все большее распространение получала идея объединения всех южных славян, провозглашения их единым народом, разделенным ходом истории и нуждавшемся в воссоединении. В довоенный период на территории Австро-Венгерской империи, включавшей в себя ряд славянских областей, как такового сепаратизма не было. Ничто, даже «бурлящий боснийский котел», не предвещало невиданного ранее размаха национально-освободительного движения народов многонациональной Австро-Венгрии и последующего распада империи, которая была одним из гарантов стабильности на Балканском полуострове. Однако, по мнению В. Н. Виноградова, факторы военной поры превратили тенденцию в закономерность, активизировав в умах сербов, хорватов, македонцев «образы национальных государств»: «...Идеологическая и социально-политическая почва для восприятия перехода в новое состояние имела заранее в виде образа национального государства. Сербское и Хорватские королевства, Речь Посполитая, Чехия, Молдавия, Валахия... прочно сохранились в исторической памяти народа — не в виде пассивно-созерцательного или сентиментально-умилительного воспоминания, а именно в памяти активной и зовущей к действию. Не было

нужды конструировать национальный идеал, он продолжал жить и будоражить умы»¹². Деятельность балканских эмигрантских организаций в 1914–1918 гг. в Соединенных Штатах отражала политические процессы, происходившие в Европе. В развернутой ими пропаганде образы национального государства вызвали к жизни национальные движения в поддержку проектов по территориальному переустройству Балкан. Особенно яркими примерами этому служат распространение теорий югославизма и воссоздания суверенного государства Македонии. В рамках изучения темы американо-балканских отношений в первые десятилетия XX столетия целесообразно обратить особое внимание на эти два сюжета. Они наглядно демонстрируют перелом во взаимоотношениях между США и балканскими народами, начало активной фазы взаимодействия Соединенных Штатов с Балканами.

10 марта 1915 г. в Чикаго, где находилась самая влиятельная хорватская колония в США, был созван Первый (Чикагский) Конгресс южных славян. Его председателем стал хорват Нико Гршкович из Кливленда. В конгрессе приняли участие сербы, хорваты и словенцы — всего 563 человека. Из них 468 представляли разные экономические, культурные и общественно-политические организации эмигрантов из балканских стран в Америке, Канаде и Великобритании. Член Югославянского Комитета в Лондоне, хорватский политик в изгнании, Ф. А. Поточняк, участвовавший в работе Чикагского Конгресса, писал, что в большинстве случаев делегаты посылались от 2–3-х организаций, а некоторые даже от восьми и девяти¹³. Уже в первый день своей работы столь представительное собрание приняло резолюцию, выразившую политические настроения большинства эмигрантов-югославов. Она призывала:

1. К объединению сербов, хорватов и словенцев под общим названием «югославы»;

2. К образованию триединого королевства югославян и королевства Черногории при условии полного освобождения Хорватии, Боснии и Герцеговины, Далмации и Истрии из-под власти Австро-Венгрии¹⁴.

Участники конгресса прекрасно понимали, что от их воли зависит исполнение только первой части принятой ими резолюции, окончательное же решение о статусе балканских земель и новых границах будет зависеть от позиции держав Согласия. К их правительствам, а также к властям Соединенных Штатов они и обратились по окончании заседаний конгресса с просьбами о справедливости и содействии в разрушении Австро-Венгерской империи и создании сербо-хорвато-словенского государства. Эти два момента и были провозглашены эмигрантами в 1915 г. в Чикаго как цели югославянского движения¹⁵. Участники конгресса также заявили, что

одной из первых задач будущего королевства югославян будет обеспечение возвращения на историческую родину многочисленных эмигрантов. Предполагалось, что те, кто по каким-то причинам останется после войны в США, не будут прерывать связи со Старым Краем и станут своего рода финансовой силой, которая в случае необходимости сыграет роль финансовой опоры нового государства¹⁶.

На Втором южнославянском конгрессе, который состоялся в Питсбурге (ноябрь-декабрь 1916 г.), эмигрантами был поставлен вопрос об увеличении размеров помощи американских югославян Антанте. Представители главного (Лондонского) Югославянского комитета потребовали от своего американского отделения, созданного еще на Чикагском конгрессе, более решительных действий в этом направлении¹⁷.

Следует отметить, что в 1914–1918 гг. югославянское движение в США ни в финансовом, ни в каком-либо другом плане не зависело ни от европейских эмигрантских организаций, ни от американских властей. В нем состояли довольно влиятельные и обеспеченные югославы, уже получившие к тому времени американское гражданство¹⁸. Движение периодически напоминало о себе президенту и госсекретарю США через различные меморандумы и резолюции. Американские правящие круги не спешили с ответными шагами, со стороны оценивая реальную мощь и размах действий эмигрантов-югославян, выверяя жизнеспособность их национальных идей и соответствие последних современной расстановке сил в Юго-Восточной Европе.

Между тем, едва успев оформиться, югославянское движение в Соединенных Штатах обнаружило свою неоднородность. Вскоре после Чикагского конгресса оно дало первую серьезную трещину, что не ускользнуло из поля зрения американских политических наблюдателей. Поводом для разногласий послужило заключение Великобританией, Францией и Россией тайного Лондонского договора с Италией (26 апреля 1915 г.). Участие Италии в войне на стороне Антанты покупалось фактически за счет Балкан. Россия, традиционно покровительствовавшая южным славянам, тоже была причастна к этому акту, и, следовательно, ее официальная политика оказалась объективно направленной «против» идеи объединения югославянских земель, так как часть из них должна была отойти Италии после войны. Узнав о содержании Лондонского договора, многие участники югославского эмигрантского движения в Европе и Америке разочаровались в русской помощи и приступили к поиску новой державы-покровительницы балканских стран. Могущественные Соединенные Штаты Америки, ставшие для многих тысяч эмигрантов с Балкан вторым домом, были нейтральной страной, не причастной к тайным соглашениям «порочной» европейской дипломатии

и подходящей кандидатурой на эту роль. К такому мнению, независимо друг от друга, пришли лидеры разных направлений в югославском движении в США. Общая линия внешней политики Вильсона тогда вполне допускала возможность многочисленных нюансов, каждая национальная группа эмигрантов связывала с ней свои надежды. Так, после Чикагского конгресса югославян и подписания Лондонского договора один из видных хорватских политиков в Америке М. Крмпотич выступил от имени тех югославов, которые решительно осудили территориальные притязания Италии в Восточной Адриатике. Он, противореча только что принятой резолюции конгресса, заявил, что хорватам и словенцам лучше остаться под суверенитетом Австрии, чем стать жертвами пансербских притязаний¹⁹. Крмпотич призывал ориентироваться на Австро-Венгрию, которая приступила к проведению новой политики федерализма, и эмигрантам-югославам следует лишь добиться, чтобы она «была осуществлена в полной мере»²⁰. Тогда, в 1915 г., подобное заявление практически полностью совпадало со стратегией американской внешней политики.

Президент В. Вильсон до мая 1918 г. защищал политику федерализма в Австрии, да и державы Антанты в то время еще не допускали возможности краха Габсбургской монархии. Это задело бы финансовые круги Лондона и Парижа, связанные с венскими банками. Кроме того, Британия боялась «Великой Сербии» как фактора усиления России на Балканах²¹. Противники группы М. Крмпотича, члены Югославянского комитета в Лондоне через свое отделение в Америке стремились в годы войны добиться признания Соединенными Штатами этого комитета в качестве правительства будущего единого государства сербов, хорватов и словенцев. Но, как и страны Антанты, США, хотя и контактировали с Югославянским комитетом, не спешили связывать себя никакими долгосрочными обязательствами и не давали никаких конкретных обещаний югославским эмигрантам.

Поскольку до декабря 1917 г. Америка не находилась в состоянии войны с Австро-Венгрией, на ее территории параллельно с югославским национальным движением бурно развивали свою деятельность прогабсбургские пропагандисты, причем не только дипломатические представители Австро-Венгрии. В частности, проавстрийски были настроены многие далматинские хорваты, проживавшие в Соединенных Штатах. Ежедневная газета Франка Зотти «Народни Лист» (выходила в Нью-Йорке и субсидировалась австро-венгерским посольством в Вашингтоне и австрийскими консулами по всей Америке) активно выступала против объединительного движения. С ее страниц Гршкович и другие лидеры Югославянского комитета в США обвинялись в том, что они продали хорватские и словенские

территории итальянцам через посредничество союзников по Антанте²². «Газетная война» между про- и антиавстрийскими пропагандистами в югославских изданиях в Соединенных Штатах в 1915–1916 гг. наглядно продемонстрировала американским властям внутренний разлад в эмигрантском движении, претендовавшем на роль создателя нового государства на Балканском полуострове по окончании войны. Это впечатление дополняли петиции, привозимые в Вашингтон подданными сербского короля. Их целью было добиться благосклонности Вильсона и обеспечить поддержку идеи «Великой Сербии» Соединенными Штатами как единственно верного и справедливого решения сложных территориальных споров на Балканах²³.

Вплоть до вступления Соединенных Штатов в Первую мировую войну (весна 1917 г.) вильсоновское правительство мало прислушивалось к голосам эмигрантов из балканских стран и не придавало особого значения их пропаганде. Ситуация изменилась в 1917 г., когда перед США встала острая необходимость выработать новую, отличную от союзнических, программу послевоенного устройства мира. Кроме того, американскому президенту требовалось моральное оправдание своей внешней политики в Европе перед собственными согражданами. Наступил период, когда цели правительственной идеологии о высокой миссии Америки совпали с задачами югославского движения, требовавшего защиты прав малых народов. Вскоре после отказа США от военного нейтралитета президент Вудро Вильсон уделил особое внимание формулировке задач войны и тому, чтобы весь мир услышал их из его уст. Он поручил своему другу и ближайшему советнику Э. М. Хаузу «собрать и привести в порядок материалы, потребные для его послания»²⁴. Бюро, названное «Инквайри», исследовало каждый регион земного шара с точки зрения его современного политического и экономического состояния и потенциального интереса для США. Экономисты, юристы, историки и ученые других специальностей, входившие в «Исследование», за время работы этого своеобразного временного отдела госдепартамента составили 1752 доклада. Из них Европе были посвящены 894, а непосредственно Балканам — 159 отчетов²⁵. Интерес к балканским проблемам выкристаллизовывался у Соединенных Штатов на фоне их общей заинтересованности в участии в европейских делах²⁶. Проникновение в мировую политику для США было невозможно без учета балканской проблематики. Поэтому символично, что сама идея создания «Инквайри» и предварительный набросок круга вопросов для его работы были предложены В. Х. Баклером, известным американским дипломатом, специалистом по Балканам и взаимоотношениям с Австрией и Турцией. Для сбора и обработки информации по Балканам «Инквайри» привлекало

американских ученых разных специальностей, иностранных экспертов из подобных союзнических служб, а также эмигрантов из стран Балканского полуострова, проживавших на тот момент в США²⁷.

В главном докладе «Исследования», который лег в основу знаменитой речи Вильсона «14 пунктов», его сотрудники предложили особый подход к решению балканских противоречий. Он содержал в себе принципы, позже получившие условное название «новой дипломатии», т. е. дипломатии, основанной на открытом сотрудничестве государств, уважающей право нации на самоопределение. В докладе говорилось следующее: «Никакое справедливое или прочное решение запутанных проблем, ставящих лицом к лицу глубоко обиженные балканские народы, не может быть основано на произвольном Бухарестском договоре (1913 г.)»²⁸. Также отмечалось, что вышеуказанный договор «является продуктом пагубной дипломатии, с которой народы мира теперь совершенно покончили. Договор нанес ущерб каждой балканской нации, даже тем нациям, которым он как будто благоприятствовал... Вмешательство и интриги великих держав должны быть прекращены, а методы достижения национального единства с помощью резни должны быть отброшены»²⁹.

«14 пунктов» и американские комментарии к ним вызвали восторг у политических лидеров эмиграции из балканских стран в США и на Балканском полуострове³⁰. Хотя поборники идеи «Великой Сербии» остались недовольны тем, что Штаты прямо не заявили о своем содействии распаду Австро-Венгрии и созданию Королевства сербов, хорватов и словенцев³¹. Члены Югославянского комитета в Великобритании и США в целом приняли балканский проект Вильсона, но были расстроены массой ограничений, которые в нем содержались. Несмотря на это, политика хорватских и словенских эмигрантских организаций в 1918 г. уже полностью ориентировалась на вильсоновскую мирную программу³².

7 декабря 1917 г. Соединенные Штаты объявили войну Австро-Венгрии. У югославских националистов появились новые надежды и расчеты на США как на активного и сильного защитника их интересов на Балканах. От имени Югославянского комитета его глава, д-р Анте Трумбич, 9 декабря послал В. Вильсону телеграмму, имевшую историческое значение. В ней, в частности, говорилось: «Америка может быть уверена, что наш народ, находящийся под гнетом, примет на своей территории американские войска как наших защитников и освободителей»³³. Периодически возникали ситуации, когда общие декларативные заявления Вашингтона давали повод различным эмигрантским группам интерпретировать их содержание в свою пользу. Известный сербский политический деятель Л. Маркович в статье от 22 июня 1918 г. уверенно говорил

о продвижении югославянского вопроса в Америке, о том, что национальные устремления югославы встретили живой отклик и симпатию в Вашингтоне. По его мнению, наконец-то настал момент конкретизировать формулу национальной автономии для балканских народов, о которой упоминали в своих речах В. Вильсон и Р. Лансинг³⁴.

Помимо политической пропаганды, нацеленной на послевоенные изменения на Балканах и поиск державы-покровительницы в лице Соединенных Штатов, эмигранты пытались оказать военную и материальную помощь своим собратьям, сражавшимся в Старом Крае. Низовые эмигрантские организации всех колоний переселенцев с Балкан занимались сбором средств в поддержку сербской и черногорской армий и гражданского населения. В 1916 г. американское отделение югославянского Комитета собрало более 300 000 долл. на нужды различных сербских благотворительных учреждений³⁵. В 1917 г. только один Хорватский Союз сдал 10 000 долл. на «общеславянское дело»³⁶.

Ю. А. Писарев отмечал, что «характерной особенностью почти всех первых проектов создания югославянского государства, разработанных эмигрантскими организациями югославы в начале войны, была установка на военное поражение Австро-Венгрии». Этим он объяснял тот факт, что большинство названных проектов возникло в конце 1914 — начале 1915 гг., т. е. после серьезных поражений австро-венгерских войск на русском фронте³⁷. В этой связи неудивительно, что большое место в деятельности югославянских и других эмигрантских общин из балканских стран в США занимала подготовка добровольцев и их отправка на балканский фронт. Вопрос о волонтерах из числа американских граждан, уроженцев балканских стран, и эмигрантов с Балкан, обосновавшихся в США, ставился различными заинтересованными сторонами с первых месяцев войны. Официальная позиция Вашингтона была достаточно жесткой. Как нейтральное государство Соединенные Штаты должны были соблюдать нормы международного права, т. е. не допускать вербовки и транспортировки добровольческих отрядов на своей территории. Это в первые годы войны особенно не устраивало Сербию. Материалы госдепартамента США показывают, что в вопросе о добровольцах из числа южных славян официальная позиция американского правительства часто расходилась с его реальной политикой. Осенью 1914 г. госсекретарь Р. Лансинг был засыпан претензиями Думбы, посла Австро-Венгрии в США. Посол Думба указывал на факты вопиющего нарушения нейтралитета на территории Соединенных Штатов. В частности, сербский посол в США М. Пупин практически открыто вербовал славян, подданных Австро-Венгрии, для службы в сербскую королевскую армию. Хорватские, словенские

и сербские общины осуществляли систематический сбор средств на военные нужды в Европе (что Думба предлагал квалифицировать как нарушение 11-й и 13-й статей Федерального закона Соединенных Штатов о соблюдении нейтралитета — «подготовка средств для военной экспедиции») ³⁸. Хотя США сохраняли дипломатические отношения с Австро-Венгрией, послу Думбе из-за его личных качеств не симпатизировали в госдепартаменте Соединенных Штатов. Ни одно из его требований не было удовлетворено, а каждая новая претензия австро-венгерского дипломата вызывала крайнее раздражение у американской стороны.

Более того, 1 ноября 1915 г. госдепартамент издал циркуляр «Запись американцев в иностранные армии». В нем констатировались многочисленные факты вербовки американских граждан на военную службу за рубежом, и ставился вопрос о законности таких действий. Составители циркуляра ссылались на статью 2-ю «Закона об экспатриации» от 2 марта 1907 г., которая предусматривала автоматическое лишение американского гражданства лиц, натурализовавшихся в других странах и принесших присягу в иностранной армии. Несмотря на прозрачность этой формулировки, госдепартамент считал возможным уклониться от прямого ответа на вопрос о законности службы американцев в вооруженных подразделениях других государств, сославшись на то, что не во всех иностранных армиях американские добровольцы в обязательном порядке приносят присягу на верную службу и, следовательно, такие случаи не подпадают под действие вышеупомянутого закона 1907 г. ³⁹. Подобная оговорка оставляла «лазейку» для продолжавшейся на территории США вербовки волонтеров из числа балканских эмигрантов, прошедших процедуру натурализации и получивших американское гражданство. В качестве рекомендации в конце циркуляра упоминалось о том, что «соблюдение нейтралитета в конфликте, в который сейчас вовлечены определенные европейские державы, требует от американских граждан избегать участия в вышеупомянутом конфликте» ⁴⁰.

Сербия надеялась, что администрация Вильсона и впредь «закроет глаза перед вербовкой сербов, хорватов и словенцев» для военных операций в Европе и пополнения сербской армии, которой после разгрома 1915 г. предстояла реорганизация на о-ве Корфу ⁴¹. Глава сербского правительства Н. Пашич рассчитывал таким образом получить 20–25 тысяч добровольцев из Америки ⁴². Поскольку сербов из Королевства Сербии в США было очень мало, имелись в виду добровольцы хорваты, словенцы и сербы из провинции Хорватия, т. е. подданные Австро-Венгрии, чья вербовка была официально запрещена в Соединенных Штатах. Тем не менее эмигранты с успехом обходили этот закон при явном попустительстве американских властей, отправляя тысячи человек для военной подготовки

в Канаду, а оттуда на Балканы⁴³. Крупный сербский специалист по этой проблеме И. Чизмич считает, что импульсом для быстрого развития югославянского движения послужила австрийская пропаганда в США, которую развернули австро-венгерские дипломаты. Сначала они призывали подданных Австро-Венгрии вернуться «домой» и вступить в императорскую армию. Затем их агитировали не работать на производстве военной амуниции. Позже австро-венгерские консулы обращались к иммигрантам с просьбой организовать акции коллективной материальной помощи для продолжения войны⁴⁴. Реакция эмигрантов из числа южных славян была прямо противоположной целям подобной пропаганды. Войну Австро-Венгрии против Королевства Сербии восприняли не как войну против правительства Сербии, а как поход с целью истребления славянских народов. Спонтанно в 1914–1915 гг. силами эмигрантских организаций стали собираться отряды волонтеров для отправки в сербскую армию. Вначале большинство добровольцев были сербами и черногорцами. Хорватов и словенцев было немного⁴⁵. Так, в первых отрядах, прибывших на Солунский фронт, из 800 человек 750 были из США, 50 — из Канады. В их числе было только 30 хорватов и 10 словенцев, остальные — сербы и черногорцы. Всего за четыре года войны в Европе свыше 10 000 эмигрантов-славян пополнили ряды сербских и черногорских регулярных войск, что было почти в три раза меньше, чем планировал Н. Пашич⁴⁶.

Проблему вербовки добровольцев-славян в Соединенных Штатах осложняли несколько обстоятельств политического характера:

- Постоянная конфронтация между различными центрами вербовки волонтеров — агентами сербского посла в США М. Пупина и сторонниками Югославянского комитета. Соответственно — это отражало разделение на приверженцев «великосербского» и «югославского федеративного» проектов образования государства Югославии по окончании Первой мировой войны.

- Добровольческие отряды вливались в ряды сербской и черногорской армий. Если учесть вышеупомянутое разделение по политическому признаку, который в данном случае был тесно связан с национальной принадлежностью добровольцев, то становится понятно, почему это не стимулировало приток в регулярные войска Сербии и Черногории хорватов и словенцев, чьи диаспоры были самыми многочисленными в США, по сравнению с общинами других выходцев с Балкан.

После объявления Соединенными Штатами войны Германии их отношения с балканскими странами (кроме Болгарии, союзницы Германии) стали носить союзнический характер. Вопрос о военной помощи сербам, черногорцам и румынам был поставлен уже по-новому. Американцы разрешили вербовку добровольцев для боев на

Балканах, но только тех, кто не имел американского гражданства и не подлежал призыву в армию США⁴⁷. После принятия в Соединенных Штатах 2-го Закона о всеобщей воинской повинности» (1917) тысячи молодых «американских» югославы служили в армии США, и сотни из них погибли в боях на Западном фронте⁴⁸.

Отправляясь из Америки на Балканы, многие добровольцы, формально — подданные Австро-Венгрии, даже не подозревали, что тем самым они осуществляют секретный политический план правительства Сербии, эксплуатировавшего разницу в этнической принадлежности и гражданстве волонтеров-славян. Премьер-министр Королевства Сербии Н. Пашич полагал, что чем большее количество югославы разных национальностей будет привлечено к освобождению Балкан, тем больший вес будет иметь Сербия, заявляя о своих правах на часть Габсбургской империи после войны при создании нового государства⁴⁹. Современник событий, американский эксперт Т. Эриксон подтверждал приоритетность политических целей при осуществлении вербовок славян за рубежом. Именно по этой политической причине балканские государства и Италия отказывались от албанских добровольцев. Эриксон даже объяснял «фатальную слабость балканских кампаний» тем, что из-за опасений возможных последующих претензий албанцев на независимость сербы и итальянцы лишались «лучших воинов» на Балканах, которые прекрасно ориентировались на местности и могли вести войну в горных условиях⁵⁰.

Надежды с американской политикой в Европе связывали также черногорские эмигранты. Черногория первой из балканских стран начала вербовку добровольцев на территории Соединенных Штатов⁵¹. Но поскольку их центральные общества находились в Париже, то в США активность их малочисленных объединений была почти незаметной на фоне размаха югославского движения⁵². В 1916 — начале 1917 г. черногорские эмиссары из Франции по договоренности с сербскими дипломатами развернули широкую просербскую пропаганду в югославских общинах. Эти акции стали возможны благодаря молчаливому согласию американских властей⁵³. Официальный Вашингтон не делал определенных заявлений по поводу деятельности «Черногорского комитета народного объединения» и продолжал заигрывания с королевским правительством Черногории. Королю Николе то сулили американскую поддержку, то «забывали» о данных обещаниях. Так произошло с займом Черногории в 100 миллионов франков для создания черногорского войска — в последний момент королю было отказано⁵⁴.

Что касается греческой диаспоры в США, самой большой среди выходцев с Балкан после хорватской, в годы войны она пополнилась более чем на 30 000 человек⁵⁵. Американское правительство

тогда поощряло размещение капитала в Греции. За 1914–1918 гг. по интенсивности деловых связей и объему товарооборота США стали для экономики Греции к концу войны самым важным торговым партнером и кредитором⁵⁶. Некоторые греческие эмигранты возвращались обратно со своими американскими сбережениями и вкладывали их в разработку природных ресурсов Греции. Из Америки они также привозили опыт мирного и плодотворного сосуществования с сербами, македонцами, хорватами и пр.⁵⁷.

Труднее всего в военный период на территории Соединенных Штатов пришлось выходцам из Болгарии. США, единственные из великих держав, не разорвали дипломатических отношений с Болгарским царством. Однако, несмотря на американские гражданские свободы, малочисленные болгарские общины постоянно подвергались всевозможным притеснениям со стороны других эмигрантов с Балкан. Националистические распри проецировались из Европы на жизнь иммигрантов в Америке. Начало этому было положено еще в мае 1914 г. представителями полумиллионной греческой диаспоры, которая стала искусственно раздувать антиболгарскую истерию в Соединенных Штатах, намереваясь испортить американо-болгарские дипломатические отношения, которые в то время находились на стадии становления⁵⁸. В годы войны посол Королевства Сербии в США профессор М. Пупин в своих публичных выступлениях постоянно клеймил болгар, не являвшихся американскими гражданами. Плодом сербской пропаганды стало, в итоге, отношение у многих американцев к болгарским иммигрантам как к «немецким союзникам» и «врагам», особенно эти настроения усилились весной 1917 г., что вызвало в свою очередь, волну возвращения американских болгар на историческую родину⁵⁹. Болгарские эмигрантские лидеры к моменту вступления США в войну особое внимание уделяли судьбе Восточной Фракии. В 1914–1918 гг. 40-тысячная болгарская эмиграция (несмотря на небольшой процент интеллигенции в ее рядах) развернула в США активную общественно-политическую деятельность⁶⁰. С апреля 1917 г., когда США, наконец, отказались от нейтралитета и находились в состоянии войны с Германией, в болгарских периодических изданиях в Соединенных Штатах говорилось о том, что ради всеобщего примирения на Балканах после войны было бы целесообразно и справедливо передать Восточную Фракию Болгарии. Эту область до линии «Энос — Мидия» у Болгарии отняли по Бухарестскому договору 1913 г. и вернуть ее было бы справедливо по всем критериям (географическому, политическому, этническому)⁶¹. Поскольку администрация Вильсона не давала конкретных обещаний ни одному из балканских признанных и непризнанных правительств, то всю вторую половину 1917 г. политические лидеры болгарской эмиграции напряженно

размышляли над интерпретацией болгарских национальных интересов: совпадают они или, наоборот, не согласуются с геополитической стратегией официального Вашингтона. Серьезной проблемой для болгарских эмигрантов стал вопрос о пропаганде болгарского вопроса в Соединенных Штатах, воевавших с Германией, союзницей Болгарии. Объявив войну Германии, Северо-Американская республика заявила, что она не преследует завоевательных целей, подобно европейским империям, и ратует единственно за гармоничное мировое устройство по окончании войны⁶². С формальной точки зрения, президент Вильсон через подобные декларации косвенно признавал справедливые цели, которыми руководствовались в своих действиях болгарские эмигрантские организации. Кроме того, вступление Соединенных Штатов в войну не повлекло за собой разрыва дипломатических отношений между Вашингтоном и Софией. Это очень ободряло болгарских эмигрантов и подавало их соотечественникам в Европе новые надежды на американское покровительство и заступничество после войны⁶³. Не случайно именно в Соединенных Штатах 1–6 декабря 1918 г. прошел конгресс болгар. Его делегаты основали «Македонский болгарский центральный комитет» (МБЦК) с центром в Чикаго (по месту проведения конгресса и расположения одной из крупнейших болгарских диаспор в США). МБЦК выступал с требованиями свободы для исторической области Македонии с ее последующим присоединением к Болгарии⁶⁴.

В 1914–1918 гг. на территории США активизировалась деятельность эмигрантских организаций, представлявших выходцев из всех государств Балканского полуострова и славянских провинций Австро-Венгрии. Наиболее богатыми и влиятельными из них были хорватские общества, что объяснялось многочисленностью и сплоченностью хорватских колоний в Соединенных Штатах. Они стали ядром объединительного движения среди южнославянских эмигрантов, которое в 1915–1918 гг. вело активную пропаганду создания после войны на Балканах нового государства Югославии.

Главными результатами пропагандистских акций балканских эмигрантов за годы войны стало привлечение внимания правительства США и американской общественности к политическим и национальным проблемам народов Балканского полуострова. С 1914 по 1918 гг. от равнодушного восприятия новостей из Юго-Восточной Европы американское общественное мнение заметно эволюционировало в сторону постоянно растущего интереса к балканским проблемам⁶⁵.

В ходе переговорного процесса в Париже в 1919 г. представители всех без исключения эмигрантских организаций выходцев из стран Балканского полуострова пытались повлиять на позицию американской делегации. Американские дипломаты и сам президент

Вильсон честно старались применить принципы «новой дипломатии» на практике. Однако, опираясь, главным образом, на этнолингвистические критерии и исторические аргументы споривших сторон, американцам не удалось достичь желаемого положительного эффекта в переговорах по наиболее злободневным балканским вопросам («адриатическому», «македонскому», «греческому» и т. д.)

По окончании конференции в Париже у многих современников событий еще продолжали жить надежды, возложенные на «новую дипломатию». Президент Вильсон и его сторонники тоже рассчитывали, что неудачи американской делегации в переговорах о конкретных границах в Европе, будут компенсированы после того, как Конгресс Соединенных Штатов ратифицирует Версальский договор и самую важную его часть — Устав Лиги наций. Однако по ряду причин, связанных в основном с перипетиями внутренней политики США, этого не произошло.

Рефлексия американского общества после первой мировой войны во многом объясняет угасание интереса Америки к балканским вопросам как важнейшей части европейского направления своей внешней политики. В 1920 г. профессор Д. Геррон, эмиссар В. Вильсона в 1918–1919 гг. и друг Э. Хауза, писал видному деятелю македонской эмиграции в Швейцарии Константину Стефанову: «Америку целиком захлестнули реакция и партийная борьба, и поэтому балканским народам не следует более рассчитывать на американскую помощь в ближайшее время»⁶⁶.

Положение эмигрантов-славян в США стало в послевоенный период более сложным. Еще в конце войны американская правительственная пропаганда сумела привить своим гражданам чувство крайне подозрительного отношения к «неамериканцам», иммигрантам, которые не спешили принимать американское гражданство и всячески высказывать лояльность властям США. Инерция этого отношения была использована для введения ряда новых ограничительных законов, направленных против «периферии» американской нации, в состав которой входили и иммигранты «новой волны» из Юго-Восточной Европы. В 1921 г. был принят «Акт о въездных квотах» (Акт Джонсона). По нему количество въезжающих в страну иностранцев ограничивалось по национальному принципу. Иммиграция из Юго-Восточной Европы резко свернулась, так как ежегодные квоты в большинстве случаев составляли меньше четверти от числа въезжавших до Первой мировой войны⁶⁷.

Закон об иммигрантах 1921 г. показался многим сторонникам «американизации» недостаточно строгим. Но вскоре был принят новый акт, который воистину для желающих переселиться в США стал «драконовским». Иммиграционный закон 1924 г. (Акт Джонсона—Рида) сократил ежегодную квоту въезда в страну до 165 000 человек,

что составляло меньше одной пятой общего числа иммигрантов в год в довоенный период. Для каждой нации была определена своя квота: 2 % от иммигрировавших по переписи 1890 г. Этот факт показывал, против кого он был, прежде всего, направлен. Выбор 1890 г. как базового при расчетах квоты был крайне неблагоприятен для выходцев из Южной и Восточной Европы, так как в этот год количество иммигрантов из этого европейского региона было небольшим. Отныне ежегодные квоты для итальянцев, греков, славян и представителей других национальностей из этой части Европы составляли только около 3 % от довоенного уровня. Закон 1924 г. стал препятствием для въезда в Соединенные Штаты всех иностранцев, не имевших права на получение гражданства. Таким образом, американскими властями был поставлен иммиграционный щит от Азии и Юго-Восточной Европы.

Специфика закона 1924 г. была не только в резком сокращении иммиграционного потока в США, но и в том, что его статьи предусматривали тщательную селекцию желающих получить въездную визу. В ходе особой процедуры проводился отбор тех, кто наиболее «подходил» для американского общества⁶⁸.

Введенные ограничения нашли широкую поддержку в массах. Сенатор Джонсон, один из основных творцов законодательного проекта 1924 г., так обобщил причины популярности нового закона: «Американский народ увидел совершенно отчетливо опасности иностранного „наводнения“ для его жизни. Американцы пришли к осознанию того, что этот ничем не ограничиваемый поток индивидов другой расы или происхождения угрожает институтам, которые создали и сохраняют американские свободы. Неудивительно, что миф плавильного котла себя дискредитировал. Неудивительно, что американцы повсюду настаивают, чтобы их земля прекратила быть свободным и беспрепятственным приютом для всего остального мира... Соединенные Штаты — наша земля. Если она не была землей наших отцов, то, по крайней мере, ей следует стать землей наших детей. Мы намерены отстаивать ее в таком качестве. Время ничем не омраченного гостеприимства для всех народов, время неограниченного принятия всех рас, определенно закончилось»⁶⁹.

В первой половине 1920-х гг. (когда вошли в силу новые ограничительные законы по иммиграции) из одних только бывших провинций Австро-Венгрии свыше 83 тысяч хорватов переселились в Америку. 38 000 человек вернулись в Югославию в 1919–1924 гг. Многие не смогли вернуться в Америку после вступления в силу вышеупомянутых ограничительных иммиграционных актов. Дж. Пррик приводит следующие цифры по югославской эмиграции первой половины 1920-х гг.:

- 60 % всех эмигрантов из Королевства СХС после 1918 г. были хорватами;
- число эмигрантов-черногорцев в 1925 г. равнялось 8 000 человек;
- в начале 1920-х гг. из общего числа эмигрировавших из Королевства СХС в Соединенные штаты сербов было только 15 % (причем, их часто считали в американских иммиграционных службах вместе с македонцами и болгарами)⁷⁰.

Иммигрантская квота для выезжающих из Югославии была 671 человек в год. (Позже она выросла до 942.) Болгарская квота составляла только сто человек в год⁷¹.

Сразу после войны тысячи болгар вернулись на родину из Америки. Но с 1919 г. стала наблюдаться обратная тенденция — некоторые снова, уже с семьями возвращались в США⁷².

Политика «американизации» иммигрантов принесла свои плоды уже в начале 1920-х гг. Миллионы иностранцев были натурализованы, впоследствии получили американское гражданство и постепенно ассимилировались в американскую культуру в ее англосаксонском варианте. Часть выходцев с Балкан разделили эту долю. Однако послевоенная Америка знала и примеры обратной реакции славянских иммигрантов с Балканского полуострова на попытки их полной ассимиляции в американское общество. Так, на главной улице в Кливленде (штат Огайо) в 1924 г. словенцы построили Словенский Национальный Дом. Строительство потребовало значительных вложений от словенских землячеств. Общая сумма затрат на сооружение этого символа сохранения своей национальной идентичности составила 300 000 долларов⁷³.

Кроме того, как и прежде, в крупных американских городах продолжали существовать большие землячества и общественные и политические организации иммигрантов из балканских стран. Их представители не ассоциировали себя полностью с американской нацией. Деятельность подобных организаций и обществ была нацелена на изменение ситуации в Старом Крае. Сохранение культурной самобытности, обычаев, изучение своего национального языка детьми иммигрантов, верность религиозным традициям, принятым на исторической родине, явились своеобразным протестом навязываемой с военных лет ассимиляции со всем американским. Неудача эксперимента «стоцентной американизации» показала, насколько воля каждой отдельной личности связана с национальными переживаниями, и что последние могут противостоять навязываемой государственной идеологии унификации⁷⁴.

В послевоенный период каждая политическая новость из Старого Края вызывала всплеск эмоций в эмигрантской среде выходцев с Балкан на территории США. Например, события в Югославии

после 1920 г. всегда вызывали бурную реакцию американских югославы и сказывались на отношениях между славянскими диаспорами в США⁷⁵. В целом можно констатировать факт, что решения Парижской мирной конференции и их последствия отделили американских сербов от остальных югославы-эмигрантов в Соединенных Штатах⁷⁶.

В 1920-х гг. вторым излюбленным сюжетом американской иммигрантской прессы было освещение борьбы Внутренней македонской революционной организации (ВМРО). В октябре 1922 г. в Форт-Уэйне (штат Индиана) состоялся конгресс македонцев. Присутствовали делегаты из 15 американских городов. В ходе работы конгресса было принято решение о создании Македонской патриотической организации, представлявшей собой союз всех македонских политических объединений в Америке, Канаде и Австралии. Ее центр находился в Индианаполисе (штат Индиана). Целью организации стала поддержка деятельности ВМРО в Европе⁷⁷.

Таким образом, по результатам исследования деятельности эмигрантских организаций, созданных выходцами с Балкан, можно сделать следующие выводы.

Фаза особо повышенной активности для деятельности эмигрантов из балканских стран на территории США наступила с начала Первой мировой войны.

Правительства балканских государств в годы американского военного нейтралитета пытались заручиться финансовой и дипломатической поддержкой Соединенных Штатов для осуществления проектов создания «национальных» государств по окончании войны. Несмотря на ограничения военного времени, общественно-политическая атмосфера США в 1914–1917 гг. оставалась достаточно благоприятной для активизации деятельности иммигрантских организаций выходцев с Балкан, имевшей своей целью всестороннюю помощь Старому Краю.

Особый размах приобрело югославянское объединительное движение, инициированное хорватской и словенской диаспорами в США. На последнем этапе войны цели движения совпали с миротворческими инициативами президента В. Вильсона, что позволяло югославским политикам надеяться на помощь США в осуществлении их проектов по окончании боев в Европе. Несмотря на внутренние противоречия, движение сумело развернуть на территории Соединенных Штатов пропаганду своих идей и привлечь внимание общественности США к балканской проблематике. Американское правительство не занималось прямой поддержкой политических и экономических акций балканских эмигрантов, но и не препятствовало им в оказании всесторонней помощи их собратьям на Балканах. Выросшая за годы войны мощь Соединенных Штатов и принципы

«новой дипломатии» В. Вильсона позволяли эмигрантам с Балканского полуострова надеяться на то, что после победы Антанты, США помогут решить вопрос о судьбе их народа «справедливо». Разногласия в югославянском движении, разобщенность в действиях других балканских эмигрантских групп в Соединенных Штатах уже в годы войны продемонстрировали то, что разные силы, претендовавшие на роль хозяев на Балканах, понимали справедливость каждая по-своему и находились между собой в состоянии жесткой конфронтации. Защиту национальных интересов своего народа его представители в эмигрантской среде понимали, как правило, через призму решения вопроса о новых границах и территориальных образованиях на Балканском полуострове.

Отношение первой и второй администраций Вильсона к эмигрантской пропаганде в 1914–1918 гг., их нежелание поддержать какую-либо из сторон указывало на то, что Соединенные Штаты заняли выжидательную позицию, и что американская внешняя политика и далее была готова признать «справедливыми» только те решения по Балканам, которые не расходились с ее общими интересами в Европе.

По окончании Первой мировой войны, после неудачи американской дипломатии в Париже в 1919 г. и отказа Конгресса ратифицировать Версальские соглашения наступил новый период в жизни эмигрантов, выходцев из стран Балканского полуострова. Из-за ужесточения американского иммиграционного законодательства потоки мигрантов из Юго-Восточной Европы в США значительно уменьшились. Эмиграция по-прежнему оставалась разобщенной по национальному признаку. Большинство славянских общин испытали на себе давление кампании «тотальной американизации» и ответили на этот вызов подъемом национального самосознания в эмигрантской среде. Каждая из славянских диаспор независимо от действий остальных славянских общин и общего снижения интереса к Балканам со стороны американского правительства, продолжала поддерживать отношения со своей старой родиной, живо реагируя на события, происходившие в Старом Свете.

П Р И М Е Ч А Н И Я

¹ The Balkan States. Economic. London, Humphrey Milford. Oxford univ. press, 1936. P. 134; Статистику по увеличению (уменьшению) иностранного населения по стране рождения для США в годы войны 1914–1918 гг. см.: Table 5 // U. S. Bureau of the Census. In 3 vols. Washington, 1922. Vol. 2. P. 696.

² The Immigrants' Influence on Wilson's peace policies. Lexington: Univ. of Kentucky press, 1967. P. 174.

- ³ Архив внешней политики Российской империи (далее — АВПРИ). Ф. «Особый политический отдел». Оп. 474. Д. 343. Л. 11. Записка д-ра Франко Антоновича Поточняка «Сербы, хорваты и словенцы в Северной Америке», 4 июля 1916 г.
- ⁴ Там же. Л. 11–12; Там же. Ф. «Особый политический отдел». Оп. 474. Д. 343. Л. 71. Записка словенца Ф. Л. Тумы «О словенцах в Америке», 25 мая 1916 г.
- ⁵ The Immigrants' Influence... P. 174; Об изменении границ на Балканах в первой четверти XX в. и сложности учета эмигрантов из балканских стран по национальному признаку см.: Changes Due to World War Which Affect Comparability of Statistics // U. S. Bureau of the Census. In 3 vols. Washington, 1922. Vol. 2. P. 687.
- ⁶ The Balkan States. Economic... P. 3–4.
- ⁷ The Immigrants' Influence... P. 175.
- ⁸ АВПРИ. Ф. «Особый политический отдел». Оп. 474. Д. 343. Л. 13–15.
- ⁹ Там же. Л. 15.
- ¹⁰ Prpic G. J. South Slavic Immigration in America. Boston, 1978. P. 68–69.
- ¹¹ Ibid. P. 214.
- ¹² Виноградов В. Н. На руинах многонациональных империй // Первая мировая война. Пролог XX века. М., 1999. С. 328–329.
- ¹³ АВПРИ. Ф. «Особый политический отдел». Оп. 474. Д. 343. Л. 17.
- ¹⁴ Prpic G. J. South Slavic Immigration in America... P. 94.
- ¹⁵ Mamatay V. S. The United States and East Central Europe. 1914–1918. Princeton, 1957. P. 114–118.
- ¹⁶ АВПРИ. Ф. «Особый политический отдел». Оп. 474. Д. 343. Л. 21.
- ¹⁷ АВПРИ. Ф. «Особый политический архив». Оп. 474. Д. 343. Л. 34 об., 35, 35 об. Копия совершенно доверительного донесения Генерального Консула в Чикаго Волкова от 7/20 ноября 1916 г. за № 3130.
- ¹⁸ Например, д-р Анте Бианкини — далматинец по происхождению, председатель Югославянского комитета США и член Югославянского комитета в Лондоне, был казначеем богатой политической организации «Хорватская Лига», издавал за свой счет ежедневную газету «Хрватска Застава»; один из лидеров югославянского национального движения в Северной Америке, был натурализованным американским гражданином. См.: АВПРИ. Ф. «Особый политический отдел». Оп. 474. Д. 343. Л. 40–40 об. Копия совершенно доверительного донесения Генерального Консула в Чикаго А. Волкова от 12/25 ноября 1916 г. за № 3197.
- ¹⁹ Существовало два основных проекта создания после войны государства Югославия. Первый предлагал образовать триединое королевство сербов, хорватов и словенцев, где все три народа будут равноправны и одинаково представлены в органах власти. Смысл второго проекта заключался в объединении всех южнославянских земель вокруг Сербии (Великая Сербия). См. подробнее: Писарев Ю. А. Сербия на Голгофе и политика великих держав. 1916 г. М., 1993. С. 183–187.
- ²⁰ Krmpotic M. Are Italy's Claims on Istria, Dalmatia and Islands Justified; On Great Serbia // The Immigrants' Influence... P. 178
- ²¹ Papers Relating to the Foreign Relations of the United States (далее FRUS). 1917. Washington, 1931. P. 40; История Югославии. М., 1963 Т.1. С.671; Турок В. М. Очерки истории Австрии, 1918–1929. М., 1955. С. 58–59; Виноградов В. Н. На руинах многонациональных империй // Первая мировая война. Пролог XX века. М., 1999. С. 330.
- ²² The Immigrants' Influence... P. 181.
- ²³ Архив полковника Хауза: В 4 т. М., 1937–1944. Т. 3. С. 234–236.

- ²⁴ Там же. С. 224; Письмо Вильсона Хаузу о создании «Инквайри» («Исследование») от 2 сентября 1917г. // *Baker R. S. Woodrow Wilson. Life and Letters.* New York, 1939. Vol. 7. War Leader (6.04.1917–28.02.1918). P. 254.
- ²⁵ *Gelfand L. E. The Inquiry.* London, 1963. P. 184.
- ²⁶ Один из руководителей «Исследования» У. Линпман в мае 1918 г. так пояснил важность работы бюро для его страны: «Несложно выиграть войну и проиграть мир» (FRUS. Paris Peace Conference. Washington, 1942. Vol. 1. P. 98).
- ²⁷ *Gelfand L. E. The Inquiry.* P. 15, 46; *Baker R. S. Woodrow Wilson and World Settlement.* Vol. 3. London, 1923. P. 67–78.
- ²⁸ Бухарестский мирный договор, завершивший вторую балканскую войну, закрепил новые границы на Балканах. Сербия получила многие болгарские владения. Греция, кроме Южной Македонии с Салониками, часть западной Фракии. Часть восточной Фракии с Адрианополем вернулась к Турции, а Румыния приобрела южную Добруджу (История дипломатии. М., 1945. Т. 2. С. 234).
- ²⁹ *Baker R. S. Woodrow Wilson and World Settlement...* P. 36–37.
- ³⁰ История дипломатии... С. 366; *The Immigrants' Influence...* P. 203; *Documents of American History.* New York, 1940. P. 319–323.
- ³¹ Архив полковника Хауза... Т. 3. С. 235.
- ³² *The Immigrants' Influence...* P. 191–192.
- ³³ *Ibid.* P. 189.
- ³⁴ *Serbia and Europe. 1914–1920.* London, 1920. P. 92.
- ³⁵ АВПРИ. Ф. «Особый политический архив». Оп. 474. Д. 343. Л. 53.
- ³⁶ Там же. Л. 42 об.
- ³⁷ *Писарев Ю. А. Сербия на Голгофе...* С. 164. Приложение № 1. Проекты создания югославянского государства.
- ³⁸ FRUS. 1914. Supplement. The World War. Washington, 1928. P. 547–551, 562, 568, 581–583.
- ³⁹ Enlistment of Americans in foreign armies // FRUS. 1915. US 64-th Congr., 1-st Sess. House Doc. 1364. Washington, 1924. P.25.
- ⁴⁰ *Ibid.* P. 25.
- ⁴¹ АВПРИ. Ф. «Политархив». Оп. 482. Д. 4031. Л. 1.
- ⁴² Там же. Л. 4, 4 об.
- ⁴³ Новое время. 22.V.1916.
- ⁴⁴ *Cizmic I. Jugoslavenski iseljeicki pokret u SAD i stvaranje jugoslavenske države 1918.* Zagreb, 1974. S. 301.
- ⁴⁵ *Ibid.* S. 300.
- ⁴⁶ *Ibid.* S. 214, 220.
- ⁴⁷ АВПРИ. Ф. «Политархив». Оп. 482. Д. 4031. Л. 26, 42.
- ⁴⁸ *Prpic G. J. South Slavic Immigration in America...* P. 97.
- ⁴⁹ АВПРИ. Ф. «Политархив». Оп. 482. Д. 4031. Л. 20 об., 21.
- ⁵⁰ US 66-th Congress. 1-st Sess. Senate Doc. No.106. Committee on Foreign Relations. US Senate (Hearings). Washington, 1919. P. 974.
- ⁵¹ *Rotkovic R. The Forms and Character of Cooperation between Emigrants and Yugoslavia // Iseljenstvo naroda i narodnosti Jugoslavije (Zbornik).* Zagreb, 1978. P. 724.
- ⁵² История македонского народа. Скопье, 1975. С. 226–228.
- ⁵³ *Cizmic I. Jugoslavenski iseljeicki pokret...* S. 206–207.

- ⁵⁴ Писарев Ю. А. Великие державы и Черногория в годы первой мировой войны // Международные отношения на Балканах. М., 1974. С. 144.
- ⁵⁵ The Balkan States. Economic... P. 134.
- ⁵⁶ Ibid. P. 28–38.
- ⁵⁷ The Balkan in Transition. Los Angeles, 1963. P. 206–207.
- ⁵⁸ Митев Т. Македоно-българският Централен Комитет в САЩ. София, 1992. С. 30–31.
- ⁵⁹ Prpic G. J. South Slavic Immigration in America... P. 224–226.
- ⁶⁰ Ibid. P. 336–337.
- ⁶¹ Ibid. P. 123.
- ⁶² FRUS. 1917. US 65-th Congr., 2-d Sess., House Doc. 1357. Washington, 1926. P. IX–XI.
- ⁶³ Митев Т. Македоно-българският Централен Комитет в САЩ... С. 123–124.
- ⁶⁴ Там же. С. 337.
- ⁶⁵ Cizmic I. Jugoslavenski iseljeicki pokret ... P. 304.
- ⁶⁶ Doc. No. 57. // Миноски М. Соединетите Американски Држави и Македонија, 1869–1919 (Македонскиот вoпрос—Позиција США. Источници.). Скопје, 1994. С. 205.
- ⁶⁷ Immigration. A History of U. S. Immigration Policy. London; Cambridge (Mass.), 1982. P. 95.
- ⁶⁸ Text of the Immigration Act of 1924 // FRUS. 68-th Congress, No. 139. Appendix F. P. 73–84.
- ⁶⁹ Цит. по: Immigration. A History of U. S. Immigration Policy... P. 97. Примечание: «американизация» в иммигрантском законодательстве 1920-х гг. логически завершилась принятием в 1927 г. формальной системы квот, которая создавала систему благоприятствования по «национальному происхождению» представителям северной и западной европейских групп.
- ⁷⁰ Prpic G. J. South Slavic Immigration in America... P. 106–107, 174.
- ⁷¹ Ibid. P. 107.
- ⁷² Ibid. P. 226.
- ⁷³ Ibid. P. 161.
- ⁷⁴ Чертина З. С. Первая мировая война и этничность: пробуждение вулкана // Первая мировая война. Пролог XX века. М., 1999. С. 376–377.
- ⁷⁵ Prpic G. J. South Slavic Immigration in America... P. 109.
- ⁷⁶ Ibid. P. 191.
- ⁷⁷ Митев Т. Македонско-българският Централен Комитет в САЩ... С. 337; Prpic G. J. South Slavic Immigration in America... P. 231–232; АВПРФ. Ф. «Реферантура по Югославию» (1923). Оп. 6. Д. 8. Л. 5, 8–10. Сводка № 138. Резолюция комитета по организации манифестации македонских эмигрантов от 15 апреля 1923 г.

Никола Б. Попович
(Белград)

«Одиссея от Одессы до Красноярска...» Сербы в Сибири в 1919–1921 гг.

Бывшие военнослужащие австро-венгерской армии, происходившие из сербских земель Габсбургской монархии и оказавшиеся в первые годы Первой мировой войны в России, вместе с представителями других народов делили тяготы жизни в плену. У сербов наиболее тесные отношения сложились с чехами и словаками, что вполне понятно: все эти народы желали освободиться от австро-венгерской власти и образовать собственные национальные государства. С целью подорвать могущество Габсбургов при помощи российских властей были сформированы Сербский добровольческий корпус в Одессе, Чехословацкий корпус и Отделение чехословацкого народного совета для России (ОЧНС).

В первые месяцы 1918 г. Германия оккупировала огромные территории бывшей Российской империи (Белоруссию, Украину, Прибалтику) и вынудила сербские и чехословацкие военные части, дипломатов и политиков отправиться в далекий путь — на Волгу, а потом и в Сибирь. Части Сербского добровольческого корпуса через Архангельск и Мурманск были переправлены на Салоникский фронт. А консул Сербии Йован Миланкович 3 марта 1918 г., в день подписания Брестского мира, прибыл из Одессы в Самару, где открыл консульство. Одновременно в Поволжье перебрались и сербские отряды, сформированные из воинов, отколовшихся от Сербского добровольческого корпуса. Некоторые из этих сербов участвовали в боевых действиях против немцев, а также выступали на стороне большевиков, помогая им устанавливать советскую власть.

Мятеж Чехословацкого корпуса, начавшийся 25 мая 1918 г., более всего отразился на судьбе сербов (югославян) в Самаре, — как тех, кто входил в состав самостоятельных военных единиц или красноармейских формирований, так и тех, кто находился в городе в качестве гражданских лиц, перебиваясь чем придется. Проблема выживания в большей степени, чем идеологические мотивы, определила их отношение к действиям чехов.

Сербы помогли чехам овладеть Самарой. Первым к ним присоединился Жарко Магарашевич вместе со своим отрядом, который был ранее сформирован при помощи большевиков. Согласно донесению Миланковича, в тот момент, когда чехи приближались к Самаре, Магарашевич «выступил против большевиков и весьма поспособствовал освобождению этого города». Югославянский батальон

под командованием бывшего сербского полковника Воислава Гойковича находился в Самаре во время вступления чехов в город. Из состава батальона к чехам присоединилась группа офицеров и около ста солдат. Согласно заслуживающему доверия источнику, «во время чехословацкого восстания против большевиков в 1918 г. и позднее многие бывшие добровольцы Корпуса сербов, хорватов и словенцев (Сербского добровольческого корпуса) вместе с чехами воевали против большевиков. В боевых действиях участвовали как небольшие сербские отряды, так и отдельные лица, служившие в чешских частях».

Хорват Амброз Премужич и словенец Гаспар Пекле, отколовшиеся от Сербского добровольческого корпуса, сформировали в Самаре Первый югославянский полк в 800 человек, вошедший в состав Чехословацкого корпуса. Их целью было создание «югославянской революционной армии», независимой от Королевства Сербия. Премужич и Пекле организовали в Екатеринбурге Югославянскую комиссию при ОЧНС, которая по их замыслу должна была стать «верховным органом сербско-хорватско-словенской организации в России». Создание комиссии было частью плана чехов из ОЧНС путем мобилизации югославян создать революционную армию «для разрушения Австро-Венгрии».

Югославянская комиссия, пользуясь материальной и политической поддержкой ОЧНС и французской миссии в Сибири, развила бурную деятельность. Культурно-агитационный отдел комиссии издавал газету «Югословен» («Югослав»), выступал в роли организационного и политического центра. Территория Поволжья и Сибири была поделена на пять частей, получивших название «Югославянские сборные пункты» (Самарский, Екатеринбургский, Тюменский, Омский, Томский). В каждый из них была направлена группа эмиссаров. В «Инструкции эмиссарам, направленным на сборные пункты», говорилось, что на события в России следует смотреть в том ключе, что Германия с помощью наемных агентов поселила смуту в эту огромную страну с целью ее порабощения. Смысл собственных действий авторы инструкции видели так: «Мы не должны дело нашего освобождения уступать другим. Иначе нашу судьбу будут решать, не спрашивая нас... Мы хотим не „Великую Сербию“, а свободную Югославию, в которой серб, хорват и словенец будут иметь одинаковые права и обязанности, в которой не будет ни религиозных, ни политических, ни национальных отличий».

Во второй половине 1918 г. Югославянской комиссии при ОЧНС удалось собрать в Томске значительное число югославян, бывших военнопленных. Часть их вступила в организованный комиссией 1-й югославянский полк «Матия Губец». В полку было 1700 человек, по большей части хорватов и словенцев (сербов было 300 человек).

Параллельно с Югославянской комиссией в духе официальной сербской политики действовал консул Миланкович, в конце июня переехавший в Омск. Миланкович контролировал три военных отряда. Первый из них — батальон майора Мати Благодича, который в начале августа вместе с чехами участвовал в борьбе за Казань. В ходе боевых действий майор Благодич был убит. Обезглавленный батальон в начале сентября в Самаре привел поручик Чедомир Протич. Здесь находился сформированный капитаном Иваном Божичем и самим Миланковичем второй отряд, слившийся с бойцами Благодича. Третий отряд под руководством подпоручика Янко Ковачевича появился в Челябинске в конце июня 1918 г. Эти части стали ядром более многочисленного и лучше вооруженного формирования, верного сербским добровольческим идеалам и военным традициям.

Миланкович и его доверенные лица с 8 по 12 сентября 1918 г. провели в Челябинске «Скупщину югославянских групп и организаций». Скупщина приняла резолюцию, которая хорошо проясняет цель ее созыва: «...Сейчас, когда Россия стала подниматься на ноги, все сербы, хорваты и словенцы, разбросанные по всей России, должны объединиться и помочь братьям чехословакам и союзникам возродить Россию. Ибо только с помощью свободной России мы сможем вернуться в наше общее освобожденное отечество...» Ставились вполне конкретные задачи: «1. Считая сербов, хорватов и словенцев представителями одного народа, который стремится к культурному, национальному и политическому единству, скупщина приходит к выводу, что и здесь в России, а также в других частях света, имеет право существовать только одна организация, только один политический и военный курс, который следует проводить в тесном контакте с нашим естественным и главнейшим представителем Королевством Сербия. Никакие другие обособленные действия не допустимы, так как они были бы на руку Австрии, создавшей, для того чтобы помешать естественному решению югославянского вопроса, свое „югославянское“ движение — так называемый триализм. 2. Для консолидации организационной, агитационной, политической и военной деятельности необходимо избрать один верховный орган всех югославян в России. 3. Созывается Временный югославянский народный комитет в России (ВЮНК), который будет действовать до тех пор, пока все югославянские военные и политические организации в России, стоящие на позиции полного освобождения и объединения всех сербов, хорватов и словенцев, не изберут вышеуказанный верховный орган. 4. ВЮНК руководствуется совместным курсом и предписаниями Королевского сербского правительства и Югославянского комитета в Лондоне». Было принято решение о том, что политическим рупором ВЮНК станет газета «Уединенье» («Объединение»).

Работа скупщины и ВЮНК до февраля 1919 г. финансировалась из казны батальона в Челябинске (65 тысяч рублей) и батальона майора Благодича (70 тысяч). В феврале 1919 г. правительство Колчака открыло ВЮНК кредит в 25 тысяч рублей под гарантии югославянского государства. 25 сентября 1918 г. на заседании ВЮНК было принято решение объединить батальон в Челябинске, батальон майора Благодича и пять отрядов из Самары в новое формирование под названием Добровольческий полк сербов, хорватов и словенцев имени майора Благодича. Командиром нового соединения был назначен капитан Маринкович. С 15 октября 1918 г. полк вошел в состав колчаковского Уральского корпуса.

Регистрация всех югославян в Сибири и установление связей со всеми югославянскими отрядами оказались для ВЮНК непосильной задачей. Примечательно донесение санитарного капитана первого класса Драгутина Костича от 29 января 1919 г., который два раза «проехал по маршруту Иркутск — Челябинск и один раз по маршруту Челябинск — Владивосток».

К первой группе («наши официальные части») Костич относил:

«1. Полк „майора Благодича“ в Челябинске в составе 5000 (человек),

2. Сербский отряд во Владивостоке числом 200 человек.

Полком командует артиллерийский капитан первого класса М. Маринкович, отрядом — резервный пехотный подпоручик Риста Ристич, бывший в мирное время инженером общины города Белграда.

Ко второй группе относятся следующие части:

1. Сербский отряд по охране города Тюмени. 270 человек. Командует прапорщик Перко, бывший унтер-офицер Сербского добровольческого корпуса.

2. Сербско-чешский эскадрон в Бугульме. 200 человек. Командует также наш бывший унтер-офицер Магарашевич.

3. Сербский отряд гарнизонной службы в Омске. 260 человек. Отрядом командует бывший денщик подпоручика Урбанчича, теперь русский капитан первого класса Богдан Джурджилев.

4. Сербский отряд по охране железной дороги Троицк — Оренбург. 100 человек, под командованием прапорщика Мандича, бывшего унтер-офицера Сербского добровольческого корпуса.

5. В Омске на службе в полиции 100 бывших наших солдат под русским командованием.

6. В отряде казачьего атамана Анненкова сербский эскадрон из 150 солдат под командованием нашего рядового, теперь русского поручика Душана Милошевича.

7. В отряде атамана Семенова сербский кавалерийский дивизион силой в 250 человек под командованием бывшего нашего офицера,

сейчас русского подполковника черногорца Драговича и бывшего нашего офицера хорвата Пишкулича, свидетеля со стороны венгерского правительства на Загребском процессе по делу о государственной измене сербов.

8. Сербский отряд по охране Маньчжурской железной дороги... 300 человек под русским командованием.

9. Сербский батальон по охране города Саратова на Волге. 700 человек под командованием бывшего унтер-офицера Радаковича. Этот батальон находится в районе, контролируемом большевиками, но занимает нейтральную позицию.

10. 50 солдат под русским командованием в отряде Калмыкова в Хабаровске на Амуре.

11. В полиции Владивостока 75 наших бывших солдат. Всего 7655».

В третью группу Костич записал «наших бывших военнослужащих, которые находятся на свободе, занимаются торговлей, ремеслом, а по большей части спекуляцией».

В четвертую группу входили пленные. Костич пишет, что с мая 1918 г. чехи охраняют все лагеря в Сибири, и что, по их сведениям, хорватов, словенцев и боснийцев-мусульман в плену находится около семи тысяч. Дальше пишет, что объехал все лагеря для военнопленных от Челябинска, до Иркутска и не нашел в них ни одного серба. «А хорваты, словенцы и боснийцы-мусульмане всегда от меня скрывались, боясь, как бы я их не забрал в армию. Поэтому количества их я не знаю». Примечательно, что капитан Костич не упомянул томский 1-й югославянский полк «Матия Губец» численностью в 1700 человек.

По состоянию морального духа Костич на первое место поставил челябинский полк и отряд во Владивостоке. Весьма интересны его наблюдения о мотивах участия сербов в борьбе с большевиками: «Каждый наш солдат охотно дрался с большевиками, так как в большевистской армии было 70 процентов венгров, 20 процентов немцев и 10 процентов русских. Борьбу с большевиками наши рассматривали как войну против Австрии... Немцев и венгров убивали, а русских жалели, прятали...»

Костич остановился и на деятельности Югославянской комиссии при ОЧНС. Пишет, что она пользуется исключительным вниманием чехов, которые ее, несмотря «на протесты наши и французской военной миссии, во всем поддерживают и финансируют». Поскольку капитан Костич это донесение адресовал военному министру в Белграде, то в конце он его просит, «чтобы наше правительство сразу приняло необходимые меры в отношении союзников, особенно чехов, с целью скорейшего аннулирования Югославянской комиссии в Сибири».

Вышеуказанная просьба отражала главную политическую задачу консула Миланковича, ВЮНК и их преданных сторонников. События на родине были им на руку. 1 декабря 1918 г. было провозглашено создание Королевства сербов, хорватов и словенцев (СХС), послужившее решающим толчком для объединения всех югославян, в том числе и в Сибири. Королевское правительство в Белграде интересовалось судьбой соотечественников, находившихся в тот момент в Сибири, и согласилось с тем, чтобы все сербские и югославянские военные формирования перешли под командование французского генерала Жанена, командующего союзническими войсками в Сибири. Об этом 21 января 1919 г. военная миссия Франции из Владивостока проинформировала консула Миланковича.

После многомесячных переговоров 11–12 марта 1919 г. наконец-то был согласован устав единой югославянской политической организации в Сибири, названной Югославянское национальное вече. Миланкович подписал этот устав 22 марта в Омске. Такое развитие событий означало полную политическую капитуляцию Югославянской комиссии при ОЧНС. 23 марта комиссия известила Миланковича, что 1 марта 1-й югославянский полк «Матия Губец» вышел из состава чехословацких войск в России и перешел под командование генерала Жанена, а 24 марта будет ликвидирована Югославянская комиссия при ОЧНС, которая просила «дипломатического представителя взять в свои руки все политико-гражданские функции нашей бывшей организации».

25 марта был упразднен и ВЮНК.

Югославянское национальное вече было учреждено 4 апреля. Королевскому правительству в Белграде сообщили его состав: «Председатель — инженер Божидар Еремич, серб из Срема, первый заместитель председателя — инженер Илия Чавлина, хорват из Далмации, второй заместитель председателя — банковский служащий Франо Шуштершич, словенец (из Триеста), третий заместитель председателя — инженер Константин Перич, серб из Баната, секретарь — Пайо (Павле) Грегориц, хорват из Загорья (Хорватия), кассир — Анте Добровольни, хорват из Хорватии, редактор „Югословенског уединења“ („Югославянского объединения“) — профессор Мирко Йованович, серб из Боснии».

Создание Югославянского национального вече не особенно способствовало развитию политической жизни сербов и югославян. Препятствием для более успешной деятельности были объективные условия, в которых они находились. В Сибири власти Колчака не удалось стабилизировать положение, организовать достаточно большую и сильную армию и оказать эффективное сопротивление Красной армии.

Наступление Красной армии на Урал и прорыв в Западную Сибирь нарушили планы югославянских политических и военных организаций. Перспективы желанного возвращения домой становились все более туманными. Единственным вопросом было, каким путем добираться домой? Через Дальний Восток, Тихий и Индийский океаны к Суэцкому каналу, или по суше через Европейскую часть России?

В Москве в исполкоме III Интернационала и в Югославянской группе при РКП(б) знали, что в Сибири находится около 10 тысяч югославын, что существуют два полка в Челябинске и Томске, есть маленькие отряды, при этом все югославыне «очень хотят как-нибудь вернуться домой. Колчак использует это, говоря им: путь в Сербию лежит через Россию — проложите его с оружием в руках». Большевики стремились путем подпольной политической деятельности в тылу у Колчака ослабить его власть и армию, подготовить почву для установления советской власти.

Миланковичу было ясно, какую позицию следует занять в Гражданской войне в России. В письме командиру полка в Челябинске от 31 марта 1919 г. он указывал: «Наша политическая позиция должна быть следующей: главнокомандующий — генерал Жанен. Он будет нашей моральной опорой и нашей вывеской. Но мы никогда не должны забывать, что мы автономная самостоятельная единица, представляющая свободное независимое государство. (Мы не должны координировать свои действия с румынскими, карпаторусскими и польскими силами.) Будем поддерживать русских (подчеркнуто в оригинале) всегда и в любом случае, насколько нам позволяют наши скромные силы. Это наша святая обязанность. Поэтому я никогда не принимал чешского покровительства. Постараюсь, чтобы и наш полк в Томске перешел с французского на русское кредитование». На вопрос командира I-го югославянского полка «Матия Губец», как себя вести, Миланкович ответил: «Политическое положение в Сибири для нас таково, что мы обязаны поддерживать правительство адмирала Колчака, признанное нашим королевством».

Участие сербских, югославянских частей в военных операциях против Красной армии летом 1919 г. свелось лишь к акциям полка имени майора Благодича, находившегося в Челябинске, Уфе и Златоусте на линии удара большевиков. Остальные формирования находились в глубине Сибири, и их возвращение на фронт было рискованным. Когда Челябинску стала угрожать опасность, командир полка имени майора Благодича капитан Владимир Павкович попросил генерала Жанена выделить вагоны для эвакуации. Жанен ответил, что полк находится на службе у «русских, которые распорядятся им по своему усмотрению», что это дело русского командующего Западным фронтом. Командующий генерал Сахаров

пригласил Павковича и сказал ему: «Я рассчитываю на то, что в данный момент сербы участвуют в борьбе, так как сейчас, очевидно, наступает перелом и делу большевиков приходит конец». Сербский командир не мог проигнорировать этот призыв, тем более что с родины поступило указание властей, чтобы полк дрался, как на своих границах, ибо этого «требуют жизненные интересы нашего Отечества».

Павкович повиновался, но на фронт послал не весь полк, а только три отряда по сто штыков, взвод пулеметчиков с двумя пулеметами системы «Максим», взвод с двумя пулеметами системы «Льюис» и эскадрон в 60 сабель. Командиром соединения был назначен капитан второго класса Шимунич. 23 июля 1919 г. под Челябинском соединение, как утверждал источник, вступило в бой с 12 тысячами большевиков. Сербы сражались храбро, но имели мало патронов, а их пехота была атакована более многочисленной красной конницей, принудившей противника отступить. В том бою погибли Шимунич и несколько офицеров, а 150 солдат были убиты, или пропали без вести.

Павкович 2 августа послал адмиралу Колчаку донесение, в котором просил сосредоточить полк в Красноярске; адмирал не возражал. Когда колчаковская армия стремительно отступала на восток, за ней следовали консул Миланкович с окружением и войсками. 14 ноября Красная армия вошла в Омск, а Миланкович и его люди уже были в Иркутске, где стали свидетелями развала армии и властных структур Колчака. Б. Еремич, бывший председатель Югославянского национального вече (к тому времени упраздненного), 10 декабря писал Миланковичу, добравшемуся до Харбина: «Нам нужно как можно быстрее выбираться из этой каши. Хватит с нас Одиссеи от Одессы до Красноярска». Миланкович так отвечал: «Я только беспокоюсь о наших войсках, которые находятся как раз посреди этой русской „каши“. На счастье, у нашего полка в Красноярске есть на станции свои эшелоны, приспособленные к зимнему путешествию. В Нижне-Удинске Югославянский полк („Матия Губец“), охраняя пути, тоже живет в вагонах. В случае необходимости у него будет возможность прорваться на Восток».

Но судьба распорядилась иначе. В январе-феврале 1920 г. Красная армия взяла в плен около 2 тысяч военнослужащих полка имени майора Благодича, которых советская власть зачислила затем в 1-ю енисейскую военно-инженерную рабочую бригаду в Красноярске. Сдались около 700 солдат и офицеров полка «Матия Губец», которых определили в 3-й батальон железнодорожной охраны в Ачинске. В составе этих частей югославы оставались до 1921 г., вплоть до возвращения домой. Бывших колчаковцев регулярно посещали агитаторы — члены Югославянской группы при РКП(б)

(позднее — Центрального югославянского бюро агитации и пропаганды при ЦК РКП(б)).

Пребывание других организованных групп сербов и югославян в Сибири продолжалось до августа 1920 г. Их эвакуация была связана с прибытием Военной миссии Королевства СХС и нового поверенного в делах Божидара Пурича. Передача полномочий Миланковичем произошла 13 февраля 1920 г.

Шеф военной миссии подполковник Жарко Мичич 15 августа 1920 г. докладывал Военному министерству в Белграде: «3 августа отправил отсюда (из Владивостока) наших подданных на пароходе „Гималая“. Отправлено 648 офицеров и солдат и 393 наших подданных. [...] Миссия в основном закончила свою работу. Приступили к ликвидации». Пурич рапортовал: «Эвакуация завершена. Миссия ликвидирована. 12 августа отправляюсь в Америку»...

Перевод Александра Силкина

Русский дом

Одной из стран, где они нашли сначала временное пристанище, а потом и постоянное место проживания, свой дом, стала Сербия. Для одних она стала матерью, другие считали себя пасынками. «Ананасы в шампанском» для избранных и тяжелый, зачастую физический, труд для незваных. Цвет интеллигенции, сравнительно легко находящей поле деятельности, и масса боевых офицеров в мирной стране. Молодые мечты и погасшие идеалы. Все это были полярные точки той жизни, в которой некоторые обретали второе дыхание, иные — утрачивали смысл бытия. Одни видели в сербах братьев по крови, религии, оружию. Другие, не встретив должного приема на сербской земле и видя величественный памятник, воздвигнутый в центре Белграда Франции, а не России как освободительнице, недвусмысленно обвиняли сербов в неблагодарности. И рисуя историческое полотно обживания Сербии русскими, не следует забывать, что, обогащая сербскую культуру, русские на новом месте не стремились раствориться в «сербском море». И прежде чем перейти к русским людям, чьи имена сохранила бумага, память, история, надо отдать должное безымянной эмиграции в солдатских рубашках, внесших свой труд на строительство дорог, мостов и других сооружений, так нужных стране, восстанавливавшейся после войны.

Вглядываясь в неясное лицо русской эмигрантской интеллигенции с ее поденщиной и творчеством, руганью по адресу жидомасонов и любовью к Родине, рефлексией и самоорганизацией, неизбывной страстью к политике и отвращением к ней, начинаешь поневоле искать схему, точнее, нечто идеальное, свободное от внешних воздействий, ту опору, исстари присущую России, славянству. Итак, опять славянская идея, славянофильство, панславизм! Да, действительно речь пойдет и о том самом неуничтожимом и неподвластном времени феномене, появляющемся на разных этапах истории под разными названиями, обо всем том, что связывало на протяжении веков славян — прежде всего сербов и русских — и служило почвой, позволяющей сравнительно легко укорениться десяткам тысяч русских, оказавшихся вне пределов России.

Судя по архивным документам, в начале 1920-х гг. в Королевстве сербов, хорватов и словенцев насчитывалось примерно 300 колоний русских беженцев. Больше всего русских было размещено в Сербии — около 200 колоний. Общая численность беженцев к середине

20-х гг. XX в. не превышала 35 тыс. человек. Управление русскими колониями было сосредоточено в государственной комиссии по русским беженцам, созданной в 1920 г. по предложению председателя Народной скупщины Л. Йовановича, ставшего ее первым руководителем. Однако вскоре по инициативе короля Александра, в прошлом воспитанника Пажеского корпуса, сохранившего любовь к России, новым главой госкомиссии был назначен выдающийся ученый, профессор Александр Белич. Страстный русофил, — «русский батка», как звали его беженцы, — он и на этом новом для себя поприще старался превратить для изгнанников Белград — как и Томаш Масарик Прагу — в своеобразные «русские Афины». Первоочередная задача комиссии состояла в приеме беженцев, обеспечении их кровом и врачебной помощью, а также в трудоустройстве через специально созданные «бюро труда». На содержание беженцев королевское правительство ежемесячно выделяло госкомиссии достаточно большие суммы денег. Беженцам был гарантирован ряд прав. В частности, лица свободных профессий (врачи, юристы, ученые и пр.) вначале совершенно не были стеснены в своих занятиях. Большинство из них сразу приняли на государственную службу. При назначении пенсии учитывалась и служба в России. Министерство торговли и промышленности и Торговая палата не ставили каких-либо жестких ограничений беженцам при выдаче разрешений на право торговли или на открытие ремесленных заведений.

Будучи своеобразным сколком с русского общества, эмиграция по своему социальному, имущественному, культурному, политическому составу была чрезвычайно пестрой. Хотя тут же необходимо сказать, что для Югославии она была, прежде всего «профессорской». Еще живут те, кого учили русские специалисты, память о которых пока не умерла. Те же сербы помнили, что на Балканах рядом с ними сражались десятки тысяч русских солдат и офицеров. За время войны Россия предоставила Сербии кредиты на сумму свыше 100 млн рублей золотом.

И сербы стремились помочь своим славянским братьям, изгнанным из России. В 1928 г. был создан Русский культурный комитет, в правление которого вошли представители правительства и ученого мира. На первом заседании комитета 29 мая 1928 г. его председатель А. Белич подчеркнул, что целью новой организации является подъем и развитие тех граней жизни, «без которых особенно русский интеллигентный человек считает себя вычеркнутым из культурной жизни — науки, литературы и искусства, в которых он занимает достойное к общей части Славянства место». Было принято решение о том, что комитет сформирует Русскую публичную библиотеку, Русский литературно-художественный журнал, Русское книгоиздательство, Русский научный институт, художественные студии —

музыки, живописи, театра. Для реализации всех этих грандиозных замыслов были выделены значительные средства из государственной казны, хотя и для своих нужд денег не хватало.

* * *

Именно единовенная и единокровная Сербия приняла решение о строительстве Русского дома — уникального явления в среде российской диаспоры. Идея о создании этого центра русских культурных институций принадлежала А. Беличу и была поддержана королем Александром.

Дом был построен в стиле русского ампира в центре Белграда по проекту архитектора В. Ф. Баумгартена в 1931—1933 гг. При открытии Дома, получившего имя царя-мученика Николая II, А. Белич сказал: «Хотя только незначительная часть того, что Россия таила в своих недрах, дошло теперь до ведения иностранцев, все-таки и она была достаточной, чтобы пронеслась над миром культурная струя славянского духа исключительной красоты и силы... Этой части нашей земли, в которой мы живем, старому королевству Сербии — полуразрушенной, замученной, лишенной многих сотен тысяч лучших своих сынов, павших на войне — русские эмигранты оказали действительно существенную культурную помощь. Пройдет еще очень много времени и в строительстве новой культурной жизни нашей страны все еще будет чувствоваться участие русских интеллигентов, у нас живших». В стенах Русского дома находились Русско-сербские мужская и женская гимназии, начальная школа, Русская публичная библиотека, Русский научный институт, Русский общедоступный драматический театр, возглавляемый актером и режиссером А. Ф. Череповым, Русское музыкальное общество, союз Русских художников, военно-научные курсы, общество «Русский сокол», музей, посвященный императору Николаю II, а также музей Русской конницы, театральные труппы и зимний сад, бильярдная, литография, кинозал, зал для заседаний, комнаты отдыха, читальня, гимнастический зал. В его стенах находилась и домовая церковь. Новооткрытый Дом русской культуры стал центром политической, научной и культурной жизни русской эмиграции. И не только. Для немногих еще здравствующих Русских людей Дом русской культуры связан с учебой в русско-сербской гимназии. Уже название этого учебного заведения свидетельствовало о стремлении ее отцов-основателей (с российской стороны это, прежде всего — профессиональный педагог и славянский деятель Владимир Дмитриевич Плетнев, с сербской — Александр Белич) сделать все, чтобы гимназические выпускники, оставаясь русскими, сохранили «и понимание и знание и любовь к стране, которая в тяжелые годы проявила

себя истинным, бескорыстным другом... эти воспитанники должны были быть залогом будущей тесной связи между двумя народами». Здесь вспоминаются два выпускника: Никита Ильич Толстой, академик Российской Академии наук, и Андрей Витальевич Тарасьев, профессор Белградского университета. У них сложились разные судьбы, но одно несомненно общее — эти два человека, однокашники, сделали многое для упрочения и развития межславянских связей и для понимания славянства в мире. А тогда, в то далекое время, в гимназических классах, разместившихся в Доме русской культуры, молодежь учили не только светскому знанию, но и духовному, религиозному. И здесь надо назвать имена двух пастырей — Владислава Неклюдова и Георгия Флоровского.

В воспоминаниях об отце Владиславе есть такие строки: «Нас, детей, а затем подростков и юношей, покоряла и обезоруживала его безобидность и истинно христианское смирение. Он был воплощением доброты; чем-то напоминал старца Зосиму. В прошлом он был кадровым военным, прошел первую мировую войну, а затем гражданскую. В Белграде закончил Духовную Академию (Богословский факультет Белградского университета. — *В. К.*) и по призванию стал священником. Он любил молодежь, и мы к нему тянулись. Понимал и всегда находил нужное слово, чтобы поддержать в трудную минуту. Уроки, скорее собеседования, проходили оживленно и интересно. Многие запало в наши души навсегда. Наши сомнения и возражения о Владиславе терпеливо и с неизменным доброжелательством выслушивал и рассеивал, приводя примеры из нашей же жизни и делясь своим богатым жизненным опытом. На исповедь мы шли с душевным трепетом, а уходили успокоенные и очищенные. Его слова были особенно убедительны, так как их он подтверждал всей своей жизнью».

Навсегда запала в память тогдашней молодежи и личность о. Георгия Флоровского. «Летучий голландец» — так прозвали его гимназисты, постоянно видевшие его фигуру в греческой рясе с развевающимися при ходьбе рукавами, — был любим многими своими питомцами. В своих воспоминаниях бывшие гимназисты и гимназистки очень тепло и с сердечной дрожью писали о своем учителе и духовнике. «...Отец Георгий Флоровский! Кто не помнит „Летучего голландца“?! — Импозантная фигура, высокий, невероятно широкие рукава рясы, плюс еще увеличивающая его рост лиловая камиллавка, большие роговые очки, а за ними добрые, умные голубые глаза. Умница, высоко культурный, огромной эрудиции, не признававший учебников, он требовал отвечать по его объяснениям, так что приходилось записывать главные пункты заданного урока. Преподавал он интересно, мы его любили. Исповедовал он задушевно,

осторожно, не допытываясь, располагая душу к покаянию. А на следующий день как хорошо и тихо на душе».

Вчитываясь в эти строки воспоминаний, можно подумать, какая идиллия — нет ни тревог, ни потрясений, ни интриг. Да, своим детям, в прямом и переносном смысле, русское духовенство в Сербии — ставшей своеобразным Русским домом — стремилось передать все богатства слова и дела, накопленные христианством, православием.

Не забывать Россию, помнить ее, гордиться ее историей, литературой помогали книги из библиотеки Русского дома. После Тургеневской библиотеки в Париже она считалась самой ценной в Русском зарубежье с изумительной коллекцией дореволюционной литературы: русские люди, покидая Россию, везли с собой не только пресловутые бриллианты, но и любимые книги. Однако после освобождения Белграда в 1944 г. библиотека, в которую поступала вся литература, печатавшаяся в эмигрантском архипелаге, перестала существовать: одни книги были — к счастью — расташены, другим повезло меньше — сданы в макулатуру, сгорели вместе с комплектами газет и журналов в топке котельной Дома во время холодов. Лишь ее жалкие остатки в 1980-х гг. были увезены в теперешнюю Российскую государственную библиотеку, бывшую Ленинку.

Русский дом — это не только воспитание и образование молодежи, но и центр научных исследований. В Русском научном институте читали лекции такие ученые, как И. А. Ильин, П. Б. Струве, В. В. Зеньковский, С. Л. Франк, Н. О. Лосский, Г. В. Флоровский, А. А. Кизеветтер, литераторы Д. И. Мережковский, К. Д. Бальмонт, Е. П. Чириков. Институт устраивал и выступления З. Гиппиус, Д. Мережковского, К. Бальмонта и И. Северянина, шахматиста А. А. Алехина. Руководил этим уникальным научным учреждением Е. В. Спекторский, возглавлявший в царской России Киевский университет св. Владимира. Институт имел специальные отделения — гуманитарных наук (философия, язык, литература, социальные и исторические науки с военным отделом), естественных и математических. Лекции и семинары проводились не только в Белграде, но и в Загребе, Нови-Саде, Субботице, Сомборе, Скопле, Дубровнике и др. городах Югославии. Институт выделил ряд стипендий молодым талантливым исследователям, например К. П. Воронцу, чья последующая научно-исследовательская деятельность славила имя России и Сербии в области теоретической и прикладной механики. Выдающийся талант ученого успешно сочетался в нем с блестящей педагогической работой по подготовке научных кадров, привела к созданию широко известной белградской школы механики флуида. Весьма плодотворной была издательская деятельность. В частности, было выпущено 17 выпусков «Записок Русского

Научного Института в Белграде», ставших сейчас библиографической редкостью.

Русский дом представлял собой не только образовательный и научный центр русской эмиграции в Югославии, но и место проведения различных собраний, конференций, зачастую имевших политический характер. Надо напомнить, что в Сербии, как и на всей территории русского рассеяния, действовали различные русские военные союзы, имевшие свои отделения почти в каждой колонии. Наиболее мощной организацией являлся РОВС (Российский общевойсковой союз, создан в 1924 г.), центр которого до 1927 г. находился в Белграде. Формально он был зарегистрирован в качестве гуманитарной организации для моральной и материальной поддержки военных белоэмигрантов. Фактически союз создавался для борьбы с большевиками. В идеологии РОВС важное место отводилось трудам Ивана Ильина, чье имя на слуху у каждого русофила. Русское общество с его различными организациями и структурами делилось на два ярко выраженных крупных лагеря — «пораженцев» и «оборонцев». Первые видели возможность свержения большевизма и, соответственно, освобождения страны через иностранную интервенцию. Вторые защищали тезис о том, что какая бы ни была власть, но Родину необходимо защищать. Наиболее последовательными сторонниками лозунга «Ни пяди русской земли» выступали младороссы. Политическая программа «Союза младороссов» с их коронным лозунгом «ни белые, ни красные, но русские» представляла собой смесь монархизма с социализмом и национализмом. С именем И. И. Толстого — активного деятеля в «Союзе младороссов», где он был политруком, что страшно шокировало многих эмигрантов — связана обошедшая страницы многих зарубежных изданий жесткая полемика с «пораженцами». Диспут был связан с событиями на КВЖД и угрозами СССР со стороны Японии. Собрание происходило в 1934 г. в Русском доме. Основной доклад делал бывший марксист и бывший ленинский соратник, автор программы РСДРП П. Б. Струве, призывавший эмиграцию быть вместе с Японией. И. И. Толстой же заявлял, что эмиграция, во всяком случае, молодая, не будет на стороне врагов России. Известный В. В. Шульгин предлагал залу поразмыслить о возможности ассимиляции немцев русскими, проводя параллель с норманнами. Фактически диспут получился с элементами скандала. Тогдашняя атмосфера в зале была передана в стихотворении, которое здесь воспроизводится, благодаря памяти присутствовавшего там Н. И. Толстого.

*Разрезал воздух звук сирены
нам с политической арены.
К развлечению Белграда
было сразу два доклада.*

*и младоросский политрук
доволен был женой, обедом,
но не доволен славным дедом,
и в политическом угаре*

*В одном, трягнувши бородой,
явился Струве пред толпой.
Он говорил, что русским надо
лизать и пятки у микадо!
Я передать всего не смею.
Он нес такую ахинею,
такую ересь и сумбур:
раз мы отдали Порт-Артур,
мы отдадим Иркутск и Томск,
Якутск, Хабаровск, город Омск.
Богата Русь вообще землей.
он рек, трягнувши бородой.
Японцы — лучшие друзья,
пусть в том порукой буду я.
И на него, как Божий бич,
свалился граф Илья Ильич.
Илья Ильич был славный малый,
но временами просто шальной.
Толстого Льва последний внук*

*он возражал, как на базаре,
такой поднялся кавардак:
звонил Даватц и так и сяк.
он был убогий председатель,
вы очевидец, мой читатель,
и даже Знаменский жандарм
кричал с галереи: «все аих армес».
Вопили старцы, и юнцы,
и национальные мальцы,
как исступленные евреи,
вопили дико с галереи:
Убей его, распни, распни!
Но Струве, Боже сохрани!
Ушла вся группа младороссов,
Ушел и Петя Абрикосов.
Ушел с собрания граф Илья,
Ушел со скуки даже я,
но про другой еще доклад
я сообщит Вам очень рад.*

(Некоторые комментарии: В. Х. Даватц — математик, журналист, автор книг об эмиграции; Знаменский — жандармский полковник; «национальные мальцы» — члены Национально-Трудового союза нового поколения; Петя Абрикосов — собирательный образ русского студента в Белграде. Второе собрание в Русском доме состоялось в 1936 г. На нем опять выступал И. И. Толстой, но уже без Струве. Обильно цитируя «Майн кампф», он в своей речи предупредил уже об агрессивности Германии относительно России.)

Однако великолепный зал Русского дома собирал не только участников политических баталлий, но и поклонников театрального искусства. На его сцене выступали многие знаменитости. В частности, русские белградцы там видели Федора Шалапина, на короткое время захавшего в Белград. Надо думать, там пела и Надежда Васильевна Плевицкая, талантом которой восхищалась Россия — от императора Николая II до простолюдина. На его сцене с успехом выступала в 1933 г. замечательная русская актриса Елена Александровна Полевицкая (1881—1973), о которой в свое время романически писал Константин Паустовский. Кроме представлений Русского общедоступного театра, с 1937 г. в Русском доме шли и спектакли театральной труппы Союза русских артистов в Белграде (созданной Т. Н. Яблоковой). На сцене Русского дома спектакли шли почти еженедельно. Исполнялись и пьесы местных авторов — В. В. Хомицкого, Н. З. Рыбинского, Ю. В. Офросимова, А. Н. Жернаковой-Николаевой, а также «русских парижан» — Н. Н. Евреинова, И. Д. Сургучева, Н. Н. Берберовой. Война и оккупация Белграда, казалось, приостановили всю общественную жизнь столицы, но уже в мае любимец русских театралов Олег Миклашевский создал Общество русских сценических деятелей в Сербии, которое при

всех трудностях военного времени, ставило пьесы в Русском доме. Представления шли вплоть до начала сентября 1944 г., когда Белград начала бомбить союзническая авиация, а войска Третьего Украинского фронта готовились к его освобождению.

Югославская столица была освобождена 20 сентября. Многие эмигранты к этому времени уже покинули страну, а Русский дом имени царя-мученика Николая II остался без присмотра. Настоятель русской церкви св. Троицы в Белграде протоиерей Иоанн Сокаль в 1946 г. писал, что все помещения Русского дома «стоят закрытыми без всякого надзора и заботы о них. Закрыты были они внезапно; вследствие этого поправки повреждений, полученных во время уличных боев, не были проводимы, и здания эти остались незащищенными против зимних непогод. Многократные обращения к сербским властям и различным общественным организациям остались пока безуспешными. Не застекленные окна не предохраняют их от холода, снега и дождей, подземные воды заливают подвальные помещения; водопроводные трубы лопнули с первыми морозами... В таком печальном состоянии находится сейчас Русский дом... Она (библиотека. — В. К.) и теперь после того как из нее было увезено некоторое количество книг советскими военными властями, находится в состоянии большого беспорядка».

В сильно исковерканном переделками виде он сохранился до настоящего времени, во многом вследствие того, что в нем после освобождения Белграда в 1944 г. длительной время располагался Дом уже советской культуры. Но в памяти сербов и потомков русских эмигрантов, живущих в Белграде, он остался как Русский дом.

Слависты и «новая религия» вместо науки (1920-е — начало 1930-х годов)

С началом формирования тоталитарного государства новым для профессиональной науки рассматриваемого периода было развитие и внедрение в нее марксизма как единственно верной методологической основы для всех отраслей знания. Марризм и типологически сходные и по сути родственные ему течения, такие как социологизм в литературоведении, и так называемая «школа Покровского» в исторической науке, объявляли себя носителями новых истин в науке благодаря освоению новой марксистской методологии, и на этом основании открыто претендовали на господствующее место в науке. Отношение представителей академической элиты, ученых-гуманитариев, в том числе славистов к вторжению радикальных политических изменений из общественной жизни в область науки было в основном таким же, как и специалистов-гуманитариев вообще, но имело и свои особенности. Новые веяния политико-методологического характера имели для славистики в широком смысле особенно серьезные негативные последствия. Мы попытаемся в данном разделе охарактеризовать некоторые «прогрессивные» течения, оказавшие существенное воздействие на гуманитарные науки в целом, показать реакцию на складывавшуюся в науке ситуацию наиболее известных славистов, принадлежавших к академической элите.

Для академической славистики, обращенной в основном к общеславянским и национальным древностям, к кирилло-мефодиевской проблематике, к изучению церковнославянского языка и т. п., наступили тяжелые времена. Генетически славистика была связана с идеями «славянской взаимности», возникшими в общественном сознании на заре формирования славяноведения как науки в первой трети XIX в. Обоснованием славяноведения как особой отрасли научного знания служили не только факты исторической и культурной близости славянских народов, но всегда и прежде всего их языковое родство. Изучение этого родства составляло отдельную область славянской филологии и приобретало для последователей традиционного академического славяноведения особое методологическое значение. Так, известный славист-филолог, Г. А. Ильинский в специальной статье «Что такое славянская филология?», опубликованной в 1923 г., подчеркивал, что «как ингредиент и главное условие национального самосознания славянская филология должна составлять необходимый элемент научного мировоззрения

всякого работающего среди славянских народов гражданина»¹. Казалась бы, что ничто не может поколебать основы славянской филологии, науки хорошо развитой и опирающейся на давно доказанное родство славянских языков. Однако новая государственная идеология предпочитала заниматься не национальным, а классовым и интернациональным самосознанием. Идея славянской взаимности оказалась совершенно ненужной новой власти и была признана вредной как с точки зрения внешней, так и внутренней политики². Кроме того, на научной ниве у славистики появился принципиальный противник — «новое учение о языке», — получившее самую активную поддержку со стороны носителей и выразителей новой «передовой» идеологии и политики.

«Новое учение о языке», или «яфетидология», было выдвинуто и развито академиком Н. Я. Марром в начале 1920-х гг. Оно поистине стало «новым словом» в области лингвистики. Таким образом, к внешнему давлению на старые академические кадры чисто политического свойства добавилось и третирование их со стороны новых, возникших внутри самой науки течений. Нет смысла вдаваться в подробное описание лингвистических изысканий Марра, сейчас его «яфетидология» лишь эпизод в истории языкознания³. Отметим только, что «учение» полностью отрицало все предшествующее языкознание. Марр доказывал, что все языки развиваются в результате взаимного скрещивания через революционный взрыв, проходят одни и те же стадии, соответствующие разным ступеням социально-экономического развития общества; кроме того, язык объявлялся продуктом классового развития. Столь радикальное выступление, оснащенное атрибутами классового подхода, было почти сразу взято на вооружение сторонниками и пропагандистами марксистской методологии. Ибо яфетическая теория пыталась ввести в языкознание один из важнейших методологических принципов исторического материализма, сформулированный при изучении социальной истории — необходимость на определенных этапах развития общества революционных изменений. Такие методологические установки марризма были особенно близки «твердым» последователям марксизма, опиравшимся на понятие «революция» (с явным его абсолютизированием) при изучении социальной истории.

Упрочение «нового учения о языке» в роли марксистского языкознания наносило сильнейший удар по классической индоевропеистике в целом и по славянской филологии в особенности. Эта теория отрицала существование определенных языковых семей и следовательно уничтожала важнейший признак родства славянских народов — родство языковое. Положение славянской филологии отягощалось еще и тем, что Марр прямо называл славистику

в письме своему верному стороннику и активному пропагандисту идей марризма, слависту Н. С. Державину «убийственной научно»⁴. Марризм был безоговорочно принят на вооружение сторонниками марксизма в их борьбе с академическими традициями отечественной науки. Славянская филология, являвшаяся основой славяноведения, попадала в разряд «немарксистских», а следовательно, чуждых и опасных наук и практически отменялась.

Внимательные наблюдатели сразу же отметили интерес властей к подобным теориям. В письме, очевидно написанном в марте 1926 г., Зеленин сообщал Соболевскому: «Новые теории теперь в особенной моде: уверяют, что Наркомпрос официально выразил свое великое удовлетворение по тому поводу, что у нас, в России, появляются теперь свои собственные научные теории, и указал в качестве примера на теорию Марра, а также на теорию Ф. И Шмита, о развитии искусства (это того самого Шмита, книгу коего „о законах истории“ когда-то „Вестник Европы“ охарактеризовал Гоголевскими словами: легкость в мыслях необыкновенная...)»⁵.

Русские слависты как внутри страны, так и за границей не были равнодушны к новшествам в отечественной науке. Выдающийся русский лингвист Дурново, оказавшийся в полуэмиграции в Чехословакии, практически в то же время, в начале октября 1926 г. в письме Ляпунову касался собственно «научных» основ «нового учения о языке». Он подчеркивал, что «яфетидологи, по крайней мере [ре] Н. Я. М[арр], с маниакальной решимостью отвергают все достижения лингвистической науки, все ее методы и работают с помощью методов, которые и 100 лет тому назад уже были недопустимы»⁶. Марр произвольно конструировал «доиндоевропейскую прасносу» всех европейских языков, привлекая для этого яфетические (кавказские) языки. На это Дурново резонно замечал, что «делить такую прасносу, если она не дала своих непосредственных потомков ни в одном из существующих или засвидетельствованных языков, конечно, нельзя, и всякие старания выяснить ее характер были бы чистейшим психопатизмом», и «наконец, чтобы можно было привлекать кавказские языки к решению таких вопросов, необходимо их сравнительное изучение, а такого еще нет, почему нельзя назвать таким бред Н. Я. М[арра]»⁷. Особенности положения Марра в Академии, манеру его поведения и «научность» его теорий отмечал и Никольский, называвший Марра в письме Соболевскому в марте 1927 г. «современным фаворитом», «который следует правилу: моему нраву не препятствуй, но ученые „достижения“ которого все более и более внушают подозрение в здоровье его нервной системы»⁸⁹. Полуанекдотическую ситуацию, связанную с перспективой негативной оценки европейской наукой трудов Марра приводил в письме Соболевскому в апреле того же года Зеленин. «В но-

вом сборнике Н. Я. Марра, „По этапам развития яфетической теории“, — писал ученый, — есть знаменательные строки (стр. 177, примеч.): „действительно искренний бельгийский друг“ Марра (P. Peeters) предупреждает Марра, что опубликование на французском языке лекции Марра грозит ему „неминуемой опасностью погубить всю научную репутацию“ нашего академика. Тут полный параллелизм с местными частушками, припев коих звучит: „Яфети-фети-фети — дальше некуда идти!“¹⁰.

Крупный специалист в области сравнительного языкознания, специалист по кавказским языкам, славист А. И. Томсон был знаком с трудами Марра еще задолго до появления его теории. Поэтому появление «нового учения о языке» вызвало у него живейший интерес. В письме Ляпунову от пятого июня 1927 г. он подробно разобрал учение Марра с точки зрения собственно «яфетизма». В связи с этим он отмечал, что «Марровские приемы» доказать родственность таких языков как, например, грузинский и немецкий, «не научны, фантастичны», и с подобными «фантастическими сближениями спорить не приходится»¹¹.

Необходимо отметить, что еще и сам Марр в это время не очень верил в популярность своей теории. В 1926 г. он писал своему последователю и популяризатору Н. С. Державину: «Меня смущает одно: отсутствие соратников прямых, по этой части вовсе, и начинаю думать, нужна ли кому-либо эта теория»¹². Получив, очевидно, довольно холодный прием во время своей поездки по Европе, Марр весной 1928 г. вновь сетовал Державину из Парижа: «В U.R.S.S. так же, увы, как везде, [нрзб.] не языковедение, а филология. Если же говорить об яф[етической] теории, да кому она нужна? Кто и где ее поддерживает и развивает. Во всяком случае, я предупреждаю, что и далее сам буду читать только это новое учение, и для меня сейчас новое, независимо от названия, пусть называют как хотят»¹³. Тут Марр был явно не прав. «1928—1929 гг. — переломные для советского языкознания», убежденные последователи и пропагандисты марризма утверждали, что именно в этот период происходит «открытие и признание „нового материалистического учения об языке академика Н. Я. Марра“»¹⁴. Поднятая на щит как истинно марксистская наука «яфетидология» действительно стала превращаться в единственное направление в лингвистике. Появились активные толкователи и пропагандисты, зачастую оспаривавшие друг у друга верность понимания нового учения. Так, во время обсуждения доклада известного сторонника марризма историка древности С. И. Ковалева¹⁵ «Яфетическая теория», состоявшийся, по-видимому, в конце января — начале февраля 1928 г.¹⁶ в ленинградском Научно-исследовательском институте методологии марксизма со своими «возражениями на доклад» выступил Державин.

Для истории славяноведения конца 20-х — начала 30-х гг. представляет особый интерес позиция Н. С. Державина¹⁷, создателя первого Института славяноведения и бывшего при этом и ревностным «марристом», и приверженцем «социологизма». Державин очень рано влился в борьбу за новые методы в науке, считая себя приверженцем марксизма. Державин в целом похвалил «синтезирующий доклад», отличавшийся «исчерпывающей полнотой», однако выражал пожелание добавить доклад материалом «который иллюстрировал бы его основные схематические положения»¹⁸. Предлагавшиеся Державиным иллюстрации с точки зрения современной науки не заслуживают особого внимания. Гораздо интереснее взгляды ученого на науку, его размышления об учении Марра, активная защита яфетической теории от ее противников.

Надо отметить, что и Ковалев уже в тезисах своего доклада проявил себя ниспровергателем «буржуазной науки» и назвал «великодержавную» индоевропеистику «типичным продуктом империализма с его угнетением колониальных народов и малых национальностей», в то время как «яфетическая теория имеет огромное общественно политическое значение», это мощное орудие культурного раскрепощения множества „бесписьменных“ народов»¹⁹. В подобных откровениях Державин вполне солидаризировался с докладчиком, он также предрекал закат все еще «господствующей у нас индоевропеистики, все больше и больше уходящей в схоластику. Поскольку она все больше и больше замыкается в надуманную схему, отрывая факты языка от его живого носителя — человека и его жизни»²⁰.

Верных сторонников Марра очень беспокоило отрицательное отношение к его теориям не только ученых старой школы, что можно было предвидеть, но и представителей молодого поколения ученых, действительно занимавшегося поисками нового марксистского языкознания. В этом они составляли для марристов серьезную конкуренцию²¹. «Я считаю просто недоразумением, — возмущался Державин, — ту враждебную атмосферу, которая создалась вокруг этой теории в результате агитации, исходящей из враждебных данному ученому кругов, и считаю еще более печальным недоразумением то враждебное отношение к трудам Н. Я. Марра, которое имеется сейчас в некоторых авторитетных академических кругах. Это положение вещей тем более еще печально, что указанное выше враждебное настроение академических верхов передается молодежи».

Державин явно присваивал себе роль почтенного ученого метра, познавшего последние лингвистические истины, несколько свысока глядящего на «молодежь». «Не далее как сегодня, — продолжал сетовать ученый, — напр[имер], я слышал от участника только что закрывшегося съезда словесников в Москве о том, что на этом съезде

выступал, между прочим, какой-то молодой московский ученый, который говорил на серьезнейшую и ответственной тему о перестройке преподавания грамматики на основах марксизма, и когда его спросили, а знаком ли он с трудами Марра, что казалось бы, совершенно естественно для молодого ученого, собирающегося перестраивать грамматику на основах марксизма, он ответил, что этих трудов он не читал. Пример образцового невежества!»²² Далее Державин перешел от безымянной молодежи к ученым уже достигшим очень заметного положения в науке. В ряды этой молодежи попал Е. Д. Поливанов, возглавлявший в Москве лингвистическую секцию РАНИОН. Поэтому несколько фамильярное отношение 52-летнего Державина к 38-летнему Поливанову данных обстоятельствах выглядят достаточно неуместно. Итак, продолжал Державин: «О другом молодом московском лингвисте, хорошо всем нам известном по Ленинградскому университету. Поливанове говорят, не знаю, насколько это отвечает действительности, что он с нескрываемым презрением относится к Марру и его теориям»²³. Сведения у Державина были вполне достоверными, принципиальное неприятие Поливановым претензий Марра на научность и особую марксистскость через год вылилось в открытый конфликт.

Очень не нравилось Державину, что не только в Москве и Ленинграде, но и в других университетских центрах особых восторгов у лингвистов яфетическая теория не вызывала. Возмущение Державина подобным непониманием позволила ему ненавязчиво, но достаточно определенно поставить себя рядом с Марром. «По этому же вопросу я имею специальную переписку с Харьковом, — докладывал ученый, — где, между прочим, устраиваются специальные публичные диспуты, посвященные яфетической теории, на которых лингвистическая молодежь такими непристойными словами поносит Марра, а попутно и меня (совершенно, конечно, напрасно!), что председательствующий принужден останавливать распоясавшихся „лингвистов“ в кавычках. Я должен сказать, что это печальное явление, к сожалению, в значительной мере парализует успехи развития дела, мешает ему, отпугивает от него молодежь. А между тем, яфетическая теория по своим материалам и достижениям представляет собою колоссальный сдвиг вперед в области всего обществоведческого научного мышления»²⁴. Завершал свое выступление Державин гимном Марру и его «новому учению о языке». Ученому нельзя отказать в мастерстве, с которым он представил откровенную лесть в форме научных рассуждений. «Я не хочу, — писал Державин, — называть яфетическую теорию Н. Я. Марра гениальным открытием. Но как иначе квалифицировать совершенно новую систему знания, построенную на совершенно новом, огромнейшем материале, и раскрывающую пред нами совершенно новые, неведомые

до сих пор науке, горизонты и возможности, которую дал нам своими трудами Н. Я. Марр, я не знаю»²⁵.

Державин весьма преуспел в распространении яфетидологии, о чем свидетельствует отзыв самого Марра на его опубликованную в 1930 г. статью²⁶. Письмо Марра прекрасно характеризует не только успехи Державина, как толкователя «нового учения о языке», но и довольно оригинальные представления Марра о собственном значении в создании этой теории, очевидно, он считал такую самооценку марксистским пониманием роли личности ученого. Заметим, что письма Марра достаточно сложны не только по стилю, но и по форме, и по синтаксису, некоторые фразы не закончены, может отсутствовать согласование. Автор мог неоднократно открывать в тексте скобки, а закрывать их только один раз, в цитируемом нами письме есть подобные примеры. Итак, Марр писал восьмого марта 1930 г.: «Я достал Ваше изложение яфетической теории, пока дочитал до 25 стр[аницы] и окончу [в] этот вечер, пока лишь 14,18 (вечера). Если (разрешите быть совершенно откровенным и все в интересах лицемерной скромности, и дела) откинуть „аллилуйный“ характер некоторых мест с культом личности („создателя“), особенно густо в Введении, то думаю, таково мое мнение, убеждение, вынесенное из прочитанных страниц, что это изложение одно из лучших по доступности и наглядности для широкого (суп грапо, конечно, salis²⁷) слоя, широких слоев читателей и по безукоризненной верности (точности) моментам переживавшимся не мною, я этого не сознавал, а теорию скажем прямо) — общественностью, создававшей в процессе своих перерождений эту теорию в лице случайно попившего на нужное место Марра (утверждаю, он ничто) я уже слышу, что у Вас чего то — мол не хватает: если, говорят, у И. И. Мещанинова недостаток одной вещи, то у Вас то-то страдает (не называю это „то-то“, ибо я так и не понял), готов согласиться. Что что-либо у Вас в недостатке (это „то-то“), но нет никакой возможности, кому-либо охватить всю яф[етическую] теорию (это охватить всю жизнь о ее) не столько трудно — объемом, сколько сложностью), взят лингв[истический] фарватер, и Вы плывете глубоко по правильному курсу»²⁸.

Уже однажды высказав твердое мнение о фантастичности Марровской интерпретации яфетидологии, Томсон, по-видимому, еще не ощущал особой угрозы от нее для основ филологической науки. Так, 14 мая 1928 г. он в письме Ляпунову, рассуждая об авторе одного неплохого на его взгляд учебника, тем не менее, отмечал: «Но недостаток его в том, что он пустился в общее языковедение не поработав предварительно в фактической истории какого-н[ибудь] языка». Ученый был твердо уверен: «Об общих вопросах имеет право рассуждать только тот, кто сам годами барахтался в разрешении частных

вопросов и потому может говорить по опыту, не с чужих слов. Конечно, отсутствие общего языковедения, или вернее лингвистической школы — как противоположность — создает напротив практиков-фантазеров, вроде Марра». И тут Томсон ради объективности считал своим долгом отметить: «Но у Марра есть дельные филолог[ические] работы по изданию древнеармянск[их] и вероятно грузинских памятников»²⁹.

В 1928 г. весьма определенно высказался об учении Марра официальный и признанный глава общественных наук в СССР М. Н. Покровский. Он безапелляционно утверждал: «Об этой теории правильно было сказано одним ленинградским товарищем, что ей необходимо открыто признать марксизм, как свою общелингвистическую и социологическую базу, марксизму необходимо принять яфетическую теорию как свой лингвистический отдел»³⁰.

В свете подобных суждений Ильинский 5 ноября 1928 г. в письме в Болгарию другому русскому слависту М. Г. Попруженко очень точно отреагировал на складывающуюся ситуацию: «В области филологии у нас задает тон Николай Яковлевич Марр своей яфетической теорией, которая представляет собой (чтобы не сказать худшего) бред сумасшедшего. И, тем не менее, эта сплошная ерунда будет у нас, вероятно, скоро объявлена общеобязательной для всех лингвистов „православной системой языковедения“, и горе тем, которые позволяют назвать эту „теорию“ ее настоящим именем»³¹. 16 ноября 1928 г. он вновь пишет Попруженко: «[...] почти официальный характер получила „яфетическая теория“ Марра, представляющая своеобразную смесь невежества, святой наивности и самой дикой фантазии»³².

И действительно, не только представители старшего поколения не принимали марризма. Именно Поливанов в феврале 1929 г. предпринял отчаянную попытку остановить победное шествие «нового учения о языке». Он выступил с докладом, длившемся почти три часа, «Проблема марксистского языковедения и яфетическая теория» в Подсекции материалистической лингвистики Коммунистической Академии в Москве, в котором доказал полную несостоятельность притязаний марризма как на лингвистическую ценность, так и на марксистскую его принадлежность³³. Единственным ученым поддержавшим Поливанова оказался Ильинский³⁴. Об этом он вскоре после дискуссии 15 марта писал Ляпунову: «[...] а тут я еще недавно имел неосторожность выступить в здешней Коммунистической Академии, вместе с небезызвестным Вам Е. Д. Поливановым на диспуте о пресловутой яфетической теории, причем с полной откровенностью высказал свое мнение об этой фантазмагии...»³⁵.

Позиция Поливанова не встретила поддержки, да и не могла уже ее встретить, ибо, открывая заседание, его председатель,

В. М. Фриче, безусловный авторитет того времени в области марксизма, редактор журнала «Литература и марксизм», отметил, что «точка зрения Коммунистической Академии на работы Н. Я. Марра совершенно определенная. Николай Яковлевич является председателем нашей лингвистической подсекции потому, что из всех концепций из этой области в ней содержится наибольшее количество элементов близких к марксизму»³⁶. Было также особо отмечено, что Марр — член Общества историков-марксистов.

Почти безрассудный поступок Ильинского не остался незамеченным его коллегами. Через день после того, как ученый написал письмо Ляпунову, 16 марта Ляпунову написал Томсон из Одессы. «Кстати, — замечал Томсон, — в нашей газете была напечатана заметка о трехдневном диспуте в Коммунистической академии, где некий Поливанов и даже наш друг Ильинский „травили“ Марра, а мудрый Фриче защищал его; приехали будто бы нарочно Державин, Мешанинов и пр[очие] для защиты его от этих застрельщиков целой коалиции ленинградск[их] и московских профессоров. В результате: „не смогли привести никаких принципиальных доводов против материалистического языковедения“. Но что же материалистическое языковедение имеет общего с фантазиями Марра»³⁷. Томсон, однако, не ограничился этими замечаниями. У него, представителя академического языкознания, вызывало недоумение отнесение работ Марра к марксистскому языкознанию: «Удивляюсь, какие могли быть дружеские собеседования с М[арр]ом на счет работ, который после непризнания лингвистами нашел выход в марксизме, притом наивный. „Язык результат творческой работы трудового человечества“. „Звуковая сторона языка и формальная идет в своем развитии вместе с эволюцией общественно-хозяйственных отношений“? и пр[очее], и пр[очее] — При Коммунизме спряжение „беру“, берешь или дурак — дурака изменится, или мягкие согл[асные] становятся твердыми? Словарь и семантика, как всем известно, изменяются в зависимости от всяких изменений в культурной жизни, не только экономических: (фокстрот, кэक्вок, клуб и пр[очее]). Iesper-son видит начало языка наоборот гл[авным] обр[азом] в веселом пении при пляске при ухаживании одного пола за другим! М[арр] фантазер — полиглот, каких уже было много на свете, но никому из них так не повезло насчет благоприятных условий — темноты окружения (оточения) и потом особых внешних обстоятельств»³⁸. И заключал свои рассуждения о марризме Томсон следующим выводом: «Если уж на то пошло, то меня нужно считать представителем материалистического языковедения, а его идеологом-фантазером, примазавшимся к марксизму нелепым образом»³⁹.

Открыто выступив против Марра, Ильинский не без оснований стал тревожиться за перспективы издания подготовленной им

к печати «Праславянской грамматики»⁴⁰. Так как марризм превратился из лингвистической теории в явление политико-идеологическое, то его сторонники присваивали себе функции научно-политической цензуры. В уже цитированном выше письме к Ляпунову Ильинский сетовал: «В последнее время я очень волнуюсь, что моя П[раславянская] Г[рамматика] не увидит света совсем. Как я слышал от М. Н. Сперанского, председателем ком[иссии] «Языка и литературы» Академии наук назначается Н. Я. Марр, и я очень боюсь, чтобы он не стал бросать мне палки в колеса. Он вообще не признает „праязыков“»⁴¹. Опасения Ильинского в будущем вполне оправдались, хотя внешне дело с изданием его труда выглядело вполне благополучно. В Протоколе № 1 Отделения гуманитарных наук от 11 января 1929 г. в § 20 значилось: «Е. Ф. Карский читал: Согласно принятому Отделением плану продолжение издания Славянской Энциклопедии, после заканчивающегося печатанием выпуска, посвященного славянской тайнописи, составленного М. Н. Сперанским, следует Праславянская Грамматика. В настоящее время этот выпуск, согласно заказу, приготовлен к печати профессором 1-го МГУ, членом-корреспондентом АН Ильинским и представлен редакторам Энциклопедии». Далее Карский указывал, что в основу труда «положено исследование того же автора, напечатанное в Нежине в ограниченном количестве экземпляров в 1916 г. В настоящее время оно переработано, обильно дополнено литературой предмета (кончая 1928 г.) новыми отделами и новейшими выводами науки по разным вопросам славянского языкознания». Ученый просил Отделение: «1) разрешить приступить к печатанию указанного выпуска в текущем 1929 году в объеме отпущенных 7 листов и продолжить печатание в следующем году; 2) в счет подготовки к печати выпуска, за первые 8 листов уплатить из отпущенной по смете на этот предмет суммы автору 380 рубл[ей]». Редакторами издания предполагались Карский и Ляпунов. Отделение приняло решение «разрешить»⁴².

Редакторы сразу же взялись за работу, и уже первого апреля Ляпунов писал Соболевскому: «Сейчас я сижу над Праслав[янской] Грам[матикой] Ильинского, издание которой, как очередного тома Энциклопедии С[лавянской] Филол[огии] уже прошло через ОГН»⁴³. Очевидно, что Ляпунов и Ильинскому сообщал о своей работе и появившихся замечаниях. Ученый продолжал ожидать самого худшего. «Последние недели, — писал он Ляпунову 16 апреля, — я очень волновался о судьбе моей книги: мне все мерещилось вмешательство разных злых гениев нашей трагической современности»⁴⁴. Весь остальной текст письма был посвящен прояснению позиции Ильинского по отношению к научным концепциям и личностям предшественников в науке.

Письмо Ильинского — пример отношений различных направлений внутри академической науки. Придерживаясь иногда взаимоисключающих научных концепций, ученые могли относиться к взглядам оппонентов с уважением и объективно оценивать положительные стороны и достижения друг друга. «Относительно Фортунатова и Шахматова, — писал ученый, — я должен засвидетельствовать, что как о людях я храню о них благоговейнейшую память. Я даже многим им лично обязан, и напр[имер], без их „протекции“ я едва ли бы защитил мою [работу] „Сложные местоим[ения]“ как диссертацию на степень магистра. (Как Вы; вероятно, знаете, Соболевский провалил ее в свое время в Петербург[ском] у[ниверси]тете). Тем более мне грустно, что лингвистические рассуждения Ф[ортунатова] и особенно Шахматова всегда производили и производят на меня отталкивающее впечатление. Мне глубоко антипатично их ультра фонетич[еское] направление, при котором морфология играет роль загнанной „золушки“. Кроме того, меня всегда шокировало крайнее пристрастие А[лексея] А[лександровича] к сложным и запутанным построениям. Истина в 90 случаях их ста всегда проста, а, по мнению Шахматова, она должна быть как можно мудренее, для чего он не стесняется строить иногда целые фонетические небоскребы»⁴⁵.

Надо полагать, Ильинский прекрасно знал отношение Ляпунова к концепциям столь критикуемых им предшественников. Но он явно считал, что в истинной науке могут соседствовать самые разные теории, и потому рассчитывал на понимание. К тому же у ученого были и примеры толерантного поведения светил науки в прошлом. «Простите меня великодушно, — продолжал Ильинский, — за эти откровенные строки. Но я знаю Вашу широкую терпимость ко всем инакомыслящим, и я надеюсь, что Вы не истолкуете предшествующие строки как неблагодарность и неуважение к памяти обоих корифеев русской лингвистики. Я и в I изд[ании] П[раславянской] Г[рамматики] напал на Ш[ахматова], но он не только не обиделся, но даже со свойственным ему благородством выхлопотал мне в Отд[елении] полную толстовскую премию и почетную золотую медаль. (И то и другое, впрочем, из-за революции осталось лишь на бумаге)»⁴⁶.

Следует отметить, что Ильинский в Ляпунове не ошибся. Об этом определенно свидетельствует письмо Ляпунова Соболевскому от 17 апреля. Скорее всего, ученый еще не успел получить письма Ильинского, когда в очень подробном письме сообщал Соболевскому о том, как обстоят дела с подготовкой издания, и делился своими впечатлениями о книге. Судя по содержанию письма, Соболевского весьма интересовало все, что было связано с «Праславянской грамматикой» Ильинского. Ляпунов сообщал ученому

и о завершении своей работы, и о ее характере: «На той неделе я закончил просмотр „Праслав[янской] Грам[матики]“ Ильинского — введение и вокализм — 652 стр. рукописи в лист, снабдив кое-где своими примечаниями, так как с Гр[игорием] А[ндреевичем] ведь нельзя во всем соглашаться, и сдал в Издат[ельство] АН»⁴⁷. Так как книгу было решено издать в очень уважаемой серии «Энциклопедия славянской филологии», Ляпунов излагал историю принятия такого решения. «Относительно „Праслав[янской] Грам[матики]“ Ильинского, — разъяснял ученый, — решено было, кажется, в конце 1928 г. Я удивляюсь, что М. Н. Сперанский ничего Вам об этом не сказал. Что касается редактирования Энциклопедии, то года два тому было решено в Отд[елении] рус[ского] яз[ыка] и сл[овесности] это дело поручить Карскому и мне, вероятно, потому, что мы живем здесь. Иначе, конечно, во главе редакции должны были бы стоять Вы»⁴⁸.

«Теперь о самом Гр. А. Ильинском, — писал далее Ляпунов. — Я знаю, что Вы не особенно его цените, но среди заграничных ученых он, кажется, пользуется большим авторитетом. Я лично очень часто сержусь на его иногда очень странные этимологии, и при чтении Пр[аславянской] Гр[амматики] особенно на его нападки на Фортунатовскую школу. Но, в общем, я в нем ценю исключительную трудоспособность, громадную эрудицию и знание научной лингвистической литературы... Кроме его лингвистических увлечений и фантазий за ним приходится признать прочную заслугу перед наукой изданием славянских памятников: оба Макед[едонских] листка, Охрид[ские] стр[аницы] Ев[ангельских] чтений, Сверлижские отр[ывки], Слепченск[ий] Апостол, Болгарск[ие] Грамоты и грамота бана босн[ийского] Кулина обязаны своим изданием ему»⁴⁹... А в его Праслав[янской] Грам[матике] большой заслугой является подробное изложение мнений ученых по всем вопросам славянской фонетики»⁵⁰.

О том, что сам Ильинский с большим уважением относился к научным концепциям своих коллег, свидетельствует и его письмо Дурново от пятого мая 1928 г., в котором речь идет и о подготавливаемой им в то время к печати «Праславянской грамматике». «Хотя мы и принадлежим к разным научным направлениям, — писал ученый, — но я умею ценить Ваши заслуги, что и докажу внимательной регистрацией Ваших работ в 2-м изд[ании] моей П[раславянской] Г[рамматики]. А весной я поставлю вопрос о приглашении Вас в исследов[ательский] Инст[итут], точнее в его секцию Славяноведения, — конечно, если меня самого до того времени не выгонят оттуда»⁵¹.

Коллеги прямо связывали работу Ильинского с борьбой академического языкознания и, в частности, славистики с марризмом.

Возможность появления такой книги вселяла в них надежды, которым не суждено было оправдаться. Тем не менее, появления книги ждали с нетерпением. В конце весны, начале лета 1929 г. (письмо не датировано. — М. Р.) Томсон писал Ляпунову: «Очень рад появлению нового издания Праслав[янской] гр[амматики] Ильинского. [...] Надеюсь, что вскоре все поймут научную ценность работ Марра и Ольденбурга, т. к. число лингвистов, прошедших настоящую научную школу, все больше у вас увеличивается. Полиглотов фантазеров было уже не мало на свете. Но никому не удалось так расцвести, как М[ар]ру, благодаря окружающей его лингвистической темноте и пылкости его горной породы»⁵².

Ильинский продолжал внимательно следить за всеми публикациями Марра, свои впечатления он регулярно излагал Ляпунову. В марте того же 1929 г. он весьма образно описывал эффект, произведенный на него статьей Марра — «у меня волосы стали дыбом от его новых этимологических упражнений. [...] Если он так легкомысленно работает в области славянских языков, то как же верить его информации в сфере таких трудных и малоисследованных языков, как чувашский, берберский, баскский и пр.?!»⁵³ В апрельском письме ученый почти дословно воспроизвел свою оценку марризма, данную им ранее в письме Попруженко, добавив, однако существенные детали: «Что касается теории Марра, то я даже не считаю ее теорией, а просто бредом сумасшедшего (чтобы не сказать худшего). В прѣжнее время над ней все смеялись бы, и только в наше фантастическое время ею могут не только восторгаться, но даже выставлять ее как своего рода лингвистическое православие!»⁵⁴

Не изменил своего мнения о марризме и Дурново после своего возвращения из Чехословакии и накануне исключения из членов Белорусской Академии наук. Второго мая 1929 г. он писал Ляпунову: «Ввиду того, что от меня требуют введения яфетидологии в программу для аспиранта, я приобрел курс введения в яфетидологию Мещанинова; судя по этому курсу, Марр выдает за свои откровения, по б[ольшей] ч[асти], мнения, высказывавшиеся лингвистами лет 70—80 тому назад, несостоятельность которых давным давно доказана, смешивает такие вещи, как классификации генеалогическую и морфологическую и т. д.»⁵⁵.

Ильинский, очевидно, не задумывался специально о закономерностях существования науки в тоталитарном государстве, тем не менее, он очень точно и образно показал, в чем разница между теориями, обслуживающими господствующую идеологию, и подлинной наукой. Сами методы распространения марризма по мнению ученого подтверждали его не научность. «Я не вижу, — писал он в июле 1929 г. Ляпунову, — никакого торжества яфетической теории.

Напротив, тот факт, что ее приходится вколачивать палкой и путем какого-то своеобразного террора, показывает, что дела ее плохи. Истина не нуждается для своего распространения в такого рода позорных средствах»⁵⁶. Но ученый прекрасно понимал, что от отсутствия истинно научного авторитета, марризм не перестает влиять на все стороны научной жизни. Его сила только возрастает, «палка» становится все более весомым аргументом в руководстве наукой. И уже 4 августа Ильинский сообщил Попруженко: «У нас по всей линии торжествует новоявленная «наука» яфетидологии. Б. М. Ляпунов уже не читает лекции в Ленинградском университете. Славистика держится еще только в двух столичных университетах»⁵⁷.

У Ильинского появлялось все больше сомнений о перспективе издания его книги. Своим беспокойством Ильинский делился в начале сентября 1929 г. с Ляпуновым: «Пишу Вам это письмо, а у самого кошки скребут на сердце. — мрачные предчувствия, что моей работе, стоившей мне такого огромного труда, не суждено попасть на печ[атный] станок, все более овладевают мной. Если они оправдаются, то для меня это будет тем более ужасным ударом, чем менее он заслужен мной! Смее уверить, что я не связываю с своей работой никаких корыстных соображений: как я уже писал Е. Ф. Карскому, я даже готов отказаться от гонорара за мой труд, принимая во внимание эвентуальную дороговизну его издания»⁵⁸.

После дискуссии в Комакадемии, в которой главной фигурой был Поливанов, старавшийся, в частности, и с позиций марксизма развенчать марризм, Ильинский внимательно следил за лингвистической литературой, которая критиковала Марра именно с этой стороны. В октябре 1929 г. он писал Ляпунову: «Здесь получена новая книга Sköld'a⁵⁹ (Scöld. — М. Р.), посвященная яфетической теории. Он беспощадно разоблачает эту галиматью, и в заключение заявляет, что теория Марра есть Kein Marxismus, Kein Materialismus, но — Marrasmus. Пикантнее всего то, что Sköld если не коммунист, то очень близок к коммунизму. Следовательно, отныне уже нельзя будет говорить, что против Марра восстает лишь одна „буржуазная“ лингвистика»⁶⁰.

Окончательное утверждение марризма совпало с периодом «советизации» Академии наук, сопровождавшейся кампанией по травле старой Академии и академической науки, в которой активно участвовал «общественность». Связь этих явлений была для приверженцев классической славянской филологии очевидна. Так, в конце 1929 г. Томсон писал Ляпунову: «Мне показывали статью в „Известиях“ про АН. Ерунда! С точки зрения рабочих АН конечно производственное заведение по научной части, как другие — для сапог, кож и пр. Задали задачу рабочим, АН и пугают. Ну что ж. Заполняйте ее яфетидологами, а русск[о]-слав[янскую] филологию

будем разрабатывать за границей, в Киеве и пр. От этого она не пропадет»⁶¹.

Несмотря на явное ухудшение общей ситуации, коллеги Ильинского продолжали предпринимать активные действия для опубликования его книги и для поддержки самого ученого. Так, в «Протоколе заседаний группы Языковедения и Литературы» от 30 января 1930 г. записано «Слушали: 5. Выписку из протокола заседания Президиума от 22.XII.29 г. (§ 11) о выплате 600 рубл[ей] проф[ессору] Г. А. Ильинскому за 12 листов Праславянской Грамматики (к серии Энциклоп[едии] Слав[янской] Фил[ологии]). В обсуждении принимали участие ак[адемики] Е. Ф. Карский, Б. М. Ляпунов, М. Н. Сперанский, и П. Н. Сакулин». В результате обсуждения было принято решение: «Просить ОГН срочно, ввиду тяжелых материальных условий, в которых находится профессор Г. А. Ильинский, выплатить ему 600 рубл[ей] из сумм, ассигнованных на личные работы академиков Е. Ф. Карского и Б. М. Ляпунова по выраженному ими на то согласию»⁶². В тот же день это решение ГЯЛ было отражено в протоколе № 1 Отделения гуманитарных наук, вопрос докладывал Сакулин, решение было утверждено⁶³. Для Ильинского такая помощь коллег была очень кстати. Ученый писал Ляпунову пятого марта 1930 г.: «[...] мы крайне рады 600 р[ублям] гонорара (за П[раславянскую] Г[рамматику]), который мы получили вчера от Академии Наук: он даст нам возможность перебиться в переходное время между отставкой и пенсией»⁶⁴.

Господство марризма и чрезмерное увлечение властей идеями интернационализма явно не способствовали вниманию к исследованиям по национальной тематике. Создание внутри Академии новых структур долженствующих заниматься этими вопросами отодвигалось на второй и третий план. Об этом положении свидетельствует письмо Ильинского Ляпунову пятого июня 1930 г.: «М. Н. С[перанс]кий привез самые удручающие известия о том, что происходит сейчас у Вас в Академии. Да и то, что Вы сообщаете о судьбе проекта Института Русского языка, прямо ужасно. Для разных фантастических учреждений вроде Яфетического института находятся деньги, а для изучения языка, на котором говорит огромная часть населения Союза, считают достаточной „Комиссию“!»⁶⁵ До создания самостоятельного Института русского языка оставалось еще более пятнадцати лет.

Обостренное внимание Ильинского ко всему, что связано с наступлением марризма и деятельностью Марра, отражавшееся в его письмах, позволяет уточнить и прояснить некоторые предположения, связанные с конфликтами внутри Академии наук. Так, к письму Р. Якобсона Н. Трубецкому, писавшему в мае 1930 г.: «В Академии наук с Марром сцепился Луначарский и М. Н. Покровский.

Последний довел Марра до слез, и инцидент рассматривался в академической комьячейке» следует комментарий «в оригинале М. М. Покровский, что, вероятно, ошибка: академик-филолог М. М. Покровский был беспартийный»⁶⁶. Следует уточнить, Якобсон совершенно верно передавал сведения об участниках стычки. Ее участником был не глава пресловутой школы М. Н. Покровский, а филолог-классик М. М. Покровский. Об этом свидетельствует письмо Ильинского Ляпунову от 18 апреля 1930 г.: «Здесь в Москве сильное впечатление произвела мужественная защита М. М. Покровским [нрзб.] языкознания от притязаний маргариновой лингвистики (на заседании Г[умантарного] О[тделения]), лишь по недоразумению называемой яфетической теорией»⁶⁷. Столкновение произошло на весьма знаменательном заседании ОГН, на котором академик-секретарь А. Н. Самойлович докладывал проект комиссии по реорганизации всех научных учреждений. Уже на следующий день Группа языкознания и литературы выработала свою консолидированную позицию, в которой, в специальном пункте явно нашло отражение случившееся столкновение. В «заключении» Группы отмечалось: «Признавая важность того научного направления, которое представлено в Яфетическом Институте, Группа находит, что существование названного Института не должно закрывать путей для развития индоевроп[ейского] языкознания. Мало того, Группа выражает уверенность, что АН примет необходимые в этом отношении меры»⁶⁸.

О позиции второго участника конфликта мы находим сведения в другом письме Ильинского Ляпунову от 18 мая: «Здесь несколько дней пробыл проездом из Москвы (Ленинграда, по-видимому, описки. — М. Р.) Перетц, кот[орый] между пр[очим], рассказывал, что даже Луначарский понял, что не все благополучно в Марровских фантазиях»⁶⁹. Кстати, и в дальнейшем М. М. Покровский продолжал настаивать на необходимости сохранения научных традиций. На заседании Группы языка и литературы 25 апреля 1931 было заслушано «Заявление ак[адемика] М. М. Покровского по вопросу необходимости учета в плане работ О[тделения] О[бщественных] Н[аук] разработки теоретических языковедных проблем в разрезе исследования их на базе как яфетидологии, так и достижений индоевропейской лингвистики»⁷⁰.

Ильинский очень эмоционально переживал появление каждого нового творения Марра: «С ужасом и отвращением прочел я недавно в Известиях статью Марра, — писал он Ляпунову 17 августа 1930 г. — Не говоря уже о том, что она написана (как впрочем, всегда) невразумительно, она кишит грубейшими фактическими промахами, каких постыдился бы сделать даже толковый студент III курса.

И эта quasi ученая болтовня печатается в органе высшего научного учреждения Союза!»⁷¹

Продолжавшееся наступление на академическую науку выразилось и в отношении к трудам ее классиков. Как писал в начале ноября 1930 г. Ильинский Ляпунову: «На днях я получил от М. М. Покровского печальное известие, что печатание „Лекций“ Фортунатова, как не „актуальных“, откладывается». В этом решении ученый совершенно справедливо усмотрел опасность и для своей работы. «Но, судя по сведениям, привезенным М. Сперанским с последней сессии АН, — продолжал Ильинский, — та же участь грозит и моей Праславянской Грамматике. Ввиду этой катастрофы я решился на крайнюю меру и написал письма Волгину и Ольденбургу, в которых я истощил все аргументы в доказательстве необходимости продолжения печатания книги, но до сих пор ни от того, ни от другого ответа не получил, что является, конечно, дурным предзнаменованием»⁷².

Ляпунов, откликаясь на переживания коллеги, прилагал все возможные усилия для продолжения печатания книги. Он находил самые разнообразные причины, оправдывающие необходимость появления этой работы. В протоколе Отделения общественных наук (ООН, так было переименовано в середине 1930 г. ОГН) № 11 от 27 ноября мы находим заявление ученого «с просьбой ходатайствовать перед ООН [...] о продолжении издания академической серии «энциклопедии Славянской Филологии», как издания, по обнаружению которого АН взяла на себя обязательство перед иными славянскими академиями, имеющего международное научное значение и не могущего лечь бременем на Академию в финансовом отношении, ввиду, безусловно, широкого спроса заграничного рынка на выпуск данной серии». Ляпунов скромно умалчивал о сути проблемы, которая вполне раскрывалась уточняющим ходатайством ГЯЛ «о соответственном продолжении печатания „Праславянской Грамматики“ Г. А. Ильинского, начатой печатанием в упомянутой серии и затем приостановленной»⁷³. Попытка Ляпунова частично удалась, но руководство Отделения со своей стороны воспользовалось тем же ходом, что и Ляпунов, перенеся основной акцент своего решения на вопрос об «Энциклопедии славянской филологии». Это дало ему возможность затянуть и окончательное решение вопроса о «Праславянской грамматике». «Решение вопроса о продолжении издания „Энциклопедии Славянской Филологии“ отложить, — гласило постановление ООН, — впредь до решения вопроса об институте славяноведения в АН СССР. Относительно Праславянской Грамматики Г. А. Ильинского поставить перед РИСО вопрос о срочном выпуске введения к этому труду, как уже вполне законченного печатанием. Обсуждение же вопроса о печатании

остальной части труда отложить, поскольку этот вопрос связан с судьбой „Энциклопедии Славянской Филологии“»⁷⁴. Можно предположить, что такое половинчатое решение было принято не случайно, ведь Марр еще не сказал своего слова.

Обращаясь к неперемемному секретарю Академии В. П. Волгину, Ильинский явно рассчитывал если не на поддержку, то хотя бы на понимание его проблем. Но то, что он узнал, очевидно, из писем того же Ляпунова, его не порадовало. В письме Ляпунову от 15 февраля 1931 г. он попытался объяснить причину недоброжелательности Волгина. «За время своего деканства в I МГУ Волгин, — писал ученый, — относился ко мне абсолютно корректно и довольно благожелательно. Если в Ленинграде он стал ко мне относиться совершенно иначе, то без сомнения — под влиянием Марра. Для меня не может быть также никакого сомнения, что и ПГ он топил под диктовку того же злого гения нашей науки»⁷⁵.

В отличие от возвышенных рассуждений Державина о необычайно плодотворных для науки результатах и особенно перспективах освоение марризма, как воплощенного в гуманитарной науке марксизма, пред ставители традиционного славяноведения оценивали ситуацию по-другому. Развитие общей ситуации в области гуманитарных наук, болезненно затрагивавшее славистическую проблематику, еще больше подтверждало высказанные ранее положения Ильинского о новом типе «православного языкознания». Ильинский в письмах Попруженко продолжал описывать научную действительность в мрачных красках, и все с большим основанием вновь повторял свой тезис. Так, девятого января 1931 г. он писал: «[...] у нас сейчас не только славистика, но и индоевропеистика признаются отжившими, т. к. „яфетидология“ или марристика провозглашаются сейчас как своего рода лингвистическое православие, и горе тому, кто называет этот бред сумасшедшего его настоящим именем»⁷⁶.

Можно предположить, что Марра, человека, чрезвычайно высоко ценившего собственные научные достижения, отзывы Ильинского, а ученый особенно своих мнений и не скрывал, не могли не раздражать. Поэтому Марр, принимая решение о судьбе «Праславянской грамматики» Ильинского, руководствовался не только соображениями научной борьбы. «Отзыв» Марра можно скорее назвать приговором. Он писал в феврале 1931 г.: «Указанная работа Г. А. Ильинского, результат его многолетнего труда, не выходит по своему материалу и своим интересам за пределы формально-сравнительной школы языкознания, а методологически стоит целиком на позициях идеалистической лингвистики. Вследствие этого работу Г. А. Ильинского ни в коем случае нельзя рекомендовать в качестве практического пособия по изучению славянских языков,

следовательно, ее незачем и печатать. [...] По этой книге читатель не только со специальным интересом к языку, но даже массовый читатель с совершенной наглядностью убедится в бессилии формально-сравнительного метода разрешить важнейшие проблемы языкознания и безнадежности того тупика, в который завел этот метод так называемое „славяноведение“»⁷⁷. Отзыв Марра и последовавшее за ним решение РИСО были для Ильинского тяжелым ударом. Но характер ученого не позволял оставить дело без ответа, и 13 марта 1931 г. он сообщал Ляпунову о предпринятых им действиях: «Позвольте доставить Вам копию моего заявления в Рис (которое я одновременно с этим письмом посылаю) — по поводу дикой расправы с моей книгой, учиненной Н. Я. Марром. Посылаю Вам, а не Карскому, потому что я боюсь, что оно может взволновать его в критический момент его болезни. Вы живете в одном с ним доме, и, наверное, угадаете момент, когда его можно будет ему показать»⁷⁸. От необходимости действий Ляпунова не отвратила и очевидная для него их бесполезность. «Послал я свое заявление, — продолжал ученый, — но уверен, что оно никаких благих последствий иметь не будет. „У сильного всегда бессильный виноват“, и нет сомнения, что ПГ придется погибнуть если не на костре, то в котле яфетической инквизиции. [...] Я так расстроен всем происходящим, что не могу ни о чем больше писать. Когда успокоятся нервы, напишу Вам более подробное письмо»⁷⁹. Ильинский продолжал очень остро переживать случившееся и через десять дней вновь писал Ляпунову, объясняя некоторую резкость своего заявления: «Прежде чем послать заявление в Рисо, я прочел его М. Н. Сперанскому. Он содержание его одобрил, возражая только против слова „драконовский“. Но я все-таки, оставил его, т. к. оно называет вещь ее настоящим именем»⁸⁰.

Ученого и удивляли и возмущали решения, принимавшиеся в столь серьезном деле непрофессионалами. «В только что полученном мною Отчете АН, — писал Ильинский, — сообщены сведения о составе Рисо. Оказывается, за исключением Е. Ф. Карского, очевидно, не присутствовавшего по болезни, среди его членов нет ни одного слависта-лингвиста. Т[аким] о[бразом] судьба ПГ решена на основании отзыва не слависта, лица, не имеющего никакого отношения к нашей науке!! O tempora, o mores!»⁸¹ Карский действительно был очень болен, через месяц, 29 апреля 1931 г. он скончался.

Ильинский хоть и ожидал, что судьбу его книги будет решать Марр, но все-таки несколько сетовал на своих коллег. Он писал Ляпунову в начале апреля: «Но издали и со стороны мне продолжает казаться крайне странным, что судьбу моей книги отдали в руки моего заведомого врага. Не значило ли это то же самое, что бросить кролика в пасть удава, в надежде, что он его не проглотит, а выбросит

назад?» Решение не печатать книгу, было принято, как мы видим, тогда, когда часть ее уже была набрана, были готовы и чистые листы «Введения». Появилась угроза уничтожения и набранных корректур. Ильинский просил Ляпунова попытаться спасти хотя бы чистые листы. Виновником такой угрозы ученый считал Марра. «И я лично ни минуты не сомневаюсь, — писал он, — что проект уничтожить большую часть экземпляров ПГ был инспирирован именно им. Это так похоже на него! Ведь ПГ представляет сплошной гимн сравнительному методу и живое отрицание того хаоса, который вносит в злополучную русскую лингвистику его яфетическая теория, где искать системы или даже просто здравого смысла то же, что ловить ветер в поле»⁸². Но Ляпунов продолжал проявлять не свойственные ему в целом бойцовские качества. Он вновь выступает 27 апреля на очередном заседании ООН «о постановлении РИСО по вопросу об отказе от печатания Праславянской грамматике проф. Ильинского». Имея отрицательный отзыв Марра, Отделение принимает практически невыполнимое решение, не удовлетворяющее обе противоборствующие стороны. Было «постановлено просить РИСО пересмотреть последнее решение о книге Ильинского и издать ее в части введения с предисловием ак[адемика] Н. Я. Марра, указав в предисловии все вызывающие сомнения пункты»⁸³.

Сил сопротивляться решению Марра у коллег Ильинского, которых становилось физически все меньше, уже не было, хотя и претворение в жизнь этого решения явно затягивалось. Прошло уже восемь месяцев, а дело так ничем и не закончилось. В безнадежных условиях Ляпунов продолжал хлопотать не только о спасении отпечатанных фрагментах книги, но и пытался организовать поддержку продолжению печатания труда. Отвечая на его обращения, Перетц писал 3 октября 1931 г.: «Я догадываюсь, о какой работе Вы пишете: если это работа Григория Андреевича (Ильинского. — М. Р.), то при современной установке академического языкознания, — проташить его нет надежды. Ведь Вы знаете отзыв диктатора языковедных дел»⁸⁴.

О своих шагах Ляпунов информировал Ильинского, который пришел к печальному выводу. «Из Вашего последнего письма, — отвечал он Ляпунову 24 октября, — я окончательно убедился, что песенка ПГ спета. В самом деле, в новоиспеченном Институте языка и мышления (какое дикое название!) никто не дерзнет возражать его председателю; Державин в Институте славяноведения, как типичный сервиллист, никогда не пойдет против Марра и Волгина; едва ли станет портить из-за меня свои отношения с Державиным и В. Н. Перетц. Следовательно, единственным моим защитником остались Вы, — ну, а один в поле не воин...»⁸⁵ Ученых старался найти хоть какие-нибудь логически обоснованные причины для спасения

отпечатанных материалов, но сам же сомневался в действенности здравого смысла в его ситуации. «М[ожет] б[ыть], — предполагал он, — чтобы спасти, по кр[айней] м[ере], „Введение“, при окончательном обсуждении дела, оказали бы нек[оторое] действие соображения хозрасчета. Я читал недавно в газетах, что все предприятия АН переводятся на хозяйственный расчет. Уничтожение „Введения“ причинило бы прямые убытки казне и лишило бы ее нек[оторого] количества столь нужной ей иностранной валюты. Но вероятно, даже эта мотивировка экономии окажет действие гороха в стену». Ильинский видел в запрещении своей книги исключительно личные мотивы, неуважение к нему, как члену академического сообщества. Это последнее обстоятельство подталкивало ученого к принятию решительных шагов к разрыву своих отношений с Академией наук. «Ведь главная причина враждебного отношения к ПГ заключается не в „буржуазности“ ее направления, — уверенно утверждал Ильинский в письме Ляпунову от 24 октября, — а в ее авторе. Ведь если бы дело обстояло иначе, то почему же Академия издает столько работ, которые заключают в себе все, кроме марксизма? Чтобы не быть голословным, сошлюсь хотя бы на издание в 1930 г. коллегией Востоковедов огромного тома (в честь Крачковского), в котором „марксизм“ даже не ночевал. Следовательно, дело заключается не в содержании ПГ, а в ультра персональном отношении к ее автору. При таких обстоятельствах, я даже серьезно подумываю о сложении с себя звания чл[ена]-корресп[ондента] АН»⁸⁶.

Ляпунову так и не удалось переубедить Ильинского. Ученый упорно продолжал придерживаться своего мнения. «Хотя Вы и пишете, что главной причиной гонения на ПГ является отсутствие в ней марксистско-ленинской идеологии, но я не верю в это», — писал Ильинский 23 декабря 1931 г. Далее он вновь обосновывал свое мнение отсылками к работам других коллег-филологов академического направления. «Если бы это было так, — писал ученый, — то почему же будет издаваться 2-я часть работы Обнорского о „склонении“? Ведь в ней также нет ничего марксистского; Державин, которому нельзя отказать в недостатке сочувствия к официальным доктринам, печатает в 1 т. Трудов Слав[янского] ин[ститу]та три статьи Сперанского, в которых Вы напрасно стали бы искать даже со свечой марксистских или ленинских идей. Следовательно, дело не в идеологии, а в личности автора П. Г., ненавистной Марру и его сателлитам». Столь явное преследование толкало Ильинского, человека не только резкого в суждениях, но и решительного в поступках, вновь почти дословно повторить заявление об идее отказа от академического звания. «При таких обстоятельствах, — писал ученый, — я серьезно подумываю о том, чтобы сложить с себя даже звание чл[ена]-корресп[ондента] В[сесоюзной] АН, мотивируя свое

решение в особой докладной записке»⁸⁷. Ильинский в раздражении не учитывал того, что Марр уже был жрецом чистоты марксистского языкознания, и труд Ильинского был для него опасной идеологической и методологической ересью. Как ранее справедливо отмечал сам Ильинский, само название книги не могло не вызывать отторжения у Марра, ведь отрицание «праязыков» было одним из важнейших постулатов его теории. Сам Марр и его последователи бдительно следили, чтобы в лингвистике могли оставаться только их твердые приверженцы, или ученые, склонные к компромиссам. Приводившиеся Ильинским образцы «немарксистских» работ не могли вызвать у научных цензоров столь негативной реакции. Труд Обнорского был посвящен очень специальной теме, а статьи Сперанского касались тем, стоящих вне проблем теории языкознания.

Кстати отметим, что Обнорский, по-видимому, относился к тем ученым, которые старались выбрать компромиссную позицию. В письме Соболевскому 1926 г., в котором сообщалось о равнодушии Наркомпроса к теории Марра, Зеленин описывал и свое впечатление от одного из публичных выступлений Обнорского. «В самое последнее время, — писал ученый, — выступил с особой теорией С. П. Обнорский. Я был на его докладе, который произвел на меня странное впечатление. 200 слов общие для славян и для грузин; на основании их докладчик выводит законы соответствия праславянских согласных звуков грузинским; но явно заимствованные слова не отделяются от таких, где можно думать об исконном родстве. [...] По-видимому, докладчик хотел угодить и „марристам“, и индоевропеистам; в заключение он сказал: это сходство слов может объясняться или исконным родством грузин с славянами, или яфетической теорией; или иной какой-либо теорией; а когда Марр, похвалив доклад, все-таки обругал докладчика „индоевропеистом“, Обнорский сказал: я не индоевропеист! — До сих пор все эти слова объяснялись как заимствования грузинами от славян; для меня это мнение Обнорский не разрушил»⁸⁸.

Кстати, в том же письме Ляпунову от 23 декабря 1931 г. Ильинский сообщал: «На днях совершенно неожиданно я получил от А. И. Томсона отгиск его „Ответа“⁸⁹ Марру⁹⁰. Я и не подозревал, что нелепости яфетической теории имеют такие давние корни, и что еще в 1891 г. „большинство сопоставлений Марра“ заставляли „только жалеть об испачканной бумаге“ (Томсон, стр. 14)»⁹¹. Сам Томсон вспоминал об этой истории в письме Ляпунову 10 мая 1934 г. «Характеристика работы Марра, которую я дал в своем „Ответе на рец[ензию]“ его (Марра. — М. Р.), — писал ученый, — остается верной и приложимой ко всей работе всей жизни этого незастенчивого карьериста, как предвидел страcбург[ский] проф[ессор] ср[авнительного] яз[ыко]в[едения] Hübschmann». Томсон приводил

в письме несколько цитат из письма Г. И. Хюбшмана от 30 июня 1891 г., с весьма нелестными оценками способности Марра к исследовательской работе⁹².

Начало 1932 г. вновь подарило Ильинскому слабую надежду на и здание его книги. О новых обстоятельствах дела его извещал Ляпунов, которому Ильинский писал 23 января: «Не нахожу слов, чтобы выразить Вам свою благодарность за то новое участие, которое Вы проявили к судьбе моей злосчастной ПГ. Из Вашего письма я с удивлением вижу, что формально дело об ее печатании пока обстоит благополучно: Рисо решило продолжать издание книги, а Отд[еление] Общ[ественных] наук подтвердило это решение». Однако, на практике, дело действительно только формально выглядело благополучно. Необходимо было новое подписание труда к печати, а здесь были труднопреодолимые препятствия, связанные с позицией Марра. Весьма нелестно отзываясь об очень осторожной позиции, занятой недавно избранным академиком А. С. Орловым, Ильинский писал далее: «Орлов, очевидно, не решается поставить свое *imprimatur*⁹³ из страха или угодливости перед Марром, воля которого, очевидно, выше не только Рисо, но и самого Отделения. Это не вице-президент, а какой-то турецкий паша в своем пашалыке!»⁹⁴

И Ильинский, и Томсон были людьми острых и резких суждений, поэтому, надо полагать, их так привлекало сравнение марризма с маразмом. Особенно любил взаимозаменяемость этих терминов Томсон, поэтому именно на это основополагающее сравнение привлекало его внимание в работах других лингвистов. Поэтому он так охотно рекомендовал Ляпунову новое лингвистическое издание, несмотря на название, которое могло вызывать у него только отрицательные эмоции.

«При случае, — писал он 17 июля 1931 г., — загляните в книгу Поливанова „За марксистское языкознание“, где *Marrrismus* исправляется в *Marasmus* (стр. 6 сл.)»⁹⁵. Кстати, и Ильинский еще в конце мая спрашивал Ляпунова: «Видели ли Вы новую весьма интересную книгу Поливанова „За марксистское языкознание“? Между прочим, там сказано несколько горьких истин по адресу Марра»⁹⁶. В своем письме Томсон достаточно уверенно предполагал: «Яф[ети]до[логия] конечно исчезнет в 2–3 года из ее современной позиции»⁹⁷. В последнем предположении ученый явно был не прав. Он думал только о научном содержании «нового учения о языке». Но должно было еще пройти не два года, а два десятилетия, пока эта теория перестала удовлетворять возлагавшимся на нее идеологическим функциям.

Сам Томсон не стал ждать даже двух лет и решил прекратить преподавание. О своем решении он сообщил Ляпунову 24 марта 1931 г.:

«Я кончил свои лекции и тороплю зачеты, чтобы по окончании их уволится из Инстит[ута] и перейти на пенсию, не из-за здоровья, а — довольно с меня»⁹⁸. Это сообщение противоречит существующему в научной литературе мнению, опирающемуся на воспоминания П. С. Кузнецова, о том, что Томсон, как ученый еще в 90-е годы XIX в. пострадавший от «нетерпимости Марра, теперь пострадал куда серьезнее: был уволен из Одесского университета за „контрреволюционность“ и до самой смерти в 1935 г. не имел возможности работать в науке»⁹⁹. Мы считаем необходимым уточнить и прояснить данную ситуацию. Для этого обратимся к информации, которой делился сам Томсон с Ляпуновым. Итак, в письме от 15–16 мая 1931 г. он сообщал: «Я добиваюсь увольнения, и щенки в науке (по выражению покойного Кочубинского) добиваются того же; но высшее начальство не хочет меня отпускать и оттягивает»¹⁰⁰. И далее 28 мая: «После долгих хождений, наконец, выдали мне увольнительное свидетельство из Института, и бегаю, чтобы поскорее послали в Харьков требование полной пенсии»¹⁰¹.

Томсон подробно описывал и обстановку, сопровождавшую его уход: «Не обошлось конечно без обвинения меня в враждебном отношении к марксо-ленинской методологии (сиречь яфетидологии) и в устарелости в науке вообще, каковые обвинения щенкам в науке менеют ся (вменяются. — *М. Р.*) в заслугу, и потому они стараются, в том числе и мой ассистент, усердно учившийся у меня и посещавший и записывавший мои лекции до последней. Задерживали увольнение потому, что удовлетворительного заместителя по общему языковедению нет, и потому директору пришлось посоветоваться в Харькове и получить оттуда санкцию, т. к. там меня больше ценят, в среде более просвещенной. Во всяком случае, пошел 46-ой год службы „в Вицах“¹⁰² и я рад, что уволен, т. к. невежественные претензии неучей на знание марксистской лингвистики опротивели»¹⁰³. В октябре того же года Томсон вновь вернулся к этому вопросу, и вновь назвал главную причину своего поступка: «Свои лекции я кончил в феврале и ушел, потому, что требовали от меня яфетидологии, а я еще с ума не сошел»¹⁰⁴. Таким образом, очевидно, что Томсона никто не увольнял, но Марр и его учение, безусловно, были виновниками его отказа от преподавания. Ученому в дальнейшем поступали предложения вернуться к преподаванию. В августе 1933 г. он писал Ляпунову: «Открывается здесь Университет, и меня заранее мобилизовали, но Литер[атурно]-лингв[истического] отд[еления] не будет»¹⁰⁵. Возвращаться в сложившихся условиях Томсон не захотел. Находясь на пенсии, ученый продолжал самым активным образом не только следить за научной жизнью, но и заниматься научными исследованиями. В последнем письме, написанном Ляпунову 26 октября 1934 г., Томсон восклицал:

«Работаю ежедневно все еще над историей ст[аро]слав[янского] письма!»¹⁰⁶

Томсону не только пришлось выйти на пенсию: так же, как и у Ильинского, пострадали его научные труды. Ученый был автором классического учебника «Общее языковедение», вышедшего дважды еще до революции. В начале 30-х гг. был осуществлен перевод книги на украинский язык, но до публикации дело так и не дошло. Как писал Томсон Ляпунову 30 января 1932 г.: «Укр[аинский] перевод 3-го изд[ания] моего Общ[его] яз[ыко]в[едения] не будет напечатано после вторичной цензуры (первый отзыв был очень благоприятный). Этим я также доволен — оставят в покое; хотя мне кажется что это 3 было бы лучшее руководство по Общ[ему] яз[ыко]в[едению] в мире, конечно, в моем реалистическом направлении»¹⁰⁷. За кажушимся спокойствием ученого чувствуется и большая затаенная обида. Томсон продолжал помнить о запрете и писать о нем своим коллегам. Так, Ильинский, сожалея о собственной неудаче, писал Ляпунову уже в конце года, 22 ноября: «Впрочем, такие же странные *fata* (судьбы. — *М. Р.*) имеют и другие научные труды. Например, А. И. Томсон жалуется, что его „Общее языковедение“ не может быть выпущено в укр[аинском] переводе только потому, что в нем нет ничего об яфетич[еской] теории. [...] Одним словом, у нас всех старание выстричь под одну умственную гребенку, и при таких обстоятельствах утверждать, подобно Марру, что у нас Прометей мысли сбрасывает свои цепи, значит проявлять верх цинизма или, говоря попросту, — „дурака валять“»¹⁰⁸.

Если строго научные работы не могли пробиться в печать, то писания сторонников «нового учения о языке» публиковались в таком количестве, что Ильинский не смог заставить себя участвовать в составлении «библиографии советского языковедения», несмотря на большой опыт библиографической работы и непростое материальное положение. «Я принужден был отказаться от этого поручения, — писал он Ляпунову 13 апреля 1932 г., — уж слишком тошно копаться в яфетическом и [нрзб.] марксистском соре, который заполнил нашу злополучную науку»¹⁰⁹. В это время Томсон, продолжавший активно работать, занимаясь происхождением «старославянского письма». Однако он и не мечтал публиковать ее на родине. Седьмого августа 1932 г. он прямо писал Ляпунову: «[...] ее напечатаю только по-немецки, чтобы какой-ниб[удь] шарлатан (вроде Марра по отношению к моим армянск[им] работам на рус[ском] язык[е]) не прохаживался по ней. Там много гипотетического, основанного на мелких косвенных указаниях и сложных соображениях, которые в кратком изложении приводить нельзя. Она предназначена только для посвященного в дело добросовестного читателя»¹¹⁰.

Мучительно тянувшаяся история с «Праславянской грамматикой», наконец, в октябре уже 1932 г. завершилась, как и следовало этого ожидать. Об этом безрадостном событии автору сообщил Ляпунов, но Ильинский жаждал подробностей. «Хотя и привык к мысли, — писал он 27 октября, — что ПГ рано или поздно будет пущена ко дну торпедами Марра и С⁰, все-таки, Ваше известие о постановлении Риса меня крайне заинтересовало. К сожалению, Ваше известие очень лаконично, и мне неясно: 1) На основании чьих отзывов Рис вынес свою резолюцию: Марра, Орлова, Державина или всех троих вместе? 2) Какая судьба ожидает „Введение“: будет ли оно издано хотя бы „Für wenige“¹¹¹ или будет превращено в бумажную массу?» Как видим, позиция коллег, в том числе имевшим отношение к славистике, продолжала интересовать ученого. Рукопись работы Ильинский просил взять на хранение своего единственного верного сторонника Ляпунова¹¹².

Бодрый рабочий настрой у Томсона сменялся иногда и упадком настроения. «Я ведь занимаюсь сейчас только от скуки, — сетовал он в письме Ляпунову от пятого августа 1933 г., — потому что нашей науки никому не нужно, вм[есто] нее культивируется маразм, пока не прозреют»¹¹³. Но достаточно неожиданно и Ильинского, и Томсона порадовало одно научно-организационное нововведение, в котором особое место должен был занять Ляпунов. Первым, с некоторым сомнением, отреагировал Ильинский 26 июня 1933 г. Он писал: «Порадовался я также известию о предстоящем открытии при ИЯМ кабинета русского и славянских языков. Но я боюсь, что если будущему кабинету не будет обеспечена полная автономия, деятельность его будет постоянно саботироваться главой ИЯМ»¹¹⁴. Как нетрудно догадаться, главой Института языка и мышления был Марр. Очень оживился и Томсон, хотя его поначалу и несколько смущала чрезмерно осмотрительная позиция старого друга в критике марризма. Возможно, поэтому, написав письмо 1 октября, он не послал его, а вновь продолжил почти через месяц — 26 октября. «Поздравляю Вас, — писал Томсон Ляпунову, — с открытием Вашего кабинета слав[янских] яз[ыков]»¹¹⁵. За ум взялись. А то грозило уже тем, что у нас останется только сырье в книгохранилищах, а научная часть переносилась к немцам, чехам, французам, полякам и т. д. Очень правильны, но слишком деликатны, Ваши замечания по поводу лингвистич[еской] дребедени маразма. Ведь каждое их суждение свидетельствует о глубоком невежестве в истории языков вообще, а индоевропеистику они знают только как легкомысленные дилетанты. [...] Связывать формальный строй языка с известным строем общества — ребячество. Кто хочет считаться лингвистом в научном смысле не может иначе смотреть на эту ерунду, чем Вы»¹¹⁶. Очевидно подумав, Томсон понял, что без определенной осторожности

Ляпунову не удержаться во главе Кабинета, что будет потерей для перспектив возрождения истинной науки. В продолжение письма от 26 октября можно видеть и ясную поддержку позиции Ляпунова, и, одновременно, сочувствие ему. Итак, Томсон делился своими размышлениями с другом: «Вы теперь сильно заняты, между прочим, делами Вашего кабинета. Мне кажется, что вы взяли в нем очень правильный, выдержанный курс; а я доволен тем, что остался в стороне от свистопляски в лингвистике, в которой всякий совершенно неподготовленный невежда фантазирует беззастенчиво напрапалую. Надо выждать. Запутаются между собою, не имея реальной подкладки и работая по указке извне внесенных взглядов и методов и не зная исторически предмета»¹¹⁷. С работой Кабинета слависты коллеги Ляпунова связывали большие надежды. Так, Ильинский очень эмоционально поздравлял Ляпунова 5 января 1934 г.: «[...] приветствуем Вас и Вашу достоуважаемую супругу с Новым годом! О, если бы он принес хоть один подарок нам, славистам, — принес бы с собой I том Трудов Кабинета славянских языков под Вашей редакцией»¹¹⁸. Днем раньше, 4 января, Ильинский спешил уведомить Попруженко: «Есть надежда, что недавно учрежденный при Всесоюзной академии наук кабинет русск[ого] и славянско[го] языков будет издавать под редакцией Б. М. Ляпунова „Труды“, которые, по крайней мере, отчасти заменят погибшие „Известия“»¹¹⁹. Но мечты не сбылись, заменить знаменитые «Известия» ОРЯС не удалось. В качестве серийных удалось издать два номера «Slavia» в 1936 и 1937 г.¹²⁰ Но и об этих изданиях мечтал Ильинский после Соловецкого лагеря и ссылки в Славгород, оказавшийся в июле 1936 г. в Томске. Ученый восстановил общение с Ляпуновым 5 марта 1937 г. В этом письме он сетовал на то что, «хотя после Славгородской книжной Сахары здешние книжные пастбища мне кажутся и очень тучными, но, все-таки, даже в библиотеке Томск[ого] у[ниверсите]та я не нахожу многих книг, в том числе даже новейших академических изданий, напр[имер], особенно интересной для меня „Slavica“». В этом же письме Ильинский сообщил другу решение, ставшее трагическим, он просил передать своей жене рукопись «Праславянской грамматики», хранившейся у Ляпунова¹²¹. Очевидно, Ляпунов выполнил просьбу ссыльного коллеги, дальнейшая судьба рукописи доныне неизвестна. Ильинский был расстрелян 14 декабря 1937 г.

Самым близким учеником, «наиболее связно» изложившим теорию Марра и ставшим его наследником, был И. И. Мещанинов¹²². И его работы не прошли мимо острого глаза и языка Томсона. В феврале 1934 г. ученый делился своими впечатлениями с Ляпуновым: «Пишу под впечатлением [...] статьи Мещанинова „Новое учение о языке“. Как ему не стыдно нести такую ахинею с ссылками

на Марровский вздор, яфетидология тоже! Ведь он, кажется, уже ак[адемик], и незачем прислуживаться еще. Марру, как человеку без научной подготовки и школы, способному карьеристу такое фантазерство как-то к лицу. Своего рода восточная поэтическая неразбериха»¹²³.

С достаточной долей скепсиса, а иногда и излишне резко, высказывался Томсон и о других новых, активно развивавшихся лингвистических направлениях. Ученый, однако, не отвергал их с порога, как марризм, но усматривал некоторую, с его точки зрения, легковесность. Так, он отмечал в письме фонологию, которая «культивируется» «в Праге и у кн. Трубецкого (Вена)», упоминал о статье В. Дорошевского, направленной и против фонологии «и против фонем [нрзб.] Бодуэна—Шербы». «Что все это означает? — несколько раздраженно вопрошал Томсон. — Искание новых путей? Которые, однако, заведомо избегают углубления. По-моему, лишь одно: слабосилие. Не могут больше преодолевать подготовительной работы по изучению накопившихся данных по истории языков, особенно по сравнит[ельному] языковедению, и потому вместо углубления пускаются или в историческое фантазерство — маразм, или в игру — рассуждения без истории, классификации и пр. [...] Очевидно, силы истощены. Вместо изучения реальных фактов — высокопарное беззастенчивое переливание из пустого в порожнее»¹²⁴. Интересно, что Томсон заметил в работе Мещанинова 1933 г. начало того процесса, который проявился у ученого уже после смерти Марра (20.XII.1934), когда он «смог до какой-то степени освободиться от гнета „нового учения о языке“»¹²⁵. Томсона, однако, интуитивно отмеченное явление даже разочаровало. «Какое невежество сквозит в статье Мещанинова! [...] То ломится в открытую дверь, то фантазирует со своими тотемами» — восклицал ученый. При этом он сетовал: «Жаль, что полная картина маразма обесцвечена тем, что автор, по-видимому, сам уже стыдится знаменитых сал бер йон рош¹²⁶, которые как наглядно характеризуют первобытный взгляд дилетанта на язык»¹²⁷. Резким контрастом с этими оценками звучит мнение ученого о работе Дурново. Из текста письма, кстати, ясно, что Томсон еще не знал об аресте Дурново, случившемся 28 декабря 1933 г. Ученый продолжил свое письмо 5 марта 1934 г. В этой приписке он обращался к Ляпунову: «Дурново, слав[янское] правописание X—XII в. прошу прислать мне при случае, хотя уверен, что мы с ним расходимся не только по взглядам, но и в подходе к вопросам. Но все же он сведущий, не фантазер-яфетидолог»¹²⁸.

В ответе Ляпунова содержались, по-видимому, более мягкие оценки работ Мещанинова. Поэтому Томсон считал своим долгом вновь вернуться и к работе Мещанинова, и к общей оценке и внимательному

разбору положений марризма, и вообще к значению истинной науки в развитии человечества. Немало резких слов он посвятил и компромиссной позиции, занятой частью ученых по отношению к Марру, досталось и непосредственно Ляпунову. Со своей стороны мы напомним, что Кабинет славянских языков, который возглавлял Ляпунов, был структурным подразделением Института языка и мышления, директором которого был Марр. И так, Томсон весьма резко писал Ляпунову 10 мая 1934 г.: «Конечно, „Новое учение о яз[ыке]“ Мещанинова осторожнее, чем другие, но все же [работа] невежественная даже в методологическом отношении. Как Вас там одурачил Марр своим маразмом! Вы рады, когда найдете у него или Мещ[анинова] приемлемую мысль, и беретесь серьезно возражать с ссылками на М. Миллера, Потетню и пр.»¹²⁹

Далее Томсон очень красочно описывал те методы, при помощи которых строится и утверждается «новое учение о языке». «Но разве можно серьезно разбирать Марровск[ий] вздор, — писал далее ученый. — Все лингвисты с достаточным кругозором, кроме Вашего узкого круга, уже давно подметили приемы М[ар]ра: он частью по невежеству, частью злонамеренно приписывает современному языковедению (в первую голову индоевропеистике, которой он не знает) всякие небылицы, чтобы против них выставить общеизвестные истины, которые он выдает за свое учение, потому что они у него затуманены плохим пониманием и цветистым ненаучным языком. Иногда он действительно дает и свои изобретения, которые сплошной вздор и подделывание под вкусы для карьеры». Одним из основных пороков Марра Томсон считал его антиисторизм, и поэтому в своей критике был беспощаден. «Не зная никакой сравн[ительной] гр[амматики] или подлинной истории какого-л[ибо] яз[ыка] [...] — писал Томсон — а история требуется хотя бы марксизмом —, он нашел для себя выход в том, что историю яз[ыка] а перенес в изначальный период его, где все гадательно и он без знаний может фантазировать на пропалую с видом знатока и подделываться под все, что ему выгодно. И тут то он не сумел придумать какую-л[ибо] новую приемлемую теорию. Что же остается делать его ученикам, лишенным всяких реальных знаний и школы? Вы видите поверхностное блуждание Мещ[анинова]»¹³⁰.

Подвергая работы Марра уничтожающей критике, Томсон, тем не менее, старался проявить объективность и был готов найти и отметить хотя бы что-либо положительное в его деятельности. И найдя искомое, писал об этом Ляпунову: «По своей школе это арменист и грузинист старого филологического направления и потому научное значение имеют только его издания текстов. Он, по-видимому, много содействовал и разработке кавказской археологии и пр.» Это единственное в научном наследии Марра, что Томсон считал

достойным хотя бы некоторого внимания. Поэтому далее ученый не столько критиковал Марра, ставя в рассуждениях о нем своеобразную точку, сколько призвал лингвистов «круга» Ляпунова, относиться к теориям Марра так, как они того заслуживают. «Во всяком случае, — подытоживал Томсон, — ни один серьезный лингвист, кроме Вашего круга, не станет разбираться в его общелингвистических работах, а при строгой критике сочтет все это шарлатанством, при снисходительной — курьезом. Да и я Вам больше писать о нем не буду. Противно его скоморошество. А насаженной гениальным Фортунатовым русской лингвистике этот негодяй нанес большой вред».

Томсон решительно отводил всякие предположения о том, что его позиция может быть истолкована как месть за действительно нанесенную ему обиду. «Не думайте, — объяснял он, — что я против этих жуликов за то, что они помешали мне попасть в АН. Во-первых, я всегда презирал их за их нечистоплотный карьеризм. А затем, Вы, вероятно, заметили, что я никогда ничего особенно заманчивого в звании и положении академика не видел, тем более теперь. Игра в бессмертные французск[их] академиков, которую стараются прививать и у нас, была в моих глазах всегда ребячеством»¹³¹. Осмысление процессов происходивших в отечественной науке, связанных с насильственным внедрением в неё теорий, способных разрушить выдающиеся достижения русской науки в целом и славистики, в частности. Активнейшая поддержка властей этой псевдонауки и продвижение ее адептов в состав академической элиты, наводили ученого на грустные мысли и склонность к философским размышлениям. «Менделеев и „московский проф. Фортунатов“ бессмертны, — констатировал Томсон, — насколько вообще можно иносказательно употреблять это слово в нашем мире, где все быстро проходит и умирает. А академик Фортунатов ничего не прибавил к своей славе и мало известен. Даль и Шахматов пока еще живы только благодаря своим памятникам-трудам, и то они недолговечны сравнительно с Пушкиным, Байроном, Гете и пр.»¹³²

Однако ничто не могло подорвать веры ученого не только в ведущую роль науки в развитии всего человечества, но и в развитии самого человека. «Но наука вечна и нужна человечеству не только для материального блага, — утверждал Томсон, — но пуще всего для поднятия нравственного уровня двуногих скотов. Мораль как самоцель? Нет, как средство для облегчения и улучшения тяжелой человеческой доли, в которую мы поставлены природой. Земного рая не было и не будет. Борьба, вредительство друг другу, болезни и пр. всегда будут. Буддизм, христианство и пр. мало помогли. Руководящих нравственных путей можно ожидать только от науки, очищенной от жуликов, имеющих свои эгоистические расчеты. Ну, довольно философствовать»¹³³.

В дальнейшем Томсон уже не писал Ляпунову столь пространных писем, а обменивался краткими письмами, в которых не оставлял темы своих исследований старославянской письменности и продолжал отслеживать несуразности марровских теорий. В одной из последних открыток, 11 августа 1934 г. ученый вновь повторил свой излюбленный и принципиальный тезис: «Пора бы яфетидологам совсем отрезвиться от своего вздора. В языковеден[ии] и всех общественн[ых] науках научное понимание без исторического — невозможно»¹³⁴. Через год, 27 сентября 1935 г. Томсона не стало.

Кроме марризма активно развивалось и так называемое социологическое направление в литературоведении, также претендовавшее на родство с марксизмом. В отличие от марризма, социологические построения некоторых новообращенных в марксизм известных ученых (надо отметить, что специалистов по средневековым литературам среди них были единицы) находили последователей. На фоне изысканий Марра приверженцы социологического метода, кроме ее радикальных сторонников, вроде того же Державина, выглядели гораздо пристойнее. Книгой Сакулина «Русская литература и социализм» (1922) заинтересовался коллега Сперанского из Нежина, будущий член-корреспондент АН В. И. Резанов: «Сердечное спасибо Вам за передачу книги Сакулина „Соц[иализм] и р[усская] лит[ература]“: при встрече передайте ему мою искреннюю благодарность»¹³⁵. В августе того же года Резанов вновь просил Сперанского о содействии: «Нельзя ли мне через Вас приобрести „Литературу и социализм“ Сакулина? В Советских „Известиях“ ее разругали, но меня она интересует чрезвычайно. Насколько возможно в Нежине, я и сам подбираю такой же материал и наметил коллективную работу в „исследовательском кружке, — „Перелом“ — обзор литературы последнего времени перед революцией и литературы 1917–1922 гг. — [...], с применением объективно-научных методов изучения»¹³⁶. Через год Резанов, специалист в основном по литературе XVII–XVIII вв., признавался Сперанскому: «А теперь сижу над „Этюдами о пролетарском творчестве“»¹³⁷.

Скептически к подобному интересу, а тем более к следованию новым веяниям относился Перетц. Так, в письме Никольскому от 3 июня 1923 г. он весьма неслестно отозвался о новой книге В. В. Сиповского, которого, кстати, сам был расположен еще в 1921 г. рекомендовать в академики¹³⁸, «Поэзия народа. Пролетарская и крестьянская лирика наших дней» (1923): «Вы хотели видеть книжку Сиповского: прилагаю ее при сем. Поучительного мало, интересного тоже. Из этого материала — не спеша и стоя на исторической точке зрения можно было бы сделать нечто более ценное. Но — он спешил (деньги нужны!), а засим — уверовал слишком в „новую религию“, а „вера“ — плохой вождь в научных изысканиях!»¹³⁹

Резанов продолжал проявлять интерес к сочинениям, предлагавшим новые подходы к литературоведческим исследованиям, и, в частности, к статьям Сакулина, но также и к работам «формалистов». Зная подобный интерес коллеги, Сперанский рекомендовал ему еще ряд работ, в том числе и только что вышедший труд «Теория литературы. Поэтика» Б. В. Томашевского, на что Резанов ответил 15 марта 1925 г.: «[...] меня очень интересует эта книга»¹⁴⁰. А через месяц он уже благодарил Сперанского: «Сердечное спасибо за присылку книг Томашевского [...] статью Жирмунского использовал, — указания и взгляды Жирмунского лежат в основе поэтики Томашевского, который, по-видимому, на деле осуществляет то, что теоретически наметил Жирмунский»¹⁴¹.

Сторонники социологического метода, также как и марристы очень внимательно относились к конкурентам на методологическом поле. Проявившееся к концу 20-х гг. жесткое административное давление в сфере науки сопровождалось проведением всевозможных научных дискуссий, с очевидным политико-идеологическим уклоном, наподобие той, о которой мы уже писали. И здесь Державин, считавший себя приверженцем марксизма, проявил себя бескомпромиссным борцом за единственно возможные новые методы в науке. Об этом свидетельствует его выступление на диспуте «Марксизм и формальный метод» (у Державина — «Что такое метод в науке»), состоявшемся шестого марта 1927 г. в зале Театра юного зрителя в Ленинграде¹⁴², где он резко обрушился на знаменитую школу так называемых «формалистов», очень яркое явление в отечественном литературоведении 20-х гг. Державин считал их недостойными носить звание современных ученых. В этом диспуте Державин выступил против выдающегося филолога Б. Н. Томашевского.

Полемика вокруг метода в науке со стороны Державина носила отнюдь не академический характер, превалировали идеологические и политические аргументы. Основной упор он сделал на утверждение «социальности» филологической науки: «Метод изучения литературно-художественного произведения, — писал Державин, — может быть только один, тот же самый, который применяется обычно во всякой социальной науке — социологический; метод, ведущий нас к раскрытию социальной генетики изучаемого явления, к пониманию его социальной сущности, к оценке его социальной значимости и отсюда и к овладению им по имя остальных классовых интересов»¹⁴³.

Державин полагал, что он уже постиг методологическую истину, и это давало ему право заклеить искания русских формалистов: «Утверждая отрыв художественной формы от социальной, они ведут социальную науку назад, к донаучному ее состоянию, а не вперед, ввиду чего всю огромную работу наших формалистов, которая

при другой постановке дела дала бы колоссальные достижения, я считаю реакционной, отсталой наукой, как реакционна астрология при наличии астрономии, знахарство при медицине, как реакционны богословие и идеалистическая философия при марксизме, как реакционно всякое любительство сравнительно с подлинно научной мыслью и методом»¹⁴⁴.

Наделавший много шума диспут не мог пройти мимо внимания Перетца, поглощенного в это время борьбой с кандидатурой П. Н. Сакулина и удивленного и раздраженного поведением своих коллег по Отделению русского языка и словесности Академии наук¹⁴⁵, настроенных примиренчески к проникновению в их среду активного сторонника социологического метода. Можно предположить, что именно этим вызвана и характеристика сложившейся ситуации в письме Соболевскому от 11 марта: «В общ[ественной] жизни — депрессия; воюют только „формалисты“, пытающиеся воскресить филологию, с „марксистами“, отрицающими все, кроме танца от печки»¹⁴⁶.

Выступления Перетца против новомодных методологических изысканий и их наиболее видных представителей отнюдь не означали, что Перетц не интересовался и не принимал ничего нового, что появлялось в науке. Ему, посвятившему много сил воспитанию научной смены, всегда были небезыntenесны профессиональные достижения молодых, с его точки зрения, ученых. Конечно, в их число попадали, прежде всего, преподаватели и профессора Петроградского университета и ученые, сотрудничавшие с такими академическими учреждениями, как, например, Пушкинский Дом. И сообщение об успешности именно этих исследователей в донесении своих трудов до читателя было единственной положительной новостью в обширном письме Перетца Соболевскому от 6 марта 1922 г.: «Молодежь наша умеет находить издателей: видели вы „Гавриилиаду“, изд[анную] Томашевским, новые книжечки Гофмана, Эйхенбаума, Жирмунского? — и шрифт и бум[ага] отличные. О содержании — скажу — на любителя». Саркастически шутливый тон в оценке научных достоинств работ перечисленных авторов, сменяются вполне серьезным выводом: «Но Томаш[евский] и Гофм[ан] — дельные люди». Да и само определение этой группы — «молодежь наша», свидетельствует о том, что эти исследователи включались Перетцем в ученое сообщество.

В отличие от Державина, Перетц считал некоторых «формалистов» и близких к ним ученых, своими коллегами. Так, размышляя о будущем пополнении Академии талантливыми учеными, которые воспринимались им как прямые наследники академических традиций, Перетц видел одним из них Жирмунского, о чем и писал Сперанскому в январе 1926 г.: «У меня есть на примете молодой кандидат.

Скоро о нем м[ожет] б[ыть] услышите в Москве — поедет к родным, а заодно и где-нибудь докладец прочтет: это В. М. Жирмунский. Но он одной генерации с Варв[арой] Павл[овной] (Адриановой-Перетц. — М. Р.) и — в своем роде — одного калибра. Его дело — в будущем, когда немного подрастет»¹⁴⁷.

Представители академической славистики и новых марксистских направлений в филологической науке взаимно отрицательно относились к публикациям противной стороны. Приведем в качестве примера оценки трех появившихся в период 1927–1930 г. книг, из которых две принадлежали представителям науки академической, третья — науки идеологически ангажированной. В первом случае речь идет об известной работе Селищева «Язык революционной эпохи. Из наблюдений над русским языком последних лет (1917–1926)», появившейся в 1927 г. Сразу после появления эта книга получила самые восторженные оценки, Карский: «Прекрасный труд. Читал запоем целый день»¹⁴⁸; А. Мазон — «замечательно передает дух эпохи»¹⁴⁹. Были, однако, оценки, которые осторожно отмечали и некоторую заданность при постановки темы, в частности, Ляпунов писал Соболевскому: «Что же касается только что вышедшей книги А. М. Селищева „Язык революционной эпохи“, то при всем уважении к эрудиции и умению живо и интересно излагать невольно приходит мысль, что автор, выбирая тему, руководствовался и практическими соображениями, что признает и он сам»¹⁵⁰. Но «практические соображения» не помогли работе укрыться от внимания критиков. Так, Ильинский, кстати, в письме Ляпунову не только сам очень высоко оценивал научные качества этого труда, но и ярко характеризовал стиль оценки книги приверженцами передовой методологии. «Здесь коммунисты травят книгу А. М. Селищева об Языке революц[ионной] эпохи. Несмотря на поразительную объективность автора, один рецензент даже осмелился обвинить А. М. в „тоске по старому дворянскому языку“ (sic!!!)»¹⁵¹.

Во втором случае речь идет о последнем третьем томе «Книги временныя и образныя Георгия Мниха. Хроника Георгия Амартола в древнем славяно-русском переводе» В. М. Истрина. Ильинский 30 апреля 1930 г. писал Истрину: «Вчера я имел огромное удовольствие получить III том Вашего Г. Амартола. Конечно, вместе с двумя предыдущими томами он составил *monumentum aere perennius*»¹⁵²¹⁵³. Другой отзыв относится к тому же времени, но принадлежит противной стороне, анонимный рецензент писал так: «Появление этой книги... не может не вызывать удивления... Над книгой, имеющей на обложке и титульном листе отметку „1930 год“, носится мертвящий, схоластический дух александрийской учености»¹⁵⁴.

В третьем случае речь шла о «Теории литературных стилей» Сакулина, вышедшей в 1928 г. Перетц по-прежнему был непоколебим

в скептической оценке творчества этого ученого. И своим мнением он поспешил поделиться со Сперанским: «Я получил новое издание Сак[улина] — и не обрадован нисколько: очень легкомысленное „нечто обо всем“, а в существе такая же компиляция, что и другие его труды»¹⁵⁵.

Для Державина марризм и марксизм — синонимы. Пропаганда и приверженность Державина яфетидологии привели к тому, что в выпущенных Институтом славяноведения в начале 30-х гг. двух томах его трудов практически не оказалось ни одной лингвистической статьи. Это и неудивительно, так как в предисловии к первому тому Державин, утверждая, что «идеологическими и методологическими позициями» участников сборника являются «основные принципиальные положения марксистско-ленинской методологии», особый упор делал именно на теорию Марра. Ученый чрезвычайно самонадеянно заявлял, что «положительные достижения этого учения... в эпоху идеологического кризиса, теоретического разброда и методологической косности, характерных для современной филологической науки на Западе, явились действительно новой наукой». Следование ей открывает «широчайшие перспективы и возможности для новой плодотворной работы на основах марксистско-ленинской методологии»¹⁵⁶.

И в идеологическом, и в теоретико-методологическом плане велось вытеснение из науки и высшей школы носителей академических традиций¹⁵⁷. Им на смену приходили или новые люди, быстро усвоившие некоторые простейшие положения марксистской доктрины, или ученые старой школы, стремившиеся поспеть за новыми «прогрессивными» тенденциями, отказывавшиеся от своего прошлого и объявлявшие себя приверженцами марксизма. В истории славяноведения 20-х — начала 30-х гг. имели место обе эти тенденции. Был, однако, еще и третий вариант, наиболее трагический для науки — на смену, так или иначе изгоняемым ученым не приходил никто. Для славянской филологии это было, пожалуй, наиболее характерно.

П Р И М Е Ч А Н И Я

¹ Ильинский Г. А. Что такое славянская филология? // Ученые записки государственного имени Н. Г. Чернышевского университета. Саратов, 1923. Т. 3. Кн. 1. С. 123–125. Об интересной судьбе публикации бесцензурного варианта этой статьи за рубежом см.: Горяинов А. Н. Трактовка славянской взаимности и славяноведения советскими учеными (1920 — 1930 годы) // L'idea dell'unita e reciprocita slava e il suo ruolo nello sviluppo della slavistica. Идея славянской взаимности и ее роль в развитии истории славистики. Доклады конференции Комиссии по истории славистики МКС. Урбино 28.IX–1.X.1992. Roma, 1994.

- ² См.: *Робинсон М. А.* Перелом в довоенном советском славяноведении. Идеолого-теоретические аспекты // *L'idea dell'unità e reciprocità slava e il suo ruolo nello sviluppo della slavistica. Идея славянской взаимности и ее роль в развитии истории славистики. Доклады конференции Комиссии по истории славистики МКС. Урбино 28.IX–1.X.1992. Roma, 1994.*
- ³ См., например: *Алпатов В. М.* История одного мифа. Марр и марризм. М., 1991.
- ⁴ ПФА РАН. Ф. 827. Оп. 4. Д. 345. Л. 15.
- ⁵ РГАЛИ. Ф. 449. Оп. 1. Д. 161. Л. 74 об.
- ⁶ ПФА РАН. Ф. 752. Оп. 2. Д. 90. Л. 38.
- ⁷ Там же. Л. 39, 40.
- ⁸ О явной психической ненормальности Марра см.: *Алпатов В. М.* История одного мифа... С. 76–78. Н. Трубецкой и Р. Якобсон считали Марра «сумасшедшим», см.: Там же. С. 77.
- ⁹ РГАЛИ. Ф. 449. Оп. 1. Д. 267. Л. 3 об.
- ¹⁰ Там же. Д. 161. Л. 121.
- ¹¹ ПФА РАН. Ф. 752. Оп. 2. Д. 319. Л. 52, 52 об.
- ¹² Там же. Ф. 827. Оп. 4. Д. 345. Л. 4.
- ¹³ Там же. Д. 345. Л. 12.
- ¹⁴ *Алпатов В. М.* История одного мифа... С. 84.
- ¹⁵ См. о нем: Там же. С. 54–55.
- ¹⁶ ПФА РАН. Ф. 827. Оп. 1. Д. 119. Л. 1. Л. 22, 23.
- ¹⁷ О деятельности Державина в 30-е годы см. подробнее: *Аксенова Е. П.* «Изгнанное из стен Академии» (Н. С. Державин и академическое славяноведение) // Советское славяноведение. 1990. № 5. С. 69–81
- ¹⁸ ПФА РАН. Ф. 827. Оп. 1. Д. 119. Л. 1.
- ¹⁹ Там же. Л. 29
- ²⁰ Там же. Л. 14.
- ²¹ О длительной борьбе марксистских направлений в языкознании в конце 1920-х — начале 1930-х гг., закончившейся победой марризма, см.: *Алпатов В. М.* История одного мифа... 1991.
- ²² ПФА РАН. Ф. 827. Оп. 1. Д. 119. Л. 2–3.
- ²³ Там же. Л. 3.
- ²⁴ Там же. Л. 3–4.
- ²⁵ Там же. Л. 21.
- ²⁶ См.: *Державин Н. С.* Яфетическая теория академика Н. Я. Марра // Научное слово. 1930. № 1. С. 3–39; № 2. С. 3–37.
- ²⁷ *суп grano salis* — (*лат.*) поговорка, со шепоткой соли, т. е. с оттенком шутовности, не совсем всерьез.
- ²⁸ ПФА РАН. Ф. 827. Оп. 4. Д. 345. Л. 26–26 об.
- ²⁹ Там же. Ф. 752. Оп. 2. Д. 319. Л. 85–86.
- ³⁰ *Покровский М. Н.* Общественные науки в СССР за 10 // Вестник Коммунистической Академии. 1928. Кн. 26 (2). С. 27.
- ³¹ Българо-руски научни връзки XIX–XX. век. Документи. София. 1968. С. 133. В публикации письмо неверно отнесено к ноябрю 1926 г. В письме упоминается собрание памяти Ф. И. Успенского, который скончался 10 сентября 1928 г. Необходимо отметить, что в этой безусловно ценной публикации писем встречаются и неправильные прочтения, особенно фамилий, и ошибки в датировке.

- ³² Българо-руски научни връзки... С. 142.
- ³³ ПФА РАН. Ф. 827. Оп. 1. Д. 123. Л. 15–39. См. также: *Иванов В. В.* О становлении структурного метода в гуманитарных науках славянских стран и его развитие до 1939 г. // *Историографические исследования по славяноведению и балканистике.* М., 1984. С. 245–246. Подробный анализ доклада и последовавшей дискуссии см.: *Апатов В. М.* История одного мифа... С. 87–91.
- ³⁴ Отрывки из станогаммы выступления Ильинского см.: *Апатов В. М.* История одного мифа... С. 90.
- ³⁵ ПФА РАН. Ф. 752. Оп. 2. Д. 117. Л. 200–200 об.
- ³⁶ Там же. Ф. 827. Оп. 1. Д. 123. Л. 15.
- ³⁷ Там же. Ф. 752. Оп. 2. Д. 319. Л. 116 об. — 117.
- ³⁸ Там же. Л. 116 об.
- ³⁹ Там же. Л. 117.
- ⁴⁰ Материалы о работе Ильинского над «Праславянской грамматикой», а также о сопротивлении Марра изданию этой книги см. в публикациях: *Журавлев В. К.* Григорий Андреевич Ильинский (1876–1937). М., 1962; *Он же.* Из неопубликованной «Праславянской грамматики» Г. А. Ильинского // *Вопросы языкознания.* 1962. № 5. С. 122–129.
- ⁴¹ ПФА РАН. Ф. 752. Оп. 2. Д. 117. Л. 200.
- ⁴² Там же. Ф. 1. Оп. 1–1929. Д. 253. Л. 3.
- ⁴³ РГАЛИ. Ф. 449. Оп. 1. Д. 238. Л. 43.
- ⁴⁴ ПФА РАН. Ф. 752. Оп. 2. Д. 117. Л. 204.
- ⁴⁵ Там же. Л. 204–205.
- ⁴⁶ Там же. Л. 205 об.
- ⁴⁷ РГАЛИ. Ф. 449. Оп. 1. Д. 238. Л. 44.
- ⁴⁸ Там же. Л. 46.
- ⁴⁹ Перечисленные Ляпуновым работы до настоящего времени включаются в ряды «образцовых изданий». См.: *Колесов В. В.* Ильинский Григорий Андреевич // *Славяноведение в дореволюционной России. Биобиблиографический словарь.* М., 1979. С. 117.
- ⁵⁰ РГАЛИ. Ф. 449. Оп. 1. Д. 238. Л. 46 об.
- ⁵¹ Там же. Ф. 2297. Оп. 1. Д. 17. Л. 4–4 об.
- ⁵² ПФА РАН. Ф. 752. Оп. 2. Д. 319. Л. 203 об.
- ⁵³ Там же. Д. 117. Л. 203–203 об.
- ⁵⁴ Там же. Л. 208 об.
- ⁵⁵ Там же. Д. 90. Л. 75 об.
- ⁵⁶ Там же. Д. 117. Л. 214.
- ⁵⁷ Българо-руски научни връзки... С. 153.
- ⁵⁸ ПФА РАН. Ф. 752. Оп. 2. Д. 117. Л. 218.
- ⁵⁹ Об отношении зарубежных лингвистов-марксистов к марризму, и о книге *Scöld H.* *Verwandschaftslehre: die Kaukasische Mode.* Lund, 1929 см.: *Апатов В. М.* История одного мифа... С. 72.
- ⁶⁰ ПФА РАН. Ф. 752. Оп. 2. Д. 117. Л. 234
- ⁶¹ Там же. Д. 319. Л. 204 об.
- ⁶² Там же. Ф. 1. Оп. 1 — 1930. Д. 256. Л. 7.
- ⁶³ Там же. Л. 2.
- ⁶⁴ Там же. Ф. 752. Оп. 2. Д. 117. Л. 253 об.

- ⁶⁵ Там же. Л. 271.
- ⁶⁶ Алпатов В. М. История одного мифа... С. 88.
- ⁶⁷ ПФА РАН. Ф. 752. Оп. 2. Д. 117Л. 264
- ⁶⁸ Там же. Ф. 1. Оп. 1 — 1930. Д. 256. Л. 47 об.
- ⁶⁹ Там же. Ф. 752. Оп. 2. Д. 117. Л. 269.
- ⁷⁰ Там же. Ф. 1. Оп. 1—1931. Д. 259. Л. 39.
- ⁷¹ Там же. Ф. 752. Оп. 2. Д. 117. Л. 279 об.
- ⁷² Там же. Л. 288—289.
- ⁷³ Там же. Ф. 1 Оп. 1 — 1930. Д. 256. Л. 83 об., 84.
- ⁷⁴ Там же. Л. 84.
- ⁷⁵ Там же. Ф. 752. Оп. 2. Д. 117 Л. 301 об.
- ⁷⁶ Българо-руски научни връзки... С. 167.
- ⁷⁷ Цит. по: Журавлев В. К. Из неопубликованной «Праславянской грамматики»... С. 123.
- ⁷⁸ ПФА РАН. Ф. 752. Оп. 2. Д. 117. Л. 305.
- ⁷⁹ Там же. Л. 306—306 об.
- ⁸⁰ Там же. Л. 307.
- ⁸¹ Там же. Л. 308—308 об.
- ⁸² Там же. Л. 310, 310 об.
- ⁸³ Там же. Ф. 1. Оп. 1 — 1931. Д. 259. Л. 36.
- ⁸⁴ Там же. Ф. 752. Оп. 2. Д. 32. Л. 14.
- ⁸⁵ Там же. Д. 117 Л. 327.
- ⁸⁶ Там же. Л. 327—327 об.
- ⁸⁷ Там же. Л. 334—334 об.
- ⁸⁸ РГАЛИ. Ф. 449. Оп. 1. Д. 161. Л. 76—76 об.
- ⁸⁹ Томсон А. И. Ответ на рецензию Н. Я. Марра. СПб., 1891.
- ⁹⁰ Об этом давнем конфликте Томсона с Марром см.: Ларцев В. Г. Евгений Дмитриевич Поливанов. Страницы жизни и деятельности. М., 1988. С. 197—200. Примечание Д. Ф. Аншина. Автор подробно излагает перипетии ожесточенной полемики, в которую со стороны Марра были вовлечены К. Г. Залеман и С. Ф. Ольденбург, а на защиту Томсона встали Ф. Ф. Фортунатов и Вс. Ф. Миллер. Этот конфликт стал через много лет одной из причин, помешавшей Томсону стать академиком, несмотря на единогласное голосование Отделения русского языка и славистики. см.: Робинсон М. А. Отделение русского языка и словесности в период реформирования Академии наук (1920-е годы): взгляд изнутри // Славянский альманах 2001. М., 2002.
- ⁹¹ ПФА РАН. Ф. 752. Оп. 2. Д. 117. Л. 334 об.
- ⁹² Там же. Д. 319. Л. 178—178 об.
- ⁹³ *Imprimatur* — в печать (*лат.*)
- ⁹⁴ ПФА РАН. Ф. 752. Оп. 2. Д. 117. Л. 337—336 об. (нарушение пагинации).
- ⁹⁵ Там же. Д. 319. Л. 144 об.
- ⁹⁶ Там же. Д. 117. Л. 315 об.
- ⁹⁷ Там же. Д. 319. Л. 144 об.
- ⁹⁸ Там же. Л. 139 об.
- ⁹⁹ Алпатов В. М. История одного мифа... С. 87.

- ¹⁰⁰ ПФА РАН. Ф. 752. Оп. 2. Д. 32. Л. 90. (Письмо ошибочно атрибутировано Бузуку и помещено в его письма Ляпунову.)
- ¹⁰¹ Там же. Д. 319. Л. 141–141 об.
- ¹⁰² «в Вишах» — украинский неологизм, имеется в виду работа в высших школах (вузах).
- ¹⁰³ ПФА РАН. Ф. 752. Оп. 2. Д. 319. Л. 141 об.
- ¹⁰⁴ Там же. Л. 145 об.
- ¹⁰⁵ Там же. Л. 160 об.
- ¹⁰⁶ Там же. Л. 186 об.
- ¹⁰⁷ Там же. Л. 147 об.
- ¹⁰⁸ Там же. Д. 117. Л. 368–368 об.
- ¹⁰⁹ Там же. Л. 340 об.
- ¹¹⁰ Там же. Д. 319. Л. 150 об.
- ¹¹¹ Füg wenige — для немногих (*нем.*).
- ¹¹² ПФА РАН. Ф. 752. Оп. 2. Д. 117. Л. 364–365.
- ¹¹³ Там же. Д. 319. Л. 160 об.
- ¹¹⁴ Там же. Д. 117. Л. 378.
- ¹¹⁵ Официально Кабинет славянских языков был создан по решению Президиума АН СССР от 10 июня 1934 г. в Институте языка и мышления, руководимого Марром. См.: *Аксенова Е. П.* Очерки истории отечественного славяноведения 1930-е годы. М., 2000. С. 99. О деятельности Кабинета на протяжении всего периода 1930-х гг. см.: Там же. С. 99–104.
- ¹¹⁶ ПФА РАН. Ф. 752. Оп. 2. Д. 319. Л. 161–161 об.
- ¹¹⁷ Там же. Л. 163.
- ¹¹⁸ Там же. Д. 117. Л. 392.
- ¹¹⁹ Българо-руски научни връзки... С. 190.
- ¹²⁰ *Аксенова Е. П.* Очерки истории отечественного славяноведения... С. 104.
- ¹²¹ ПФА РАН. Ф. 752. Оп. 2. Д. 117. Л. 398.
- ¹²² *Алпатов В. М.* История одного мифа... С. 32, 35.
- ¹²³ ПФА РАН. Ф. 752. Оп. 2. Д. 319. Л. 206.
- ¹²⁴ Там же. Л. 206 — 206 об.
- ¹²⁵ *Алпатов В. М.* История одного мифа... С. 22.
- ¹²⁶ По «новому учению о языке» «первичная звуковая речь состояла всего из четырех элементов, которые Марр обозначал САЛ, БЕР, ЙОН, РОШ». — *Алпатов В. М.* История одного мифа... С. 36. Р. Якобсон «назвал четыре элемента „белибердой параноика“», см.: Там же. С. 77.
- ¹²⁷ ПФА РАН. Ф. 752. Оп. 2. Д. 319. Л. 207.
- ¹²⁸ ПФА РАН. Ф. 752. Оп. 2. Д. 319. Л. 207 об.
- ¹²⁹ Там же. Л. 177.
- ¹³⁰ Там же. Л. 177 об.
- ¹³¹ Там же. Л. 178.
- ¹³² Там же. Л. 178 об.
- ¹³³ Там же. Л. 178 об. — 179.
- ¹³⁴ Там же. Л. 185 об.
- ¹³⁵ ПФА РАН. Ф. 172. Оп. 1. Д. 257. Л. 200.
- ¹³⁶ Там же. Л. 209 об.
- ¹³⁷ Там же. Л. 214 об.

- ¹³⁸ Там же. Ф. 752. Оп. 2. Д. 293. Л. 16.
- ¹³⁹ Там же. Ф. 247. Оп. 3. Д. 559. Л. 66–66 об.
- ¹⁴⁰ Там же. Ф. 172. Оп. 1. Д. 257. Л. 219–220.
- ¹⁴¹ Там же. Л. 222.
- ¹⁴² См.: Материалы диспута «Марксизм и формальный метод» 6 марта 1927 г. (публикация, подготовка текста, сопроводительные заметки и примечания Д. Устинова) // Новое литературное обозрение. 2001. № 50. Публикатор отмечает, что «записей докладов Г. Е. Горбачева, Н. С. Державина, М. А. Яковлева и Л. Н. Сейфуллиной обнаружить не удалось» (С. 254). Со своей стороны отметим, что полный текст доклада Н. С. Державина сохранился в его архиве (ПФА РАН. Ф. 827. Д. 766.).
- ¹⁴³ ПФА РАН. Ф. 827. Оп. 1. Д. 766. Л. 28, 29.
- ¹⁴⁴ Л. 25.
- ¹⁴⁵ См. подробнее: *Робинсон М. А.* Отделение русского языка и словесности... *Он же.* Русская академическая элита: советский опыт (1910-е — 1920-е годы) // Новое литературное обозрение. 2002. № 53.
- ¹⁴⁶ РГАЛИ. Ф. 449. Оп. 1. Д. 290. Л. 85 об.
- ¹⁴⁷ ПФА РАН. Ф. 172. Оп. 1. Д. 226. Л. 94.
- ¹⁴⁸ РГАЛИ. Ф. 2231. Оп. 1. Д. 96. Л. 7.
- ¹⁴⁹ Там же. Д. 105. Л. 10
- ¹⁵⁰ Там же. Ф. 449. Оп. 1. Д. 238. Л. 30 об.
- ¹⁵¹ ПФА РАН. Ф. 752. Оп. 2. Д. 117. Л. 174 об. — 173 об. (так!).
- ¹⁵² *monumentum aere regennius* — памятник прочнес меди (*лат.*)
- ¹⁵³ ПФА РАН. Ф. 332. Оп. 2. Д. 68. Л. 6.
- ¹⁵⁴ *Алпатов В. М.* История одного мифа... С. 86.
- ¹⁵⁵ ПФА РАН. Ф. 172. Оп. 1. Д. 226. Л. 197–197 об.
- ¹⁵⁶ Труды Института славяноведения АН СССР. Л., 1932. Т. 1. С. 1.
- ¹⁵⁷ См., например: *Робинсон М. А.* Государственная политика в сфере науки и отечественное славяноведение 20-х гг. // Исследования по историографии стран Центральной и Юго-Восточной Европы. М., 1991; *Он же.* Перелом в довоенном советском славяноведении...

М. Ю. Досталь
(Москва)

Международные научные связи советских славистов в 40-е годы XX в.

Как известно, наука — явление интернациональное. Для своего успешного развития она не может замыкаться в рамках одной страны. Результаты исследований в определенной сфере науки должны стать известными всем специалистам данной отрасли знания независимо от их гражданства и места проживания.

К сожалению, в Советской России в 1920—1930-е гг. в силу ряда идеологических и политических причин славяноведение не могло динамично развиваться: славистические центры в университетах и Академии наук были закрыты, многие специалисты эмигрировали или подверглись репрессиям. К тому же постепенно накрывавший страну «железный занавес» не способствовал международному научному сотрудничеству.

С началом Второй мировой войны советское руководство по политическим мотивам обратилось лицом к почти уничтоженной славистике. В 1939 г. начал работу Сектор славяноведения Института истории АН СССР¹ и кафедра истории южных и западных славян на Историческом факультете МГУ². Поистине титанических усилий стоило возрождение славяноведения в СССР. Тогдашние лидеры советского славяноведения профессор В. И. Пичета и академик Н. С. Державин хорошо понимали необходимость наряду с развитием данной отрасли науки в стране налаживания международного сотрудничества, но вынуждены были ввиду обстановки в мире на первых порах и особенно в годы Великой Отечественной войны ограничиваться внутренними ресурсами, которые составляли тогда политэмигранты-коммунисты из славянских стран. Их прежде всего и привлекли к сотрудничеству в Секторе славяноведения. В первой половине 40-х гг. здесь работали болгарин Р. К. Караколов, македонец Д. И. Влахов, словенец Д. С. Густинчич, хорват С. И. Зинич, поляк Ж. М. Корман, серб Н. П. Франич, чех З. Р. Неедлы, которые готовили статьи и доклады по плановым темам и внесли свой вклад в разработку в СССР преимущественно новой истории славянских стран, трактуемой с марксистских позиций³.

Крупный чешский историк и историк культуры З. Р. Неедлы, эмигрировавший в СССР в 1939 г., стоял у истоков основания кафедры южных и западных славян в МГУ, читая студентам курсы по истории Чехии и Словакии, курс введение в славяноведение, вел семинары, готовил дипломников и аспирантов. Некоторое время он

даже возглавлял кафедру, пока В. И. Пичета находился в эвакуации в Ташкенте. Его обширные знания и эрудиция, особенно знание гуситской эпохи, способствовали формированию ряда советских гуситологов и богемистов⁴.

Многие славянские политэмигранты активно участвовали в работе Славянской комиссии АН СССР (1942–1946) под руководством Н. С. Державина⁵, в деятельности Всеславянского комитета в Москве и издаваемом им с 1942 г. журнале «Славяне»⁶. Тесное сотрудничество с политэмигрантами (продолжавшееся до их возвращения на родину в 1945 г.) облегчалось тем, что они, как и советские ученые стояли на платформе марксистской идеологии.

Между тем лидеры советского славяноведения уже в годы войны понимали необходимость установления научных связей с зарубежными коллегами-немарксистами. В 1942 г. Н. С. Державин, ратуя за восстановление Института славяноведения АН СССР (1931–1934), строил широкие планы создания в Москве международной всеславянской Академии славяноведения. В докладной записке в Президиум АН СССР от 17 августа 1942 г. он писал, что «необходимо привлечь к работе в ней [как] советских славяноведов: историков, лингвистов, литературоведов и этнографов в области южно- и западнославянских народов, так и специалистов-славяноведов из южных и западных славян, а также из неславянских дружеских к нам стран Запада и США на равных правах с советскими учеными»⁷. В. И. Пичета в своих курсах все большее внимание придавал вопросам современной историографии славяноведения в зарубежных славянских странах. А в своем программном докладе «Русское славяноведение и текущие задачи», прочтенном на научной сессии в МГУ, посвященной современным проблемам истории 15 декабря 1944 г., он выразил уверенность, что «в скором времени в стенах университета будут учиться представители всех славянских народов»⁸. После окончания войны в связи с формированием блока стран народной демократии руководство страны больше не препятствовало расширению сотрудничеству ученых из славянских стран, надеясь привлечь их симпатии и создать опорную базу для дальнейшего продвижения к социализму и в этой важной области культуры.

Первым масштабным предприятием, открывавшим возможность установления широких контактов с зарубежными учеными (разумеется, в рамках дозволенного идеологической системой) стало празднование 220-летия Академии наук в СССР в июне — июле 1945 г., на которое были приглашены многие известные ученые и организаторы науки из 12 стран Европы и Америки: США, Англии, Франции, Китая, Бельгии, Югославии, Польши, Чехословакии, Болгарии, Румынии, Финляндии, Венгрии, Монголии, Ирана, Швеции, Индии. Славянские страны представляли А. Белич (президент

Сербской академии наук в Белграде), Ф. А. Кидрич (президент Словенской академии наук в Любляне), Т. Лер-Сплавинский (ректор Краковского университета), З. Неелды (академик, министр школ и народного просвещения ЧСР), И. Горак (ректор Пражского университета), Д. Рапант (ректор Братиславского университета), С. Кутшеба (президент Польской академии наук), Т. Котарбинский (профессор Варшавского университета), Д. Г. Михалчев (президент Болгарской академии наук и искусств), Н. Г. Долапчиев (вице-президент той же академии) и др. Всего в торжествах приняло участие свыше 1200 ученых⁹.

Таким образом, эта не слишком «юбилейная» дата отмечалась в СССР с широким, поистине «победным» размахом. По существу это был международный съезд ученых разных специальностей без определенной программы. Главной его целью стала не столько демонстрация научных достижений советской Академии наук (путем организации ряда выставок и в многочисленных докладах), сколько установление новых и возобновление старых, прерванных войной, научных связей.

Следует отметить, что И. В. Сталин и его окружение хорошо психологически рассчитали, что в дни после победной эйфории заграничные ученые увидят, прежде всего, парадную сторону советской науки и не допустят критических выступлений, престиж советской науки в их глазах значительно возрастет, и потому позволили на время раскрыться «железному занавесу» без ущерба для идеологии. В речах советских академиков на торжественном заседании сессии в Большом театре звучали здравицы в честь Сталина (почетного академика с 1939 г.) и его соратников, они были избраны в почетный президиум. В информации об этом заседании подчеркивалось: «Этот праздник мысли и творческого труда, это единение ученых разных стран после долгих лет кровавого хаоса, в который ввергли фашисты весь мир, — прекрасная иллюстрация к мудрым словам нашего вождя товарища Сталина: „Отныне над Европой будет развиваться великое знание свободы народов и мира между народами“»¹⁰ И, действительно, в выступлениях иностранных ученых звучало восхищение победой СССР в войне с фашистской Германией, призывы к расширению международного сотрудничества, обмену достижениями и опытом.

Как и предполагалось, мировое общественное мнение высоко оценило инициативу АН СССР по проведению научного форума. Эти настроения выразил шведский профессор Сведберг: «Самым замечательным является то, что русские оказались первой нацией, организовавшей международный конгресс ученых после войны»¹¹.

В Москве юбилейная сессия проходила на четырех заседаниях 16, 17, 23 и 26 июня 1945 г. Первое заседание было особенно торже-

ственным. Оно проходило в Большом театре в присутствии руководителей партии и правительства, военачальников и научной элиты. На нем выступили и ученые из славянских стран. Т. Лер-Сплавинский, А. Белич, ограничились восторженными поздравлениями, велеречивыми здравицами в честь Красной армии и АН СССР и выражением надежд на развитие научного сотрудничества. Последний сообщил также о передаче советской академии собрания научных изданий Сербской академии, вышедших в последние 30 лет. З. Нееды пошел дальше. Он, в частности, сказал: «Академия Наук СССР встала во главе не только духовной культуры СССР, но и всего мирового научного прогресса. Об этом лучше всего свидетельствует работа Академии во время последней, страшной войны, когда исследования русских ученых способствовали полной блестящей победе СССР над врагом, подрывающим основы человеческой культуры и цивилизации, — ...победе, которая дала свободу и моему много испытавшему народу...». З. Нееды сообщил также, что чехословацкое правительство приняло постановление о передаче в дар АН СССР Русского заграничного исторического архива¹² (подробнее см. далее).

Устроители сессии не преминули для усиления эйфории академических торжеств пригласить иностранных ученых на исторический парад Победы 24 июня 1945 г. — «олицетворение величия нашей Родины»¹³.

С 25 по 28 июня юбилейные торжества продолжались в Ленинграде — городе, где академия была основана Указом Петра Первого. На торжественном заседании в Ленинграде выступили президент АН СССР В. Л. Комаров и были заслушаны два доклада, академика Л. А. Орбелли о великом физиологе И. П. Павлове и академика И. И. Мещанинова «об учении о языке, разработанном замечательным ученым — академиком Николаем Яковлевичем Марром». С приветствиями выступили отечественные и зарубежные ученые. Среди них президент Словенской академии в Любляне Ф. А. Кидрич, вице-президент Болгарской академии наук и искусств Н. Г. Долапчиев¹⁴.

29 июня участники Юбилейной сессии вернулись в Москву. «Юбилейные торжества окончились. Они не просто совпали по времени с триумфальными победами советского оружия. Они вошли составным элементом в общее торжество Победы советского народа»¹⁵.

В этих торжествах было заметно оживление славистических контактов. Причем с учеными как славянских, так и неславянских стран. Помимо личных встреч было организовано несколько научных заседаний в рамках различных Отделений Академии наук, в которых приняли участие славянские ученые. По Отделению литературы и языка на шести совместных заседаниях в Институте языка и мышления имени Н. Я. Марра (июнь—июль 1945 г.) среди других

выступлений иностранных ученых отмечены три доклада сербского академика А. Белича. Указывалось, что он затронул в них темы, «непосредственно интересующие советских языковедов. Одной из них является природа и развитие языка». Докладчик изложил основные идеи своего обширного труда «О језичкој природе и језичком розвитку» (Белград, 1941). Два другие доклада были посвящены «природе слов и наклонениям с лингвистической точки зрения». Примечательно, что в то время в этом «гнезде марризма», каковым был ИЯМ АН СССР, очень доброжелательно и с большим интересом отнеслись ко взглядам академика А. Белича, который был компаративистом и не признавал «новое учение о языке» академика Н. Я. Марра. Его сообщения были названы «исключительно ценными», более того, признавалось, что указанный выше труд сербского лингвиста «имеет исключительное значение для проблематики общего языкознания, выдвигая к разрешению вопросы, разрабатываемые и советскими лингвистами по материалам языков СССР»¹⁶.

В Отделении истории и философии также проходили встречи и заседания с участием зарубежных славистов. Причем на многолюдной юбилейной сессии Отделения было прочитано несколько докладов с подчеркнута марксистской направленностью. Так, вице-президент АН СССР, академик-секретарь Отделения В. П. Волгин говорил об освоении метода диалектического историзма в советской исторической науке, о борьбе с «вредными извращениями» в ней в лице разоблаченной «школы» М. Н. Покровского, об образцах «гениального применения диалектического материализма к анализу сложнейшей исторической обстановки» в работах Сталина и пр. Славянской тематике были посвящены два выступления. Академик Б. Д. Греков в докладе «Образование русского государства» отразил господствующую в советской историографии точку зрения о классовой природе государства, об антинаучности «норманнской теории», об образовании древней Руси в свете последних открытий советских археологов, о высокой культуре и феодальной основе Киевской Руси. Основные выводы академика были подкреплены в докладе П. Н. Третьякова «Восточнославянские племена накануне образования Киевского государства», в котором автор утверждал, опираясь на Н. Я. Марра, что отношения славянских племен и Хазарского каганата складывались в форме союза, а не подчинения ему. И главное — «Русское государство на Днепре явилось не столько началом полнокровной, подлинно исторической жизни восточного славянства, сколько итогом длительного, уже пройденного им пути»¹⁷. Иностранному ученому, с большим вниманием слушавшим эти и другие доклады советских историков и, в большинстве случаев, впервые познакомившимся с марксистским пониманием истории,

на данном заседании Отделения истории и философии слово не предоставлялось.

Контакты с зарубежными учеными были продолжены в отдельных институтах Отделения. В частности, в Институте философии состояли беседы с президентом Болгарской академии Д. Г. Михалчевым, профессором Софийского университета М. Д. Дафинкичевым, ректором Люблинского университета Г. Раабе и др.¹⁸ Вероятно, здесь речь шла и о проблемах развития и достижениях марксистской философии.

Наиболее ощутимые результаты с точки зрения славистики, естественно, принесли встречи в Институте истории АН СССР, (где работал Сектор славяноведения), так как история у нас тогда занимала ведущее положение в славистике. В стенах Института состоялось организованное сектором специальное заседание. Директор Института, академик Б. Д. Греков «ознакомил зарубежных гостей с работой Института истории АН СССР в области славяноведения. Он подчеркнул, что дружба славянских народов, окрепшая в борьбе против немецко-фашистских захватчиков, способствует развитию творческого содружества между учеными славянских государств». Интересно, что в выступлении зав. Сектором славяноведения, члена-корреспондента АН СССР В. И. Пичеты с учетом аудитории упор был сделан не на достижения в освоении марксистской методологии советскими славистами, а на изучение ими архивных материалов, «освещающих исторически сложившуюся дружбу между русским народом и братскими народами Польши, Чехословакии, Югославии, Болгарии». Ученый сообщил о подготовленных к печати в Секторе работах по истории Польши, Сербии, Хорватии, Черногории, о выходе в свет первой части капитального труда академика Н. С. Державина «История Болгарии», о подготовке коллективного труда «о культурно-политических связях между Россией и славянскими странами с древнейших времен до наших дней», а также сборника о балканских государствах между двумя войнами и ряде других работ¹⁹.

Доклады Грекова и особенно Пичеты вызвали у зарубежных славистов живой интерес. От имени гостей выступил президент Польской Академии наук Станислав Кутшеба. Он с пафосом сказал: «Немецко-фашистские захватчики... предали огню многие исторические ценности, в том числе и архивы, которые разрабатывали польские историки. Но немцам не удалось убить мысль ученых». Профессор говорил о плодотворной работе польских историков после освобождения Польши и выразил горячую благодарность советскому правительству за передачу ПАН ряда архивных материалов по истории Польши²⁰. Профессор Пражского университета Иржи Горак в своем выступлении подчеркнул важность творческого

сотрудничества ученых славянских стран и высказал пожелание, чтобы АН СССР «наладила книгообмен между славянскими научными учреждениями по вопросам славяноведения»²¹. Он также внес предложение о необходимости создания «Союза славянских академий»²². Президент Сербской академии наук Александр Белич выступил со смелым и немного наивным предложением создать в системе АН СССР «институты по изучению культуры, истории и этнографии славянских стран, пригласив к участию в работе этих институтов зарубежных ученых»²³. Сербский ученый, видимо, не знал о проекте создания отдельного Института славяноведения, обсуждавшийся в 1945 г. в верхах, как не понимал и того, что в советской системе невозможно было создавать институты типа Славянского в Праге с широким международным участием независимо от идеологических пристрастий. Тем не менее, это предложение стало предметом широкого обсуждения и нашло единодушную поддержку.

Уместно сказать, что на встрече в Институте истории присутствовали и участвовали в обсуждении кроме вышеназванных ученых также ректор Братиславского университета Д. Рапант, президент Болгарской академии наук и искусств Д. Михалчев, ректор Краковского университета, академик Т. Лер-Сплавинский, профессор Варшавского университета Т. Котарбинский, а из славистов не славянских стран — профессор Парижской Сорбонны А. Мазон, ее почетный профессор, норвежец О. Брок и др. Ряд участников заседания подчеркнул «необходимость издания славянской библиографии по каждой стране и организации обмена научными работами, установления живого контакта между учеными славянских стран путем поездок в изучаемую страну, обмена студентами и т. д.»²⁴. Судя по информации, иностранные гости признавали, что Советский Союз призван играть «ведущую роль в области изучения истории и культуры братских славянских народов»²⁵.

Подводя итоги заседания, вице-президент АН СССР В. П. Волгин дипломатично интерпретировал выступления А. Белича и И. Горака, как желание ученых-славистов создать в славянских странах «институтов для комплексного изучения славянских стран и народов», объединив эти институты в своеобразную «ассоциацию, содействующую обмену результатами исследований, опытом и научной литературой»²⁶ и указал на целесообразность этой инициативы. Реализацию многих из этих планов мог взять на себя, по его мнению, будущий Институт славяноведения РАН, решение об организации которого обсуждалось тогда в ЦК ВКП(б)²⁷.

Завязавшиеся научные связи имели реальное воплощение, в частности, в приглашении некоторых славянских филологов в Москву для чтения лекций на организованной в 1943 г. кафедре славянской филологии на филологическом факультете МГУ во главе

с Н. С. Державиным и С. Б. Бернштейном. На молодой кафедре остро ощущался недостаток квалифицированных специалистов по отдельным славянским языкам и литературам и иностранные слависты И. Белич, Б. Гавранек, Г. Вольпе, Б. Велчев, М. Димитров и др. восполнили этот пробел, способствуя своими лекциями становлению славянской филологии в МГУ²⁸.

Весьма характерно, что в СССР тогда поощрялись инициативы созыва международных славистических конференций, имевшие негласной целью утвердить приоритет советского славноведения на международной арене. Первыми взялись за дело филологи. В 1946 г. (с 29 июня с перерывами по 4 июля) в Ленинграде по инициативе ректора университета А. А. Вознесенского состоялось крупное международное совещание славистов по своим масштабам сравнимое с их международными съездами. На отдельных пленарных заседаниях присутствовало свыше 800 человек. Напомним, что международные съезды славистов стали проводиться с 1929 г. На первом съезде в Праге и Брно советскую науку представляла небольшая делегация во главе с академиком П. Н. Сакулиным. (На съезде выступали с докладами также русские эмигранты-слависты, обосновавшиеся в Праге). В работе второго варшавского съезда 1934 г. советские ученые не участвовали. Не предполагалось их участие и на третьем съезде славистов, который должен был открыться в сентябре 1939 г. в Белграде, но не состоялся ввиду начала Второй мировой войны. На этот раз совещание славистов с широким международным участием было организовано в Ленинграде, городе богатом своими славистическими традициями (прежде всего до-революционными). В международной научной сессии по славноведению приняли участие ведущие славяноведы из славянских стран: Чехословакии (И. Горак, Б. Гавранек, Ф. Вольман), Польши (Т. Лер-Сплавинский, Г. Вольпе), Югославии (А. Белич, Ф. Рамовш) и многих городов СССР (Москвы, Ленинграда, Киева, Харькова, Казани, Риги, Тарту). Не было славистов только из Болгарии.

Предварительная работа сессии началась 16 июня 1946 г. с доклада профессора МГУ П. Г. Богатырева «Балканская экспедиция Академии Наук СССР 1946 г.», поделившегося своими впечатлениями от посещения научных центров этих Болгарии, Югославии и Румынии, рассказавшему о большом внимании и интересе, проявленном к работе советских ученых, о новинках тамошней славистической литературы и о перспективах научного сближения и сотрудничества между советскими и зарубежными славистами.

29 июня в Ленинград для участия в сессии прибыла группа зарубежных ученых и дипломатов из славянских стран. Среди них: посол ФНРЮ В. Попович и второй секретарь посольства Югославии С. Кошутич, посол ЧСР И. Горак, посланник Болгарии Н. Николов,

советник посольства Польши Г. Вольпе, президент Сербской академии наук А. Белич, ректор Краковского университета Т. Лер-Сплавинский, профессор Пражского и ученый секретарь Чешской Академии наук Б. Гавранек, профессор Пражского университета Ф. Вольман, профессор Люблянского университета Ф. Рамовш.

Торжественное открытие сессии состоялось вечером того же дня в актовом зале ЛГУ при большом стечении ленинградской общественности и ученых. Ректор университета А. А. Вознесенский, горячо поприветствовав иностранных гостей, в своем вступительном слове указал, что именно победа СССР над фашистской Германией создала благоприятные условия для проведения совещания славистов. «Свободолюбивые славянские народы, — сказал ректор, — в течение многих веков демонстрировали свое единство. Великая Отечественная война еще сильнее сплотила славян в их борьбе с заклятым врагом — немецкими захватчиками. Наша доблестная Красная Армия сыграла решающую роль в освобождении братских славянских народов и открыла возможность для дальнейшего культурного сближения славянских стран, мирно развивающихся на новых демократических основах». Подчеркнув роль Петербургского-Ленинградского университета в развитии славяноведения, А. А. Вознесенский выразил надежду, что и теперь проводимая в его стенах научная сессия «будет способствовать укреплению культурной связи между учеными всех славянских стран»²⁹.

После оглашения приветствий по случаю открытия сессии из научных учреждений Москвы, Киева, Львова, Вильнюса, Саратова, Риги и др. городов, слово для доклада «Чехи и словаки в свете этнографических данных» было предоставлено члену-корреспонденту АН СССР, профессору ЛГУ Д. К. Зеленину, который охарактеризовал основные этапы развития взаимоотношений и проявления общности двух братских славянских народов с IX по XX в. на основе не только этнографических, но и языковых и литературных данных. В прениях по докладу выступили И. Горак и П. Г. Богатырев. В заключении заседания А. А. Вознесенский огласил текст телеграммы с пожеланиями скорейшего выздоровления «старейшему представителю науки славяноведения, славному ученому Матиасу Мурко», бессменному редактору пражского журнала «Славия». Это проявление солидарности в среде ученых славистов было воспринято с воодушевлением. Примечательно, что заседание закончилось (редкой в тех условиях) «дружеской беседой» советских ученых со своими зарубежными коллегами³⁰.

Следует заметить, что, по всей видимости, организаторы совещания, приглашая зарубежных ученых, первоначально не планировали их выступлений с докладами, рассчитывая лишь на пассивное участие в заседаниях и, может быть, выступления в прениях. Об этом

свидетельствует, в частности, тот факт, что 30 июня состоялось закрытое заседание «Малого комитета» сессии, специально избранного участниками, на котором обсуждались не только разного рода предложения учебно-методического плана от филологических факультетов МГУ, ЛГУ и др. вузов, но и о включении в повестку дня сессии докладов прибывших в Ленинград ряда славянских ученых, из-за чего программа выступлений их советских коллег была свернута³¹.

Утром 1 июля состоялось собеседование участников заседания, на котором произошел важный для дальнейшего развития славяноведения обмен мнениями по вопросам организации преподавания этого предмета в вузах. При этом и советские ученые, и их зарубежные коллеги исходили из комплексного понимания славяноведения, как науки изучающей славянские народы не только в филологическом, но и в историческом отношении. Поэтому А. Белич, Б. Гавранек, Т. Лер-Сплавинский познакомили собравшихся с постановкой преподавания языков, литератур, истории, этнографии славян в своих университетах, а деканы филологических факультетов в ЛГУ и МГУ М. П. Алексеев и В. В. Виноградов, а также зам. зав. кафедрой славяноведения в ЛГУ Э. А. Якубинская-Лемберг — в советских вузах. (Хотя, понятно, что на этом собрании филологов главный упор делался на филологические проблемы). Ученые пришли к единодушному выводу о желательности согласования планов университетского образования и программ отдельных славистических курсов, читаемых в славянских странах. После совещания гостей провели по аудиториям ЛГУ, ознакомив со структурой отдельных кафедр и издательской деятельностью университета³².

Вечером того же дня состоялось очередное пленарное заседание сессии, на котором выступили с докладами академик А. Белич, академик Е. В. Тарле и профессор ЛГУ А. В. Предтеченский. В своем докладе «О частях речи», прочтенном на русской языке, А. Белич кратко изложил содержание своего большого труда «О језичкој природи и језичком развјету. Лингвистичка испитивања» (Београд, 1941. Књ.1), с которым он уже знакомил советских коллег в 1945 г. В докладе «некоторые общие вопросы теоретической грамматики» иллюстрировались характерными примерами из славянских языков, и в первую очередь русского. В информации о докладе особо отмечался интерес аудитории к его вводной части, где говорилось «о мировом значении трудов русских ученых-лингвистов и, в частности, о блестящей ленинградской лингвистической школе»³³.

Академик Е. В. Тарле прочитал доклад «Русские на Средиземном море и южные славяне», в котором подчеркнул, что Россия всегда выступала союзницей южных славян в борьбе за свою независимость. «На наших глазах, — с пафосом заключил академик, —

осуществилась давнишняя мечта славянских народов — вступить в тесный неразрывный союз с Россией». Такими же патриотическими нотками был проникнут и доклад профессора А. В. Предтеченского «Петр I и южные славяне», который подчеркнул, что «начало царствования Петра I укрепило авторитет России среди балканских славян и надежду на ее помощь в деле освобождения от турецкого владычества. Эта надежда нашла свое отражение в поэзии южнославянских народов, в частности, в произведениях И. Каванини, И. Градича, С. Ружича, П. Витезовича и ряде народных песен»³⁴.

Утром 2 июля работа совещания проходила в двух секциях западно- и южнославянской филологии. В первой секции с докладами выступили ленинградские слависты. Профессор П. Н. Берков прочел доклад «„Аккерманские степи“ Адама Мицкевича в истории русско-польских отношений», сопровождавшийся демонстрацией редчайших литографий и планов Аккермана, представленных для осмотра Библиотекой АН СССР. На их основании, с помощью архивных данных ученый «смог предложить ряд поправок и существенных дополнений к интерпретации одного из наиболее темных и „законспирированных“ сонетов А. Мицкевича»³⁵. В прениях по докладу выступили профессор ЛГУ М. К. Азадовский и польский литературовед, читавший спецкурс об А. Мицкевиче в МГУ, Г. Вольпе.

Доцент ЛГУ С. С. Советов охарактеризовал в своем докладе «Начало изучения польской литературы в России» первый период исследований с начала до 60-х гг. XIX в., добавив, что и на дальнейших этапах своего развития русская наука внесла существенный вклад в изучение польской литературы. С докладом «Карл Гинек Маха в оценке современников и потомства» выступил профессор ЛГУ В. Г. Чернобаев. Он представил общий обзор противоречивых критических мнений о наследии виднейшего чешского поэта-романтика первой трети XIX в., который в своих поэмах «Монах» и «Май» зарекомендовал себя «одним из первых чешских поэтов европейского масштаба»³⁶. Обсуждение закончилось дружеским обсуждением актуальных проблем исследования чешской и польской литературы, в изучение которых внесли, по заключению И. Горака и его коллег, ценный вклад и советские литературоведы-слависты.

На заседании секции южнославянской филологии в то же время обсуждались доклады доцента ЛГУ А. Д. Александрова «Начало славяноведения в России» и профессора ЛГУ К. А. Копержинского «Сербские деятели 60–70-х годов и русская литература». В первом докладе автор подверг критике мнение академика В. Ягича, считавшего 1835 год официальным началом русского славяноведения. Он привел многочисленные данные о том, что и до принятия нового университетского устава в этом году, по которому в университетах России утверждалась новая дисциплина — «история и литература

славянских наречий», русское славяноведение в начале XIX в. сделало значительные успехи. В заинтересованном обсуждении доклада приняли участие А. Белич, П. Г. Богатырев, доцент В. Эрнитс (Тарту) и доцент Е. К. Бахмутова (Казань).

В докладе профессора К. А. Копержинского было представлено сокращенное изложение нескольких глав подготовленного к печати большого труда ученого, в котором подчеркивалась роль «передовой русской литературы 60—70-х гг. XIX в. в создании сербской национальной литературной школы», стоявшей на позициях реализма. Выступившие в прениях А. Белич и В. Эрнитс пошли в своих суждениях дальше докладчика и в духе времени «говорили... о ведущей роли советской литературы в литературных исканиях писателей современной... Народной федеративной республики Югославии»³⁷.

Вечернее заседание открыл доклад (на русском языке) краковского профессора Т. Лер-Сплавинского «Происхождение и прародина славян»³⁸, высказавший мнения, расходящиеся с трактовкой проблемы советскими учеными. Он показал на основе лингвистических и археологических данных, что «распадение балто-славянской группы началось в первые века так называемого бронзового века (1800—1500 годы до н. э.), в связи с вторжением новой волны индоевропейского населения, кристаллизировавшегося в отчетливое этнически-культурное целое, носящее в науке название лужицкой культуры. В Бассейне Одера и Вислы население лужицкой культуры наслоилось на протобалтийский субстрат»³⁹. Советские ученые, отказавшиеся на основании «нового учения о языке» Н. Я. Марра от понятий «прародина» и «праязык», естественно, довольно активно выступили в прениях по докладу. Среди выступавших — профессора В. В. Мавродин (ЛГУ), М. И. Артамонов (ЛГУ), П. Н. Третьяков (МГУ), М. Н. Тиханова (Казань), доцент В. И. Эрнитс (Тарту). Дипломатично оценив высокие достоинства доклада, они сошлись во мнении о том, что «историю славян не следует понимать только как процесс постоянного расщепления одного народа на более мелкие группы; параллельно шел процесс этнической консолидации, который надо учитывать, говоря об истории развития славянства»⁴⁰. Т. Лер-Сплавинскому осталось только поблагодарить советских коллег за ценные замечания и выразить сожаление, что в годы войны он не мог ознакомиться с важными достижениями советской науки в этой области.

Заседание завершил доклад профессора МГУ В. В. Виноградова «Проблема изучения русского языка»⁴¹ в котором указывалось, что история литературного языка, «охватывающая историю общегосударственной письменности и разговорной речи, не может обойтись без разностороннего изучения устных и письменных диалектов и арго города, без изучения социально-групповых диалектов, стилей

языка города, а также без изучения фольклора»⁴². В прениях по докладу выступили профессора П. Г. Богатырев, Б. Гавранек и А. Белич, которые подчеркнули актуальность проблем изучения литературной речи в общей системе славистических изучений.

Утром 3 июля участники совещания, включая представителей посольств славянских стран, под председательством ректора ЛГУ А. А. Вознесенского продолжили обсуждение перспектив дальнейшей совместной работы и выработали резолюцию совещания⁴³.

На этом повестка дня совещания не была исчерпана, так как остались не прочитанными доклады многих ленинградских славистов. Но срок пребывания иностранных гостей в Ленинграде истек. Поэтому было решено вечером 3 июля заслушать тезисы заявленных в программе конференции докладов. Среди них доклад профессора МГУ П. Г. Богатырева «Проблема изучения народного театра у славян», профессора ЛГУ К. Н. Державина «Возникновение болгарской драматургии», доцента ЛГУ Л. В. Разумовской «Немецкая колонизация и немецкое право в Великой и Малой Польше XIII–XIV вв.», профессора ЛГУ Б. А. Ларина «О русско-литовских языковых связях», доцента Тартуского университета В. И. Энитс «О славистике в Эстонии», доцента ЛГУ Э. А. Якубинской-Лемберг «К вопросу о славяно-финских языковых отношениях». Было принято единодушное решение издать все представленные доклады (в том числе и не прочитанные полностью) отдельной книгой «Труды научной сессии по славяноведению». К сожалению, это намерение не было реализовано⁴⁴.

Утром 4 июля прошло заключительное пленарное заседание сессии. С докладом на русском языке «О балканском языковом союзе» выступил профессор Пражского университета Б. Гавранек, который познакомил слушателей с подходами к изучению языковых систем, выработанные в пражском лингвистическом кружке, членом которого он являлся. «Балканский языковой союз рассматривался как один из ярких примеров того явления, когда языки, не родственные по своему происхождению, будучи языками народов, живущих в одной и той же географической области, приобретают общие языковые черты»⁴⁵. Такие подходы к языковым явлениям, сегодня считающиеся хрестоматийными, в то время были малоизвестны советским лингвистам. В прениях по докладу выступили самые «продвинутые» в этой области А. Белич, Э. А. Якубинская-Лемберг, В. И. Энитс.

Последний доклад на сессии «Учение А. А. Поттебни о стадийности развития синтаксического строя в славянских языках» прочел профессор МГУ В. В. Виноградов. Он показал, что выдающийся отечественный лингвист «впервые в истории языкознания выдвинул тезис исторической изменчивости типов предложения и развил

учение о стадильности развития синтаксического строя славянских (и шире индоевропейских) языков»⁴⁶. Обращение к традициям отечественной науки было тогда в порядке вещей, но судя по первоначальной информации, В. В. Виноградов подверг критике отдельные положения теории А. А. Потебни на том основании, что тот «произвольно сблизил явления разного времени и разного конструктивно-синтаксического значения»⁴⁷. Пафос доклада был направлен на необходимость дальнейшей углубленной разработки проблем конкретно-исторического и сравнительно-исторического изучения синтаксиса славянских языков.

Важным итогом работы сессии было принятие обширной резолюции, в которой ее участники признали необходимость созыва ежегодных научных славистических конференций для обсуждения актуальных вопросов славяноведения, причем в его комплексном понимании (то есть лингвистики, истории славянских народов, истории литературы, этнографии, археологии фольклора), создания организационного комитета с участием представителей всех славянских стран и издания им специального «Информационного бюллетеня». Ставился вопрос об установлении регулярного обмена славистическими изданиями между университетами славянских стран, о выпуске ряда совместных специализированных научных журналов и сборников по славяноведению, а также ежегодных библиографических сборников. Рекомендовалась организация совместных научных славистических экспедиций (лингвистических, археологических, этнографических, фольклорных). В плане улучшения преподавания славистических дисциплин считалось желательным согласование планов университетского образования и программ отдельных курсов и налаживание регулярного обмена ими. Признавалась необходимость издания учебников и учебных пособий по славяноведению как отдельными учеными, так и объединенными усилиями славистов славянских стран. С целью дальнейшей активизации научно-исследовательской и учебно-педагогической работы в области славяноведения рекомендовалось наладить обмен преподавателями университетов славянских стран и организовывать стажировки студентов для более глубокого изучения зарубежных славянских языков, литератур и истории. Признавалось целесообразным также устройство при университетских славистических отделениях школ живых славянских языков, для практического обучения этим языкам как студентов, так и всех желающих⁴⁸.

Сессия по славяноведению стала одним из самых ярких научных событий в жизни Ленинградского университета того времени, привлекла широкое внимание общественности к вопросам славяноведения. Примечательно, что на этом совещании не проявилось какого-либо идеологического диктата. Было разрешено прочтение

незапланированных докладов зарубежных славистов, в которых излагались взгляды не принятые в советской науке. Зарубежных славянских ученых не стремились прямо склонить к принятию марксистской методологии, но настойчиво знакомили с достижениями и утвердившимися мнениями советских коллег. Допускались и свободные дискуссии и живое неформальное общение славянских ученых, продолжавшееся в переписке и книгообмене, что, несомненно, приносило взаимную пользу. Разумеется, далеко не всё из намеченных планов было реализовано сразу, но постепенно с утверждением социалистического лагеря началось расширение научных контактов и обмена преподавателями и студентами между университетами славянских стран, налаживание сотрудничества между академическими институтами и обмена их изданиями. Долго оставались не реализованными проекты совместных славистических изданий. Не получила поддержки идея организации ежегодных конференций. К сожалению, информация об этом совещании почти не выходила за рамки Ленинграда⁴⁹, и потому, например, московские историки-слависты оказались во многом неосведомленными о широких планах межславянского сотрудничества филологов.

Тем не менее декан филологического факультета ЛГУ М. П. Алексеев мог с основанием сказать при закрытии сессии, что «пятидневная совместная работа ученых славянских стран будет иметь серьезное значение не только для развития славистики как науки, но и для укрепления дружественных отношений между учеными братских славянских стран»⁵⁰. И, действительно, вскоре началась работа по подготовке Первого общеславянского конгресса ученых-славяноведов в Москве, намеченного на июнь 1948 г., которая преодолела разобщенность историков и филологов. Съезд имел негласной целью склонить зарубежных славистов к принятию марксистской методологии. Он не состоялся из-за разразившегося тогда партийно-государственного кризиса в отношениях СССР и Югославии⁵¹.

Одновременно с научными конференциями были разрешены и поощрялись командировки советских ученых в страны народной демократии. Одной из первых состоялась триумфальная поездка Н. С. Державина в Болгарию и Югославию, продолжавшаяся с 28 февраля по 26 октября 1945 г. Она была чрезвычайно примечательна для того времени, поэтому на ней следует остановиться подробнее.

Поездка в Болгарию состоялась по приглашению Болгарской Академии наук и искусств и Софийского университета. 1 марта Н. С. Державин, вместе со своим сыном, литературоведом и историком культуры К. Н. Державиным прибыли в Софию и приняли участие вместе с другими членами советской делегации в Славянском соборе, по существу очередном Славянском съезде (статус которого Болгарии не был дан в виду ее недавнего участия в гитлеровской

коалиции). Собор был созван по случаю празднования 67-й годовщины освобождения болгарского народа от турецкого ига и проходил с 1 по 15 марта 1945 г. Державины приняли участие во всех его мероприятиях, митингах в разных городах Болгарии. На двух заседаниях Собора 4 марта Н. С. Державин выступил с докладом «Славяне, Россия и Советский Союз»⁵². После Собора Державины остались в Болгарии для проведения научной и общественной работы, что имело принципиально важное значение для налаживания советско-болгарских культурных связей. Академик особо отметил в отчете внимание и заботу, проявленные по отношению к нему от болгарских властей и руководителей общественных организаций, в частности, со стороны чрезвычайно важного политического лица в Болгарии того времени, регента при малолетнем царе Симеоне II, академика Т. Павлова, председателя Славянского комитета Болгарии Н. Николова и его помощника К. Македонского, бывшего военного министра, генерал-полковника Д. Велчева, начальника VI отделения Министерства, полковника К. Маркова, председателя Болгаро-советского общества Д. Костова, вице-председателя БАНИ Н. Доланчиева, ректора Софийского университета С. Баламезова, затем Д. Ораховаца и др.⁵³

Осуществление научных связей началось с Софийского университета. С 17 марта Н. С. Державин начал читать там курс лекций по истории Болгарии, начав их с темы «Происхождение болгарского народа и образование Первого Болгарского государства на Балканском полуострове». Потом 23 марта прочитал лекцию «Богомилы и богомилство», 24 марта — «Паисий Хилендарский», 27 марта — «Софроний Врачанский», 28 марта — «Болгарский народ под турецким владычеством», 4 апреля — «Влияние века Просвещения и Французской революции на национальное возрождение народов Балканского полуострова», 6 апреля — «Подъем капитализма и зарождение национальной буржуазии в Болгарии». До своей тяжелой болезни он успел прочесть 9 лекций цикла, доведя изложение материала до начала XIX в., а не до освобождения Болгарии в 1878 г., как планировалось ранее⁵⁴. Для студентов и преподавателей Софийского университета курс лекций Н. С. Державина имел тогда большое значение: это было их первое соприкосновение с марксистской интерпретацией болгарской истории в понимании советского академика. Потому этот лекционный цикл был застенографирован, переведен на болгарский язык и издан в партиздате. Н. Николов писал впоследствии: «Благодаря трудам Н. С. Державина болгарская историческая наука не только исправила некоторые свои ошибочные представления, но, что еще важнее, усвоила правильный методологический подход к историческим явлениям»⁵⁵.

Одновременно Державин занимался широкой популяризаторско-пропагандистской деятельностью, выступал с лекциями и докладами в разных городах и перед разными категориями слушателей. В его отчете в Отделении литературы и языка АН СССР отмечено, что в Софии, Пловдиве, Свишове, Панагюриште он читал лекции о культурном строительстве в СССР и по славяноведению. В поездке в эти города Державина сопровождали многие официальные лица — регент, коммунист Т. Павлов, министр информации и искусства Д. Казасов, министр, генерал-лейтенант Д. Терпешов и др. В Свишове, родине классика болгарской литературы Алеко Константинова Н. С. Державин, автор статей об этом писателе, прочитал специальный доклад о его романе «Бай Ганю» и возложил венок от имени АН СССР на его могилу. В Панагюриште Державин побывал на народном празднике, посвященном Апрельскому восстанию 1876 г., и в долине Оборище — месте заседания подпольного народного собрания, произнеся речь об историческом значении этого события⁵⁶.

Везде Державина принимали торжественно, как посланца «великого Советского Союза». «Повсюду приезд мой, — писал он в отчете, — вызывал многолюдные манифестации в честь Советского Союза и сопровождался лозунгами боевого единства славянских народов против германо-фашистской агрессии»⁵⁷. В научных кругах, по воспоминаниям С. Б. Бернштейна, существовала легенда о том, что даже И. В. Сталин позавидовал такой популярности и такому приему Н. С. Державина в Болгарии и сделал определенные оргвыводы в отношении его дальнейшей карьеры. Во всяком случае, многие его последующие проекты в области славяноведения не находили поддержки в верхах.

В Болгарской Академии наук и искусств ученый сделал два доклада: 22 марта «Кралевиц Марко и Илья Муромец» и 27 марта — «АН СССР: история, организационная работа». Содержание докладов широко освещалось в болгарской печати (в основном партийной). Доклады в Академии наук были опубликованы в «Известиях БАНИ» и изданы отдельными брошюрами. Всего он прочитал, таким образом, 21 научный доклад и 28 докладов и речей — на собраниях, митингах, банкетах⁵⁸.

Важное значение для развития болгаро-советских культурных связей имело тесное общение Державина с представителями тогдашнего руководства Болгарии на самом высоком уровне. В отчете он упоминал «долгие беседы с регентом Т. Павловым, работниками ЦК БРП (Васил Коларов, Трайчо Костов, Волко (Вылко) Червенков и др.), экзархом Болгарии митрополитом Стефаном, с главным секретарем Национального комитета Отечественного фронта т. Цолой Драгойчевой, с рядом министров, болгарских ученых, писателей, артистов, студенчеством и т. п.) на животрепещущие темы

политической жизни Болгарии, ее будущего, ее связей с СССР и т. д. Во всех этих беседах я подчеркивал историческое значение деятельности Отечественного фронта и развивал мысль о необходимости наиболее тесных, в первую очередь, культурно-общественных, связей с братским русским народом»⁵⁹. Примечательно, что при таком самом высоком ранге приема академика Н. С. Державина в Болгарии, не состоялось его встреча с ведущим партийно-государственным лидером Г. Димитровым (может быть, из-за вышеуказанной позиции И. В. Сталина?) и везде его сопровождали представители военных ведомств.

Надо отдать должное Н. С. Державину в том, что он хорошо понимал значение научных связей и многое сделал для их возобновления. Начинать нужно было с книгообмена. «Ознакомившись с работой БАН, Софийского университета и ряда болгарских научных обществ, — писал он в отчете, — я принял меры к тому, чтобы восстановить, в интересах нашего славяноведения и славянской научной мысли в целом, связи с болгарской наукой. В результате мне удалось, благодаря любезности болгарских научных учреждений, ряда научных работников и некоторых издательств, скомплектовать целую библиотеку книг, в существенной мере заполняющих столь ощутимый у нас пробел в болгарской научной литературе по истории, филологии, этнографии и т. д. (за время с 1915 по 1945 гг.). Библиотека эта в количестве примерно до 2000 наименований доставлена мною в Москву и явится ценным пособием для наших работ в области славяноведения. Кроме того, я привез с собою ряд изданий, подаренных болгарскими научными учреждениями для наших научных библиотек и провел в Болгарии большую работу по установлению нормального книгообмена с АН СССР»⁶⁰. Судьба этих книг нам неизвестна. Не исключено, что значительная их часть попала в библиотеку ИНИОН.

Пребыванию Державина в Болгарии болгарская пресса уделяла большое внимание. Было опубликовано свыше 20 обстоятельных статей, характеризующего его как болгароведа-слависта и как общественного деятеля.

С особой гордостью Державин упоминал о наградах, которыми его удостоили в Болгарии. Регент Болгарии Т. Павлов наградил его орденом Св. Александра II степени. БАНИ избрала его своим почетным членом, Софийский университет утвердил его доктором славяноведения *honoris causa*. Державин был избран также почетным членом Союза писателей в Болгарии, Болгарских археологического, исторического, этнографического и географического обществ, а также почетным председателем Македонского научного института, Славянского сектора Археологического института, Общества филологов-славистов в Софии⁶¹. По случаю чествования в Софийском

университете, произошедшего 2 марта 1945 г., Державин произнес примечательную речь «Задачи славянской филологии и методы исследования советской науки»⁶², познакомив болгарских профессоров и студентов со своим видением марксизма (вероятно, в духе марризма) применительно к этой отрасли знания.

Города Свищов и Пловдив избрали советского академика своим почетным гражданином, городское управление Софии решило назвать его именем одну из центральных улиц⁶³.

Н. С. Державин скромно констатировал: «Все мое пребывание в Болгарии прошло под знаком выражения со стороны широких кругов болгарской общественности своих глубоких и искренних симпатий к братскому русскому народу и СССР. Одновременно с этим болгарский народ, гостем которого я официально именовался, чествовал меня и как советского ученого, посвятившего почти полвека изучению его истории, языка, литературы и фольклора. И то и другое переполняло меня гордостью за мою страну и чувствами высокого морального удовлетворения»⁶⁴.

С 12 по 16 мая 1945 г. по личному приглашению маршала И. Броз Тито Державин отправился в Белград. Это был своего рода общественно-политический визит на самом высоком (не по рангу «простого» академика) уровне: «Я был принят маршалом Тито в занимаемом им дворце, совершил вместе с ним экскурсию на Могилу неизвестного воина, где мы были приветствуемы тысячной толпой народа»⁶⁵. Здесь он тоже успел выступить с рядом докладов: 13 мая на заседании Югославской Академии наук на тему «АН СССР в прошлом и настоящем» и 14 мая в Народном университете — «Советская наука в годы войны». В Академии и университете он произнес также несколько речей на собраниях и банкетах по случаю его визита. С деятельностью этих научных учреждений из-за недостатка времени ему детально ознакомиться не удалось. «Тем не менее, — писал он в отчете, — я получил возможность обогатить свою библиотеку ценными изданиями и установить личный контакт с некоторыми из югославских коллег по моей научной специальности»⁶⁶.

По представлению И. Броз Тито Державин 15 мая был награжден орденом «Народного освобождения», который был вручен «в заседании Скупщины в присутствии многочисленных представителей общественности и научного мира». На прощальном банкете он произнес примечательную речь о «задачах объединения славян и значении СССР в деле послевоенного славянского возрождения»⁶⁷, в которой, судя по всему, откровенно выразил некоторые «панславистские» настроения в верхах советского общества, которые официальные лица предпочитали до времени не афишировать.

Чрезвычайно обширная научная и общественно-политическая программа пребывания Державина в Болгарии и Югославии не могла

не сказаться на его здоровье как человека в преклонном возрасте. Вскоре по возвращении из Югославии 28 мая 1945 г. с Державиным случился инсульт (артериально-склеротический тромбоз)⁶⁸. Тяжелая болезнь не позволила ему окончить чтения в университете, завершить научную программу по сбору материалов для задуманной истории болгарской литературы. Болгарская общественность проявила к нему трогательную заботу. Лечение было организовано на самом высоком уровне. По инициативе Г. Димитрова из Москвы был вызван профессор Ю. В. Коновалов. Лишь в конце своего пребывания в Болгарии Державин присутствовал на панихиде по случаю годовщины смерти классика болгарской литературы И. Вазова. Произнес несколько слов и возложил цветы на могилу от имени АН СССР. В Москву он смог вернуться только 26 октября 1945 г. и еще несколько месяцев продолжал лечение.

С полным основанием Державин мог заключить: «Надеюсь, что в какой-то степени мое путешествие в Болгарию внесло свою лепту в дело культурного сближения СССР и болгарского народа, и тем самым способствовало развитию сотрудничества между Болгарией и СССР в деле обеспечения счастливого будущего всего славянства»⁶⁹.

Отношение болгарского общества к визиту Н. С. Державина хорошо выразил в статье «Великий друг Болгарии — Н. С. Державин» председатель Славянского комитета Болгарии Найден Николов: «Н. С. Державин в своем братском отношении к болгарскому народу раскрыл перед нами чувства великого русского народа к своему меньшему брату, чувства, объясняющие нам ту готовность, с какой русский народ дважды устремился в тяжелую борьбу за наше освобождение. Николай Севастьянович для нас — живая связь, олицетворяющая отношения между двумя братскими народами»⁷⁰.

После триумфальной командировки Н. С. Державина АН СССР на заседании Президиума АН СССР от 4 ноября 1945 г., вероятно, с учетом пожеланий резолюции ленинградского совещания, приняли решение отправить первую историко-археологическую экспедицию на Балканы. Она должна была носить более спокойный, деловой характер: «В целях изучения важнейших проблем Балканских стран, а также истории славянства, направить в ноябре 1945 г. в Болгарию, Югославию и Румынию экспедицию археологов и этнографов в составе научных сотрудников Института истории материальной культуры им. Марра и Института этнографии: академик Б. Д. Греков (руководитель экспедиции), профессор П. Н. Третьяков, профессор А. В. Арциховский, профессор Т. С. Пассек, профессор В. В. Бунак, профессор В. И. Равданикас и доцент И. Т. Кругликова. Установить срок работы экспедиции двухмесячный»⁷¹. В ноябре экспедиция не состоялась. Она была отправлена за рубеж в начале 1946 г. в несколько измененном составе. Возглавил ее П. Н. Третьяков. В группу

вошли археологи Б. А. Рыбаков, В. И. Равдоникас, А. В. Арциховский и этнографы С. А. Токарев и П. Г. Богатырев⁷².

Поездка продолжалась два месяца с 10 января по 9 марта 1946 г. и носила научно-ознакомительный характер. Ни один из участников экспедиции ранее не бывал на Балканах и лично не был знаком с учеными их принимавшими. Как писалось в отчете, «участники поездки выступали с научными докладами в Софии, Белграде, Загребе, Любляне, Сплите, Сараеве и Бухаресте и в свою очередь ознакомились с научной работой местных археологов и этнографов»⁷³. Археологов интересовали сокровища археологических музеев Болгарии, Югославии и Румынии независимо от их этнической принадлежности и эпохи. С равным интересом археолог А. В. Арциховский писал, например, о находках периода палеолита, римской и византийской эпох и пр. Тем не менее славянские экспонаты отмечались особо. Так, среди находок Народного археологического музея в Софии указывались средневековые болгарские рельефы, которые «имеют много аналогий в искусстве Киевской Руси, например, рельефы из Преслава с павлинами, кипарисами и т. д. Надписи первых болгарских царей не славянские, а греческие с тюркскими именами. Среди них целый ряд списков оружия, своего рода каменный архив арсенала. В 1945 г. впервые удалось найти надпись на тюркском древнеболгарском языке... Славянских надписей найдено не очень много, в основном это надгробия»⁷⁴. Было отмечено, что славянская керамика в Болгарии «совершенно такая же, как во всем славянском мире, от Эльбы до Волги и от Ладожского озера до Адриатического моря»⁷⁵. В ней совпадали керамические профили и орнаменты, клейма, техника обработки глины и даже хронологические этапы развития посуды. Было обращено внимание на многочисленные витые браслеты, хранящиеся в музеях Болгарии и Югославии, во многом аналогичные средневековым московским и новгородским.

А. В. Арциховский охарактеризовал также своих болгарских коллег, с которыми участники экспедиции познакомились и завязали научные контакты. Это прежде всего директор Народного археологического музея в Софии, академик Н. Мавродинов, известный специалист по прикладному искусству эпохи переселения народов, болгарской архитектуре и живописи, который руководил раскопками средневековых столиц Болгарии. Результаты этих раскопок, заметил Арциховский, обрабатываются не только в Музее, но и в Болгарском археологическом научно-исследовательском институте в Софии. Советские ученые познакомились с директором этого Института, академиком Г. Кацаровым, крупнейшим в мире специалистом по истории и археологии античной Фракии, а также с его ученым секретарем, академиком К. Миятевым, автором фундаментальных

трудов по архитектуре и художественной керамике средневековой Болгарии. Большую взаимную пользу принесли встречи с видными археологами Софийского университета, в частности, с профессором Д. Димитровым, который читал курс археологии в университете, являлся руководителем кабинета археологии и автором книг о римских рельефах⁷⁶.

Участники экспедиции восхищались далее Боянской церковью 1259 г. в окрестностях Софии. Было отмечено, что фрески выполнены многими мастерами в разных стилях, «движение в них передается теми же средствами, что в византийской палеологовской живописи, но лет на сто раньше. Возможно, что в создании этого нового стиля не греки влияли на славян, а славяне на греков. Краски теплые и мягкие. Поражает лицо мальчика Христа... задумчивое и вдохновенное: такая степень выразительности для средних веков почти невероятна. Изображения болгарских владетелей портретны и величественны»⁷⁷.

В Пловдивском археологическом музее внимание участников экспедиции привлекли вещи из скифских курганов. Затем они посетили Бачковский монастырь 1083 г. в Родобах, который в период византийского ига и Второго болгарского царства был важным центром болгарской культуры. Из него вышел известный московский митрополит Киприан.

На пути из Варны в Софию советские ученые остановились в Шумле — местах раскопок болгарских археологов Преслав, Мадара, Плиска. Отмечено, что имя Преслав (Переслав) роднит Болгарию с Русью. Указано, при раскопках здесь была найдена стена церкви, на которой виднелась глаголическая надпись. В 1945 г. здесь при возобновлении раскопок была обнаружена колонна с надписью на древнеболгарском языке⁷⁸. В Мадаре, на горном утесе археологи любовались рельефным конным портретом болгарского царя Крума (803–814), известного своими военными победами. В Плиске (Плесков, т. е. Псков, что указывает на связь севера и юга славянского мира) — древней столице Болгарии, Арциховский отметил, что здесь чтут память русского археолога Ф. И. Успенского, начавшего в 1899 г. раскопки этого города. Одна из площадей названа его именем⁷⁹.

С 4 февраля началась поездка по Югославии. «С первого же дня, — писал А. В. Арциховский, — мы установили такой же контакт с югославянскими археологами, как и с болгарскими. Наиболее ярким представителем археологии в Белграде является профессор университета Джурдже Бошковиц, многочисленные труды которого посвящены средневековью (преимущественно сербской архитектуре); он освобожден из немецкого лагеря Красной Армией. Еще работает профессор-пенсионер Милое Васич, известный по своим

раскопкам первобытных неолитических поселений. Многие представители югославской академической интеллигенции участвовали в партизанских отрядах, в том числе видный специалист по средневековым сербским надписям Титомир Вуканович⁸⁰.

В археологическом музее Белграда были отмечены находки спиральной расписной керамики, похожие на трипольскую керамику, а также славянская керамика и витые четверные браслеты, сербские печатные перстни с именами владельцев XIV—XV вв.⁸¹ В музее Загреба ученые увидели серебряную чашу московской работы 1558 г., которая является доказательством связей Руси с южными славянами. В Любляне наряду со всемирно известной коллекцией сосудов гальштадской культуры советские археологи обратили внимание и на славянскую керамику. После посещения Риеки и Задара участники экспедиции направились в Шибеник, который в средние века был гнездом славянских пиратов, хозяйничавших в Средиземном море. Особо отмечены портретные бюсты граждан Шибеника (всего 130) эпохи Возрождения. «Некоторые лица по своей энергии и значительности совершенно незабываемы»⁸². В Сплите особое впечатление произвел величественный дворец Диоклетиана и его мавзоль. В археологическом музее отмечены средневековые надписи хорватских князей по-латыни (самая ранняя князя Трпимира 845 г.) и славянская кириллическая надпись князя Бречко XII в.⁸³ Сплит известен как археологический центр международного значения. И потому советские ученые не преминули познакомиться с директором сплитского Археологического музея, профессором М. Абрамичем, крупным специалистом по античной археологии, а также с руководителем реставрационных работ во дворце Диоклетиана, молодым археологом Ц. Фисковичем, который во время войны был бойцом партизанского отряда⁸⁴.

Далее участники экспедиции посетили славянский средневековый город Трогир и направились, посетив живописные острова-города Хвар и Корчула, в Дубровник, эту республику «славянских мореплавателей, известных во всех морях, город академий, где развивались в XVI—XVII вв. югославская поэзия и наука», город, который «прекрасно сохранил свой архитектурный облик». В ризнице дубровницкого собора они рассматривали византийские перегородчатые эмали, в археологическом музее — собрание гальштадских и римских древностей, особо отметив выставку посуды местной аптеки 1420 г. и эффектные красные шелковые мантии ректоров⁸⁵.

Из Дубровника советские ученые поездом прибыли в Сараево — столицу Боснию, известную по событию 1914 г. «Мы посетили место, где стрелял Принцип; теперь там висит мраморная доска»⁸⁶. В Археологическом музее их внимание привлекли материалы известного неолитического поселения Бутмир, близ Сараево, а из не

изучавшихся еще славянских древностей — двуручные мечи, найденные в местных богомильских погребениях XIV—XV вв. Отмечено, что здесь в большинстве живут магометане, говорящие по-сербски⁸⁷. С 3 марта экспедиция находилась в Румынии и 9 марта вылетела в Москву.

А. В. Арциховский выразил надежду, что «поездка положит начало научному общению советских и балканских археологов»⁸⁸.

Экспедиция была первой в своем роде поездкой группы советских ученых на Балканы. Она, безусловно, способствовала расширению их научного и культурного кругозора. Впечатлениями делились с коллегами и студентами. Были установлены необходимые научные контакты. Неоднократно отмечалось, что язык не был препятствием к общению. Ученые быстро адаптировались и слушали доклады и выступления коллег на их родном языке, не нуждаясь в услугах переводчиков. С удовлетворением было отмечено также, что болгарские интеллигенты сносно объясняются по-русски, так как русский язык здесь преподается непрерывно с 1878 г.: «Большинство наших болгарских знакомых отлично знают в подлиннике русскую классическую литературу и вообще нашу страну, но знают книжно. Никто из них никогда в России не был, но, несмотря на это, многие из них являются людьми русской культуры, и все мечтают побывать у нас, прежде всего в Москве. Симпатии к нашей стране за последние годы неизмеримо выросли»⁸⁹.

Примерно то же самое писалось и о Югославии: «Мы слышали во всех городах Югославии русские и югославские песни о России и Москве. Любовь югославского народа к русскому народу трудно передать словами. Русский язык югославские интеллигенты понимают, многие и сами говорят на нем. Здесь, как и в Болгарии, много людей, воспитанных на русской классической литературе. В России они тоже не бывали и тоже надеются побывать. Для нас сербохорватский язык оказался так же лёгок, как и болгарский, и мы слушали доклады наших коллег на родном языке. После войны русский язык введен во всех школах югославских республик в качестве обязательного предмета»⁹⁰.

Характеристика экспедиции советских ученых на Балканы была бы не полной без впечатлений, которые вынес из нее этнограф П. Г. Богатырев. В своем отчете об этой поездке, заслушанном на заседании Ученого совета Института этнографии АН СССР 19 марта 1946 г. и в докладе «Балканская экспедиция Академии Наук СССР» — на совещании славистов в Ленинграде (16 июня 1946 г.)⁹¹, он сообщил, что задачами экспедиции с точки зрения этнографии и фольклористики, было ознакомление с современным состоянием этих наук в Болгарии, Югославии и Румынии и выяснения возможности работы там советских ученых, а также установление научных

контактов и выработка разных мероприятий для укрепления этих связей⁹². Поскольку С. А. Токарев был отозван из экспедиции на работу по определению триестской границы, вся полнота решения этих задач пала на самого П. Г. Богатырева. Он сообщил, что выступил там с 9 докладами (о современном состоянии советской фольклористики и о проблемах изучения народного театра у славян) и провел 7 совещаний с коллегами. Они рассказывали о состоянии этнографии и фольклористики на Балканах, а он — в СССР. В личных беседах ученый пытался нащупать пути организации совместной работы. Примечательно, что П. Г. Богатырев говорил с коллегами о необходимости созыва съезда славянских фольклористов и совещания по изучению славянского эпоса и народного театра и нашел поддержку и сочувствие этой идее в предложении созвать также новый съезд славянских этнографов и географов (два из них проводились в Праге в 1920-е гг.). Идея созыва съезда славянских фольклористов широко обсуждалась в сербской печати (газета «Политика» от 3 марта 1946 г.). С большим интересом было воспринято сообщение Богатырева о подготовке в Институте этнографии сборника «Славянский фольклор» со статьями на всех славянских языках⁹³. Болгарские, югославские и румынские ученые говорили о необходимости посылки в Советский Союз молодых ученых, которые могли бы на месте ознакомиться с достижениями советской фольклористики и этнографии, пройти аспирантуру в СССР. В то же время с пониманием было воспринято предложение П. Г. Богатырева об организации аналогичных командировок советских специалистов в балканские страны для прочтения целых курсов и циклов лекций, о посылке экспедиций советских ученых на Балканы и проведении совместных этнографических и фольклорных экспедиций, в которых мог бы произойти обмен методическим опытом. Богатырев сообщил также, что всюду славянские ученые просили прислать новую советскую литературу по этнографии и фольклористике, для чего необходимо наладить книгообмен⁹⁴.

В своем отчете П. Г. Богатырев подробно рассказал о посещении этнографических музеев в Софии, Белграде, Загребе, Любляне, Сплите, Дубровнике, Бухаресте и др. городах и встречах с коллегами, а также, о своих впечатлениях от участия в ряде народных праздников в провинции. Так, в Болгарии он присутствовал на народном празднике «сурваки» в Васильев день 2(14) января, наблюдал обряд Крещения в с. Панчево. Бабин ден (день повивальных бабок) отмечал в с. Бачково. Наблюдал обряды Власова дня, Масленицы, народных свадеб и пр.⁹⁵ После пересечения болгаро-сербской границы Богатырев наблюдал, как «молодежь водила „коло“ и пела партизанские песни, высмеивавшие короля и восхвалявшие Тито»⁹⁶. В Загребском университете ему показали этнографические фильмы

о местных свадьбах и похоронах. В Сплитском этнографическом музее его директор Д. Станоевич продемонстрировал советскому ученому народные костюмы православных и католиков. Было отмечено, что первые в условиях гнета хранили наряды бережнее, потому они и лучше сохранились. В Дубровнике в городском архиве Богатырев нашел два письма Петра I и одно — Екатерины II. Ученый записал в Югославии интересный рождественский обычай «бадан дан», согласно которому 6(19) января сжигают специально подготовленный и освещенный «бадняк» — кусок дерева. В селе Коновле и Врутаци он наблюдал католический обычай «Красна слава», связанный с почитанием «Трех королей» (или волхвов, посетивших младенца Христа). В целом П. Г. Богатырев выразил в своем отчете удовлетворение своей командировкой на Балканы и теплым приемом коллег. В дискуссии по докладу на Ученом совете в Институте этнографии АН СССР выступили М. О. Косвен и С. П. Толстов. Первый говорил не столько о докладе, сколько о необходимости организовать обучение славянским языкам для аспирантов-славистов Института. Последний комментировал ряд специальных вопросов, поднятых в докладе, и высказал несколько критических замечаний, найдя, в частности, что П. Г. Богатырев неясно определил задачи экспедиции. Он упрекнул ее организаторов также в том, что советские ученые не посетили Македонию и мало уделяли внимания вопросам антропологии⁹⁷.

Поездка советских ученых в Болгарию, Югославию и Румынию была первой ласточкой в установлении тесных научных контактов, личных и между институтами, развивавшихся в последующие десятилетия.

В 1946 г. произошли еще два знаменательных события в плане международных связей советских славистов, может быть, не вполне позитивного плана, но хорошо отражающие послевоенную обстановку и настроения победителей.

После окончания войны встал вопрос о репарациях со стороны Германии. Было решено послать туда несколько экспедиций, чтобы выявить книги и научное оборудование для последующего использования в учреждениях советской Академии наук. Этот вопрос обсуждался на распорядительном заседании Президиума АН СССР 31 января 1946 г. Здесь говорилось о создании целой сети групп научных сотрудников (по энергетике, ботанике, биологии, физике, автоматике-телемеханике, библиотечных работников и пр.) для посылки в Восточную Германию с целью сбора трофейных материалов. Постановили ходатайствовать о том, чтобы «Академии наук было предоставлено право на изъятие и вывоз книжных фондов, в особенности тех, которые могли бы идти для компенсации того ущерба, который нанесли нам немецкие оккупанты»⁹⁸. При этом

указывалось, чтобы на практике у немецких книготорговых фирм книги не просто отбирались, а за них платили наличными деньгами (марками)⁹⁹. В плане подобного обеспечения институтов гуманитарного профиля по постановлению ЦК ВКП(б) за подписью И. В. Сталина была организована Комиссия по отбору в германских библиотеках и архивах книг и материалов по славяноведению в составе: В. И. Пичеты (зав. Сектором славяноведения в Институте истории АН СССР), В. Т. Дитякина (ученый секретарь Славянской комиссии АН СССР) и Н. С. Пилипчука (член Всеславянского комитета в Москве), которая посылалась в советскую зону оккупации Германии. Об этой секретной миссии, которая никак не афишировалась, сохранился интересный документ — откровенное письмо В. Т. Дитякина академику Н. С. Державину от 25 октября 1946 г., где говорилось, в частности: «Выехали мы 23/VII с. г. и приехали обратно. 27/VIII с. г. Посетили Берлин, где пробыли 2 недели, затем Дрезден, Бауцен, Лейпциг, Галле, Веймер, Иену и еще некоторые мелкие города. В общем выбрали до 20 тыс. книг; архивных материалов мало, они заключены в соляных шахтах, и работать там долго очень трудно. Работали много и напряженно, в общем, довольно дружно, но могли бы, конечно, сделать больше и лучше при другом руководителе. Встретили нас и всюду принимали исключительно хорошо, кормили по-генеральски, был у нас автотранспорт, прекрасные жилища. Отобранные книги в большинстве своем просто неизвестны у нас — издания 1915 — [19]45 гг., есть очень много в том или ином отношении интересных. Большая часть по вопросам истории и международной политики. По филологии совсем мало, так как Пичета не решился тронуть Институт Фасмера. Бывали у лужичан и поморян, [видели], как они живут»¹⁰⁰. В. Т. Дитякин предполагал, что под руководством Н. С. Державина члены Комиссии «сделали бы во много раз больше», но именно благодаря взвешенной позиции В. И. Пичеты немецкие культурные ценности были сохранены и Институт М. Фасмера не пострадал. В СССР отобранные книги на долгие годы попали в спецхраны центральных библиотек и не читатели к ним доступа не имели.

На упомянутом выше заседании Президиума АН СССР от 31 января 1946 г. был заслушан также отчет генерал-майора И. И. Никитинского «О результатах работы Комиссии по принятию Русского заграничного исторического архива». Предыстория этого вопроса, которая имеет много примечательного в плане развития тогдашних научных и культурных связей с Чехословакией, такова. Этот архив первой волны русской эмиграции, обосновавшейся в Праге, был образован постановлением Земгора (Объединения российских земских и городских деятелей) от 17 и 19 февраля 1923 г. как учреждение при культурно-просветительном отделе пражского Земгора

в составе его библиотеки. В октябре 1924 г. постановление об архиве утвердили на общем собрании Земгора, и он получил название Русский заграничный исторический архив в Праге (РЗИА). Руководящим органом архива являлся Совет, в который входили в разные годы многие историки и общественные деятели из России: А. А. Кизеветтер (председатель Совета и Ученой комиссии), Е. Ф. Шмурло, академик П. Б. Струве, В. А. Мякотин, А. В. Флоровский, С. В. Завадский, П. Н. Милюков, генерал В. В. Чернавин, Н. И. Астров, В. Г. Архангельский, князь П. Д. Долгоруков, Л. В. Бурцев, Я. Славик и др.¹⁰¹ Актом от 31 марта 1928 г. архив был передан под юрисдикцию Министерства иностранных дел ЧСР. Новое положение об архиве вступило в силу только 1 января 1935 г. С этого времени РЗИА потерял самостоятельность в решении финансовых и кадровых проблем, а также вопросов, касающихся допуска исследователей к документам. После оккупации немецкими фашистами Чехословакии, 22 марта 1939 г. архив был взят под покровительство нацистского МВД. Произошла смена руководства архива. Возглавлявший его до этого чешский историк и публицист Я. Славик в прощальном слове к сотрудникам сказал: «Когда наступит время, все собранные в фондах архива богатства поступят в Россию и в этом будет заслуга ЧСР перед русским народом»¹⁰². Его слова оказались пророческими. После окончания войны 13 июня 1945 г. правительство возрожденной Чехословакии приняло решение о передаче РЗИА в Праге Академии наук СССР. Это было поистине царским подарком к торжествам по случаю 220-летия последней в июне-июле 1945 г. В Москву на это празднование была послана делегация чехословацких ученых во главе в министром школ и народного просвещения ЧСР З. Неэдлы, который в одном из выступлений публично сообщил о передаче Пражского архива в дар советской Академии наук¹⁰³.

По постановлению СНК СССР от 27 октября 1945 г. в Чехословакию направили Комиссию для приема РЗИА в составе ее руководителя И. И. Никитинского (начальника ГАУ НКВД), а также членов-корреспондентов АН СССР С. К. Богоявленского и И. И. Минца и доцента, впоследствии сотрудника Института Маркса—Энгельса—Ленина С. Б. Сутоцкого.

Отчет об этой миссии весьма примечателен для характеристики тогдашних советско-чехословацких отношений. В Праге комиссию ожидал самый теплый прием на достаточно высоком уровне — у министра школ и народного просвещения З. Неэдлы, которому было передано благодарственное письмо президента АН СССР, а также у премьер-министра ЧСР З. Ферлингера. Комиссии создали все условия для ознакомления с архивом и подготовки к его упаковке, к которой были привлечены бывшие сотрудники РЗИА А. Ф. Изюмов и Д. И. Мейснер. Следует отметить, что члены

Комиссии, несмотря на тогдашнее неприятие «белогвардейщины», быстро определили чрезвычайную историческую ценность передаваемого в СССР архива*. «Основную массу документов архива, — указывал И. И. Никитинский, — составляют материалы, относящиеся к 1917–1921 гг., т. е. периоду Великой Октябрьской социалистической революции в России. Материалы в первую очередь относятся к истории Гражданской войны, в частности, очень большое количество документов относится к армии Деникина и казачьему Войску Донскому и другим белогвардейским формированиям, существовавшим в период Гражданской войны. Среди материалов имеется очень большое количество протоколов правительства Деникина, Врангеля и по отдельным войсковым частям. Очень ценная часть архива — это мемуарный фонд. Здесь имеются личные воспоминания Деникина, Алексеева, дневники и воспоминания участников Кронштадтского восстания, участников похода Врангеля и т. д. Всего в мемуарном фонде имеется более 1200 экземпляров мемуаров, написанных в основном белогвардейскими элементами, которые в период пребывания в эмиграции все время писали свои воспоминания по документам и личным впечатлениям»¹⁰⁴.

И. И. Никитинский отметил также, что во второй части архива представлены материалы, характеризующие «белоземгранское движение на Северо-Западе России, в Прибалтике, Белоруссии и частично в Западной Украине. Здесь имеются очень большие коллекции, в частности, материалы Савинкова». Кроме того, он указал на наличие большого количества личных фондов 1918–1938 гг. и в первую очередь, материалы генерала А. А. Брусилова (воспоминания и переписка). Руководитель комиссии не мог не посетовать, что в архиве находится сравнительно мало материалов «дореволюционной эмиграции различных направлений, в том числе и социал-демократического»¹⁰⁵.

Генерал-майор НКВД не скрыл от академиков, что личные фонды сдавались на хранение в архив с завещаниями: «Передать

* В частности, И. И. Минц в своем выступлении по докладу И. И. Никитинского заявил: «Как известно, у нас в стране была создана Политбюро редакция по изданию национальной истории Советской власти, истории революции и Гражданской войны под руководством членов главной редакции — Сталина, Молотова, Ворошилова и Жданова; в редакцию входил покойный Горький. Когда была создана эта редакция, тов. Сталин дал такое указание: не торопитесь с изданием, материалов у нас немного, сделайте книгу так, чтобы её не опрокидывал первый попавшийся белогвардеец или первая книга, вышедшая за границей. Поэтому мы издали только I и II том, а дальше ничего не могли сделать — у нас не хватало материалов по 1918 году. Сейчас мы имеем возможность продолжить эту большую работу по составлению нашей национальной истории». И далее И. И. Минц поставил вопрос о необходимости приобретения эмигрантских архивов по крайней мере в Софии и Белграде. (АРАН. Ф. 2. Оп. 3. Д. 77. Л. 68).

в Россию после свержения советской власти» или «по установлении в России законного правопорядка». Он упомянул о том, что «эти материалы попали к нам в ином порядке», и о своем распоряжении упаковать и доставить их в СССР в первую очередь¹⁰⁶. Материалы документального фонда РЗИА заняли свыше 400 больших ящиков¹⁰⁷.

После официальных переговоров с членами правительства ЧСР, в ведении которого находился архив, Комиссии удалось добавить к указанному фонду книги на разных европейских языках, которые освещают историю Гражданской войны в России, но только те, которые восполняют книжные фонды, отсутствующие в СССР. Таких книг набралось 5 тысяч томов, большинство из которых представляли библиографическую редкость¹⁰⁸.

После особых переговоров с членами Чехословацкого правительства Комиссия смогла убедить их передать в СССР и значительную часть уникального газетного фонда РЗИА, в составе нескольких тысяч комплектов. «Среди них газеты русской белогвардейской эмиграции, издававшиеся во всех европейских странах, в США, в Африке и на Дальнем Востоке и не имеющиеся в советских книгохранилищах»¹⁰⁹.

Однако этим сбор коллекций архивных материалов в ЧСР не ограничился. В Национальном музее Праги размещались большие собрания реликвий войска Донского (знамена, оружие, коллекция монет и т. д.), сданные туда на хранение атаманом Богаевским и другими белогвардейскими генералами. Они также в виду большой исторической ценности были переданы Комиссии и отправлены в СССР¹¹⁰.

Наконец, Комиссия приняла и послала в Москву фонды существовавшего в Зbrasлаве Русского культурно-исторического музея, содержавшего документы и материалы, характеризующие деятельность многих известных русских художников, писателей, артистов — А. Н. Бенуа, К. А. Коровина, И. А. Бунина, А. И. Куприна, Ф. И. Шляпина и др. Среди материалов Музея имелась ценная этнографическая коллекция, привезенная в Прагу из Центральной Африки, а также книги, рукописи; письма и редкий портрет А. А. Бруилова, написанный на фронте в 1916 г. художником Киселевым¹¹¹. Все эти реликвии «любезно предложил» отправить в СССР хранитель музея, писатель В. Ф. Булгаков, бывший секретарь Л. Н. Толстого¹¹². К слову сказать, в конце 1945 г. он предложил советским дипломатам передать как «национальное достояние России» лучшие картины Музея (всего 51) в Третьяковскую галерею. 15 картин Н. Рериха предназначались для специального музея его имени в Москве¹¹³.

Помимо этого вдова генерала А. А. Бруилова Н. Бруилова-Желиховская передала Комиссии коллекцию материалов своего мужа. Была разыскана и присоединена к фондам РЗИА часть

документов члена-корреспондента Российской Академии наук, историка Е. Ф. Шмурло, найденных на чердаке бывшего Института Гейдриха и пр.¹¹⁴

6 декабря 1945 г. премьер-министр Чехословакии З. Ферлингер вручил членам Комиссии государственный акт о передаче РЗИА в дар АН СССР. Уже 13 декабря погрузка 650 ящиков с документами, журналами, книгами и пр. была завершена, и военный транспорт под охраной особой команды НКВД в составе, по одним данным 9¹¹⁵, по другим — 11¹¹⁶ вагонов, отправлен в Москву. После прибытия туда 25 декабря 1945 г. Комиссия в отчете президенту АН СССР С. И. Вавилову не могла не отметить, что «дар Чехословацкой республики превзошел все наши ожидания как по количеству материалов, так и по их содержанию»¹¹⁷.

Дальнейшая судьба архива вкратце такова. После прибытия в Москву 3 января 1946 г. документов РЗИА из Праги Президиум АН СССР, желая сохранить архив в целостном виде и учитывая особые условия его хранения, передал его для размещения в ЦГАОР СССР. Здесь было сосредоточено свыше 350 тыс. единиц хранения и 250 кг россыпи. НКВД, в свою очередь, распорядился строго ограничить допуск исследователей к материалам архива, ввиду их «белоэмигрантского» и «антисоветского» характера. За годы хранения в ЦГАОР СССР часть материалов РЗИА была передана в другие архивы. Здесь осталось 98 тысяч из поступивших в 1946 г. 350 тысяч дел. Только в период перестройки в марте 1987 г. фонды РЗИА были рассекречены и переведены в открытое хранение. В 1989 г. они выделены в специальное хранилище коллекций белогвардейских и белоэмигрантских фондов¹¹⁸. Ныне эти материалы доступны для специалистов.

Таким образом, в обстановке послевоенной эйфории и возросших симпатий к СССР Комиссии удалось не только получить материалы РЗИА — бесценный дар АН СССР — но и значительно пополнить собрание другими коллекциями, которые бывшие эмигранты предлагали сами. Чешская пресса откликнулась на акт передачи архива рядом весьма «положительных и дружелюбных» статей, и только бывший директор РЗИА Я. Славик в газете «Народное освобождение» от 1 декабря 1945 г. осмелился выступить против передачи архива АН СССР¹¹⁹, справедливо полагая, что в тогдашних условиях архив в СССР надолго будет закрыт для исследователей.

Помимо решения своей главной задачи Комиссия «провела серьезную работу по установлению научных связей с учеными и научными учреждениями Праги»¹²⁰, выполняла в Чехословакии важную миссию в деле налаживания и укрепления советско-чехословацких отношений. Для чешской стороны работа Комиссии была нерядовым событием. В честь пребывания Комиссии АН СССР в ЧСР

3 декабря 1945 г. премьер-министр З. Ферлингер устроил специальный прием с участием членов правительства и ученых города Праги. В ответ советский посол в Чехословакии В. А. Зорин, весьма способствующий работе Комиссии, также организовал прием, на котором «премьер-министр Фирлингер выступил с речью о значении дружбы между Советским Союзом и Чехословакией и особо подчеркнул роль, которую должен сыграть в укреплении этой дружбы дар правительства Чехословацкой республики. С ответными речами выступили руководитель делегации генерал-майор И. И. Никитинский и член-корреспондент АН СССР С. К. Богоявленский»¹²¹.

Члены Комиссии неоднократно приглашались в Пражский университет. В частности, по просьбе профессоров университета, желавших ознакомиться с основами марксистской методологии, специалист по истории Гражданской войны, член-корреспондент АН СССР И. И. Минц прочел лекцию «Методология истории Советского Союза». Состоялось также несколько публичных лекций. Член-корреспондент АН СССР С. К. Богоявленский сделал в университете доклад «Москва 300 лет назад», доцент С. Б. Сутоцкий выступил на тему «Ленин в Праге», И. И. Минц — «Оборона Москвы в 1941 г.», кроме того последний прочитал две лекции по истории советской дипломатии для советской колонии в Праге. Руководитель Комиссии, генерал-майор И. И. Никитинский провел беседу с работниками пражских архивов об архивном фонде Советского Союза. В докладной записке С. И. Вавилову от 30 декабря 1945 г. указывалось, что «выступления членов Комиссии АН СССР собрали значительную аудиторию, имели большой успех и были широко освещены в чехословацкой прессе»¹²².

Весьма примечательно, что лекции и доклады советских ученых вызвали оживленное обсуждение и многочисленные вопросы. Для нас особое значение имеет тот факт, что чешская ученая аудитория очень интересовалась проблемами развития славяноведения. А. А. Никитинский докладывал на заседании Президиума АН СССР 31 января 1946 г.: «Нас просили поставить этот вопрос в Академии наук с тем, чтобы его двинуть более энергично. Некоторые чехословацкие ученые, — правда, они по своему весу очень незначительны — поставили вопрос о создании там университета славяноведения. Наконец, они проявили инициативу созыва специального съезда по изучению истории славянства. Мы высказали мнение, что примем в нем участие, однако считаем, что центром славяноведения должна быть Москва, а не Прага — там и ученых мало, у нас ученых больше, и инициатива исходит из Москвы»¹²³. А. А. Никитинский даже предложил «поручить Институту истории АН СССР рассмотреть предложение чехословацких ученых об улучшении изучения истории славянства». На что президент Академии С. И. Вавилов

резонно заметил: «В связи с этим вопросом не стоит принимать такое постановление. Это очень актуальный вопрос и он совершенно не забыт Академией наук. Здесь есть трудности. Уже давно стоит вопрос об организации Института славяноведения в Академии наук. Он сейчас согласовывается в руководящих органах»¹²⁴.

Не исключено, что результатом этого совещания стала поспешная организация упомянутого выше международного совещания славистов в Ленинграде летом 1946 г. и подготовка первого послевоенного съезда славистов в Москве, проведение которого планировалось в 1948 г. Таким способом утверждался приоритет советского славяноведения перед Прагой и другими центрами славяноведения в Европе.

Важное значение указанного совещания Президиума АН СССР заключалось и в том, что здесь был поставлен вопрос о международном обмене учеными, хотя бы на примере СССР и Чехословакии. И. И. Минц говорил о необходимости «посылки молодых славистов наших в Чехословакию и приема чешских ученых в Москве»¹²⁵. И такие командировки, правда, не начинающих, а вполне зрелых ученых (А. Л. Сидорова, И. И. Удальцова и др.) действительно скоро состоялись.

С 22 октября 1946 г. по 17 февраля 1947 г. проходила командировка в Чехословакию историка А. Л. Сидорова (1900–1966), крупного специалиста по истории СССР, зам. директора Института истории АН СССР, профессора МГУ. Он попал в Чехословакию в сложный период общественного перелома, начавшегося после освобождения ЧСР в мае 1945 г. Красной армией и завершеного Февральским переворотом 1948 г. в пользу коммунистов. Его подробные отчеты о командировке являются ценным свидетельством очевидца о реалиях «новой демократии» в ЧСР, о настроениях, царящих в разных кругах чешской и словацкой интеллигенции и русской эмиграции, о борьбе за ориентацию ЧСР на Запад и Восток между СССР и некоторыми европейскими державами, об экономическом положении страны и происходящих там реформах, о политических партиях и их влиянии на общество, о депортации немцев из страны и пр. Разумеется, он всё оценивал в точки зрения реализации возможностей ускорения движения ЧСР по пути к социализму и переориентации чехословацкого общества на Советский Союз. В этом смысле он ощущал себя полпредом в ознакомлении чешской и словацкой интеллигенции с достижениями СССР как державы с передовым общественным строем.

На философском факультете Пражского университета советский историк прочитал курс лекций по новой истории СССР с середины XIX в. до 1917 г. А. Л. Сидоров отметил: «Курс был открыт в торжественной обстановке вступительной лекцией о советской

исторической науке. Ежедневно читалось по 5 часов. Два раза в неделю я читал двухчасовые лекции (которых вообще чешские профессора не читают) и один раз часовые». Для студентов, проявивших особый интерес к русской истории, ученый провел специальный семинар «Революция 1905–1907 гг. в России», в котором занималось 17–18 студентов и выпускников. Здесь на еженедельных двухчасовых занятиях прорабатывались указанные руководителем документы, заслушивались доклады. В последние две недели перед отъездом советского историка занятия участились до трех раз в неделю, что того, чтобы заслушать все подготовленные доклады¹²⁶. Следует отметить, что до А. Л. Сидорова отдельного курса по истории России здесь вообще не читалось. Он выступил пионером в этой области. Успех лекций советского ученого побудил руководство Пражского университета принять решение о привлечении двух профессоров для чтения лекций по истории России, а именно, профессора А. В. Флоровского, крупного слависта (из русских эмигрантов, получившего советское гражданство) для освещения древней истории России и доктора В. Жачека, начинающего специалиста — читать лекции по истории России XIX–XX вв. В отношении последнего А. Л. Сидоров в отчете МВО СССР С. В. Кафтанову от 21 февраля 1947 г. высказал пожелание о необходимости его стажировки в МГУ¹²⁷.

Кроме того, по предложению советского посольства, ряда научных и общественных организаций, А. Л. Сидоров прочитал большое количество публичных лекций и докладов, проявив широту эрудиции и ощущая себя полпредом советской науки. Так в советской образцовой гимназии он прочел лекции о революции 1905 г. в России, о ее участии в Первой мировой войне и др. Интерес к ним был столь велик, что они собрали аудиторию в 300, а затем и в 600 человек, среди которых были чехи, в том числе, и чиновники министерств¹²⁸.

В Обществе культурной связи с СССР он с успехом прочитал доклады: «Разгром немецко-фашистских войск под Москвой» и «Роль России в Первой мировой войне». В Ориентальном (Восточном) институте историк выступил на тему о внешней политике России на Дальнем Востоке в начале XX в. Он читал доклады также и в Социалистической академии. Не боялся выступать и перед широкой студенческой аудиторией. В Чешском дискуссионном студенческом клубе рассказал о советской системе высшего образования, в аналогичном Русском — о И. В. Сталине (в связи с годовщиной его рождения)¹²⁹.

В своих лекциях и докладах А. Л. Сидоров никогда не выходил за рамки дозволенного в советской идеологии и потому мог с гордостью отметить, что «все публичные выступления, проводившиеся

под контролем Советского посольства, позволю утверждать, — прошли с большим научным и политическим успехом»¹³⁰.

А. Л. Сидоров ознакомился также и доложил С. В. Кафтанову об особенностях системы народного образования в ЧСР, о работе университетской библиотеки в Праге и пр. Весьма полезным с точки зрения развития славистических связей было общение ученого с руководством Славянского института в Праге в лице директора, профессора, антифашиста А. Пражака и ученого секретаря, профессора Т. Сатурника. Советский историк сообщил, что Институт поддерживает оживленные связи с учеными славянских стран. Только во время его пребывания в ЧСР в нем выступали с докладами президент Сербской Академии наук А. Белич, ректор Краковского университета Т. Лер-Сплавинский, проректор Люблянского университета М. Кос и др. В то же время советские ученые не посещают Института, даже те, которые избраны его почетными членами. Среди них: академики И. Э. Грабарь, Б. М. Ляпунов, Н. С. Державин, В. И. Пичета, А. Е. Крымский, Л. В. Щерба, член-корреспондент Д. К. Зеленин и др. Особенно настоятельно говорилось о необходимости обещанного приезда в Прагу Н. К. Гудзия и В. И. Пичеты, что так и не было реализовано¹³¹. Большой интерес представляет подробная историческая справка о работе Славянского института, приведенная в указанном отчете и в выступлении на Ученом совете Института истории АН СССР 3 марта 1947 г.¹³² Сидоров рассказал о предыстории создании Института, его руководстве, секциях и основных научных изданиях, а также ближайших планах работы. Вывод его был однозначным: «Советским историкам и славистам необходимо установить более тесные научные отношения со Славянским институтом в Праге, а также установить регулярный обмен научными изданиями. Со стороны руководителя Славянского института высказывались пожелания о личном приезде советских ученых в Институт с научными докладами»¹³³.

По настоянию советского посольства А. Л. Сидоров выезжал и в столицу Словакии Братиславу, где на философском факультете местного университета прочитал пять лекций и снова с большим успехом. От его наблюдательности не укрылось, что после окончания войны и восстановления Чехословакии «словаки очень ревниво относятся к охране своего национального достоинства и требуют к себе особого внимания»¹³⁴. Он отметил, что философский факультет, идя в ногу со временем, вновь открыл русское отделение. «Прогрессивные элементы факультете группируются вокруг профессоров (бывших русских) Перфецкого и Исаченко. Во главе народного образования Словакии стоит коммунист, крупнейший поэт, покровительствующий русскому отделению» Л. Новомеский, тем не менее, в университете преподают (с понижением в должности)

«фашистские профессора». Его порадовало, что студенты русского отделения «прекрасно говорят по-русски, хорошо знают русскую литературу»¹³⁵. Историк с удовлетворением отметил, что в Братиславе организуется Академия наук по типу советской. В существующих институтах истории, этнографии, языка он провел беседу с их научными сотрудниками о работе АН СССР и ее трудах в области общественных наук¹³⁶.

Во время поездки в Словакию А. Л. Сидорову удалось ознакомиться с важной находкой российского эмигранта, известного лингвиста А. В. Исаченко (и его ассистента Я. Ференчика). Мечтая вернуться на родину, он предоставил А. Л. Сидорову интересную информацию и показал находящиеся во владении Русского семинара факультета ценные документы, альбомы и портреты пушкинской эпохи (А. С. Пушкина, В. А. Жуковского и пр.), обнаруженные в 1946 г. при обследовании библиотеки и архива имения в Брод[з]янах (Словакия), где проживала сестра жены поэта, баронесса А. Фризенгоф. А. Л. Сидоров сразу же не преминул поставить вопрос перед послом в ЧСР В. А. Зориным и министром Новомеским «о передаче ценнейших материалов советскому правительству». На что словацкий министр ответил, что «он рассматривает эту находку как дар словацкого правительства»¹³⁷. Докладная записка о бродзянской находке, составленная Я. Ференчиком и А. В. Исаченко, была министру МВО С. В. Кафтанову¹³⁸. Но щедрый дар из Словакии, подобный материалам РЗИА из Чехии, так и не был сделан.

Обращает внимание, что А. Л. Сидоров одним из первых советских ученых не только не старался избегать встреч с российскими эмигрантами, но и сам охотно шел на контакт с ними. В этом проявилось веяние времени, когда в СССР после войны поощрялось содействие возвращению эмигрантов на родину (правда, не всегда с благоприятными последствиями для их дальнейшей судьбы). Однако, судя по отчету, советский историк не получал каких-то особых инструкций по этому поводу, а во многом сам проявлял инициативу, консультируясь, разумеется, с советским посольством в ЧСР. Он откровенно говорил коллегам на Ученом совете в Институте истории АН СССР, что перед поездкой в Чехословакию очень неясно представлял себе положение и настроения эмиграции в этой стране. Он знал, например, что в Праге существовал «эмигрантский университет» (Русский свободный университет. — М. Д.), что здесь «белые эмигранты враждебно настроены к советскому Союзу», но тем не менее «пошел к эмигрантам»¹³⁹. А. Л. Сидоров сообщил, что он несколько раз выступал перед эмигрантской аудиторией. Для членов общества Максима Горького и Союза «Советская Родина» в большом зале Городской библиотеки он прочел доклад о Сталинской конституции (в связи с ее 10-летием) в присутствии примерно

700 человек¹⁴⁰ (как он считал — «вся эмиграция»). Он подчеркнул, среди них были люди «разного поколения, начиная от подростков и кончая стариками, настоящими эмигрантами». В то же время отметил, что члены указанных эмигрантских обществ на $\frac{8}{10}$ приняли советское гражданство. На доклад о В. И. Ленине, впервые прочитанный послом В. А. Зориным для этой аудитории, пришло уже 1500 человек, и тот даже позволил себе обратиться к ним со словами «Товарищи!»¹⁴¹. Таким образом, А. Л. Сидоров засвидетельствовал огромный интерес эмигрантов к Советскому Союзу. Доходило до анекдотических ситуаций: «В университетскую библиотеку нельзя заходить, потому что там славянское отделение и на $\frac{9}{10}$ — там русские люди, — они не дадут работать до тех пор, пока им не прочитаешь лекции о Советском Союзе»¹⁴².

Понятно, что на встречи с А. Л. Сидоровым приходили прежде всего люди, испытывавшие симпатии к СССР. И он точно заметил, что в настроениях большинства эмигрантов произошел крутой перелом. Воодушевление победой СССР в войне с фашизмом, тоска по родине — все это заставляло эмигрантов закрыть глаза на существующие порядки в стране и питать иллюзии в отношении своей дальнейшей судьбы на родине. А. Л. Сидоров не закрывал глаза на то, что существует еще значительное число бескомпромиссных эмигрантов, не принимавших советские порядки. Но остались и те, «кто уже переоценил ценности и решили все-таки ориентироваться на Советский Союз. Кое-кто побаивался отчасти Красной Армии, но про себя решили: ну ладно, если меня и накажут, так по заслугам, я виноват перед Советским Союзом, во многом виноват. Решили остаться и остались»¹⁴³. Среди коллег-эмигрантов, проявлявших большое сочувствие СССР, А. Л. Сидоров отметил встречи с бывшим заведующим отделом документов в РЗИА А. Ф. Изюмовым, который 25 лет хранил советский паспорт, В. Ф. Бибиковым, работавшим в Министерстве информации, а также В. Ф. Булгаковым, директором Русского культурно-исторического музея в Зbrasлаве. Всех их сближало то, что за свои антифашистские настроения и русский патриотизм они были заключены на несколько лет в концлагерь. При этом В. Ф. Булгаков в порыве откровенности так описал свое страстное желание вернуться на родину: «Вы мне двери не открывайте, вы мне только щелочку укажите, тогда я вползу в эту щель и окажусь в Москве, не считаясь ни с чем»¹⁴⁴. Судьба В. Ф. Булгакова сложилась на родине относительно удачно: остаток дней он прожил в Ясной Поляне, работая хранителем музея.

Среди эмигрантов, проживавших в Братиславе, А. Л. Сидоров отметил профессора университета Е. Ю. Перфецкого, вступившего в компартию Чехословакии и объединившего вокруг себя «прогрессивные» элементы в этом учебном заведении¹⁴⁵ и упомянутого

выше профессора А. В. Исаченко, готового, ради возвращения в СССР, передать в Пушкинский дом ценные материалы пушкинской эпохи¹⁴⁶.

Важным моментом с точки зрения налаживания связей с чехословацкими учеными было указание А. Л. Сидорова на тех из них, кто не скрывал своих симпатий к СССР и составлял, по его мнению, «передовую» часть чехословацкой интеллигенции. К их числу он, естественно, отнес З. Неедлы, занимавшего тогда пост министра социального обеспечения и труда, «искреннего друга Советского Союза» и посетовал, что в силу плохой организации научных связей после его отъезда из СССР «всякая связь с ним советских ученых Московского университета и Академии наук прекратилась»¹⁴⁷. А. Л. Сидоров дал всеобъемлющую характеристику З. Неедлы, подчеркнув масштаб его личности, проявившийся на родине: «Мы его знаем очень скромным и милым профессором, который являлся на заседания Ученого совета. А там он является политическим трибуном. Крупным политическим деятелем, неустанным агитатором, квалифицированным профессором, министром, человеком, которого все знают в Чехословакии, начиная от ребенка, кончая рабочим и крестьянином, которые относятся к нему с уважением, с которым многие не соглашаются и критикуют его, в особенности, представители реакции, но человеком, который среди интеллигенции является ведущей фигурой»¹⁴⁸. Среди «прогрессивных» ученых А. Л. Сидоров назвал имя нового ректора Пражского университета, профессора Б. Быдзовского, который продолжая дело, начатое З. Неедлы на посту министра школ и народного просвещения, выступил «убежденным сторонником реформы средней школы в Чехословакии на основе советской системы: единая школа двух ступеней с обязательным преподаванием русского языка», и даже будучи человеком преклонного возраста взялся за изучение русского языка и преуспел в этом¹⁴⁹. К числу «прогрессивных» профессоров университета он причислил с основанием языковеда Б. Гавранека, В. Матезиуса, литературоведа Ю. Доланского, историков В. Гусу и М. Паулову и без особого основания историков О. Отложилика, К. Стлоукала и Г. Рипку, которые, проявляя тогда симпатии к СССР, так и не стали впоследствии сторонниками марксизма. Почти всех названных ученых А. Л. Сидоров рекомендовал командировать в СССР как специалистов для чтения лекций и знакомства с достижениями советской науки¹⁵⁰.

«Представителем реакции» в интеллигентской среде А. Л. Сидоров считал министра школ и народного просвещения, профессора Я. Странского, народного социалиста и «западника» по своим убеждениям, который оказал ему чрезвычайно сухой и официальный прием и показал крайнюю незаинтересованность в приезде в ЧСР

советских ученых. По его наблюдениям, самыми «одиозной» и консервативной по своему составу в Пражском университете была профессура юридического и медицинского факультетов, наиболее «левой» — профессура философского факультета¹⁵¹. «Реакционные» элементы, из числа сотрудничавших с фашистским режимом национальных социалистов, преобладали, как он выяснил, и среди преподавателей Братиславского университета¹⁵². И потому А. Л. Сидоров предлагал, опираясь на «здоровые силы» и сочувствующую идеям социализма молодежь, именно с ними, в первую очередь, развивать научное сотрудничество.

Искренне желая способствовать налаживанию и развитию советско-чехословацких научных связей, А. Л. Сидоров представил министру народного образования С. В. Кафтанову ряд, даже систему, дельных предложений, реализация которых действительно могла бы способствовать скорейшему ознакомлению чешского общества с советской системой ценностей и ориентиров в науке. 1. Обеспечить доставку советской научной книги в ЧСР, чтобы составить достойную конкуренцию господствующей тогда на книжном рынке английской и американской литературе. 2. Восстановить личное общение ученых обоих государств. 3. Организовать регулярную посылку советских ученых на короткие сроки для чтения лекций и докладов, пропагандирующих успехи советской науки. 4. Посылать советских профессоров и доцентов в университеты Праги, Брно и Братиславы (хотя бы по три в каждый университет) для чтения систематических курсов по истории русской литературы и языку. Сидоров отметил, что во всех университетах уже организованы Русские отделения, на которых учатся до 1500 студентов, которые должны составить основные кадры преподавателей русского языка во всех средних школах ЧСР. «Активно вмешаться в это дело и дать молодежи *нашу советскую научную зарядку* (выделено А. Л. Сидоровым. — М. Д.) является большим политическим делом», — указывал ученый. К тому же «за изучение русского языка, литературы и истории берется наиболее прогрессивная молодежь, часто коммунисты. А мы их оставляем без всякого внимания, поддержки и руководства»¹⁵³. Для скорейшего обеспечения чехословацких школ учителями русского языка необходимо посылать как опытных советских преподавателей в ЧСР, так и чешских студентов, для обучения специальности учителя русского языка в СССР. 6. Посылать советских студентов для обучения в чехословацких вузах в счет 20 вакансий, предоставленных на это правительством ЧСР, но пока не использовавшихся в отличие от англичан, югославов и болгар, обучающихся на чешских стипендиях. 7. «Чтобы добиться лучших результатов в области научных и культурных связей с Чехословакией», необходимо организовать специальный институт, работающий в Праге

и занимающийся организацией этих связей по примеру аналогичных активно работающих в Праге институтов, организованных французами, итальянцами и англичанами, которые занимаются как научной деятельностью, так и пропагандой ценностей западной демократии под присмотром своих посольств¹⁵⁴. Кроме того, А. Л. Сидоров откровенно указал А. Ф. Кафтанову на вопиющие недостатки его ведомства, чиновники которого проявили неумение и нежелание достойно и четко организовать командировку советского ученого в ЧСР¹⁵⁵.

Все эти предложения А. Л. Сидоров внес исходя из своих неутешительных выводов: «Во время поездки я убедился в том, что мы не используем силу и авторитет советской науки, чтобы увеличить капитал, завоеванный Красной Армией и придти на помощь нашей дипломатии и помочь революционным элементам внутри Чехословакии в борьбе с реакцией»¹⁵⁶.

Следует отметить, что большинство из предложений А. Л. Сидорова в то время не были реализованы. Они встречали «дружный» отпор в лице как «реакционного» министра Странского, так и бюрократического аппарата МВО СССР, правда, по разным причинам, с одной стороны, от нежелания, с другой — неумения работать. Кроме того, условия для полного простора в развитии советско-чехословацких связей еще не созрели, они были созданы после Февральского переворота 1948 г. с победой коммунистов в ЧСР.

В 1948 г. с научной целью посетил Чехию и Словакию историк-славист И. И. Удальцов, подробностей которой нам обнаружить не удалось.

В конце 1940-х годов советских ученых стали приглашать на научные мероприятия в славянские страны. Кроме Н. С. Державина в Болгарию на Славянский собор, такое приглашение получил академик Б. Д. Греков в 1948 г. в Прагу на празднование 600-летия со дня открытия Карлова университета в Праге. В состав советской делегации вошли также ректор МГУ, академик Несмеянов, ректор КГУ, профессор Бондарчук, представитель Министерства высшего образования СССР Шунденко и др. В «Правде» сообщалось: «Первое торжественное собрание (5 апреля 1948 г. — М. Д.) открыл ректор Карлова университета, профессор Б. Быдзовский. Декан философского факультета, профессор Козак в докладе указал на великие демократические события Пражского университета, его большую роль в истории борьбы чешского народа за свободу и независимость, начиная с времен великого реформатора, ученого и общественного деятеля конца 14 и начала 15 столетий Яна Гуса. Верность народу, его свободолюбивым демократическим идеям всегда была и будет главным принципом деятельности Пражского университета». Поскольку торжества происходили вскоре после печально известных

Февральских событий в Чехословакии, то в докладе было подчеркнуто: «В февральские дни этого года наш университет, основная масса его студентов и профессоров остались верными этому великому принципу и твердо встали на путь борьбы за мир, подлинную демократию и социализм»¹⁵⁷. В плане развития советско-чехословацких связей можно признать чрезвычайно важным избрание ряда действительных членов АН СССР почетными докторами Пражского университета. Среди них академики: С. И. Вавилов, В. В. Виноградов, Б. Д. Греков, Б. Л. Исаченко, И. И. Мещанинов, Л. А. Орбели, Е. В. Тарле и И. П. Трайнин. К сожалению, советская делегация выполняла в Праге представительские функции, состояла большей частью из функционеров и потому не могла использовать этот приезд в Прагу для того, чтобы способствовать дальнейшему налаживанию научных связей, на что в свое время надеялся А. Л. Сидоров.

В сентябре того же года группа советских ученых (академики Б. Д. Греков, Е. А. Косминский, профессора П. Н. Третьяков и А. Л. Сидоров, богемист И. И. Удальцов, полонист И. С. Миллер и др.) участвовала в VII съезде польских историков во Вроцлаве (19–22 сентября 1948 г.). Съезд можно рассматривать как «в полном смысле слова смотр польской исторической науки, ее состояния, тех сдвигов, которые произошли в ней в годы Второй мировой войны, и происходят сейчас, в период строительства народно-демократической Польской республики» — писалось в аналитической статье-информации по итогам съезда¹⁵⁸. По итогам съезда был издан сборник докладов¹⁵⁹. Именно их содержание (с учетом неопубликованных пленарных докладов) было подробно и очень квалифицированно проанализировано молодыми талантливыми советскими полонистами В. Д. Королюком, И. С. Миллером и М. В. Миско. Они, прежде всего, четко определили основные проблемы польской историографии, поднятые на съезде. Это прежде всего: вопросы методологии истории (доклады А. Стебельского, В. Суходольского, Ю. Серадского, С. Арнольда, Н. Гонсёровской, Б. Лесьнодорского, М. Серейской, В. Мошенской, Р. Лютмана), проблемы этногенеза польских племен и их передвижений по территории Польши в первых веках нашей эры (Ю. Костшевский, К. Маевский, В. Гейнош, Л. Пётрович), проблема образования Польского государства (К. Тыменецкий, В. Генсель, М. Едлицкий), актуальные вопросы истории польских западных земель (С. Зайнчковский, Я. Натансон, С. Кучинский, М. Маловист, В. Чаплинский, Т. Добровольский, К. Гурский). Особо были отмечены доклады по проблемам экономических (Я. Рутковский, В. Куля) и межславянских отношений (В. Томкевич, К. Заводзинский, С. Верчинский, Т. Грабовский, К. Лепший, В. Гейнеш, Г. Лабуда), а также вопросам формирования польского национального самосознания (А. Войтковский,

И. Петшак-Павловская, В. Якубчик). Проанализированы 13 докладов по истории революции 1848 г. в польских землях (С. Кеневича, Э. Кипы, В. Кнаповского, Г. Батовского и др.) и влиянии внешней политики европейских держав на решение польского вопроса (Г. Верещицкий, Я. Паевский). Рассмотрены доклады, посвященные проблеме образования современного польского государства в 1918 г. (С. Инглот, С. Шотка, Ж. Корманова и др.), начала польского социалистического движения (Я. Дурко, З. Гросс), Мюнхенского соглашения (К. Пиварский), вопросам положения Польши в период гитлеровской оккупации (Я. Дересевич, В. Русинский, С. Плоский)¹⁶⁰.

Авторы статьи о съезде пытались насколько можно профессионально проанализировать суть затронутых перечисленными польскими историками проблем, но не могли не оценивать их с точки зрения современной им советской историографии и степени овладения ими марксистской методологией, что естественно, снижало уровень объективности в их интерпретации. Поясним это на некоторых характерных примерах. Советские полонисты стремились прежде всего увидеть определенные изменения и сдвиги, которые происходили в этот период в польской исторической науке. Как положительный, был отмечен факт, что «впервые с трибуны съезда был произнесен доклад об историческом материализме, впервые при обсуждении вопросов истории революции 1848 г. в центре внимания стали высказывания по польскому вопросу основоположников марксизма». Выдавая желаемое за действительное и, может быть, ускоряя процесс внедрения марксизма в польскую историографию, они констатировали, что «вопросы марксистско-ленинской теории, марксистско-ленинской методологии стали уже основными вопросами, определяющими дальнейшее развитие польской исторической науки, и это осознается большинством прогрессивных историков современной Польши»¹⁶¹. Острой критике был подвергнут доклад Р. Лютмана «Методологические вопросы историографии», освещавшего их с позиций идеализма. Проанализировав доклад, авторы заметили: «Это откровенное идеалистическое выступление было единственным в своем роде на VII съезде польских историков. Мы не думаем, однако, что Лютман одинок. Процесс преодоления идеалистического наследия буржуазной историографии, реакционной буржуазной философии — процесс сложный и нелегкий, в польской же исторической науке он пока еще только начинается. Не только у Лютмана, но и в докладах некоторых других историков, о которых определенно можно сказать, что они ищут новые пути, стремятся найти свое место в движении польского народа к социализму, мы встречаем отзвуки идеалистических взглядов, наталкиваемся на цитаты из „авторитетных“ работ англо-американских философов и историков»¹⁶².

Обозревая доклады, посвященные этногенезу славян, авторы статьи даже с некоторым высокомерием упрекали польских историков в том, что они не обнаруживают «никакого знакомства с теорией акад. Н. Я. Марра и с работами советских этногенетиков в области славянского этногенеза»¹⁶³, то есть не отказались от теории прародины славян. В этом случае советские историки позволили себе «поучать» польских коллег с высоты достижений марксистской историографии: «Для полного разгрома немецко-фашистских расистских теорий и создания подлинно научных представлений о происхождении славянских народов необходим переход к новой методологии, основанной на теории Маркса—Энгельса—Ленина—Сталина и на новом учении о языке акад. Н. Я. Марра, трактующей процессы этногенеза народов как процессы исторические в полном смысле этого слова, т. е. такие процессы, в основе которых лежат развитие производительных сил и соответствующие им изменения производственных отношений, определяющие качественные изменения языка и мышления»¹⁶⁴. Говоря о докладах по проблеме образования Польского государства, авторы статьи привели в качестве образца исторического исследования сомнительный пример из статьи В. И. Пичеты «Образование польского государства» (Славянский сборник. М., 1947), в котором последний «привлекает для воссоздания процесса образования польского государства легенду так называемого Галла-Анонима, подчеркивая при этом: „В свете учения Маркса—Энгельса—Ленина—Сталина о возникновении государства эта легенда выглядит довольно правдиво“»¹⁶⁵. Авторы положительно восприняли факт отмежевания польских историков от норманнской теории происхождения польского государства ввиду общих антигерманских настроений и с удовлетворением констатировали: «Польским археологам удалось полностью обосновать тезис об органическом, не связанном ни с каким внешним завоеванием процессе образования государства у польских славян»¹⁶⁶. Перечень подобных подходов к интерпретации докладов польских историков можно было бы продолжить на других примерах.

В заключении авторы показали свое видение дальнейшего развития польской историографии и ее ближайших задач: «Надо продолжать дело идейного перевооружения польских историков, начатое на съезде организацией группы историков-марксистов, добиться того, чтобы все прогрессивные историки, стремящиеся трудиться на благо своего народа, преодолели традиции старой, буржуазной историографии, вышли на путь единственно научной и единственно прогрессивной марксистско-ленинской методологии. Для этого необходимо смело и настойчиво ставить в центр внимания основные вопросы методологии истории, необходимо последовательно разоблачать легенды, созданные буржуазной историографией, не обходя

и не затушевывая наиболее актуальные проблемы истории недавнего прошлого польского народа»¹⁶⁷.

Таким образом, молодые советские полонисты не сомневались в скорейшем внедрении марксистской методологии в польскую историографию, освоении не подлежащих сомнению достижений советской исторической науки и, главное, готовности польских историков к их добровольному восприятию. Их старшие коллеги в лице академика Б. Д. Грекова, П. Н. Третьякова и др. проявляли в этом вопросе более сдержанный оптимизм. Это стало очевидным на совместном заседании исторической секции Всесоюзного общества культурной связи с границей и научной секции Славянского комитета СССР, состоявшемся вскоре после возвращения советской делегации из Вроцлава. П. Н. Третьяков в своем выступлении разделил польских историков на три группы. Одни, по его мнению, «вошли в группу историков-марксистов и заявили о своем определенном и твердом желании участвовать в коренной перестройке польской исторической науки». Причем сюда вошли в основном молодые кадры историков, представители старшего поколения, составляющие костяк польской историографии, к этой группе себя не относят. Третьяков указал также, что слабость группы состоит не только в еще малом числе приверженцев, но и в том, что «вошедшие туда представители старшего поколения стоят на позициях экономического материализма»¹⁶⁸. Он отметил, что у молодых польских историков наблюдаются «левацкие настроения и тенденции в отношении старших представителей» и отнесся к ним неодобрительно. Тем самым советский историк подтвердил, что не стоит за скорое «перевоспитание» старшего поколения «неофитами марксистско-ленинской науки», что в то время у нас в стране нередко поощрялось¹⁶⁹.

Ко второй группе польских историков П. Н. Третьяков отнес тех из них, которые проявляли симпатии к СССР и стремились учитывать в своих трудах опыт советских коллег. Но они не считали себя марксистами, не понимая и не принимая марксистской методологии¹⁷⁰.

П. Н. Третьяков упомянул и о существовании третьей группы польских историков, не принявших марксизм, заявив, что они «выжидают, ушли в подполье» и на вроцлавском съезде не выступали. Молодой тогда богемист И. И. Удадьцов, в добавление к его выступлению указал на профессора В. Конопчинского из Кракова, враждебно относящегося к марксизму, вокруг которого сплотился круг единомышленников¹⁷¹.

Примечательно, что П. Н. Третьяков вопреки ожиданиям не обнаружил на вроцлавском съезде явных националистических тенденций, за исключением дискуссии по проблематике русско-польских связей, которая показала, что польские ученые старшего поколения

считают, что «если что-либо в России хорошее было сделано, это было благодаря деятельности представителей польского народа»¹⁷².

В заключение своего доклада П. Н. Третьяков сделал осторожный вывод о том, что «съезд не только нацеливал польских историков на необходимость перелома, но... констатировал наличие некоторого приступа к перелому». В этом с ним был совершенно солидарен А. Л. Сидоров. Более категоричную точку зрения выразил И. И. Удальцов, увидевший на съезде «серьезную классовую борьбу» приверженцев и противников марксизма¹⁷³.

Таким образом, советские ученые, побывавшие на съезде, констатировали, что часть польских историков уже тяготеет к марксизму. Они искренне хотели придать науке стран «народной демократии» советский облик, но, проявив такт, не стали преждевременно навязывать польским историкам марксистскую методологию исследований, даже наоборот предостерегали против догматического социологизирования и левацкого форсирования методологической перестройки. За такую позицию при обсуждении итогов поездки в СССР они были подвергнуты резкой критике со стороны ортодоксальных историков-марксистов в лице Р. Коблинской (Каплан), члена ВСК, общественной деятельницы Польши и Белоруссии, и академика А. М. Панкратовой и др.¹⁷⁴ Первая критиковала членов советской делегации за «благодушие» в отношении к оценке состояния современной польской историографии, а вторая — сделала организационные выводы, считая, что советские историки должны были диктовать свое мнение съезду. «У меня нет мнения, — сказала она, — что делегация активно помогла... в работе съезда... Больших принципиальных методологических сдвигов среди польских историков не произошло». Академик настаивала на содействии ускорению «методологического созревания» польских ученых, памятуя, как долго шел подобный процесс в СССР¹⁷⁵.

В ответе оппонентам П. Н. Третьяков занял взвешенную позицию, проявив недюжинный талант дипломата и известную в условиях начавшихся в стране идеологических погромов в науке смелость. Признавая необходимость усвоения марксизма польской исторической наукой, он выступал, однако против преждевременного и потому насильственного внедрения в нее марксистской методологии, пока плод еще не созрел. Он, в частности, сказал: «Мы имеем страну народной демократии, в отношении социализма, которая делает первые шаги... Я думаю, было бы неправильно к польским историкам предъявлять очень большие требования. При беседах с польскими историками мы заметили, что ряд вопросов, нас волнующих, до них не доходит. Таким образом, дел еще много. Но я думаю, что наша положительная оценка является в данных условиях правильной»¹⁷⁶.

Примечательно, что подобные колебания в определении темпов внедрения марксизма в историографию стран «новой демократии» проявились и период подготовки к первому послевоенному съезду славистов в Москве, проведение которого планировалось в 1948 г. Понятно, что сторонники более жесткой линии находили большую поддержку в партийных верхах¹⁷⁷.

Приведенные факты контактов советских и зарубежных славистов свидетельствуют об оживлении российско-славянских связей, отчасти замороженных в годы войны. Этому не помешали даже различия в их методологических подходах. Усиленное и насильственное внедрение марксизма началось позднее, уже в 50-е гг. Понятно, что с советской стороны этим связям придавалось политико-идеологическое значение, наши ученые рассматривались как полпреды советской науки за рубежом. Их выступления и наблюдения за состоянием развития науки в странах народной демократии тщательно анализировались в компетентных органах. Тем не менее установление личных контактов, обмен информацией и оживленный книгообмен, несомненно, способствовали возрождению славяноведения в СССР.

П Р И М Е Ч А Н И Я

¹ Лит. по этому вопросу см.: *Досталь М. Ю.* Сектор славяноведения Института истории АН СССР // *Славянский альманах* 2002. М., 2003. С. 253–290.

² Лит. по этому вопросу см.: *Досталь М. Ю.* Кафедра истории южных и западных славян в МГУ накануне и в годы Великой Отечественной войны // *Славяноведение*. 2004. № 4.

³ *Досталь М. Ю.* Сектор славяноведения... С. 253–290.

⁴ См.: Зденек Нееды — выдающийся общественный деятель и ученый. М., 1964 и др.

⁵ *Досталь М. Ю.* Славянская комиссия Академии наук СССР (1942–1946) // *Славянский альманах* 1996. М., 1997. С. 107–129.

⁶ *Досталь М. Ю.* «Новое славянское движение» в СССР и Всеславянский комитет в Москве в годы войны // *Славянский альманах* 1999. М., 2000. С. 175–188.

⁷ *Досталь М. Ю.* Неизвестные документы по истории создания Института славяноведения АН СССР // *Славяноведение*. № 6. С. 6.

⁸ *Александров В. А., Попов Б. С., Шмидт С. О.* Работа секции истории конференции Московского ордена Ленина Государственного Университета имени М. В. Ломоносова, посвященной современным проблемам науки // Доклады и сообщения исторического факультета (МГУ). М., 1945. Вып. 3. С. 57–58.

⁹ 220-летие Академии наук СССР. Юбилейная сессия (Заседания 16, 17, 23 и 26 июня 1945 года) // *Вестник Академии наук*. 1945. № 7–8. С. 37.

¹⁰ Там же.

¹¹ Там же. С. 36.

¹² Там же. С. 44.

¹³ Там же. С. 45.

- ¹⁴ Там же. С. 46.
- ¹⁵ Там же.
- ¹⁶ Отделение литературы и языка // Вестник Академии наук. 1945. № 7–8. С. 134–135.
- ¹⁷ Отделение истории и философии // Вестник Академии наук. 1945. № 7–8. С. 122.
- ¹⁸ Там же. С. 126.
- ¹⁹ Встреча советских историков-славяноведов с учеными славянских стран // Славяне. 1945. № 6. С. 47.
- ²⁰ Там же. С. 48.
- ²¹ Там же.
- ²² Отделение истории и философии... С. 125.
- ²³ Встреча советских историков-славяноведов... С. 48.
- ²⁴ Отделение истории и философии... С. 125.
- ²⁵ Там же. С. 124.
- ²⁶ Там же. С. 124–125.
- ²⁷ Подробнее см.: *Досталь М. Ю.* Неизвестные документы по истории создания Института славяноведения АН СССР // Славяноведение. 1996. № 6. С. 12–15.
- ²⁸ *Досталь М. Ю.* Кафедра славянской филологии в МГУ (1943–1948): К 60-летию основания // Славяноведение. 2003. № 5. С. 42–43; *Бернштейн С. Б.* Зигзаги памяти. Воспоминания. Дневниковые записи. М., 2002. С. 83, 93, 101, 104–106, 122, 123.
- ²⁹ Научная сессия по славяноведению // Вестник Ленинградского университета. 1946. № 2. С. 132.
- ³⁰ Там же. С. 133.
- ³¹ Там же. С. 133, 135–136.
- ³² Там же. С. 133.
- ³³ Там же. С. 133–134.
- ³⁴ *Дмитриев П. А., Сафронов Г. И.* Первая послевоенная научная сессия по славяноведению // Советское славяноведение. 1977. № 1. С. 92.
- ³⁵ Научная сессия по славяноведению... С. 134.
- ³⁶ Там же.
- ³⁷ Там же. С. 135.
- ³⁸ Свидетельством того важного значения, которое придавалось этому выступлению польского ученого, является то, что оно было опубликовано в журнале «Вопросы истории» (1946. № 10. С. 81–85), а на его книгу здесь поместили большую рецензию В. И. Пичеты. См.: Вопросы истории. 1947. № 1. С. 110–116.
- ³⁹ *Дмитриев П. А., Сафронов Г. И.* Первая послевоенная научная сессия по славяноведению... С. 92.
- ⁴⁰ Там же.
- ⁴¹ Статья В. В. Виноградова на эту тему опубликована в журнале «Известия АН СССР. Отделение литературы и языка». 1946. Т. 5. Вып. 3. С. 223–238.
- ⁴² *Дмитриев П. А., Сафронов Г. И.* Первая послевоенная научная сессия по славяноведению... С. 92.
- ⁴³ Научная сессия по славяноведению... С. 135.
- ⁴⁴ Тем не менее, тезисы некоторых докладов, прочтенных на сессии, предварительно были опубликованы в «Научном бюллетене Ленинградского университета» (Славяноведческие заметки). 1946. № 11–12. С. 65–69.
- ⁴⁵ Научная сессия по славяноведению... С. 136.

- ⁴⁶ *Дмитриев П. А., Сафронов Г. И.* Первая послевоенная научная сессия по славяноведению... С. 93.
- ⁴⁷ Научная сессия по славяноведению... С. 136.
- ⁴⁸ Там же. С. 136–137.
- ⁴⁹ Информации о совещании были помещены в Вестнике Ленинградского университета. 1946. № 2. С. 132–137, в Научном бюллетене ЛГУ. 1947. № 14–15. С. 75, в Ленинградской правде от 14 июля 1946 г. Кроме того, о ней писали в славянских журналах. См.: *Slovanský přehled*. 1946. Roč. 32. S. 319–322; *Przegład Zachodni*. 1946. № 7–8; *Slavistična revija*. 1946. III. № 3–4.
- ⁵⁰ Научная сессия по славяноведению // Вестник Ленинградского университета. 1946. № 2. С. 136.
- ⁵¹ *Досталь М. Ю.* Идея славянской солидарности и несостоявшийся в Москве в 1948 г. Первый общеславянский конгресс ученых-славистов // *Славянский вопрос: веки истории*. М., 1997. С. 182–203.
- ⁵² АРАН. Ф. 456. Оп. 6. Д. 118. Л. 13.
- ⁵³ Там же. Л. 13–14.
- ⁵⁴ Там же. Л. 14, 21.
- ⁵⁵ Там же. Л. 35.
- ⁵⁶ Там же. Л. 14–15.
- ⁵⁷ Там же. Л. 15.
- ⁵⁸ Там же. Л. 16.
- ⁵⁹ Там же.
- ⁶⁰ Там же. Л. 16–17.
- ⁶¹ Там же. Л. 25.
- ⁶² Там же. Л. 23.
- ⁶³ Там же. Л. 18.
- ⁶⁴ Там же.
- ⁶⁵ Там же.
- ⁶⁶ Там же. Л. 18–19.
- ⁶⁷ Там же. Л. 19.
- ⁶⁸ Там же. Л. 14.
- ⁶⁹ Там же. Л. 20.
- ⁷⁰ Работническо дело. 1945. № 326. 8.IX.
- ⁷¹ АРАН. Ф. 2. Оп. 3. Д. 72. Л. 62.
- ⁷² *Третьяков П. Н.* Балканская археолого-этнографическая экспедиция (1946) // *Известия АН СССР. Серия истории и философии*. М., 1946. № 3. С. 279–284.
- ⁷³ *Арциховский А.* Археологическая поездка на Балканы // *Вопросы истории*. 1946. № 10. С. 100–106.
- ⁷⁴ Там же. С. 101.
- ⁷⁵ Там же.
- ⁷⁶ Там же. С. 100.
- ⁷⁷ Там же. С. 102.
- ⁷⁸ Там же. С. 102–103.
- ⁷⁹ Там же. С. 103.
- ⁸⁰ Там же.
- ⁸¹ Там же. С. 104.

- ⁸² Там же. С. 105.
- ⁸³ Там же. С. 106.
- ⁸⁴ Там же.
- ⁸⁵ Там же.
- ⁸⁶ Там же.
- ⁸⁷ Там же. С. 107.
- ⁸⁸ Там же.
- ⁸⁹ Там же. С. 101.
- ⁹⁰ Там же. С. 103.
- ⁹¹ Научная сессия по славяноведению // Вестник Ленинградского университета. 1946. № 2. С. 132.
- ⁹² АРАН. Ф. 1651. Оп. 1. Д. 198. Л. 1.
- ⁹³ Там же. Д. 13. Л. 55.
- ⁹⁴ Там же. Л. 56, 57, 58.
- ⁹⁵ Там же. Л. 6, 9, 19.
- ⁹⁶ Там же. Л. 29.
- ⁹⁷ Там же. Д. 198. Л. 30, 33, 37, 41.
- ⁹⁸ АРАН. Ф. 2. Оп. 3. Д. 77. Л. 9.
- ⁹⁹ Там же. Л. 15.
- ¹⁰⁰ Горьянов А. Н., Досталь М. Ю. Документы к истории отечественного славяноведения сороковых годов XX в. // Славистика СССР и русского зарубежья 20–40-х годов XX в. М., 1992. С. 133–134.
- ¹⁰¹ Павлова Т. Ф. Русский заграничный исторический архив в Праге // Вопросы истории. 1990. № 11. С. 19–20.
- ¹⁰² Там же. С. 27.
- ¹⁰³ Там же. С. 28.
- ¹⁰⁴ АРАН. Ф. 2. Оп. 3. Д. 77. Л. 64.
- ¹⁰⁵ Там же.
- ¹⁰⁶ Там же. Л. 65.
- ¹⁰⁷ Докладная записка Комиссии АН СССР о приеме Русского заграничного архива в Праге от 30 декабря 1945 г. // Наука и ученые России в годы Великой Отечественной войны 1941–1945. М., 1996. С. 284.
- ¹⁰⁸ Там же.
- ¹⁰⁹ Там же.
- ¹¹⁰ Там же.
- ¹¹¹ Там же. С. 284–285.
- ¹¹² АРАН. Ф. 2. Оп. 3. Д. 77. Л. 66.
- ¹¹³ Подробнее см.: Досталь М. Ю. Русский культурно-исторический музей в Праге в творческой судьбе В. Ф. Булгакова (по новым архивным данным) // Русская, украинская и белорусская эмиграция в Чехословакии между двумя мировыми войнами. Результаты и перспективы проведенных исследований. Фонды Славянской библиотеки и пражских архивов. Прага, 14–15 августа 1995 г. Сборник докладов. Прага, 1995. Ч. 2. С. 555.
- ¹¹⁴ Павлова Т. Ф. Русский заграничный исторический архив в Праге... С. 28.
- ¹¹⁵ Там же.
- ¹¹⁶ АРАН. Ф. 2. Оп. 3. Д. 77. Л. 66.

- ¹¹⁷ Докладная записка Комиссии АН СССР... С. 283.
- ¹¹⁸ Павлова Т. Ф. Русский заграничный исторический архив в Праге... С. 28–30.
- ¹¹⁹ Докладная записка Комиссии АН СССР... С. 286.
- ¹²⁰ АРАН. Ф. 2. Оп. 3. Д. 77. Л. 67.
- ¹²¹ Докладная записка Комиссии АН СССР... С. 285.
- ¹²² Там же. С. 285.
- ¹²³ АРАН. Ф. 2. Оп. 3. Д. 77. Л. 67.
- ¹²⁴ Там же. Л. 71.
- ¹²⁵ Там же. Л. 69.
- ¹²⁶ ОР РГБ. Ф. 632. Оп. 80. Д. 3. Л. 13.
- ¹²⁷ Там же. Л. 14.
- ¹²⁸ Там же. Л. 15.
- ¹²⁹ Там же.
- ¹³⁰ Там же.
- ¹³¹ Там же. Л. 22.
- ¹³² АРАН. Ф. 1557. Оп. 2. Д. 143. Л. 74–75.
- ¹³³ ОР РГБ. Ф. 632. Оп. 80. Д. 3. Л. 39 об.
- ¹³⁴ Там же. Л. 15.
- ¹³⁵ Там же. Л. 16.
- ¹³⁶ Там же. Л. 16.
- ¹³⁷ Там же.
- ¹³⁸ Там же. Л. 5–12.
- ¹³⁹ АРАН. Ф. 1557. Оп. 2. Д. 143. Л. 80.
- ¹⁴⁰ ОР РГБ. Ф. 632. Оп. 80. Д. 3. Л. 15.
- ¹⁴¹ АРАН. Ф. 1557. Оп. 2. Д. 143. Л. 82.
- ¹⁴² Там же. Л. 81.
- ¹⁴³ Там же. Л. 80.
- ¹⁴⁴ Там же. Л. 82.
- ¹⁴⁵ Там же. Л. 81.
- ¹⁴⁶ Подробнее см: *Досталь М. Ю.* Российские слависты-эмигранты в Братиславе // Славяноведение. 1993. № 4. С. 49–62.
- ¹⁴⁷ ОР РГБ. Ф. 632. Оп. 80. Д. 3. Л. 20.
- ¹⁴⁸ АРАН. Ф. 1557. Оп. 2. Д. 143. Л. 85–86.
- ¹⁴⁹ ОР РГБ. Ф. 632. Оп. 80. Д. 3. Л. 20.
- ¹⁵⁰ Там же. Л. 20–21.
- ¹⁵¹ Там же. Л. 18.
- ¹⁵² АРАН. Ф. 1557. Оп. 2. Д. 143. Л. 58.
- ¹⁵³ ОР РГБ. Ф. 632. Оп. 80. Д. 3. Л. 23.
- ¹⁵⁴ Там же. Л. 21–26.
- ¹⁵⁵ Там же. Л. 17.
- ¹⁵⁶ Там же. Л. 27.
- ¹⁵⁷ 600-летие Пражского университета // Правда. 1948. № 97. 6 IV. С. 4.
- ¹⁵⁸ *Королюк В., Миллер И., Миско М.* Польская историческая наука на VII Вроцлавском съезде // Вопросы истории. 1949. № 2. С. 106.

- ¹⁵⁹ Pamiętnik VII powszechnego zjazdu historyków polskich. Warszawa, 1948. Т. 1, 2 (zeszyt 1).
- ¹⁶⁰ Королюк В., Миллер И., Миско М. Польская историческая наука... С. 106–127.
- ¹⁶¹ Там же. С. 106.
- ¹⁶² Там же. С. 110.
- ¹⁶³ Там же. С. 111.
- ¹⁶⁴ Там же. С. 110–111.
- ¹⁶⁵ Там же. С. 112.
- ¹⁶⁶ Там же.
- ¹⁶⁷ Там же. С. 127.
- ¹⁶⁸ Цит. по: Горизонтов Л. Е. «Методологический переворот» в польской историографии на рубеже 1940–1950-х годов и советские историки // Славяноведение. 1993. № 6. С. 54.
- ¹⁶⁹ Там же.
- ¹⁷⁰ Там же.
- ¹⁷¹ Там же. С. 54, 55.
- ¹⁷² Там же. С. 55.
- ¹⁷³ Там же.
- ¹⁷⁴ Там же. С. 53–56.
- ¹⁷⁵ Там же. С. 56.
- ¹⁷⁶ Там же.
- ¹⁷⁷ Досталь М. Ю. Идея славянской солидарности и несостоявшийся в Москве в 1848 г. первый общеславянский съезд славистов... С. 182–203; Она же. Запись беседы А. А. Жданова с организаторами конгресса ученых-славистов. Март 1948 г. // Исторический архив. М., 2001. С. 3–13.

Протоиерей Георгий Митрофанов
(Санкт-Петербург)

Русская Православная Церковь XX в. — Церковь новомучеников и исповедников

Одной из важнейших с точки зрения христианского понимания истории особенностей XX в. является то обстоятельство, что именно в данный исторический период в рамках христианской цивилизации стало возможным появление двух антихристианских тоталитарно-утопических систем — коммунизма и фашизма. Сопроводив свое появление на исторической арене Европы не только мировоззренческими, как это было преимущественно характерно для фашизма, но и государственно-политическими, как это было характерно для коммунизма, гонениями на христиан, коммунизм и фашизм попытались поставить под вопрос возможность самого существования Церкви сразу у нескольких европейских народов, имевших в своем прошлом многовековую христианскую историю. Даже кратковременное пребывание коммунистов у власти должно было означать наступление беспрецедентной в европейской истории эпохи массовых гонений на христиан, как, например, это имело место в Испании, где за три года республиканского режима было уничтожено около 7 тысяч епископов, священников, монахов и монахинь.

Однако главному столкновению между Церковью и богоборческим коммунистическим тоталитаризмом в XX в. суждено было на протяжении многих десятилетий происходить именно в России, являвшейся к тому времени благодаря миссионерско-просветительским трудам свв. братьев Мефодия и Кирилла уже более 900 лет православной страной. Русская Православная Церковь в начале XX в. по праву считалась не только крупнейшей в количественном отношении, но и ведущей в духовно-культурном отношении Поместной Церковью православного мира. Насчитывавшая в это время почти 100 миллионов мирян, около 150 епископов, более 115 тысяч духовенства и около 30 тысяч монашествующих, Русская Православная Церковь располагала более чем 55 тысячами храмов и 1 тысячей монастырей, 4 духовными академиями, 58 духовными семинариями, 187 духовными училищами и почти 42 тысячами церковно-приходских школ. Осуществляя свое служение в одной из наиболее динамично развивавшихся стран мира, Русская Православная Церковь смогла сохранить свое значительное духовное и культурное влияние, несмотря на неизбежно сопровождавшую формирование индустриального общества секуляризацию общественного сознания народных масс, которая имела место и в России. В начале XX в.

Россия стояла перед перспективой формирования в стране во многом уникального типа современной индустриальной цивилизации, ориентированной в своей духовной и культурной жизни на традиционные ценности Православной Церкви.

Однако происшедшие в условиях кровопролитной Первой мировой войны радикальные изменения в государственной жизни России ввергли страну в состояние перманентного политического хаоса и обусловили установление в России большевистской диктатуры. Уже в первые три месяца своего существования большевистский режим не только принял целую совокупность законодательных актов, призванных формально обосновать деятельность большевиков, направленную на уничтожение всех организованных и легальных форм церковной жизни в стране в течение ближайших нескольких лет, но и стал осуществлять такую реальную политику гонений на Церковь, которая далеко выходила за рамки даже самих большевистских декретов. Впервые в ее истории перед Русской Православной Церковью предстала перспектива широкомасштабных гонений, которые, как показало будущее, оказались несопоставимыми с какими-либо гонениями на христиан в двухтысячелетней истории Церкви. И, как это нередко имело место в христианской истории, Церковь ответила на эти гонения подвигом мученичества и исповедничества, впрочем, столь же несопоставимым по своим громадным масштабам с аналогичным подвижничеством христиан предшествующих веков.

Первым новомучеником Русской Православной Церкви, растерзанным революционной чернью уже 31 октября 1917 г. в Царском Селе, стал почти четверть века со смирением осуществлявший свое приходское служение многолетний протоиерей Иоанн Кочуров, который своей мученической смертью выразительно засвидетельствовал глубокий смысл слов св. апостола о силе Божией, в немощи совершающейся. В то же время первым архиереем-мучеником суждено было стать одному из самых авторитетных епископов Русской Православной Церкви почетному председателю происходившего тогда Поместного Собора митрополиту Киевскому Владимиру (Богоявленскому), который был расстрелян отрядом красногвардейцев 25 декабря 1918 г. в Киеве. Великой скорбью в сердцах многих членов Поместного Собора отозвалось сообщение большевистских властей о расстреле 17 июля 1918 г. императора-страстотерпца Николая II, о котором, несмотря на опасность новых репрессий, св. Патриарх Тихон благословил служить соборные панихиды во всех храмах Русской Православной Церкви. Эти мученические кончины не только ознаменовали собой начало первого этапа гонений, воздвигнутых большевистским режимом на Православную Церковь в России, но и содержали в себе характерные черты тех многочисленных

и жестоких бессудных расправ большевиков над духовенством и активными мирянами, которые были характерны для гонений периода гражданской войны. Действительно, от 8 до 10 тысяч представителей православного духовенства и монашества, уничтоженных во время гражданской войны, погибли либо в результате спровоцированных большевистской политикой массовых убийств духовенства и активных мирян революционной чернью, либо в процессе проведения чекистами акций, направленных на физическое устранение ведущих представителей церковной иерархии, либо в связи с повсеместными расстрелами заложников, в числе которых значительную долю составляли священнослужители. Начинаясь в крупных городах церковные гонения по мере распространения на территории страны гражданской войны охватывали провинцию, где они приобретали особенно жестокий и кровопролитный характер. Объявив в опубликованном уже 23 января 1918 г. декрете «о свободе совести» о национализации всего церковного имущества и запретив любые формы церковной деятельности кроме богослужбной, большевистский режим усугубил свою призванную убить «тело» церковного народа репрессивную политику призванную убить и его «душу» кощунственной пропагандистской кампанией вскрытия мошей, развернувшейся с февраля 1919 г.

Вполне определенно обозначив богоборческую сущность репрессивной политики большевиков в принятом 22 января 1918 г. в качестве соборного постановления послании св. Патриарха Тихона с анафемой всем православным христианам, участвовавшим в церковных гонениях и убийствах невинных людей, Русская Православная Церковь, прежде всего в лице своего Первосвященника, на протяжении всего периода гражданской войны старалась вносить умиротворение в души охваченных смутой русских людей. Однако кровавые репрессии обрушивались в годы гражданской войны практически на все категории русского православного народа независимо от политической позиции и особенностей церковно-общественной деятельности, которые были присущи тем или иным их представителям. Так, уже в июне 1918 г. в Перми был расстрелян архиепископ Андроник (Никольский), который в знак протеста против большевистских гонений затворил пермские приходские храмы. А в феврале 1920 г. Омске был заживо распят и затем заколот раскаленными шомполами архиепископ Сильвестр (Ольшевский), возглавлявший Сибирское ВВЦУ, благословлявший армию адмирала А. В. Колчака и оставшийся со своей паствой после захвата Омска большевиками. В то же время в Петрограде еще в январе 1918 г. на территории Александро-Невской лавры толпа революционных матросов и солдат расправилась с далеким от какой бы то и было политической деятельности протоиереем Петром Скипетровым.

А в августе 1918 г. в Петрограде был схвачен, вероятнее всего, в качестве заложника известный своим либерализмом и народолюбием протоиерей Философ Орнатский, который вскоре был расстрелян с двумя своими сыновьями гвардейским штабс-капитаном Борисом Орнатским и военным врачом Николаем Орнатским.

Начавшийся летом 1921 г. в результате экономически разрушительной политики военного коммунизма широкомасштабный голод не только присовокупил к 3 миллиону погибших в результате гражданской войны 5 миллионов умерших от голода, но и способствовал началу нового этапа церковных гонений. Несмотря на активное и разностороннее участие духовенства в помощи голодающим, Русская Православная Церковь была обвинена в отказе употребить свои якобы несметные материальные ценности на борьбу с голодом и подверглась очередной серии массовых репрессий. Подлинная сущность кампании изъятия церковных ценностей, сопровождавших эти репрессии была, была сформулирована В. И. Лениным в его секретном письме членам Политбюро от 19 марта 1922 г. «Именно теперь и только теперь, когда в голодных местах едят людей и на дорогах валяются сотни, если не тысячи трупов, мы можем (и поэтому должны) провести изъятие церковных ценностей с самой бешеной и беспощадной энергией, не останавливаясь перед подавлением какого угодно сопротивления... мы должны именно теперь дать самое решительное и беспощадное сражение черносотенному духовенству и подавить его сопротивление с такой жестокостью, чтобы они не забыли этого в течение нескольких десятилетий... Чем большее число представителей реакционной буржуазии и реакционного духовенства удастся нам по этому поводу расстрелять, тем лучше». Пытаясь дискредитировать Церковь своими обвинениями духовенства в отказе помогать голодающим и насаждая в церковной жизни обновленческий раскол, который выступал под знаменем примирения христианства и коммунизма, большевистский режим стремился придать своим гонениям в 1922–1923 гг. видимость «революционной законности», сопровождая уничтожение священнослужителей инсценированными пропагандистскими судебными процессами. Именно после наиболее громких из этих процессов, петроградского и московского, летом 1922 г. были расстреляны свв. новомученики митрополит Петроградский Вениамин (Казанский), горячо любимый петроградской паствой, избравшей его в 1917 г. на митрополичью кафедру, архимандрит Сергей (Шейн), миряне Юрий Новицкий и Иоанн Ковшаров, глубоко почитавшиеся православными москвичами протоиереи Александр Заозерский, Христофор Надеждин, Василий Соколов, иеромонах Макарий (Телегин) и мирянин Сергей Тихомиров. Уничтожив в ходе репрессий 1922–1923 гг. от 7 до 8 тысяч представителей духовенства

и монашества, большевистский режим впоследствии уже не пытался организовывать показательные процессы над священнослужителями. Ибо опыт процессов начала 1920-х гг. убедил церковных гонителей в невозможности превратить мучеников Церкви в кающихся в политических грехах марионеток, подобных тем которыми стали на политических процессах 1930-х гг. партийные руководители, репрессированные Сталиным.

Значительные уступки в области церковно-государственных отношений, на которые пришлось пойти летом 1923 г. св. Патриарху Тихону, и еще более значительные уступки в области кадровой политики Церкви, на которые пошел летом 1927 г. Заместитель Патриаршего Местоблюстителя митрополит Сергей (Страгородский), лишь на несколько лет ослабили церковные гонения. Однако уже в период 1928–1934 гг., по мере свертывания НЭПа и проведения политики коллективизации, церковные репрессии приобрели невиданный ранее по широте охвата характер. В этот период в дополнение к более чем 8 миллионам жертв коллективизации и во многом организованного государством голода начала 1930-х гг. было репрессировано около 40 тысяч представителей духовенства и монашества, из которых расстреляно было не менее 5 тысяч, ликвидированы все монастыри, количество действующих храмов сократилось с 28,5 тысяч до 10 тысяч. Вынесение как индивидуальных, так и, в особенности, групповых расстрельных приговоров представителям духовенства и активных мирян происходило в этот период относительно редко. Впрочем, в Воронежской епархии именно летом 1930 г. произошел групповой расстрел свв. новомучеников архимандрита Тихона (Кречкова), иеромонахов Георгия (Пожарова) и Космы (Вязникова), священников Иоанна Стеблин-Каменского, Сергия Гортинского, Феодора Яковлева, Александра Архангельского, Георгия Никитина и мирян Евфимия Гребенщикова и Петра Вязникова. Однако многие из подвижников Русской Православной Церкви, отправленные в этот период в тюрьмы, лагеря и ссылки, либо подобно священномученикам архиепископу Воронежскому Петру (Звереву), архиепископу Верейскому Илариону (Троицкому) и епископу Глазовскому Виктору (Островидову) отошли ко Господу в местах заключения, либо подобно свв. Патриаршему Местоблюстителю Митрополиту Агафангелу (Преображенскому) и знаменитому московскому пастырю и духовнику из Свято-Данилова монастыря архимандриту Георгию (Лаврову) скончались в результате тягот, перенесенных в недавно завершившемся заключении, либо подобно подавляющему большинству свв. новомучеников начали, а чаще всего продолжили свой узнический путь на Русскую Голгофу, который должен был привести их к мученической кончине в конце 1930-х гг. Тяжесть гонений этого периода времени усугублялась

возникшим в Русской Православной Церкви разделением между сторонниками политики Заместителя Патриаршего Местоблюстителя митрополита Сергия (Страгородского) и противниками этой политики из числа преданных Церкви духовенства и мирян, объединявшихся вокруг таких авторитетных архипастырей как, например, св. митрополит Казанский Кирилл (Смирнов) и митрополит Ленинградский Иосиф (Петровых), которые находились в это время в заточении. Обличавшие митрополита Сергия в присвоении себе канонической полноты высшего церковного управления и рассматривавшие его политику как политику, направленную на порабощение Церкви богоборческим государством, церковные оппоненты митрополита Сергия разрывали каноническое общение с ним и возносили за богослужением лишь имя Патриаршего Местоблюстителя св. митрополита Крутицкого Петра (Полянского), за что и получили наименование «непоминающих». Впрочем, строгая верность православному вероучению и сохранение канонического единства с полнотой Русской Православной Церкви через богослужбное поминовение имени св. митрополита Петра позволяли так называемым «непоминающим» оставаться верными пастырями и пасомыми Русской Православной Церкви, существование которых помогало церковной жизни духовно преодолевать крайности политики митрополита Сергия.

Очередной и самый кровопролитный этап церковных гонений в Советской России, поставивший Русскую Православную Церковь на грань полного физического уничтожения, оказался связанным с периодом так называемого «большого террора» и продолжался с 1937 по 1941 гг. За это время, по данным Комиссии по реабилитации жертв политических репрессий при президенте Российской Федерации, было расстреляно 110 700 представителей православного духовенства. К 1941 г. на территории СССР в границах до сентября 1939 г. оставалось не более 150 действовавших храмов, не более 500 служивших представителей духовенства и 4 правящих архиерея. Среди десятков тысяч уничтоженных в этот период православных христиан находилось большинство канонизованных ныне Русской Православной Церковью новомучеников, которые многообразием своих личностных дарований и величиим своих подвижнических деяний явили славу Русской Православной Церкви XX в., прежде всего как Церкви мучеников.

Прослуживший основную часть своей жизни в качестве скромного синодального чиновника на поприще духовного образования Патриарший Местоблюститель св. митрополит Крутицкий Петр (Полянский) принял монашество и архиерейство в 58-летнем возрасте в 1920 г., сознательно обрекая себя на сораспятие с гонимой Русской Православной Церковью. Став ближайшим советником

св. Патриарха Тихона, св. митрополит Петр мужественно разделил с ним бремя высшего церковного управления неотделимого в это время от мученичества и исповедничества. Проведя последние 12 лет своей жизни в тяжелейших условиях тюрем и ссылок, св. митрополит Петр ни разу не попытался спасти свою жизнь и обрести свободу ценой недостойных компромиссов с богоборческой властью или же путем отречения от возложенных на него св. Патриархом Тихоном местоблюстительских полномочий и принял мученическую кончину 10 октября 1937 г.

Стяжавший себе еще до революции заслуженную славу одного из мудрейших и милосерднейших архипастырей Русской Православной Церкви Патриарший Местоблюститель св. митрополит Казанский Кирилл (Смирнов) являлся после кончины св. Патриарха Тихона самым почитаемым и любимым святителем гонимой богоборцами русской православной паствы. Проведя с 1919 г. с небольшими перерывами более 15 лет в тюрьмах и ссылках, св. митрополит Кирилл оставался духовным отцом для тысяч священнослужителей и мирян, обращавшихся к нему несмотря на все многочисленные препятствия за советами по всем вопросам сложной церковной жизни 1920–1930-х гг. Убежденный в невозможности спасти гонимую Церковь в России дальнейшей политикой компромиссов и воспринимавший Церковь не столько как централизованный административно-канонический институт, сколько как основанный на любви и свободе собор евхаристических общин, объединявшихся вокруг своих правящих епископов, св. митрополит Кирилл выступил как самый глубокий и авторитетный критик политики митрополита Сергия. Подобно св. митрополиту Петру не пойдя в своем длительном заключении ни на какие компромиссы с богоборческим режимом и сохраняя церковное единство безусловным признанием власти правящего местоблюстителя, св. митрополит Кирилл отошел ко Господу 20 ноября 1937 г., будучи расстрелянным в казахстанской ссылке вместе с другим пока еще не канонизованным замечательным церковным иерархом митрополитом Иосифом (Петровых).

Не происходя подобно подавляющему большинству церковных иерархов из духовного сословия, св. митрополит Серафим (Чичагов) пришел к пастырскому служению из петербургской аристократической среды, оставив блестящую карьеру гвардейского офицера. Олицетворяя разносторонней одаренностью своей личности и своим подлинно аристократичным внешним обликом величие уничтоженной большевизмом православной империи, св. митрополит Серафим проявил себя как один из наиболее последовательных и авторитетных сторонников политики митрополита Сергия, направленной на достижение соглашения с большевистским режимом.

Сочетавший в своем мировоззрении способность к политическим компромиссам с непоколебимой твердостью в отстаивании чистоты православной веры и церковно-канонического единства св. митрополит Серафим, будучи 82-летним старцем, с достоинством христианского мученика и мужеством русского офицера прошел месячное пыточное следствие и был расстрелян 11 декабря 1937 г.

Выделяющийся в сонме российских новомучеников своей особой приверженностью к древнерусскому благочестию, сын единоверческого священника св. епископ Дмитровский Серафим (Звездинский) оставался на своем не столь долгом жизненном пути прежде всего молитвенником и аскетом. Всегда стремившийся к отрешенному от мира монастырскому житию, св. епископ Серафим в условиях воздвигнутых на Церковь гонений оказался вынужденным, пребывая в скитаниях, подвергаясь неоднократным арестам и ссылкам, со смирением и твердостью свидетельствовать о своей вере даже гонителям Церкви. Считая губительной для Русской Православной Церкви политику митрополита Сергия, св. епископ Серафим в начале 1928 г. вышел за штат и с непреклонностью, унаследованной им от его предков старообрядцев, пронес свою веру в неодолимость Церкви в тяжелейших испытаниях пятилетней ссылки, которая предшествовала его мученической кончине 26 августа 1937 г.

События Второй мировой войны, которые привели к поразительному возрождению церковной жизни на территории, оккупированной немецко-фашистскими войсками, способствовали изменению религиозной политики Сталина в 1943 г. Репрессии по отношению к остававшимся на свободе на советской территории немногочисленным священнослужителям были почти полностью прекращены, а по отношению к гораздо более многочисленному духовенству, которое находилось на территории занимавшейся советскими войсками, проводились не очень часто. Подавляющее большинство из 13 тысяч храмов, открытых на оккупированной территории, продолжало оставаться действующими и после восстановления там коммунистического режима, и даже в областях, не подвергшихся немецкой оккупации, было открыто около 1 тысячи храмов. Некоторые из немногочисленных оставшихся в живых в советских лагерях и ссылках священнослужителей нередко освобождались из заключения иногда даже до истечения срока приговора. Так, например, прошедший пыточное следствие и многолетнее заключение в лагерях и ссылках священноисповедник архиепископ Лука (Войно-Ясенецкий) в 1943 г. был направлен на Тамбовскую кафедру сразу же после освобождения из ссылки, где, оставаясь в положении политического ссыльного, он исполнял обязанности главного хирурга-консультанта красноярских военных госпиталей.

Однако даже после 1943 г., когда Сталин перешел к политике преимущественного политического использования недоуничтоженной им Русской Православной Церкви, репрессии против духовенства и активных мирян не прекращались полностью, а оставшиеся в заключении священнослужители, особенно отказывавшиеся признать каноническую власть Патриарха Сергия, получали новые сроки, как, например, проведенный 33 года в заключении священноисповедник архиепископ Афанасий (Сахаров), освобожденный лишь в 1955 г. Впрочем, уже с 1948 г. по мере возвращения коммунистического государства к политике полного подавления церковной жизни в стране репрессии по отношению к духовенству усилились и продолжались весьма активно вплоть до смерти Сталина в 1953 г. Последующие периоды как ослабления церковных гонений в 1953–1957 гг., так и их усиления в 1958–1964 гг., представляли собой составную часть продолжавшейся более 70 лет и осуществлявшейся лишь различными методами политики борьбы богоборческого коммунистического государства с Русской Православной Церковью. И несмотря на то, что в послевоенный период были уничтожены не десятки тысяч, но лишь десятки представителей духовенства, политика явных и тайных гонений на Церковь сделала неизбежными те многочисленные и до сего времени невосполнимые потери, которые понесла церковная жизнь в России в XX в.

Прославленные Русской Православной Церковью почти полторы тысячи новомучеников и исповедников представляют собой лишь малую толику сонма подвижников православного благочестия, утвердивших духовно-историческое торжество Церкви в эпоху беспрецедентных по своей кощунственности и жестокости коммунистических гонений. И если русский народ, понесший неисчислимые культурно-исторические и человеческие потери в процессе преодоления соблазна построить коммунистический «земной рай», обнаружил перед всем миром утопически бесплодный характер коммунизма, то противопоставившая коммунистическим гонителям христианства сонм своих новомучеников и исповедников Русская Православная Церковь явила часто отпадающему от Бога человечеству не только антихристианскую природу коммунизма, но и неодолимость Церкви в ее духовном противоборстве с одним из самых страшных мировоззренческих искушений в истории человечества.

Развитие славистики в Люблянском университете¹

История словенской славистической науки, центром которой по праву считается философский факультет Люблянского университета, в строгом смысле начинается с момента создания первого университета в столице Словении Любляне в 1919 г. Однако исторические корни, основы будущей науки следует отнести к периоду Реформации, когда благодаря деятельности первых словенских протестантов: П. Трубара, А. Бохорича, Ю. Далматина у словенцев появились первые книги на родном языке.

В настоящее время в учебные программы Отделения славянских языков и литератур входит изучение русского, сербского, хорватского, македонского и других языков. Наряду с этим будущие слависты изучают историю литератур и культур разных славянских народов. Традиционно повышенный интерес у студентов наряду со словенистикой вызывает специализация по сравнительному языкознанию и русскому языку и литературе.

Русистика в Словении, как и в других странах, пережила различные периоды — от неожиданных взлетов всеобщего интереса к изучению русского языка и литературы до падения этого интереса в определенные годы, что в основном связано с событиями общественно-политического характера. Но если в основных, средних школах и гимназиях русский язык на долгие годы был вычеркнут из образовательных программ (в настоящее время русский язык в Словении преподают лишь в гимназиях), то на философском факультете его преподавали в полном объеме в течение всех лет, дистанцируясь от неблагоприятного политического фона.

Преподавание русского языка и литературы в Люблянском университете началось с образованием в 1922 г. отделения славистики на философском факультете и связано с именами таких знаменитых славистов, как Р. Нахтигал (1877—1958) и И. Приятель (1875—1937). Кроме философского факультета русский язык преподают также на факультете общественных наук.

С 1992 г. в Словении наблюдается постоянный рост интереса к изучению русского языка, что отразилось на росте числа студентов-русистов на философском факультете. В 1992 г. их было 22; в 1993 — 56; в 1994 — 75, а в 1995 г. их число возросло до 86 человек (для сравнения, тогда же на кафедре словенского языка и литературы поступило около 80 новых студентов). В 1996 г. кафедра русского

языка была вынуждена искусственно ограничить прием студентов до 40 человек, поскольку ни в техническом, ни в кадровом отношении не справлялась с таким количеством желающих. По данным 2003 г. русский язык и литературу изучают 347 студентов.

За эти годы качественно изменился и контингент учащихся: если раньше студентами русистики становились в основном бывшие ученики гимназий, где велось преподавание русского языка, и обязательным являлось также предварительное знание языка, то теперь практически все студенты первокурсники — начинающие, «нулевики».

Кроме того, изменение общественно-политической ситуации в Словении и в России, возросшие потребности Словении в специалистах, владеющих русским языком, потребовали определенных изменений в подходе к обучению, вынудили преподавателей заняться активной доработкой учебной программы, которая уже с самого начала обучения предполагает такой подход к обучению, который объединяет различные методические установки — традиционный грамматико-переводной подход, коммуникативный, вывод в речь, теоретический подход.

Изучение русского языка, а также глубокий интерес к истории, литературе и культуре России опирается на глубокие национальные традиции.

Словенская историко-культурная традиция относит начало словенско-русских связей к XVI в., связывая его с автором знаменитой книги «*Regum Moscoviticarum commentarii*» — «Записки о московитских делах» (1549) Сигизмунда (Жиги) Герберштейна (1486–1566), австрийского дипломата, родом из словенской Випавы. Побывав дважды (в 1517 и 1526 г.) в составе посольств императоров Максимилиана I и Карла V в России и Москве, он оставил после себя не только интересное повествование о своем путешествии, но и собрал богатый языковой материал, который и сегодня является важным источником для изучения истории русского языка².

Русский язык, среди других славянских языков, много раз упоминал словенский протестантский писатель Адам Бохорич (ок. 1520–1598) в первой грамматике словенского языка «Зимние часы» (1584). О родстве двух славянских наречий в своей знаменитой книге «Слава воеводины Крайны» (1689) писал Янез Вайкард Вальвазор (1641–1693). В эпоху словенского национального возрождения и предромантизма идеи о близости языкового и культурного развития двух народов развивали в своих трудах филолог Блаж Кумердей (1738–1805) и Антон Томаж Линхарт (1756–1795). Поэт Валентин Водник (1758–1819) на страницах первой газеты на словенском языке «Люблянске новице» неоднократно обращается к вопросу о близости русского языка другим славянским наречиям

и, в первую очередь, словенскому, а в процессе работы над словенской грамматикой (1811) он опирается на труды М. Смотрицкого и М. В. Ломоносова.

В XIX в. интерес к русской культуре и особенно литературе заметно возрастает. Заметно расширяются научные и личные контакты. Весьма активными были научные связи известного словенского филолога того времени Ернея (Варфоломея) Копитара (1780—1844) с российскими учеными. В 1820-е — 1830-е гг. его переписка с П. И. Кеппеном и А. Х. Востоковым отражала их общие научные интересы и устремления, связанные с изданием памятников славянской письменности (в первую очередь, «Фрейзингенских отрывков»). Позже, начиная с конца 1830-х гг., двусторонние контакты значительно расширяются. Русские ученые-слависты (О. М. Бодянский, П. И. Прейс, В. И. Григорович, И. И. Срезневский, Н. И. Надеждин и др.) во время предпринятых ими поездок по славянским (в том числе и словенским) землям, устанавливая связи со многими словенскими деятелями науки, культуры, известными писателями — помимо Е. Копитара с Ф. Прешерном, С. Вразом, П. Дайнко, М. Кастелицем, Я. Зупаном, У. Ярником и др.

Со второй половины 1870-х гг., когда в словенских землях широкий размах получает идея славянской взаимности, интерес к «русской теме» растет и благодаря словенским стипендиатам, которые в разные годы побывали в России и позже познакомили широкую общественность со своими впечатлениями. Особое место среди них принадлежит Франу Целестину (1843—1895). После своего пребывания сначала в Москве и Петербурге (1869), а позднее во Владимире и Харькове (1870—1872), где он работал в качестве учителя гимназии, на протяжении 1870-х — 1880-х гг. он пишет достаточно объективные, а порой и критические заметки для ведущих словенских изданий того времени («Письма из России» в журнале «Звон» («Колокол»), 1870; цикл статей в газете «Словенски народ» в 1871 г. и др.). Наряду с этим Целестин выступает и как автор развернутых исследований («Наш кругозор», журнал «Люблянски звон», 1883), посвященных идейно-художественным направлениям в современной русской литературе. Благодаря работам Ф. Целестина, К. Штрекеля (1859—1912), также обращавшегося к творчеству русских писателей (Н. А. Некрасова, И. С. Тургенева и др.), а кроме того, появившимся в этот период первым переводам с русского языка произведений И. С. Тургенева в среде словенской интеллигенции обозначился и стал последовательно развиваться стойкий интерес к русской литературе и культуре.

Вторая половина XIX в. отмечена и особым интересом словенских ученых к исследованиям в области русского языка. «Русскую грамматику для словенцев» издает в 1867 г. Матия Маяр-Зильский

(1809–1892), а Даворин Хостник (который с 1880 г. живет в России) создает грамматику русского языка и русско-словенский словарь.

В другом университетском центре Словении, г. Граце изучение русской литературы велось в рамках курса истории славянских литератур. Здесь работал Грегор Крек (1840–1905), автор исследования «*Einleitung in die slavische Literaturgeschichte*» (1974), рассматривающий историю литературы с позиции мифологической школы. Другой словенский ученый, Матия Мурко (1861–1952) после двухлетней стажировки в России (1887–1889) и последовавшей за этим работы в качестве приват-доцента славянской филологии Венского университета, также впоследствии преподает славянскую филологию в университетах Граца, Лейпцига и Праги. В своих работах он, наряду с историей письменности и литературы южных славян, особое внимание уделял древнерусской литературе.

В начале XX в. сразу несколько талантливых словенских исследователей прошли стажировку в России. В 1901–1902 гг. в Москве и Петербурге работал под руководством А. А. Шахматова и Ф. Ф. Фортунатова в будущем известный словенский ученый-русист Райко Нахтигал. После работы в Вене, где он преподавал русский язык в учебных заведениях австрийской столицы, а затем, после выхода в свет монографии «*Akzentbewegung in der ruischen Formen- und Wortbildung*» (1913) он некоторое время работал профессором в университете Граца. В 1918 г. Р. Нахтигал принимает активное участие в подготовительной работе, предшествующей открытию Люблянского университета и с 1919 г. становится в нем одним из первых профессоров славянской филологии.

В 1903–1904 гг. в России также побывал и известный словенский филолог Иван Приятель, который после длительного периода работы в Вене в императорской библиотеке (1905–1919) возвращается на родину и становится профессором Люблянского университета по истории современных славянских литератур. Его статьи и литературные эссе, посвященные известным русским писателям и деятелям культуры («Толстой и его роман „Воскресение“», 1900; «Пушкин в словенских переводах», 1901; «А. Н. Пыпин», 1906; «Поэты и общинники», 1917 и др.), по мнению проф. А. Сказы, укрепили основы словенской русистики и «сделали возможным то, что в 1919 г. русская литература, заняла подобающее ей место во вновь созданном словенском университете».

В период накануне Первой мировой войны (с небольшими перерывами в 1908–1917 гг.) активному изучению русской литературы посвятил себя Янко Лаврин (1887–1986), несколько лет живший в России и, помимо славистических изысканий, занимавшийся здесь издательской деятельностью. Разделяя идеи неославистов, Лаврин

активно способствовал ознакомлению русских читателей с лучшими литературными творениями разных славянских народов. В качестве соредактора он работает в журнале «Славянский мир» (1908–1911). Вместе с С. М. Городецким издает альманах «Велес» (1912–1913). Особые его усилия были направлены на ознакомление русской читательской аудитории с новыми явлениями в словенской литературе. Позже, уже после своего отъезда в Англию (где он преподавал историю современной русской (советской) литературы) в своих статьях, выходящих на английском языке он продолжал знакомить словенского читателя с литературными новинками советской России («Русская литература», 1927; «Достоевский, Ницше, Толстой», 1937; «Введение в русский роман», 1943; «Достоевский», 1943; «От Пушкина до Маяковского», 1948, «Лев Толстой», 1961; «Панорама русской литературы», 1973 и др.).

Как уже отмечалось, с момента создания Люблянского университета русистика становится неотъемлемой составной частью учебной программы по славистике. Помимо языковеда Р. Нахтигала и историка литературы И. Приятеля ее представляет в этот период Франце Кидрич (1880–1950), освещавший в своих лекциях по истории литературы славян разные проблемы истории древнерусской литературы. С 1922 г. на отделении славистики начинает работать, сначала как лектор, а позднее (1949–1958) как преподаватель русского языка и литературы Николай Федорович Преображенский (1893–1970). В 1940–1941 гг. историческую грамматику русского языка читает словенским студентам приват-доцент А. В. Исаченко.

В послевоенные годы словенская славистическая наука и русистика, в частности, продолжают свое развитие благодаря исследованиям Р. Нахтигала, автора книги «Славянские языки» (1936 г., русский перевод 1963 г.). Его работы этого периода посвящены вопросам изучения как современного языка, так и языка памятников древнерусской письменности («Русский язык в свете научно-популярного изложения», 1946; «Заблуждения в отношении древнерусской письменности», 1954; «Слово о полку Игореве», реконструкция, перевод, комментарий», 1954). Курсы истории русской и советской литературы (творчество Пушкина, русский романтизм и реализм, творчество Достоевского, избранные главы из русской советской литературы и др.) читает в этот период профессор Братко Крефт (1905–1996), в 1952 г. защитивший диссертацию по теме «Пушкин и Шекспир». Свою преподавательскую деятельность он совмещает с активной научной и издательской работой: выходят из печати книга эссе о русских писателях XIX–XX вв., собрание сочинений Ф. М. Достоевского в 11 книгах с развернутыми научными комментариями.

В послевоенный период значительно активизируется исследовательская деятельность словенских ученых-лексикографов: они работают над созданием новых двуязычных словарей. В это время появляются «Русско-словенский словарь Янко Претнара (1947; второе, дополненное издание — 1964 г. подготовлено Франчеком Шафаром), «Словенско-русский словарь» Янко Котника (1950; второе издание — 1972). Нынешние студенты-русисты используют новые справочные издания: «Русско-словенский учебный словарь» (1977) Йоже Севера, созданный им совместно с Л. И. Пироговой и Б. Ороженом, а также подготовленный в 1980-е гг. совместно с О. С. Плотниковой его краткий «Русско-словенский и словенско-русский словарь» (1990).

Новый этап в развитии словенской русистики отмечен созданием в 1962 г. на базе отделения славянских языков и литературы кафедры русистики. Среди ее преподавателей литературовед Вера Брнчич (1913–1977), являющаяся автором статей по истории русской и советской литературы («Русская советская литература», 1962; «Русская литература до Гоголя», 1966; «Отзвуки русской советской литературы у словенцев», 1967 и др.), преподаватели русского языка Янез Зор, Йосипина Пердан, Власта Томиншек (1906–1977), которая в период своей работы на кафедре подготовила к изданию несколько учебников русского языка для средней школы, автор двуязычных словарей Й. Орожен и др.

Особое место в истории словенской русистики по праву принадлежит проф. Франу Якопину (1921–2002). Опираясь на созданный его учителем Р. Нахтигалом прочный фундамент сравнительно-исторического метода изучения русского языка, Ф. Якопин обогатил его с учетом новейших научных тенденций, перенеся вектор научного поиска на изучение структуры языка и современной книжной нормы. Его важнейшей работой и фундаментальной основой современной словенской русистики стала «Грамматика русского литературного языка» (1968) — первая и единственная научно обоснованная, фундаментальная грамматика современного русского языка на словенском языке, которая явилась важным вкладом не только в развитие русистики, но и словенской грамматической мысли в целом (например, главы, посвященные виду глагола, предикатива и др.). Работа над «Грамматикой» высветила разнонаправленность научного поиска проф. Ф. Якопина: его интересовали проблемы нормы русского литературного языка, русско-словенские языковые параллели, проблемы сравнительного славянского языкознания и др. Этому во многом способствовали и научные стажировки Ф. Якопина в Москву (1963, 1969), где научными руководителями словенского ученого были Р. И. Аванесов и М. Кузнецов.

В настоящее время традиции Р. Нахтигала и Ф. Якопина продолжает новое поколение преподавателей Люблянского университета — проф. Александра Дерганц, в трудах которой исследуются вопросы исторической грамматики русского языка, типологии развития двух славянских языков и культур (докторская диссертация «Следы второго южнославянского влияния на язык древнерусского агиографа Епифания Премудрого», 1984; «О возможном влиянии грамматики А. Бохорича на грамматику М. Смотрицкого», 1987 и др.). Практические занятия со студентами ведут лекторы Яня Урбас, Татьяна Комарова, Марина Спанринг-Поредош и ассистент кафедры Блаж Подлесник. Начиная с 1964 г. в рамках двустороннего обмена в Любляне работают преподаватели русского языка из России.

Преподавание истории русской и советской литературы ведут профессор Александр Сказа, доцент Миха Яворник и ассистент Блаж Подлесник. А. Сказа, один из активнейших членов Общества «Словения — Россия», на протяжении многих лет занимается наряду с проблемами русского реализма (статьи, посвященные творчеству Ф. М. Достоевского, Л. Н. Толстого), символизма (на примере творчества А. Белого — докторская диссертация «Проблемы поэтики романа „Петербург“ А. Белого», 1976 и др. статьи), а также современной русской советской литературы (творчество А. И. Солженицына, В. Ерофеева и др.) вопросами теории литературы и, в первую очередь, творчества М. М. Бахтина. Он является редактором, составителем и автором комментариев к вызвавшим огромный интерес сборникам «Русские формалисты», 1984; «Михаил Бахтин (жизнь и творчество)», 1982). Продолжая давнюю традицию отечественной науки, особое внимание А. Сказа уделяет также исследованиям сравнительного характера («Советская литература и доктрина социального реализма в послевоенной словенской публицистике и переводах», 1985 и др.). В 2002 г. профессор А. Сказа за большие заслуги в области развития двусторонних культурных связей и вклад в воспитание нескольких поколений словенских русистов был удостоен звания «почетный профессор МГУ им. М. В. Ломоносова».

Молодое поколение словенских русистов с успехом развивают сложившиеся за долгие годы традиции. С именем М. Яворника связаны исследования, обращенные к литературе России XX в. («Проблемы времени и пространства в романе „Мастер и Маргарита“ М. А. Булгакова», 1986/87; «Рождение смысла в поэзии А. Ахматовой», 1990/1991; «Интерпретация стихотворения „А. А. Ахматовой“ И. Бродского», 1990/91 и др.), а также работы, посвященные литературным и культурным процессам эпохи глобализации.

Блаж Подлесник, ассистент на кафедре русской литературы и языка, в декабре 2003 г. защитил диссертацию, посвященную

поэзии А. А. Ахматовой («„Поэма без героя“ А. Ахматовой и традиция русской поэмы от классицизма до XX в.»). В круг научных интересов молодого исследователя входит русская поэзия XIX–XX вв. с особым вниманием к жанру поэмы, а также творческое наследие Ю. Лотмана. Он принимает активное участие в работе международных научных конференций как в Словении, так и в России.

Среди других славистических центров Словении можно выделить Педагогическую академию в г. Марибор, где русистика развивается благодаря усилиям проф. Златы Ковач, читающей курс истории русской литературы (диссертация «Поэтика К. Паустовского», 1975) и Юрия Ройса, преподающего русский язык, автора исследований по русской лексикографии и фразеологии (его докторская диссертация посвящена анализу языка произведений М. Шолохова).

Отдельные вопросы истории и теории русской и советской литературы XIX–XX вв. нашли отражение в работах самых разных словенских исследователей: переводчика и эссеиста Д. Байта, известных литературоведов и историков словенской литературы Марии Боршник, Штефана Барбарича, Йоже Корузы, Бориса Патерну, Франца Задравца, Марко Ювана и др. Некоторые проблемы сравнительного изучения литератур двух славянских народов отражены в произведениях Антона Оцвирка, Душана Пирьевца, Янко Коса, Матьяжа Кмецла и др.

Русистика Люблянского университета развивается в тесной связи со многими славистическими центрами, научными учреждениями и общественными организациями во всем мире. Результатом этого является не только активное участие словенских ученых в различных международных научных изданиях, но и совместная организация и проведение важных мероприятий, посвященных изучению русского языка, литературы и культуры, которые неизменно вызывают широкий общественный резонанс: «Международная встреча, посвященная 1000-летию принятия христианства на Руси» (1988), «7 симпозиум Международного общества по изучению творчества Ф. М. Достоевского» (1989), «Бахтин и гуманитарные науки» (1995).

Результатом плодотворных многолетних связей между философским факультетом Люблянского университета, с одной стороны, а с другой — Московским государственным университетом имени М. В. Ломоносова и Институтом славяноведения РАН явились организация и проведение в Москве международных конференций: «Пушкин и Прешерн» (2000), «Литературные итоги XX века» (2001), «Первая мировая война в истории и литературе западных и южных славян» (2003).

Следует особо подчеркнуть, что в различных университетах мира работает слависты словенского происхождения, которые занимаются

исследованиями в области истории русского языка, литературы и культуры. Так, работы Ивана Верча (университет г. Триеста), которые печатаются как в словенских изданиях, так и на страницах издаваемого в Триесте альманаха «*Slavica Tergestina*», посвящены русской прозе XIX–XXI вв. (творчество А. С. Пушкина, М. В. Лермонтова, Н. В. Гоголя, Ф. М. Достоевского, Н. А. Некрасова, Б. Пильняка, А. Платонова и др.), вопросам теории литературы (наследие М. Бахтина, Ю. Лотмана), а также проблематике литературоведения XXI в. («*Slavica Tergestina*. 10» Trieste, 2002).

Наряду с преподавательской работой на философском факультете Люблянского университета, с самого его основания, осуществляется и разносторонняя исследовательская работа. В 1970-е гг. было создано «Исследовательское объединение Словении», перед которым встала задача координации усилий ученых разных направлений для формирования единой программы научно-исследовательской деятельности. Постепенно выявилась насущная необходимость в создании Научного института, который бы осуществлял научно-исследовательскую деятельность по всем учебным направлениям философского факультета. В настоящее время успешно действующий Институт организует научно-исследовательскую работу на факультете, координирует деятельность исследователей разных направлений, активно способствует проведению междисциплинарных научных исследований, а также осуществляет финансовую и организационную помощь в проведении крупных научных мероприятий и изданий трудов. Особое место в его работе отводится вовлечению студентов в процесс научно-исследовательской работы. Институт выступает не только как координатор в осуществлении различных программных комплексных проектов, но и способствует ознакомлению с их результатами широких слоев общественности.

П Р И М Е Ч А Н И Я

- ¹ Автор выражает глубокую благодарность Татьяне Комаровой, лектору русского языка на философском факультете Люблянского университета за огромную помощь в работе над статьей.
- ² Бюст С. Герберштейна (скульптор — Г. Потоцкий) был установлен в Москве во дворе Государственной библиотеки иностранной литературы имени Т. И. Рудомино в 2000 г. по инициативе и при содействии Посольства Республики Словении в Российской Федерации к 10-летию провозглашения суверенности Республики Словении, в дар братским народам России от словенского народа. На его постаменте выбиты слова (на русском и словенском языках): «Потомок знаменитого рода из словенской Каринтии, воин, государственный деятель, дипломат и миротворец. В „Записках о Московии“ открыл Россию Европе».

ЛИТЕРАТУРА

- Zbornik Filozofske fakultete: 1919–1999. Ur. J. Šumi. Ljubljana, 1999.
- Skaza F.* Slovenska rusistika // Словения и Россия. Минувшее и современность. Бюллетень Общества Словения — Россия. 1998. № 3. С. 65–70.
- Комарова Т.* Русский язык в Люблянском университете // Zbornik Filozofske fakultete: 1919–1999. Ljubljana, 1999. S. 104–107.
- Дерганц А. и др.* Памяти Ф. Якопина (1921–2002) // Славяноведение. 2003. № 2. С. 121–124.

К. В. Шевченко
(С.-Петербург — Прага)

Вопреки пророчествам. Лужицкие сербы на пороге третьего тысячелетия

Лужицкие сербы, проживающие в федеральных землях Саксония и Бранденбург на юго-востоке нынешней ФРГ, являются единственными уцелевшими потомками некогда многочисленных полабских славян, занимавших в раннее Средневековье значительную часть территории современной восточной и центральной Германии. О славянских обитателях обширной области от низовьев Эльбы до северо-восточной Баварии сейчас напоминает лишь славянская этимология местных топонимов и гидронимов. Названия таких немецких городов, как Лейпциг (Липск), Дрезден (Дрежджаны), Бранденбург (Бранибор), Плауэн (Плавно), Пирна (Перна), Гера (Гора), Цоссен (Сосны) и многих других имеют славянское происхождение. Лишь южная ветвь полабских славян — лужицкие сербы — сохранили славянский язык и самосознание до настоящего времени. Во времена ГДР численность лужицких сербов обычно определялась в 100 тысяч человек. По уточненным после 1989 г. данным, количество тех, кто относил себя к серболужицкой национальности, составляло в то время около 67 тысяч человек. Число владеющих серболужицким языком составляло при этом около 59 тысяч¹.

История сербов-лужичан как никакого другого славянского народа полна пессимистических предсказаний о времени их окончательной германизации. В роли пророков-пессимистов выступали как немцы, так и представители славянских народов. Немецкое общественное мнение нередко рассматривало лужицких сербов как нежизнеспособный анахронизм, дни которого сочтены. Так, во время реформации в Германии Мартин Лютер был против перевода церковной литературы на серболужицкий язык, объясняя это скорой и неизбежной ассимиляцией лужицких сербов. Убеждая лужицких сербов отказаться от идеи перевода Библии на родной язык, Лютер еще в XVI в. предсказывал, что «...через сто лет о лужицком языке не будет и помину»². В XIX в. другой великий немец, Фридрих Энгельс, рассуждая об исторической судьбе земель между Эльбой и Вартой, вообще писал о сербах-лужичанах в прошедшем времени: «Эти славянские области полностью германизированы, дело это уже сделано и не может быть исправлено, разве только панслависты разыщут исчезнувшие сорбский, вендский и ободритский языки и навяжут их жителям Лейпцига, Берлина и Штеттина»³.

Между тем на «исчезнувшем» сербском языке тогда говорило около двухсот тысяч жителей Саксонии и Пруссии. Впрочем, ироничное предсказание Энгельса частично сбылось. Основоположник научного коммунизма был бы наверняка удивлен, узнав о том, что некогда немецкий Штеттин превратился в польский Щецин, население которого говорит на языке, близком языку полабских и поморских славян.

Не было недостатка в мрачных прогнозах и со стороны славянских мыслителей. Ян Коллар, один из самых видных представителей и идеологов славянского возрождения, сравнивал судьбу Верхней и Нижней Лужицы с двумя маленькими лодочками, которые еще удерживаются на поверхности океана германизации, но судьба их предрешена. Сочувственно-пессимистическое отношение к будущему лужицких сербов высказывали и другие видные представители славянской научной и общественной мысли, в разное время побывавшие в Лужице, среди которых И. И. Срезневский, Л. Штур и другие. В. С. Тимковский, чиновник канцелярии Государственного секретаря Российской империи А. С. Шишкова, побывавший в Лужице в 1814 г., с грустью отмечал в своем путевом дневнике, что «...наречие сербо-вендское должно умереть и умрет. Но на что ускорять гибель его, — восклицал Тимковский, имея в виду ассимиляторскую политику немецких властей, — на что мешаться в планы природы, на что бременить жестоко народ простой и добрый?»⁴

Несмотря на обилие пессимистических прогнозов, лужицкие сербы сохранились как этнос к началу третьего тысячелетия, что наверняка удивило бы тех, кто предсказывал серболужицкому народу скорую и неизбежную германизацию. XX в. стал самым тяжелым испытанием для сербов-лужичан. Тем не менее они сумели пережить и две мировые войны, крайне негативно повлиявшие на сам генофонд серболужицкого народа, и жесткую ассимиляторскую политику Веймарской Германии, и период гитлеровского нацизма, когда под запретом находилась не только вся серболужицкая национальная жизнь, но и отрицалось само существование сербов-лужичан, объявленных идеологами нацизма «немцами, говорящими по-вендски».

* * *

Только полный разгром нацистской Германии Советским Союзом и приход Красной армии спасли лужицких сербов от угрозы полного уничтожения. По словам одного из лидеров серболужицкого национального движения Павола Недо, сказанным им 27 апреля 1947 г., «если бы не было русской оккупационной власти в Лужице, сегодня не существовало бы и серболужицкого народа»⁵.

Не поддержав радикальных планов серболужицких политиков, направленных на присоединение Лужицы к Чехословакии и позже на создание независимого серболужицкого государства, СССР выступил за сохранение Лужицы в составе Германии при гарантии широких национальных прав серболужицкого населения. Во многом под давлением советских властей и при активном участии СЕПГ саксонский ландтаг принял в марте 1948 г. «Закон об охране прав серболужицкого населения», который впервые в истории лужицких сербов провозглашал законодательную защиту национальных прав лужицких сербов со стороны немецкого государства и предусматривал широкое применение серболужицкого языка в образовании и административной сфере в областях проживания лужицких сербов. С образованием 7 октября 1949 г. ГДР реализация широких национальных прав лужицких сербов, предусмотренных «серболужицким законом» 1948 г., носила во многом противоречивый характер. С одной стороны, благодаря активной поддержке со стороны властей ГДР создается широкая сеть финансируемых государством серболужицких культурных, научных и образовательных учреждений, призванных удовлетворить национально-культурные потребности серболужицкого населения. С другой стороны, негативное влияние начинают оказывать как усиливающийся идеологический фактор, так и определенные рецидивы немецкого шовинизма.

Возникновение ГДР сопровождалось все более тесным сотрудничеством главной национальной организации лужицких сербов «Домовины» с органами власти. В качестве коллективного члена «Домовина» вошла в организованный СЕПГ Народный фронт. В декабре 1950 г. под давлением руководства СЕПГ был вынужден оставить свой пост многолетний руководитель «Домовины» Павол Недо, которого сменил коммунист Курт Кренц, лужицкий серб по происхождению. Из выразительницы интересов серболужицкого населения «Домовина» все больше превращалась в простой придаток СЕПГ и дополнительный проводник ее влияния среди лужицких сербов. Административная реформа, проведенная в ГДР в 1952 г., когда 5 восточногерманских земель были поделены на 14 округов и лужицкие земли вновь оказались разделенными, на этот раз между округами Дрезден и Коттбус, не встретила оппозиции со стороны руководства «Домовины». Всеохватывающий партийный контроль над общественной и культурной жизнью сербов-лужичан, а также жесткая цензура были отличительной чертой 50-х и 60-х гг.

Серьезные негативные последствия для серболужицкого населения имела программа индустриализации Средней и Нижней Лужицы, которая привела к росту миграции немецкого населения на лужицкие земли, к усилению процессов урбанизации и, как следствие,

к дальнейшему изменению этнического баланса населения в пользу немцев в первую очередь в округе Коттбус. Наиболее болезненным для сербов-лужицан было развитие угольной промышленности, повлекшее за собой исчезновение десятков серболужицких деревень и переселение их обитателей в города. С протестом против уничтожения серболужицкой культурной области развивавшейся угледобывающей промышленностью в середине 80-х гг. выступила серболужицкая интеллигенция во главе с писателем Юрием Кохом. Оппозиционно настроенные серболужицкие студенты пытались выпускать собственный независимый журнал, который, однако, вскоре был запрещен «Домовиной» по требованию ЦК СЕПГ⁶.

В то же время нельзя отрицать во многом естественный характер неблагоприятных для лужицких сербов демографических процессов и продолжавшейся ассимиляции серболужицкого населения ГДР. Сохранение традиционного жизненного уклада лужицких сербов вступало в неизбежное противоречие с интересами развивавшейся восточногерманской экономики, которая способствовала усилению урбанизации и оттоку лужицких сербов в города, где ассимиляционные процессы протекали более интенсивно.

Тем не менее именно со стороны властей ГДР лужицкие сербы получили такую поддержку для развития своего языка и культуры, какой до этого они никогда не имели за все время своего более чем тысячелетнего пребывания в составе различных германских государств. Благодаря мощной государственной поддержке, в ГДР была создана солидная научная и организационная инфраструктура, удовлетворявшая национально-культурные потребности сербов-лужицан и препятствовавшая их ускоренной ассимиляции. Серболужицкое издательство, институт серболужицкого народоведения, серболужицкий народный театр и музей, система образования и средства массовой информации на верхне- и нижнелужицком языках, наконец, двуязычные надписи в местах компактного проживания лужицких сербов, — все это существовало и успешно развивалось благодаря широкой государственной поддержке. Разумеется, покровительство лужицким сербам со стороны властей ГДР в определенной степени носило пропагандистский характер и было призвано продемонстрировать успешное решение национального вопроса в «первом на немецкой земле государстве рабочих и крестьян».

Наряду с этим, в период существования ГДР давали о себе знать явные германизаторские тенденции. Так, хотя принятый в марте 1948 г. саксонским ландтагом «Закон об охране прав серболужицкого населения» предусматривал создание школ с серболужицким языком преподавания и изучением немецкого языка как предмета, министр образования ГДР в 1952 г. издал циркуляр, во многом противоречивший данному закону. В соответствии с циркуляром, серболужицкие

школы делились на две категории. В школах типа «А», которые создавались в местах численного преобладания лужицких сербов, обучение велось на серболужицком языке. В школах типа «Б», создававшихся в местах совместного проживания немцев и лужицких сербов, обучение велось на немецком языке, а серболужицкий язык изучался лишь как предмет. По официальным данным, в 1958 г. только в десяти школах на территории Лужицы обучение велось на серболужицком языке, в то время как в 101 школе серболужицкий язык изучался как предмет. Негативное влияние на развитие серболужицкого языка имело и постановление министерства образования ГДР от 2 ноября 1962 г., в соответствии с которым в школах типа «А» с пятого класса языком преподавания становился немецкий. Впрочем, продолжавшаяся ассимиляция носила во многом естественный и добровольный характер. Так, в результате другого постановления от 30 мая 1964 г., которое объявляло изучение серболужицкого языка необязательным, число учеников, изучавших серболужицкий язык, понизилось с 12 000 до 3 000. Для того чтобы ученик серболужицкой национальности получил возможность изучать серболужицкий язык, было необходимо письменное заявление со стороны его родителей⁷. Значительную роль в снижении интереса к изучению серболужицкого языка сыграли объективные факторы, прежде всего ограниченная сфера его применения и невысокий социальный статус. Однако, несмотря на ряд негативных явлений и продолжавшуюся ассимиляцию, именно в рамках ГДР была создана солидная институциональная база, поддерживавшая развитие серболужицкой культуры и языка и ставшая опорой лужицких сербов после объединения Германии. По мнению серболужицкого историка и общественного деятеля Мерчина Каспера, «несмотря на некоторые ошибки и просчеты в национальной политике ГДР, лужицкие сербы принесли с собой в ФРГ высокоразвитую литературу, искусство и науку; развитую систему органов просвещения, а также собственное издательское и типографское дело»⁸.

Революционные события в ГДР, начавшиеся осенью 1989 г., привели к отстранению от власти СЕПГ и завершились объединением Германии в октябре 1990 г. Чуть ранее, в марте 1990 г. в ГДР было восстановлено традиционное деление на земли. В результате лужицкие сербы вновь оказались разделены между Саксонией, в состав которой вошла большая часть Верхней Лужицы, и Бранденбургом, которой включал всю Нижнюю и северную часть Верхней Лужицы. Благодаря активным действиям руководства «Домовины» и других серболужицких организаций, интересы сербов-лужичан были приняты во внимание в процессе переговоров об объединении Германии. Одна из статей Договора об объединении между правительствами ГДР и ФРГ, подписанного в августе 1990 г., предусмат-

ривала свободное национально-культурное развитие сербов-лужицан и сохранение сети серболужицких национальных организаций, созданных во времена ГДР. Но уже в ходе объединения Германии проявились тревожные симптомы, свидетельствовавшие о живучести ксенофобии и антиславянских настроений в немецком обществе. В конце 1989 — начале 1990 гг. во время многочисленных демонстраций на территории Лужицы можно было видеть не только антикоммунистические, но и антисерболужицкие лозунги, такие, как «Коммунистов и сербов в газовые камеры» или «Иностранцы и венды — вон!»⁹. Рост немецкого национального радикализма и связанные с ним эксцессы характерны прежде всего для страдающего от высокой безработицы и прочих социальных проблем населения юго-восточной части бывшей ГДР.

Принятые в 1992 г. конституции земель Саксония и Бранденбург содержат статьи, закрепляющие право лужицких сербов на сохранение своей национальной идентичности, поддержку языка и культуры, а также использование серболужицкого флага и герба. Ландтаг земли Бранденбург принял впоследствии специальный закон, определивший конкретный правовой механизм реализации провозглашенных в конституции прав лужицких сербов. В то же время в Саксонии этот механизм остается менее проработанным. В октябре 1991 г. в ФРГ был создан специальный Фонд поддержки серболужицкого народа, финансируемый федеральным правительством и правительствами земель Саксония и Бранденбург. Фонд призван финансировать деятельность существующих серболужицких культурных и научных организаций. В последнее время, однако, наметилась устойчивая тенденция к снижению расходов федерального правительства на нужды серболужицких организаций. Более того, некоторые наблюдатели полагают, что в самом отношении властей ФРГ к статусу лужицких сербов прослеживается определенный дискриминационный подтекст. По мнению одного из чешских дипломатов, после объединения Германии там все отчетливее проступает тенденция рассматривать лужицких сербов и их культурно-национальные потребности как некий искусственный вымысел властей коммунистической ГДР¹⁰. Серболужицкие политики и представители интеллигенции все более критически оценивают политику немецкого государства по отношению к серболужицкому меньшинству. Депутат саксонского ландтага от партии демократического социализма (ПДС) лужицкий серб Гейко Козел отмечал, что права, которыми лужицкие сербы обладают в настоящее время, не соответствуют европейским стандартам поддержки национальных меньшинств. В качестве примера серболужицкий депутат ландтага Саксонии ссылаясь на права немецкого меньшинства в Бельгии и Италии. По мнению Г. Козела, финансирование Фонда

поддержки серболужицкого народа должно быть увеличено. Многие представители серболужицкой интеллигенции указывают на сложное социально-экономическое положение лужицких земель и считают, что Лужица нуждается в экономической помощи, способной приостановить отток серболужицкой молодежи в более благополучные регионы Германии¹¹.

Объединение Германии, которое наряду с вожделенной свободой принесло ряд серьезных социально-экономических и психологических проблем, стало новым серьезным испытанием для лужицких сербов. Высокая безработица в юго-восточных регионах бывшей ГДР и вызванный ею отток трудоспособного населения в более экономически благополучные западные области ФРГ стали дополнительным фактором ассимиляции серболужицкой молодежи. Молодые лужицкие сербы, уехавшие в поисках работы на запад Германии, в условиях отсутствия серболужицкой языковой среды забывают родной язык и быстро германизируются. Серболужицкая интеллигенция озабочена снижением интереса у лужицких сербов к родному языку. Если до объединения Германии число учащихся, изучавших серболужицкий язык, составляло около 5000 человек, то после ликвидации ГДР и объединения Германии их количество упало до 1700¹². В последние годы четко обозначилась тенденция к сокращению школ типа «А» (с серболужицким языком преподавания) по причине недостатка учеников. Неудивительно поэтому, что в широких массах серболужицкого населения растет ностальгия по социализму и временам ГДР.

Начатое немецкими властями сокращение серболужицких школ под формальным предлогом недостаточного количества учеников в серболужицких классах и их несоответствия требуемому минимуму вызывает растущее сопротивление серболужицкой общественности. М. Каспер критически отзывался о формальном подходе саксонских властей к проблемам серболужицких школ и опровергал их аргумент о недопустимости исключений для лужицких сербов в сфере образования указанием на то, что «в других государствах особый подход к нацменьшинствам является обычной практикой»¹³. В январе 2000 г. в историческом и культурном центре Верхней Лужицы Будишине (нем. Баутцен) состоялась демонстрация протеста против планируемого закрытия двух серболужицких средних школ, в которой приняло участие несколько сотен лужицких сербов. Демонстранты, одетые в черные пальто и шляпы, несли гроб, который символизировал последствия сокращения образования на серболужицком языке для национального существования лужицких сербов¹⁴. На митинге протеста против планов сокращения серболужицких школ в верхнелужицкой деревне Хросчицы (нем. Кроствиц) в августе 2001 г. приняло участие около 1200 человек.

Новую волну протестов вызвало решение министерства образования Саксонии закрыть с 2003 учебного года вторую ступень (т. е. 5–10 классы) серболужицкой школы в деревне Хросчицы, расположенной в центре серболужицкой языковой области в западной части Верхней Лужицы. Во время визита канцлера ФРГ Г. Шредера в Чехию 5 сентября 2003 г. чешское Общество друзей Лужицы устроило демонстрацию в поддержку лужицких сербов и в знак протеста против политики саксонских властей. В демонстрации приняло участие около 80 человек, включая нескольких депутатов парламента Чехии и представителей лужицких сербов. Председатель Общества друзей Лужицы Л. Шатава заявил в своем выступлении на митинге, что «закрытие школ в Лужице несет угрозу самому существованию серболужицкого меньшинства»¹⁵. Чешское Общество друзей Лужицы оценивает сложившуюся в Лужице ситуацию как «критическую не только для учеников школы в Хросчице и для их семей, но и для всей сети серболужицких школ. Кроме того, ситуация является критической с точки зрения сохранения национальной идентичности. Лужицкие сербы противостоят сильному ассимиляционному давлению немецкого окружения. Наряду с семьей, именно серболужицкая школа является одним из немногих общественных мест, где сербы-лужичане могут общаться на родном языке...»¹⁶.

Некоторые специалисты полагают, что в 2010 г. активное использование серболужицкого языка в Лужице может фактически прекратиться¹⁷. Сохранение серболужицкого языка, культурной и национальной идентичности в новых условиях становится все более актуальной проблемой, для решения которой серболужицкая интеллигенция пытается искать новые, нетрадиционные пути. Одним из них является проект «Витай», организованный несколько лет назад по примеру бретонского меньшинства во Франции и направленный на развитие навыков разговорного серболужицкого языка у детей дошкольного возраста в специальных детских садах, где создается полностью серболужицкая языковая среда.

Бывший председатель серболужицкой «Домовины» Якуб Бранкач не считает, что немецкие власти проводят прямую ассимиляторскую политику. «Но даже простое безразличие к судьбе сербов-лужичан, — полагает серболужицкий деятель, — способствует их ускоренному растворению в окружающем мире». От своих славянских соседей, по словам Бранкача, лужицкие сербы ждут не денег, поскольку понимают их собственные материальные проблемы, а прежде всего моральной поддержки¹⁸. Между тем дефицит подобной поддержки сказывается в последнее время все острее. Долгое время роль «материнского» государства для сербов-лужичан играла соседняя Чехословакия. После восточноевропейских «бархатных

революций», с объединением Германии и распадом Чехословакии интерес чехов, словаков и поляков к лужицким сербам заметно упал. В западнославянских странах, правящие элиты которых заиклены исключительно на «возвращении в Европу» путем интеграции в евроатлантические структуры, межславянские связи давно стали маргинальным занятием; явлением нежелательным и подозрительным, отношение к которому по-прежнему сильно идеологически окрашено. Подобное поведение официальных Праги и Варшавы в известной степени объясняется их опасением того, что сам интерес к межславянским сюжетам может поставить под вопрос их внешнеполитическую ориентацию и лояльность своему нынешнему евроатлантическому руководству. В итоге межславянские связи оказались жертвами политической конъюнктуры, а о самом существовании сербов-лужичан знает все меньше молодых чехов и поляков. Существующее в Чехии чешско-лужицкое общество крайне малочисленно, ограничено лишь небольшим количеством энтузиастов и практически неизвестно широкой общественности. Все это негативно отражается на национальной идентичности сербов-лужичан, для которых межславянские связи и внимание со стороны других славянских народов всегда имели колоссальное значение.

Конец лужицким сербам предрекали уже очень давно и очень часто, но до последнего времени все эти пророчества не сбывались. Однако нынешние реалии объединенной Германии, а также соседних славянских государств, некогда бывших опорой лужицким сербам в их борьбе за национальное выживание, несут в себе новую очень серьезную угрозу самому существованию сербов-лужичан, численность которых продолжает уменьшаться в результате прогрессирующей ассимиляции, резко усилившейся после объединения Германии.

ПРИМЕЧАНИЯ

- ¹ *Ela L. Zwěsćowanje natožowanje rěče // Rozhlad 41. 1991. Budyšin, S. 242–243.*
- ² Цит. по: *Моторный В. А., Трофимович К. К. Серболужицкая литература. История, современность, взаимосвязи. Львов, 1987. С. 22.*
- ³ *К. Маркс, Ф. Энгельс. Собр. соч. Т. 6. С. 297.*
- ⁴ Цит. по: *Лантева Л. П. Русско-серболужицкие научные и культурные связи с начала XIX в. до первой мировой войны. Москва, 1993. С. 29.*
- ⁵ *Lužickosrbský Věstník 1947. R. XXII. Č. 6–7. S. 71.*
- ⁶ *Malink J. Z politycznej i kulturalnej historii Łužyczan // Łužyczanie. Słowiański naród w Niemczech. Warszawa, 1994. S. 24–25.*
- ⁷ См. *Лужицькі серби. Посібник з народознавства. Львів; Будишин, 1997. С. 67.*
- ⁸ *Каснер М. Національні права меншини лужицьких сербів // Пигання сорабістики. Praŕsenja sorabistiki. Львів; Будишин, 2002. С. 134–135.*

- ⁹ Nordfrisland. 23.II.1990. S. 21–22.
- ¹⁰ Mladá Fronta Dnes. 26.VIII.1996.
- ¹¹ Serbske Nowiny. Njewotwisny wječornik za serbski lud. 17.XII.1999.
- ¹² Pawlikec B. Staw wuwica projekta Witaj za rewitalizaciju serbšćiny // Питання сорабістики. Прашеня сорабістики. Львів; Будишин, 2002. S. 157.
- ¹³ Kasner M. Національні права меншини лужицьких сербів. С. 132–133.
- ¹⁴ Serbske Nowiny. Njewotwisny wječornik za serbski lud. 26.I.2000.
- ¹⁵ Právo. 6.IX.2003.
- ¹⁶ Česko-lužický věstník. R. XIII. Č. 7–8. 2003.
- ¹⁷ Česko-lužický věstník. R. X. Č. 1. 2000.
- ¹⁸ Mladá Fronta Dnes. 26.VIII.1996.

А. В. Карсев
(Москва)

Иван Николаевич Частухин **(к столетию со дня рождения)**

В 2003 г. исполнилось 100 лет со дня рождения доцента Московского государственного университета И. Н. Частухина, который внес заметный вклад в развитие отечественной исторической науки. Он занимался исследованием проблем новой и новейшей истории славянских государств, в первую очередь Болгарии, главным предметом его научных интересов была ранняя история Болгарского земледельческого народного союза (БЗНС).

И. Н. Частухин родился 5(18) мая 1903 г. в дер. Ушаковке, Владимирской губернии (ныне — Ивановская обл.), в большой семье рабочего текстильной фабрики. Семья жила трудно, поэтому после окончания трехклассной земской школы его, в возрасте 9 лет, отдали вначале в подпаски, а несколько позже в батраки к богатому крестьянину. Через пять лет Иван Николаевич стал рабочим ткацкой фабрики в г. Кохме. Весной 1919 г. И. Н. Частухин уехал в Иваново-Вознесенск (сейчас город Иваново) и поступил работать слесарем на один из заводов города (бывший металлзавод Калашникова). Энергию и активность молодого рабочего, его преданность идеалам революции вскоре заметили коммунисты завода и послали его учиться в губсовпартшколу. После смерти В. И. Ленина, когда был объявлен Ленинский призыв в партию, стал коммунистом и Иван Николаевич Частухин. После окончания губсовпартшколы он работал заведующим избой-читальней, был избран секретарем волостного комитета партии, а вернувшись в Иваново-Вознесенск, вскоре был избран секретарем партийной организации крупной текстильной фабрики «Сосневская». В сентябре 1929 г. Частухина направили на учебу в Ивановский коммунистический университет.

В 1935 г. И. Н. Частухина командировали на учебу в Москву, теперь уже в Институт красной профессуры. Учась в институте, он одновременно начал преподавать в Коммунистическом университете трудящихся Востока (КУТВ) на монголо-тувинском отделении. С этого времени и до самого конца своей жизни Иван Николаевич не оставлял преподавательской работы. После окончания Института красной профессуры в 1938 г. он получил направление на работу в Высшую партийную школу при ЦК ВКП(б). Наряду с преподавательской деятельностью И. Н. Частухин много выступал с лекциями по общественно-политической тематике перед различными аудиториями.

Летом 1938 и 1939 гг. он в составе небольшой группы лекторов по заданию отдела пропаганды ЦК ВКП(б) вел лекционную и массово-воспитательную работу среди зимовщиков полярных станций и предприятий Севморпути. В выписке из приказа № 1478 от 15.11.1939 г. Главного управления Северного морского пути говорилось: «Отмечая отличное проведение лекционной работы, а также большую массово-воспитательную работу среди полярников, проведенную лекторским коллективом Политуправления, во время навигации и зимнего облета полярных станций и предприятий Севморпути, наградить значком „Почетный полярник“ лектора-пропагандиста Частухина Ивана Николаевича». Приказ подписал начальник Главсевморпути И. Папанин.

В 1940 г. Иван Николаевич уже преподавал в Высшей школе партийных организаторов при ЦК ВКП(б), где учились руководящие работники союзных республик, краев, областей, горкомов и райкомов партии. Здесь его застала Великая Отечественная война. Сразу после начала войны И. Н. Частухин стал офицером-политработником. Он воевал в составе Северо-Западного, Степного, II Украинского и III Украинского фронтов, участвовал в боях под Старой Руссой, на Украине, в Молдавии, освобождал Румынию и Болгарию. 1 февраля 1944 г. за героизм, проявленный в боях, был награжден орденом Красной Звезды. Находясь на территории Болгарии, Иван Николаевич близко воспринял тяжелые испытания, выпавшие на долю болгарского народа, заинтересовался историей Болгарии, которая стала в будущем предметом его научных исследований. В конце 1944 г. он был отозван с фронта в Москву и назначен старшим преподавателем Всеармейских военно-политических курсов при Главном политуправлении Красной Армии.

После окончания войны и демобилизации И. Н. Частухин возглавил отдел славянских и балканских стран Всесоюзного общества культурных связей с заграницей (ВОКС). Встречи и беседы с видными общественными и политическими деятелями Болгарии в ВОКСе способствовали выбору его научной специализации — новой истории Болгарии. Основная проблема, которую стал разрабатывать Частухин, это история Болгарского земледельческого народного союза от его основания до прихода к власти (1899—1919 гг.). В феврале 1948 г. Частухин поступил на 9-месячные курсы при Академии общественных наук при ЦК ВКП(б) для завершения работы над диссертацией. Научным руководителем диссертационного исследования стал профессор МГУ И. С. Галкин. В начале декабря 1948 г. на заседании Ученого совета Академии состоялась успешная защита диссертации, а 15 декабря Иван Николаевич был направлен на преподавательскую работу в МГУ на кафедру истории южных и западных славян.

Работа на кафедре вскоре была временно прервана. В апреле 1949 г. по решению ЦК ВКП(б) доцент Частухин в составе группы советских специалистов был направлен в Корейскую Народно-Демократическую Республику для преподавания новой и новейшей истории в Пхеньянском университете. Он участвовал в организации, а затем стал преподавателем Академии общественных наук при ЦК Трудовой партии Кореи, где тогда учились все руководящие деятели КНДР во главе с Ким Ир Сенем. Много времени Иван Николаевич уделял и общественной работе, был советником декана исторического факультета. Одновременно он подготовил курс лекций по всеобщей истории, который был переведен на корейский язык и издан в Пхеньянском университете. Им была написана для журнала «Вопросы истории» статья о состоянии исторической науки и научных учреждений в КНДР, опубликованная в пятом номере за 1950 г. Осенью этого года Частухин, как и многие другие советские специалисты, покинул Корею в связи с начавшейся там войной.

Вернувшись в Москву, И. Н. Частухин занялся преподавательской и научной деятельностью на кафедре истории южных и западных славян. По просьбе Болгарской Академии наук и издательства Иностранной литературы написал большое предисловие к книге болгарского историка Д. Косева «Новая история Болгарии», которую издательство подготовило к выпуску в свет на русском языке. Иван Николаевич был включен в состав авторского коллектива советских историков по подготовке двухтомного издания «История Болгарии». Он руководил дипломными работами студентов, под его руководством были написаны диссертации известными советскими славистами Д. Г. Песчаным, В. Д. Вознесенским и др.

50-е годы были наиболее плодотворными для И. Н. Частухина, он опубликовал около 20 научных трудов общим объемом 37 п. л. В 1953–1957 гг. преподавательскую работу на кафедре истории южных и западных славян МГУ доцент Частухин совмещал с лекционной в Высшей партийной школе при ЦК КПСС, где читал курсы истории славян, истории и историографии Болгарии, ряд спецкурсов. И. Н. Частухин стал известен в эти годы в кругах научной общественности своими трудами в области новой и новейшей истории Болгарии. Его исследования по истории создания Болгарского земледельческого народного союза, об идеологических и политических взглядах Александра Стамболийского, лидера БЗНС и видного политического деятеля Болгарии начала XX в., до сих пор остаются единственными в этой области советской исторической болгаристики. Он сумел объяснить ряд особенностей развития Болгарии после освобождения от турецкого ига, положения крестьянства, начала его борьбы за свои права. И. Н. Частухин убедительно показал,

что БЗНС был создан как сословная организация, объединившая все слои крестьянства. Причем преобладание в нем мелкого и среднего крестьянства накладывало отпечаток демократизма на все крестьянское движение. Руководители земледельческого движения пытались противопоставить буржуазным партиям самостоятельную крестьянскую организацию. Но, защищая частную собственность крестьянства, они способствовали на деле развитию капитализма.

В работе об Александре Стамболийском Частухин показал, как под руководством Стамболийского БЗНС превратился в самую крупную и влиятельную политическую организацию страны. Несмотря на существовавшие в то время жесткие идеологические установки, Частухин, в отличие от некоторых исследователей, видел в Стамболийском не просто лидера мелкобуржуазной партии, а реального политического деятеля с его сильными и слабыми сторонами.

Важное значение имеет выступление доцента Частухина на научной конференции в г. Великие Луки в 1962 г. с дискуссионным докладом «Против схематизма и догматизма в освещении истории Болгарского земледельческого народного союза периода 1918–1923 гг.». Ученый выступил против точки зрения ряда исследователей, утверждавших, что в период нахождения БЗНС у власти (1919–1923 гг.) он якобы обслуживал только интересы болгарской буржуазии. И. Н. Частухин утверждал, что подобная позиция возобладала в исторической науке под влиянием схематизма и догматизма. Частухин попытался доказать, что во взглядах лидера Земледельческого союза А. Стамболийского, убежденного противника современного ему общественного строя, проявилась и трудовая сущность крестьянства.

В научной деятельности доцента Частухина важное место занимали труды по истории рабочего и социалистического движения, социально-экономического и политического развития Болгарии, строительства социалистического общества в Народной республике Болгарии. Большая часть их вошла составной частью в учебники, учебные пособия и обобщающие труды: «Всемирная история» (т. 7); «История южных и западных славян» (издания 1957 и 1969 гг.); «История Болгарии» (т. 1); «Новая история» (т. 3); «Новейшая история» (ч. 1 и 2); «Историография нового и новейшего времени стран Европы и Америки» (издание 1967 г.) и др. Глубина научного исследования в них сочетались с простотой и доступностью изложения.

Иван Николаевич много внимания уделял подготовке методической литературы для студентов, программ по курсу «История южных и западных славян» (издания 1957, 1959 и 1963 гг.). Он постоянно обращал внимание студентов на самостоятельную работу с литературой и источниками по истории зарубежных славянских народов, ставил задачи сравнительного, комплексного изучения. Студенты отвечали

своему руководителю взаимностью, записывались к нему на спецкурсы и спецсеминары, под его руководством защитили дипломные работы более 60 человек, ряд его учеников потом работали над кандидатскими и докторскими диссертациями. Среди них прежде всего следует назвать В. К. Волкова, Р. П. Гришину, Ю. Ф. Зудинова, М. И. Лоцманова, В. Д. Мозерова, Л. В. Ревякину, ставших известными учеными-славистами.

В последние годы жизни И. Н. Частухин, как всегда, много работал, писал труды, обменивался опытом работы с коллегами, в том числе и из НРБ, выступал на научных конференциях, с лекциями, руководил студенческими и аспирантскими сочинениями, был полон творческих планов, исполнен оптимизма и жизнелюбия. В 1967 г. Иван Николаевич по состоянию здоровья ушел на пенсию. 19 сентября 1967 г. приказом по Московскому университету за многолетнюю педагогическую работу на историческом факультете и в связи с уходом на пенсию доценту И. Н. Частухину была объявлена благодарность. Старого коммуниста провожал на пенсию весь факультет. Но жизнь его вскоре оборвалась, он умер 8 октября 1967 года в возрасте 63 лет.

Научная и педагогическая деятельность И. Н. Частухина стала заметным явлением в отечественном славяноведении вообще и в развитии отечественной исторической болгаристики.

Автобиография Частухина Ивана Николаевича (Из личного архива профессора В. Г. Карасева)

Частухин Иван Николаевич.
(автобиография к 60-летию со дня рождения)

Я родился 5/18 мая 1903 года в семье бобыля (так называли безземельных крестьян) в деревне Ушаковке Шуйского уезда Владимирской губернии по старому административному делению, а теперь Ивановского района и области. Деревня наша отстоит от города Иванова в 18 километрах. Иваново — промышленный город, поэтому не только безземельные крестьяне, но и крестьяне с наделом большей частью работали на фабриках, а крестьянское хозяйство было для них вроде подсобного. У нас в деревне был только дом (изба) и небольшой огород для посадки овощей размером около 10 соток.

Семья у родителей была большая, мать родила 13 детей. Чтобы содержать семью, требовалось много трудиться. Труд и строжайшая экономия в потреблении были руководящими принципами в жизни всей семьи. Отец работал на фабрике Куваева в Иванове, приходя домой только на выходные дни, а мать с детьми на своем деревянном

стану ткала холст на местного предпринимателя. (рассеянная мануфактура — помета рукой В. Г.)

С 7-ми до 10-ти лет я учился в местной Земской трехклассной школе. Окончил ее в 1913 году с отличием и получил в качестве награды книгу «Трехсотлетие царствования дома Романовых» с золотым тиснением и с наградной грамотой.

После окончания школы для меня начался десятилетний период наемного труда (1913—1923 гг.). Первые три года я был пастухом (летом), а зимой — работал на маленьком предприятии (три человека наемных рабочих было на этом предприятии) у местного предпринимателя Проскурнина, на которого работала мать на дому (ткачество холста). В 1917 году я поступил на льняную фабрику Щербакова в гор. Кохма, где я встретил Великую Октябрьскую социалистическую революцию в качестве рабочего сравнительно крупного промышленного предприятия (на фабрике работало около 2000 рабочих). В 1920—1923 гг. я работал в молочных артелях в селе Васильевском, затем в Николе-Шахме, сначала в качестве рабочего, а затем мастером, одновременно помогал в сельскохозяйственных работах семье, т. к. отец к тому времени обзавелся сельским хозяйством в соседней с Ушаковкой деревне Каликине.

С осени 1923 года для меня начинается новый период жизни. Летом 1923 года я вступил кандидатом в члены РКП(б), а теперь КПСС и осенью поступил учиться в Ивановскую Губернскую Советско-Партийную Школу (Губсовпаршшколу) в первую ступень, которая продолжалась один год. По окончании ее, летом 1924 года меня назначили на работу в качестве заведующего избой-читальней в деревне Иванцово, в пяти километрах от Иванова, затем перевели в волостной центр в село Калачеве.

К этому времени (с августа 1924 года) я был уже членом РКП(б) и в Калачеве я совмещал заведование избой-читальней с работой секретаря ячейки РКП(б), в которой было 7 членов и кандидатов партии.

С конца 1925 и в 1926 году я работал секретарем волостного комитета партии (волком) в Макарьевском уезде в селе Солтаново; зимой 1926—1927 года руководил (вернее, работал) Школой передвижкой в селе Городищи Юрьев-Польского уезда Ивановской губернии. С весны 1927 года перешел работать на текстильную фабрику «Сосневская» в городе Иванове. Здесь я работал заведующим приготовительного отдела ситцевой фабрики, а с 1928 года — секретарем партийной организации этой фабрики. С этой работы, в сентябре 1929 года, я ушел учиться во вновь открывшийся Ивановский Коммунистический Университет.

По окончании Комвуза я был оставлен в аспирантуре при этом Комвузе. Но в конце 1932 года Комвуз, а вместе с ним и аспирантура

были ликвидированы решением ЦК КПСС и я перешел на работу в Ивановский Обком КПСС в качестве инструктора.

Учебный 1934–1935 год я работал преподавателем новой и новейшей истории в Облсовпартшколе в гор. Шуе, отсюда был направлен на учебу в Институт Красной Профессуры в Москву в 1935 году.

Здесь я учился на отделении Всеобщей истории до ликвидации этого Института в 1938 году. После этого я был направлен на преподавательскую работу в Высшую Партийную Школу при ЦК КПСС, где и работал до начала Великой Отечественной Войны. Одновременно я работал преподавателем в Коммунистическом Университете Трудящихся Востока (КУТВ).

В 1939 году я был отправлен в командировку в Арктику с пропагандистскими целями. Это был первый облет на самолете всех зимовок Арктики с целями политического просвещения работников Арктики. Облет был сопряжен с большими трудностями, из трех направленных групп одна потерпела аварию (самолет разбился в горах), а две остальных группы успешно выполнили свое задание. В другой раз в этом же 1939 году я совершил командировку с теми же целями на пароходах, в комбинации с самолетами, по всему Североморскому пути (от Владивостока до Игарки). За эту работу, в числе других, я был награжден значком «Почетный полярник».

На другой день Великой Отечественной войны я был призван в ряды Советской Армии¹ в звании старшего политрука и работал в качестве инструктора пропаганды отдельного полка связи на Северо-Западном фронте, затем преподавателем военнополитического училища Северо-Западного фронта. С июля 1943 года я был послан на работу в политотдел 82-го стрелкового корпуса, в составе которого участвовал в боях под Старой Русой, а затем корпус был перебросен на юг в сентябре 1943 года и участвовал в боях в составе Третьего Украинского фронта. В конце 1944 года я был направлен на работу (преподавательскую) в Высшие Всеармейские Военнополитические Курсы в Москве, где работал старшим преподавателем в Высшей Заочной школе.

В конце 1946 года я был демобилизован из Армии и был назначен на работу в качестве заведующего отделом славянских и балканских стран ВОКСа².

Отсюда в феврале 1948 года я перешел в Академию общественных наук при ЦК КПСС для завершения работы над кандидатской диссертацией. В течение 9-ти месяцев я закончил написание диссертации и защитил ее в ноябре 1948 года. После этого я был направлен на работу в качестве старшего преподавателя на Исторический факультет МГУ, на кафедру Истории южных и западных славян.

В марте 1949 года я был направлен в Кореюскую Народно-Демократическую Республику для работы в Пхеньянском Государственном

университете имени Ким Ир-сена. Моя работа в этом Университете должна была продолжаться два года, но война, развернувшаяся в Корее, сократила этот срок до полутора лет, в конце 1950 года я возвратился на кафедру истории южных и западных славян Исторического факультета МГУ.

Простое перечисление должностей, которые мне пришлось выполнять не дает, конечно, полного отражения существа прожитого и пережитого. Главное в моей жизни была работа коммуниста, члена великой партии Ленина, в корне преобразовавшая общественный и политический строй Советского Союза именно за прошедшее сорокалетие с 1923 г. И вполне естественно, что не было сколько-нибудь значительного мероприятия нашей партии, участником в осуществлении которого я бы не был по мере своих сил и способностей. Ну, а перечислить все это совершенно невозможно.

14/V 1963 года

Собственноручная подпись И. Н. Частухина

П Р И М Е Ч А Н И Я

- ¹ В то время (до 1943 года) Красная армия (РККА)
- ² Всесоюзное общество культурных связей с заграницей.

СПИСОК ТРУДОВ И. А. ЧАСТУХИНА

Печатные работы И. Н. Частухина

- Болгарский земледельческий народный союз до прихода к власти 1899–1919 гг. М., 1948. 18 с. (АКД).
- Состояние исторической науки и научных учреждений Корейской народно-демократической республики // ВИ. 1950. № 5. С. 156–159.
- Предисловие // *Косев Д.* Новая история Болгарии. Курс лекций. М., 1952. С. 3–17.
- Развитие капитализма в Болгарии в конце XIX века // ВМУ. 1953. № 7. С. 55–70.
- Социально-экономическое и политическое развитие Болгарии в конце XIX в. // История Болгарии. М., 1954. Т. 1. Гл. 13 (за искл. § 5 и 7; § 4 — в соавторстве с И. В. Козьменко). С. 378–411, 424–429; Рабочее и крестьянское движение. Внутренняя политика болгарской буржуазии // Там же. Гл. 14. § 2. С. 454–472 (в соавторстве с И. В. Козьменко и А. М. Шнитманом).
- Рабочее движение в Болгарии в 1918–1939 годах. Лекции. М., 1956. 30 с. (ВПШ при ЦК КПСС).
- Крестьянское движение в Болгарии в 1899–1900 гг. и возникновение Болгарского земледельческого народного союза // ВИ. 1956. № 9. С. 90–101.
- Образование Болгарского государства, Развитие капитализма. Начало рабочего движения в Болгарии // История южных и западных славян. М., 1957. Ч. 1. Гл. 19.

- С. 329–344; Болгария // Там же. Гл. 22. § 1. С. 373–382; Балканские войны // Там же. § 6. С. 398–401; Болгария // Там же. Гл. 23. § 2. С. 407–414; Болгария в период послевоенного революционного кризиса. Временная и частичная стабилизация капитализма в Болгарии // Там же. Ч. 2. Гл. 5. С. 477–487; Болгария в период мирового экономического кризиса 1929–1933 гг. и подготовки второй мировой войны // Там же. Гл. 6. С. 488–492; Болгария — сателлит фашистской Германии во второй мировой войне. Борьба болгарского народа против фашизма. Освобождение Болгарии Советской Армией // Там же. Гл. II. С. 539–545.
- Разделы по истории Болгарии // Методические указания по курсу История южных в западных славян. 2-е изд., переработ. М., 1957 (переиздано в 1959 и 1963).
- Болгария на первом этапе общего кризиса капитализма // Новейшая история. Ч. 1. 1917–1939. М., 1958. Гл. 11. С. 315–333.
- [Рец. на кн.:] *Бирман М. А.* Революционная ситуация в Болгарии, 1918–1919 гг. М., 1957. 390 с. // ННИ. 1958. № 3. С. 176–179.
- Идеологические и политические взгляды Александра Стамболийского // ННИ. 1959. № 6. С. 37–53.
- Восстановление национальных государств на Балканах в 1877, 1878 гг. // Новая история. М., 1960. Т. 3. С. 228–236; Болгария и болгарский народ в 1877–1899 // Там же. С. 244–254; Болгария в 1900–1914 гг. // Там же. С. 459–503.
- [Рец. на кн.:] *Жебокрицкий В. А.* Болгария накануне Балканских войн 1912–1913 гг. Киев, 1960. 234 с. // ННИ. 1961. № 3. С. 136–138.
- Против схематизма и догматизма в освещении истории Болгарского земледельческого народного союза периода 1918–1923 гг. в современной исторической литературе // Славянский сборник. Великие Луки, 1963. С. 102–115. (Учен. зап. Велколукск. пед. ин-та, вып. 22).
- Болгарская историография в XIX — начале XX в. // Историография нового времени стран Европы и Америки. М., 1967. Ч. 4. Гл. 13. С. 584–590.
- Болгария в конце XVIII — 70-х годах XIX в. // История южных и западных славян. II. 1969. Гл. 13. С. 256–270; Болгария в последней четверти XIX — начале XX в. // Там же. Гл. 17. С. 343–357; Болгария // Там же. Гл. 18. § 4. С. 365–367; Болгария в 1918–1941 гг. // Там же. Гл. 21. С. 401–414; Болгария // Там же. Гл. 23. § 4. С. 446–449.

С. С. Лукашова, Н. В. Лукашов
(Москва)

Создание общедоступной базы данных и знаний по украинско-белорусским религиозным объединениям православных мирян XVI—XVIII вв.

Одной из ключевых проблем истории киевской митрополии, украинско-белорусского православия и общества в целом является вопрос о роли мирян в жизни церкви. Речь идет не столько о представителях социальной элиты, традиционно изучаемых в качестве влиятельного фактора общественной жизни, сколько о простых верующих, чаще рассматриваемых лишь в роли объекта воздействия со стороны церковных и светских властей. Исследование истории массовых объединений мирян может частично восполнить пробел в этом направлении.

Православные украинско-белорусские церковные братства являются предметом исторических исследований уже на протяжении более полутора столетий, среди важнейших работ, опирающихся на первоисточники и посвященных именно братствам, следует отметить монографии И. Флерова, К. В. Харламповича, А. Папкова, А. С. Крыловского, Я. Д. Исаевича, диссертацию Ю. Э. Шустовой. Была проведена обширная работа по систематизации и анализу документов, относящихся к истории православных братств, детально изучена их организационная структура, деятельность школ и типографий.

Однако в истории братств остается еще много неясного. Так, не разрешен вопрос о причинах возникновения и прототипах церковных братств. Черты сходства и различия братств и других видов объединений православных мирян (цехов, «медовых» братств, приходских общин и др.), существовавших на украинско-белорусских землях, скорее декларируется, чем анализируется. Также отсутствует последовательное сопоставление православных, униатских и католических братств (что делает, например, преждевременными выводы о копировании православными западных религиозных союзов).

Второй блок неразрешенных проблем связан с неравномерностью изучения различных объединений мирян. Лучше всего изучена деятельность львовского Успенского братства, но уровень исторических знаний о сотнях других православных союзов нельзя признать удовлетворительным. Так же неравномерно исследованы различные периоды существования братств: больше всего работ посвящено братствам конца XVI — первых десятилетий XVII в., в то время как братствам второй половины XVII—XVIII вв. уделено гораздо меньше

внимания. С одной стороны, эта неравномерность связана с интересом исследователей к той острой борьбе, которая развернулась вокруг подписания Брестской унии 1596 г., и участием в ней братств, однако, даже для братского движения можно относительно точно указать время его возникновения, но не исчезновения.

С другой стороны, неравномерность историографического изучения связана с тем, что сохранились архивы преимущественно крупных объединений, и о множестве небольших братств известно только то, что они в какой-то момент времени существовали. Эта фрагментарность сведений по каждому отдельному союзу приводит к тому, что целостная картина деятельности религиозных объединений мирян или отсутствует (что можно констатировать для середины XVII–XVIII вв.), или она явно не полна.

Вместе с тем вся совокупность украинско-белорусских православных братств может быть рассмотрена в качестве целостного объекта исследования, поскольку, во-первых, существовало известное организационное единство (от копирования уставных документов до деятельности братского движения). Во-вторых, братства объединял их статус в структуре киевской митрополии, который фиксировал определенные права, обязанности и сферы деятельности этих союзов, а также влиял на принципы взаимоотношений с последователями всех представленных на украинско-белорусских землях конфессий. Наконец, общими были экономические и социально-политические факторы, предопределявшие направления эволюции союзов целых епархий.

Документы православных братств являются массовым источником по истории Украины и Белоруссии XVI–XVIII вв. Весь комплекс документов можно условно разделить на несколько видов. Важнейшим из них являются уставные и подтверждающие грамоты православных архиереев и короля, характеризующие основные организационные принципы деятельности. Следует, однако, отметить, что содержание уставных грамот не всегда соответствовало реальным направлениям деятельности объединения.

Огромное значение имеют документы текущего делопроизводства союзов мирян. Лучше всего сохранились списки членов, которые составлялись как в отношении живых, так и в отношении умерших, в форме помянника; другие разновидности документов (протоколы заседаний, записи финансовых расходов и пр.) относительно редки.

Текущее положение дел в братствах раскрывают и отчеты о визитациях епархий архиереями и другие документы, подготовленные центральными и местными церковными властями по делам, касающимся братств. Отдельную группу документов составляют протестации, выписки из судебных книг и другие материалы гражданского и церковного судопроизводства.

Еще одним видом источников является переписка братств — с представителями церковной иерархии, светскими властями, патронами и между собой. Именно обширная переписка свидетельствует об усилении активности братств и о выходе интересов мирян за пределы их собственного прихода. Сведения о братствах можно почерпнуть и из нарративных источников: полемических и литературно-публицистических произведений членов братств и сторонних наблюдателей, как приверженцев, так и противников этих союзов мирян, летописей и т. д.

Обработка всего этого огромного массива источников возможно путем создания компьютерной базы данных, которая позволит, во-первых, преодолеть фрагментарность, уточнить и расширить источниковую базу по истории отдельных братств и создать целостную картину деятельности украинско-белорусских религиозных союзов. Во-вторых, это позволит выявить закономерности развития братств, характерные для:

- отдельных регионов (например, Правобережной и Левобережной Украины, Белоруссии);
- различных исторических периодов (конца XVI — начала XVII в. и т. д.);
- городских и сельских союзов и пр.

Кроме того, комплексный анализ сведений, относящихся к братствам, позволит точнее определить характер и степень влияния представителей церковной иерархии и светских властей на процессы, протекавшие в среде рядовых верующих, на тот пласт культуры, который может быть назван «народным православием».

При подготовке кандидатской диссертации С. С. Лукашовой (защищенной в 2002 г. в МГУ им. М. В. Ломоносова) был опробован метод создания базы данных применительно к истории братств XVI в. Задействовав относительно небольшое количество параметров, автор свела в единую таблицу сведения о 37 объединениях мирян, возникших до Брестской унии. Эта таблица позволила наглядно проиллюстрировать следующие выводы:

1. В XVI в. наименование «братство» применялось по отношению ко всем известным союзам мирян, имевшим религиозные цели (цехам, общегородским и «медовым» объединениям, группам коллективных патронов и т. д.), а потому не может считаться надежным критерием для определения типа конкретного объединения. Термин «медовое братство» также является условным, поскольку сычение меда производилось различными видами объединений мирян, и получение права на беспощинное изготовление напитка не влияло на цели и характер деятельности союза.

2. Принципиальное отличие участников братского движения от прочих объединений мирян состоит не в особом организационном

устройстве или обязанностях по отношению к храму, а в их просветительской деятельности, в том числе в создании школ и типографий.

3. Можно отметить принципиальную разницу между церковными братствами, возникшими в середине и в конце XVI в. Союзы, возникших в 40–60 гг. XVI в., не вмешивались в дела собственной епархии или киевской митрополии в целом, не участвовали в поместных соборах и не входили в конфликт с архиереями. В 80-е гг. происходит качественный скачок, приведший к появлению церковных братств новой генерации, состоявших из новообразованных, а также ряда возникших ранее союзов, переживших структурную реорганизацию (формально проявившуюся в принятии нового устава). Эти организационно и идейно близкие братства и объединились в конце 80–90 гг. XVI в. в братское движение.

4. Феномен братского движения выражался в координации братствами своей деятельности, совместных акциях, взаимном обмене учителями и духовными лицами, помощи в организации школ, а также в копировании уставных документов и простом признании старшинства львовского Успенского братства. Братское движение в XVI — на рубеже XVII в. включало в себя более 30 союзов, в том числе те, которые в историографии оцениваются не как церковные братства, а как «медовые», профессиональные и др. союзы, что выявляет неполноту современных представлений о сущности движения.

Несмотря на то, что полученные результаты оправдали усилия, затраченные на создание этой таблицы, проведенная работа выявила следующие сложности. Во-первых, из-за того, что в XVI–XVII вв. не существовало последовательного разделения между различными видами союзов мирян и наблюдалось слияние профессионального, территориального и близкородственного признаков, в базу данных приходится вводить сведения о заведомо избыточном количестве объединений, в том числе тех, которые формально не считались религиозными. К этому же вынуждает и фрагментарность информации по каждому отдельному союзу.

Во-вторых, в каждый исторический период объединения мирян имели специфические для этого времени параметры. Если характеристики братств конца XVI в. более или менее изучены, то того же нельзя сказать о братствах XVII и XVIII вв. Таким образом, неполнота исторического знания вынуждает вводить максимально большое количество параметров, что, однако, не является достаточной гарантией того, что все необходимые характеристики будут заранее учтены.

Наконец, все вышеперечисленное ведет к тому, что база данных должна включать в себя огромный объем информации, посвященной

братствам, отдельным братчикам, представителям церковной иерархии, источникам и историографии. (Естественно, что любая попытка расширить цели базы данных — например, провести сравнительный анализ союзов различных конфессий — приведет к росту объемов информации в геометрической прогрессии). Такой объем работы невозможно реализовать одному человеку или одной группе, без длительного сотрудничества со специалистами, работающими в местных архивах Украины, Белоруссии, Литвы и Польши и финансовой поддержки со стороны государственных или частных благотворительных научных фондов.

В этих условиях наиболее приемлемой формой для реализации этого проекта нам видится создание специализированного интернет-сайта, что позволит обеспечить доступ всех участников ко всему объему накопленной информации. Предполагается, что сайт будет представлять собой универсальный ресурс по рассматриваемой проблеме, в частности он может содержать следующие разделы:

- постоянно пополняемую базу данных по религиозным союзам мирян;
- полные тексты источников;
- подборку научных статей (присылаемых авторами) и библиографические списки;
- геоинформационный (картографический) раздел;
- справочник по архивам, организациям и отдельным исследователям, изучающим проблему;
- официальный раздел — информацию о проекте, условиях размещения и использования данных (естественно на принципах бесплатности и общедоступности) и т. д.;
- оперативная информация о научных мероприятиях — конференциях, семинарах и других событиях.

Поскольку данная тема является приоритетной, в первую очередь, для исследователей из Украины, Белоруссии, России и Польши (а также соответствующих диаспор), мы предлагаем объединить наши усилия. На настоящий момент являются актуальными две проблемы. Первая из них, координационная, связана с выявлением тех ученых, учебных и исследовательских центров, которые могли бы и хотели бы участвовать в осуществлении данного проекта. Вторая — научно-методическая — касается составления списка всех возможных параметров, по которым предстоит описывать религиозные объединения XVI–XVIII вв. Предварительный и заведомо неполный такой список приводится в конце статьи.

Мы приглашаем всех заинтересованных исследователей к обсуждению проекта и возможных путей его реализации. Свои замечания и предложения можно присылать по электронной почте по адресу: confraternitas@mail.ru.

Перечень характеристик религиозных объединений мирян XVI–XVIII вв.

Название религиозного объединения

Определение вида религиозного объединения, принятое в историографии (церковное братство, «медовое» братство, цех, и т. д. — кем именно), и самоопределение*.

Название населенного пункта

Тип населенного пункта: город (частновладельческий — чей, принадлежащий церковному институту — какому; королевский на магдебургском праве — когда получил); село (частновладельческое, принадлежащее церковному институту, королевское)

Епархия

Годы существования (от основания или первого упоминания до ликвидации или последнего упоминания, с указанием перерывов в деятельности)

Уставные документы

Год составления первого известного устава

Лицо, подписавшее уставные документы (архиерей, король)

Сведения об инициаторе создания объединения

Сведения о возможном авторе (авторах) текста уставных документов

Годы подтверждения и лица, подтвердившие устав объединения

Годы обновления уставных документов

Лица, подписавшие новые уставные документы

Сведения об инициаторе и причинах обновления уставных документов

Сведения о возможном авторе (авторах) текста новых уставных документов

Членство

Право на принятие в члены объединения, зафиксированное в уставных документах

Характеристика реального набора новых членов (корпоративный открытый/закрытый для чужаков, сословный, внесословный, членство прихожан поголовное/частичное и т. д.)

* Предполагается, что каждый из аналогичных параметров будет иметь ссылку на источники (опубликованные и архивные).

Перечень категорий лиц, получающих особый статус при приеме в данное объединение (домовладельцы, мастера, ученики, женщины, духовенство, нищие, прислуга, лица других вероисповеданий, пр.

Характеристика степени участия каждой из категорий в деятельности объединения (полноправное членство — права и обязанности, привилегированное членство, номинальное членство, участие в деятельности «младшего» объединения», неполноправное членство, членство по умолчанию, посмертное вписание в братские книги)

Процедура принятия нового члена

Наличие и текст присяги при вступлении нового члена

Возможности выхода из состава объединения (формальные и реальные)

Организационное устройство

Процедура проведения отчетно-перевыборного собрания

Дисциплинарные меры по отношению к членам объединения

Перечень руководящих должностей в объединении

Права и обязанности лиц, занимающих каждую из руководящих должностей

Структурные подразделения объединения

Права и привилегии объединения

Управление движимым и недвижимым имуществом объединения

Права и обязанности органов местного самоуправления по отношению к объединению

Права и обязанности частного владельца церкви (населенного пункта) по отношению к объединению

Права и обязанности патрона церкви по отношению к объединению

Взаимоотношения с органами местного самоуправления и государственной власти

Взаимоотношения с частным владельцем/патроном храма

Храм и причт

Название основного храма

Дата постройки основного храма

Тип основного храма (приходской, монастырский, соборный, придел в храме, часовня)

Характеристики дополнительных храмов, часовен и приделов, принадлежавших объединению

Наличие других церковных строений, зависимых от объединения (монастыри, богадельни, колокольни)

Объем прав объединения по отношению к зданию храма (защита интересов, хозяйственное ведение, свободное распоряжение имуществом, права отсутствуют, права неизвестны)

Объем обязанностей объединения по отношению к зданию храма (строительство, обновление, украшение, текущий ремонт, характер обязанностей не выявлен)

Хозяйственное ведение церковным имущества в деятельности объединения

Характеристика лиц с церковным статусом, зависимых от объединения (священнослужители, церковнослужители, монахи, обитатели богаделен)

Объем прав и обязанностей объединения по отношению к лицам с церковным статусом, зависимых от него

Объем прав и обязанностей лиц с церковным статусом по отношению к объединению

Взаимоотношения религиозного объединения и церкви

Подотчетность объединения перед церковной иерархией (перед кем и в каком объеме)

Формальные права и реальный уровень контроля над объединением со стороны

- братского духовенства;
- иного местного духовенства (протопопа, архимандрита и т. д.);
- епископа;
- митрополита;
- патриарха (какого?).

Обязанности объединения по отношению к церкви и ее институтам

Обязанности каждого члена объединения по отношению к церкви

Контакты объединения с представителями церковной иерархии всех уровней, в том числе участие в соборах и синодах

Уровень интеграции объединения в церковные институты

Иная деятельность объединения

Перечень целей деятельности объединения, зафиксированных в уставных документах

Структурные подразделения, обеспечивающие осуществление целей деятельности

Степень реализации в реальной деятельности объединения уставных целей

Перечень сфер деятельности, не учтенных уставными документами

Характеристика отдельных направлений деятельности:

- сычение меда и медовые праздники
- взаимопомощь;
- благотворительность;
- контроль над поведением не членов объединения;
- организация школы;
- издательское дело;
- богословская и литературная деятельность;
- организация театрализованных представлений;
- взаимоотношения с другими объединениями мирян;
- представительство национальных интересов «русского» населения в органах государственной власти и местного самоуправления;
- взаимоотношения с различными социальными и национальными группами (казачеством, шляхтой, крестьянством, евреями, армянами);
- взаимоотношения с католиками;
- взаимоотношения с униатами.

Представления о «том свете» у восточных славян *

В славянской традиции смерть человека осознается как переход души из этого мира, где она пребывала «в гостях», в иной мир — «домой», «на вечное житье». Недаром об умирающем говорят, что он «домой собрался», «пойдет домой», «собирается до своей хаты»: «Мы здесь-то в гостях гостим, а там житье вечное бесконечно будет» (Тихманьга каргопол. арх., АА). Представление о «том» свете как постоянном доме для человека нашло отражение и в народных названиях гроба — *домовина*, *домок*, иногда — *хата*. На Украине родственники умершего, прося сделать гроб или вырыть могилу, говорят гробовщику: «Придите, будьте ласковы, и помогите построить моему отцу (или матери) новую хату — не захотел в старой жить». В полесском похоронном причитании дочь, обращаясь к умершей матери, говорит:

*Ох моя мамочка...
Ох куда же Вы собираетесь?
В такую хаточку темную да невзрачную,
Где нет ни оконца, не видно солнца (ПА).*

«Домиком» называет свое посмертное жилище умершая женщина в северно-русской быличке: «Хоронили мою сгоревшую на пожаре мать с двумя детьми. Старшие мне не подсказали, что гроб надо делать по полному росту (т. е. в рост покойника). Схоронили мать, а потом она мне приснилась: лежит на боку с двумя детьми и говорит: «Все хорошо ты сделала, но домик мне мал» (Тихманьга каргопол., арх., АА).

С представлениями о гробе как постоянном доме человека связаны существовавшие ранее обычаи прорезать в нем небольшое окошко на стороне головы покойника, а также оформлять внутреннее пространство гроба по образцу жилого дома — ставить в углу гроба иконку и украшать ее вышитым рушником, а также класть в гроб вещи, которые были необходимы умершему при жизни: курящему человеку — трубку, любившему выпить — бутылку водки, хромавшему — палку, плохо видевшему — очки, музыканту — его инструмент, маленькому ребенку — игрушки, соску. Когда умирал ребенок, то ему в гроб клали нитку, которой был измерен рост его отца, чтобы ребенок знал, до каких размеров ему следует расти в «той» жизни. Умершей беременной женщине клали в гроб смену пеленок, чтобы ей было во что завернуть младенца, который родится

* Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ. Проект № 01-04-12020в.

на том свете. Умерших холостого парня и незамужнюю девушку одевали в венчальную одежду, считая похороны одновременно и их свадьбой. В гроб клали также недоделанную при жизни работу — недоплетенный лапоть или недовязанные носки, чтобы покойник мог закончить ее за гробом. По древним представлениям славян, человек и за гробом продолжает вести такую же жизнь, какую вел при жизни, и сохраняет свои привычки. Археологические исследования славянских захоронений показывают, что в языческие времена у славян существовал обычай класть вместе с телом умершего его оружие, сосуды с едой, а также хоронить вместе с ним его коня и останки жертвенных животных — свиньи, барана и др., чтобы покойный мог воспользоваться всем этим в загробном мире. В могилу клали деньги — «покупали» место покойнику: когда в первую ночь пребывания умершего на кладбище вокруг него соберутся все те, кто был раньше похоронен на этом кладбище, и попытаются выгнать его из могилы, он им скажет: «Вы не имеете права, я это место купил» — и покажет деньги. После этого старые покойники признают его право на это место. По другим поверьям, эти деньги нужны душе для оплаты ее переправы через реку или море на пути в загробный мир.

Период между моментом смерти человека и тем часом, когда его душа обретет новое пристанище на «том» свете, длится сорок дней и называется *переходом*. Согласно поверьям, после выхода из тела душа не сразу идет на «тот» свет, а все сорок дней находится в переходном состоянии — она не принадлежит ни «тому», ни этому свету. Некоторые говорят, что до сорокового дня душа «мечется», а потом пристает к другому берегу. Переход на «тот свет» представляется в виде тяжелой дороги, которую должна преодолеть каждая душа, прежде чем достигнет загробного мира.

Представления о дороге и о трудностях преодоления пути в «иной» мир нашли свое отражение в словах, обозначающих процесс смертной агонии. Об умирающем человеке восточные славяне говорят, что он находится на «раздорожье», «стоит на смертной (или Божьей) дороге», «в дорогу собирается», «себе дорогу выбирает», что ему «дорога открыта», «Господь открыл дорогу». Умирающего человека нельзя беспокоить или тревожить своими слезами, потому что этим его можно «сбить с дороги» и затруднить душе расставание с телом. В Полесье плачущим во время чьей-нибудь кончины говорят: «Не плачь, а то собьешь его с дороги». Мотив дороги присутствует и в причитаниях по умершему: «Ох куда же ты собираешься, в такую дороженьку смутну-невеселу»; в другом причитании от имени покойника говорится: «Во страну иду чужую, откуда никто не придет». Это представление о дороге на «тот» свет встречается еще в Поучении Владимира Мономаха (1096 г.), который, обращаясь в старости

к своим детям, говорит о близящейся смерти, что он стоит «на далеком пути». Дорогой, по которой души мертвых идут на тот свет, считался Млечный путь, который, по некоторым поверьям, посередине разделяется на две дороги — одна ведет в рай, другая в ад (Соболев 1999, 107–108).

Чтобы облегчить тяжело умирающему переход в «иной» мир, освободить ему путь, в доме открывали окна, двери, заслонки в печной трубе, снимали обручи с бочек, открывали крышки у посуды. В особо тяжелых случаях — во время агонии колдуна или ведьмы выламывали доски в крыше или делали подкоп под порогом, чтобы создать душе дорогу на «тот» свет. Считали, что их грешная душа может выйти только через то отверстие, которое никогда не перекрещивали (а окна и двери всегда на ночь крестили). Первоначально, по мнению ученых, через специальный пролом в стене или через окно выносили всех покойников. В крепостных стенах многих средневековых городов были даже особые ворота, предназначенные исключительно для выноса покойников. Согласно древнерусской летописи, когда умер великий князь Владимир (15 июля 1015 г.), в стене, соединявшей две клетки (клетью называлось подсобное, хозяйственное помещение), сделали пролом и, обернув тело князя в ковер, на веревках спустили его вниз, на улицу и повезли в церковь (Анучин 1890, 91–92). Это делалось для того, чтобы покойник не мог найти дорогу назад и больше не возвращался к живым. Кроме того, на «тот» свет вел особый путь, который не мог совпадать с путями живых людей, поэтому покойника нельзя было выносить в двери, через которые ходили живые. Обычай выносить покойников не через дверь, а через специальный пролом в стене или через окно существовал у многих европейских народов. В частности, у древних скандинавов покойников выносили из дома через пролом в стене, сделанный за головой покойного. В Верхней и Нижней Германии трупы преступников и самоубийц вытаскивались через пролом в стене или через дыру под порогом. В начале XVIII в. в Швеции во время чумы народ разбирали простенки, разбивал окна и вытаскивал трупы баграми через эти отверстия (Анучин 1890, 91–92).

У восточных славян до начала XX в. сохранялся древний обычай везти покойника на кладбище или в церковь для отпевания на санях, независимо от времени года, что также связано с мотивом преодоления длинного пути на «тот» свет. Сани — одна из первых повозок, известных славянам, использовались не только для бытовых перевозок, но и в особых сакральных случаях, к которым, несомненно, относились и похороны. В России во время царских похорон в санях несли и вдову покойного царя. Кроме похорон, сани и летом и зимой использовались для выездов русских митрополитов и патриархов, а также в царском свадебном обряде — в санях, независимо от

времени года, везли царскую невесту к венцу и обратно, тогда как сам царь мог ехать на коне. В «Указе свадебному чину», который был прибавлением к «Домострою», прямо указывалось: «А новобрачной княгине ехать к венчанию на снях» (Анучин 1890, 91–92). Согласно летописи, тело князя Владимира, опущенное через пролом в стене, было положено в сани (несмотря на то, что была середина лета) и привезено в церковь Пресвятой Богородицы. В древнерусском языке существовало даже выражение «сидеть в снях», означавшее «быть одной ногой в могиле», «ожидать смерти». В уже упомянутом Поучении Владимир Мономах говорит о себе: «Сидя на снях, помыслил в душе своей и поблагодарил Бога за то, что довел меня до сих дней» (Анучин 1890, 91–92).

Согласно древним верованиям, существовавшим не только у славян, но и у других народов, загробный мир отделен от человеческого водной преградой — рекой или морем, которую приходится преодолевать всем душам умершим. Эти верования до сих пор сохраняются в восточнославянской традиции, в частности в толковании снов: если снится, что переходишь реку по мосту — к скорой смерти. Мост в славянской мифологии считался способом связи между «тем» и этим миром, путем, по которому души уходят в загробный мир. Поэтому у славян (и соседних с ними народов) существовал обычай символического построения мостов для облегчения перехода умерших на «тот» свет. Об этом свидетельствуют древнерусские церковные поучения, в которых отмечалось, что язычники «мосты творят по мертвым». Некоторые исследователи полагали, что здесь речь идет об обрядовом поминальном печении в виде мостов, но обычай построения реальных мостов в память об умершем сохранялся в некоторых областях восточного славянства вплоть до XX в. В Белоруссии существовал обычай на другой день после поминок по умершей женщине в память о ней делать мостик — «кладку» через какое-либо мокрое и топкое место, ручей или ров. Для этого рубили сосну, обтесывали ее и привозили к нужному месту, на дереве вырезали год смерти, изображение человеческой стопы, а если умершим был младенец — то сапожки. Затем все садились на это бревно, и поминали умершую. Делалось это для того, чтобы ее душа спокойно и беспрепятственно достигла места вечного обитания. Каждый, проходя по такому мостку и видя знак стопы, читал молитву за душу того, в чью память положена «кладка». С поверьем о мосте, по которому душа пойдет после смерти, связан обычай класть в гроб щепки и стружки, оставшиеся от его изготовления — если мост в нескольких местах окажется непрочным, душа сможет подстелить эти щепки себе под ноги (Соболев 1999, 114).

Мостом, соединяющим этот и «тот» свет, считалась радуга, один конец которой, как полагали, находится в мире живых, а другой —

в мире мертвых. В некоторых текстах русских причитаний, призывающих умерших вернуться в семью, живые обещают намостить «мосты дубовые», чтобы облегчить умершему возвращение из-за «темных лесов» и «быстрых рек» (Афанасьев 3, 25). Мифологические представления о водном пространстве, которое надо пересечь каждой душе по пути на «тот» свет, подтверждается и названием смертной агонии — *брод*.

Вера в то, что душа по дороге на «тот» свет преодолевает водную преграду, нашла отражение в древнерусском похоронном обряде, при котором умершего несли к месту погребения в ладье. По сообщениям восточных авторов, описавших погребальные обычаи древних русов, те делали ладью, клали туда покойника и сжигали его вместе с ладьей на погребальном костре. Согласно Повести Временных лет, княгиня Ольга, желая отомстить древлянам за смерть своего мужа князя Игоря, сожгла прибывших к ней древлянских послов, при этом она велела к месту казни нести их в ладье. Тело древнерусского князя Глеба — одного из первых русских святых, было положено сначала «между двумя колодами под ладьей» на месте его гибели и позже было отыскано и привезено в ладье в Вышегород, где положено рядом с телом его брата Бориса (Анучин 1890, 91–92; Соболев 1999, 109).

Под влиянием книжной традиции древние языческие представления о водной преграде, отделяющей мир живых от мира мертвых, были воплощены в образе огненной реки, через которую перебираются души умерших. Она со всех сторон обтекает землю, поэтому избежать ее нет никакой возможности как праведным, так и грешным. Подобные воззрения на устройство потустороннего мира отчасти возникли под влиянием книг. Согласно описанию Вселенной, содержащемуся в апокрифе «О всей твари», четырехугольная земля плавает в воде, которой нет конца, за океаном находится земля, на которой расположены рай и ад. Посреди этой земли пролегает глубокая пропасть, где течет огненная река, разделяющая рай и ад (Тихонравов 2, 350).

Происхождение огненной реки объясняется космогоническими легендами о борьбе Бога и Сатаны в начале сотворения мира: когда Бог согнал с неба сатану вместе с примкнувшими к нему ангелами, тот упал на землю, и в этом месте потекла огненная река. Затем эта река, по Божьему повелению, с поверхности земли провалилась в преисподнюю земли, где и течет теперь. Огненная река отделяет мир живых от мира мертвых, по другим ад помещается в самой реке, где мучаются грешники после смерти. Через огненную реку проложена тоненькая жердочка или натянут волосок. Перейти по ним на другой берег, где находится рай, могут только безгрешные души, грешники же не выдерживают этого испытания и срываются вниз.

В северно-русских сказаниях река, отделяющая «тот» свет от этого, называется Забыть-рекой. По пути в загробный мир душа каждого умершего человека на сороковой день пересекает Забыть-реку, после чего умерший забывает все, что с ним было в мире живых.

В восточнославянских мифологических представлениях роль перевозчика душ через реку в загробный мир часто исполняет св. Николай. Ср. украинскую легенду, в которой св. Николай объясняет Богу, что опоздал на обед, потому что «Был я на морях, на перевозе — перевез семьсот душ» (Соболев 1999, 121). По другим вариантам легенды роль перевозчика исполняет архангел Михаил. В духовном стихе «О страшном суде» архангел Михаил, подобно древнегреческому Харону, перевозит души через огненную реку:

*Протекала тут река, река огненная,
Как по той там реке, реке огненной
Да тут ездит Михайло архангел царь,
Перевозит он души, души праведные,
Через огненную реку ко пресветлому раю.*

(Бессонов 2, № 162)

Иногда считается, что Михаил перевозит только праведные души, а грешным приходится переходить эту реку вброд, испытывая страшные мучения. В стихе «О страшном суде» отражена именно такая ситуация:

*Течет речка огненная...
Как стоят у реки души грешные,
Души грешные, беззаконные,
Они вопят и кричат,
Перевозу хотят...*

Но Бог, услышав их крики, заявляет, что перевозу им не будет (Бессонов 2, № 487).

Если по одним представлениям огненная река отделяет мир мертвых от мира живых, то по другим, более поздним, она разделяет рай и ад. В русском духовном стихе, описывающем наступление конца света, говорится:

*Тогда грешные со праведными будут разлучаться:
Праведные души будут взяты на восточную сторону,
А грешные души будут взяты на западную сторону.
Между их протечет Сион-река огненная.*

(Якушкин 1859, 11)

Согласно древнерусским языческим представлениям, кроме переправы через реку, существовал еще один путь, связывающий «тот» и этот свет — дерево. Славяне верили, что дерево — временное пристанище души до погребения тела. Птица, сидящая на вершине дерева, представлялась душой, направляющейся на небо. У восточных

славян в некоторых местах существовал обычай вешать на могильных деревьях веревки, чтобы помочь душе взойти на небо. Мифология дерева как дороги на тот свет в поздних восточнославянских представлениях оказалась сильно разрушенной и проявляется лишь в отдельных мотивах, в частности в сохраняющемся обычае принести в дом зеленые ветки на Троицу, чтобы душам умерших, пришедшим в гости к своим живым родственникам, было где сидеть.

У славян не было единого представления о том, что душа делает в первые сорок дней после смерти и где находится. Чаще всего полагали, что первые три дня до похорон, пока тело лежит в доме, душа находится возле него, летая в виде мухи или птицы. По ночам она ест и пьет все, что для нее оставлено, а если это душа хозяина или хозяйки, то она обходит все помещения — сарай, хлев, чулан, погреб, последний раз оглядывая свое хозяйство. В этот период покойник якобы видит и слышит все, что происходит вокруг него, и только после отпевания лишается слуха и зрения. По другим поверьям, покойник чувствует все, пока на гроб, опущенный в могилу, не кинут первую горсть земли. Поэтому в это время следует себя вести очень осторожно, чтобы не обидеть душу. В частности, запрещалось подметать в доме, пока там находится покойник, чтобы случайно не загрязнить душу пылью или не вымести ее за дверь, нельзя было белить хату или печь, чтобы не замазать душу и не забрызгать ее глиной.

Кульминационным моментом погребального обряда, обозначающим начало посмертного странствия души, является вынос покойника из дома, а именно перенесение его через порог. Порог дома является тем рубежом, который отделяет покойника от его земной жизни и его семьи. После пересечения этого рубежа возвращение покойника в дом не только не желательно, но и опасно для оставшихся домочадцев, за исключением нескольких поминальных периодов в году, когда «родители» специально приглашаются к столу. Чтобы не допустить возвращение покойника назад, существовал ряд профилактических мер. Как только гроб выносили из дома, двери и окна тотчас закрывали, в доме мыли пол — «дорожку замывали», вещи, связанные с покойником (постель, на которой он умирал, посуду из которой его обмывали и пр.) выбрасывали на улицу. По этой же причине покойника выносили из дома вперед ногами. Считалось необходимым также перевернуть в доме все стулья, лавки, табуретки, особенно те, на которых стоял гроб, чтобы покойник не смог на них сесть. Сани или другую повозку, на которой покойника везли на кладбище, опрокидывали и поворачивали оглоблями по направлению к кладбищу, поскольку верили, что до сорокового дня мертвый каждую ночь приходит к саням, на которых его везли на кладбище, чтобы ехать домой, но найдя оглобли повернутыми

в сторону кладбища, возвращается в могилу. Обычай переворачивать предметы, чтобы предупредить возвращение покойника из загробного мира, существовал почти во всех славянских традициях. Обычай переворачивать в доме лавки и стулья после выноса гроба за порог известно и в других частях славянского мира — у сербов, черногорцев, поляков. Черногорцы снимали с петель и переворачивали входную дверь, если в доме скончался молодой мужчина, чтобы предупредить этим вымирание мужского потомства. У сербов в случае смерти ребенка его люльку оставляли перевернутой на могиле (Толстой 1990, 119–128).

После выноса тела из дома и похорон, по одним воззрениям, до сорокового дней душа находится дома, по другим. — она окончательно оставляет свой дом и улетает, по третьим — днем она летает по миру, а на ночь возвращается к себе домой. Поэтому при начале агонии и в течение сорока дней после смерти человека на подоконник принято ставить воду — чтобы душа могла напиться, мед, хлеб и соль — чтобы она могла поесть: «Чтобы легче было, чтобы покойник тебе не снился или к тебе не приходил, до сорокового дня ставишь рюмочку с водкой после похорон покойника, как только схоронишь. Поминки-то начнутся, на стол поставишь рюмку, хлебушка кусочек: „Приди, пей-ешь, такой-то (называют его по имени), а меня не беспокой“. И до сорокового дня эта рюмка стоит. До сорокового дня у него душа летает» (Тихманьга каргопол. арх., АА). По другим рассказам, ставили только воду: «Воду ставили в головах умирающему, чтобы легче умер. Человек помирает, так положишь посудину с водой — душа выйдет из человека, искупнется и улетит. Вздохнул человек, умер, душа вылетела. Это не каждому дано видеть. Несут его на кладбище или дома плачут, причитают — человек все слышит. Он все слышит до сорока дней. И вот она сорок дней летает, а потом уже определяется. И у тех людей, которых убили, душа тоже сорок дней летает. Она может летать там, где ее загубили. Сорок дней будет приходить» (там же). Об обычае кормить душу упоминается в уже упоминавшемся древнерусском переводе «Слова Иоанна Златоуста», осуждавшем «поганские дела». Часто на столе или подоконнике клали камень или полотенце, чтобы душа могла на них присесть. После сорока дней воду, стоявшую на окне, выливали на улицу — под передний угол дома (передним, или красным называется угол, в котором в доме висят иконы), поскольку считается, что если вылить воду в какое-нибудь нечистое место, Бог может обидеться и не взять к себе душу умершего.

Восточные славяне полагали, что душа за сорок дней должна облететь все места, в которых она побывала при жизни. Это верование до сих пор сохраняется у украинцев и на Русском Севере, где об этом рассказывают следующим образом: «На девятый день душа

выходит... Телу все равно, хоть где лежать, а душа, она уходит от человека. Душа по мукам ходит. Знаешь, до сорока дней, где ты жива побывала, там до сорока дней ты должна побывать. Душа везде должна облетать, где ты живая была, где, в каком городе, где ты ездила, ходила, до сорока дней везде должна душа полетать. Вот я умру, не знаю, облетает до сорока дней душа, где я была или нет, где я только ни была! Мама рассказывала, это оно так и есть, что до сорока дней... Почему сороковины заказывают! — Что надо поминать сорок дней. Сорок дней подходит — она должна пройти райские ворота. А если сороковины не закажешь, земле не предашь, там все равно не пропустят через те ворота тебя» (Тихманьга каргопол. арх., АА).

Наиболее распространено представление о том, что после погребения и до сорокового дня душа ходит по мытарствам, после чего является к Богу на суд, где и определяется, куда ее поместить — в рай или в ад. На эти верования повлияли такие апокрифические книги, как «Хождение Богородицы по мукам», «Видения апостола Павла» и картины хождения души по мытарствам из жития Василия Нового. Хождение по мытарствам заключается в том, что душу водят по разным глубоким оврагам, пропастям, горам, истязая и показывая ей ее прегрешения и дурные дела. Часто мытарства души представляются как восхождение по лестнице из девяти, двенадцати или сорока ступеней. На каждой ступени стоит огромное количество бесов, избличающих душу в ее грехах. Один грех соответствует одной ступени. Если человек при жизни не был замешан в этом грехе или душа сумела в нем оправдаться, ее поднимают на следующую ступеньку, где находится еще большее количество бесов. Светлый дух, сопровождающий душу в мытарствах, старается защитить ее, показывая добрые дела, совершенные при жизни человеком. На ночь душу отпускают домой, куда прилетает она усталая и измученная, поэтому так необходимо, чтобы на подоконнике были вода, пища и полотенце, чтобы она могла подкрепить свои силы и отдохнуть.

Картина пути грешной души на «тот» свет, нарисованная в одном из современных северно-русских рассказов, соответствует традиционным, давно сформированным в народной культуре представлениям о способах перехода на тот свет. Ступени, по которым приходится подниматься душе в Царствие небесное, ассоциируются с другими известными в традиционной культуре способами переправы на тот свет — мостом, стеклянной горой, веревкой, натянутой над огненной рекой. С другой стороны, эти ступени соотносятся с христианским понятием лестницы, по которой поднимается душа: «[Где находится тот свет?] — А там, на небе... Это двенадцать ступенек в царство-то небесное. Вот на одной стороне, на левой стороне стоят беси, а на правой — Святой Дух. Вот грешник то умрет, вот и ползет по ступеньке-то, в царство-то небесное хочется ведь. Лезет-лезет, лезет

и только ступит-то на ступеньку, его беси-то и поташат. Такими крюками... Поташат туда. И вот опять другой — ведь умирает-то много, и так постоянно они. Другой так ведь на другую, на третью ступеньку взберется. А иной — только еще бы одна-то ступенька-то! Согрешено много — и поташили беси. А как кто не очень грешный, так на правую сторону тащит Святой Дух» (Тихманьга каргопол. арх., АА).

Чтобы облегчить участь души во время ее хождения по мытарствам, родственники пекут особую пшеничную или ржаную лепешку, символизирующую восхождение души на небо и имеющую вид лестницы с двенадцатью или двадцатью четырьмя ступенями — по числу мытарств и кладут ее в воротах. Священник с причтом, придя в дом для совершения панихиды, разделяет эту лестницу между присутствующими, и каждый съедает свой кусок, как бы принимая часть мытарств на себя. Считается, что в результате этого ритуала душа избегает мытарств.

На девятый день после смерти душу ведут к Богу на поклон, после чего ей показывает рай, по которому она ходит до двадцатого дня. В этот день снова является на поклон к Богу и ее ведут показывать ад, по которому она странствует до сорокового дня. В этот день душа идет на суд к Богу, который должен решить, куда ее направить — в рай или ад. Эти представления сохраняются и в современных рассказах: «В девять дней душу-то водят, страсти показывают. В Писании написано, что и в смолу горячую сажают. Потом до 40-го дня тоже надо поминать — душа жива-то все еще. Поведут на первое причастие — увидишь Господа Иисуса и Пресвятую Богородицу, станет лучше. Потом на второе причастие — увидишь великую церковь, родню увидишь, встретишься, говорят, со всеми. На третьем причастии увидишь судьбу свою венчальную (т. е. своего мужа или жену). С сорокового дня уж на одно определенное место твою душу положат, больше уж никуда не водят и ничего не показывают» (Тихманьга каргопол. арх., АА).

Мытарств и тяжелого пути на «тот» свет избегают только души тех, кто умер в пасхальную неделю (по некоторым воззрениям — только в первые три дня Пасхи) или перед праздником Вознесенья — они идут прямо в рай, какими бы грешными они ни были, потому что в это время ворота в рай стоят открытыми: «Счастливы те, кто умирает перед Вознесеньем. У одной женщины умерла девятилетняя внучка перед Вознесеньем. На следующий год на Вознесенье бабка с внуком, братом этой девочки, пришла на кладбище. Мальчик лег рядом с могилой сестры, посмотрел на небо и сказал: «Бабушка, а наша Галя едет по небу в венке. По небу облачка идут, и она в этих облачках едет» (Архангело каргопол., арх., АА).

Новую душу на «том» свете встречают ранее умершие родственники и соседи. Когда покойника несут на кладбище, его встречают

все те, кого он при жизни провожал в последний путь. Те все души встречают возле кладбища. Эти души садятся на гроб нового покойника, когда его несут. Иногда умершие родственники и друзья могут приходиться непосредственно к постели умирающего человека, который видит их рядом с собой. Вот как об этом говорится в полесской быличке: «У меня за рекой тетушка была. Много у нее было братьев похоронено, да племянник схоронен тоже был. Пришли мы к ней. Она давно не вставала на ноги, а тут встала, чашку чая выпила: „Нехорошо, — говорит, — вокруг меня братья стоят, говорят: „Дунюшка, одевайся, пойдем с нами““. Поутру и померла» (ПА). На Русском Севере тоже известны такие рассказы: «Я вам расскажу, когда мой дед помирал, все время сидит и глядит в угол... Раз прихожу я, а он говорит: „Да вот сейчас наши мужики приходили“. — „Какие наши?“ — „Наши все, деревенские, которые уже умерли“. Он мне их всех перечислил. „Пришли, зовут меня“. — „А куда же они тебя зовут?“ — „А на лесозаготовки. А я, — говорит, — им сказал, что готов на лесозаготовки. А они мне сказали — приказу нет, придет приказ, мы за тобой придем“. Пришли за ним в два часа ночи. Он побежал на веранду, пиджачок летний принес, еще один принес, положил на подушку. И говорит: „Ну вот и все, за мной пришли. Вон там все, что нужно, я справил“. А я-то говорю: „Дед, да никак ты меня оставляешь?“ А у него слезы покатались, покатались, все — умер» (Черепанова 1996, 30).

Повивальную бабку встречают умершие дети, которых она принимала на свет, но обходятся они с ней очень неприветливо, считая, что, помогая им родиться на свет, она в какой-то степени несет ответственность за их земные мучения. Поэтому дети набрасываются на нее с пинками и тумаками. Чтобы повивальная бабка могла отбиться от них, ей в гроб клали узелок с маком — когда дети набросятся на нее, она бросит им горсть мака — они начнут его собирать и оставят бабку в покое.

В народных мифологических представлениях существует явная двойственность в понимании того, где пребывает душа умершего человека — в загробном мире или в своей могиле. По одним представлениям, душа улетает на «тот» свет, а в могиле остается лишь тленное тело; по другим — души умерших пребывают в могилах на кладбище. Противоречие между этими представлениями — лишь частное проявление общей неоднозначности и расплывчатости картины загробной жизни в славянской мифологии. Считалось, что душа, достигшая ворот загробного мира, должна отбыть повинность по охране нового места обитания. Она стоит у ворот «того» света, пока ее не сменит душа другого покойника. В других случаях полагали, что похороненный покойник выполняет роль сторожа у кладбищенских ворот и стоит на своем посту до тех пор, пока не привезут

другого покойника. Тогда он идет и ложится в свою могилу. Полагали также, что в сумерки, когда церковный сторож ударит в колокол, умершие встают из своих могил и бегут на водопой, а как только пропоют первые петухи, они вновь возвращаются в свои могилы. С этой точки зрения кладбище и могила являются земным, видимым для живых воплощением «иноного» мира.

Восточнославянская традиционная культура сохранила два типа представлений об «устройстве» потустороннего мира. Первоначальным и самым древним является славянское языческое деление мира на две части — мир живых и мир мертвых, куда уходят души умерших людей. В древней славянской мифологии не было представлений о делении потустороннего мира на рай и ад — отдельных местах обитания душ праведных и грешных людей.

Древнейшие восточнославянские представления о потустороннем мире сохранились в поверьях об *ирии* — месте, которое находится под землей или за морем и куда улетают души умерших. Путь туда лежит через воду, в частности, через омут, водоворот. *Ирий*, *вырий*, *вырей* — в восточнославянской традиции мифическая страна, находящаяся на теплом море на западе или юго-западе земли. Согласно древнерусским верованиям, осенью в ирий улетают птицы, насекомые и уползают змеи, а весной возвращаются оттуда. Первое упоминание об ирии содержится в Поучении Владимира Мономаха (1096 г.): «И сему мы удивляемся, как птицы небесные из ирья идут» (Безлай 1976, 65–67).

В поздних восточнославянских поверьях XIX–XX вв. сохраняются представления об ирии как о месте, куда птицы улетают на зиму. Ключи от ирия находятся у кукушки, поэтому она первая туда улетает и последняя из птиц возвращается весной, она же несет на своих крыльях уставших птиц. Последним туда улетает аист. Сойка пытается улететь в ирий три раза — первый раз, когда цветет гречиха, второй раз — когда зреет хлеб и третий раз — когда ляжет снег. Первые два раза она возвращается, чтобы узнать, много ли пролетела, третий раз — из-за недостатка корма. Бог проклял воробья и лишил его права улетать в ирий. Все птицы и змеи направляются в ирий на Воздвижение (14.09 по ст. ст.), на земле остаются только те змеи, которые летом укусили человека. Птицы возвращаются из ирия в день Сорока мучеников; по другим верованиям, в этот день прилетает только жаворонок, а ласточка вылетает из ирия в день архангела Гавриила (26.03 по ст. ст.). Украинцы различали птичий и змеиный ирий. Птичий ирий находится где-то за горами, за лесами, на теплых водах, а змеиный — «в Русской земле» (Булашов 1993, 481).

Змеи уползают в ирий на Воздвижение, когда «зима сдвигается на зиму», или в день Усекновения главы Иоанна Предтечи (29.08/11.09), который назывался в народе Иваном Покровным. Змеиный ирий

располагается под землей и представляет собой большую яму, находящуюся в лесу, поэтому существует запрет ходить в эти дни в лес, чтобы не попасть вместе с змеями в место их зимовки, где они находятся, свернувшись в большой клубок. Человек, по неосторожности попавший к змеям под землю на Воздвижение и зимовавший вместе с ними, выходит оттуда только следующей весной или только через год — в тот день, в какой он попал в яму.

У восточных славян словами *вырей*, *ирей*, *вырой* могут называться сами перелетные птицы (например, в русских диалектах слово *вырей* означает жаворонка), стаи птиц, улетающих на зиму или возвращающихся весной, а также стаи змей, которые, как полагают, под предводительством своего царя идут на зимнюю спячку.

Воссоздание языческих взглядов на ирий как на загробный мир, куда попадают души умерших, тесно связано с мотивом зимовки там птиц и змей, которые являются обычным воплощением душ умерших. В современном белорусском причитании об умершем отце говорится: «все пташечки в вырей полетели, и ты вслед за ними». В причитаниях живые, обращаясь к умершим родственникам, говорят, что ожидают их весной из ирия. Мать обращается к своей умершей дочери: «Моя пташечка милая, ты же будешь с пташечками встречаться и лететь из вырея с ними» (Пахаванні 1986, 212). По украинским представлениям, осенью журавли уносят в ирий грешные души, а весной приносят оттуда души детей, которые будут рождаться весной и летом. Змеи ползут в ирий по деревьям, что поддерживается представлением о дереве как посреднике, связующем этот и «тот» мир.

Наиболее архаичным (но почти не сохранившимся в поздних верованиях об ирии) можно считать представление, согласно которому путь на «тот» свет пролегает через воду, в частности, через омут или водоворот. Эта реконструкция подтверждается восточнославянскими поверьями о том, что на зиму ласточки и другие мелкие птицы прячутся в колодцы, омуты, водовороты, прибрежные травы и т. д. У белорусов сохранилось верование, что птицы осенью сбиваются в большой шар и опускаются в море. Это согласуется с представлениями о том, что ирий находится в воде, море, что там существуют теплые колодцы, где купаются больные, что в ирии везде вода и овраги.

Связь ирия с водой и водоворотом подтверждается реконструкцией первоначального значения слова *ирий*, *ирей*, *вырей*. Согласно этой версии, русское *вырей*, украинское *вирій*, *вирей*, белорусское *вырай* восходят к древнему индоевропейскому корню, обозначающему водоем или море. Подтверждением этому служат многочисленные русские названия рек и водоемов типа: *Вырий*, *Вырья*, *Выра*. Русские слова *вырь*, *вир* «водоворот», украинские *вирей*, *вирій* «круговорот,

водоворот, омут» также подтверждают эту теорию. Толкование ирия как страны, находящейся за морем, согласуется с народными представлениями о загробном мире, путь в который лежит через водную преграду. Впрочем, известно украинское свидетельство, согласно которому ирий — это остров, находящийся на высоких кручах.

Образ ирия как страны мертвых в традиции XIX—XX вв. оказался сильно стертым и стал восприниматься в основном как место зимовки птиц. Древнерусские языческие представления о загробном мире позже были переосмыслены не только под воздействием христианского вероучения, но и под влиянием апокрифической литературы, пришедшей вместе с христианством. Поэтому образы рая и ада в народной традиции далеко не во всем соответствуют каноническому православному учению о потустороннем мире. Сформированные позднее представления о рае и аде почти полностью вытеснили из восточнославянской традиции ранний образ ирия как царства мертвых.

Восточнославянская мифология сохранила двойственность в описании «того» света. Прежде всего это касается его местонахождения. По одним представлениям, «тот» свет находится на земле (преимущественно на ее краю) и отделяется от мира живых людей какими-либо естественными преградами — непроходимыми горами, глубокими оврагами или реками.

По другим, вероятно, более поздним поверьям рай находится на небе или на высокой горе, а ад — под землей. Рай находится у небесной криницы, он окружен забором, в котором имеются ворота. Стражем райских врат считается св. Николай, у которого находятся ключи от неба (Соколовы 1915, 11). Туда ведут особые пути, по которым душа умершего человека отправляется в свое последнее странствие. По одним верованиям, на «тот» свет нужно лезть по крутой и неприступной стеклянной (или хрустальной) горе, гладкой, как яйцо. Проще это бывает сделать тому, кто при жизни не выбрасывал остриженные ногти, а складывал в специальный мешочек — после смерти сохраненные ногти срastутся на пальцах, и человек без особого труда сможет забраться на вершину горы и войти в загробный мир. Тот же, кто при жизни разбрасывал обстриженные ногти, не сможет этого сделать и будет вынужден вернуться на землю, чтобы разыскивать обрезки ногтей. Обычай собирать обрезки ногтей, возникший под влиянием этих мифологических представлений, в некоторых местах существует до сих пор, как и обычай класть сохраненные обрезки ногтей за пазуху умершему, чтобы на том свете ему было удобнее ими воспользоваться для взлезания на гору. Часто считалось, что всю жизнь нужно собирать не только обрезки ногтей, но и свои волосы. Это обосновывается тем, что в загробный мир человек должен явиться «целым», с тем количеством

плоти, которое ему было дано при жизни. Если какая-то часть его тела, а именно волосы и ногти будет отсутствовать, его отошлют назад на землю собирать их.

Место, куда попадает душа после смерти, часто находится за горами, как в русском духовном стихе о расставании души с телом:

*Ты поди душа ты за три горы,
Как за первой горой там огонь горит,
За второй горой там смола кипит,
А за третьей горой там и змей шипит.
Вот и там душе там и место ей,
Вот и там душе красование.*

(Барсов 1872, 205)

Место, куда попадает душа после смерти, прямо определяется поведением человека при жизни — и здесь народная вера продолжает сохранять основные элементы христианской философии. Это касается, в первую очередь, понимания личной ответственности каждого человека перед Богом за прожитую жизнь: «Что заслужишь, то и получишь, то в смолу кинут, то в огонь кинут, то, значит, в ад. Как много грехов, черви будут точить. В рай попадут только святые, честные, добросовестные люди. Какие там может быть мелочи — Господь простит. Ад — мука на том свете. Тело грешное, конечно, сгниет в земле, а душа, чувства наши будут все. И мы будем чувствовать, что мы сделали хорошее. Нас Господь простит. А что плохое — за все нам нужно ответ дать» (Тихманьга каргопол. арх., АА).

В народных поверьях рай описывается как прекрасный сад с плодовыми деревьями или как большой и красивый дом. Жизнь в раю представляется прежде всего как постоянный праздник обильной еды и питья. Праведные души сидят за столами, покрытыми белыми скатертями и уставленными различными яствами и напитками. Души едят, а еды не уменьшается, пьют, а напитков не убавляется. Впрочем, часто полагают, что они едят и пьют лишь пар, исходящий от еды и питья. Восточные славяне верили, что количество еды и одежды, которыми обладает душа в загробном мире, прямо зависит от милосердия человека при его жизни — на «том» свете он будет носить ту одежду, которую на земле раздал бедным, и есть то, что он подавал в виде милостыни. Если его милостыня была щедрой и обильной, то в загробном мире его стол будет уставлен едой, если же при жизни человек скупился и мало подавал нищим, то на его столе будут лишь сухие корки.

С загробным миром и адом связан образ змеи. Мифологический Змей охраняет вход в загробный мир. По представлению старообрядцев, в конце света у врат рая будут стоять Петр и Павел, пропускающая туда безгрешных людей, а у врат ада будет змея, и по ее жалю грешники будут проходить в ад. В старообрядческой книге «Прение

живота со смертью» помещено изображение змея с надписью «змей ад», а рядом дано объяснение: «Огненный он и немилостивый змей, страшное изображает адово чрево...» На древнерусских иконах, изображающих Страшный суд, ад изображен в виде раскрытой пасти огромного извивающегося змея, который ведет от престола Судии в преисподнюю. В древнерусских представлениях ада языческие мифологические образы загробного мира слились с библейским образом «червя неумирающего», грызущего тела грешников в аду (Успенский 1982, 57–59).

Души грешников в аду питаются пеплом. Мучения, которым подвергается грешная душа, зависят от того греха, за который она осуждена: кто при жизни ябедничал, в аду оказывается подвешенным за язык; кто продавал разбавленное молоко, вынужден отделять молоко от воды; тем, кто играл в карты, черти вбивают в ладони иглы; перед тем, кто воровал мясо, лежат куски червивого мяса; того, кто пил, черти таскают по гвоздям. Особые мучения предназначены убийцам, самоубийцам, женщинам, убивавшим своих детей во чреве, и ведьмам, отнимавшим молоко у чужих коров.

Отношения с иным миром составляли основу всех существующих у славян календарных и семейных обрядов и были направлены на то, чтобы поддержать эти отношения в состоянии равновесия: получить от своих умерших предков максимум пользы и минимум вреда. Эти отношения строились на том, что связь между живыми и их умершими предками не прекращается со смертью последних, а постоянно продолжается, что души покойных способны как положительно, так и отрицательно влиять на благополучие своих живых родственников. Если живые помнят о своих умерших «родителях» и выполняют необходимые обряды, души предков покровительствуют им, помогают в хозяйстве, влияют на плодovitость скота и урожай; в противном случае умершие могут выражать неудовольствие, насылая на живых несчастья, болезни, голод и пр. Суть одних обрядов заключалась в том, чтобы жертвоприношениями, ритуальными кормлениями и уважительным отношением задобрить души умерших. Смысл других ритуалов состоял в том, чтобы с помощью оберегов и магических действий охранить себя от всегда опасного влияния мира мертвых. Поэтому отношения с мертвыми предками всегда строились на двойственной основе: их почитали как своих кровных родственников, принадлежащих к одной семье, к единому роду, и ждали в ответ покровительства, но одновременно боялись их как мертвецов и старались не нарушать без надобности опасной грани, отделяющей живых от мертвых. О том, что умершие могут возвращаться с «того» света и вредить живым, было хорошо известно в Древней Руси. В древнерусской летописи за 1092 год сообщалось, что в этом году в Полоцке местные жители были избиты мертвецами,

которые явились в город в виде неуловимых для взора привидений (Полное 1, 92).

Сразу же после смерти кого-либо из домочадцев вместе с заботами о его посмертном благополучии появлялись и другие заботы, направленные на то, чтобы покойник не навредил живым. Согласно народным верованиям, уходящий на «тот» свет покойник, особенно если это хозяин дома, может забрать, или, как говорят в народе, «утянуть» за собой свое хозяйство и весь скот. В результате чего в доме будут болеть и часто умирать люди, хозяйство разрушится, а скотина будетдохнуть и переведется. Как говорится в русской поговорке, «покойник у ворот не стоит, а свое возьмет». Чтобы покойник не «увел» за собой весь скот и хозяйство, считалось необходимым выделить ему его «долю» — заколоть какое-либо животное — барана, поросенка, ягненка. Это животное съедалось за поминальной трапезой, а кости собирались и закапывались в землю где-нибудь в пределах усадьбы. Это животное считалось жертвой умершему. На Русском Севере «долю» покойника клали ему в гроб в виде ковриги хлеба: «Хлеб клали покойнику в гроб под левую лопатку. Правой-то рукой он крестится, так под левую клали, и говорили: „Вот тебе доля, вот тебе половина, не обижай нас, сирот“. Три раза. Если вот так не положат, так говорят: „Мертвый у угла не стоит, а свое возьмет“. Тогда то корова не придет с пастбища, то какое-нибудь несчастье будет» (Тихманьга каргопол. арх., АА).

Чтобы с остальными домашними животными ничего не случилось, им сообщали о смерти хозяина, подчеркивая, что их хозяин умер, но они должны не печалиться об умершем, а привыкать к новому хозяину, у которого им будет так же хорошо, как и у старого. В качестве оберега от смерти в день похорон на шею или на рога скоту повязывали красные ленточки, а двери хлева держали закрытыми, чтобы покойник не забрал скотину с собой. Долю покойнику могли отдавать деньгами.

Неправильное поведение живых сказывается на благополучии мертвых на «том» свете, поскольку там души сохраняют все свойства телесных существ — они едят, пьют, нуждаются в одежде, испытывают радость и страдания. Полагают, что души приходят в загробный мир в той одежде, в какой были похоронены, поэтому при похоронах необходимо следить за тем, чтобы одежда покойного соответствовала погребальной норме, иначе на «том» свете он будет испытывать неудобства: ребенок, похороненный не подпоясанным, не сможет вместе с другими детьми собирать в райском саду яблоки за пазуху — они будут у него проваливаться; девушке, которую похоронили в неудобных туфлях, будет тяжело ходить, и т. д. Такие покойники будут являться к живым во сне с просьбой переслать им необходимый предмет. В этом случае нужно пойти на чьи-нибудь похороны

и попросить разрешения положить эту вещь в гроб к другому покойнику — явившись на «тот» свет, он передаст ее тому, кто об этом просил. Женщине, похоронившей мужа без ремня, он явился во сне и сказал: «Все хорошо, но только штаны у меня сваливаются». Женщина узнала, где поблизости похороны, пришла туда и положила в гроб ремень для своего мужа. В полесской быличке умершая дочь страдает на «том» свете из-за неудобных туфель.

Повсеместно распространено поверье, что если сильно плакать по умершему, ему будет тяжело на том свете, ему придется лежать в могиле, наполненной слезами. Поэтому запрещалось плакать по покойнику после того, как гроб опустили в могилу. Особенно нельзя плакать матери по ребенку, потому что ее слезы жгут его за гробом и не дают успокоиться его душе.

Считалось, что одна из основных обязанностей живых по отношению к душам «родителей» — их кормление и поминовение. У восточных славян традиционными поминальными блюдами являются *кутья* (иначе — *коливо*, *канун*) — вареный ячмень или пшеница, смешанные с разведенным водой медом, блины, кисель, блины и яичница. Основной напиток — подслащенное медом пиво или брага. Кормление души начинается в первые же дни после смерти человека, когда до сорокового дня для души оставляли воду, мед и хлеб на подоконнике, а на сороковой день хозяйка пекла блины, которые у восточных славян издавна считались поминальной пищей, и первый еще горячий блин, помазав медом, клала на окно — для души. Для нее же на поминках предназначалась первая ложка каждого блюда, а также первый стакан воды, который выливали на угол стола. У всех славян большое значение в ритуалах, связанных с культом мертвых, имело выделение первого куска, первой ложки, первого блина как жертвенной доли для душ предков. Например, при выпечке хлеба в чешских селах хозяйки отрывали кусок теста от первой раскатанной буханки и бросали в огонь, говоря, что это дается душечкам. Так же поступали в восточной Словакии на святках: перед рождественским ужином бросали в печь ломоть от первой буханки хлеба для умерших родственников.

Поминальный обед, на который приглашались родственники, знакомые и соседи покойного, устраивали в день похорон, на девятый и на сороковой день после смерти. Если не устроить поминки, покойник на том свете будет голодным и напомнит о себе. Ср. полесскую быличку на эту тему: «Это бывало, что покойники во сне являлись. Как покойники снятся, так поминки просят. Поминать надо. Например, перед Троицкой субботой мне мать снилась: „Нюра, я очень хочу пара!“ А пар, он из брюквы, которую тушат на печке. Пар выпарят — вкусная брюква. Ну вот она мне и говорит: „Я очень хочу со своим хлебом этого пара“. Я выпарила и носила на могилу» (ПА).

После сорокового дня поминки устраивали через год, а потом покойника поминали уже вместе с остальными «родителями» в дни всеобщего, или, как их принято называть, вселенского поминовения. После годовщины со дня смерти покойник включался в общий круг умерших, терял имя, возраст, индивидуальность и становился одним из «родителей», «дедов», «душечек».

В народе верили, что «материальное благополучие» души на том свете во многом зависит от живых родственников — если они в положенные дни поминают своих умерших предков, устраивают в их честь трапезы, приносят в церковь пожертвования, оставляют на могилах еду, раздают милостыню нищим за упокой души, то такие души на «том» свете ни в чем не нуждаются. Считается, что все, розданное в виде милостыни нищим, сразу же поступает во владение умершим предкам. Когда живые родственники вынимают за «родителей» просфору в церкви, глаза покойников видят свет. Отслуженная в субботу заупокойная панихида освобождает души мертвых из загробного мира вплоть до окончания воскресной службы. Если родственники забывают помянуть своих «родителей», или «дедов», не раздают подаваний и не жертвуют в церковь, то такие забытые души страдают от голода и недостатка одежды. Сами за себя души умерших молиться не могут — они молятся только за нас в то время, когда мы поминаем их, и по их молитвам прощаются многие наши грехи. Так устанавливается тесная связь между миром живых и миром мертвых. Как говорят в народе: «Мы за них молимся, а они за нас. Ни им без нас, ни нам без них нельзя быть».

Наименее опасными и наиболее желательными являются такие контакты с умершими, когда их временное появление на земле происходит с ведома, а часто и по приглашению их живых родственников и, следовательно, контролируется живыми с помощью оберегов и ритуалов. Такое посещение происходит во время поминальных дней, когда полагалось ухаживать за «гостями» из иного мира: кормить покойников, топить для них баню, а также согревать их с помощью специально разведенных костров. После окончания поминального периода умершие снова выпроваживались в загробный мир.

У восточных славян народная традиция поминовения всех умерших лишь частично совпадает с днями вселенского поминовения, установленными православной церковью, а именно: субботой мясопустной недели (масленицы), субботах второй, третьей и четвертой недели Великого поста, вторником Фоминой недели (второй недели после Пасхи), называемым в народе Радуницей, субботой накануне Троицы и Димитриевской субботой — перед днем Димитрия Солунского. Помимо официально установленных церковью дней поминовения, в славянской традиции существовали собственно народные даты, связанные с культом покойников. Такими днями

были, в частности, Великий четверг (четверг на Страстной неделе), Семик — седьмой четверг после Пасхи, а также период святков — дни от Рождества до Крещения. Разница между церковными и народными датами поминовения свидетельствует о существовании у славян в дохристианский период собственных представлений о временных периодах, когда происходит общение живых и мертвых. Чтобы понять логику этих представлений, необходимо знать, какой, по мнению древних славян, была граница, отделяющая «тот» и этот свет, и в какие моменты она открывалась.

Хотя между «тем» и этим светом пролегает невидимая, но осязаемая для каждого граница, которая в обычное время не позволяет существам потустороннего мира проникать в мир живых, а живым посещать «тот» свет, все же общение между мирами возможно, а в некоторых случаях желательно и необходимо, хотя всегда более или менее опасно. Существуют время и место, когда граница между мирами открыта, и души умерших, а также иномирные существа по определенным путям могут свободно проникать в «наш» мир, а живые люди при особых условиях посещать «тот» свет. Легче всего эта граница открывается на различных рубежах, стыках, поворотных точках, как временных, так и пространственных. В пространстве роль «входных отверстий», через которые осуществляется контакт между «тем» и этим светом, играют различные естественные и созданные человеком границы: пороги и окна дома, печная труба, ворота, межи полей, границы между селами и под, а также водоемы (особенно омуты и водовороты) и деревья.

Что касается времени, то здесь такими рубежами в сутках являются полдень и полночь, а в году периоды зимнего и летнего солнцестояний и, в меньшей степени, весеннего и осеннего равноденствий. По мнению древних славян, именно на эти «переломные» периоды приходится наибольшее число контактов с потусторонним миром, потому что в это время открыты границы между мирами, и души умерших на время возвращаются на землю. После принятия христианства четыре момента в году, когда души мертвых могут приходить в мир живых, совпали с важными датами православного календаря и частично изменились под их влиянием. Период зимнего солнцестояния совпал с христианскими святками — днями от Рождества до Крещения; период летнего солнцестояния «наложился» на праздники Троицы и Рождества Иоанна Крестителя (больше известного в народе под названием Ивана Купалы). Период весеннего равноденствия, когда в древности происходила встреча весны, стал ассоциироваться с празднованием масленицы, совместившей в себе языческое и христианское начала, а также другими важными весенними датами христианского календаря — Великим четвергом, Фоминой неделей и Семиком. Период осеннего равноденствия,

который знаменовал временную смерть природы и наступление «темного» времени года, совпал с Димитриевской субботой.

Таким образом, земной год как бы уподоблялся загробному дню: весенние поминки в некоторых областях восточного славянства назывались завтраком по «родителям», летние — обедом по «родителям», осенние — ужином, а зимние — полдником по «родителям». С точки зрения древних славян, жизненный цикл в потустороннем мире продолжался после смерти и сливался с природным круговоротом. Недаром природные явления часто ассоциировались с деятельностью умерших — если посреди зимы вдруг наступала оттепель, говорили, что это «родители вздохнули».

Исследования славянских календарных обрядов показали, что святочные ряженые, которые с Рождества до Крещения с пением колядок обходили дома, воплощают народные представления о «родителях», приходящих в этот период в дома своих живых родственников. Об этом свидетельствует сам вид ряженных, подчеркивавший их «иномирную» природу — рваная одежда, бороды из мочалы, закрытые масками или запачканные сажей лица, тулупы, вывернутые шерстью наружу, искусственная хромота, горбы из соломы. Ряженые входили в дом и объявляли, что они пришли издалека — «из-под самого рая» и проделали трудный путь, преодолевая водные преграды — переплывая моря, мутные реки и переходя мосты. Они добавляли, что они достигли своей цели поздней ночью, ровно в полночь, после этого пути одежда у них промокла, башмаки истоптались, ноги замерзли. Ряженые просили себе пирогов, лепешек и калачей, взамен обещая хозяину хороший приплод скота и богатый урожай. Тем же, кто не хотел их одаривать, колядники угрожали забрать у них корову и самих хозяев увести с собой — в темную ночь. В некоторых текстах белорусских колядок прямо говорится, что тех, кто колядует, «прислали деды по блины», т. е. что все эти дары колядники собирают не для себя, а для «дедов», «родителей». Все перечисленные мотивы святочного колядования свидетельствуют о том, что в древнем обычае обходов дворов ряжеными сохраняются представления о приходе в этот период на землю душ мертвых (Виноградова 1982, 136–189).

Летний период посещения душами мертвых земли связан у восточных славян с Троицким и купальским праздниками и связаны с периодом цветения злаков и растений. При этом деревья и растения представлялись одновременно и воплощением душ умерших, и местом их нахождения на земле. В частности, считается, что на ветках берез и других деревьев, которые принято на Троицу приносить в дом, располагаются души умерших, посещающие в этот период своих живых родственников. После окончания праздника ветви необходимо вынести из дома, чтобы дать возможность душам

вернуться в свой мир. Согласно одной быличке, хозяйка, вынеся из дома Троицкую зелень, забыла в углу одну ветку, поэтому душа одного из предков не смогла возвратиться на «тот» свет и вынуждена была сидеть на этой ветке весь год до следующей Троицы (Виноградова 1986, 126–127).

Святочный и Троицкий периоды объединяются одним и тем же набором запретов на домашнюю работу — шитье, прядение, чесание шерсти и обработку пеньки, стирку, подметание и мытье пола, побелку печей, рубку дров, выгребание золы из печки. Соблюдение этих запретов необходимо для того, чтобы не потревожить и не обидеть души, которые в эти дни незримо присутствуют в доме среди живых, а главное — чтобы грязью и золой не засорить им глаза, не колоть им глаза веретеном, не замазать глиной. Представления о том, что работа в ритуально запрещенное время, особенно прядение, изготовление основы для полотна и стирка отрицательно отражается на покойниках, широко распространено у восточных славян. Считалось, что кто шьет в поминальные дни — тот колет покойникам глаза, кто в эти дни белит хату — замазывает покойникам глаза, кто стирает и бьет вальком белье, тот бьет умерших, из-за тех, кто изготавливает в эти дни основу для полотна, дети, умершие некрещеными, не видят белого света. Верили также, что отходы, образующиеся при вычесывании шерсти и обработке конопли, в эти дни летят прямо в глаза мертвым (Толстой 1995, 185–205).

У славян поминовение покойников существовало в форме двух разных обрядов: на кладбище, когда живые как бы приходили в гости к мертвым и устраивали угощение на территории, принадлежащей мертвым, и в доме, когда, наоборот, «душечки» из своего загробного мира приходили к живым. Первая форма, по мнению ученых, соотносится с древнейшим славянским обрядом тризны — языческими поминками по покойному, сопровождавшимися обильным пиршеством, возлияниями, состязаниями, играми, переходящими в неистовое веселье. Поминальные обряды, связанные с этой традицией, приурочивались к поздней весне и лету (Радунице, Купальскому и Троицкому праздникам) и дневному времени суток. Эти обряды предназначались для поминовения всех покойников и отличались бурным характером поведения участников («до полудня плачут, после полудня скачут»), неумеренным пьянством, кулачными боями, обливанием друг друга водой и под. В таких поминальных обрядах принимала участие вся община. По словам Ивана Грозного, «в Троицкую субботу по селам и по погостам сходятся мужи и жены на жальниках (т. е. на кладбищах) и плачутся по гробам умерших с великим воплем. И когда скоморохи начнут играть во всякие бесовские игры и они, перестав плакать, начнут скакать, и плясать, и в ладони

бить, и песни сатанинские петь, на тех же жальниках, обманщики и мошенники».

Известны свидетельства о поминовении покойников всей Москвой. Одним из элементов таких коллективных поминок обычно была панихида, поэтому в празднестве участвовал и священник (Зеленин 1995, 136—137). Другая форма поминовения соотносится с осенне-зимним периодом (Дмитриевская суббота и святки) и Великим постом, совершается дома, в кругу семьи обычно по вечерам и ночью, носит камерный характер, сопровождается тишиной и молчанием и предназначена только для «своих» умерших (Седакова 1979, 22). Согласно русской пословице, «Покойнички на Русь Дмитриев день ведут — живых блюдут».

Считается, что в дни всеобщего поминовения (у русских такие дни называются *родительскими*, а у белорусов и украинцев — *дедами*) души покойников приходят каждые в свои дома и участвуют в общей трапезе вместе с живыми. Поэтому в эти дни на стол кладут несколько лишних ложек — для «душечек» по количеству умерших в семье.

Иногда полагают, что души за поминальной трапезой едят теми же ложками, что и живые, незримо располагаясь у них за плечами. Поэтому во время еды ужинающие должны время от времени класть свои ложки на стол, чтобы дать возможность душам поесть. На стол выливают стакан водки — «для душечек». Блюда ставят на стол в нечетном количестве, и от каждого блюда все присутствующие отливают или откладывают по одной ложке в особую миску, которую оставляют на окне на всю ночь. В некоторых местах принято думать, что души умерших родственников приходят ужинать ночью, после трапезы живых, — в эти ночи посуду и остатки еды не убирают со стола, для того, чтобы души могли насытиться. Души умерших нужно приглашать к поминальному столу, зовя их в трубу или через окно: «Деду, иди к обеду!» или: «Вся умершая родня — сколько вас есть — приходите ужинать!» Часто приглашали и те души, у которых не осталось живых родственников: «У кого нет родни, приходите ко мне!» После завершения трапезы души нужно выпроводить из дома, чтобы они вернулись к себе на «тот» свет и не мешали живым. У белорусов все после ужина вставали и говорили: «Деды святые, вы ели и пили, идите же теперь к себе». Иногда хозяин дома открывал окна и двери и, выгоняя души предков, как мух, говорил: «Кыш, душечки, кыш, большие через дверь, маленькие через окно» (Богданович 1895, 11).

На Русском Севере хозяйка, приготовив поминальный ужин, открывала двери, выходила во двор встречать невидимых гостей. Предполагалось, что душам пришлось преодолеть длинный путь, чтобы добраться до живых, поэтому им говорили: «Вы устали, родные, покушайте чего-нибудь... Вы озябли — погрейтесь». Последним

поминальным кушаньем был кисель. Перед его подачей на стол пели «Вечную память», а потом хозяин выпускал через окно холст, на котором при похоронах гроб опускают в могилу, и говорил невидимым душам: «Теперь пора бы вам и домой, да ножки у вас устали — не близко ведь было идти. Вот тут помягче — ступайте с Богом».

Души приходят обедать незримо для живых, слышен лишь тихий шепот или шелест, но при определенных условиях человек может увидеть трапезу своих умерших предков, забравшись ночью на печь и посмотрев в комнату через хомут. Сидя за поминальной трапезой, души умерших рассказывают друг другу, кто из их живых родственников умрет в ближайшее время, а также предсказывают различные события, которые должны произойти в ближайшем будущем в этой семье. Существуют многочисленные былички о том, как некоторые люди, выполнив эти условия, смогли увидеть души, которые имели вид родственников, какими они были при жизни.

В одной из быличек парень, спрятавшись на печи в поминальную ночь и наблюдая за душами, случайно уронил горшок. Потревоженные души, выбежав из-за стола и не окончив ужин, быстро удалились через окна и двери. Согласно другой быличке, потревоженные души могут жестоко расправиться с тем, кто дерзнул за ними подглядывать.

Души предков, не накормленные родственниками, уходят из своих домов обиженными и жалуются товарищам. Души умерших могут почувствовать себя оскорбленными и уйти из-за стола и в том случае, если хозяева нарушат правила поведения и сделают что-то, что не понравится душам, например, будут ругаться во время приготовления поминальной трапезы или оботрут грязным фартуком хлеб, испеченный для поминовения умерших.

Кроме кормления, у восточных славян существовал древний обычай греть покойников — возжигать ритуальные костры, чтобы души могли обогреться возле них. В разных частях восточнославянской традиции этот обычай назывался «греть родителей», «родителям поминки греть», «греть ножки покойникам», «греть деда», «греть души на небе», «чтоб душечки могли обогреться» (Зеленин 1994, 164–178). Обычай этот, существовавший еще на рубеже XIX–XX вв., осуждался древнерусскими книжниками. В «Слове св. Григория» (по списку XVI в.), где осуждались разные «сатанинские дела», говорилось: «и мусор у ворот жгут в Великий четверг, говоря, что у этого огня душа приходит обогреться» (Агапкина, Виноградова 1995, 543–544). Этот же обычай осуждался в «Стоглаве», в 41 главе которого говорится: «В Великий четверток солому палят и кличут мертвых». Позднее обычай обогрева родителей состоял в том, что на Рождество, Новой год и Крещение, а иногда во вторник Фоминой недели (т. е. на Радуницу) хозяин сгребал во дворе мусор,

накладывал сверху солому (нередко смешанную с навозом) посреди двора, в воротах или на огороде, добавлял туда немного зерна и ладана и зажигал. При этом он клал три поклона и говорил: «Ты, святой ладанок и серенький дымок, несись на небо, поклонись там моим родителям, расскажи, как все мы здесь поживаем» (Зеленин 1994, 164). В других случаях полагали, что «душеньки» сами приходят с «того» света, чтобы погреться возле костров. «Обогревание» душ иногда совершалось на второй или третий день после похорон, когда сжигались стружки от гроба и когда душа покойника приходила греться. На Русском Севере в один из святочных вечеров было принято жарко растапливать печь, чтобы предки могли здесь обогреться. Обычай согревания покойников ритуальными кострами был известен также болгарам, сербам и полякам. В XV в. польский проповедник Михал из Яновца порицал своих прихожан за то, что они разводят костры в Великий четверг, полагая, будто души предков приходят сюда греться. Некоторые современные исследователи связывают обычай «греть покойников» с обрядом трупосожжения, первоначально принятым у древних славян (Агапкина, Виноградова, 1995, 543).

В древнерусских источниках XIV–XVII вв. осуждался не только обычай обогревания душ покойников, но и омовения их, «моление навьям (т. е. мертвым) в бане». В древнерусском переводе «Слова Иоанна Златоуста» осуждаются те, кто кладет еду бесам и «на печь льюще в бане, мыться им велит, покрывало и полотенце вешая им в бане». Этот обычай существовал еще в XIX в. В Великий четверг, накануне Троицы или в понедельник Фоминой недели для умерших родственников топили баню. Иногда это делалось на сороковой день после смерти, тогда для умершего оставляли на окне одежду, а на полке — новый веник и мыло. В бане грели воду, оставляли полотенца, обрядовый хлеб и, кланяясь, приглашали души умерших помыться. На следующее утро по следам, оставшимся на рассыпанном пепле, заключали, приходили ли мертвые мыться.

П Р И Н Я Т Ы Е С О К Р А Щ Е Н И Я

АА — Архангельский архив, хранящийся в отделе этнолингвистики и фольклора Института славяноведения РАН.

Агапкина, Виноградова 1995 — *Агапкина Т. А., Виноградова Л. Н.* «Греть покойников» // Славянские древности. Этнолингвистический словарь. М., 1995. Т. 1.

Анучин 1890 — *Анучин Д.* Сани, лады и кони как принадлежности похоронного обряда // Древности. Труды имп. Московского археологического общества. М., 1890. Т. 14.

Афанасьев 3 — *Афанасьев А. Н.* Поэтические воззрения славян на природу. М., 1994. Т. 3.

Барсов 1872 — *Барсов Е. В.* Прочтения Северного края. М., 1872. Ч. 1.

- Безлай 1976 — *Безлай Ф.* Немецкое *Himmelreich* и славянское **irijь, vyrijь* // Советское славяноведение. 1976. № 5.
- Бессонов 2 — *Бессонов П. А.* Калеки переходные. Сборник стихов и исследований. М., 1862. Т. 2.
- Богданович 1895 — *Богданович А. Е.* Пережитки древнего мирозерцания у белорусов. Гродно, 1895.
- Булашов 1993 — *Булашов Г.* Український народ у своїх легендах, релігійних поглядах та віруваннях. Київ, 1993.
- Виноградова 1982 — *Виноградова Л. Н.* Зимняя календарная поэзия западных и восточных славян. М., 1982.
- Виноградова 1986 — *Виноградова Л. Н.* Мифологический аспект полесской «русальной» традиции // Славянский и балканский фольклор. М., 1986.
- Зеленин 1994 — *Зеленин Д. К.* Народный обычай «треть покойников» // *Зеленин Д. К.* Избранные труды. Статьи по духовной культуре 1901–1913 гг. М., 1994.
- Зеленин 1995 — *Зеленин Д. К.* Очерки русской мифологии. М., 1995.
- ПА — Полесский архив, хранящийся в отделе этнолингвистики и фольклора Института славяноведения РАН.
- Пахаванні 1986 — Пахаванні, памінкі, галашэнні. Мінск, 1986.
- Полное 1 — Полное собрание русских летописей. СПб., 1841. Т. 1.
- Седакова 1979 — *Седакова О. А.* Поминальные дни и статья Д. К. Зеленина «Древнерусский языческий культ „заложенных“ покойников» // Проблемы славянской этнографии. Л., 1979.
- Соболев 1999 — *Соболев А. Н.* Мифология славян. Загробный мир по древнерусским представлениям (литературно-исторический опыт исследования древнерусского народного мирозерцания). СПб., 1999.
- Соколовы 1915 — *Соколов Б., Соколов Ю.* Сказки и песни Белозерского края. М., 1915.
- Тихонравов 2 — *Тихонравов Н.* Памятники отреченной русской литературы. СПб., 1863. Т. 2.
- Толстой 1990 — *Толстой Н. И.* Переворачивание предметов в славянском погребальном обряде // Исследования в области балто-славянской духовной культуры. Погребальный обряд. М., 1990.
- Толстой 1995 — *Толстой Н. И.* Глаза и зрение покойников // *Толстой Н. И.* Язык и народная культура. М., 1995.
- Успенский 1982 — *Успенский Б. А.* Филологические разыскания в области славянских древностей. М., 1982.
- Черепанова 1996 — *Черепанова О. А.* Мифологические рассказы и легенды Русского Севера. СПб., 1996.
- Якушкин 1859 — Русские народные песни, собранные П. И. Якушкиным // Летописи русской литературы и древности, издаваемые Н. Тихонравовым. М., 1859. Кн. 2.

**Ода как откровение:
православный богословский контекст
одической поэзии Ломоносова**

Отправной пункт этой статьи — следующее место из оды Ломоносова «на прибытие из Голстинии и на день рождения Его Императорского Высочества Государя Великого Князя Петра Феодоровича 1742 года февраля 10 дня»:

*Но спешно толь куда восходит
Внезапно мой плененный взор?
Видение мой дух возводит
Превыше Тессалийских гор!
Я Деву в солнце зрю стоящу,
Рукою Отрока держашу
И все страны полночны с ним.
Украшена кругом звездами,
Разит перуном вниз своим,
Гоня противности с бедами.*

*И вечность предстоит пред нею,
Разгнувши книгу всех веков,
Клянется небом и землею
О счастья будущих родов,
Что Россам будет непременно
Петровой кровью утверждено
Отверзлась дверь, не виден край
В пространстве заблуждает око,
Цветет в России красной рай,
Простерт во все страны широко.*

(Ломоносов 8, 66–67)

В этих строфах, как вообще в одах Ломоносова, на каждом шагу содержатся ссылки на зрение (*восходит... взор; видение возводит...; Я Деву в солнце зрю...; Отверзлась дверь, не виден край, / В пространстве заблуждает око...*). Также часто встречаются в одах, и здесь в том числе, библейские реминисценции¹. Но видение «Девы в солнце» выделяется на фоне других од тем, что оно эксплицитно восходит к определенному христианскому образу: «На небе появилось поразительное знамение — женщина, одетая в солнце, у которой под ногами была луна, а на голове — венец из двенадцати звезд» (Откр 12:1).

Не все совпадает в деталях. Дева (жена) в Откровении — беременна; она рождает, и над новорожденным разворачивается между ангелами и драконом борьба. Один из православных интерпретаторов

Библии объясняет: «Под образом этой жены толкователи единодушно разумеют духовное человечество, не оскверняющуюся мирскими пороками Церковь, истинно в Боге живущих людей. Солнце, в которое она облачена, означает, что в этом мире она является носителем небесного света — откровения, благодати, чистоты (солнце означает Божественные силы). Луна под ногами жены означает господство жены над земными силами, земной мудростью. Двенадцать звезд ее венца означают апостолов и колена Израильские...» (НСК 1983, 122–139). М. И. Сухомлинов указывает на другую реминисценцию из Откровения в этой оде; стихи 17–18 сопоставляются со стихами Откр 1:15 и 19:6 (Сухомлинов 1891, 165)². В то же время образ «женщина, одетая в солнце» единодушно воспринимается как изображение Девы Марии (Топорков 2003).

Как это видение соотносится с общим религиозным содержанием од Ломоносова, и какой характер имеет это видение? Вообще, какая роль в одах отводится проблеме зрения, и какое отношение к этой проблематике имеет видение «Девы в солнце»?

Ответить на эти вопросы непросто. Ода является не только ведущим жанром русской литературы XVIII в., но и самым сложным с точки зрения его происхождения и культурных корней. Как писал Л. В. Пумпянский: «Быть может, через наибольшее число преломлений получила классический идеал Россия; так, ода Ломоносова есть античное произведение — чрез Малерба — Буало — немцев...» (Пумпянский 1983а, 303). Речь здесь идет об оде как отражении разных культурных эпох — античности, Ренессанса, классицизма — и национальных традиций. Но можно говорить и о сложных философских, богословских и политических течениях, которые ода также вобрала в себя. В этом смысле нужно упомянуть в первую очередь работу С. Бэра о «мифе о рае», воплощенном в одах как «*master myth*» эпохи (Бэр 1988, 61–79), а также об исследовании В. М. Живова и Б. А. Успенского «Царь и Бог», в котором прослеживается развитие православного культа монархии (Живов, Успенский 1987, 47–152). Значение этого культа существенно возросло в XVIII в. с подчинением церкви императорской власти. Оба вышеназванных труда указывают на сложность происхождения оды и на ее функцию — выражение нового «политического богословия», т. е. идеологии власти. В частности, эти ученые рассматривают особый статус оды: она выступает как носитель некоторых коренных понятий православия, разумеется, адаптированных к новым условиям. Исследователи указывают на наличие в одах теории о царе — императоре как земном образе Бога — идеи, которая рассматривается ими как секуляризация традиционных религиозных представлений, в том числе как проекция православного представления об иконах на политическую сферу (что позволяет констатировать новый этап

«византинизации» русской культуры). Такой подход вполне применим и к образу «Девы в солнце»: в какой-то мере его можно считать описанием Елизаветы Петровны и Павла Петровича (Серман 1988, 72–75)³. В этом контексте важно сказать и о месте ода в контексте барочного панегирика (Сазонова 1987, 103–125) и о влиянии немецкой придворной практики (Пумпянский 1983б; Алексеева 2002, 8–27).

В работе о литературном языке В. М. Живов исследовал культурное происхождение оды как такого явления, которое примирило требования языкового пуризма К. Вожега с церковнославянским наследием. Ода являлась фокусом так называемого «славено-русского культурного синтеза», иными словами, ломоносовское решение языковой проблемы в одах отражало синтез православного наследия «церковных книг», с одной стороны, и новых требований русской (мирской, национальной, просвещенческой) культуры, с другой. Замечу мимоходом, что «славено-русский культурный синтез», по-моему, более удачно характеризует эпоху в целом, чем «русский классицизм» — термин, соответствующий более узкому стилистическому контексту. Здесь можно говорить о «православии эпохи Просвещения» (Левитт 1993, 59–74; Пушкарев 1997; Цапина 2001, 43–46). Для Ломоносова, как и для его современников, идеи Просвещения были вполне совместимы с православием. В данной статье речь идет именно о таком совмещении.

Критики не раз писали о духовных и даже философских аспектах ломоносовских од, обычно связывая их с процессом «секуляризации», т. е., указывая на то, как Ломоносов пользуется духовным материалом для сугубо литературных или политических целей (о спорах вокруг понятия о «секуляризации» см.: Брюс 1992). Например, И. З. Серман цитирует разные воплощения образа «Девы в солнце» у поэтов-предшественников Ломоносова — у Симеона Полоцкого, Яворского и Буслаева, чтобы доказать, что они трактуют этот образ в библейском духе, в то время как для Ломоносова он служит иным — нерелигиозным целям. Здесь «апокалиптический образ отрывается от контекста и получает светское, литературное значение». Дева Мария выступает в качестве «земной императрицы», т. е. Елизаветы Петровны. Образ Девы становится лишь метафорой, уподоблением; «мистицизм исчезает, а поэтический восторг... остается» (Серман 1988, 75). Вместе с тем, в своем «Кратком руководстве к красноречию» Ломоносов классифицирует данный образ как тип «чистого вымысла», как пространственное перемещение (Ломоносов 7, 231). В неопубликованном «Кратком руководстве к риторике» (начало 1740-х гг.) он также приведен, но немного в другой редакции как пример «сверхъестественного» вымысла (Ломоносов 7, 63). Не означает ли это, что данный образ не является аллегорией «земной императрицы»?

Мне кажется, что в определенной мере можно также говорить о ломоносовской оде как о духовном жанре, как о своего рода молитве или откровении (о молитве как «разновидности духовных стихотворений» см.: Луцевич 2002, 360–365; о «жанре молитвенной лирики» у русских поэтов см.: Котельникова 1994, 10; о проблеме «Ломоносов и религия», см.: Котельников 2002, 103–106). Не буду детально аргументировать здесь данную позицию, хотя далее приведу некоторые соображения по этому поводу. Пока лишь замечу, что, как правило, оды Ломонсова начинаются и заканчиваются упоминаниями о Всевышнем и не раз завершаются прямым обращением к Богу (типа: «О боже, крепкий вседержитель!»). Ода 1741 г. («Первые трофеи Его Величества Иоанна III...»), «Ода на день брачного сочетания... 1745 года», «Ода... Елисавете Петровне... 1759 года», «Ода... Елисавете Петровне... 1761 года» — все начинаются обращением к Богу, и в других одах разные персонажи прямо молятся Ему, в том числе Петрополь и русский народ (оба в оде «на рождение... Павла Петровича... 1754 года»). Л. И. Сазонова (1987, 123) отмечает, что «завершаются панегирики и оды, как правило, молитвенным обращением автора с просьбой благословить адресата и Россию» и цитирует слова из ломоносовской «Риторики»: «Некоторые заключают панегирик желанием и молитвою о благополучии похваленных особы. Иные обнадеживают оную о любви и почтении, которое к ней народ имеет. Иные поздравляют тем, что она толикими добродетельми от бога одарована» (Ломоносов 7, 71).

В оде 1757 г. Елизавета Петровна императрица молится Богу, и Бог, как бы в ответ, благословляет ее. Поэт дает следующий комментарий к Его словам:

*Правители, судьи, внушите,
Услыши вся словесна плоть,
Народы с трепетом внимлите:
Сие глаголет вам господь
Святым своим в пророках духом;
Впери всяк ум и вникни слухом:
Божественный певец Давид
Священными шумит струнами,
И бога полными устами
Исайя восхищен гремит.*

(Ломоносов 8, 636)

Поэт является голосом Божиим, уподобляя себя псалмопевцу и пророку. До какой степени это уподобление «чисто литературное» — дело интерпретации.

Здесь обращают на себя внимание образы, связанные со слуховым восприятием — *внимлите, глаголет, вникни слухом, шумит, полными устами, гремит*, — их можно связать с ветхозаветным,

псалмическим пафосом этих строк. Можно также сопоставить слуховую и зрительную способности как оппозицию двух парадигм чувственного восприятия мира, которые соотносятся с Ветхим и Новым заветами (Джей 1994, 33–7) и каждая из которых представлена в одах. Но, с нашей точки зрения, можно говорить здесь скорее о сходстве функций слуха и зрения, а следовательно — об оппозиции между чувственным восприятием и умственным, об умозрительном пути к истине.

В этом отношении примечательны многочисленные жалобы в одах на ограниченность возможностей словесного искусства. До определенной степени — это новая версия древнерусского топоса о «невыразимости словами чувств», который и определяет смиренное отношение писателя к тем божественным истинам, которым он дает выражение, тем самым подчеркивая сакральный характер текста. Этот топос может обозначать в одах скромность (и политическую подчиненность) поэта, который определяет себя как «всепопданнейший раб» в отношении к величию монарха (например, в оде «Первые трофеи»). Но «постоянный топос панегириков и од — мотив невыразимого» (Сазонова 1987, 121) указывает и на нечто большее, чем проявление литературного этикета: он отражает проблему границ коммуникативности. Речь идет о том, что чувства, испытываемые поэтом, по существу не поддаются описанию:

*Но ею [Елизаветой] весь пространнй свет
Наполненный страшась чудится:
Как в стих возможно ей вместиться?*

(Ломоносов 8, 83)

Видение «Девы, в солнце стоящей» также предваряется подобным риторическим признанием «немощи» поэта:

*Кому возможно описать
Твои доброты все подробну?
Как разве только указать
В Петре природу в том подобну?*

(Ломоносов 8, 65)

В этом отношении важно отметить: то, что не поддается вербализации, в гораздо большей степени может передаваться зрением.

Мы вернемся к этой теме. Но прежде я хотел бы сказать, что такой подход к проблеме воспроизведения (или передачи) истины словами вполне отражает традиционную православную точку зрения (о русской одической поэзии XVIII в. как выражении «апофатической традиции» см.: Артемьева 1996, 265–268). Слова недостаточны ни для откровения, ни для выражения божественных тайн. В православных богословских трудах типично недоверие к «внешней мудрости», «мудрствованию» и «(раз)глагольствованию». Такие ярлыки

часто прилагались к античной философии и к философствованию вообще. В противоположность «пустым словам», т. е. построению логических философских систем, задача богослова порой уподоблялась пению, исполнению музыки (часто по аналогии с псалмопевцем, играющим на многострунной лире: см. «Божественный певец Давид / Священными шумит струнами...»). Его призванием было не исследование качеств Бога, а славословие Ему. Подобное отношение помогает понять, почему Псалтирь была наиболее популярной и широко известной ветхозаветной книгой в России, а также то важное обстоятельство, почему оды, сознательно возводившиеся к псалмической модели, стали важнейшим жанром литературы XVIII в. Суть в том, что жанр торжественной оды был питаем сильнейшим источником культурной памяти, и его основные формальные установки отсылали к фундаментальным свойствам русской религиозной традиции, определявшей себя, между прочим, как православие — «правильное славление». Понятия «славословие» и «торжество», основополагающие для православного благочестия, являются в той же мере главенствующими функциями оды. Конечно, в больше мере это относится непосредственно к духовной оде, но «религиозные» функции славословия и торжества явно проектируются и на панегирические жанры.

Такой подход к задачам богословия особенно ярко выражен в сочинении св. Григория Паламы «Триады в защиту священно-безмолвствующих», из которого я буду приводить примеры «православного» истолкования зрения (О Паламе и о русском исихазме см.: Лосский 1947, 45–69; Малони 1973; Мейендорф 1974а, 1974б, 1974с; Громов, Мильков 2001, 84–91). Здесь приходится сделать несколько оговорок.

Во-первых, то, что Палама и его трактат, скорее всего, не были известны Ломоносову, не меняет существа дела: те идеи о зрении, которые в нем представлены, несомненно, были ему знакомы, потому что ими пронизано богословие, начиная с отцов церкви, идеи эти вошли в память культуры. В словесности риторического типа, простирающейся до рубежа XVIII–XIX вв., не всегда возможно указать прямой источник разного рода перекличек. Речь идет о явлениях сверхличностной памяти культуры⁴. Перед нами, если воспользоваться словами, сказанными совсем по другому поводу и применительно к другому материалу, «проблема автономного функционирования текста в качестве носителя памяти, что переводит проблему [...] с уровня „компетенции автора“ в скрытые области „компетенции текста“» (Силард 1996, 240) и, добавим от себя, — памяти культуры.

Непосредственная цель «Триад» Паламы — защита исихазма от нападок его критиков, но в то же время трактат красноречиво

суммирует и излагает православную теорию о визуальном, которая в общих чертах стала общим достоянием русской «культурной памяти» эпохи. Трактат Паламы подробно излагает то, что И. А. Есаулов недавно охарактеризовал как «визуальную доминанту русской словесности» (Есаулов 1998, 42–53)⁵.

Во-вторых, Палама представляет мистико-аскетическую, монашескую традицию в православии, которая, казалось бы, далека от просвещенческого контекста. Ломоносов же в своих полемических работах, где он защищал научное познание, цитировал не эту традицию, а то, что принято называть православным «богословием умеренного рационалистического толка» (т. е. Василия Великого, Григория Назианзина и Иоанна Дамаскина) (Громов, Мильков 2001, 110–125; Баранкова, Мильков 2001, 5–294, и в особенности 29–37 и 111–124; в отношении к Ломоносову см.: Луцевич 2002, гл. 5; и Левитт 2003, 236–245). Но и та, и другая тенденция в православном богословии, принципиально сходящиеся в защите иконопочитания, также (хотя и с разных позиций) отстаивали то, что можно определить как «оптический оптимизм», вера в теофанию (явление Бога человеку; богоявление). Именно такое уверенное представление о чудесном потенциале физического зрения, которое вполне уживалось с общим «оккулярцентризмом» эпохи Просвещения (Джей 1993; Левитт 2003), представляется, на наш взгляд, характерным для од.

Для Паламы стремление к истине было не словесной абстракцией, не *богословием*, но конкретным опытом, который он упоминал как *богосвидение* (Палама 2003, 97 и 111). В одах, как в православии и христианстве в целом, существует основополагающее противопоставление внутреннего и внешнего облика, духовного и чувственного видения (с одной стороны, глаза чувственного зрения, чувственное зрение, телесные глаза; с другой — глаза души, глаза ума, видение «духовными глазами», умный или духовный свет, свет души, и т. д.). В нашем фрагменте:

*Но спешно толь куда восходит
Внезапно мой плененный взор?
Видение мой дух возводит
Превыше Тессалийских гор!*

Но подобные противопоставления есть и во многих других местах, например:

*На верх Парнаских гор прекрасный
Стремится мысленный мой взор.*

(Ломоносов 8, 137)

См. также такие известные строки, как: «Я духом зрю минувше время», «Позволь мне духа взор простерть», «Бодришь, мой дух, смотри,

внимай», «Мой дух красу любви зрит», «Я вижу умными очами» и т. д. Как и в православном дискурсе, и в особенности у Паламы, в одах «взор ума» также отождествляется с «видением сердца» (например, в оде 1746 года: «сердце просвещенно / Величеством богини сей / На будущие дни взирает»; о так называемой «кардиологии» русских богословов см.: Громов, Мильков 2001, 92–101). Здесь и терминология, и основная система значений, относящаяся к зрению, почти одинаковы. Как у православных богословов, так и у русских мыслителей и поэтов XVIII в., значение «ума» колеблется между «духом» (фр. «l'esprit») и «земным пониманием», «человеческим разумом»⁶.

В мире ломоносовских од, как и у Паламы, идеал зрения — или, скорее, правильное зрение представляет собой равновесие между внутренним и внешним видением, их взаимопроникновение. В доказательство тому обычно приводятся три случая из Священного Писания: Моисей на горе Синай, единственный человек, который видел Бога «лицом к лицу»; пророк Илия, который стоял «перед лицом Господним» на горе Хорев (3 Цар 19); и чудо преображения (Иисус и апостолы, на горе Фавор; Мф 17:5 — название места по Оригену), которое по православному учению является залогом второго пришествия. Царство Божие не только внутри нас, но и вокруг. В оде Ломоносова видение «Девы в солнце» и России как «красного рая» прямо отсылает к таким моментам богоявления. С одной стороны, это чудесное видение новой, петровской России, воплощения рая на земле. С другой, это видение характеризует восторженное состояние поэта, его видение. Поэт выполняет роль псалмопевца, пророка, и мир передается через его вдохновенные, пророческие глаза. Г. А. Гуковский описал состояние лирического «я» в словах, которые нетрудно принять в религиозном смысле: «Эмоциональная основа всей системы Ломоносова осмысливается им как тема каждого его произведения в целом; это — лирический подъем, восторг, являющийся единственной темой его поэзии и только получающий различные оттенки в тех или иных одах (а также и речах). Для Ломоносова носителем восторга, т. е. единственным персонажем его лирической темы, является душа, пребывающая в состоянии сильнейшего аффекта, вознесенная к небесам, Парнасу; земные предметы не представляются ее взору, восхищенному в Жилище Муз; все предстает пред ней увеличенным, возведенным в достоинство божественного» (Гуковский 2001, 47).

Даже такие характерные жанровые признаки оды, как поэтический «восторг», «жар» и «восхищение», вписываются в православный эсхатологический ряд. Слово «восхищение», например, в православном дискурсе буквально обозначает физическое восхождение к Богу, восхождение «не по своей воле» (своего рода духовное

«похищение»; «он [св. Павел] был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать» (2 Кор 12:4). Показательно, что здесь, как и в одах, о процессе восхищения нельзя рассказать)⁷.

Центральная проблема отношения к зрению, мнение о котором частично определяется различием течений в богословской мысли, — это соотношение «внешнего» и «внутреннего» зора и степень их возможного сближения. Одни мыслители основной акцент делают на трудности преодоления расстояния между ними. Разрыв этот происходит из первородной греховности человеческого мира и обманчивости «внешних» чувств. Для других самое главное — это конечная цель видения и вера в то, что расстояние между человеком и Богом преодолимо; с этой точки зрения и телесный мир, и чувства принимают участие в чуде преображения («приобщаются»), и человек может «обожествиться». Такое раздвоение во мнениях часто встречается в интерпретации важных для проблемы зрения библейских текстов, как, например: «Теперь мы видим как бы сквозь (тусклое) стекло, гадательно» (1 Кор 13:12). Хотя образ «тусклого стекла» часто упоминается как символ непрочности видения в нашем подлунном мире, 13-я глава из Послания апостола Павла коринфянам как целое может интерпретироваться также как утверждение божественного потенциала зрения — конкретной возможности увидеть Бога «лицом к лицу»: «Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится. Ибо мы отчасти знаем, и отчасти пророчествуем. Когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти, прекратится» (1 Кор 13:8–10); «Теперь мы видим как бы сквозь (тусклое) стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу; теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан» (1 Кор 13:12).

Палама принадлежит к тем, кто верит, что стекло может стать прозрачным, что боговидение доказано опытом святых и доступно человечеству (скептическая позиция с акцентом на первородном грехе человечества типична для протестантского мира)⁸. Как и все православные богословы, Палама исходит из положения, что никто не может видеть Бога «в сущности», а только в проявлениях «энергий» (кроме трех выше названных исключений, служащих залогом более полного откровения в конце времен). Несмотря на это, он настаивает на том, что «избавившийся от страстей ум видит при молитве самого себя как бы светом и Божьим светом озаряется» (Палама 2003, 67); «поистине человек видит тогда духом, а не умом и не телом; каким-то сверхприродным знанием он точно знает, что видит свет, который выше света» (Палама 2003, 82). Богоявление для Паламы — идеал, но постигаемый, если не постижимый. Правильно приготовленный человек — святой, «избавившийся от страстей»,

усваивает правильный взгляд на окружающий мир. Он приобретает положительное знание, основанное на опыте, а не на абстрактных теориях. Степень этого знания зависит от степени его внутренней чистоты: «...человеческий ум, когда становится подобен ангелам бесстрашием [...] тоже может прикоснуться к Божьему свету и удостоиться сверхприродного богоявления, сущности Божией конечно не видя, но Бога в Его божественном проявлении, соразмерном человеческой способности видеть, — видя» (Палама 2003, 62).

Человек «видит не в полную меру Божьей красоты, а только в ту меру, в какую сам сделал себя способным воспринять силу Божия Духа» (Палама 2003, 77)⁹. Здесь можно сравнить аскетическую установку Паламы на «избавление от страстей ума» святого с известными требованиями Декарта к истинному философу: для обоих мыслителей «чистый ум» является и целью, и источником божественного знания, хотя для Паламы это куда менее рассудочное качество. Хотя можно сказать, что эта божественная прозрачность становится возможной благодаря совершенному равновесию между внутренним и внешним светом, внутренний свет все-таки первичнее и является онтологической (гносеологической) основой для «человеческой способности видеть». Палама объясняет: «...то, как чувственное зрение не может действовать без светящего ему извне света, так и ум в качестве обладателя умного чувства не смог бы видеть и действовать сам в себе, если бы его не освещал Божий свет» (Палама 2003, 68). К тому же такое знание — самое надежное: «Суть всего этого постигается собственно умным чувством. Говорю „чувством“ по причине явности, очевидности, совершенной надежности и немечтательности постижения, а кроме того потому, что тело тоже как-то приобщается к умному действию благодати, перестраивается в согласии с ней, само наполняется каким-то сочувствием сокровенных таинств души...» (Палама 2003, 93).

Это больше, чем лишь отрицательное (апофатическое) знание. «Виденье выше отрицания», такое знание «невыразимо и неминуемо» (Палама 2003, 63). Оно непосредственно, основано на опыте и происходит от «двойного» зрения, с одной стороны, чувственного, физического и умного (в какой-то мере даже рационального), а с другой, — духовного. Пишу *в какой-то мере* потому, что Палама как раз отвергает доводы чистых рассуждений как «мечтательность», пустое, абстрактное мышление. Кроме того, в эту группу способностей, связанных с (земным) умом, входит и воображение. Получается парадоксальное «незнание, которое выше знания, и знание, которое выше понимания, сокровенная причастность к сокровенному и невыразимое видение, тайное и неизреченное созерцание и вкушение вечного света» (Палама 2003, 105).

Оно «невыразимое, неизреченное», но все же истинно. Оно «выше понимания» в том смысле, что «каким-то сверхприродным

знанием он [человек] точно знает, что видит свет, который выше света, но чем его видит, он тогда не знает, да и дознаться до природы своего видения не может по неисследимости духа, которым видит» (Палама 2003, 82). Хотя человек может готовиться к такому опыту, делать аскетические упражнения, читать специальные молитвы и т. д., в конечном счете, видение — необъяснимое чудо, тайна, выражение благодати Всевышнего. Хотя чудо видения не поддается объяснению или описанию, оно, как в одах, маркируется особыми признаками. «Вкушение вечного света» и «слияние» плотского и духовного (Палама 2003, 105) сопровождается жаром, радостью, восторгом, восхищением, наслаждением. Душевное потрясение отражается на теле. Так, «в молитве умным чувством мы ощутим божественное и нетронутое скорбью наслаждение. Кто испытал, как тело тоже чудесно перестраивается в том наслаждении, наполняясь чистой Божьей любовью...» (Палама 2003, 95).

Вдобавок к онтологической и гносеологической функциям света, его эстетическая роль, пожалуй, не менее важна. Это не только красота, о которой, как мы уже видели, Палама не раз упоминает, но и «эстетика» в первоначальном значении этого слова — как «чувственное восприятие или ощущение» (от гр. *aisthesis*) (Пеликан 1990, 102; о месте «красоты» в православии см.: Евдокимов 1990). Возвышенному состоянию тела соответствует процесс «обожения»: «Бог одновременно и целиком пребывает в Себе и целиком живет в нас, передавая нам таким образом не Свою природу, а Свою славу и сияние. Это божественный свет, и святые справедливо называют его божественностью: ведь он обоживает; а если так, то он еще и не просто божественность, а обожение само по себе, то есть начало божественности» (Палама 2003, 84–85 (здесь цит. «О божественных именах» Псевдо-Дионисия Ареопагита); об «обожении» или «обожевлении» у Паламы и в православии см.: Манцаридес 1984; Вилиамс 1995; Бартос 1999). Заметим мимоходом, что различие между божественной природой и сиянием было аргументом первостепенной важности для защитников икон. Иконам, как и людям, приписывалась мистическая способность отражать божественный свет: «Когда святые мужи видят в самих себе этот божественный свет — а они его видят, когда при неизреченном посещении усовещающих озарений получают боготворящее общение Духа, — они видят одежды своего обожания, потому что благодать Слова наполняет их ум славою и сиянием высшей красоты, как на Фаворе Божество Слова прославило божественным светом единое с Ним тело» (Палама 2003, 63; здесь цит. второе письмо св. Нила Анкирского).

Образ «чудесного одевания светом» связан с разными библейскими текстами, и среди самых важных — видение «Девы в солнце», которое к тому же являлось весьма популярным фольклорным мотивом

(Топорков 2003). То, что Палама сам прибегает к собственно литературному, даже библейскому образу («они видят одежды своего обожания»), чтобы выразить смысл «общения Духа», возвращает нас к вопросу о «невыразимости» словами и о способах преодоления этой «невыразимости». Хотя, по Паламе, чудесное «двойное» зрение обладает «явностью, очевидностью, совершенной надежностью и немечтательностью постижения», оно все-таки невыразимое. Как же быть? С одной стороны, для Паламы это, в конечном счете, вопрос веры в то, что имело место с «боговидцами»: «Что святые духовно видят свет, как сами говорят, ипостасный, а не символический, не наподобие воображений, сплетающихся от сочетания случайных обстоятельств, и что этот свет есть невещественное божественное воссияние и благодать, видимые невидимо и понимаемые непостижимо, — они знают на опыте» (Палама 2003, 197).

Зрение святых абсолютно прозрачно. Но другой вопрос — передается ли объективно такое «видимое невидимо» и «понимаемое непостижимо» знание другим людям. Здесь речь идет не столько о проблеме веры (признаем ли мы их мистический опыт всерьез), но и о границах коммуникации. То, что видится, не может передаться словами. В мире тусклых стекол нужны символы и подобия «воображений, сплетающихся от сочетания случайных обстоятельств»: «...недаром [...] — пишет Палама, — говорят о них (о «дарах несказанных» от Бога. — М. Л.), однако на примерах и уподобительно, — не потому что и видят их тоже на примерах и в подобиях, а потому что иначе показать увиденное невозможно» (Палама 2003, 79).

В этом контексте, по-моему, можно говорить и о сложной поэтике од Ломоносова, и о «барочных» средствах, которыми поэт выражает свое не поддающееся описанию восхищение. Это вопрос о противоречии между тусклым стеклом и прозрачностью, которую, как мы видели, самые слова всегда в какой-то мере замутняют. Примеры и уподобления необходимы. Здесь приходится говорить не только о сложных риторических средствах в одах, но и в особенности о функции классических — языческих — фигур. В оде 1742 г., например, видение «Девы в солнце» из Апокалипсиса сочетается с образом «Тессалийских гор», и Дева (Мария) мечет «перун» вниз на врагов. С одной стороны, можно говорить о «принципиальной метафоричности» барочного языкового наследия, которая, как пишут Живов и Успенский, обуславливает тот факт, что «религиозные моменты могут отсылать как к христианской, так и к античной языческой традиции, которые здесь свободно сочетаются, подчиняясь законам семантической многоплановости, присущей вообще барочной культуре» (Живов и Успенский 1987, 121). Согласно этим авторам, сочетание христианских и языческих образов «нейтрализует» или снимает потенциальный конфликт, который появлялся

в православном религиозном сознании при сакрализации монарха. Они показывают, как именно эти элементы античной языческой традиции стали частью нового религиозного сознания эпохи. С другой стороны, сам Палама указал на «принципиальную метафоричность» как на неизбежную проблему языка, поскольку любая попытка передать невыразимое словами должна волей-неволей опираться «на примеры» и говорить «уподобительно».

Если ода — своего рода молитва, то, может быть, она молитва в том смысле, который ей придает Палама. Он комментирует слова 32 Исаака Сирина, который в свою очередь ссылается на Григория Нисского. Речь идет о том особом состоянии души, когда «Над чистотой ума во время молитвы вспыхивает свет Святой Троицы и ум поднимается тогда выше молитвы: такое надо называть уже не молитвой, а рождением чистой молитвы, посылаемой Духом, и ум молится тогда не молитвой, но в исступлении переносится в непостижимую действительность, где незнание, которое выше знания. То сладостное зрелище, которое восхитило ум, заставило исступиться из всего (так. — М. Л.) и целиком обратило к себе, святой видит как свет, посылающий откровение, но не откровение чувственно ощущаемых тел, и не ограниченный ни вверх, ни вниз, ни в ширину; он вообще не видит пределов видимого им и озаряющего его света, но как если бы было некое солнце, бесконечно более яркое и громадное, чем все в мире, а в середине стоял бы он сам, весь сделавшись зрением, — вот на что это похоже» (Палама 2003, 83).

Таким образом, молитва, как и ода, не столько словесный жанр, сколько визуальный опыт теофании, о котором можно только сказать: «вот на что это похоже». В этом отношении можно процитировать Г. А. Гуковского, который описывает поэтику од в схожих терминах, сам прибегая к визуальной метафоре молнии: «В самом деле, восторженный пиит руководим в своем пении не разумом, но восхищением; его воображение парит, пролетает мигмом пространство, время, нарушает логические связи, подобно молнии, освещает сразу разнообразные места» (Гуковский 2001, 47). Видение (откровение) в одах переходит границы физического мира. Вещественный мир становится метафорой, с помощью которой поэт передает непередаваемое состояния души. Говоря о необычном словоупотреблении в одах, Гуковский пишет о том, что «Слово, связанное своим конкретным, так сказать земным значением, мешает его полету ввысь... Получается смешение предметного мышления с абстрактным, уничтожение границы между тем и другим» (Гуковский 2001, 46). Таким образом, неоднократные упоминания в одах об огромной величине российской империи (которой «пределов нет», «конца не зрит» и т. п.) — ее необозримость — не просто констатация несомненного факта, но и характеристика как душевного состояния

поэта, так и чудесной способности его зрения мгновенно охватить мысленным взором весь мир. То, что поэт «конца не зрит», не значит, что его зрение слабо (по аналогии недостаточной выразительности слов), а то, что величие России — бесконечно и восхищение поэта также не имеет предела¹⁰.

С одной стороны, в центре внимания Гуковского, как и Паламы, — душевное состояние того, кто видит «сладостное зрелище». С другой, такой вдохновенный человек, как и сам Гуковский, должен прибегать к иносказаниям — к символам, метафорам и подобиям «воображений, сплетающихся от сочетания случайных обстоятельств» (Палама 2003, 197); чтобы передать его словами. В число этих подобий включаются как античные образы, так и христианские. Такие видения-откровения имеют лишь поверхностную связь с реалиями этого мира и переходят границы пространства и времени. Хронотоп оды — утопический, вдохновенный, пророческий. Двойной свет откровения у Паламы, как и в одах, — «не ограниченный ни вверх, ни вниз, ни в ширину», и поэт, подобно боговидцу, «вообще не видит пределов видимого им и озаряющего его света». Сам образ солнца, который часто встречается в богословских трактатах как уподобление Богу и действиям божественного света, играет перво-степенную роль в одах, как не раз отмечалось критиками. Но, по-моему, здесь, как и в случае упоминания «Девы в солнце», речь идет не только об использовании известного образа в определенных чисто поэтических или политических (т. е., мирских) целях, но и о более глубоких процессах культурной памяти.

П Р И М Е Ч А Н И Я

- ¹ В. М. Живов и Б. А. Успенский отмечают, что для ломоносовских од «исключительно характерны панегирические славословия монарха с применением сакральных образов» (Живов и Успенский 1987, 123. См. также: Дороватовская 1911, 33–65).
- ² К вопросу об апокалиптицизме данных строк см.: Погосян, Смержевских 2003, 2–36. К сожалению, эта статья была мне недоступна во время написания данной работы.
- ³ В другой оде этого же года Елизавета, которая появляется на небе, более эксплицитно напоминает Деву: «*Рукою* вышнего венчанну, / *Стоящу* пред его лицом...» (Ломоносов 8, 84; курсив мой. — М. Л.).
- ⁴ Данная статья было представлена первоначально в виде доклада на конференции «Память литературного творчества», которая состоялась в Институте мировой литературы им. А. М. Горького (Москва, 2–4 декабря 2003 г.).
- ⁵ Следует добавить, однако, что И. А. Есаулов и те мыслители, на основании которых он предлагает идею об этой доминанте (в том числе П. А. Флоренский, Н. А. Бердяев, и Л. И. Шестов), полностью отрицают (или просто игнорируют) ее значение для XVIII в.
- ⁶ У мыслителей Просвещения это кажущееся противоречие или парадокс восходит к истокам новой («первой») картезианской философии, по которой (как у средне-

вековых аскетов) человеческий разум может очиститься от земного, случайного и подняться к Богу (как чистому разуму).

- ⁷ Можно рассматривать восхищение как особое отношение к гносеологической проблеме, как до некоторой степени необходимую реакцию на величие и необъятность вселенной. Здесь тоже присутствует и момент внезапного понимания границ человеческого бытия, которое воспринимается как «пленение» или «ощепенение». См. у Ломоносова такие фразы, как: «Восторг внезапный ум пленил» и в нашем отрывке: «Но спешно толь куда восходит / Внезапно мой плененный взор?»
- ⁸ Стефан Яворский оспаривает этот взгляд в своем известном антипротестантском трактате «Камень веры» (изд. 1728, 1729, 1730, 1749). Там же он цитирует данный текст из первого послания коринфянам в положительном смысле (Яворский 1999, 201, 212, 215–16). Как и «Триады» Паламы, «Камень веры» направлен против иконоборцев и мог служить другим примером «окулярцентрического» течения в православном богословии. Об «окулярцентризме» см.: Джей 1993; в применении к России см.: Левитт, 2003.
- ⁹ Ср. у Ломоносова: «Создатель дал роду человеческому две книги [...] Первая — видимый сей мир, им созданный, чтобы человек, смотря на огромность, красоту и стройность его зданий, признал божественное всемогущество, *по мере себе дарованного понятия*» (Ломоносов 4: 375; курсив мой. — М. Л.).
- ¹⁰ Ср. в оде 1754 г. — нет конца веселью: «Так ныне град Петров священный, / Толиким счастьем восхищенный, / Восшед отряд на высоту, / Вокруг веселия считает / И края им не обретает; / Какую зрит он красоту!» (Ломоносов 8, 558).

П Р И Н Я Т Ы Е С О К Р А Щ Е Н И Я

- Алексеева 2002 — Алексеева Н. Ю. Петербургский немецкий поэт Г. В. Фр. Юнкер // XVIII век. СПб., 2002. Сб. 22.
- Атремьева 1996 — Атремьева Т. В. История метафизики в России XVIII века. СПб., 1996.
- Баранкова, Мильков 2001 — Баранкова Г. С., Мильков В. В. Шестоднев Иоанна экзарха Болгарского. Памятники древнерусской мысли: исследования и тексты. СПб., 2001. Вып. 2.
- Бартош 1999 — Bartos E. Deification in Eastern Orthodox Theology. Carlisle, Cumbria (England), 1999.
- Брюс 1992 — Bruce B. S. ed., Religion and Modernization: Historians and Sociologists Debate the Secularization Thesis. Oxford, 1992.
- Бэр 1988 — Baehr S. L. The «Political Icon» in Seventeenth- and Eighteenth-Century Russia // Russian Literature Triquarterly. 1988. 21.
- Бэр 1991 — Baehr S. L. The Paradise Myth in Eighteenth-Century Russia: Utopian Patterns in Early Secular Russian Literature and Culture. Stanford, 1991.
- Вильямс 1995 — Williams A. N. Deification in Thomas Aquinas and Gregory Palamas. Thesis (Ph. D.), Yale University, 1995.
- Громов, Мильков 2001 — Мильков В. В., Громов М. Н. Идеиные течения древнерусской мысли. СПб., 2001.
- Гуковский 2001 — Гуковский Г. А. Ранние работы по истории русской поэзии XVIII века. М., 2001.
- Дороватовская 1911 — Дороватовская В. С. О заимствованиях Ломоносова из Библии // М. В. Ломоносов: 1711–1911: Сб. ст. / Под ред. В. В. Силовского. СПб., 1911.

- Джей 1993 — *Jay M. Downcast Eyes: The Denigration of Vision in Twentieth-Century French Thought.* Berkeley, 1993.
- Евдокимов 1970 — *Evdokimov P. L'art de l'icône: Théologie de la beauté.* Paris, 1970.
- Есаулов 1998 — *Есаулов И. А. Проблема визуальной доминанты русской словесности // Евангельский текст в русской литературе XVIII—XX веков: Цитата, реминисценция, мотив, сюжет, жанр / Сб. науч. трудов. Вып. 2 / Проблемы исторической поэтики / Под ред. В. Н. Захарова. Петрозаводск, 1998. Вып. 5.*
- Живов, Успенский 1987 — *Живов В. М., Успенский Б. А. Царь и Бог: Семиотические аспекты сакрализации монарха в России // Языки культуры и проблемы переводимости. М., 1987.*
- Живов 1996 — *Живов В. М. Язык и культура в России XVIII века. М., 1996.*
- Котельников 1994 — *Котельников В. А. Православие в творчестве русских писателей XIX века. Автореферат дисс.... докт. филолог. наук. СПб., 1994.*
- Котельников 2002 — *Христианство и новая русская литература XVIII—XX веков. Библиографический указатель / Под ред. В. А. Котельникова, сост. А. П. Дмитриев и Л. В. Дмитриева. СПб., 2002.*
- Левитт 1993 — *Levitt M. Драма Сумарокова «Пустынный»: к вопросу о жанровых и идейных источниках русского классицизма // XVIII век. СПб., 1993. Сб. 18.*
- Левитт 2003 — *Levitt M. C. The «Obviousness» of the Truth in Eighteenth-Century Russian Thought // Философский век: Альманах. История философии как философия. СПб., 2003. Вып. 24. Ч. 1.*
- Левицкий 1977 — *Levitsky, A. A. The Sacred Ode (Oda Duxovnaja) in Eighteenth-Century Russian Literary Culture. Ph. D. University of Michigan. Ann Arbor, 1977.*
- Ломоносов — *Ломоносов М. В. Полное собрание сочинений: В 11 т. М., 1950 — 1983.*
- Лосский 1947 — *Lossky V. In the Image and Likeness of God. New York, 1947.*
- Луцевич 2002 — *Луцевич Л. Ф. Псалтырь в русской поэзии. СПб., 2002.*
- Малони 1973 — *Maloney G. A. Russian Hesychasm. The Spirituality of Nil Sorskij. The Hague, 1973.*
- Манцаридес 1984 — *Mantzarides G. I. The Deification of Man: St. Gregory Palamas and the Orthodox Tradition / Trans. L. Sherrard. Crestwood; New York, 1984.*
- Мейендорф 1974а — *Meyendorff J. Byzantine Hesychasm: Historical, Theological and Social Problems: Collected Studies. London, 1974.*
- Мейендорф 1974б — *Meyendorff J. St. Gregory Palamas and Orthodox Spirituality. New York, 1974.*
- Мейендорф 1974в — *Meyendorff J. A Study of Gregory Palamas. New York, 1974.*
- НСК 1983 — *Настольная книга священнослужителя. М., 1983. Т. 4.*
- Палама 2003 — *Палама, св. Григорий. Триады в защиту священо-безмолвствующих / Пер., послесл. и коммент. В. Вениаминова. М., 2003.*
- Погосян, Смержевских 2002 — *Погосян Е., Смержевских М. «Я деву в солнце зрю стоящу...»: Апокалиптический сюжет и формы исторической рефлексии // Studia russica Helsingiensia et Tartuensia. История и историософия в литературном преломлении. Тарту, 2002. VIII.*
- Пумпянский 1983а — *Пумпянский Л. В. К истории русского классицизма (поэтика Ломоносова) // Контекст 1982: Литературно-теоретические исследования. М., 1983.*
- Пумпянский 1983б — *Пумпянский Л. В. Ломоносов и немецкая школа разума // XVIII век. СПб., 1983. Сб. 14.*
- Пушкарев 1997 — *Пушкарев Л. Н. Своеобразие русской культуры последней трети XVIII в. — времени Екатерины II // Русская культура последней трети XVIII в. М., 1997.*

- Сазонова 1987 — *Сазонова Л. И.* От русского панегирика XVII в. к оде М. В. Ломоносова // *Ломоносов и русская литература*. М., 1987.
- Серман 1998 — *Serman I. Z.* Mikhail Lomonosov: Life and Poetry. Jerusalem, 1988.
- Силард 1996 — *Силард Л.* Блок, Ахматова и другие (к диалогу поколений) // *Russica Romana*. 1996. Vol. 8.
- Сухомлинов 1891 — *Ломоносов М. В.* Сочинения / С объяснит. примеч. М. И. Сухомлинова / Стихотворения. СПб., 1891. Т. 1.
- Топорков 2003 — *Топорков А. Л.* Мотив «чудесного одевания» в русских заговорах XVI–XVIII вв. (в печати; в сокращенном виде см. в сб.: *Заговорный текст. Генезис и структура*. М., 2002. С. 55–62).
- Цапина 2001 — *Цапина О. А.* Православное просвещение: Оксюморон или историческая реальность? // *Les Lumières Européennes et la Civilization de la Russie*. Саратов, 2001.
- Яворский 1999 — *Яворский С.* Сказание об Антихристе, Догмат о святых иконах. М., 1999.

Русский бунт в зеркале перевернутого мира смеховой культуры (по материалам Пугачевского восстания)

На рубеже XX–XXI вв. в отечественной исторической науке происходит поистине революционная «смена парадигм». Многие современные исследователи в поисках новой познавательной проекции исторического процесса все чаще и чаще обращаются к культурологическим дефинициям, в частности к понятию «текста культуры». Под таким углом зрения становится очевидной тиражируемая наукой мысль о том, что каждая культура создает свой текст. Поэтому понять атрибуты этой культуры можно только на ее собственном языке.

Русский бунт относится к числу неотъемлемых элементов традиционной культуры, является частью ее текста. Следовательно, смыслополагание русского бунта обнаруживается только в контексте кодовой символики традиционализма. С этой точки зрения бунт можно рассматривать как реакцию традиционной культуры на кризис идентичности. С его помощью она пыталась транслировать свои ценности в будущее. «В истинных традиционных обществах, — подчеркивается в литературе, — исключительно большое значение придается механизмам запоминания и сохранения актуально важных для группы значений»¹. Таким образом, русский бунт оказывался своеобразным мостом между прошлым и будущим, отчаянной попыткой аксиологической апологии традиционализма в условиях модернизации.

Подобный интеллектуальный дискурс русского бунта, как представляется, сулит большие познавательные возможности. Однако имеющиеся в науке историографические наработки чаще всеголицетворяют собой попытки «прочитать» русский бунт на языке модернизации, т. е. новоевропейской культуры, что является по существу неразрешимой задачей. На этом языке понять архитектонику русского бунта невозможно. Отсюда проистекает и хрестоматийная, восходящая к А. С. Пушкину, оценка русского бунта как «бессмысленного» и «беспощадного», сформировавшая устойчивый научный и общественный стереотип. Характеристика столь же распространенная, сколь и несправедливая.

Сегодня, к сожалению, изучение бунташной проблематики оказалось на историографической обочине. Отчасти это вызвано реакцией интеллектуалов на гипертрофию повстанческой проблематики

в советское время. Отчасти — связано с трудностями теоретико-методологического характера. Привычная методология, разного рода детерминизмы уже не в состоянии обеспечить прирост новых знаний об изучаемом феномене. Возникает необходимость поиска новых исследовательских дискурсов и методологических контекстов. Одной из возможных попыток решения назревшей потребности является анализ русского бунта в категориях народной смеховой культуры.

Как известно, проблематика смеха в истории давно уже занимает полноправное место в исторической науке. Постулируемые подобными исследованиями научные подходы намечают новые познавательные возможности, требующие своей эмпирической реализации².

Задача-минимум, которую ставит перед собой автор, — познакомить читателей с результатами своих научных изысканий.

Задача-максимум — убедить в репрезентативности и верифицируемости своей познавательной интерпретации, т. е. превратить читателей в своих научных союзников.

Методологические установки работы определяются следующим образом:

— смех — это не обязательно смешно, так как на глубинном уровне он связан со смертью и миром мертвых, миром хаоса;

— смеховой мир — это мир изнаночный, перевернутый, основанный на культурно-символических оппозициях, для него характерно анти-поведение;

— смех агрессивен, он является откликом на какую-либо отрицательную ценность, попыткой ее преодоления;

— смех — это своеобразное психотерапевтическое средство, он дает возможность выплеснуть агрессивные эмоции по отношению к источнику зла, следовательно, смех выполняет компенсаторную функцию.

Однако в определенных случаях, например, в ситуации социокультурного кризиса, привычная психотерапия не срабатывала. Тогда смех из средства снятия напряженности превращался в психосоциальный катализатор разрыва связей с традиционным авторитетом. Как отмечалось в литературе, «бунт против порядков этого мира естественно стимулирует и санкционирует анти-поведение»³. Поэтому при определенных обстоятельствах «смех мог перерасти в бунт»⁴.

В свете названных методологических принципов попытаемся рассмотреть Пугачевский бунт (1773–1775), который вспыхнул на исходе переходной эпохи от традиционного общества к индустриальному, явно обозначая свое тяготение к «уютному» и стабильному прошлому, оваянному незыблемым авторитетом предков.

Приступая к исследованию, заметим, что весь российский XVIII век прошел под знаком кризиса традиционной идентичности. Историк А. Б. Каменский подчеркивал, «что это был кризис

традиционализма, т. е. ситуация, при которой традиционно сложившиеся институты социальной и политической организации общества... исчерпали свой потенциал, оказались неспособными обеспечить переход страны на новую стадию развития и требовали коренной структурной реорганизации»⁵. Однако, вопреки мнению историка, необходимо признать, что этот кризис во многом был спровоцирован не столько внутренней беспомощностью традиционной системы, сколько инновациями, проникавшими из Европы и становившимися «руководством к действию» для правящей элиты.

Традиционная культура из тупика системного кризиса ищет спасение в самой себе. С помощью бунта она пытается реанимировать рвущуюся связь времен. Модернизация же подражает образцам извне (т. е. чужим и чуждым), внедряя их в неподготовленную для этого почву. Дело в том, что в основе новоевропейской культуры лежали принципы рационализма и секуляризации. Но для их усвоения необходимо было освободить сознание русских простецов из религиозных пут. На смену религии должна была прийти наука (например, в Европе катализатором данных перемен стала естественно-научная революция и спровоцированные ею последствия). Русский же народ в массе своей был неучен, достижения науки обошли его стороной. В России не развилась система массового образования. Следовательно, религия по-прежнему оставалась психологической доминантой народной «картины мира». Отсюда цепляние за традицию, обычай, норму, ритуал, религиозную санкцию и т. п.

Кризис традиционной идентичности обнаруживал себя в ускоренной вестернизации страны, многочисленных дворцовых переворотах с не прекращавшейся чехардой лиц у власти, почти в беспрерывном царстве женщин и младенцев, в разгосударствлении дворянской службы и мн. др. Он был неизбежным следствием начинавшейся модернизации. По образному замечанию В. О. Ключевского, в XVII столетии царь «Алексей Михайлович... в преобразовательном движении... одной ногой... еще крепко упирался в родную православную старину, а другую уже занес было за ее черту, да так и остался в этом нерешительном переходном положении»⁶.

Позднее, уже в XVIII в. с такой робостью было покончено, темпы движения к индустриальному обществу значительно возросли, и модернизация, разрушая эмоциональную гармонию российского простеца, вела к распаду привычной и комфортной повседневности.

Поэтому уже петровские преобразования воспринимались массовым сознанием как экспансия смехового, кромешного, сатанинского мира, как наступление последних времен⁷.

«В православном сознании, — пишет Г. Ю. Литвинцева, — маскирование было одним из наиболее устойчивых признаков „бесовства“. Маскирование допускалось в мире „антикультуры“ —

изнаночном мире, где наизнанку выворачивались настоящие вещи, понятия, идеи. При Петре картина меняется: этот „нереальный“ перевернутый мир становится реальностью. Петр пытается установить „натуральное право“ на веселье, внушая мысль, что „разгул“, „шумство“, „бесовства“ — обыкновенная вещь, и веселиться можно всем где угодно и когда угодно»⁸.

В аналитической литературе убедительно предполагалось, что «своим подданным царь вместо реальной Европы предлагал ее национальную модель, которая строилась как антимодель национальной культуры»⁹. Результатом символически-кошунственных нововведений Петра I стала оценка мира господ, как мира смехового, т. е. перевернутого. В дальнейшем такая оценка могла лишь усиливаться, чему в немалой степени способствовал социально-психологический фон эпохи дворцовых переворотов. Множество временщиков и фаворитизм — как характерное явление жизни страны в XVIII в., только укрепляли веру в то, что всеми делами заправляют бояре (дворяне). Соглашаясь с подобной оценкой ситуации, историк Н. И. Павленко категорично заявляет: «Три силы управляли государством Российским...: бюрократия, фавориты и вельможи»¹⁰.

Травмировали народную психологию не прекращавшиеся балы и маскарады высшего света, их видимая «бесовская» форма. «С помощью пиротехники, а также плоскостных и объемных декораций создавались сложные фейерверочные и аллегорические фигуры, из которых составлялись фейерверочные группы... огромное количество изображений, поражавших зрителя четкостью и красотой... — сообщает историк Е. В. Анисимов... — Перед зрителями могли появиться движущиеся экипажи, животные, люди, парящие в небе боги, светила, птицы»¹¹.

Свадьбы шутов, карлики и карлицы могли рассматриваться как злая пародия на святое юродство. По мнению Г. П. Федотова, в московскую эпоху «юродство есть форма пророческого, в древнееврейском смысле, служения, соединенная с крайней аскезой. Специфически юродственное заключается лишь в посмеянии миру. Уже не мир ругается над блаженными, но они ругаются над миром». Теперь же в эпоху модернизации святое юродство стало стремительно окариатуриваться¹².

Пропагандируемое властью бритье бород символизировало перемену в известной культурной оппозиции мужского и женского начал. Сам Петр I, понимая всю условность внешней атрибутики, говорил: «Ведь наши старики по невежеству думают, что без бороды не внидут в царство небесное, хотя у Бога отверзто оно для всех честных людей. Какого бы закона верующие в него ни были, с бородами ли они или без бород, с париками ли они или плешивые, в длинном ли сарафане или в коротком кафтане»¹³. Однако, возражал

императору в ходе переключки времен известный знаток древнерусской литературе Н. К. Гудзий, «бритье бороды тогда имело эротический привкус и стояло в связи с довольно распространенным пороком мужеложства»¹⁴. Одним словом, по характерному замечанию А. С. Фаминцына, «любое „переряживание“, по народным представлениям, связывалось с колдовством и магией и вызывало суеверный страх»¹⁵.

Вчитаемся, например, в описание шутовской свадьбы в Ледяном доме в царствование Анны Иоанновны: «В свадебных торжествах, — пишет Н. И. Павленко, — участвовали пары „инородцев“, вызванных через губернаторов со всей страны. Для них сшили национальные костюмы, их потчевали национальными блюдами. На свадьбу гости ехали в санях, запряженных лошадьми, козлами, оленями, верблюдами, свиньями и т. д. Новобрачных везли в клетке, поставленной на слона»¹⁶.

Любопытно для описанного казуса то, что народы «арийского происхождения, — как отмечал А. Н. Афанасьев, — представляли бесов в различных звериных образах и, между прочим, громко хрюкающими свиньями... По указанию наших старинных памятников, нечистые духи ездят на свиньях»¹⁷. Характеризуя фольклорное переряживание, А. Н. Афанасьев отмечал: «Люди облакаются в звериные шкуры, рядятся быками, баранами, козлами, волками, медведями, бабой-ягой (ведьмой) и чертями, и в таком виде носятся по улицам, бьют в тазы и бубны, кривляются, распевают песни, творят всяческие бесчинства, создавая тем самым буйный разгул...»¹⁸. Согласимся, что описания свадьбы шутов и народных ряжений внешне совпадают почти с невероятной точностью, а значит, масовое созерцание могло провести и смысловые параллели.

Похожие аналогии вызывает знакомство с ритуальными празднествами у восточных славян. Б. А. Рыбаков писал: «Одной из характернейших черт святок и масленицы является ряжение, одевание тулупов шерстью вверх, ношение звериных масок и шумные карнавальные пляски в домах и на улицах. Рядятся в медведя, коня, быка, козу, гуся, журавля. Во время сборищ поют самые разнообразные песни из всего годового репертуара». При этом, как отмечает ученый, «во главе процессии „русальщиков“ часто носили чучело коня с настоящим конским черепом на шесте». Историк приводит сведения о сохранении данного обряда в России вплоть до XIX в.¹⁹

Подобные действия господ не могли не шокировать народ своей святотатственной откровенностью. Нарочитая анти-святость, балаганность отмечается в поведении правящих кругов на протяжении всего столетия. Элитарная культура, утверждавшая себя через анти-поведение, несомненно, должна была рассматриваться народом сквозь смеховые «очки». В результате социальные низы предполагали

наступление царства Антихриста, о котором неоднократно предупреждали многие расколоучители. «Эсхатологическое отчаяние породило разные модели действия. Наиболее распространенным было стремление любой ценой восстановить распадающееся единство мира»²⁰.

С воцарением Екатерины II ее деятельность также осмысливается в категориях анти-поведения. Уже вступление императрицы на престол, сопровождавшееся, как известно, загадочными, таинственными обстоятельствами, не признавалось массами законным. Это провоцировало появление слухов о чудесно спасшемся императоре — «истинном» царе. В глазах народа Екатерина, по удачному выражению историков, оказывалась «самозванцем на троне». «Царствование Екатерины II, — отмечал А. В. Гордон, — знаменательное явление российской истории во многих отношениях и прежде всего в том, что Россия всеми сторонами своей жизни, своей культурой, духовным миром обратилась к Новому времени»²¹. Поэтому порядки, создаваемые Екатериной, могли восприниматься простонародьем как перевернутое изображение «настоящих», «правильных» порядков, исходящих из традиции.

Резюмируя сказанное, отметим, что все названные и многие другие обстоятельства сигнализировали о несомненном кризисе традиционной идентичности. Разрушая авторитет, они способствовали нарастанию агрессивного страха по отношению к власти. «В истории случались кризисы групповой идентичности, которые проходили сравнительно незаметно и безболезненно, но бывали периоды „шума и ярости“, крушения старых и выдвижения новых кумиров», — со взвешенной убежденностью отмечали исследователи социальной психологии²². В такой ситуации карнавальная смех связывался с возможностью бунта. Пугачевщина стала народной реакцией на построенный господами мир «навыорот». Рассмотрим сказанное на нескольких примерах.

1. Указ Екатерины II от 22 августа 1767 г. запрещал крестьянам подавать челобитные непосредственно в руки государя. Для его понимания весьма показателен, например, «указ относительно челобитья крестьян, приписанных к Авязно-Петровскому заводу Демидова... В указе сам факт жалобы рассматривается как преступление... И указ предписывает: челобитчиков нещадно наказать и отправить на каторгу, составителя челобитной Дегтярева „наказать по указам“, а органам власти и управления и заводским властям «всех приписных крестьян удерживать в безмолвном повиновении всему тому, что им до ныне указами, е. и. в. в точности предписано»²³.

Однако в контексте традиционной картины мира подача челобитных считалась неотъемлемым правом народа. При этом в «основе такого поведения лежала вера в царскую справедливость, убежденность

в том, что государь обязательно примет сторону народа»²⁴. Неудивительно, что екатерининское законодательство, отменявшее традицию, должно было казаться русским простецам неправильным, «перевернутым».

Поэтому в повстанческом лагере наблюдаем прямо противоположную картину — знаменитые суды Пугачева-Петра III над помещиками по жалобам крестьян. То есть действия самозваного императора, в отличие от екатерининских, соответствуют традиционному диалогу власти и социальных низов. Так, например, «в Саранске на суд к Пугачеву крепостные крестьяне в течение трех дней приводили своих помещиков — более трехсот дворян по его приговорам были повешены. То же происходило и в других местах»²⁵.

2. Согласно распространенному мнению, екатерининское царствование — это эпоха «просвещенного абсолютизма», которая «стремилась воплотить в жизнь идею союза монарха и ученого, объединенных благородной целью совершенствования общественных нравов или изучения производительных сил природы ради овладения ими для блага государства. В истории XVIII в. известно немало попыток сближения представителей интеллектуальной элиты с августейшими особами»²⁶.

Пугачев-Петр III, наоборот, декларирует политику «непросвещенного абсолютизма», и в противовес дружбе Екатерины II со многими мыслителями он оказавшихся на его пути ученых казнит мучительной смертью. Вспомним хрестоматийный пример, приведенный А. С. Пушкиным: «Пугачев бежал по берегу Волги. Тут он встретил астронома Ловица и спросил, что он за человек. Услыша, что Ловиц наблюдал течение светил небесных, он велел его повесить поближе к звездам»²⁷.

3. Отмена обязательной дворянской службы нарушала привычную людям социальную гармонию, когда дворяне служат, а крестьяне обеспечивают материальную возможность этой службы. Поэтому односторонность дворянской эмансипации должна была восприниматься как очевидная перевернутость, как минус-поведение. Кроме того, «именно в царствование Екатерины II раздача дворцовых и государственных крестьян помещикам приняла невиданные размеры, — в каждый из 34 лет ее царствования в среднем раздавалось и жаловалось помещикам по 15 тысяч душ крестьян мужского пола»²⁸.

Пугачев же в образе Петра III неоднократно заявлял о намерении восстановить обязательную службу, а крестьянскую крепость — ликвидировать, т. е. опять-таки действует наперекор екатерининской политике, стремясь реанимировать гармоничные, «правильные» социальные взаимоотношения. При этом место дворян в социально-государственной иерархии должны были занять казаки — прочный оплот старины, оказавшиеся в XVIII в. под мощным давлением

правительственного пресса. «Угроза потери независимости надвигалась также на Яик», — писал историк И. Г. Рознер. Например, в ходе переписи из «2770 казаков они объявили беглыми 770 человек, невзирая на то, что последние служили в войске по 15, а иные по 30 лет. Беглыми были признаны в первую очередь бедные казаки... Признанные беглыми яицкие казаки были розданы помещикам близлежащих губерний»²⁹.

Нарушение казачьих традиций порождало у повстанческого императора уверенность в заинтересованности казаков перевернуть государственные порядки. Однако в рамках господствовавшего тогда мифологического мышления простой перестановки социального верха и низа недостаточно. Необходима знаковая перемена. Поэтому пугачевцы производят серию символических переименований: Берда — Москва, Яик — Петербург, И. Н. Зарубин — граф Чернышев, А. А. Овчинников — граф Панин, М. Г. Шигаев — граф Воронцов. Отныне Пугачев не сомневался, что новая «этикетка» в массовом сознании прочно прилеплась к ее сущностному смыслу.

Таким образом, рассматривая события 1773–1775 гг., убеждаемся в том, что кризис традиционной идентичности обнаруживал себя в культурном расколе XVIII столетия, когда порядки, создаваемые в ходе модернизации, воспринимались социальными низами, как утверждение перевернутого мира, как торжество кромешных сил. Соответственно, встав на защиту традиции, повстанцы пытались всем своим действиям придать противоположную смысловую окраску. Согласен с подобными утверждениями исследователь славянского фольклора А. С. Мыльников. Анализируя деятельность пугачевцев, он пишет: «Конечно, здесь, по сути дела, речь шла о смене знаков: крестьяне станут жить, как жили дворяне, а последние разделят участь своих бывших крестьян. Это отнюдь не было изобретением пугачевцев, а отражало крестьянский менталитет: сходные мотивы смены социальных ролей крепостных и их хозяев прослеживаются и в чешском фольклоре той эпохи»³⁰.

Итак, в глазах пугачевцев мир господ выступал как мир перевернутый, маскарадный. Однако «смешным» нередко выглядел и сам Пугачевский бунт. Напряженно переживаемое низами изменение традиционного порядка сублимировалось в элементы карнавального действия. В такой ситуации народный монархизм связывался с игровым миром традиционной культуры, имеется в виду так называемая «игра в царя».

Как подчеркивалось в литературе, внутри «игрового пространства господствует присущий только ему совершенный порядок», игра «устанавливает порядок, она сама есть порядок». При этом «порядок, устанавливаемый игрой, непреложен. Малейшее отклонение от него мешает игре, вторгается в ее самобытный характер,

лишает ее собственной ценности»³¹. То есть игра имеет место только тогда, когда все участники соблюдают ее правила.

Этим обстоятельством, как представляется, можно объяснить тот очевидный факт, что «большинство самозванцев почти не оставили следа в истории» и только те из них, «кто „докричался“ до народа... вошли в историю навечно»³². Иначе говоря, «одни самозванцы лучше играли свою роль», в то время как «другие... не соблюдали общепринятых „правил игры“ или же чаще их нарушали»³³.

Многие элементы «игры в царя» можно обнаружить, например, в истории появления среди яицких казаков «императора Петра III». «Выбрав» себе «государя», они, по свидетельству Пугачева, стали оказывать ему царские знаки внимания. В такой интерпретации самозванец мог выступать в своеобразной роли ряженого, дополняя ряд других «переряживаний».

Важным компонентом «игры» являлось принесение пугачевцами присяги, что подразумевало разрыв контактов с официальным миром господ. Клятва вассальной верности дублировалась также и своеобразным «постригом» — по-казачьи. Сообщения об этом разбросаны тут и там по страницам источников по истории Пугачевщины.

Например, крестьянин А. Н. Свешников сообщал, как после взятия пугачевцами крепости Магнитной «у солдат отрезали косы, что символизировало признание ими в качестве государя „Петра III“»³⁴. И это далеко не единственный пример подобных действий русских бунтарей. Тожество внешнего облика повстанцев символизировало принадлежность к «братству» избранных, «играющих» на одной стороне.

Затем в затеянную казаками «игру в царя» втягиваются представители господствующего и других сословий. Однако игра может продолжаться лишь до тех пор, пока ее участники придерживаются общепринятых правил. Нарушение игрового стереотипа табуируется культурными установками, оно подрывает веру в подлинность нарушителя, что приводит к печальной развязке. Поэтому недостойное, на первый взгляд, поведение П. И. Панина, публично и демонстративно таскавшего Пугачева за бороду, становится понятным в категориях символического, карнавального разоблачения. В контексте смеховой культуры брань и побои развенчивают царя.

Как отмечают исследователи игрового пространства, «столкнувшись с категорическим отказом играть или с ощутимым уменьшением „вознаграждения“, водящий в игре „впадает в отчаяние — состояние, отчасти напоминающее депрессию, но отличающееся от нее некоторыми существенными чертами. Это состояние более острое и содержит элементы фрустрации и растерянности, что может выражаться, например, в приступе безутешных рыданий»³⁵.

Подобные эмоциональные реакции проявились и в поведении Е. И. Пугачева, захваченного в плен правительственными войсками. Например, в письме генерал-прокурора Сената А. А. Вяземского Екатерине II выражается обеспокоенность по поводу «весьма робкого характера» Е. И. Пугачева, «робости души его»³⁶. Свидетель его казни А. Т. Болотов отметил, что Е. И. Пугачев «походил не столько на звероподобного какого-нибудь лютого разбойника, как на какого-либо маркитантишка или харчевника плюгавого. Бородка небольшая, волосы всклокоченные, и весь вид ничего не значащий». На эшафоте он стоял «почти в онемении» и только крестился и шептал молитвы³⁷. «Поймавшие его чиновники Екатерины II не могли прийти в себя от удивления и обиды в своем дворянском достоинстве, когда увидели, кто их держал целый год в страхе и трепете»³⁸.

Заметим, что подобное «онемение», «оцепенение», «ошеломление» и другие реактивные признаки были свойственны и многим пугачевским сподвижникам, также оказавшимся в плену. Слишком внезапным оказался для них эпилог игры. Отсюда и депрессивный психоз, заторможенность всех психологических реакций и т. п.

Кроме того, вспомним, что XVIII в. прошел под знаком кризиса традиционной идентичности. В такой ситуации очевидный крах традиционного трафарета трансформировался в поиск «истинного царя». Поиск идентичности атрибутируется в образе традиционного царя — благочестивого, справедливого и законного. Надежды на скорое пришествие «избавителя» охватили самые широкие слои населения. В условиях всеобщего ожидания Пугачев находит идентичность в готовом виде старорусского патриархального царя — народного «царя-батюшки».

К тому же специфическая самозванческая идентичность основывается в той или иной степени на мифологическом отождествлении. В психологически напряженной обстановке «потенциальный самозванец, обнаружив на своем теле „царский знак“ и памятуя о том, что народ ждет „царя-избавителя“ под именем, к примеру, Петра III, неминуемо начнет идентифицировать себя не просто как царя, но как „императора Петра III“. Сменив имя, он поменяет и прошлое... Следующим шагом должно стать внутреннее и внешнее перевоплощение самозванца, его вживание в конкретный образ „царя-избавителя“. Между самозванцем и теми, кто его поддерживает, устанавливаются отношения подданства, и только в системе этих отношений претендент на царский трон чувствует себя психологически комфортно, полностью забывая о своем самозванстве»³⁹. Добавим: и лишь до тех пор, пока существуют эти подданнические отношения. Согласно со сказанным и утверждение историка С. М. Троицкого о том, что вера народа в «„хорошего царя“ сыграла

определенную роль в мобилизации сил восставших и в известной мере способствовала их сплочению»⁴⁰.

Карнавальным образ выбранного «царя» предполагал соответствующее знаковой смене статуса поведение. «Царь» должен был обрушивать на «подданных» свою «грозу». А те, в свою очередь, — молить его: «Государь, пощади». Здесь необходимо отметить одно важное обстоятельство. Согласно авторитетному заключению исследователей, «насилие в обществе табуировано, что составляет одно из фундаментальных оснований культуры. Между тем в любом обществе существуют области, где это табу как будто не действует: физическое насилие допускается, а порой и предписывается общепринятой или групповой нормой». Такие области социальной структуры Т. Б. Щепанская определяет как «зоны насилия». Формирование подобного рода зон, «это часть процесса культурного освоения насилия в местах его концентрации в социуме», — подчеркивает исследовательница⁴¹. Допустимо предположение, что игровое пространство русского бунта отвечает требованиям предлагаемых дефиниций.

Поистине «игровыми» нередко выглядели опалы самозванного императора, а потому повстанческий смех иногда прорывается в многочисленных казнях пугачевцами своих противников. Например, смеховой «начинкой» распространенной у повстанцев казни через повешение могло быть ироническое «возвышение». Для дворян большое значение имело понятие социального и служебного статуса. Смысл их жизни заключался в стремлении вверх по социальной и служебной лестнице. Поэтому повешение в символическом плане — это и есть буквальное повышение, «повесить повыше».

Или наоборот — сбрасывание с башни вниз — это мгновенная перемена «верха» и «низа». Причем на языке смеховой культуры речь могла идти о тождестве буквальных верха и низа социальным. Поэтому сбрасывание с башни ритуализирует символическое развенчание. К тому же здесь умерщвление происходит через удар об землю, которая народной культурой относится к сакральным стихиям⁴². Подобное прочтение допустимо и при подвешивании бунтарями своих жертв за ноги. Перевертывание «вверх ногами» подобно здесь тому, как сам бунт переворачивал в целом все существующие порядки. Оппозиция «верха» и «низа» в традиционной культуре имеет глобально-обобщенную семантику.

С подобным символическим смехом мы сталкиваемся и во время других бунтов в истории Руси/России. Например, в ходе стрелецкого бунта 1682 г. в Москве восставшие чинили многочисленные расправы: «Но едва он (князь Юрий Долгоруков. — В. М.) успел сотворить крестное знамение, как был сброшен на копья. Труп его выволокли за ворота и разрубили на части; одни, распоровши живот, клали

в него рыбу, приговаривая: „Ешь теперь, князь, вкусно, так, как по-едал ты наше добро...“⁴³.

В данном примере смеховой контекст прослеживается, как представляется, в акцентировании материально-телесного низа. Высокий статус князя Долгорукова, принадлежавшего к одному из наиболее знатных российских родов, снижается посредством перевода ситуации к материально-телесному низу.

Весь эпизод в целом получает гротескный характер, связанный с высмеиванием различных частей тела. Идея умирающего-рождающегося тела обуславливает особое внимание гротеска ко рту, зад и брюху (чреву). Поэтому расправа стрельцов с Юрием Долгоруковым приобретает вполне ощущаемые смеховые очертания.

Согласно удачному наблюдению С. Е. Юркова, «Ритуальные шутки над покойником, ритуальный смех, выворачивание наизнанку одежды, нарочито бессмысленные действия — все это обладает определенным фиксированным значением, даже если их смысловая генеалогия забыта. Другое дело, что многие предметные и акциональные элементы обряда, попадая в контекст пародийного подражания, приобретают гротескный оттенок»⁴⁴.

Кроме того, обращаясь к источникам, заметим, что упоминания о повстанческом смехе нередко прямо присутствуют в расспросных и пыточных речах пугачевцев. Например, неоднократно указывалось, что во время многочисленных казней повстанцы «много тем веселились», совершали их «ради потехи» и т. п. Таким образом, можно утвердительно констатировать наличие повстанческого смеха в публичных расправах пугачевцев со своими противниками.

Идентифицировав себя с «истинным царем» Петром III и получив в этом безусловную поддержку восставших, Пугачев действительно должен был воспринимать порядки екатерининской России как «королевство кривых зеркал». Но и облаченные в «немецкий» камзол господа, не забыв еще языка традиционной культуры, нередко осмысливали Пугачевский бунт в категориях изнаночного мира.

Господствующим сословием Пугачев также воспринимался иронически, «со смехом», в «перевернутом» изображении. Это проявляется, например, в именовании его «маркизом», «чучелой», «которую воры Яицкие казаки играют». Например, по признанию А. А. Вяземского, присутствовавшая на казни Е. И. Пугачева публика иронично приговаривала: «Вот тебе корона, вот и престол!»⁴⁵ Его также неоднократно называли «извергом рода человеческого», «лютым и всеядовитым зверем», «другом бесов и наперсников сатанинских» и т. д.

Народный бунт воспринимался дворянами как самое большое зло, как абсолютное разрушение сложившейся системы отношений. Оказавшись на краю пропасти, дворяне пытаются говорить на понятном народу языке смеха. Разоблачая самозванного императора,

они интуитивно апеллируют к «карнавальному» образу Пугачева-Петра III. Его интерпретируют как «царя»-самозванца, т. е. представителя колдовского, вывороченного мира. Как отмечал Бахтин, в системе образов смехового, карнавального мира короля «всемирно избирают, его затем всемирно же осмеивают, ругают и бьют, когда время его царствования пройдет...»⁴⁶. Подобным же унижениям и уничтожениям подвергался и повстанческий предводитель.

В современной литературе справедливо отмечали: «Забрасывая шутовского „дублера“ короля тухлыми яйцами, нечистотами, поливая его бранью, толпа неистово смеялась. Смеясь, человек „выливал“ чувство страха по отношению к реальному правителю. Смех давал возможность выплеснуть агрессивные импульсы по отношению к нему»⁴⁷.

Стремление к карнавальному развенчанию мнимого монарха побуждало следователей в ходе допросов заставлять повстанцев признаваться, что теперь они считают своего вождя самозванцем Пугачевым. В самозванстве публично и неоднократно заставляют признаваться самого повстанческого вождя. Под нажимом следователей Пугачев уже в Яицком городке «кричал во все горло, что он — Зимовейской станицы донской казак, не умеющей грамоте, и их обманывал»⁴⁸.

Сказанное дает основание полагать, что, анализируя Пугачевский бунт в контексте мироощущения дворян, мы вновь оказываемся в мире перевернутых, смеховых отношений. Очередная констатация данного обстоятельства окончательно убеждает в существовании несомненной связи народного смеха и русского бунта.

Таким образом, обращаясь к «смеховой призме» русского бунта, получаем весьма необычный ракурс рассмотрения знакомого, казалось бы, явления. Насколько адекватна полученная картина бунта, однозначно судить нелегко. Но не вызывает никаких сомнений познавательная перспективность нашего исследовательского эксперимента. Русский бунт явно «посвежел», избавился от оков многочисленных детерминизмов, явил взору ученого и читателя свою многогранную архитектонику и обрел прочную опору в историческом опыте народной культуры. Поэтому представляется, что на современном уровне развития исторической науки игнорировать смеховой дискурс русского бунта уже невозможно.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Зильберман Д. Б. Традиция как коммуникация: трансляция ценностей; письменность // Вопросы философии. 1996. № 4. С. 85.

² См., например, очень содержательный обзор проблематики смеха: Дмитриев А. В. Социология юмора: Очерки. М., 1996.

- ³ Успенский Б. А. Анти-поведение в культуре Древней Руси // Успенский Б. А. Избранные труды. М., 1996. Т. 1. С. 473.
- ⁴ Николаева И. Ю. Образ власти в современной историографии: новые подходы и методологии (по материалам медиевистики) // Историческая наука и историческое сознание. Томск, 2000. С. 144.
- ⁵ Каменский А. Б. Российская империя в XVIII веке: традиции и модернизация. М., 1999. С. 45.
- ⁶ Ключевский В. О. Курс русской истории // Ключевский В. О. Соч.: В 9 т. М., 1988. Т. 3. С. 301.
- ⁷ Юдин А. В. Русская народная духовная культура. М., 1999. С. 280–281.
- ⁸ Литвинцева Г. Ю. Западноевропейское влияние на светскую жизнь русского дворянства в петровскую и екатерининскую эпохи // Catherine. 1996. № 4.
- ⁹ Парсамов В. С. В семиотическом пространстве русско-европейского диалога (XVIII — начало XIX века) // Одиссей: Человек в истории. 2001: Русская культура как исследовательская проблема. М., 2001. С. 237.
- ¹⁰ Павленко Н. И. Страсти у трона: история дворцовых переворотов. М., 1996. С. 264.
- ¹¹ Анисимов Е. В. Россия в середине XVIII в.: Борьба за наследие Петра. М., 1986. С. 180–181.
- ¹² Федотов Г. П. Святые Древней Руси. Ростов-на-Дону, 1999. С. 269.
- ¹³ Петр Великий. Воспоминания. Дневниковые записи. Анекдоты. СПб., 1993. С. 264.
- ¹⁴ Цит. по: Кон И. С. Сексуальная культура в России. Клубничка на березке. М., 1997.
- ¹⁵ Фаминцын А. С. Скоморохи на Руси. СПб., 1995. С. 122.
- ¹⁶ Павленко Н. И. Страсти у трона ... С. 107.
- ¹⁷ Афанасьев А. Н. Древо жизни: Избранные статьи. М., 1982. С. 172.
- ¹⁸ Афанасьев А. Н. Поэтические воззрения славян на природу. М., 1994. Т. 1. С. 718.
- ¹⁹ Рыбаков Б. А. Язычество Древней Руси. М., 1987. С. 664, 680.
- ²⁰ Уваров П. Ю. От эсхатологии к королевскому мифу нового времени (Религиозные войны и тираноборчество во Франции XVI века) // Средневековая Европа глазами современников и историков. М., 1995. Ч. 5: Человек в меняющемся мире. С. 10.
- ²¹ Гордон А. В. Просвещение в России — преобразование России // Catherine. 1996. № 2.
- ²² Руткевич А. М. Психистория Э. Г. Эриксона // Эриксон Э. Молодой Лютер. Психоаналитическое историческое исследование. М., 1996. С. 1–10.
- ²³ Беляевский М. Т. Накануне «Наказа» Екатерины II: к вопросу о социальной направленности политики «просвещенного абсолютизма» // Правительственная политика и классовая борьба в России в период абсолютизма. Куйбышев, 1985. С. 39.
- ²⁴ Усенко О. Г. Об отношении народных масс к царю Алексею Михайловичу // Царь и царство в русском общественном сознании. М., 1999. С. 75.
- ²⁵ Буганов В. И. Крестьянские войны в России XVII–XVIII веков. М., 1976. С. 210.
- ²⁶ Сытин А. К. Академик Петр Симон Паллас и Екатерина Великая // Catherine. 1996. № 6.
- ²⁷ Пушкин А. С. Полн. собр. соч. М., 1999. Т. 9. Кн. 1. С. 75.
- ²⁸ Беляевский М. Т. Накануне «Наказа» Екатерины II... С. 32–33.
- ²⁹ Рознер И. Г. Яик перед бурей (Восстание 1772 года на Яике — предвестник Крестьянской войны под руководством Е. Пугачева). М., 1966. С. 15.
- ³⁰ Мильников А. С. Самозванчество в контексте просвещенного абсолютизма (О модификации просветительской идеологии в народной культуре) // Монархия и народовластие в культуре Просвещения. М., 1995. С. 25–26.

- ³¹ Хейзинга Й. Номо Ludens: Статьи по истории культуры. М., 1997. С. 29.
- ³² Андреев И. Л. Анатомия самозванства // Наука и жизнь. 1999. № 10. С. 110.
- ³³ Усенко О. Г. Самозванчество на Руси: норма или патология? // Родина. 1995. № 1. С. 54.
- ³⁴ Побережников И. В. Новый источник по истории Пугачевщины на Урале и в Западной Сибири («Допрос» А. Н. Свешникова 1774 г.) // Источники по истории Западной Сибири: Матер. регион. научн. конф. Сургут, 2003. С. 20.
- ³⁵ См.: Берн Э. Игры, в которые играют люди (Психология человеческих взаимоотношений). Люди, которые играют в игры (Психология человеческой судьбы). СПб., 1992.
- ³⁶ Следствие и суд над Е. И. Пугачевым // Вопросы истории. 1966. № 9. С. 146.
- ³⁷ Цит. по: Овчинников Р. В. Следствие и суд над Е. И. Пугачевым и его сподвижниками (Источниковедческое исследование). М., 1995. С. 180.
- ³⁸ Покровский М. Н. Русская история с древнейших времен // Покровский М. Н. Избр. произв. М., 1965. Кн. 2. С. 132–133.
- ³⁹ Усенко О. Г. Самозванчество на Руси... № 2. С. 70.
- ⁴⁰ Троицкий С. М. Самозванцы в России XVII–XVIII веков // Вопросы истории. 1969. № 3. С. 137.
- ⁴¹ Щепанская Т. Б. Зоны насилия (по материалам русской сельской и современных субкультурных традиций) // Антропология насилия. СПб., 2001. С. 115, 116.
- ⁴² См., напр.: Домников С. Д. Мать-земля и Царь-город. Россия как традиционное общество. М., 2002. С. 60–103.
- ⁴³ Дневник зверского избиения московских бояр в столице в 1682 году и избрание двух царей Петра и Иоанна // Рождение империи. (История России и Дома Романовых в мемуарах современников). М., 1997. С. 16.
- ⁴⁴ Юрков С. Е. Гротеск в мифологическом сознании русского средневековья // Смыслы мифа: мифология в истории и культуре. Сборник в честь 90-летия профессора М. И. Шахновича. СПб., 2001. (Мыслители; Вып. 8).
- ⁴⁵ РГИА. Ф. 468. Оп. 32. Д. 2. Л. 744 об.
- ⁴⁶ Бахтин М. М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. М., 1990. С. 220.
- ⁴⁷ Николаева И. Ю. Образ власти в современной историографии... С. 142.
- ⁴⁸ Овчинников Р. В. Следствие и суд над Е. И. Пугачевым... С. 39.

Гносеология целостного знания И. Киреевского и Вл. Соловьева

Имена создателя «философии новых начал», или «философии верующего разума» Ивана Киреевского и Владимира Соловьева, спекулятивно разработавшего «философские начала цельного знания», разведенные во времени, могут быть поставлены рядом как имена создателей новой гносеологии. К ним обоим приложима характеристика Сергея Трубецкого, сказавшего о Вл. Соловьеве: «Основная идея, проникающая его метафизику, этику, эстетику... его публицистику, есть религиозная христианская идея». И речь идет не только о том, что их имена стоят в ряду таких великих христианских философов, как Максим Исповедник, Шеллинг, Баадер, но даже и в том, что их разделяет, мы часто можем найти существенные параллели и точки соприкосновения, поскольку «живым принципом их мышления» была основная идея христианства — идея Богочеловечества. При этом *differencia specifica* спекулятивной философии Соловьева — его «целое мира», понятое как «образ женской красоты» — идея откровения «Девы Всеславной» «Тайнице Божьих советов» предстает у Киреевского как совершенная душа, воплотившая «живые истины христианства», каковой для него была его глубоко верующая жена, фактически открывшая ему глаза на интеллектуальные богатства мира святоотеческого предания.

Определим основные подходы к созданию новой гносеологической парадигмы, сформулированные Киреевским:

1. Глубокая неудовлетворенность западноевропейским *рационализмом* — западными философскими системами «отвлеченных начал».

2. Констатация существующего в них пагубного разрыва между разумом и верой. Указание на «болезненное противоречие между умом и верою, между внутренними убеждениями и внешнею жизнью»¹.

3. Осознание необходимости объединения «в одно целое всех духовных сил» (разума, чувства, эстетического смысла, совести и бескорыстного стремления к истине).

4. Стремление не к механическому, а к органическому синтезу, исходя из способности мышления «возвыситься до сочувственного согласия с верой»².

5. Понимание веры (и Откровения) как «высшей разумности, животворной для ума»³.

6. Утверждение металогических принципов знания и бытия. Переход гносеологии в онтологию.

7. Создание положительной философии. Построение новой системы знания, основанной на тринитарной логике.

Через 28 лет после появления в «Русской беседе» статьи Киреевского «О необходимости и возможности новых начал для философии», представлявшей собой фактически введение к его большой философской работе, осенью 1874 г. Соловьев в своей магистерской диссертации — первой работе, посвященной новым основаниям знания, напишет вслед за Киреевским: «Философия в смысле исключительно теоретического познания окончила свое развитие и перешла безвозвратно в мир прошедшего»⁴.

Вслед за Киреевским Соловьев, рассматривая новую западную философию только как «рефлектирующее сознание», констатирует *односторонность* и потому *неистинность* обеих ее форм философского познания: как *чисто рационалистической*, дающей только «возможное познание», так и *чисто эмпирической*, которой Соловьев отказывал в праве на истинное познание. Здесь мы видим ту же беспощадную критику радио, что и в характеристике Киреевского: «Разум, который... абстрагирует только рациональные элементы, качественные и количественные определения, отношения во времени и пространстве, беден, односторонен и заходит в тупик». «Западноевропейская цивилизация, — констатирует далее Киреевский, — признает истинным знанием только чувственный опыт разума», указывая при этом, что одни мыслители встали на путь *формальной отвлеченности* — *рационализм*, другие — отвлеченности чувственной — *позитивизм*. В социальной жизни он находил выраженными эти тенденции в логической системе римского права⁵.

Таким образом, были разведены понятия истинного и западного знания и выражена исходная позиция новой парадигмы мышления. Область противостояния была определена как противостояние отвлеченному рационализму.

Соловьев, в свою очередь, подверг сокрушительной критике рационализм всех видов. Он поставил под сомнение уверенность в том, что рациональная философия является «высшей формой человеческой мысли» и самую ее способность удовлетворить «высшим запросам теоретического ума». В полном терминологическом созвучии с Киреевским он пишет об *отвлеченном рационализме*, в котором со свойственным ему диалектическим блеском различает *догматический*, *критический* и *абсолютный* рационализм. В этой динамической модели он видит движение, или ступени, ведущие от более низких форм познания к более высоким и уже несущие в себе возможность выхода за пределы самого рационализма.

1. *Догматический рационализм* Соловьев считает самой низкой формой разума, «когда объективное значение разума прямо предполагается как нечто данное и само по себе ясное, и затем *истины*

разума прямо развиваются как истины вещей (истины логические как истины онтологические). «Но на этом догматизме сам разум остановиться не может», — заключает философ. Стремясь вывести все из принципа, а не из данности, «рационализм догматический необходимо сменяется рационализмом критическим».

2. В *критическом рационализме*, ассоциируемом прежде всего с именем Канта, «сам разум, — пишет Соловьев, — исследует свои познавательные силы и подвергает критике свою предполагаемую способность постигать существо внешних вещей»⁶. Выделяя два фактора такого познания: а) *эмпирический*, включающий «данные чувственного восприятия, составляющие все реальное содержание познания», и б) *рационалистический*, включающий в себя априорные формы и законы нашего ума такие, как: 1) категории пространства и времени, 2) категории рассудка и 3) идеи разума, Соловьев не видит «внутренних форм связи» между двумя «коренными факторами нашего познания», «безусловно самостоятельными относительно друг друга» в контексте критического рационализма. Он пишет, что здесь «разумность, или всеединство есть только формальный принцип, выражающий только требование или умственную потребность сводить все к идеальному началу, которое само так же как и это требование существует только в нашем уме». Строгий диалектик Соловьев не видит возможности *истинного познания* в рамках *критического рационализма* при «взаимной независимости двух его переменных факторов».

3. *Абсолютный рационализм, или панлогизм* определяет содержание *истинного познания* в категориях разума и исходит из «убеждения, что все имеет действительность только в понятии». При такой позиции сам мыслящий субъект становится только одним из понятий, заключает Соловьев: «Все есть чистое понятие, т. е. понятие без понимающего и без понимаемого, мысль без мыслящего и мыслимого, все существует *actu puro*, в чистом безразличном бытии, равном небытию»⁷. Соловьев подвергает строгому суду позицию *абсолютного рационализма*, называя ее «колоссальной нелепостью, но совершенно неизбежной для отвлеченного *рационализма*, признающего единственным принципом разум сам по себе, то есть пустую форму истины, отвлеченно взятую»⁸.

За этой позицией Соловьева несомненно угадывается Киреевский с его непримиримым отношением к рационализму и острым нежеланием признавать отвлеченный и логический разум «за единственный орган разумения истины»⁹.

Здесь, как и у Киреевского, понятия знания и истины разведены. Киреевский говорит о ступенях знания, ведущих от рационалистического знания вверх: «так как человек мыслящий должен провести свое знание через логическое иго, то по крайней мере, он должен

знать, что здесь не верх знания, и есть еще ступень»¹⁰. У Соловьева, как и у Киреевского, выделены понятия ступеней знания, и говорится об их неизбежном движении в сторону «высших форм человеческой мысли» как форме проявления стремления удовлетворить «высшим запросам теоретического ума», что Киреевский определяет как возвышение истины «естественной ее правильным соотношением к духовной», как подъем разума до «духовного зрения, без которого невозможно обнять истину Божественную»¹¹. «Духовное зрение», «духовное знание», «знание гипер-логическое», «металогические принципы», «высшая разумность», «существенное общение с Божественными вещами» — таковы, по Киреевскому, атрибуты высшей, по отношению к западному рационализму, формы познания. Источник этого знания он видит в возвышении «способа мышления» до сочувственного согласия с верой¹².

Говоря о способности познания соответствовать «высшим запросам теоретического ума», Соловьев противопоставляет «формальной разумности», «пустой форме истины, отвлеченно взятой», «истинное познание» и апологетически утверждает обоснованность и достоверность метафизического познания. Здесь он выступает блестящим и остроумным апологетом той высшей гносеологической реальности, той новой формы позитивного знания, смелым провозвестником которой был Киреевский.

Соловьев легко преодолевает хорошо отработанную систему защиты рационалистического знания от метафизического, рассматривая разные формы гносеологического скептицизма, порожденные рационалистическими «предрассудками»¹³: *скептицизм эмпирический* и *скептицизм трансцендентальный*, утверждая тем самым возможность метафизического познания¹⁴. Причем в этом анализе он особенно артикулирует качества «разрозненности и противоречия»¹⁵, присущие рационалистическому мышлению.

Скептицизм эмпирический Соловьев называет популярным или школьным. Он строится на констатации ограниченности человеческого ума, на якобы присущей его природе неспособности к метафизическому знанию, т. е. на утверждении, исходящем не из исторического, а из метафизического познания, на безосновательном с точки зрения «рацио» полагании, что «нам известна сущность человеческого ума, что предполагает, следовательно, познание о некоторой сущности, т. е. метафизическое познание», — остроумно замечает Соловьев и отбрасывает претензии к метафизике, согласно которым отрицание метафизики строится на факте определенного метафизического познания.

В *скептицизме трансцендентальном*, к которому Соловьев относит скептическую систему Канта, он выделяет три типа:

1. Когда ставится под сомнение сам предмет познания: Ding an sich.

2. Когда за исходную точку берется познающий субъект.

3. Когда под сомнением оказывается действительность природы самого познания.

Аргументацию всех трех видов скептицизма Соловьев видит как предвзятую, основанную на *petitiones principii*, на раздробленности картины мира и видении явлений в их отдельности и разрыве — на насильственном отрыве их от природы сущего. «Когда говорят, что мы можем познавать только явления и никак не сущее в себе, то предполагают между тем и другим безусловную отдельность, не допускающую никакого общения». Это утверждение Соловьев считал «лишенным всякого основания»¹⁶.

Соловьев указывает, что утверждение непознаваемости «сущего самого по себе» по самой его природе несостоятельно, поскольку предполагает «безусловную отдельность» между явлением и сущим и не учитывает «необходимого соотношения» между феноменальным бытием и «истинно сущим». Метафизическое существо, определяемое как «абсолютная основа всех явлений», не может пониматься как *Ding an sich* (сущее в себе), — пишет философ, — «за ним уже утверждается некоторое отношение к другому и притом отношение определенное и сложное», и его надо рассматривать как «действительную основу действительных явлений во всем их бесконечном многообразии»¹⁷. Возможность метафизического познания утверждается философом на основе «определенного соответствия» между феноменальным миром и миром метафизическим¹⁸.

Безупречная спекулятивная мысль Соловьева дает логическое определение того, что называется *сущим в себе и явлением*, или, говоря словами Киреевского, «доступной суперрациональной истиной о Боге и Его отношении к миру»¹⁹: «Под явлением, — пишет Соловьев, — я разумею познаваемость существа, его предметность или бытие для другого; под сущим в себе или о себе разумею то же самое существо, поскольку оно не относится к другому, т. е. в его собственной подлежательной действительности». Иными словами, Соловьев приходит к обоснованию «всякого действительного познания как физического, так и метафизического» как познания сущего в его явлениях, определяя различие только в степени полноты «обнаружения сущего»²⁰.

В ответе на второй вид «скептического аргумента» о *предзаданности наших форм и категорий познания*, делающих невозможным «познание о самом сущем» Соловьев проявляет ту же метафизическую пронизательность. В дополнение к очевидному утверждению Канта о том, что «метафизическая существенность не определяется нашим актуальным пространством и нашим временем», Соловьев делает обоснованное допущение о неизбежном существовании системы соответствия между метафизической реальностью и «формами

вообще», что позволяет ему сделать обоснованный вывод: «самое общее определение метафизического существа требует допустить, что оно... обладает всеми относительными формами нашего мира»²¹.

Согласно третьему виду «скептического аргумента», все *содержание нашего познания* сводится к представлениям или состояниям нашего сознания, и поскольку метафизическая сущность не может быть нашим представлением, она для нас непознаваема. Соловьев, сведя разведенные в рационалистическом познании категории и поставив их в причинно-следственную связь, блестяще вышел и из этого «тупика». Согласившись с посылкой как с очевидным фактом: «Не подлежит никакому сомнению, что мы можем познавать только в своих собственных представлениях или состояниях нашего сознания», Соловьев снова подтолкнул мысль сомневающегося в сторону цельного видения: «эти наши представления предполагают, кроме своего субъекта еще определяющую объективную причину и сами суть ничто иное, как только познаваемость этой причины Соловьев пишет: «явление вообще не может быть само по себе, но необходимо есть явление сущего».

П Р И М Е Ч А Н И Я

¹ Киреевский И. В. Полн. собр. соч.: В 2 т. М., 1861. Т. 1. С. 270.

² Там же. С. 249.

³ Там же. С. 250.

⁴ Соловьев Вл. С. Собр. соч.: В 10 т. СПб., 1911–1914. Т. 1. С. 26.

⁵ Киреевский И. В. Полн. собр. соч. Т. 1. С. 111.

⁶ Соловьев Вл. С. Собр. соч. Т. 1. С. 267.

⁷ Там же. Т. 4. С. 272.

⁸ Там же. С. 268.

⁹ Киреевский И. В. Полн. собр. соч. Т. 1. С. 249.

¹⁰ Там же. С. 67.

¹¹ Там же. С. 249.

¹² Там же.

¹³ Соловьев Вл. С. Собр. соч. Т. 4. С. 294.

¹⁴ Там же. Т. 1. С. 343.

¹⁵ Там же. С. 249.

¹⁶ Там же. С. 344.

¹⁷ Там же. С. 343.

¹⁸ Там же.

¹⁹ Там же. С. 270.

²⁰ Там же. С. 344.

²¹ Там же. Т. 2. С. 346.

К истории знакомства с пьесой Чапека «R.U.R.» в России

Драма К. Чапека «R.U.R.» (1920), в которой впервые был создан образ робота и появилось само это слово, стала и первым его произведением, получившим известность в России. В 1923 г. Алексей Толстой незадолго до возвращения из эмиграции познакомился с этой пьесой в Германии, где она шла на берлинской сцене. Драма чешского писателя чрезвычайно увлекла его. Первое же интервью, данное им на родине и опубликованное в середине августа 1923 г., в значительной своей части было посвящено этой пьесе. Он назвал ее «совершенно гениальной, динамитной по содержанию и динамичной по силе развития действия» и отметил, что тема ее «мощна, грандиозна и символична»¹. Кратко пересказав содержание пьесы, он поделился также намерением осуществить ее постановку и проделать с этой целью необходимую, по его мнению, работу для адаптации ее к русской сцене и устранения некоторых «мелких» недостатков. Вскоре, однако, этот замысел трансформировался у него в создание собственной пьесы по мотивам драмы Чапека.

О заимствовании темы Толстой сам уведомил читателей в коротеньком предисловии, предпосланном журнальной, а затем и книжной публикации «Бунта машин». «Написанию этой пьесы предшествовало мое знакомство с пьесой „ВУР“ К. Чапека, — сообщил он. — Я взял у него тему. [...] Мое решение взять чужую тему было подкреплено примерами великих драматургов»². Позже он относил пьесу «Бунт машин» к числу своих «театральных переработок»³. Может быть, точнее всего ее можно определить как своего рода творческие вариации на тему сочинения Чапека, в которых использованы и основные события сюжета, и образы главных действующих лиц, и многие конкретные мотивы, иногда даже подробности, детали. И вместе с тем введены новые темы и новые персонажи, многое переосмыслено. Короче, создано талантливое перевоплощение образца.

История литературы знает бесчисленные заимствования сюжетов и персонажей. Правда, в литературе Нового времени это чаще всего касается традиционных сюжетов и образов (тема Дон Жуана, Фауста, библейские сюжеты и т. д.). В данном случае парадокс состоял в том, что ни образ робота, ни тема восстания роботов, составляющие основу драмы Чапека, еще не успели стать традиционными, а их автором был здравствующий современный писатель. Экстравагантность поступка Толстого в какой-то мере, возможно,

объяснялась и той атмосферой ниспровержения традиций и ломки «всего и вся», которой отличалась литературная жизнь революционной эпохи. Как бы то ни было, история знакомства с пьесой Чапека о роботах начиналась в России с подражания ей.

Естественно, уже в первых откликах на постановку «Бунта машин» делались и попытки сопоставления двух пьес (см. дальше). Позднее появились исследовательские работы⁴. Хотя прояснено далеко еще не все. Предлагаемая вниманию читателей статья посвящена отдельным, еще недостаточно изученным обстоятельствам знакомства в России со знаменитой драмой чешского писателя и возникновения на ее основе пьесы Толстого.

Начать целесообразно с маленькой литературной загадки, касающейся А. Толстого и М. Булгакова, которая подведет нас и к другим темам. Булгаков был одним из первых русских писателей, проявивших интерес к пьесе Толстого и Чапека. Как мы уже пытались однажды показать, о драме чешского писателя он узнал от Толстого, по всей видимости, в августе-сентябре 1923 г.⁵ Однако настойчиво напрашивается и другая версия — о том, что это произошло еще во время кратковременной поездки Толстого из Германии в Москву в мае того же года. Дело в том, что у Булгакова есть небольшой юмористический этюд, озаглавленный той же аббревиатурой, что и пьеса Чапека. Этюд этот включен им в подборку нескольких зарисовок курьезных случаев под общим названием «Самоцветный быт». Полный текст коротенькой сценки таков:

«Р.У.Р.

„Мы вам не Рур“ — было написано на плакате. — Российское управление Романовых, — прочитала моя знакомая дама и прибавила: — Это остроумно, хотя, вообще говоря, я не люблю большевистского остроумия»⁶.

Юмористическая миниатюра была опубликована 15 июля 1923 г. — всего через несколько недель после московской встречи Булгакова с Толстым (конец мая), и к тому же опубликована в литературном приложении к русской газете «Накануне», которая издавалась сменовеховцами в Берлине и доставлялась в крупные города России. Литературное приложение редактировал как раз А. Толстой. Все как будто говорит в пользу того, что Булгаков обыграл название пьесы Чапека, которое узнал от Толстого в Москве. Однако при ближайшем знакомстве с фактами изложенная версия не находит подтверждения. Выясняется, что Толстой довольно долго вообще не знал точного названия пьесы Чапека и все время называл ее (в том числе в упомянутом предисловии к публикациям пьесы «Бунт машин») не «Р.У.Р.», а «ВУР». Иными словами, он пользовался названием, восходящим к немецкому ее переводу Отто Пика

(пражский немецкоязычный литератор), вышедшему двумя изданиями — в 1921 и 1922 гг. — в Лейпциге. Заглавие пьесы в этом переводе отличалось от оригинала. Если у Чапека драма носит название «R. U. R., Rossum's Universal Robots», то в переводе Пика она была озаглавлена «WUR. Werstands universal robots».

Дело в том, что пьеса Чапека пронизана ассоциациями с американским стилем жизни, который символизировал в его глазах век современного технического прогресса, бездуховности и стандарта. Именно в этой связи название комбината и фирмы по производству роботов, вынесенное Чапеком в заглавие его пьесы, было стилизовано им под англоязычное звучание (поэтому, между прочим, в русском переводе это заглавие с полным основанием передают обычно латинскими буквами, а не кириллицей). Но Отто Пик, переводя драму Чапека, старался прежде всего сохранить не эту, а другую особенность заглавия, другой его смысловой оттенок — сближение фамилии создателя роботов с представлением о разуме, интеллекте, рассудке. (Претензия на создание искусственного человека изображается Чапеком как своего рода проявление гордыни разума, посягающего чуть ли не на миссию Бога.) Подобно тому, как в оригинале пьесы фамилия «Россум» напоминает чешское слово «разум» («rozum»), немецкий эквивалент «Werstand», найденный Пиком, включает в себе связь с аналогичным по смыслу немецким словом «Verstand». Однако в результате оказались утраченными англоязычные ассоциации. Изменилась и аббревиатура: вместо «R. U. R.» появилось «WUR». Этот, единственный в то время, немецкий перевод пьесы Чапека и имел хождение в Германии, где до августа 1923 г. жил в эмиграции Толстой и где ее ставили в театре, благодаря чему она и оказалась в поле его зрения. С немецкого текста пьесы был сделан и ее подстрочный русский перевод, осуществленный по договоренности с Толстым в Берлине неким Г. А. Кролем*, который предоставил ему текст для литературной обработки с целью продвижения затем пьесы на русскую сцену. Однако планы Толстого, как уже говорилось, вскоре претерпели изменения, и вместо литературной правки текста он создал свои вариации на тему драмы чешского писателя. На этой почве между ним и Кролем позднее возник даже конфликт, касавшийся авторских прав и разбиравшийся в судебном порядке в Ленинграде (иск Кроля, претендовавшего на соавторство и гонорары, не был удовлетворен).

* Сведения о Кроле крайне скудны. У него русское имя и отчество — Георгий Александрович. Встречается упоминание о нем как о театральном режиссере. Но принадлежит ли он к числу послереволюционных российских эмигрантов или же жил в Германии в силу иных обстоятельств, чем конкретно занимался в Берлине, был ли более тесно связан с немецкими театрами, а если был, то какими, — нам не удалось выяснить.

Повторим, что других переводов пьесы Чапека, ни немецких, ни русских, в 1923 г. попросту еще не существовало. Только в первой половине 1924 г., когда «Бунт машин» Толстого уже находился в печати и одновременно репетировался в ленинградском Большом Драматическом театре (преьера состоялась 14 апреля), вышел русский перевод чапековской драмы И. Мандельштама * и Е. Геркена, также сделанный с немецкого текста О. Пика и также носивший название «ВУР. Верстандовы универсальные работари». Тогда же в Чехии был создан наконец первый русский перевод пьесы Чапека непосредственно с чешского языка. Заслуга этого перевода принадлежала русскому писателю-эмигранту И. Ф. Каллиникову (жившему в Чехии с 1920 г.). Титул книги в данном случае полностью соответствовал оригиналу (сохранена была и англоязычная стилизация заглавия: К. Чапек. R.U.R. Rossum's Universal Robots. Коллективная драма в 3-х действиях с прологом. Прага: Пламя, 1924). Но это опять-таки уже 1924 год. А в России о переводе Каллиникова стало известно еще позднее.

Таким образом, если даже допустить, что Толстой что-либо слышал о пьесе Чапека уже перед майской поездкой в Москву, то знал он ее, как и Кроль, только под названием «ВУР» и не мог сообщить Булгакову другого заглавия. А тем самым отпадает и единственный аргумент (упомянутая аббревиатура) в пользу осведомленности Булгакова о пьесе Чапека уже весной 1923 г. Следовательно, заметка Булгакова не имеет никакого отношения к драме чешского писателя.

Ко всему прочему Булгаков и не мог бы рассчитывать, что читатели газеты поймут его аббревиатуру как отсылку к пьесе Чапека. До интервью Толстого журналу «Жизнь искусства» (середина августа 1923 г.) об этой пьесе в России попросту еще ничего не знали. Сведения о ней еще не проникли в российскую печать. Только позднее, в конце 1923 г. появились еще три мимолетных упоминания о ней — все в четвертой книжке ежеквартального журнала «Современный Запад», да и они страдали существенным дефектом (см. дальше), практически сводившим на нет их информационную ценность. Одно из этих упоминаний мелькнуло в небольшом обзоре текущей чешской литературы, принадлежавшем известному чешскому литературоведу и критику Арне Новаку. В этом обзоре обронена и фраза о Чапеке как «авторе смелой утопической трагедии в жанре Уэллса „R. U. R.“, завоевывающей в настоящее время сцены Европы и Америки»⁷. Чуть больше говорится о его пьесах «Из жизни насекомых» и «Средство Макропулоса» и о романе «Фабрика

* Не путать с поэтом О. Э. Мандельштамом. Переводил Исая Бенедиктович Мандельштам (1885–1954).

Абсолюта». Однако фамилия Чапека в этом обзоре последовательно воспроизводится в искаженном виде. В каких-нибудь полтора десятках строк, посвященных ему, она упоминается восемь раз, и во всех случаях вместо Чапек пишется Капек. (Имя в свою очередь воспроизводится как Карель.) О происхождении ошибки остается только гадать, тем более, что текст перевода в целом не вызывает особых нареканий. Встречаются, правда, единичные погрешности в передаче и других имен и фамилий — например, Зейферт вместо Сейферт, русифицированные Иосиф вместо Йозеф и Юрий вместо Иржи. Но как правило имена и фамилии воспроизводятся верно. Исключения не составляет и однофамилец Карела Чапека, чешский прозаик К. М. Чапек (Чапек-Ход. — С. Н.), говоря о котором, автор призывает не путать его с... Капеком! Каково бы ни было происхождение загадочной ошибки, она остается свидетельством полного незнания человеком, причастным к публикации обзора (будь то сам переводчик, редактор или корректор), ни имени, ни фамилии Карела Чапека.

Более того, фамилия Чапека в том же искаженном виде фигурирует и в двух анонимных упоминаниях о его пьесе в разделе мелких хроникальных заметок, где сообщается о ее издании в Англии⁸ и постановке на сцене в Праге. В последнем случае анекдотически звучит и характеристика содержания пьесы. Сказано, что «„WUR“ обозначает *Werstands Universal Raboters* — общество для приготовления искусственных людей. Капек полагает, что при дальнейшем прогрессе естественный способ рождения на свет людей будет заменен искусственным оплодотворением»⁹. (Создается впечатление, что и обзор Новака, и обе заметки были заимствованы из какого-то зарубежного, скорее всего немецкого, источника, где уже содержались отмеченные ошибки, связанные с неточным переводом с чешского и прочтением чешского «Ї» как «К».) Путаница с фамилией Чапека, не говоря уже о курьезном разъяснении смысла его драмы, делала все три сообщения совершенно невнятными. Единственным источником достоверных сведений о пьесе Чапека вплоть до 1924 г. оставалось интервью Толстого.

Проясним, однако, до конца смысл юмористической заметки Булгакова. Речь в ней явно идет о Рурской области Германии. Еще 11 января 1923 г. район Рура вместе с Рейнской областью был оккупирован французскими и бельгийскими войсками (советское правительство сразу же выступило с заявлением, осуждавшим эту акцию). Плакат «Мы вам не Рур» скорее всего мог появиться в мае 1923 г. в атмосфере, сложившейся после меморандума министра иностранных дел Великобритании Дж. Н. Керзона, содержавшего ультимативные требования к России. Булгаков сам присутствовал 12 мая на грандиозной демонстрации в Москве, организованной

в знак протеста против ультиматума Керзона, и описал ее в своем дневнике и в фельетоне «Бенефис лорда Керзона». Демонстранты несли плакаты вроде: «Не шутите с огнем, господин Керзон», «Порох держим сухим» и т. п. Того же рода и плакат «Мы вам не Рур».

Название юморески Булгакова не было повторением сокращенного буквенного заглавия, придуманного Чапеком для своей пьесы, а лишь подчеркивало авторскую иронию по поводу неожиданного и комичного истолкования наивной дамой слова «Рур» как аббревиатуры. Булгаков вообще иронизировал тогда над повальным увлечением аббревиатурами и сокращенными названиями, в изобилии появившимися и вошедшими в моду в послереволюционные годы и в эпоху нэпа. Первое же впечатление от Москвы после приезда в столицу в 1921 г. было связано у него с такими словообразованиями. Едва сойдя с поезда и ступив на московскую землю, он был поражен диковинным плакатом: «Серый забор. На нем афиша. Огромные яркие буквы. Слово. Батюшки! Что ж за слово-то? Дюв-лам. Что ж значит-то? Значит-то что ж? Двенадцатилетний юбилей Владимира Маяковского. [...] Присел на тумбочку и, как зачарованный, уставился на слово. Ах, слово хорошо. А я, жалкий провинциал, хихикал в горах (на Кавказе. — С. Н.) на завполписка! Куда ж, к черту.»¹¹. Здесь тот же юмор, что и в «Самоцветном быте». Вспомним и фельетон Булгакова «Похождения Чичикова» со знаменитым фиктивным предприятием — предприятием-фантомом под названием «Пампуш на Твербуле» (памятник Пушкина на Тверском бульваре) и т. д.

Вернемся, однако, к Толстому. Скорее всего и сам он впервые услышал о пьесе Чапека уже после своей майской поездки в Москву. Это вроде бы подтверждается и изложением фактов в материалах упомянутого судебного разбирательства между Кролем и Толстым (оно состоялось в декабре 1924 г. в Ленинграде). В решении суда записано: «В июле месяце 1923 г. в Берлине (Германия) истец Кроль заключил договор с ответчиком Толстым, в силу которого они согласились работать совместно над переводами и обработкой немецких и других иностранных пьес для русской сцены [...] первыми работами стороны избрали пьесу чешского писателя Карла Чапека „Верстандовы универсальные работари“ и пьесу Лотаха (должно быть: Лотара. — С. Н.), во исполнение этого истец сделал построчный (так! — С. Н.) перевод пьесы К. Чапека и переслал его ответчику; после ознакомления с переводом и содержанием пьесы ответчик, который к тому времени уже в Москве узнал, что перевод этой пьесы (имеется в виду перевод И. Мандельштама и Е. Геркена. — С. Н.) предполагался к изданию Госиздатом, но был запрещен цензурой, нашел ее идеологически неприемлемой, несценичной и решил использовать ее тему — бунт механических людей против капитализма —

для самостоятельного произведения; после двухмесячной работы ответчик Толстой, использовав тему Чапека, закончил пьесу, назвав ее „Бунт машин“, пьеса под этим названием [...] появилась в печати сначала в № 2 Ленинградского журнала „Звезда“, потом отдельным изданием в издательстве „Время“. [...] Пьеса с 1924 г. принята и ставится на сцене Ленинградского Большого Драматического театра. До написания пьесы ответчик Толстой вел переговоры о ней с Художественным Советом этого театра, который был знаком с содержанием пьесы ВУР Чапека и разделял мнение ответчика о ее идеологических и сценических недостатках. После окончания ответчиком „Бунта машин“ Ленинградским Госиздатом был издан перевод пьесы „ВУР“»¹².

Материалы процитированного протокола позволяют составить более конкретное представление о последовательности и стадиях работы Толстого над пьесой «Бунт машин». Как мы видим, договор между ним и Кролем был заключен в июле месяце. Естественно, понадобилось некоторое время для создания текста перевода и пересылки его в Россию, куда Толстой прибыл 1 августа из эмиграции. Непосредственная работа над пьесой проходила, видимо, в августе—октябре, а полностью была завершена в ноябре. (Под текстом журнальной публикации Толстой поставил дату: 25 ноября 1923 г.)

Протокол отчасти проливает свет и на некоторые обстоятельства, сопутствовавшие созданию, постановке и публикации пьесы по мотивам Чапека. Конечно, отстаивая свою правоту в споре с Кролем и обосновывая необходимость переработки пьесы, Толстой мог дополнительно акцентировать и усиливать какие-то моменты. Вполне возможно, что это относится и к цензурным трудностям, с которыми столкнулись Мандельштам и Геркен при издании своего перевода. Трудности эти были, вероятно, не столь уж непреодолимы. Как никак, пьеса Чапека была-таки опубликована — практически одновременно с «Бунтом машин» Толстого. Правда, текст сохранил следы уступок переводчиков цензурным требованиям. Особенно последовательно они стремились ослабить религиозную окраску некоторых сцен, опустили многие реплики служанки Наны, а в финале пьесы «убрали» целую цитату из Библии — о шестом дне творения, когда был создан человек¹³. Купюры явно объясняются той атмосферой антирелигиозного психоза, который царил тогда в стране, насаждался сверху и достиг особого накала как раз в 1922–1923 гг. (Характерно, что и Толстой в заключительной сцене пьесы «Бунт машин» постарался избежать библейских параллелей, заменив их своего рода языческим гимном жизни, а от образа служанки Наны с ее патриархальной моралью и набожностью вообще отказался.) Можно говорить и о некотором усилении переводчиками социального звучания пьесы — главным образом, с помощью отдельных стилистических

сдвигов. Однако других существенных примет, которые свидетельствовали бы об учете переводчиками цензурных возражений или их вероятности, в переводе Мандельштама и Геркена практически нет. В этой связи ссылки Толстого на цензуру, как и формулировки типа «идеологически неприемлемая» (явная дань советским словесным штампам той поры), выглядят преувеличенными. Видимо, форсированы и утверждения о недостаточной сценичности пьесы. Ведь ставили же ее и в Европе, и в Америке, и в России.

В меньшей, если не большей, степени играло, видимо, роль собственное стремление Толстого придать более актуальное звучание теме понравившейся ему чешской пьесы, что отвечало и атмосфере, царившей в советской литературной среде, в которую он окунулся теперь. Формула «бунт механических людей против капитализма» в достаточной мере характеризует вектор декларированного им переосмысления пьесы Чапека. Мотивы социальной конфликтности хотя и присутствует в этой пьесе, но далеко не выступают на первый план. Чешский исследователь П. Яноушек с полным основанием отметил, что в драме Чапека «характерный для эпохи и часто изображавшийся тогда социальный конфликт переведен в иную плоскость, и речь идет о столкновении не столько между классами или иными группами, сколько между всем человечеством и чем-то нечеловеческим»¹⁴. Толстой шел в обратном направлении.

Как показано в упомянутой работе О. М. Малевича, автор «Бунта машин» усилил и вывел на первый план тему социального гнета, объектом которого выступают у него и роботы, придал владельцу комбината по производству искусственных людей черты диктатора-империалиста, а восстание роботов непосредственно связал с темой социальной революции в человеческом мире (роботы и восстают в пьесе Толстого под влиянием революционной агитации). В результате смысл пьесы оказался существенно смещенным по сравнению с драмой Чапека, а его философская идея суженной.

Идеологическая «адаптация» тех или иных произведений была в описываемое время достаточно распространенным явлением. Яркий пример тому (связанный также с чешской литературой) — история издания в СССР романа А. Ирасека «Псоглавцы». Написанный еще в 1884 г. и посвященный острому социальному конфликту чешских крестьян Ходского края с закрепощавшим их всемогущим правителем провинции, на стороне которого оказались и пражские власти, и суд, этот исторический роман (действие происходит в XVII в.) пользовался в революционное время огромной популярностью в России. Его автор, еще здравствовавший в 20-е гг. и отнюдь не принадлежавший к левым кругам у себя на родине, едва ли подозревал, что его книга на протяжении полутора десятилетий 12 раз издавалась в Советском Союзе, причем тиражами в десятки

тысяч, а в ряде случаев и в 100 тысяч экземпляров (издания 1923 и 1931 гг.), и широко использовалась в агитационных целях. Специально изменялось заглавие. В 1919 г. (как и ранее в изданиях периода революции 1904–1905 гг.) она выходила под названием «За свободу», в 1925 г. под заглавием «Против панов». Соответствующие акценты делались в предисловиях, комментариях и т. д. В целях усиления агитационного эффекта издатели шли также на переложение и обработку текста (обработка А. Алтаева и В. Н. Залежного в издании 1925 и 1928 гг., переложение М. Мишева в издании 1929 и 1930 гг.). При этом социально-классовый конфликт заострялся еще больше, и произведение начинало походить на агитационную брошюру, иллюстрирующую классовую борьбу¹⁵.

Толстой, естественно, был художником несравненно более крупного масштаба и обладал слишком развитым эстетическим вкусом, чтобы опускаться до создания агитационных поделок. Он избежал социологической вульгаризации темы. Однако и он хотел придать (и придал) заимствованной теме новые идейные акценты. Подобным образом понятая творческая задача также была одним из стимулов к новому воплощению чапековского сюжета.

Самое главное — пьеса Чапека глубоко захватила Толстого, стала для него своего рода наваждением. В интервью, как мы помним, он назвал ее даже «совершенно гениальной», хотя и полагал, что написана она недостаточно опытным автором. (О Чапеке-писателе и театральном деятеле — а Чапек в это время не только занимался литературным творчеством, но и служил завлитом и режиссером в пражском театре «На Виноградах» — он вообще, по-видимому, еще мало что знал.) Как писатель Толстой обладал сильным потенциалом собственной творческой инициативы, о чем говорят и такие его вещи того времени, как «Аэлита», «Гиперболоид инженера Гарина» и т. п. Но его художественной натуре свойственно было зажигаться вдохновением и от чужого огня, от произведений других авторов (вспомним в этой связи и историю его повести «Золотой ключик» и образа Буратино, восходящих к «Приключениям Пинноккио» Карло Коллоди). Толстовские вариации на тему пьесы Чапека при всей их вторичности отмечены своими художественными достоинствами и находками. Чешский писатель вдохновил его на активные творческие поиски. И вместе с тем невозможно отрицать, что история с использованием пьесы Чапека не лишена была со стороны Толстого явной некорректности по отношению к ее автору. Это, между прочим, сразу отметил М. Горький, заботившийся тогда о доброй репутации русской литературной среды. Ознакомившись с пьесами Чапека и Толстого, он писал в июне 1924 г. из Сорренто В. Ф. Ходасевичу: «Мне кажется, что мы, русские литераторы, накануне крупного скандала, не лестного для нас. Дело в том,

что чех Чапек написал весьма интересную и талантливую пьесу, а граф А. Н. Толстой „Бунт машин“, тоже пьесу. В маленьком предисловии к ней Толстой признает, что он „взял тему Чапека“, но из текста его работы явствует, что он взял и действующих лиц, да не постеснялся сделать и текстуальные заимствования. Не понимаю, что это? Торопливость, небрежность, отрицание или незнание литературных традиций? [...] Жду, когда Чапек узнает, как поступили в России с его пьесой, — будет большой и неприятный шум»¹⁶.

Шум действительно был, в том числе в западной печати. Протеста из окружения Чапека не последовало главным образом в силу того, что Россия не состояла тогда членом международной конвенции об охране авторских прав. Только позднее, в середине 30-х гг., когда Прагу посетила делегация советских писателей, в состав которой входил и А. Толстой, состоялась личная его беседа с Чапеком, и ситуация разрядилась. Встреча произошла, как это ясно из письма Толстого Л. И. Баршевой, 6 октября 1935 г. «После подписей (подписывания книг. — С. Н.), — сообщал Толстой, — банкет. Познакомился и разговаривал со знаменитым Чапеком (автором пьесы, из которой я сделал „Бунт машин“)¹².

Брат жены Чапека и поверенный в его делах Карел Шейнпфлюг вспоминал: «По рассказу Чапека А. Н. Толстой в присутствии М. Кольцова стал объяснять, как обстояло дело с использованием пьесы „R.U.R.“. Он сообщил, что драма ему очень понравилась и он хотел ознакомить с ней советскую общественность. Однако в том виде, в каком пьеса была написана, это не получалось и тогда он обработал (upravil) ее, чтобы она отвечала советским условиям. Чапек разрешил ситуацию очень просто. Он спросил: „А понравилось это?“ Толстой сказал, что „пьеса имела большой успех и долго шла на сцене“, на что Чапек, махнув рукой, произнес: „Ну так все в порядке“»¹⁰. Существует, правда, устное предание, что примирительному жесту Чапека предшествовала еще одна фраза. После того как Толстой сообщил, что пьеса имела успех, Чапек будто бы отреагировал словами: «Ну так я вас поздравляю!» Чувство юмора, никогда не покидавшее Чапека, не изменило ему и на этот раз.

Появление пьесы «Бунт машин» имело двоякие последствия. С одной стороны, она на некоторое время как бы «заместила» собой драму чешского писателя и заслонила ее, отчасти даже ограничила ее продвижение на русскую сцену. Правда, и она все же была поставлена несколькими любительскими театральными коллективами в Ленинграде. Но первая драматическая сцена в городе на Неве оказалась для нее закрытой, занятой. С другой стороны, именно Толстой был первым, кто еще в середине 1923 г. сообщил о пьесе Чапека в русской печати. И при этом восторженно отзывался о ней. Его интервью в еженедельном журнале «Жизнь искусства» дало

возможность нашим читателям не только впервые узнать об этой драме, но и составить пусть самое общее представление о ее содержании и сюжете. (Сразу же высоко оценил эту драму и Максим Горький, назвавший ее, как мы уже знаем, «весьма интересной и талантливой»). Но его мнение было высказано только в 1924 г., почти через год после интервью Толстого, а самое главное — высказано в частном письме. Оно не стало достоянием широкой публики, в отличие от информации Толстого.) В свою очередь постановка «Бунта машин» Толстого в самом престижном театре северной столицы и резонанс в театральных и литературных кругах также привлекали внимание и к Чапеку. Парадоксальным образом этому способствовала и атмосфера некоторой сенсационности, которая сопровождала тогда имя Толстого — дворянина и эмигранта, вернувшегося в Россию и перешедшего на сторону советской власти. За ним закрепилась экзотическая репутация «трудового» и «красного» графа.

Авторы отзывов о драме Толстого в определенной мере расходились в ее оценках. Самым восторженным был темпераментный очерк Корнея Чуковского, который почувствовал в пьесе «мажорную» атмосферу упоения энергией жизни и любви, противопоставленной высокомерным амбициям рассудка¹⁹. Отклики на постановку «Бунта машин» порой содержали ценные мысли и непосредственно о достоинствах драмы Чапека. Особенно выделялась в этом отношении рецензия А. Меньшого, которая появилась уже через две недели после премьеры «Бунта машин» и о которой следует сказать специально. Ее автор годом раньше видел пьесу Чапека на сцене берлинского Театра ам Курфюрстендам. Имея теперь возможность сравнивать, он решительно отдал предпочтение драме Чапека. По его мнению, расширение тематики пьесы (изображение обывательской среды и т. д.) не пошло ей на пользу, перегрузило ее и приглушило ее философское содержание. «Этот спектакль не произвел на меня сильного впечатления [...], — признавался рецензент. — Тот спектакль потряс меня, произвел впечатление неизгладимое. И это — несмотря на то, что в театре „Ам Курфюрстендам“ играют гораздо хуже, чем в Большом [...]. У Толстого [...] из-за лесу дров не видно. Из-за огромного множества эффектов не видно основной мысли. А ведь пьеса философская, и основная мысль — самое в ней главное. У Толстого приходится эту мысль вылавливать. Она мелькает там и сям, то в одной реплике, то в другой реплике. Надо [...], прослушав или прочитав пьесу до конца, сопоставить все эти реплики, все эти ударные места, — понять, осмыслить, остановиться, подумать — и тогда только все становится ясно... Это походная пьеса, пьеса, сделанная мастером, не выстраданная человеком. И нет в ней поэтому органического выстраданного драматизма. У Чапека

как раз все это есть [...] Прежде всего огонь есть. Огромное напряжение есть. Пьеса насыщена мыслью и эмоцией. И красной нитью через всю пьесу проходит *тревога*. Тревога Человека за человечество»²⁰.

Причину различий между пьесами Меньшой усматривал в несопадении особенностей самого таланта Чапека и Толстого, сильных сторон их дарований. Вместе с тем, по его суждению, могла сказаться и разница духовной атмосферы в Западной Европе и в России: «Может быть, объективные условия тут больше всего повинны. Нельзя ведь, в самом деле, в Советской России, где пронесся ураган революции, и в центральной Европе, где сейчас затишье перед бурей, где урагана еще не было, но чувствуется приближение урагана, и чувство это, предчувствие это тревожное разлито в воздухе — нельзя, говорю я, в России и центральной Европе писать одинаково. Здесь можно уже писать спокойно-холодно, а там... Там, в предчувствии роковых минут»²¹.

Можно соглашаться или не соглашаться, либо в разной степени соглашаться с характеристиками пьесы Толстого в рецензии Меньшого, но нельзя не отдать должного его проникновенному осмыслению драмы Чапека, постижению ее глубинного смысла. После интервью Толстого мнение Меньшого было самой яркой и высокой оценкой этой пьесы в русской печати не только 1920-х гг., но и всего межвоенного периода.

Интерес к Чапеку, первый импульс которому дал Толстой, передавался и другим деятелям литературы и театра, в том числе А. В. Луначарскому, К. И. Чуковскому, кинодраматургу Г. А. Гребнеру и режиссеру А. Н. Андриевскому, поставившим в 1935 г. фильм о роботах «Гибель сенсации» — по мотивам пьесы Чапека «R.U.R.», С. И. Кирсанову, написавшему в 30-е гг. «Поэму о роботе», и другим. Но, может быть, особый интерес представляет приоткрывшийся в последнее время творческий контакт с Толстым и Чапеком такого писателя, как Михаил Булгаков. Не исключено, что и само приобщение Булгакова к научной фантастике произошло не без примера Толстого и опосредованно — Чапека²².

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Злат А. О. О новых работах А. Н. Толстого. Из беседы // Жизнь искусства. Пг., 1923. № 32. С. 9.

² Толстой А. Бунт машин. Л., 1924. С. 5.

³ Толстой А. Краткая автобиография // Советские писатели. Автобиографии. М., 1959. Т. 2. С. 452.

⁴ Милиц З. Г., Малевич О. М. К. Чапек и А. Н. Толстой // Учен. зап. Тартуского университета. 1958. № 65. С. 122–129; Никольский С. В. Над страницами антиутопий К. Чапека и М. Булгакова. М.: Индрик, 2001. С. 75–114.

- ⁵ Никольский С. В. Синтез художественных структур в творчестве М. Булгакова и русско-чешские литературные контакты // Славянский альманах 2002. М., 2003. С. 386–398.
- ⁶ Булгаков М. А. Собр. соч: В 5 т. М., 1989. Т. 2. С. 219.
- ⁷ Новак А. Чешская литература // Современный Запад. Журнал литературы, науки и искусства. Пг., 1923. Кн. 4. С. 206–208.
- ⁸ Современный Запад... Пг., 1923. Кн. 4. С. 246.
- ⁹ Там же. С. 247.
- ¹⁰ Булгаков М. А. Собр. соч. Т. 2. С. 296.
- ¹¹ Булгаков М. А. Собр. соч. Т. 1. С. 492.
- ¹² ОР ИМЛИ. Ф. 43. Оп. 2. Д. 1097. Л. 1–2. (Решение Ленинградского Губернского Суда по Гражданскому Судебному Отделению).
- ¹³ Ср.: Минц З. Г., Малевич О. М. К. Чапек и А. Толстой... С. 126.
- ¹⁴ Janoušek P. Proměny dramatu. Praha, 1989. S. 73.
- ¹⁵ См. подробнее: Филипчикова Р. Л. Алоис Ирасек в России и в СССР // Чехословацко-советские литературные связи. М., 1964. С. 13–25.
- ¹⁶ Письма М. Горького к В. Ф. Ходасевичу // Новый журнал. XXXI. Нью-Йорк, 1952. С. 191–192.
- ¹⁷ Переписка А. Н. Толстого в 2 т. М., 1989. Т. 2. С. 238.
- ¹⁸ Scheinpflug K. Můj švagr Karel Čapek. Praha 1991. S. 100–101.
- ¹⁹ Чуковский К. Портреты современных писателей. Алексей Толстой // Русский современник. М., 1924. Кн. 1. С. 253–270.
- ²⁰ Меньшой А. О «Бунте машин» // Жизнь искусства. 1924. № 18. С. 13.
- ²¹ Там же.
- ²² См. подробнее: Ерыкалова И. Е. Адам и Ева [комментарии] // Булгаков М. А. Пьесы 30-х годов. СПб., 1994. С. 451; Никольский С. В. Синтез художественных структур в творчестве М. Булгакова и русско-чешские литературные контакты... С. 386–398; Яблоков Е. А. Художественный мир Михаила Булгакова. М., 2001. С. 318–322; Он же. «Я сыта по горло вашей любовью». Миф о Елене Прекрасной в произведениях К. Чапека и М. Булгакова // Ежегодник Общества братьев Чапек. СПб., 2002. С. 3–7.

И. И. Калиганов
(Москва)

Не останется ли Россия без Ивана Вазова в XXI веке? *

Глубокоуважаемые коллеги, гости и участники в празднике! Вначале я намеревался подготовить высказывание о некоторых поэтических приемах в творчестве Ивана Вазова и Захария Стоянова, но, обратившись в мыслях к милой Болгарии — страны, которую я давно люблю, и протянув руку к книгам упомянутых классиков, я как-то незаметно для себя погрузился в грустные размышления о том, что сейчас происходит в наших культурах. И пришел к выводу, что сегодня вряд ли стоит сосредоточивать свое внимание на неких филологических тонкостях — следует затронуть более широкие проблемы и довести до сознания аудитории нечто более важное, следует говорить о том, что можно и должно сделать для повышения статуса болгарской культуры. Надеюсь, что вы поймете меня и не рассердитесь за то, что не я предлагаю вам какое-либо научное откровение о вазовском или стояновском творческом мастерстве. Ведь когда рухнет целый дом, разве время для наведения порядка на филологических полках в одной из его комнат?

В своем высказывании я хотел бы остановиться на теме «Иван Вазов и Россия», рассматривая ее в несколько нетрадиционном плане. Не буду повторять хорошо известные, ставшие хрестоматийными свидетельства о горячих русофильских чувствах данного творца. Вазовские поэтические строки из стихотворения «Россия», проникнутые любовью к русской земле и русским, столько раз цитировались болгарскими учителями, вузовскими преподавателями, литературоведами и публицистами, столько раз звучали в болгарском радиоэфире и на телевидении, что начали вызывать эффект прямо противоположный ожидаемому. Сказанное распространяется и на другие русофильские произведения Ивана Вазова и не только этого писателя.

Утрачено было чувство меры. Официальное и официозное насаждение любви к России приобрело в Болгарии такие масштабы, что постепенно начало вызывать у людей чувство раздражения. Оно росло все сильнее еще и потому, что было вынужденно запрятано и подавлялось, не находя внешнего выхода. Чувство раздражения

* Данное выступление прозвучало в августе 2000 г., через несколько дней после награждения автора высшей государственной наградой Болгарии для иностранцев — орденом Стара-Планина I степени. Оно имело место на «круглом столе», посвященном жизни и творчеству классиков Ивана Вазова и Захария Стоянова, на всеболгарском собрании, который проводился под патронатом и в присутствии президента Болгарии в г. Рожен. Текст выступления публикуется впервые.

увеличивалось также и благодаря искусному манипулированию народом со стороны болгарского коммунистического руководства, которое вину за экономические неудачи страны возлагало на СССР и советское давление, которое якобы мешало болгарским властным структурам принимать самые оптимальные решения. Не стану анализировать ряд других причин, усиливавших скрытое русофобство в различных слоях болгарского общества. Результат налицо — после падения коммунистических режимов в Болгарии и СССР обе страны вступили в период взаимного охлаждения, дистанцированности и едва ли не неприязни. Впрочем, последнее характерно только для Болгарии и связано русофобскому джинну, который был выпущен из бутылки, запечатанной ранее печатью тоталитаризма.

Поэтому я не буду вспоминать здесь о восторженных чувствах болгар и их признательности русским в период русско-турецкой войны 1877–1878 гг., приведшей к восстановлению болгарской государственности, о русофильских проявлениях среди большинства болгар в дальнейшем и апофеозе чрезмерно раздутой «вечной болгаро-советской дружбы» в 70–80-е гг. XX в. Подобное напоминание со стороны русских сегодня, по моему мнению, не только неуместно, а попросту неумно. Никто не может заставить другого любить себя насильно. Любовь зарождается, крепнет, достигает своей высшей точки и проходит. Если она ушла, не следует рыться в пепле — он горек и может вконец испортить отношения. Еще опаснее для русских предьявление болгарам какого-либо счета, наподобие «Россия для вас, болгар, столько сделала, а вы...», ибо такого рода доводы завершатся неизбежной ссорой.

Думаю, что русским и болгарам сегодня более разумно поддерживать спокойные, ровные, уважительные отношения. Не исключено, что через много лет прошлое вернется, хотя оно уже не будет таким, как прежде. Древний афоризм «Нельзя дважды вступить в одну и ту же воду» будет справедлив и в нашем случае. Подчеркиваю это с самого начала, ибо не хочу быть неправильно понятым. Говоря на тему «Вазов и Россия», я обьят не желанием изрекать здесь некие заклинания ради воскрешения русофильства, а руководствуюсь интересами болгарской стороны и своей обеспокоенностью за уменьшающийся международный статус болгарской культуры. Выбор между Иваном Вазовым и Захарием Стояновым в пользу первого был сделан мной не случайно, поскольку этот писатель — знаковая фигура. Она является своеобразной визитной карточкой болгарской культуры в мире, как Уильям Шекспир для Англии, Оноре де Бальзак для Франции или Лев Толстой для России. Поэтому все, что происходит сейчас с творческим наследием Ивана Вазова в России, служит лакмусовой бумажкой для изменений международного статуса болгарской культуры в мире.

Здесь прежде всего следует отметить, что тема «Иван Вазов и Россия» в социалистический период трактовалась в Болгарии и России как-то односторонне, с недомолвками, многоточиями и искажением фактов по идеологическим соображениям. Так, например, при издании вазовских путевых очерков «Вне Болгарии», в которых речь идет о России, и в болгарских, и в советских изданиях 50–80-х гг. XX в. почти всегда опускалось место с похвальными словами «дедушки» Вазова о русском царе (негоже, если классик хвалит проклятое самодержавие!), или наши и ваши критики твердили, что, будучи в России, Иван Вазов не мог не обратить внимание на особые, предназначенные для каторжан вагоны (а писатель, в сущности, отметил, что лица каторжан были злобными и не вызывали никакого сочувствия), и т. д. Список подобных примеров можно легко пополнить, и это приводит к выводу, что упомянутая тема все еще нуждается в более объективном подходе и ожидает своих исследователей.

В связи со сказанным я бы хотел остановиться на одной традиционной недомолвке, допускаемой литературоведами при трактовке тех пассажей вазовских очерков «Вне Болгарии», в которых повествуется о случайной встрече автора с русскими крестьянами, участвовавшими в русско-турецкой войне 1877–1878 гг. Обычно литературоведы умиленно пересказывают описание этой встречи, повторяя вслед за Вазовым слова русских солдат, которые на вопрос, что такое Болгария, отвечали, что «Болгария — это та же Россия, и народ там крещеный». (Сейчас я думаю, уж не было ли постоянное цитирование данных слов критиками своеобразным отражением ходивших среди болгар в 60–80-х гг. XX в. слухов о возможном вхождении Болгарии в состав СССР в качестве 16 союзной республики, или же оно было преднамеренно кем-то искажено, послужив источником упомянутых лжепророчеств). После этого литературоведы, однако, неизменно забывали проанализировать дальнейшие строки писателя, описывающие, как эти простые крестьяне его расспрашивали, боятся ли и поныне турки генерала Дондукова, не подозревая, что он уже много лет в Болгарии не у власти и что в стране давно произошли большие изменения.

Фактически Вазов изумлен, сколь мало эти полуграмотные русские крестьяне знают о Болгарии — стране, которую они прошли с винтовками в руках, сражаясь за ее свободу. Этот эпизод очень показателен, и давайте будем держать его в уме, когда речь пойдет об актуальности темы «Вазов и Россия». Ее рассмотрение неизбежно раскроет обстоятельства, при которых словно в результате некоего чуда невиданно быстро рос уровень развития болгарской национальной культуры и повышался ее международный статус. Такое рассмотрение заставляет нас задуматься об истории этого статуса

и о том, каким образом он может эволюционировать в ближайшие десятилетия. Как известно, путевые очерки «Вне Болгарии» были написаны во время второго пребывания писателя в России, когда он покинул Болгарию из-за гонений на русофилов, предпринятых сначала князем Александром Батенбергом, а затем Стефаном Стамболовым. Оно началось в январе 1887 г. после прибытия Ивана Вазова пароходом из Константинополя в Одессу и продолжалось вплоть до 1889 г., когда писатель возвратился на родину вслед за заверениями Стамболова о том, что беглецу гарантирована защита от преследований.

Встреча Вазова с бывшими русскими солдатами, малообразованными русскими крестьянами иллюстрирует объем знаний обыкновенных русских людей о болгарской истории и культуре в конце 80-х гг. XIX столетия. Не умаляя значения трудов русских ученых (ранга К. Ф. Калайдовича, В. И. Григоровича, И. И. Срезневского и др.), произведений болгарских писателей, публиковавших свои произведения на русском языке в 50–80-е гг. XIX в. (включая и Л. Каравелова с его «Памятниками народного быта болгар», 1861 и «Болгарами старого времени», 1867), или пламенных статей прогрессивных русских общественных деятелей в поддержку праведной русско-турецкой войны, объявленной ради освобождения единоплеменных и единоверных братьев-болгар от чужеземного ига, я полагаю, что истинное знакомство русских народных масс с Болгарией началось только после публикации у нас вазовского романа «Под игом». Это произведение появилось впервые не в Болгарии, а в России в 1896 г. и печаталось сначала в №№ 1–10 журнала «Мир Божий», а затем в том же году вышло в виде отдельной книги, т. е. фактически во второй раз.

До начала Первой мировой войны роман выдержал в России шесть изданий, которые выходили через очень небольшие интервалы: 1896, 1896, 1898, 1899, 1904 и 1906 гг. При этом нужно отметить не только тот факт, что произведение публиковалось достаточно большими тиражами, но и способ их распространения. Последние два из указанных изданий, тиражом 10 тысяч каждое, рассылались по распоряжению российского Министерства Народного просвещения по книжным складам земств, откуда они поступали в народные библиотеки. Это распоряжение превратило вазовский роман «Под игом» поистине в народное чтение, доступное практически любому русскому читателю-бедняку. Триумфальное шествие данного произведения по русской земле продолжалось и позднее вместе с другими переведенными на русский язык сочинениями писателя. Можно с полным основанием утверждать, что нигде за пределами Болгарии Вазов не был столь популярен, как в России. Здесь переводятся и выходят из печати романы, повести, стихи и пьесы

писателя, создаются варианты новых переводов, осуществляются переиздания старых. У меня нет исчерпывающей информации о всем XX в., но хочу напомнить некоторые данные из «Биобиблиографического указателя об Иване Вазове», составленного Л. П. Лихачевой и опубликованного в СССР в 1962 г. Список изданных на русском языке вазовских произведений занимает в нем 60 страниц и насчитывает около 600 позиций.

Россия превратилась для Ивана Вазова в настоящую вторую родину, которой, по словам писателя, принадлежала половина его сердца и которая отвечала ему ответной любовью. Не следует, разумеется, упускать из вида и некоторые факторы политического свойства, влиявшие на российскую книгоиздательскую политику, особенно в советский период. Роман «Под игом», например, до Второй мировой войны был издан в СССР только один раз в 1928 г., но как только Болгария попала после разгрома фашизма в сферу советского влияния и двинулась по пути строительства социализма, названный роман тотчас же в продолжение одного лишь десятилетия был переиздан трижды: в 1950, 1954 и 1956 гг. Для меня, однако, в данном случае важны не причины вазовской популярности в России, а ее масштабы, т. е. непосредственный результат. И здесь я не могу не сказать об огромном значении русского языка для Вазова и судьбы его творческого наследия. Вазов не был бы тем Вазовым, каким мы его знаем, не только без России, но и без посредничества русского языка.

Из биографии и творчества писателя явствует, что он испытывал пиетет к русской и французской литературам, восхищаясь как Пушкиным, Лермонтовым, Некрасовым, Гоголем и Шевченко, так и Гюго, Мольером, Дидро, Эженом Сю и др. Хорошо известно также, что Вазову, по его собственному признанию, не давались иностранные языки. В молодости он так и не сумел выучить турецкий и греческий языки, чтобы стать преуспевающим торговцем, о чем мечтал опекавший его дядя. Позднее писатель пытался овладеть немецким, румынским и французским, однако факты хорошего знания им этих языков отсутствуют. Это обстоятельство ничуть не умаляет величие вазовского гения, ибо блеск литературного таланта того или иного творца не зависит от степени его лингвистической предрасположенности к иностранным языкам. Пейо Яворов с каким-то упоением говорил на своем безупречном турецком, а Теодор Траянов свободно писал на немецком, однако можем ли мы поставить их выше Вазова? Впрочем, я хотел бы провести здесь иную мысль: литературная образованность Ивана Вазова была обязана прежде всего посредничеству русского языка — наиболее близкого тогдашнему болгарскому литературному языку и понятного для болгар даже без специального лингвистического обучения.

Посредством этого языка Вазов знакомился в России не только с произведениями русских творцов — он фактически получил доступ к сокровищам западноевропейской классической и современной литературы, накопленным благодаря их русским переводам. Это, несомненно, сыграло огромную роль в творческом росте и обогащении художественной палитры писателя. Переводная западноевропейская литература способствовала расширению вазовского литературного горизонта и придавала его творчеству больше международных художественных измерений. И все же даже один быстрый взгляд на творческое наследие Вазова позволяет понять, что более всего на писателя влияла не столько западноевропейская литература, сколько литература русская. Здесь очень красноречивы упреки Захари Стоянова, который обвинял Вазова чуть ли не в плагиате, указывая на явное сходство вазовской повести «Митрофан и Дормидольский» с гоголевскими произведениями «Ревизор» и «Как поссорились Иван Иванович и Иван Никифорович». Подобных параллелей между вазовскими сочинениями и произведениями каких бы то ни было западноевропейских писателей не обнаружено, хотя сам Вазов утверждал, что, задумывая роман «Под игом», он намеревался создать нечто похожее на «Отверженных» Виктора Гюго, а свои стихотворения «Эпопея забытых» самолично характеризовал как «реминисценции Виктора Гюго».

Посредничество русского языка сыграло первостепенную роль и в судьбе вазовского наследия после смерти писателя. Во второй половине XX в. сочинения Ивана Вазова издавались в России еще более часто и еще большими тиражами, чем в первой половине столетия. Переводом вазовских произведений занимались одни из самых лучших переводчиков и поэтов, среди которых находятся имена Н. Тихонова, Н. Асеева, С. Городецкого, М. Зенкевича и др. Русские переводы служили в Советском Союзе подстрочниками при переводе вазовских романов, повестей и стихов на армянский, грузинский, белорусский, молдавский, литовский, латышский и казахский языки. И здесь я особо хочу подчеркнуть посредническую роль русского языка в качестве языка международного. Он дает возможность многим владеющим им народам знакомиться с сочинениями, написанными на болгарском, польском, сербском, чешском и других славянских языках, благодаря русским переводам этих сочинений.

При этом речь идет не только о малых народах, живших в огромном Советском Союзе, и часть которых и сейчас продолжает находиться в составе в Российской Федерации. Я имею в виду и нечто иное. Зарубежных славистов, хорошо говорящих по-болгарски, в мире очень немного — в Китае или Японии, например, болгарский язык никогда не изучался и, скорее всего, никогда не будет

изучаться и впредь. Очень хорошо помню, что во время международных конференций в Болгарии болгаристами считались японские преподаватели старославянского (сиречь староболгарского) языка, которые мучительно морщились, когда им говорилось что-то по-болгарски, и сразу оживлялись, как только собеседники переходили на язык русский. Такие ситуации легко объяснимы: «болгаристами», в сущности, оказывались чистые русисты, занимающиеся преимущественно современной русской филологией и наряду с этим — старославянским языком, фольклором, историей, страноведением и еще кучей предметов, которые у нас обычно преподаются более обстоятельно гораздо большим числом профессоров, доцентов и ассистентов, специализирующихся в своих областях славистики. Подобное положение характерно не только для Востока, но и для Запада. Не является секретом, что шире всего богатства болгарской литературы и культуры открывались перед глазами «внеболгарского мира» благодаря русскому переводному посредству.

А теперь уместно возвратиться к вопросу, вынесенному в заглавие выступления. Кульминация интереса к Вазову в России пришла на первую половину 80-х гг. XX в., когда роман «Под игом» был издан трижды в продолжение пяти лет: 1981, 1984, 1985. Начало пиковой линии, ведущей к высшей точке этого издательского «бума», совпадает с 1300-летним юбилеем основания болгарского государства и последующими несколькими годами. С началом перестройки в России, особенно с конца 80-х гг. и по настоящее время, сочинения Вазова не издаются и не появляются на прилавках букинистических магазинов. Если положение не улучшится, то в XXI в. Россия останется без Ивана Вазова, также как и без болгарской культуры вообще, потому что для нее этот писатель является знаковой фигурой. Справедливость утверждения о «знаковости» подкрепляется элементарной проверкой каталога в Библиотеке Иностранной литературы в Москве и поисками каталожных карточек с данными о болгарских литературных произведениях, переведенных и изданных в России за последнее десятилетие. Таких карточек там, за редким исключением, почти не обнаруживается. То же самое происходит с российскими телевидением, театром, кино, общественно-литературными журналами и газетами, которые ничего не сообщают ни о Болгарии, ни о болгарской культуре. Это не преувеличение, а печальная констатация: **Болгария и болгарская культура почти полностью исчезли из культурно-информационного поля России.** В этом нет ни малейшей вины Болгарского культурного института в Москве, который с чисто символическим штатом сотрудников работает буквально сверх своих возможностей. Он, однако, не в состоянии заменить всю прежнюю внушительную болгаро-советскую машину по пропаганде болгарских культурных достижений со времен Кирилла

и Мефодия до современности. Да и Россия переживает сейчас не легкие времена и не располагает средствами, достаточными хотя бы для развития собственной культуры. Кроме того, в условиях рыночной экономики она уже не может быть донором для Болгарии и для болгарской культуры даже в случае своего экономического преуспевания. Думаю, что меры об улучшении положения должны приниматься в первую очередь самой болгарской стороной. Это могут быть такие, например, шаги, как включение в договора о взаимном культурном сотрудничестве пунктов об отделении определенного эфирного времени на информацию о Болгарии в теле- и радиовещании, возобновление деятельности болгарского издательства «София-пресс», которое публиковало переводы произведений болгарских авторов на русский и другие иностранные языки, и прочие — вплоть до вручения российским туристам бесплатных буклетов со стихами болгарских поэтов (налог размером в один доллар, взимаемый на эти цели за каждого иностранного туриста с владельцев отелей, мог бы освободить болгарскую госказну от каких-либо расходов в этом отношении) и т. д. Можно не сомневаться, что собственник отеля всегда сумеет взять со своих гостей на один доллар больше, и все будут довольны: и турист, получивший бесплатный красивый буклет, и болгарское государство, госрасходы которого на популяризацию национальной культуры среди иностранцев не увеличатся, и собственник отеля, для которого ровным счетом ничего не изменится.

Чувствую, впрочем, что незаметно для себя я начинаю вторгаться в сферу культурной политики и поэтому опасаясь быть неправильно понятым. Поэтому должен оговориться — это не идеологическое навязывание каких-либо идей и не некие наказания болгарским государственным деятелям. Это крик души зарубежного болгариста, ужасающегося из рук вон скверным состоянием дел с представлением болгарской культуры в России, чье присутствие у нас, подобно шагреновой коже, сжалось до размеров едва различимого пятнышка. При этом я глубоко убежден, что искусственное сращение военной, торговой и культурной составляющих в некий однородный уродливый сплав, именуемый «внешней политикой», является характерной чертой тоталитаризма. В условиях демократии, как у вас, так и у нас имеется больше возможностей для использования гибкости и лучшего дифференцированного применения трех составляющих. Китай, например, который никто в мире не называет демократическим, ведет выгоднейшую торговлю с США — государством, обычно фигурирующим в китайской печати с ярлыком «империалистов».

Остается только сожалеть, что Болгария не проявила своевременной расторопности и потеряла в лице России огромный рынок

для своих сигарет и вина. Полагаю, что табачное производство в стране не отличается сегодня былым процветанием и Болгария теперь не входит в число крупнейших экспортеров пакетированных сигарет. Утратила она и свое высокое место в рейтинге стран-экспортеров бутылированного вина. Но самые большие опасения вызывает у меня нынешнее состояние болгарской культуры и представление ее достижений вне страны. Ведь разрушенные культурные мосты восстанавливаются много медленнее, чем материальное производство, и утрата высокого места в мировом культурном макрокосмосе может оказаться непоправимой. Болгарской литературе выгоднее идти вперед вместе с русской под надежной защитой ее языкового посредства даже уже по той причине, что обе они пользуются кирилло-мефодиевскими буквами. Впрочем, некий болгарский журналист недавно охарактеризовал славянскую азбуку как коварную диверсию братьев Кирилла и Мефодия — византийских шпионов из Салоник, и призвал болгар отбросить кириллицу и перейти к латинице. Поэтому молю Господа Бога, чтобы он избавил меня от кошмарного сна, как лет через двадцать встретятся китаец, американец и русский и после вопроса о том, что есть Болгария, китаец не сможет сказать о ней ни слова, а американец и русский начнут спорить, причем первый будет твердить, что Болгария была частью Грузии и люди там, разумеется, общаются по-грузински, а второй будет категорично уверять, что Болгария расположена где-то по соседству с Ираном, и ее жители говорят на языке турецком.

С любовью к Болгарии. Москва—Рожен. 26 августа 2000 г.

Приложение *

Президенту Республики Болгария
Петру Стоянову
Проф. Игорь Калиганов

Глубокоуважаемый господин Президент!

Позвольте мне еще раз выразить свою признательность за теплые слова, сказанные Вами при вручении мне ордена «Стара-Планина» первой степени в августе 2000 г., и подчеркнуть, что Ваше выступление на всеболгарском соборе в Рожене немного позднее произвело большое впечатление на присутствовавших там ученых.

Посылаю Вам свой научный труд «Георгий Новый у восточных славян», над которым я работал с перерывами более двух десятилетий. Но это не просто жест учтивости, а своеобразное напоминание о тех идеях, которые я стремился провести во время нашего краткого разговора в Президентстве. Как болгарист я очень обеспокоен почти полным исчезновением Болгарии из культурно-информационного пространства России. И в этом виноваты две стороны.

По моему мнению, культурная политика Болгарии могла бы не зависеть в такой степени от сегодняшней политической и военно-блоковой ориентации страны. Россия не является врагом Европы и НАТО. И упомянутый блок, согласно утверждениям западных политиков, не направлен против России. Поэтому не существует никаких оснований для отдаления болгарской культуры от русской. Содержание моей книги доказывает, что духовные связи между Болгарией и Россией имеют многовековые корни. То же самое относится и к ближайшим соседям Болгарии: Сербии и Греции. Имя Георгия Нового славил (и продолжают славить) не только болгары, но и греки, сербы, русские и украинцы.

Замалчивание фактов подобного рода по причине очередных политических предпочтений будет сужать истинное место Болгарии в культурном ландшафте Европы. А всякая страна, не ценящая и не уважающая истинные масштабы своей культуры, не будет вызывать должную оценку и уважение других стран. Точно так же всякая национальная культура, начинающая искусственно изолироваться от других, ничего не приобретает, а только теряет. Поэтому я посылаю свой научный труд не только как небольшой авторский дар большому государственному политику — мной движет надежда, что эта книга станет поводом к размышлению о будущем болгарской культуры.

24 мая 2001 г.

С Уважением,
Проф. Игорь Калиганов

* В Приложении к докладу публикуются переводы на русский язык текстов писем, которыми обменялись Президент Республики Болгария П. Стоянов и проф. И. И. Калиганов после всеболгарского Роженского собора 2000 г.

Ответ Президента Болгарии Петра Стоянова

Президент
Республики Болгария

София, 3 июля 2001 г.

Уважаемый профессор Калиганов!

Сердечно благодарю Вас за полученный мной Ваш фундаментальный труд «Георгий Новый у восточных славян», который я с интересом прочту при первой возможности.

Выражаю Вам признательность за усилия, которые Вы, как глубокий исследователь болгарской и других славянских культур, прилагали в течение двадцати лет для написания этой книги. Результат просто замечательный!

На меня произвел впечатление наш, хоть и краткий, но содержательный разговор при награждении Вас орденом «Стара-Планина» первой степени — высшей болгарской государственной наградой, и я еще раз благодарю Вас за все, что Вы делаете как болгарист для известности болгарской культуры в России и для углубления научных и культурных связей между двумя нашими странами. Буду рад, если Ваше участие в Роженском соборе прошлым летом было полезным и для Вас.

Разделяю Ваше мнение, что мы никоим образом не должны допустить самоизоляции славянских культур, поскольку они станут наилучшей визитной карточкой в глобализирующемся мире.

Примите мои наилучшие поздравления и пожелания отличного здоровья, личного благополучия и успехов в Вашей благородной работе.

ПЕТР СТОЯНОВ
ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ БОЛГАРИЯ

Из кирилло-мефодиевского наследия в языке русской культуры (концепты Добро и Зло) *

Если попытаться определить константу любой духовной культуры, то совершенно очевидно, что это будут представления прежде всего о Добре и Зле как древнейших формах понятий, регулирующих социальные отношения. Пронизывая все бытие человека, Добро и Зло образуют базовые оппозиции культуры, которые обуславливают не только поведение человека и его деятельность, но и определяют оценки, даваемые им себе и окружающему миру. Эта этическая оппозиция отражается в языке любой культуры в виде мерцающей сети смыслов, которые образуют аксиосферу культуры. Именно поэтому представления о Добре и Зле, их источниках, локусе, способе действия, при котором Добро побеждает Зло, а также осмысление самой вероятности победы Добра над Злом этнопсихологи выделяют в качестве центральной зоны ментальности этносов, существующей как на уровне сознания, так и на уровне коллективного бессознательного (см. Лурье 1998, 225, Стефаненко 2003, 139).

В эволюции представлений о Добре и Зле в истории русского языка важную роль сыграл старославянский язык как моделирующий фактор русской культуры. В условиях сохранения культурно-исторической, религиозной, этнической непрерывности в русской культуре шел процесс передачи из поколения в поколение значительных ресурсов лексики, фразеологии, словообразовательных средств старославянского языка. Усваивая старославянскую лексику, русский язык, несомненно, адаптировал и ментальные особенности этого сакрального языка, отличавшегося повышенным вниманием к слову, ибо сущность любой культуры заключается в том, что «прошлое в ней, в отличие от естественного течения времени, не „уходит в прошлое“, т. е. не исчезает. Фиксируясь в памяти культуры, оно получает постоянное... бытие. Память же культуры... строится как определенный механизм порождения» (Успенский 1994: 245). Поэтому средневековая культура, отразившаяся в лексике старославянского языка, в том или ином виде вошла в плоть и кровь русского

* Работа выполнена в рамках проекта «Межъязыковое влияние в истории славянских литературных языков и диалектов: социокультурный аспект» Программы фундаментальных исследований ОИФН РАН «История, языки и литературы славянских народов в мировом социокультурном контексте» 10002-251/ОИФН-01/242-239/110703-1047 от 20 мая 2003 г.

языка, и в языке русской культуры сохранились представления предшествующих эпох.

В этой связи встает вопрос, как глубоко было освоено лексическое кирилло-мефодиевское наследие языком русской элитарной и традиционной культуры? ЧТО из христианской этики было усвоено русской культурой и получило отражение в ее языке, а ЧТО оказалось потерянным во времени, КАК в языке культуры нового времени живет старое, связанное с вековыми духовными и нравственными традициями христианства?

Следует сразу сказать, что ответ на этот вопрос не лежит на поверхности, он скрывается в глубинных основах концептосферы русского языка, однако ключ к нему дает исследователю слово, внутренняя форма которого позволяет нам «вычитать» сокрытые смыслы языка русской культуры, поскольку установки любой культуры становятся достоянием социума благодаря их означиванию.

Пытаясь ответить на этот вопрос, мы обратились к изучению таких базовых концептов русской культуры, как ДОБРО и ЗЛО, с целью выявить специфику их осмысления старославянским и древнерусским языками, а также современным русским языком и его диалектами.

Добро

Как свидетельствуют материалы старославянского языка, средневековое представление о Добре было во многом персонифицированным, ибо оно ассоциировалось прежде всего с Богом. «Само Божество есть Добро по существу, и все сущее причастно Добру, как творения — солнцу», — говорит один из крупнейших философов-богословов Средневековья Дионисий Ареопагит (Дионисий Ареопагит 1994: 89). Добро, таким образом, было сущностным атрибутом Бога, поэтому *доброчьстивъ* это не просто 'набожный' (СС, 192), но чтущий Бога. Однако Добро могло соотноситься и с человеком, но, как свидетельствует старославянский язык, оно не было его сущностным атрибутом, ибо человек был сопричастен не только Добру, но и Злу.

В старославянском языке было довольно глубоко проработано понятие Добра, причем в разных аспектах — этическом, социальном, эстетическом и даже витальном.

Добро в языковом сознании средневекового человека — это прежде всего благо (само прилагательное *благо* (*блага*), выступающее в функции существительного, имело значение 'добро' СС 90, ср. также *благость* 'доброта, милость' СС 90; *благыни* 'добро, доброта' СС 91). Естественно поэтому, что Добро в средневековом сознании соотносилось прежде всего с этическим понятием (прилагательное *добръ* имело значение 'хороший, добрый' СС 192) и в первую очередь

с религиозным, поскольку с Добром связывалась набожность и благочестие человека (ср. *доброчьстник* 'благочестие, набожность' СС 192).

Дериваты с корнем *добр-* говорят нам о том, что понималось под Добром в средневековом обществе, какое ментальное содержание вкладывалось в это понятие:

добро — это благое деяние (ср. *добростьтворник* 'добродеяние' СС 191; *добростьтворити* 'сделать добро' СС 192). Истинное добро исходит от Бога (ср. *добродѣла* 'делающий добро': *любивымъ чьстемъ добро дѣлшштнимъ христось* СС 191), но оно может плодиться и усилиями человека, в побуждении его воли к добрым делам, когда оно является творческим актом свободной личности, поэтому способность творить добро рассматривалась как одна из добродетелей человека (ср. *добродѣланик* 'добрые дела, добродетель' СС 191; *добрость* 'добродетель' СС 191; *доброта* 'добродетель' СС 191);

добро — это и стремление следовать в своей жизни принятым нормам, образам, правилам поведения (ср. *доброобразьнъ* 'добропорядочный' СС 191 < *образъ* 'пример, образец' СС 396);

добро — это разум, знания (ср. *доброразоумивъ* 'очень сведущий, знающий' СС 191).

Старославянский язык говорит нам о том, что Добро в средневековом обществе было понятием социологизированным, ибо с Добром связывалось социальное происхождение человека (в частности, его знатность, ср. *доброродник* 'знатность' СС 191; *доброродьнъ* 'знатный, благородный' СС 191, поэтому знатный человек по определению должен был быть добрым человеком), а также его имущество (ср. *добро* 'имущество' СС 192).

Добро в старославянском языке рассматривалось и как эстетическая категория, так как Добро — это красота (ср. *добръ* 'красивый' СС 192; *доброта* 'красота' СС 191; *доброчичьнъ* 'красивый' СС 191).

Наконец, Добро могло ассоциироваться с витальностью человека (ср. *добропримати* 'быть здоровым, сильным' СС 191), так как здоровым, по мнению старославянского языка, человек мог быть лишь тогда, когда в душе своей он «принимал» Бога.

Таким образом, категория Добра в старославянском языке работала практически во всех сферах жизни средневекового человека — от витальной до социальной и религиозной, от этической до эстетической, оказывая влияние на формирование многих абстрактных понятий мира христианских сущностей.

Древнерусский язык не просто воспринял это философское и этическое осмысление Добра в старославянском языке, но и по-своему его развил.

Прежде всего следует отметить, что Добро в древнерусском языке оказывается связанным не только с человеком, но и с окружающим его миром. Присутствуя на земле (ср. **доброплодный** 'плодородный': **Земля плодови́тая и доброплодная** СРЯ XI–XVII 4: 265; **доброродный** 'плодородный' СРЯ XI–XVII 4: 266; **доброродный** 'имеющий чистую, светлую воду' СРЯ XI–XVII 4: 259; **добролистственный (сад)** 'сад с хорошей листвой' СРЯ XI–XVII 4: 263; **доброовощной** 'с хорошими плодами': **Садовне доброовощное** СРЯ XI–XVII 4: 264; **добропогодный** 'благоприятный по погоде' СРЯ XI–XVII 4: 265) и на небесах (ср. **невесная доброта** 'благоприятный климат' СРЯ XI–XVII 4: 267), оно как бы «разлито» в пространстве и во времени (ср. **доброденство** 'счастливое, благополучное время' СРЯ XI–XVII 4: 261; **добророгие** 'подходящее время' СРЯ XI–XVII 4: 260; **доброе время** 'благоприятное время' СРЯ XI–XVII 4: 271).

Вместе с тем Добро по-прежнему осмысливается как некая сакральная сущность (ср. **добродавецъ** 'творящий, дарующий добро (о Боге)': **Добродавецъ во вѣгъ сын, всему добру делатель есь** СРЯ XI–XVII 4: 260; **добродарий** 'подающий добро'(о Боге) СРЯ XI–XVII 4: 260), и как следствие этого оно интерпретируется прежде всего как категория этики (ср. **добро** 'все хорошее, доброе, честное' СРЯ XI–XVII 4: 258; **добрость** 1) 'добродетель'; 2) 'доброта' СРЯ XI–XVII 4: 267; **добрыня** 1) 'доброе отношение'; 2) 'добродетель' СРЯ XI–XVII 4: 271), как должное и нравственно положительное благо (ср. **благо** 'добро' 1: 191). Причем это не только благочестие (ср. **доброчестие** 'благочестие' СРЯ XI–XVII 4: 270), как в старославянском языке, но и доброжелательность (ср. **доброхотѣние** 'доброжелательность' СРЯ XI–XVII 4: 269), отзывчивость (ср. **добросердие** 'отзывчивость' СРЯ XI–XVII 4: 266), послушание (ср. **доброчинство** 'послушание' СРЯ XI–XVII 4: 270), благородство (ср. **доброноровне** 'благородство' СРЯ XI–XVII 4: 264), т. е. все то, что вызывает уважение в человеке (ср. **добророговѣние** 'уважение' СРЯ XI–XVII 4: 257).

В древнерусском языке Добро получает развитие и как эстетическая категория (ср. **доброта** — это 'красота' // 'привлекательность и миловидность' СРЯ XI–XVII 4: 267; **доброрачне** 'миловидность, красота' СРЯ XI–XVII 4: 262; **доброрѣпие** 'красота' СРЯ XI–XVII 4: 263), которая конкретизируется в самых различных сущностях прекрасного. Корень **добр-** активно используется в создании «портрета» человека, в котором особо выделяется красота лица (**доброликний** 'с красивым лицом' СРЯ XI–XVII 4: 263), волос (ср. **доброросый** 'с красивыми косами': **жены доброросыя** СРЯ XI–XVII 4: 263), бороды (**доброрадый** 'с красивой бородой' СРЯ XI–XVII 4: 258), носа (**доброросый** 'имеющий красивый нос': **Минелось низокъ крѣпокъ, рѹмянъ, доброросъ, доброрикъ, густорады**

СРЯ XI–XVII 4: 264), глаз (ср. *доброокный* ‘имеющий красивые глаза’ СРЯ XI–XVII 4: 264), роста человека (*доброрастый* ‘рослый, высокий’ СРЯ XI–XVII 4: 266), вообще всей его осанки (ср. *добросанный* ‘имеющий красивую осанку’ СРЯ XI–XVII 4: 266), а у женщины и красота груди (ср. *добрососый* ‘с пышной грудью’ СРЯ XI–XVII 4: 267).

Добро в древнерусском языке воспринимается и как социальная категория, так как, с одной стороны, оно указывает на социальное происхождение человека (ср. *доброродство* ‘родовитость, знатность, благородное происхождение’; *добророжденный* ‘знатного происхождения’ СРЯ XI–XVII 4: 266), а с другой — на его имущество (ср. *добро* ‘имущество, богатство’ СРЯ XI–XVII 4: 258).

Наконец, Добро осмысляется и как количественная категория, служащая своеобразной «мерой» проявления действия или признака (ср. *добрѣ* ‘очень, весьма’ СРЯ XI–XVII 4: 257; *добрѣ добро* ‘весьма хорошо’ СРЯ XI–XVII 4: 257; *добрый* ‘полномерный, неурезанный (о мерах)’ СРЯ XI–XVII 4: 270).

Все это делает Добро в древнерусском языке категорией аксиологической (ср. *доброжителный* ‘хорошей, правильной жизни, поведения’ СРЯ XI–XVII 4: 262; *доброподовный* ‘хорошего образа жизни’ СРЯ XI–XVII 4: 265; *добротный* ‘прекрасный, хороший’ СРЯ XI–XVII 4: 268; *доброславный* ‘замечательный, превосходный’ СРЯ XI–XVII 4: 267) и даже прагматической, так как материализованной ипостасью Добра становится польза (ср. *добро* ‘полезно, похвально’ СРЯ XI–XVII 4: 258; *добротворение* ‘польза’ СРЯ XI–XVII 4: 268; *добротодный* ‘удобный, подходящий, полезный для чего-либо’ СРЯ XI–XVII 4: 260).

Дериваты с корнем *добр-* (а число их в древнерусском языке превышает цифру 200) рисуют нам целую картину, в центре которой находится человек. Именно он формирует текст Добра в древнерусском языке. Что же осмыляется в человеке как Добро, какой человек, с точки зрения этики древнерусского языка, является добрым?

Конечно, это прежде всего человек *набожный*, *благочестивый* (ср. *добротворный* ‘благочестивый, набожный’ СРЯ XI–XVII 4: 258; *добротворный* ‘благочестивый’ СРЯ XI–XVII 4: 269), отстаивающий свою веру и побеждающий в этой борьбе (ср. *добротворный* ‘одержавший победу (в борьбе за веру)’ СРЯ XI–XVII 4: 265), *богобоязненный* (*добротворный* ‘богобоязненный, почтительный’ СРЯ XI–XVII 4: 260), *проповедующий* и *творящий* Добро (*добротворный* ‘проводник добра’ СРЯ XI–XVII 4: 265; *добротворець* ‘тот, кто делает добро’ СРЯ XI–XVII 4: 260; *добротворный* ‘благодетель’ СРЯ XI–XVII 4: 260; *добротворець* ‘тот, кто делает добро’ СРЯ XI–XVII 4: 268), *морально устойчивый* (*добротворный* ‘устойчивый в добром поведении и взглядах’

СРЯ XI–XVII 4: 262), душевный, отзывчивый человек (ср. *добренький* ‘душевный, отзывчивый’ СРЯ XI–XVII 4: 257; *добросердный* ‘отзывчивый’ СРЯ XI–XVII 4: 266; *добролюбивый* ‘склонный к добру’ СРЯ XI–XVII 4: 263), благожелательный (*доброжелательный* ‘благожелательный, добропорядочный’ СРЯ XI–XVII 4: 262; *доброхотный* ‘доброжелательный’ СРЯ XI–XVII 4: 269), а потому любимый всеми (ср. *добропрѣлюбный* ‘тот, кто сопровождает любовью’ СРЯ XI–XVII 4: 265), опытный, умелый (*добронскүсный* ‘опытный, умелый’ СРЯ XI–XVII 4: 263; *доброратный* ‘искусный в военном деле’ СРЯ XI–XVII 4: 266), мудрый, здравомыслящий (*добромүдрый* ‘умный, здравомыслящий’ СРЯ XI–XVII 4: 264; *добросүмниный* ‘разумный’ СРЯ XI–XVII 4: 267), более разумный (*доброразумный* ‘благожелательный, благоумный’ СРЯ XI–XVII 4: 264; *доброразүмный* ‘благоумный’ СРЯ XI–XVII 4: 266; *доброрассүдливый* ‘благоумный, рассудительный’ СРЯ XI–XVII 4: 266), благонравный (*добронравный* ‘добродетельный, благонравный’ СРЯ XI–XVII 4: 264), ведущий примерный образ жизни (*доброобразный* ‘примерного образа жизни’ СРЯ XI–XVII 4: 264), добропорядочный (*доброравый* ‘добропорядочный’ СРЯ XI–XVII 4: 265), доступный людям (*добропрнстүпный* ‘благосклонный, всем доступный’ СРЯ XI–XVII 4: 265), исполнительный (*доброслүжный* ‘исполнительный’ СРЯ XI–XVII 4: 267).

Интересно, что древнерусский язык так же, как и старославянский, настойчиво призывает человека «творить» Добро (*добрстввати* ‘совершать добро’ СРЯ XI–XVII 4: 270), о чем свидетельствуют многочисленные дериваты, опорная основа которых содержит глаголы *творить* и *делать* (ср. *добротворити* ‘делать добро’ СРЯ XI–XVII 4: 268; *добротворение* ‘доброе дело’ СРЯ XI–XVII 4: 268; *добротворне* ‘благодетельное’ СРЯ XI–XVII 4: 268; *добродѣяти* ‘делать добро’ СРЯ XI–XVII 4: 262; *добродѣтели* ‘хорошие отношения’ СРЯ XI–XVII 4: 261). Однако чтобы творить добро, нужно не только его любить (ср. *добролюбивый* ‘склонный к добру’ СРЯ XI–XVII 4: 263), но и желать (*доброжелательный* ‘благожелательный’ СРЯ XI–XVII 4: 262; *доброхотати* ‘желать добра кому-либо’ СРЯ XI–XVII 4: 269), а для этого необходимо усилие воли (ср. *добрвольство* ‘благожелательность’ СРЯ XI–XVII 4: 259; *добрволение* ‘хорошее отношение’ СРЯ XI–XVII 4: 259), т. е. Добро в древнерусском языке предстает как активная категория, которая «изволяется» вовне, оно плодится усилиями человека, побуждая его волю к добрым делам и тем самым развивая и совершенствуя характер человека.

Таким образом, категория Добра в древнерусском языке рассматривалась как бы в трех ракурсах — в отношении к Богу, к природе и к человеку. В ней причудливо сочеталось нравственное,

эстетическое, социальное и прагматическое, что делало эту категорию земной, которая, однако, соответствовала высшим понятиям идеального бытия, связывавшим человека с Богом.

Современный русский литературный язык многое воспринял из этой философии Добра, однако немало и утратил (число дериватов с корнем *добр-* в нем вдвое меньше, чем в древнерусском языке).

Утрачено прежде всего космическое осмысление Добра, в том числе и сакральное, в связи с чем оно является категорией сугубо антропоцентрической. Сами существительные *добро* и *доброта* апеллируют к межличностным отношениям (ср. значение слова *доброта* 'отзывчивое, сочувственное, дружеское расположение к людям' СРЯ I: 555). Сузилась и сфера этического осмысления Добра (ср. существительное *добро*, в котором выделяются значения 1) 'все положительное, хорошее'; 2) 'хорошее, доброе дело' СРЯ I: 552), хотя и сохранилась мысль о том, что Добро может плодиться усилиями человека, направляя его волю к добрым делам (ср. *добровольность* 'собственная воля как основное побуждение к действию'), и в этом русский язык видит одно из положительных нравственных качеств человека (ср. *добродетель* 'высокая нравственность, моральная чистота'; *добропорядочность* 'положительные качества человека'), особо выделяя *доброжелательность* (ср. *доброжелательность* 'проявление участия, расположения'; *доброхотство* устар. 'доброжелательное отношение'), *мягкость*, *отзывчивость* (ср. *добродушие* 'мягкосердечность, доброта'; *добросердечие* 'отзывчивость, мягкость'), *кротость характера* и *скромность поведения* (ср. *добронравие* устар. 'скромное поведение, кротость характера, благонравие'), способность *честно* и *старательно* выполнять свои обязанности (ср. *добросовестность* 'честность, старательность, тщательность, усердность', т. е. все то, что вызывает одобрение в обществе (ср. *добропорядочность* свойство по знач. прил. *добропорядочный* 'приличный, достойный одобрения' (СРЯ I: 552–555).

В отличие от старославянского и древнерусского языков, современный русский литературный язык утратил саму религиозно-философскую основу осмысления Добра: если старославянский и древнерусский язык говорят нам о том, что истинным субъектом Добра является Бог, который «изволяет», дарует Добро человеку (ср. ст-сл. *добродѣль* 'делающий добро' (о Боге) СС: 191; др-рус. *добродавецъ* 'творящий, дарующий добро (о Боге)' СРЯ XI–XVII 4: 260; *добродарий* 'подающий добро' (о Боге) СРЯ XI–XVII 4: 260), человек же лишь получатель Добра, поэтому его богатство и благополучие — это лишь дар Божий (ср. *добрполучіе* 'благополучие' СРЯ XI–XVII

4: 264), то в русском литературном языке этот смысл уже потерян для языкового сознания современного человека, его слабый отблеск присутствует лишь в некоторых словах (ср. *благополучие, благодарность, одаренность*).

Утрачено и эстетическое осмысление Добра. Соприкосновение эстетики с этикой привело к победе этики, и даже в устаревшей народно-поэтической формуле *добрый молодец* на первый план вышло этическое понимание Добра 'обладающий положительными качествами, достойный уважения' СРЯ I: 555 (ср. также обращение: *люди добрые* или *добрый человек*).

Трансформировалось осмысление добра и как социальной категории: хотя существительное *добро* сохраняет значение 'имущество' (приобретая в ироническом употреблении значение чего-то 'негодного, мало нужного', ср. *этого добра у нас хватает*), однако указание на социальное происхождение человека в нем уже не актуализируется, зато сочетание с корнем *сосед-* (*добрососедствовать, добрососедский*) переводит Добро в область общежительных отношений.

Значительно сузилась и сфера количественной интерпретации Добра, которая сохранилась лишь в разговорном языке у прилагательного *добрый* в значении 'целый, полный, в полной мере (о количестве)' СРЯ I: 555, ср. *прождать добрый час*.

Существенные изменения произошли и в осмыслении Добра как этической категории, о чем пожалуй, ярче всего свидетельствуют субъектные номинации. *Добрый человек* в представлении языка элитарной культуры — это 'очень хороший человек' (*добряк*), 'обладающий добродетелями' (*добродетельный*), 'отличающийся скромным поведением' (устар. *добронравный*) и вообще 'положительными качествами' (*добропорядочный*), 'отзывчивый' (*добрый*), 'мягкий, расположенный к людям' (*добродушный*), 'обладающий добрым сердцем' (*добросердечный*), 'желающий им добра' (*доброжелательный*, устар. *доброхот*), 'честно, старательно выполняющий свои обязанности' (*добросовестный*), СРЯ I: 553–555.

Сопоставление этих субъектных номинаций с именами лица в старославянском и древнерусском языках говорит о том, что современный русский язык в понятие 'добрый' уже не включает такие качества человека, как *богобоязненный, благочестивый, морально устойчивый, опытный, искусный* (в каком-либо ремесле), *здравомыслящий, благоразумный, доступный людям, любимый всеми*. По-иному осмысляется и понятие *добропорядочный*: если древнерусский язык связывал его с отношением к праву (ср. *доброрправый* 'добропорядочный' СРЯ XI–XVII 4: 265), а старославянский — к «образу», т. е. примеру для подражания (ср. *доброобразънь* 'добропорядочный' СС 191), то современный русский язык соотносит его с порядком, устоями общества; изменения произошли и в осмыслении

понятия и с п о л н и т е л ь н ы й, характеризующего человека с точки зрения его отношения к службе: современный русский язык предпочитает здесь апеллировать к совести (ср. *добросовестный*), а не вообще к служению человека, как древнерусский (ср. др-рус. *добро-служный* 'исполнительный' СРЯ XI–XVII 4: 267).

И еще одна особенность современного русского языка: в отличие от старославянского и древнерусского он не призывает человека творить Добро. В современном языке присутствует лишь один глагол *доброжелательствовать*, апеллирующий к желанию человека, а не к самому процессу «творения добра», тогда как в древнерусском языке существовал особый глагол *добрствовати* 'совершать добро' СРЯ XI–XVII 4: 270, а также целая вереница глаголов и имен с корнями *дѣяти* и *творити* (ср. ст-сл. и др-рус. *добротворити* 'делать добро' СС 192; СРЯ XI–XVII 4: 268; ст-сл. *добростьтворити* 'сделать добро' СС 191; др-рус. *добродѣяти*, *добродѣти* 'делать добро' СРЯ XI–XVII 4: 262; *добродѣтельствовати* 'вести добрую подвижническую жизнь' 4: 262; ср. также ст-сл. *добростьтвореник* 'благодеение' СС 191; др-рус. *добротворение* 'доброе дело' СРЯ XI–XVII 4: 268; *добротворие* 'благодеение' СРЯ XI–XVII 4: 268; *добродѣлание* 'совершение добрых дел' СРЯ XI–XVII 4: 261; *добродѣяние* 'добро, благо, польза' СРЯ XI–XVII 4: 262; *добродѣтель* 'хорошие отношения' СРЯ XI–XVII 4: 261). И даже в субъектных именах и в именах качества (свойства) в современном русском языке преобладает идея не активного «творения» Добра (ср. единичные *добродетель*, *добродетельный*, *добродетельно*), а только лишь пассивного его желания (ср. *доброжелатель*, *доброжелательность*, *доброжелательный*, *доброжелательствовать*, *доброхот*, *доброхотный*). Здесь следует отметить, что русский язык избрал иной предмет «творения» Добра — б л а г о (не случайно многие древнерусские дериваты с инициальным корнем *добр-* утвердились в русском языке с начальным *благ-*, ср. *доброразумный* 'благоразумный', *доброродный* 'благородный', *добрѣдарствити* 'благодарить', *добродушествовати* 'благодарушествовать', *доброушание* 'благоухание', *доброролучие* 'благополучие', *доброхотение* 'благожелательство', *доброчестивый* 'благочестивый', *доброшумный* 'благозвучный' и др.

Говоря об этих трансформациях в осмыслении категории Добра современным русским языком, нельзя, однако, не отметить, что общая духовно-христианская установка этой категории сохранилась, ибо она по-прежнему апеллирует к этическим смыслам.

Такова ситуация в языке элитарной культуры, а как адаптировал эту древнюю этическую категорию язык традиционной духовной культуры?

Прежде всего следует отметить, что в языке русской традиционной культуры Добро (*добро, доброть, доброта, простота*) сохранило свой универсальный характер, поскольку оно определяет не только реальный мир человека, но и мир ирреальный (ср. *доброхотушка* 'домовой' Волог., СРНГ 8: 80; *доброхотица* 'по суеверным представлениям сверхъестественное существо, добрый или злой дух, живущий в доме' Волог., СВГ 2: 31–32; *доброхот* 'бран. черт' Калуж., Смол., СРНГ 8: 79). Думается, что в этом обращении к корню *добр-* как к своеобразному эвфемизму в именовании нечистой силы проявляется вера человека в охранительную функцию Добра (ср. в связи с этим следующий текст, сопровождающий название лихорадки *добрава* 'лихорадка' Твер., Симб.: *Чтобы не гневить иродовой сестрицы, называют ее так те, которым кажется мало честить ее дедюхной, кумахой, теткой, соседкой* и проч. СРНГ 8: 75).

Добрым для русского человека является все, что окружает его, все, что находится в мире природы: **растения и грибы** (ср. *доброе дерево: от доброго дерева и добрый плод* Даль I: 443; *добрик* 'гриб подберезовик' Орл., СОГ 3: 60; *добрый гриб* 'гриб боровик' Курск., СРНГ 8: 80), **животные**, особенно лошади (ср. *доброход* 'хорошо бегающий, рысистый конь' Казан., СРНГ 8: 79; *доброта* 'ретивая лошадь' Пенз., Опыт: 48; *добродышка* 'здоровая, незапаленная лошадь' Даль I: 443; *добрый скот* 'дородный, сытный' Даль I: 443), **погода** (ср. *добролетье* 'теплое, солнечное лето' Печ., СРГП 1: 178; *добрый* 'теплый, солнечный' Печ., СРГП 1: 178), **время** (ср. *дobre* 'долго, давно' Калуж.: *Добре уж как ушел* СРНГ 8: 75; *добро* 'пора': *Аль уж добро идти* Даль I: 443; *задобро* 'вовремя' СРНГ 10: 60; *добро-удная пора* Даль I: 443), **место** (ср. *добросельное место* 'место удобное для поселения' Даль I: 443), **река** (ср. *доброточная река* 'богатая, обильная рыбой река' Даль I: 443) и т. д.

Добром определяется и достоинство вещей, окружающих в быту человека (ср. *добрый* 'добротный' Семейск., СГС: 120; *добрина* 'прочность, достоинство вещи' СРНГ 8: 76; *добристый* 'высокого качества' Пск., Твер., Смол., Олон., СРНГ 8: 76; *доброта* 'хорошее качество чего-либо' Том., СРНГ 8: 78; Волог.: *Пирог-то вкусные, доброты-то там много* СВГ 2: 31), соответственно вещь низкого качества, сделанная недоброкачественно — это *недобрая* вещь (ср. *недоброть* 1) 'вещь сделанная недобротно, непрочно' Пск., Твер.; 2) 'плохое качество вещи' Пск. СРНГ 21: 15; *недобрый* 'недоброкачественный' Казаки-некрасовцы. СРНГ 21: 15).

С Добром связан особый жизненный модус человека, ибо оно привносит в его жизнь радость, довольство и благополучие (*добр-вать* 'жить в добре, в довольстве, в покое' Даль I: 443; *добродни* 'благополучие, достаток, довольство' Волог., СРНГ 8: 80; *доброхотно* 'зажиточно' Волог.: *Вон как доброхотно Иванович живет* СВГ 2: 32;

добрить 'нежить, холить, ласкать' Арх., Новг.: *Уж так-то он ее добрил, а она, поди, другого полюбила* СРНГ 8: 76).

Добро для русского человека является и социальной категорией. Добром он меряет свое имущество, движимое и недвижимое (ср. *доброе* в знач. сущ. 'имущество, добро' Яросл., Костром., Смол., Олон., Калуж., Ряз., Тул., Орл., Курск: *Все мое доброе пригорело // 'приданое невесты'* Тул. СРНГ 8: 78; *добрина* 'всякого рода движимое имущество' Арх., СРНГ 8: 76; *доброта* 'всякого рода движимое имущество' Арх.: *Было у него многой всякой доброты* СРНГ 8: 78; *добрядни* 'пожитки имущество' Курск., Орл., Тул., Калуж., Смол., СРНГ 8: 80), Добром он называет и свою одежду (ср. *добро* 'одежда, платье' Ворон., СРНГ 8: 76), особенно праздничную (ср. *добрая рубаха* 'самая лучшая, праздничная рубаха' Ворон., СРНГ 8: 80; *добрая понёва* 'особенно нарядная, праздничная понева, украшенная лентами, позументами' Орл., СОГ 3: 60; *добрая сорока* 'старинный, праздничный женский головной убор' Орл., СОГ 3: 60), с Добром он связывает социальное происхождение человека (ср. *доброродный* 'благородный' Олон., СРНГ 8: 78).

Но главное — Добром определяются отношения человека в обществе. Поэтому Добро осмысляется как регулятивная категория, устанавливающая нормы человеческого общежития (ср. *добрить* 'благодарить' Орл., СОГ 3: 60 // 'желать добра кому-либо' Даль I: 443; *доброедействие* 'доброжелательность' Арх., СРНГ 8: 77; *доброродство* 'доброжелательность' Арх., СРНГ 8: 78; *подобриться* 'проявлять доброту, щедрость' Арх., СРНГ 8: 108; *доброхотиться* 'быть гостеприимным, хлебосольным' Пск., СРНГ 8: 79; *добристо* 'радушно' Пск., Олон., СРНГ 8: 76; *добрословить* 'хвалить кого-либо' Даль I: 443). В этом отношении чрезвычайно интересным является атрибутивное сочетание *простота евангельская* 'о добром, простом человеке' Волог. (СРНГ 32: 251), в котором отчетливо выражена оценка Добра с точки зрения православной этики.

Эта соотнесенность Добра с реальным миром человека делает его предметом особой любви русского народа, о чем говорит эмоциональная окраска имен типа *добротушка* ласк. 'доброта' Север, СРНГ 8: 79; Волог., СВГ 2: 31.

Интересно, что понятие Добра «работает» даже в коммуникативном регистре, украшая человеческое общение, ср., например, различные формулы благопожеланий или приветствий, включающих в себя лексику *добро*: *Доброго тебе добра* 'приветствие гостя' Яросл., ЯОС 4: 7; *доброжаловать* 1) 'благодарственный ответ на приветствие «Бог в помощь»' Перм.; 2) 'ответ на приветствие «Здравствуйте»' Урал.; 3) 'приглашение войти' Перм., СРНГ 8: 78; Волог., СВГ 2: 31; *добро ехать* 'приветствие тому, кого встречают в пути' ОСВГ 3: 144; а также комплиментарное обращение: *добриск*

‘ласковое обращение к собеседнику’ Волог.: *Посговаривайте его, добрики, может согласится* СВГ 2: 30; *доброхот* 1) ‘ласковое обращение к собеседнику’ Волог.: *Давай, доброхот, женись* СВГ 2: 30; 2) ‘приветствие к прохожему’ Арх., Олон., Север: *Что тебе, доброхот* СРНГ 8: 79).

Добро в языке русской традиционной культуры осмысливается и как количественная категория, оно является мерилем признака или действия, находящегося в норме (отсюда значение ‘достаточно’, ср. *добро* ‘достаточно’ Костром., Яросл.: *Прибавить каши-то, али добро* СРНГ 8: 76) или достигнутого своего высшего проявления (отсюда значения ‘очень’, ср. *добро* ‘очень’ Арх.: *Добро хорошо живут* СРНГ 8: 76; *добре* ‘очень, весьма’ Перм., Волог., Пенз., Яросл., Казан., Твер., Моск., Ряз., Тамб., Тул., Калуж., Орл., Курск., Ворон., Самар., Куйбыш., Саратов., Астрах., Оренб., Перм., Тобол., Том.: *Добре платок хороший у тебе* СРНГ 8: 75; *Матушка добре дюже умирая* ‘очень болеет’ Тамб., Даль I: 443; *добреш* ‘очень, весьма’ Орл.: *Добреш у ней мужик-то хорош* СОГ 3: 60; *добрятко* Перм.; *добряцко* Перм.; *добряще* Тобол. ‘очень хорошо’: *Время провели добряще* СРНГ 8: 81; ‘много’ (ср. *добре* ‘много’ Курск., Том.: *Добре мне присылают, добре, по сто рублей* СРНГ 8: 75); ‘сильно’ (доброем ‘очень сильно’ Свердлов.: *Он добром простыл* СРНГ 8: 78).

При этом в языковом сознании человека отчетливо оформлена следующая установка русской культуры: *Добра должно быть много, если же его мало, то это — Зло* (ср. *злун* ‘немного, мало’ Смол., СРНГ 11: 292; *злыдни* ‘очень мало’ Волог., Новг., Влад., Калуж., Вят., Перм., Байкал., Иркут.: *Вишь, какие злыдни дала пирога-то, не во что и влипнуть* СРНГ 11: 294). Это говорит о том, что при уменьшении количества Добро переходит в другое качество — Зло, в то же время как бы много Добра не было сделано, оно всегда остается Добром, т. е. Зло рождается от недостатка Добра или, как говорил мудрый Дионисий Ареопагит, «зло представляет собой слабость и убывание добра» (Дионисий Ареопагит 1994: 179). И в этом проявляется удивительный максимализм русского языкового сознания, оставшегося верным этике старославянского языка.

Все это делает Добро в традиционной русской культуре категорией не только аксиологической (ср. *добро* ‘хорошо’ Яросл., ЯОС 4: 7; Волог., СВГ 2: 30; Новг., НОС 2: 88; Перм., Урал., Том., Казан., Костром., Яросл., Волог., Арх., Новг., Пск., Смол., Орл., СРНГ 8: 76; *добре* ‘хорошо, ладно’ Тамб., Орл., Смол., Курск., Дон., Калуж., Новг., Яросл., Костром., Печор., Урал., Том. СРНГ 8: 75; *добристо* ‘хорошо’ Пск., Олон., СРНГ 8: 76; *добры* ‘хорошо’ Дон., СРНГ 8: 80; *добрячий* Верхн. Дон; *добряцкий* Тобол., Тюмен., Перм. ‘хороший’ СРНГ 8: 77; *добренный* ‘очень хороший’ Яросл., ЯОС 4: 7; Новг., НОС 2: 88), но и прагматической, жизненно необходимой для человека

(ср. *добрый* 'полезный' Калуж., СРНГ 8: 80; *надобный* 'добрый' Пск., СРНГ 19: 241).

Главным действующим лицом в тексте Добра в языке русской традиционной культуры является человек, ибо Добро не только вне человека, но и в нем самом.

При этом добрый человек осмысливается в самых разных аспектах — в витальном, эстетическом, этическом, социальном. Понятно, что этическое восприятие Добра лучше всего проработано в диалектном лексиконе.

Добрый человек (*добруга* Перм., *добряга* Новг., *добрик* Орл., *добрыш* Онеж., СРНГ 8: 80) в представлении русского народа — это прежде всего человек **простой, бесхитростный** (ср. *добродище* 'добрый, простой человек' Перм., СРНГ 8: 77; *простодуша* 'добродушный, бесхитростный, добрый человек' Груз., СРНГ 32: 245), стремящийся **сделать добро** другим людям (ср. *добродей* 'добродетельный человек' Волог., Север., СРНГ 8: 77; *добродетель* 'благодетель' Волог., СРНГ 8: 77), **радушный и приветливый** (*добролюбчивый* 'приветливый, радужный' Том., СРНГ 8: 78; *простосердечный* 'добрый, не злой, приветливый' Арх., СРНГ 32: 251), **отзывчивый** (ср. *простенький* 'добрый отзывчивый' Симб., СРНГ 32: 241), **гостеприимный, хлебосольный** (ср. *доброрадный* 'гостеприимный' Олон., СРНГ 8: 78; *доброхотный* 'хлебосольный, гостеприимный' Пск., Твер., СРНГ 8: 80), **щедрый** (ср. *простой* 'добрый, щедрый' Калуж., Вят., Волог., Карел., Арх., Твер., Моск., Ряз., Свердл., Новосибир., Иркут.; СРНГ 32: 245; *протяга* Арх., *протыак* 'щедрый человек' Ворон. СРНГ 32: 257; *подобриться* 'проявить доброту, щедрость' Арх., СРНГ 28: 108), т. е. обладающий целым набором положительных качеств, ср. фольклорную формулу *раздобрый молодец* 'обладающий положительными человеческими качествами, добрый молодец' (Терск., Урал., СРНГ 33: 328).

В этом отношении чрезвычайно интересен глагол *недобровать* 'быть плохим человеком' (Яросл., СРНГ 21: 15), в котором содержится прямое указание на то, что хороший человек в языковом сознании русского народа — это человек добрый.

Язык традиционной духовной культуры устойчиво связывает добро с семьей, с теми отношениями, которые царят в семье, о чем говорят обращения членов семьи друг к другу (ср. *добротушка* 1) 'матушка' Олон.; 2) 'ласковое слово по отношению к матери или женщине-родственнице' Север, Олон. СРНГ 8: 79; *добротинка* 'ласковое слово по отношению к дочери' Север, СРНГ 8: 79), в которых подчеркивается идея «желания» Добра (ср. *доброхотница* 'ласковое обращение к матери' Олон., Арх., СРНГ 8: 79; *доброхот* 'ласковое обращение к отцу' Арх., Волог., СРНГ 8: 79; *доброхотинка* 'ласковое обращение к брату' Север, СРНГ 8: 79; *доброхотничек*

‘ласковое обращение к родственнику’ Север, СРНГ 8: 80), поэтому кормилец и заступник семьи — это *доброхот* ‘заступник, кормилец’ Волог., СВГ 2: 32; *добропечный* ‘заботливый’ Даль I: 443). Интересно, что Добро в основном ассоциируется с матерью, реже с отцом, т. е. с теми людьми, которые для каждого человека являются ближайшими, кровными родственниками, тогда как Зло устойчиво связывается либо с отсутствием семьи (ср. *злыдарь* ‘сирота’ Костром., СРНГ 11: 293), либо с женой, о чем, пожалуй, лучше всего говорят русские пословицы (ср. *злая жена злее зла, лучше хлеб есть с водою, чем со злою женою, всех злыдней злее злая жена, от злой жены одна смерть спасет* и др.; ср. также рус. *золовка* ‘жена брата’ < др.-рус. *зълъва* < *zly).

Социальное осмысление Добра проявляется и в том, что добрый человек в языке русской традиционной культуры — это человек, получивший своеобразное признание в обществе как человек умный и дельный (ср. *добрый* ‘умный, дельный’ Самар., Калуж., СРНГ 8: 80; *доброумный* ‘добрый, рассудительный человек’ Даль I: 443; *добросо-вестный* субст. ‘человек, избираемый крестьянами для разбора тяжб, споров’ Вят., ОСВГ 3: 144), принимающий разумные решения (ср. *доброумиться* ‘принимать разумные решения’ СРНГ 8: 79), а потому достойный уважения (ср. *раздобрый* ‘обладающий положительными человеческими качествами, достойный уважения’ Орл., Урал, СРНГ 33: 328), не случайно к нему часто обращаются за советами (ср. *подоброумить* ‘дать совет’ Север., СРНГ 28: 108).

Наконец, социальность Добра выражается и в том, что добрый человек, с точки зрения языка традиционной духовной культуры, является богатым, зажиточным (ср. *добрый* ‘богатый, зажиточный’ Кузбас.: *Муж-то добрый, богато живут* СРГК: 67), не случайно одно из значений слова *добро* — ‘имущество’ (ср. также *доброта* ‘имущество’ Арх.: *Было у него многой всякой доброты* СРНГ 8: 78).

Вместе с тем нельзя не отметить, что в целом богатство в языковом сознании русского народа не имеет высокого статуса, поэтому богатый человек, наживший свое богатство *ростовщицеством* или *взяточничеством* расценивается как злой (ср. *злodyга, злodyрь* ‘ростовщик’ Ряз., СРНГ 11: 290; *кожедер* 1) ‘злой человек’ Сиб., Том., Иркут.; 2) ‘взяточник’ Том., Арх., СРНГ 14: 51). На это косвенно указывает и тот факт, что *деньги* также связываются со Злом (ср. *злыдни* экспр. ‘деньги’ Новг.: *Раньше ведь деньги злыднями называли, потому что все зло от них* НОС 3: 99; *злыдень* ‘последние деньги’ Чита, СРНГ 11: 293).

Добро в языке традиционной духовной культуры предстает и как витальная категория, являясь символом здоровья и силы, ярким воплощением которых может служить былинный герой Добрыня Никитич (ср. также *добрый* ‘здоровый, сильный’ Печ.. СРГП 1: 177;

сдобровать 'сохранить силы, здоровье' Даль, СРНГ без указ. места 37: 77; *подобреть* 'стать здоровее, сильнее, крупнее' Пск., Твер., СРНГ 28: 108). Доброта человека воспринимается визуально, ибо красота его души отражается во внешности, она становится заметной, «видной» окружающим людям (ср. *добровидный* 'миловидный' Олон., СРНГ 8: 77; *доброзрачный* 'красивый' Даль I: 443), отсюда эстетическое осмысление Добра, в котором этическое и эстетическое слиты воедино (ср. *добристый* 'красивый' Олон., СРНГ 8: 76; *доброликый* 'красивый лицом, пригожий' Даль I: 443). Это визуальное восприятие Добра позволяет нарисовать своеобразный портрет «доброего» человека: он должен быть непременно высокого роста (ср. *добророслый* 'высокий' Даль I: 443; *добрый* 'надлежащего роста' Смол., СРНГ 8: 80) и притом довольный плотным (ср. *добреть* 'тучнеть, плотнеть, жиреть', ср. здравицу, которую приводит В. И. Даль: *Жить да молодеть, добреть да богатеть* Даль I: 443; *подобреть* 'стать здоровее, сильнее, крупнее' Пск., Твер., СРНГ 28: 108; *подобрее* 'полнее, толще' Арх., СРНГ 28: 107).

В языке традиционной народной культуры (так же, впрочем, как и в языке элитарной культуры) Добро предстает прежде всего как категория атрибутивная. И хотя глаголов, содержащих корень *добр-* здесь значительно больше, чем в литературном языке (ср. *добрить, добриться, доброумиться, доброхотиться, выдабриваться, задобриться, поддобрить, поддобриться, подобриться, поддоброумить, придобрить, приудобриться, раздобреть, сдобриться*), однако среди них нет ни одного, который бы передавал идею доброго действия как внутреннего состояния человека (все они имеют, как правило, адресат действия, ср. *выдабриваться* 'стараться угодить, задобрить кого-либо' Нижегород., Том., СРНГ 5: 270; *поддабривать* 'склонять на свою сторону подарками, угощением' Курск., СРНГ 27: 383; *поддобриться* 'угодливостью входить в доверие кому-либо' Пск., Твер., СРНГ 27: 384; *придобрить* 'задобрить' Моск., СРНГ 31: 193; *раздобреть* 'неожиданно проявить щедрость' Арх., СРНГ 33: 328 и т. д.). Более того, на общем фоне номинативных образований эти глаголы в целом теряются, что еще раз свидетельствует о том, что Добро для русского языкового сознания — это скорее качественная категория, чем процессуальная.

В то же время нельзя не отметить, что в языке русской традиционной культуры корень *добр-* сочетается прежде всего с глаголом *хотеть*, а не *желать*, как в языке элитарной культуры (ср. *доброхотиться, доброхот, доброхотинка, доброхотница, доброхотушка, доброхотный, доброхотно*). И дело здесь не только в разных стилистических регистрах этих глаголов в современном литературном языке (для глагола *желать* в утвердительных предложениях характерна стилистическая маркированность, указывающая на «неравенство

социального статуса субъекта желания по сравнению со статусом его партнера» — Апресян 1999, 458), но и в их семантической противопоставленности: глагол **желать** «обозначает чистое желание без намека на действенную волю» тогда как глагол **хотеть** «указывает на действенность воли субъекта, т. е. помимо чистого желания он предполагает еще и готовность субъекта прилагать усилия для его реализации... И эта действенность в свою очередь мотивируется тем, что субъект ощущает нужность предмета желаний для поддержания нормальных условий своего существования» (Апресян 1999, 457–458). Думается, что это тонкое наблюдение Ю. Д. Апресяна можно с полным основанием распространить и на язык традиционной культуры, в которой «нужность» Добра материализована в десятках разных номинаций.

Таким образом, здесь выявляется тонкое различие в субъектах языка элитарной и традиционной русской культуры: если в элитарной культуре человек только лишь желает добра, то в традиционной он проявляет готовность к его реализации в жизнь.

* * *

Из приведенного материала отчетливо видно, какое соцветие смыслов представлено в словах, соотносимых с понятием Добро. Такая детальная проработанность лексико-семантической парадигмы Добра свидетельствует о значимости этого концепта для языка русской духовной культуры. В многочисленных номинациях, актуализующих различные признаки Добра, отразилась своеобразная философия языка, нравственный опыт человека, его внутренняя духовная сосредоточенность, которая помогает ему в выборе между Добром и Злом.

Будучи в старославянском языке отражением божественной сущности и осмысляясь прежде всего как категория этики, Добро и в языке русской духовной культуры воспринималось как этическая, регулятивная категория, которой определяются нравственные устои жизни, нормы человеческого общежития. Несмотря на некоторые трансформации, которые пережила эта категория, обусловленные секуляризацией русской культуры, в ней до сих пор сохраняется духовно-христианская направленность ее главных смыслов. И здесь прежде всего следует указать на сохранившуюся в русском языковом сознании соотнесенность Добра с благом и волей человека, что помогает ему деятельно творить Добро (*добродетель*). Кроме того, Добро по-прежнему осмысляется как категория социальная, характеризующая имущественное положение человека, а в диалектах и его происхождение.

В связи с этим хотелось бы особо отметить тот факт, что в русской традиционной духовной культуре как культуре более консер-

вативной значительно лучше сохранилась христианская преемственность в осмыслении этой категории (с Добром по-прежнему связывается понятие красоты и ментальности человека). Более того, на основе базовых этических смыслов, дошедших к нам из глубины веков, здесь родились новые (такие, например, как, **радушные** (*добристо* 'радушно' Пск., Олон., СРНГ 8: 76; *добролюбчивый* 'радушный' Том., СРНГ 8: 78), **щедрость** (*подобриться* 'проявлять доброту, щедрость' Арх., СРНГ 8: 108), **гостеприимство** (*доброхотиться* 'быть гостеприимным, хлебосольным' Пск., СРНГ 8: 79), вследствие чего эта категория расширила сферу своего концептуального осмысления. Таким образом, «принимая новое, духовная культура в значительной степени сохранила и старое, установив своеобразные формы сосуществования нового со старым» (Толстой 1999, 37).

Зло

Зло так же, как и Добро, относится к числу конвенциальных категорий, во многом обусловленных не только жизненным и социальным опытом человека, но и его конфессиональным опытом.

Вопрос о происхождении Зла, его онтологической сущности является одним из сложнейших в богословской и философской литературе. «Что такое зло?» — задает вопрос мудрый Дионисий Ареопагит, и ответ его не однозначен, ср.: «Зло не происходит от Добра» (137). «Зло состоит в совершенном отсутствии добра» (153) «Добро и Зло происходят от разных начала и причины» (155). «Не в Боге зло, и зло не божественно» (157). «Зло есть лишь отпадение от добра» (165) и т. д. (Дионисий Ареопагит 1994). Приводя множество определений Зла (каждое из которых сопровождается глубокими аргументами), он заключает: «Остается считать, что зло представляется собой слабость и убывание добра» (179).

Мы не будем входить в разрешение этого сложного вопроса, а обратимся сначала к старославянскому языку, материалы которого позволяют нам утверждать следующее: если Добро исходит от Бога, то Зло не касается Бога, оно исходит от самого человека, являясь его конституирующим признаком.

Зло в языковом сознании средневекового человека рассматривалось прежде всего как категория этическая, апеллирующая к нравственности человека: само прилагательное **зълъ** имело значение 'плохой, дурной', а субстантивируясь, обозначало 'зло, злое дело' или 'плохого человека' (СС 241), причем не просто плохого, а такого, который заслуживает наказания (ср. **зълосъмрътънь** 'заслуживающий смерти человек' СС 240). Поэтому корень **зъл-** представлен в именах, называющих нечто плохое, скверное (ср. **зълъва** 'скверна, пакость, все плохое' СС 239; **зълъвь** 'скверность' СС 240).

Интересно, что средневековый человек стремился даже персонафицировать зло (ср. **пръвыи зълъ сотона** СС 241), на что указывают дериваты с корнем **бѣс-** (ср. **бѣсъ** 'злой дух' СС 107; **зълъовѣсьнь** 'одержимый злым духом' СС 240). И эта одержимость злом расценивалась как ущербность, как болезнь человека, ибо «зло возникает не от силы, но от слабости» (Дионисий Ареопagit 1994: 185)

Итак, Зло воспринималось как порок человека (ср. **скврньнолюбик** 'тяготение к пороку' СС 606; **люто** 'зло, мерзость' СС 318), поэтому беззлойный — это прежде всего беспорочный человек (ср. **везълъовьнь** 'беззлойный, кроткий, беспорочный' СС 81; **незлова** 'беззлойность, беспорочность' СС 364).

Дериваты с корнем **зъл-** позволяют понять, что же являлось злом для средневекового человека. По-видимому, это было прежде всего:

— безбожие, безверие или неправедная вера, ересь, так как у неверующего человека сам дух тяготеет к злему (ср. **зълъовѣрик** 'безбожие' СС 240; **зълъовѣръство** 'ложная вера, ересь' СС 240), тогда как истинная вера (**вѣра прѣмъдрости** 'истинная вера' СС 547) связывалась с правоверием (ср. **правовѣрик** 'истинная вера' СС 495);

— безнравственность (ср. **зълонравьнь** 'дурного нрава, безнравственный человек' СС 240);

— коварство (ср. **зълъокъзьньнь** 'злокозненный, коварный' СС 240; **лжкавьство** 'зло, коварство' СС 319; **проньрьство** 'лукавство, зло, подлость, вероломство' < **проньрити** 'достичь обманом, лукавством' СС 523);

— злословие (ср. **зълъословити** 'злословить, поносить' СС, 240);

— унижение (ср. **зълъобити** 'порочить, унижать' СС 240);

— мучения и страдания, причиняемые другому человеку (ср. **озълъобити** 'измучить, причинить зло, страдания' СС 408).

Зло так же, как и Добро, было в средневековом обществе понятием социологизированным, однако в отличие от Добра, оно соотносилось не с социальным происхождением человека, а только с его деяниями (ср. **зълъодѣяник** 'злодеяние, злодейство' СС 240; **зълъодѣйство** 'злодеяние, злодейство' СС 240; **зълъосълътворити** 'причинить зло' СС 240; **зълъотворити** 'совершать зло, вредить' // 'порочить' СС 241).

Более того, дериваты с корнем **зъл-** указывают и на причину возникновения Зла, озлобленности человека. И здесь прослеживается интересная параллель с понятием Добра: если Добро как добродетель человека вознаграждается имущественным благополучием, обладанием, обретением или владением чем-либо (ср. **добро** 'имущество' СС 192), то Зло как один из его пороков наказывается отсутствием (неимением) чего-либо, поэтому оно порождается страданием из-за лишения этого чего-либо (ср. **непръязнь** 'зло' СС 372; **непръязньство** 'зло, злоба' СС 372; **озълъкник** 'лишения, страдания'

СС 408; озълоблѣник 'лишения, страдания' СС 408; зълострадати 'испытывать страдания' СС 240). Материал старославянского языка, таким образом, полностью подтверждает слова Дионисия Ареопажита о том, что «зло есть лишь недостаток, отсутствие полноты свойственных нам благ» (Дионисий Ареопажит 1994, 169).

* * *

В древнерусском языке сохраняется религиозный вариант осмысления Зла, вместе с тем наблюдается дальнейшая детализация и конкретизация этого понятия, ибо оно «прирастает» новыми словами и новыми смыслами. И здесь прежде всего следует отметить усиление философских тенденций в языке, стремление его осмыслить мир и человеческую жизнь с точки зрения проявления в них Добра и Зла.

В отличие от старославянского, древнерусский язык говорит нам о том, что Зло (зло 'зло' СРЯ XI–XVII 6: 15; лихѡ 'зло' СРЯ XI–XVII 8: 246; лютъ 'зло' СРЯ XI–XVII 8: 348) может существовать не только в мире людей, но и в мире природы, создавая угрозу человеческому существованию: это может быть и неблагоприятная погода (ср. злопогодие 'непогода' СРЯ XI–XVII 6: 28), и опасное, труднопроходимое место (ср. злопѣтныи 'труднопроходимый' СРЯ XI–XVII 6: 29; лютомѣстие 'плохое, неудобное место' СРЯ XI–XVII 8: 346), и тяжелое в жизни каждого человека время (ср. злогодие 'тяжелое время' СРЯ XI–XVII 6: 20; злолютныи часъ 'тяжелое, трудное время' СРЯ XI–XVII 6: 25; лихѡлѣтне 'пора бедствий (голода, мора)' СРЯ XI–XVII 8: 250). Следует, однако, признать, что в целом этих имен немного, так как в представлении средневекового человека Зло несубстанциально, ибо все, что получило свое бытие от Бога, есть Добро.

Более определенной является и персонификация Зла: древнерусский язык прямо соотносит Зло с Сатаной (ср. зълѣць 'злодей (о сатане)' СРЯ XI–XVII 6: 15; лихѡвецъ 'дьявол' СРЯ XI–XVII 8: 246) как творцом и сеятелем зла (ср. злодѣи 'о дьяволе' СРЯ XI–XIV: 415; злобосѣятель 'сеятель зла (о дьяволе)' СРЯ XI–XVII 6: 18), поэтому злобожнѣи — это не просто 'безбожный', но 'ненавистный Богу' (СРЯ XI–XVII 6: 18).

В дериватах с корнем зло- прослеживается стремление человека понять сущность Зла и ответить на вопрос о причинах его возникновения. Это философское осмысление Зла представлено в именах зложитник 'несчастье, невзгоды, злополучие' СРЯ XI–XVII 6: 23; зложизник 'злополучие' СРЯ XI–XVII 6: 23; злоденство 'несчастье, невзгоды' СРЯ XI–XVII 6: 22; злосчастье 'злая доля, участь' СРЯ XI–XVII 6: 33. Все они указывают на то, что страдания, несчастья

и невзгоды в жизни человека — это не просто Зло (ср. зло ‘несчастье, беды, напасть’ СРЯ XI–XVII 6: 15; злоба ‘беда, несчастье’ СРЯ XI–XVII 6: 16; люто ‘бедствие’ СРЯ XI–XVII 8: 346), а воздаяние (ср. злополучение ‘злополучие, несчастная судьба’ СРЯ XI–XVII 6: 29), возмездие за грехи, за нарушение нравственного порядка. И здесь снова наблюдается интересная параллель с Добром, на которую указывает внутренняя форма слов: если благополучие человека (ср. доброполучие ‘благополучие’ СРЯ XI–XVII 4: 264) — это дар Божий, так как Бог есть Добро, то злополучение ‘злополучие’ (СРЯ XI–XVII 6: 29) — это подарок Сатаны, так как Зло является именно его сущностным атрибутом.

Древнерусский язык дает и более четкую оценку Зла, которое воспринимается не просто как порок человека, а как его грех (ср. зло ‘грех’ СРЯ XI–XVII 6: 15; злая в знач. сущ. ‘грех’ СРЯ XI–XVII 6: 15; зловик ‘грех’ СРЯ XI–XVII 6: 17), и это оценочное значение хорошо прослеживается у прилагательных злой 1) ‘плохой, дурной’; 2) ‘губительный, пагубный’ (СРЯ XI–XVII 6: 23), лихой ‘плохой, дурной’ (СРЯ XI–XVII 8: 249), лютый ‘плохой, дурной, предосудительный’ (СРЯ XI–XVII 8: 347).

Как же осмыслялось Зло древнерусским языком? Что вкладывал человек в это понятие?

Прежде всего следует отметить, что Зло осмыслялось с позиций веры и тех христианских заповедей, которые составляли ее основу, что и понятно, так как древнерусская культура — это «культура-вера» (А. М. Панченко). Поэтому злом являлось отступничество от веры, ересь (ср. зло ‘вероотступничество’ СРЯ XI–XVII 6: 14; зловѣрик ‘язычество, ересь’ СРЯ XI–XVII 6: 19), соответственно и учения, противоречащие догматам веры, всякое колдовство и чародейство также расценивались как Зло (ср. зломудрик ‘умствование, изощренность в суждениях, противоречащих догматам веры’ СРЯ XI–XVII 6: 26; злоученик ‘ересь, ложное, вредное учение’ СРЯ XI–XVII 6: 34; злодѣйство ‘чародейство, колдовство’ СРЯ XI–XVII 6: 21).

Евангельская основа этой позиции просматривается и в оценке тех межличностных отношений, которые не соответствовали этическим нормам общества, т. е. Злом в языковом сознании человека являлись:

предосудительные поступки, поведение (ср. злочинение ‘дурные действия, поступки’ СРЯ XI–XVII 6: 36; лютодѣяние ‘предосудительное поведение, поступки’ СРЯ XI–XVII 8: 346);

злонамеренность, коварство, козни (ср. злодумик ‘злой умысел, злонамеренность’ СРЯ XI–XVII 6: 23; злоизволеник ‘дурное желание, злонамеренность’ СРЯ XI–XVII 6: 23; злоковарство ‘коварство, злой умысел’ СРЯ XI–XVII 6: 24; злокозни ‘козни’ СРЯ XI–XVII 6: 25; зломыслик ‘злой умысел’ СРЯ XI–XVII 6: 26; зломышленник

'злоумышление' СРЯ XI—XVII 6: 27; **злорадство** 'недоброжелательный поступок, причиняющий вред' СРЯ XI—XVII 6: 29; **злосовѣтне** 'козни, заговор' СРЯ XI—XVII 6: 31; **злouxитрие** 'коварство, козни' СРЯ XI—XVII 6: 34; **злочестие** 'коварство' СРЯ XI—XVII 6: 36; **злыдни** 'коварство, плутовство, обман' СРЯ XI—XVII 6: 36; **лихoxитрство** 'коварство, зло умысел' СРЯ XI—XVII 8: 251;

клевета, злословие (ср. **злоглаголанник** 'клевета' СРЯ XI—XVII 6: 20; **злорѣчество** 'клевета, злословие' СРЯ XI—XVII 6: 30; **злогласованник** 'хула, насмешки, издевательства' СРЯ XI—XVII 6: 20; **злословие** 'брань, оскорбления' СРЯ XI—XVII 6: 31; **злослѣтье** 'поношение' СРЯ XI—XVII 6: 31);

жестокость (ср. **злолютик** 'жестокость, лютость' СРЯ XI—XVII 6: 25);

корыстолюбие, скупость (ср. **лихонмѣнник** 'корыстолюбие' СРЯ XI—XVII 8: 248; **лихонмѣстие** 'корыстолюбие, скупость' СРЯ XI—XVII 8: 249);

злорадство (ср. **лихорадство** 'злорадство' СРЯ XI—XVII 8: 250);

злопамятность (ср. **злопамятство** 'злопамятность' СРЯ XI—XVII 6: 28).

Даже созерцание или вкушение чего-либо вредного, пагубного, т. е. бесовского, с точки зрения средневекового человека, тоже являлось Злом (ср. **зловидѣнник** 'созерцание чего-либо вредного, пагубного, бесовского' СРЯ XI—XVII 6: 19; **зловкѣшеник** 'вкушение чего-либо вредного в религиозно-нравственном понимании' СРЯ XI—XVII 6: 19; **злообоняние** 'восприятие дурного через обоняние' СРЯ XI—XVII 6: 28).

Как Зло расценивалось и пустословие, излишняя многословность (ср. **лихословие** 'пустословие' СРЯ XI—XVII 8: 251; **лихоголаголати** 'говорить лишнее' СРЯ XI—XVII 8: 247; **лихословити** 'говорить много, излишне' СРЯ XI—XVII 8: 251).

Совершенно очевидно, что в представлении древнерусского языка основная сфера распространения Зла — это мир человеческих отношений. При этом Зло не просто соотносится с миром людей, оно осмысливается как качество, внутренне присущее человеку, изначально предрасположенного ко злу (ср. **злонравникъ** 'человек, расположенный ко злу' СРЯ XI—XVII 6: 27; **злокозник** 'склонность к козням' СРЯ XI—XVII 6: 25; **лютонравие** 'жестокый, суровый нрав' СРЯ XI—XVII 8: 347). И это свойство природы человека расценивалось как грех (ср. **злонравик** 'грех' СРЯ XI—XVII 6: 27), ибо злобность (ср. **зловость** 'злобность' СРЯ XI—XVII 6: 18; **зловство** 'злобность' СРЯ XI—XVII 6: 18), подозрительность человека (ср. **зломнительство** 'подозрительность' СРЯ XI—XVII 6: 26) часто являются причиной многочисленных обид, нанесенных людям (ср. **зло** 'обида' СРЯ XI—XVII 6: 15; **злова** 'обида' СРЯ XI—XVII 6: 16).

Вместе с тем следует отметить, что добровольное самоистязание, сознательное обречение себя на страдания расценивались древнерусским языком как **подвижничество** (ср. **злостраданик** 'самоистязание, подвижничество' СРЯ XI–XVII 6: 32).

Зло в древнерусском языке осмыслялось и в социальном аспекте, так как с ним связывалось **социальное происхождение** человека (ср. **злородик** 'низкое происхождение' СРЯ XI–XVII 6: 30), в частности, его восприятие в обществе (ср. **лихое** 'дурная молва о ком-либо' СРЯ XI–XVII 8: 247), оценка его деяний, нарушающих этические нормы (ср. **злодѣйство** 'злодеяние, преступление' СРЯ XI–XVII 6: 21; **зловство** 'злодеяние, злодейство' СРЯ XI–XVII 6: 18; **злотворение** 'злодеяние' СРЯ XI–XVII 6: 33).

Как Зло воспринимались и существующие в обществе порочные традиции или обычаи (ср. **злообычай** 'дурной обычай' СРЯ XI–XVII 6: 28), в частности, такой порок всякого общества, как **взяточничество** (ср. **злоемство** 'взяточничество' СРЯ XI–XVII 6: 23; **зломаник** 'лихоимство, взяточничество' СРЯ XI–XVII 6: 23; **лихонманик** 'взяточничество' СРЯ XI–XVII 8: 248). Как Зло расценивалось и **ростовщичество** (ср. **лихонмствие** 'ростовщичество' СРЯ XI–XVII 8: 249), ибо всякая прибыль, избыток в представлении древнерусского языка, является Злом (ср. **лихо** 1) 'избыток, прибыль'; 2) 'зло' СРЯ XI–XVII 8: 246). Интересно также, что всякое неотложное дело человека, с точки зрения древнерусского языка, также являлось Злом (ср. **злоба** 'неотложное дело, забота' СРЯ XI–XVII 6: 16), ибо человек «отвлекался» от самого главного дела своей жизни — служения Богу, его Заветам (ср. **Не пѣѣтесе ѹбо на ѹтрѣи, ѹтрѣнии бо днь собою печѣтесе довѣлѣтєть бо днии злоба своя**).

Социальность Зла проявлялось и в том, что оно осмыслялось в экономическом аспекте, так как с ним связывались бедность и нищета человека (ср. **лишение** 'бедность, нужда' СРЯ XI–XVII 8: 261; **лиховатися** 'терпеть лишения, бедствия' СРЯ XI–XVII 8: 247).

Наконец, Зло оценивалось и с витальной точки зрения, так как в представлении древнерусского языка Зло разрушало человека, становясь причиной его болезней (ср. **лихость** 'все, что способствует болезни или является болезнью' СРЯ XI–XVII 8: 251).

Будучи категорией нормативно-оценочной, Зло в древнерусском языке оказалось способно к развитию значения интенсивности, проявление которой могло осуществляться в разной степени. Это послужило основой для использования данной категории в качестве количественного определителя, причем не только в мире конкретных, но и в мире абстрактных сущностей, т. е. в древнерусском языке, в отличие от старославянского языка, Зло осмыслялось и как количественная категория, указывающая на высшую меру проявления действия или признака (ср. **злѣ** 'сильно, в высокой

степени' СРЯ XI—XVII 6: 15; **злѣхитрый** 'очень хитрый, коварный' СРЯ XI—XVII 6: 15), **злогорький** 'очень тяжкий, жестокий' (СРЯ XI—XVII 6: 20), **злодерзие** 'крайняя дерзость, наглость' (СРЯ XI—XVII 6: 22). Само прилагательное **злой** обладало значением 'очень сильный по степени проявления': **Зажьжесе пожарь Новѣгородѣ и вяше пожарь зълъ съгорѣша церкѣви три и много домовъ добрыхъ** СРЯ XI—XVII 6: 23; Ср. также:

лихо 'зло' СРЯ XI—XVII 8: 246 и **лихо** 'много' СРЯ XI—XVII 8: 246; **лихое** 1) 'зло' 2) 'что-либо излишнее, чрезмерное' СРЯ XI—XVII 8: 247;

лютый 1) 'жестокий, злобный'; 2) 'сильный, чрезмерный': **приспѣяше зима и мрази лютии** СРЯ XI—XVII 8: 348.

Отсюда становится понятным, почему всякое излишество, неумеренность в чем-либо древнерусским языком осмыслялось как Зло (ср. **лихосытие** 'неумеренность в еде, пресыщение' (СРЯ XI—XVII 8: 251), **лихоядие** 'неумеренное употребление пищи, обжорство' (СРЯ XI—XVII 8: 251), **лихопитие** 'неумеренность в питье, пьянство' (СРЯ XI—XVII 8: 250).

В этом смысле чрезвычайно интересными являются слова **лиховица** 1) 'излишек, избыток'; 2) 'превосходство'; 3) 'распутство' (СРЯ XI—XVII 8: 246), **лихование** 1) 'излишек'; 2) 'преступление, вина' (СРЯ XI—XVII 8: 246) и **лихнѣти** 1) 'превозмоги, превыситься'; 2) 'согрешить' (СРЯ XI—XVII 8: 246). Их семантическая структура раскрывает нам логику движения человеческой мысли в осознании пути человека от излишества к пороку.

Таким образом, древнерусский язык рисует нам целую картину, позволяющую понять философское осмысление Зла средневековым обществом.

Какой же человек в представлении этого общества являлся злым?

Субъектные номинации древнерусского языка так же, как и *nomina abstracta*, распределяются на три группы: одна из них рисует нам портрет злого человека с позиций **веры**, другая — с позиций средневековой **этики**, а третья — с **социальной** точки зрения.

В отношении к вере злой человек — это **безбожный** (ср. **злужный** 'безбожный' СРЯ XI—XVII 6: 18), **неправедный**, **нечестивый** (ср. **злой** 'неправедный, нечестивый' СРЯ XI—XVII 6: 23; **злочестникъ** 'нечестивец' СРЯ XI—XVII 6: 36), **вероотступник** (ср. **зловѣсникъ** 'еретик' СРЯ XI—XVII 6: 17; **зловѣрецъ** 'вероотступник, еретик' СРЯ XI—XVII 6: 19; **зломудрецъ** 'тот, кто слишком мудрствует, чьи суждения вступают в противоречия с догматом веры' СРЯ XI—XVII 6: 26), и уже поэтому **грешный** (ср. **злогрѣшный** 'имеющий тяжкие грехи' СРЯ XI—XVII 6: 20).

В этическом плане злой человек — это прежде всего человек:

творящий зло (ср. злодѣивый 'творящий зло' СРЯ XI–XVII 6: 21; злодѣй 'злодей' СРЯ XI–XVII 6: 21; злодѣлатель 'тот, кто творит зло' СРЯ XI–XVII 6: 22; злотворецъ 'злодей' СРЯ XI–XVII 6: 33; злочинецъ 'тот, кто творит зло' СРЯ XI–XVII 6: 36; анходѣй 'злодей' СРЯ XI–XVII 8: 247);

строющий козни, коварный, злоумышленник (ср. злочинатель 'зачинщик зла' СРЯ XI–XVII 6: 27; злохитрецъ 'злой, коварный человек' СРЯ XI–XVII 6: 34; злобивый 'лукавый, коварный' СРЯ XI–XVII 6: 17; злокозненникъ 'тот, кто строит козни' СРЯ XI–XVII 6: 25; зломысль 'тот, кто желает кому-либо зла, враг' СРЯ XI–XVII 6: 26; злоумный 'коварный' СРЯ XI–XVII 6: 33; злоухищренный 'коварный' СРЯ XI–XVII 6: 34; злохитренный 'коварный' СРЯ XI–XVII 6: 34; злохитрый 'коварный, исполненный жестокости, вероломства' СРЯ XI–XVII 6: 35; злочестивый 'бесчестный, коварный' СРЯ XI–XVII 6: 35; злосовѣтникъ 'злоумышленник' СРЯ XI–XVII 6: 31; злоядрый 'злой, коварный' СРЯ XI–XVII 6: 36; злурядивый 'старающийся причинить зло' СРЯ XI–XVII 6: 36);

злобный и недоброжелательный (ср. злобникъ 'злобный, недоброжелательный человек' СРЯ XI–XVII 6: 18; злобивый 'злобный, недоброжелательный' СРЯ XI–XVII 6: 17; злобливый 'злобный, недоброжелательный' СРЯ XI–XVII 6: 18);

злословник, клеветник (ср. злословецъ 'тот, кто злословит' СРЯ XI–XVII 6: 31; злоустный 'злословный' СРЯ XI–XVII 6: 34; злоглагольникъ 'тот, кто злословит, клеветник' СРЯ XI–XVII 6: 20; злогласникъ 'ругатель, крикун' СРЯ XI–XVII 6: 20);

жестокий (ср. злой 'свирепый, жестокий'; злосердный 'жестокый, бессердечный' СРЯ XI–XVII 6: 30; злодушный 'злой, жестокий' СРЯ XI–XVII 6: 23; лютоостный 'злобный, жестокий человек' СРЯ XI–XVII 8: 347; лютообразный 'жестокий' СРЯ XI–XVII 8: 347; лютосердный 'жестокосердный' СРЯ XI–XVII 8: 347);

злорадствующий (ср. злорадующийся 'злорадствующий' СРЯ XI–XVII 6: 29; анхорадный в знач. сущ. 'злорадствующий' СРЯ XI–XVII 8: 250);

злопамятный (ср. злопамятникъ 'тот, кто злопамятен' СРЯ XI–XVII 6: 28; злопомнивый 'злопамятный' СРЯ XI–XVII 6: 28);

хитрый (ср. злообразный 'хитрый' СРЯ XI–XVII 6: 28);

обманщик (ср. злопрелестникъ 'обманщик, соблазнитель' СРЯ XI–XVII 6: 29; анхومانъ 'обманщик' СРЯ XI–XVII 8: 250);

завистник (ср. злоизвольный 'завистник' СРЯ XI–XVII 6: 23).

В социальном отношении злой человек — это:

преступник (ср. злоанхонматель 'особо опасный преступник' СРЯ XI–XVII 6: 25; злоумышленникъ 'тот, кто имеет злой умысел, преступник' СРЯ XI–XVII 6: 34; злодѣй 'преступник' СРЯ XI–XVII 6: 21;

злогубитель 'преступник' СРЯ XI–XVII 6: 20; **лихой** 'преступник' СРЯ XI–XVII 8: 250;

имеющий дурную славу, отверженный обществом (ср. **злонименный** 'имеющий дурную славу, дурное имя' СРЯ XI–XVII 6: 23; **лишеникъ** 'отверженный, пропавший человек' СРЯ XI–XVII 8: 260);

вор (ср. **лихованикъ** 'вор, похититель' СРЯ XI–XVII 8: 247);

ростовщик (ср. **лихварь** 'ростовщик' СРЯ XI–XVII 8: 246; **лихониманикъ** 'ростовщик' СРЯ XI–XVII 8: 248; **лихонматель** 'ростовщик' СРЯ XI–XVII 8: 248; **лихонмецъ** 'ростовщик' СРЯ XI–XVII 8: 248; **лишевиникъ** 'ростовщик' СРЯ XI–XVII 8: 259);

бездельник (ср. **злопраздный мужъ** 'бездельник, тунеядец' СРЯ XI–XVII 6: 29);

колдун (ср. **лютодѣй** 'колдун' СРЯ XI–XVII 8: 346).

В отличие от старославянского языка, где Зло не характеризовалось с эстетической точки зрения, ибо уродливое в душе человека вызывало суеверный страх, и его происхождение приписывалось вмешательству демонических сил (дериваты с корнем жрод-: жродьнѣ, жродивѣ, жродѣство и др. имели в старославянском языке не эстетическое, а рациональное значение, а именно 'неразумный', 'глупый' или 'глупость' и 'безрассудство' СС, 805–806), древнерусский язык дает Злу и эстетическую оценку, ибо безобразие человека расценивается как Зло (ср. **злоники** 'некрасивый лицом' СРЯ XI–XVII 6: 25; **злообразный** 'некрасивый, безобразный' СРЯ XI–XVII 6: 28; **зловидный** 'имеющий страшный вид' СРЯ XI–XVII 6: 19; **злзрачный** 'имеющий устрашающий вид' СРЯ XI–XVII 6: 23).

Древнерусский язык подробно описывает и действия, совершаемые злым человеком, причем кроме глаголов, передающих общую идею злого действия или состояния как внутренне присущего человеку (ср. **лютитися** 'злостововать, неистовствовать' СРЯ XI–XVII 8: 346), в нем имеется немало глаголов, в которых эти действия конкретизируются. Среди них, в частности, такие, как:

совершать злодеяние (ср. **злодѣйствовати** 'совершать преступление' СРЯ XI–XVII 6: 22; **злодѣяти** 'творить зло, совершать злодеяния' СРЯ XI–XVII 6: 22; **злотворити** 'совершать злодеяние' СРЯ XI–XVII 6: 33);

клеветать, злословить (ср. **злѣсловесити** 'порочить' СРЯ XI–XVII 6: 15; **злоглаголати** 'злословить' СРЯ XI–XVII 6: 20; **злорѣчити** 'злословить, оскорблять кого-либо' СРЯ XI–XVII 6: 30; **злославити** 'порочить' СРЯ XI–XVII 6: 30; **злословити** 'злословить, осуждать кого-либо' СРЯ XI–XVII 6: 30; **лиховати** 'оговаривать' СРЯ XI–XVII 8: 247);

строить козни (ср. **зломыслити** 'иметь злой умысел против кого-либо' СРЯ XI–XVII 6: 27; **злосовѣтовати** 'сговариваться с целью причинить зло' СРЯ XI–XVII 6: 32);

обижать (ср. *зловити* 'причинять зло, притеснять, обижать' СРЯ XI–XVII 6: 17; *лиховати* обижать СРЯ XI–XVII 8: 247);

отнимать, лишать чего-либо (ср. *лиховати* 'лишать, отнимать' СРЯ XI–XVII 8: 247; *лишевати* 'отнимать что-либо' СРЯ XI–XVII 8: 259);

вредить (ср. *злововати* 'причинять вред, зло' СРЯ XI–XVII 6: 18; *зловредити* 'причинять вред' СРЯ XI–XVII 6: 20);

враждовать (ср. *зловствовати* 'враждовать, ссориться' СРЯ XI–XVII 6: 18);

ожесточать (ср. *злосердити* 'ожесточать' СРЯ XI–XVII 6: 30);

обманывать (ср. *лихонмати* 'обманывать с корыстной целью' СРЯ XI–XVII 8: 248; *лихонмствовати* 'обижать, обманывать с корыстной целью' СРЯ XI–XVII 8: 249).

Интересно, что в отличие от имен, глаголы характеризуют в основном эти действия с точки зрения их отношения к этической норме, и лишь иногда в социальном плане (ср. *злостраждовати* 'претерпеть лишения, переносить тяжкие страдания' СРЯ XI–XVII 6: 32) и в отношении к вере (ср. *злочествовати* 'поступать богопротивно' СРЯ XI–XVII 6: 35; *зломудрствовати* 'умствовать, изощряться в суждениях, противоречащих догматам веры' СРЯ XI–XVII 6: 27).

Если проанализировать весь этот текст лексико-понятийной парадигмы Зла в древнерусском языке, то нетрудно заметить тщательность проработки этого понятия: человек как бы стремился обозначить все, что могло ввергнуть его во Зло, и тем самым привести к греху, поэтому, детализируя и конкретизируя в многочисленных дериватах понятие Зла, он как бы надеялся оградить себя от него.

Обращает на себя внимание и тот факт, что и имена, и глаголы при всем различии их семантики указывают часто на одни и те же атрибуты Зла, а именно: **вероотступничество, хитрость, коварство, обман, клевету, злословие, жестокость, недоброжелательство**. Повторяемость словообразовательных моделей с первым компонентом *зло-* свидетельствует о том, что Зло для средневекового человека — это не только **ДЕЛО** (ср. *злодѣйство* 'злодеяние, преступление' СРЯ XI–XVII 6: 21; *злотворение* 'злодеяние' СРЯ XI–XVII 6: 33; *злочинець* 'тот, кто творит зло' СРЯ XI–XVII 6: 36; *злодѣй* 1) 'злодей, преступник'; 2) 'враг' СРЯ XI–XVII 6: 21; *злодѣлатель* 'тот, кто творит зло' СРЯ XI–XVII 6: 22; *злодѣяник* 'грех, святотатство' СРЯ XI–XVII 6: 22; *зловосдѣланик* 'злодеяние' СРЯ XI–XVII 6: 18), но и **СЛОВО** (ср. *злословие* 1) 'ересь, богохульство' 2) 'брань, оскорбления' СРЯ XI–XVII 6: 31; *злѣсловесити* 'порочить, говорить дурное' СРЯ XI–XVII 6: 15; *злословити* 'злословить, порицать, осуждать кого-либо' СРЯ XI–XVII 6: 30; *злоглаголанник* 'злословие' СРЯ

XI–XVII 6: 20; **злоглаголати** ‘злословить’ СРЯ XI–XVII 6: 20; **злорѣчство** ‘клевета, злословие’ СРЯ XI–XVII 6: 30) и даже **МЫСЛЬ** (ср. **злодумик** ‘злой умысел, злонамеренность’ СРЯ XI–XVII 6: 23; **зломыслик** ‘злой умысел’ СРЯ XI–XVII 6: 26; **зломышленик** ‘злоумышление’ СРЯ XI–XVII 6: 27; **зломыслити** ‘иметь злой умысел против кого-либо’ СРЯ XI–XVII 6: 27).

И еще одна особенность древнерусского языка, отличающая его от старославянского, — множество глаголов, передающих общую идею Зла (ср. **злодѣйствовати** ‘совершать преступление’ СРЯ XI–XVII 6: 22, и в Словаре XI–XIV вв. ‘прелюбодействовать’: 416; **злодѣяти** ‘творить зло, совершать злодеяния’ СРЯ XI–XVII 6: 22; **злотворити** ‘совершать злодеяние’ СРЯ XI–XVII 6: 33; **зловити** ‘причинять зло, притеснять, обижать’ СРЯ XI–XVII 6: 17); **злововати** ‘причинять вред, зло’ СРЯ XI–XVII 6: 18; **зловствовати** ‘враждовать, ссориться’ СРЯ XI–XVII 6: 18; **зловредити** ‘причинять вред’ СРЯ XI–XVII 6: 20; **лихнѹти** ‘согрешить’ СРЯ XI–XVII 8: 246; **лютитися** ‘злоствовать’ СРЯ XI–XVII 8: 346). Это обилие глаголов не может не наводить на мысль о том, что средневековый человек ощущал действенность Зла в окружающем его мире, т. е. если Добро в древнерусском языке осмыслялось как атрибутивная категория, то Зло — как категория процессуальная, деятельностная.

Секуляризация русской культуры не могла не оказать влияния и на осмысление категории Зла, что отразилось на разработке этого понятия современным русским литературным языком. Несмотря на то, что он многое воспринял от старославянского и древнерусского языков, однако, как показывает материал, еще больше утратил.

Прежде всего был утрачен религиозный аспект определения Зла, а в связи с этим и его персонифицированное представление, вследствие чего Зло превратилось в категорию сугубо антропоцентрическую.

Отделение культуры от веры сделало неактуальным и такие мотивы в осмыслении Зла, как *вероотступничество, язычество, ересь, порок и грех*.

Вместе с тем в современном русском языке Зло по-прежнему трактуется как этическая, регулятивная и социальная категория, хотя нельзя не признать, что и здесь произошли существенные изменения, вследствие чего практически все группы этой лексики количественно редуцировались.

В понимании современного русского языка Зло — это прежде всего категория аксиологическая, нормативно-оценочная. И здесь так же, как и в древнерусском языке, оно по-прежнему ассоциируется

с несчастливой судьбой, бедой, несчастьем, (ср. *зло* 'несчастье, беда' ССРЛЯ 4: 1238; *злоключение* 'несчастный случай, беда' ССРЛЯ 4: 1254). Сохраняется и философское осмысление Зла в словах *злополучие* 'несчастье, беда' ССРЛЯ 4: 1256; *злосчастие* 'несчастливая доля, судьба, несчастье' ССРЛЯ 4: 1261; *лихо* устар. и прост. 'зло, беда, несчастье' СРЯ 2: 255), хотя языковым сознанием современного человека оно уже не улавливается.

Как категория этики понятие Зла в литературном языке включает в себя следующие смыслы:

недоброжелательность, враждебность (ср. *злость* 'чувство враждебности, недоброжелательности' ССРЛЯ 4: 1261; *злоба* 'чувство недоброжелательности, враждебности' ССРЛЯ 4: 1240; *злобность* 'враждебность, недоброжелательность' ССРЛЯ 4: 1242; *зложелательство* 'недоброжелательство' ССРЛЯ 4: 1250; *лихота* 'злоба, недоброжелательство' ССРЛЯ 6: 281);

коварство, злой умысел, злопамятность (ср. *злокозненность* 'коварный, злой умысел, злые происки' ССРЛЯ 4: 1254; *злонамеренность* 'злой умысел' ССРЛЯ 4: 1255; *злонамеренный* 'основанный на злом умысле' ССРЛЯ 4: 1255; *злостность* 'злое намеренье, злой умысел' ССРЛЯ 4: 1260; *злоумышление* 'злой умысел' ССРЛЯ 4: 1262); *злопамятность* 'свойство долго помнить зло' ССРЛЯ 4: 1257);

злословие, сплетни (ср. *злословие* 'пересуды, сплетни, порицания' ССРЛЯ 4: 1259; *злоречие* 'привычка, склонность зло, язвительно говорить отзываться о других' ССРЛЯ 4: 1259; *злозязычие* 'привычка, склонность к сплетням, злые пересуды' ССРЛЯ 4: 1264; *злозязычность* 'склонность к злословию, сплетням' ССРЛЯ 4: 1265);

зловредность (ср. *зловредность* 'то, что причиняет зло' ССРЛЯ 4: 1257).

Изменилось и социальное осмысление Зла: в отличие от древнерусского языка, в современном литературном языке понятие Зла уже не соотносится с социальным происхождением человека. Однако мотив преступления Закона по-прежнему сохраняется (ср. *злодейство* 'злодейский поступок, преступление' ССРЛЯ 4: 1249; *злодеяние* 'причинение вреда, тяжкое преступление' ССРЛЯ 4: 1249; *злоупотребление* 'незаконное, преступное использование своих прав и возможностей' ССРЛЯ 4: 1262; *лиходейство* 'лихое дело, злодейство' ССРЛЯ 6: 275). Удивительно, но сохранилась и соотнесенность Зла со **взяточничеством** и **ростовщицеством**, хотя и только у дериватов с корнем *лих-* (ср. *лихоимство* 'взяточничество, ростовщицество' ССРЛЯ 6: 276).

Значительно сузилась сфера количественной интерпретации категории Зла: она существует лишь в разговорном языке у прилагательного *злой* для обозначения высшей степени какого-либо качества или действия, а именно '**сильный**' (ср. *Кони, фыркая, вихрем летели,*

злой мороз пробирал до костей. Н. А. Некрасов «Кому холодно, кому жарко!» СРЯ 1: 841). Кроме того, в виде осколка количественного значения она наблюдается у существительных *излишек* 'чрезмерное количество чего-либо' (ср. *излишек воды в почве* СРЯ 2: 889), *излишество* 'слишком большое количество чего-либо' СРЯ 2: 889), *лишек* 'то, что превышает какую-либо норму, меру' (которое в академическом словаре русского литературного языка дается с пометкой *прост.*, ср. ...*может и есть тут теперича лишку, да вот, поди ты, махнули рукой*. Н. А. Некрасов «Железная дорога». СРЯ 2: 259).

Существенные изменения произошли и в осмыслении Зла как антропоцентрической категории, о чем красноречиво свидетельствуют субъектные номинации литературного языка.

Прежде всего необходимо отметить, что в отличие от древнерусского, современный русский язык в понятие «злой» уже не включает такие качества человека, как *неправедный, нечестивый, имеющий тяжкие грехи, вероотступник, еретик, грешный, безбожник, богоненавистник*, т. е. сфера «сакрального» в осмыслении Зла полностью утрачена.

Однако в представлении литературного языка *злой человек* — это по-прежнему человек, нарушающий этические нормы общества, а именно:

исполненный недоброжелательства, вражды, злопыхатель (ср. *злой* 'исполненный чувства вражды, недоброжелательности': *Злых людей везде много, а добрых не скоро найдешь*. И. А. Гончаров. «Обыкновенная история» ССРЛЯ 4: 1250; *злбный* 'исполненный недоброжелательства, вражды' ССРЛЯ 4: 1242; *зложелатель* 'недоброжелатель' ССРЛЯ 4: 1250; *злопыхатель* 'исполненный злопыхательства человек' ССРЛЯ 4: 1257; *злыдарь* 'злой, недоброжелательный человек' ССРЛЯ 4: 1265);

имеющий злые намерения, преследующий дурную цель (ср. *злонамеренный* 'имеющий злые намерения, преследующий дурную цель' ССРЛЯ 4: 1255; *злостный* 'имеющий дурную цель, злонамеренный' ССРЛЯ 4: 1260);

злоречивник, сплетник (ср. *злоречивый* 'склонный зло, язвительно говорить о других': ССРЛЯ 4: 1258; *злоречивник* 'дурно говорящий о других, склонный к злословию, сплетням, пересудам' ССРЛЯ 4: 1265);

коварный, хитрый (ср. *злокозненный* 'коварный, хитрый' ССРЛЯ 4: 1254; *злоехидный* 'коварный' ССРЛЯ 4: 1250);

злопамятный (ср. *злопамятный* 'не забывающий причиненного зла' ССРЛЯ 4: 1257).

При этом язык подчеркивает, что Зло может быть изначально заложено в человеке, в его характере (ср. *злонравие* 'расположение ко злу, дурной нрав, характер' ССРЛЯ 4: 1255; *злонравный* 'обладающий дурным характером' ССРЛЯ 4: 1255).

В социальном отношении злой человек по-прежнему оценивается с нормативно-правовой точки зрения (ср. *злодей* 'преступник, разбойник, убийца' ССРЛЯ 4: 1247; *лиходеи* 'злодей' устар. и поэт. СРЯ 2: 255), а также с точки зрения отношения к материальным благам, где он ассоциируется с **взяточником** и **ростовщиком** (ср. *лихоимец* 'взяточник, ростовщик' ССРЛЯ 6: 275). В то же время такие значения, как 'человек низкого происхождения', 'бездельник', 'заговорщик' современным русским языком в этих дериватах уже не актуализируются.

Исчезло также эстетическое и витальное осмысление Зла, существовавшее у него в древнерусском языке, хотя появилось прилагательное *злокачественный*, имеющее в своей семантической структуре компонент 'опасный, представляющий угрозу для жизни' ССРЛЯ 4: 1253.

Таким образом, литературный язык как будто бы утратил интерес к категории Зла, поскольку лексико-понятийная парадигма имен с этим значением значительно сузилась.

Вместе с тем сам текст этой парадигмы свидетельствует о том, что в языковом сознании современного человека Зло по-прежнему является производным от ДЕЛА (ср. *злодей* 'преступник, разбойник, убийца' ССРЛЯ 4: 1257; *злодейство* 'злодейский поступок, преступление' ССРЛЯ 4: 1249; *злодействовать* 'совершать злодейские поступки, преступления' ССРЛЯ 4: 1249), СЛОВА (*злословить* 'зло, дурно говорить о ком-либо, чем-либо, сплетничать, клеветать, порицать, осуждать кого-, что-либо' ССРЛЯ 4: 1259; *злословие* 'пересуды, сплетни, порицания' ССРЛЯ 4: 1259) и МЫСЛИ (*злоумышленный* 'совершенный со злым намерением, преступный' ССРЛЯ 4: 1262; *злоумышленник* 'преступник' ССРЛЯ 4: 1262).

При этом в отличие от средневекового современный человек стал более коварным, ибо он **желает зла или употребляет что-либо во зло** другому (ср. *зложелатель* 'недоброжелатель' ССРЛЯ 4: 1250; *зложелательство* 'недоброжелательство' ССРЛЯ 4: 1250; *злоупотребить* 'употребить во зло, во вред другому' ССРЛЯ 4: 1262) и **испытывает от содеянного радость** (ср. *злорадствовать* 'проявлять злорадство' ССРЛЯ 4: 1258; *злорадство* 'чувство удовлетворения при неудаче, несчастье другого' ССРЛЯ 4: 1258).

Такова ситуация в современном русском литературном языке, а как осмысляется Зло в языке традиционной духовной культуры?

Прежде всего следует отметить, что категория Зла в русских диалектах по-прежнему сохраняет свой сильный энергетический потенциал, что позволяет ей втягивать в свое эмоционально-ценностное пространство самые разные слова и обрастать новыми смыслами.

Так, в частности, в лексико-семантическом поле Зла в русских диалектах представлены лексемы с корнями: **благ-** (ср. *благо* 'зло, все плохое и вредное' Ряз., СРНГ 2: 305), **бед-** (ср. *бедовущий* 'злой' Арх., СРНГ 2: 173), **враг-/враж-** (ср. *враговатый* 'злой' без указ, места СРНГ 5: 182; *вражной* 'злой, злобный' Арх., Сверд., СРНГ 5: 184; *вражить* 'делать зло' Арх., СРНГ 5: 183), **дурн-** (ср. *дурно* 'что-либо дурное: зло, беда' Ср. Урал. СРНГ 8: 269; *дурнота* 'зло, вред' Иван., СРНГ 8: 271), **зел-** (ср. *зело* 'зло' Перм., СРНГ 11: 253), **лих-/лиш-** (ср. *лих* 'злоба, зависть Пек., Твер. // 'зло, беда' Пек., Твер., СРНГ 17: 75; *лиха* 'зло, беда, несчастье' Зап. Брян., СРНГ 17: 75; *лихое* 'зло' Волог., Орл., СРНГ 17: 78; *лишечко* 'зло, беда, несчастье' Курск., СРНГ 17: 91), **лют-** (ср. *лютый* 'злой' Пск., Вят., Нижегород., Калуж., СРНГ 17: 249), **худ-** (ср. *худо* 'зло, бедствие' Даль IV: 568).

В отличие от языка элитарной культуры язык традиционной духовной культуры не только не утратил интереса к этой категории, но и по-своему ее развил, ибо Зло в этом языке осмысливается как многомерное явление со множеством дефиниций.

Прежде всего следует отметить, что в русских диалектах сохраняется персонифицированное восприятие Зла, существовавшее в старославянском и древнерусском языках, так как оно по-прежнему соотносится с нечистой силой, чертом, дьяволом (ср. *благо* 'зло' Ряз., СРНГ 2: 305 и *благая* 'нечистая сила' Костром., СРНГ 2: 306; *вражной* 'злой, злобный' Арх., Свердл. СРНГ 5: 184 и *вражина* 'черт' Новг., СРНГ 5: 183; *вражня*, *вражбина* 'нечистая сила' Иркут., СРНГ 5: 184; *дурно* 'зло, беда' Ср. Урал СРНГ 8: 269 и *дурной* 'злой дух, нечистая сила' Тул., Ворон., СРНГ 8: 269; *злыдня* 'черт' Саратов. // 'существо олицетворяющее беспросветную нужду' Смол., СРНГ 11: 295; *злына* 'нечистая сила' Калуж., СРНГ 11: 297; *лихое* 'зло' Волог., Орл., СРНГ 17: 78; *лих*, *лихо* 'злой дух, нечистая сила' Перм., Смол., СРНГ 17: 75; *лихач* 'нечистая сила, черт, леший' Смол., СРНГ 17: 75; *лихой* 'нечистая сила, домовый, злой дух' Калуж., Ряз., Тул., Моск., Нижегород., Самар. СРНГ 17: 78; *лихоман* 'дьявол, черт': *Лихоман его понес на эту свадьбу*. Курск., СРНГ 17: 79; *лютый* 1) 'злой' Яросл., Пск., Вят., Нижегород., Куйбыш., Калуж., Костром., Новг., Перм.; 2) 'злой дух' Тамб., СРНГ 17: 249; *худо* 'зло' и *худой* 'злой дух, черт' Сиб., Даль IV: 568).

В языковом сознании человека традиционной культуры Зло не субстанциально, его нет в мире природы, и только иногда, когда язык определяет характер **животных** или **свойства грибов, растений** (как правило, ядовитых, сорных или непригодных для употребления), в нем появляются дериваты с корнями **зл-** (ср. *злобец* 'злая собака': *Сходите, при дворе осмотрите, на кого мои злобцы притухают* СРНГ без указ, места 11: 288; *злокорень* 'ядовитое растение' Яросл., СРНГ 11: 291; *злые ягоды* 'ядовитая ягода воронец' Казан.,

СРНГ 11: 290), *благ-* (ср. *благун* 'ядовитый гриб' Костром., СРНГ 2: 309; *благуши* 'поганки' Смол., СРНГ 2: 310), *дур-* (ср. *дурь* 'название сорных или ядовитых растений' Сиб., СРНГ 8: 273), *лих-/лиш-* (ср. *лиховни* 'дикие яблоки' Пск., СРНГ 17: 77; *лиха трава* 'сорная трава' Арх., Сарат., СРНГ 17: 78), *худ-* (ср. *худая* 'змея' Даль IV: 568).

Аксиологический характер категории Зла (существующий в древнерусском языке) сохраняется в осмыслении *места, времени и погоды* как неблагоприятных или опасных для человека (ср. *благая пашня* 'плохая, неудобная земля' Твер.; *благое место* 'нечистое место, связанное со злым духом' Твер., СРНГ 2: 306; *лихотина* 'голое место на засеянной пашне' Вят., СРНГ 17: 84; *благый час, благая минута* 'неблагоприятное, приносящее беду время' Пск., Смол., Моск., СРНГ 2: 306; *злыдни* 'бедовое время, година бедствий' Смол., Орл., Южн. — Сиб., Том.: *Пришли злыдни погостить на три дня, а выжили целый век* СРНГ 11: 294; *лютые дни* 'тяжелые дни' Перм., Уфа, СРНГ 17: 249; *благая погода* 'непогода' Влад., СРНГ 2: 306; *лихолетье* 'непогода' Брян., СРНГ 17: 79; *лихота* 'жара' Том., СРНГ 17: 84; *лють* 'сильный мороз' Влад., Калуж., Моск., СРНГ 17: 250).

В языке русской традиционной культуры сохраняется и философский аспект осмысления Зла, ибо злом для человека по-прежнему является его *несчастливая судьба, доля* (ср. *злочась* 'несчастливая судьба, доля' Сиб., Tobол., СРНГ 11: 292; *злочасье* 'несчастливая судьба': *Наше счастье и наше злочасье* (поговорка) Перм., Вят., Арх., СРНГ 11: 292; *злыди* 'злая, жестокая участь, судьба': *На злыдях остались дома* Киров., СРНГ 11: 294; *злыдни* 'злая судьба' Киров., СРНГ 11: 294; *лихо* 'злая судьба' Пск., Смол., СРНГ 17: 76) и проистекающие отсюда *несчастья и беды* его жизни (ср. *злыдня* 'горе, несчастье' Краснодар., СРНГ 11: 295; *лих* 'беда, зло, несчастье' Пск., Твер., СРНГ 17: 75; *лихота* 'беда, несчастье, напасть' Арх., Пск., Смол., Волог., Урал., СРНГ 17: 84; *лишечко* 'беда, несчастье' Курск., СРНГ 17: 91). Поэтому человек, наделенный такой судьбой, это несчастный человека, горемыка (ср. *злой* 'имеющий несчастную судьбу' Олон., СРНГ 11: 290; *злорадный* 'несчастный' Костром., СРНГ 11: 291; *злочась* 'о несчастном человеке': *Злочась ты, злочась! Как ты и век-то скоротаешь?* Перм., СРНГ 11: 292; *злодарный* 'несчастный' Костр., СРНГ 11: 289; *злыдень* 'несчастливый человек, неудачник' Волог., СВГ 2: 172; *злыдник* 'бедный, несчастный человек, горемыка' Пек., Смол., СРНГ 11: 295; *лихостной* 'несчастливый' Вят., СРНГ 17: 83).

Причем в социальном плане это, как правило, человек *бедный, нищий* (ср. *злодарь* 'крайне бедный человек' Смол., СРНГ 11: 289; *злыденный* 'нищий бедняк' Курск., СРНГ 11: 293; *злыдень* 'бедный, нищий человек' Курск., Орл., Калуж., Зап. Брян., Смол., Волог., Вят., Перм., СРНГ 11: 293; *лихомарец* 'бедняк' Байкал., СРНГ 17: 80;

худак 'бедняк' Зап., Даль IV: 568), часто **не имеющий своей семьи** (ср. *злыдарь* 'сирота' Костром., СРНГ 11: 293), а потому вызывающий в народе сочувствие (ср. *злыдарь* 'бедный, несчастный человек, горемыка' Пенз., Саратов., Ряз., Тамб., Костром., СРНГ 11: 293).

Понятие Зла в языковом сознании русского народа осмысливается и как социальная, регулятивная категория, которая определяет нормы человеческого общежития. Социум выносит свой вердикт, оценивая именно через Добро и Зло характер отношений между людьми. В этой связи чрезвычайно интересным является прилагательное *божегневный* 'злой, дерзкий' (Орл., Курск., СРНГ 2: 62), в котором отчетливо выражена оценка Зла с точки зрения православной этики. В представлении языка традиционной духовной культуры Злом в мире человеческих отношений являются:

недоброжелательность (ср. *злоство* 'враждебность, недоброжелательность' Моск., СРНГ 11: 288; *лихота* 'недоброжелательность' Южн. Сиб., Краснояр., Том., Перм., Самар., СРНГ 17: 84);

обман, коварство, хитрость, (ср. *злоство* 'обман, козни' Тамб., СРНГ 11: 289; *злыдни* 'коварство, интриги' Том., СРНГ 11: 294; *зломанно* 'хитро, лукаво' Олон. СРНГ 11: 290);

зависть (ср. *лих* 'зависть, злоба' Твер., Пск., СРНГ 17: 75; *лихость* 'зависть' Пск., Твер., СРНГ 17: 82);

неблаговидные поступки (ср. *худога* 'дурной поступок, порок' Даль без указ. места IV: 568);

клевета, злословие (ср. *злбайство* 'злословие' Моск., СРНГ 11: 288);

злорадство (ср. *злоньство* 'злорадство' Тамб., СРНГ 11: 291).

Будучи категорией социальной Зло «работает» и в коммуникативном регистре, поскольку именно к нему человек апеллирует в проклятиях и брани (ср. *лихая тебя источи* Смол., Калуж., Брян., СРНГ 17: 75; *лихой тебя измучь* Орл., Ряз., СРНГ 17: 78; *лихорад* 'бранное слово' Вят.: *Какого ты там лихорада делал* СРНГ 17: 81; *благое тебя поברי* бран. 'чтоб ты с ума сошел' Смол., СРНГ 2: 306).

В языковом сознании русского народа Зло — это качество внутренне присущее злему человеку (ср. *злобливость* 'свойство злого человека' Терск., СРНГ 11: 288; *злондравный* 'имеющий злой нрав' Олон., СРНГ 11: 291), оно локализуется в его сердце (ср. *сердце* 'о злом человеке' Урал.: *Такое он сердце* СРНГ 37: 194; *насердые* 'по злобе, в сердцах' Све. — Двин., СРНГ 20: 158; *насердка* 'злоба, ненависть' Новосиб., Свердл., Иркут., Яросл., Новг., Твер., Пск., Смол., Олон., Север., СРНГ 20: 158), поэтому для такого человека Зло является нормой жизни (ср. *злообычность* 'привычка делать зло' Яросл., СРНГ 11: 291; *злообычный* 'злой' Арх., Яросл., СРНГ 11: 291).

В представлении языка русской традиционной культуры Зло «вторгается» и в сферу витальности человека, ибо одержимость

Злом разрушает человека, порождая его **болезни** (ср. *лихость* 'болезнь' Волог., СРНГ 17: 82; *лихая* 'лихорадка' Саратов., СРНГ 17: 75; *лишеть* 'усиливаться о болезни' Пск., Твер., Тул., СРНГ 17: 91; *зобен* 'лихорадка' Арх., СРНГ 11: 288; *злодейка* 'лихорадка' Арх., СРНГ 11: 288; *злокоманка* 'падучая' Олон., Арх. // 'лихорадка' Олон., СРНГ 11: 293; *худая* 'падучая или венерическая болезнь' Сиб., Вост., Даль IV: 568; *худобище* 'падучая болезнь' Перм., Даль IV: 568) и даже **смерть** (ср. *злодей-горе* 'смерть' Север., СРНГ 11: 289). Поэтому *благой* — это не только 'злой' (Ряз., Нижегород., Влад., Костром., Пск., Перм., Челябин.), но и 'слабый здоровьем, немощный' (Твер., Курск., Орл., Пенз., СРНГ 2: 306), ср. также *недобрый* 'больной, нездоровый' Перм., СРНГ 21: 15; *пропастной* 1) 'злой' Пск., Волог., Свердлов.; 2) 'больной' Пск., СРНГ 32: 201. Нередко в этих названиях содержатся и указания на источник, причину болезни (ср. *лихач* 'болезнь от нечистого' Брян., СРНГ 17: 75; *лихой* 'кожная болезнь, причиненная домовым' Костром., СРНГ 17: 79).

В русских диалектах имеется также множество имен, в которых через категорию Зла описываются различные физиологические состояния человека (ср. *лихоматно* 'тошно' Тюмен., СРНГ 17: 80; *лихостить* 'тошнить' Перм., СРНГ 17: 82; *лихонько* 'больно, тяжело' Пск., Волог., Вят., СРНГ 17: 81; *лишенько* 'больно' Пск., Новг., Твер., Влад., СРНГ 17: 91). Интересно, что категория Зла используется и при оценке некоторых психологических состояний человека, а именно его **тоски** и **печали** (ср. *злыдни* 'печаль, слезы' Перм., Арх., Сев., Зап., СРНГ 11: 294; *злодей-горе* 'тоска, слезы' Север., СРНГ 11: 289; *лихо* 'печаль' Арх., Волог., Ворон., Курск., СРНГ 17: 76; *лихота* 'тоска': *Такая лихота на сердце* Смол., Краснояр., СРНГ 17: 84; *лихотка* 'скорбь, печаль' Волог., СРНГ 17: 84), а также **страха** (ср. *зляка* 'страх, ужас' Калуж., СРНГ 11: 296; *злякаться* 'пугаться' Зап. Брян., СРНГ 11: 296; *лишенько* 'страшно' Пск., Новг., Твер., Влад., СРНГ 17: 91).

Это чувственное восприятие Зла особенно явно прослеживается в именах, в которых оно осмысливается как **вкусовая категория** (ср. *благой* 'слишком острый по вкусу' Костром.: *Благой какой-то лук у тебя* СРНГ 2: 306; *блажь* 'что-либо горькое или кислое' Костром., Волог., СРНГ 2: 313; *лихой* 1) 'острый, резкий, крепкий (о приправах, напитка)' Южн. Урал.; 2) 'неприятный на вкус' Свердлов., СРНГ 17: 78).

В языке русской традиционной культуры Зло рассматривается и как социальная категория, ибо Зло так же, как и Добро, может соотноситься с имуществом, пожитками человека (ср. *злыдень* 'последнее жалкое имущество' Иркут., СРНГ 11: 293; *лихорадки* 'пожитки' Пск.: *Его лихорадки утащили с телеги на рынке* СРНГ 17: 81), а точнее с их отсутствием, поэтому **нищета** и **бедность** в сознании

человека ассоциируются со Злом (ср. *злыдень* 'нищета, бедность' Зап. Брян. СРНГ 11: 293; *злыдни* 'нужда, крайняя бедность' Сев., Зап., Волог., Ряз., Калуж., Смол., СРНГ 11: 294; *худоба* 'бедность, нищета' Олон., Даль IV: 568). Характерно, что и в этом случае язык указывает на истоки Зла, поскольку причину бедности и жизненной неустроенности человека он видит в его праздности и *лени* (ср. *лихо* 'лень' Перм., Арх., Олон., Печор., СРНГ 17: 76; *лихость* 'лень' Арх., СРНГ 17: 82; *злыдарство* 'тунеядство' Перм., СРНГ 11: 293).

Производным от Зла в понимании языка традиционной культуры является и *взяточничество* (ср. *лихоимка* 'лихоимство' Пск., СРНГ 17: 78), а также вообще *деньги* (ср. *злыдни* экспр. 'деньги' Новг., НОС 3: 99), отсутствие которых (ср. *злыдень* 'последние деньги' Чита, СРНГ 11: 293) порождает в семье *скандалы* и *ссоры* (ср. *злыдни* 'скандалы, ссоры' Орл., СОГ 4: 116).

В языковом сознании русского народа Зло является аксиологической категорией, ибо с ним связывается все тяжелое, *плохое* (ср. *лихонько* 'плохо, тяжело' Смол., Пск., СРНГ 17: 76; *лихостно* 'плохо, худо' Ряз., Перм., СРНГ 17: 82; *лишенько* 'плохо' Пск., Новг., Твер., Влад., СРНГ 17: 91; *благой* 'плохой, негодный' Петерб., Новг., СРНГ 2: 306; *худой* 'плохой, негодный' Даль IV: 568), а также *вредное* (ср. *лихость* 'вред' Казан., СРНГ 17: 82).

В связи с этим небезынтересно отметить, что в языке русской традиционной культуры некоторые признаки действия, а именно *быстрота* и *громкость* имеют отрицательную оценку (ср. *лихоматом* 1) 'быстро, опрометью' Якут., Иркут.: *А люди бегом бегут на этот трамвай, лихоматом бегут*; 2) 'громко' Колым., Якут., Амур., Байкал., Иркут, Свердл., Перм., Пск., СРНГ 17: 80; *лихотски* 'стремительно' Перм., СРНГ 17: 84; *блажно* 'очень громко' Том.: *Блажно орет* СРНГ 2: 311; *лютый* 'скорый, быстрый' Свердл., Ульянов., СРНГ 17: 249). В этих словах сохранилось, по-видимому, количественно-оценочное восприятие Зла, существовавшее у него еще в древнерусском языке.

Эта способность выступать в роли количественного атрибутива особенно ярко выражена в именах, в которых Зло выполняет роль своеобразного интенсификатора, определителя «меры» проявления действия или признака. В отличие от Добра, которое также способно передавать идею количества, Зло никогда не воспринимается как норма, т. е. императивом русской культуры является Добро. Кроме того, Зло охватывает неизмеримо большее поле сознания, чем представления о Добре, о чем свидетельствует тот факт, что шкала его признаков более расчлененная по сравнению с категорией Добра, ибо со Злом оказываются связаны не только такие значения, как *очень* (ср. *зло* 'очень' Калуж., Курск., Яросл., Влад.: *Вино зло пьет* СРНГ 11: 288), *много* (ср. *злагоре* 'большое горе' СРНГ без указ. места

11: 285), **очень много** (ср. *до злыдня* 'очень много' Том.: *Народу понаехало до злыдня* СРНГ 11: 293), **сильно** (ср. *зло* 'сильно' Волог.: *А он все зляя пьет, зляя курит* СВГ 2: 172; *злой* 1) 'обладающий каким-либо свойством в сильной степени' Пск., Смол.: *Я дюже зла забувать*; 2) 'сильно любящий что-либо' Смол., Пск.: *Ох, я зла до молока* СРНГ 11: 290), **очень сильно** (ср. *во злу головушку кричать, плакать* 'очень сильно кричать, плакать' СРНГ 11: 290), но и **мало** (ср. *злун* 'немного, мало' Смол., СРНГ 11: 292), **очень мало** (ср. *злыдни* 'очень мало' Волог., Новг., Влад., Калуж., Вят., Перм., Байкал., Иркут., СРНГ 11: 294), **усердно, прилежно** (ср. *зло* 'усердно, прилежно, с рвением' Влад., Калуж., Курск., Новосиб.: *Зло парень работает, недаром хлеб есь*), **хорошо** (ср. *лихо* 'хорошо, славно' Волог., СРНГ 17: 77; *лихонько* 'хорошо' Костром., СРНГ 17: 81) и даже **очень хорошо, превосходно** (ср. *злой* 'очень хороший' Арх.: *У ей такая память зляя* СРНГ 11: 290; *лихо* 'превосходно' Вят., Сиб., Яросл., Пск., Твер., СРНГ 17: 77), т. е. категория Зла в языке русской традиционной духовной культуры воспринимается и как квантор, обладающий способностью выражать общую идею количества (**много, мало**), и как интенсификатор, указывающий на высокую степень интенсивности проявления признака (**очень, сильно, очень сильно, очень много, очень хороший, усердно**).

Эта способность категории Зла указывать на высокую степень интенсивности признака явилась основой для образования имен с положительной оценкой (ср. *лихарь* 'удалой, ловкий' Ряз., Арх., СРНГ 17: 75; *лихой* 1) 'строгий, взыскательный' Ворон., Калуж.: *У меня матушка такая лихая*; 2) 'хорошо осведомленный в разных вопросах человек' Костром., СРНГ 17: 78).

Таким образом, если Добро в языке русской традиционной духовной культуры как количественная категория воспринимается в целом нерасчлененно, то Зло может дробиться на части, передавая градацию признака самой разной степени интенсивности, от нулевой до очень высокой.

«Сфера компетенции» Зла как количественной категории и соответственно набор втянутых в это поле лексем в русских диалектах также значительно шире, чем у Добра, что и понятно, так как Зло многолико и нуждается во множестве дефиниций.

Причем здесь выявляется следующая интересная особенность — все эти имена также обладают способностью передавать количественные значения, ср. лексемы с корнями *бед-* (ср. *бедовущий* 'злой' Арх., СРНГ 2: 173 и *большая беда* 'много' Новг., СРНГ 2: 173), *благ-* (ср. *благой* 'злой, сердитый' Ряз., Нижегород., СРНГ 2: 306; Орл., СОГ 1: 76; *благошко* 'много' Арх., СРНГ 2: 309), *враг-/враж-* (ср. *враговатый* 'злой' без указ. места СРНГ 5: 182; *до врага* 'много' Орл.: *Сейчас вдов до врага, мужики долго не живут* СОГ 2: 93; *вражной* 'злой,

злбный' Арх., Свердл. СРНГ 5: 184; *вражая* 'много' Волог., СРНГ 5: 183), *дурн-* (ср. *дурно* 1) 'что-либо дурное: зло, беда' Ср. Урал; 2) 'очень много' Твер., СРНГ 8: 269), *зел-* (ср. *зело* 'зло' Перм., СРНГ 11: 253 и *зельно* 'очень' Перм., Пск., Тамб., Орл., СРНГ 11: 254), *нароч-* (ср. *нарочить* 'делать зло кому-либо' Том., СРНГ 20: 133 и *нароче* 'очень' Новг., СРНГ 20: 133; *нароце* 'много' Волог.: *Ой, девка, у тя нароце платей-то* СВГ 5: 66), *лих-/лиш-* (ср. *лихо* 1) 'злая судьба' Пск., Смол.; 2) 'горе, печаль' Арх., Волог., Ворон., Курск.; 3) 'очень' Пск., Волог., Ворон., Орл., Тул., СРНГ 17: 77; *лишечко* 'зло, беда, несчастье' Курск., СРНГ 17: 91; *лишний* 'худший' Смол.: *Лишняя хвороба на него навалилась* СРНГ 17: 92 и *лишку* 'очень' Арх., СРНГ 17: 92); *лют-* (ср. *лютый* 'злой' Яросл., Пск., Вят., Нижегород., Куйбыш., Калуж., Костром., Новг., Перм., СРНГ 17: 249; *люто* 1) 'много' Яросл., перм., Вят., Урал., Волог., Арх., Новг.: *Побегла даве в очередь, а там народу люто*; 2) 'очень сильно' Новг., Волог., Яросл.: *Люто кричит*; СРНГ 17: 249).

Набор квантитативных значений в приведенных лексемах достаточно широк, однако чаще всего они выступают либо как кванторы (**много, немного**), либо как интенсификаторы (**очень, очень много, сильно**), ср.:

— **много** (ср. *большая беда* 'много' Новг., СРНГ 2: 173; *благонько* 'много' Арх., Новг., Барнаул.: *Зазорно же, небось, что у него денег-то благонько* СРНГ 2: 308; *вражая* 'много' Волог., СРНГ 5: 183; *нарочито* 'много' Терск., Волог., СРНГ 20: 133; *нарочь* 'много' Новг., СРНГ 20: 133; *лишко* 'много, сверх меры' Новосиб., Север., СРНГ 17: 92; *лишка* 'много, с избытком' Перм., Киров., Свердл., Урал., Волог., Арх., СРНГ 17: 91; *через лишек* 'сверх меры' Перм.: *Катя у нас слишком бойка, через лишек* СРНГ 17: 92) и **очень много** (ср. *бедна беда* 'очень много' Олон.: *Народу того собралось бедна беда, видимо невидимо* СРНГ 2: 173; *неуборная беда* 'очень много' (о большом урожае) Петерб., СРНГ 2: 173; *дурно* 'очень много' Твер.: *Сапогов дурно просит* СРНГ 8: 269),

— **очень** (ср. *зельно* 'очень' Перм., Пск., Тамб., Орл.: *Рожь была зельно хороша* СРНГ 11: 254; *нароче* 'очень' Новг., СРНГ 20: 133; *лихо* 'очень' Пск., Волог., Ворон., Орл., Тул.: *Лихо б дождю надо* СРНГ 17: 77; *лишку* 'очень' Арх.: *Сама баба не лишку порядочна* СРНГ 17: 92),

— **сильно** (ср. *лихоманкой* нареч. 'сильно' Иркут., СРНГ 17: 79), **очень сильно** (ср. *таку беду* 'очень сильно' Перм., Свердл., СРНГ 2: 173; *бедовуще* 'очень сильно' Арх.: *Бедовуще Ванька пьет, ужо околет с перепою* СРНГ 2: 177; *лихо* 'очень сильно' Яросл.: *Она его лихо куснула* СРНГ 17: 77; *лихонько* 'очень сильно' Пск.: *Я лихонько напужался, ведь медведя встретил* СРНГ 17: 81),

— **немного** (ср. *лишок* 'немного' Тул., СРНГ 17: 92).

Все эти имена говорят нам о том, что Злом для русского человека является всякое отступление от нормы — как в сторону уменьшения — значения **мало, очень мало** (так появляются значения ‘нищета бедность’, ср. *злыдни* ‘очень мало’ Яросл., ЯОС 4: 123; Волог., Новг., Влад., Калуж., Вят., Перм., Байкал., Иркут. //— ‘нищета, крайняя бедность’ Даль I: 686, СРНГ 11: 294), так и в сторону увеличения — значения **много, очень много, излишество** (ср. *лихое* ‘зло’ Волог., Орл., СРНГ 17: 78; *лишко* ‘много, сверх меры’ Новосиб., Север., СРНГ 17: 92; само слово *излишек* отсылает нас к идее о том, что всякое превышение нормы — это Зло (*лихо*). Отсюда скрытая установка этики традиционной духовной культуры, в которой излишества плоти расцениваются как зло. В связи с этим невозможно не вспомнить небольшую работу А. Попова, посвященную влиянию православия и древнерусской духовной письменности на мирозерцание русского народа, в которой он писал: «Что унижает человека как существо, созданное по образу Божьему, то порок. А унижает человека обыкновенно излишество — в питии, в пище, излишество во сне, смехе, веселье, гневе, в сознании своего достоинства — все это порицается в словесных народных произведениях (Попов 1883, 395).

Итак, Зло в языке русской традиционной духовной культуры предстает как многомерное явление, способное реализовываться в жизни в самых разных формах. При этом главным носителем Зла по-прежнему остается человек.

С точки зрения народной этики **злой человек** (*злец* Волог., *злюб* Брян., *злудень* Сверд., *злокоман* Смол., *злыдня* Яросл.; *озол*, *озлобок* Влад.; *ехид*, *ехидник* Волог.; *кожедер* Сиб., Том., Иркут.; *жабина* Влад.; *крысак* Калинин.; *лютич* Ряз.; *нелюдь* Влад. и т. д.) — это прежде всего:

недоброжелатель и враг (ср. *злокоман* ‘недоброжелатель, злой человек, делающий вред другим’ Карел., СРГК 2: 253; *злокоманник* ‘недоброжелатель, враг’ Олон., СРНГ 11: 290; *злоственник* ‘недоброжелатель’ Смол., СРНГ 11: 291; *злыдня* ‘злой, недоброжелательный’ Тул., СРНГ 11: 295; *злудень* ‘злой, недоброжелательный человек’: *Злудень злом живет* Арх., Волог., Сев.-Двин., Онеж., КАССР, Омск., Твер., Тул., Орл., Ворон., Курск., Пенз., Ср. Урал., Хакасс., СРНГ 11: 293; *злюга* ‘злой, недоброжелательный’ Вят., Иркут., СРНГ 11: 296; *врагун* ‘злой, недоброжелательный человек’ Тамб., СРНГ 5: 183; *затопляй*, *затопила* ‘недоброжелательный, злой человек’ Ряз., СРНГ 11: 100; *лихой* ‘враг, зложелатель’ Ворон., СРНГ 17: 78; *лихорадный* ‘злобный, недоброжелательный’ Вят., СРНГ 17: 81; *насердим* ‘недоброжелательный человек, враг’ Тасмб., СРНГ 20: 158; *невзгодник* ‘недоброжелатель’ Пск., СРНГ 20: 339; *пакостях* ‘злой недоброжелательный человек’ Пск., СРНГ 25: 161);

злодей (ср. *злodyжска* 'злодей' Зап. Брян., СРНГ 11: 290; *лихоманник* 'злодей' Вост., СРНГ 17: 80; *лютич* 'злодей' Ряз., СРНГ 17: 248);

неверующий, нечестивый человек (ср. *злочесливый* 'неверующий, нечестивый' Урал, СРНГ 11: 292);

колдун (ср. *лихарь* 'колдун' Краснояр., СРНГ 17: 75; *вражный* сущ. 'тот, кто знается с нечистой силой, колдун, способный навести порчу' Тобол., Перм., Свердл., СРНГ 5: 184; *еретик* 1) 'колдун' Арх., Волог., Вят., Калуж., Перм., Пенз., казан., Пск.; 2) 'злой человек' Арх., Костром., Перм., СРНГ 9: 22);

ненавистник (ср. *злыга* 'очень злой человек, ненавистник' Яросл., ЯОС 4: 123; *ненавидчик* 'злoбный, питающий ко всем ненависть человек' Пск., Твер., СРНГ 21: 91);

нелюдимый человек (ср. *лишник* 'нелюдимый человек' Пск., СРНГ 17: 92; *недоброхотный* 'злой, необщительный' Пск., СРНГ 21: 15);

хитрый и пронырливый (ср. *злой* 'умный, хитрый' Ворон.// 'пронырливый' Тобол., СРНГ 11: 290; *злокоманный* 'хитрый' Север, СРНГ 11: 291; *ехитный* 'злой, хитрый' Ворон., СРНГ 9: 47);

сварливый, придиричивый (ср. *злюга* 'сварливый, придиричивый человек' Яросл., ЯОС 4: 123; *благой* 'злой, сварливый' Ряз., Нижегород., Влад., Костром., Пск., Перм., Челяб., СРНГ 2: 306; *враговатый* 'злой, сварливый' СРНГ 5: 182; *ерестливый* 'злой, сварливый' Сиб., Камч., Перм., Свердл., Волог., СРНГ 9: 21; *лихостливый* 'злoбный, придиричивый' Перм., Свердл., Вят., Пск., Твер., СРНГ 17: 82);

завистник (ср. *злыдарь* 'злой, завистник' Вят., Пенз., Ряз., Костром., Тул., Твер., СРНГ 11: 293; *изъедучий* 'завистливый, злой' Пск., Твер., СРНГ 12: 177; *лихощавый* 'завистливый' Твер., СРНГ 17: 84);

злoязычник (ср. *лютенький* 'злой на язык' Урал, СРНГ 17: 248);

злопамятный (ср. *зломьсленный* 'злопамятный' Новг., НОС 3: 99; *лихостливый* 'злопамятный' Свердл., Вят., СРНГ 17: 82);

злорадный (ср. *злокоманный* 'злорадный' Тамб., СРНГ 11: 291);

скряга, скупой человек (ср. *злыда* 'очень скупой человек' Курск., СРНГ 11: 292; *злыдарь* 'скряга' Яросл., ЯОС 4: 123; Влад., Волог., Яросл., СРНГ 11: 293; *злыдень* 'злой, скупой' Арх., Волог., Сев-Двин., Омск., Твер., Тул., Орл., Ворон., Курск., Пенз., СРНГ 11: 294; *лютый* 'жадный' Урал.: *Лютый старичок был, все копил и копил* СРНГ 17: 249);

обманщик, мошенник, вор (ср. *злыдарь* 'обманщик' Ряз., СРНГ 11: 293; *злыдень* 'мошенник' Ср. Урал, СРНГ 11: 293; *ересь* 1) 'злой, мстительный человек' Арх.; 2) 'ловкий обманщик' Новг., Арх., Астрах., СРНГ 9: 22; *лихоман* 'обманщик' Вост., СРНГ 17: 79; *худок* 'вор' Арх., Даль IV: 568).

При этом социальный статус его разный: чаще всего он является **бедным человеком** (ср. *злыдарь* 'нищий, попрошайка' Забайк., Ряз.,

Тамб., Костром., Волог. СРНГ 11: 293; *злыдота* 'беднота' Курск., СРНГ 11: 295 *лихой* 'бедный, неимуший человек' Волог., СРНГ 17: 78), но может быть и богатым, нажившим свое несправедливое богатство **ростовщицеством** (ср. *злodyга, злodyрь* 'ростовщик' Ряз., СРНГ 11: 290) или **взяточничеством** (ср. *кожедер* 1) 'злой человек' Сиб., Том., Иркут.; 2) 'взяточник' Том., Арх., СРНГ 14: 51).

Социальность Зла в языке русской традиционной культуры проявляется и в том, что злой человек оценивается и с точки зрения его отношения к труду, поскольку он ассоциируется с **лентяем** (ср. *злыдень* 'лентяй': *Отроду злыдень все бы на чужой шее жил* Олон., Саратов., Воронеж., Калуж., Пек., СРНГ 11: 294; *злыга* 'лентяй' Перм., СРНГ 11: 292; *злыдня* 'ленивая женщина' Смол., СРНГ 11: 295; Ярослав., ЯОС 4: 123), **нерадивым и бесхозяйственным** человеком (ср. *недобрый* 'нерадивый, бесхозяйственный' Казаки-некрасовцы СРНГ 21: 15).

В языковом сознании русского народа Зло существует и как эстетическая категория, символизирующая **безобразие и уродство** (ср. *уродивый* 'злой' Твер., Рж., Даль IV: 508; *худоба* 'безобразие наружное' Волог., Даль IV: 568; *благой* 'некрасивый, безобразный' Пск., Симб., Влад., Нижегород.: *Невеста благая, а жених хороший* СРНГ 2: 306 *дурничка* 'некрасивая женщина' (ср. *дурно* 'вред, зло' Ср. Урал, СРНГ 8: 270).

И здесь снова прослеживается параллель с Добром как символом красоты (ср. *добрый* 'красивый' Олон., СРНГ 8: 76; Волог., СВГ 2: 30): если **красивый**, с точки зрения народной эстетики, — это **полный, дородный** (именно так оценивается женская красота в народном сознании, о чем свидетельствует как внутренняя форма диалектных слов, так и их значения, ср.: *дородница* 'красивая девушка, женщина' Орл., Бахвалова, 1996; Курск., Дон: *Да сама дородница, красивая, как намалевана* СРНГ 8: 133 < *дородный* 'красивый, пригожий, видный' Орл., Олон., Волог., Костром., Пск., Курск., Нижегород., Перм., СРНГ 13: 134; *дородушка* 'полная, красивая девушка, женщина' Курск., СРНГ 8: 134; *красуля* 'красавица, румяная и полная женщина' Твер., Влад., Костром., Калуж., СРНГ, 15: 202 // Волог.: *Девки-то какие красули* СВГ 3: 122; *лепота* 'красивая внешность, дородность' Арх., Север.: *Да где ж твоя лепота?* СРНГ 16: 366; *ладистый* 'красивый, полный' Краснояр.: *Ладистая у кумы дочка* СРНГ 16: 230; *клевый* 'красивый, статный, дородный' Твер., Ряз., Костром., Волог., Калуж., Влад., Тамб., СРНГ 13: 273), то **некрасивый, безобразный** — это **худой** (ср. *злыдни* 'худая, тощая' Твер., СРНГ 11: 295; *лихорадка* 'болезненный, худой человек' Твер., Пск., СРНГ 17: 81). Таким образом, в языковом сознании русского народа «безобразное» существует не само по себе, а в связи с нравственным злом.

Глаголы только лишь дополняют портрет злого человека, который не только злится (ср. *зловать* 1) 'сильно сердиться на кого-либо, злиться'; 2) 'долгое время питать к кому-либо злые чувства': *Ен теперь долго на меня зловать будет* Смол., СРНГ 11: 289; *лиховаться* 'злостововать' Нижегород., Влад., СРНГ 17: 77; *гордиться* 'злиться' Нижегород., Олон.: *Не гордись на меня* СРНГ 7: 27; *дуреть* 'злиться' Волог., СРНГ 8: 266; *лютиться* 'злиться' Перм., СРНГ 1: 248; *ненавидствовать* 'злостововать' Моск., СРНГ 21: 91), но и **вредит, пакостит** кому-либо (ср. *злыдарить* 'причинять кому-либо зло, неприятности; пакостить, вредить': *Он только нам злыдарит* Волог., СРНГ 11: 292; *злыдничать* 'причинять кому-либо зло, вредить' Новг., НОС 3: 99; *вороговать, вражить* 'делать кому-либо зло' СРНГ 5: 108, 183), **завидует, желает другим зла** (ср. *злыдарить* 'желать зла другим, завидовать чужому счастью'. Нижегород., СРНГ 11: 292), **занимается интригами, сплетничает** (ср. *злыдничать* 'заниматься интригами, сплетнями' Пек., Твер., СРНГ 11: 295), **клеветает** (ср. *ереститься* 1) 'злиться' Перм., Волог., Сиб., Камч., Колым., Краснояр., Том., Оренб.; 2) 'клеветать' Олон., СРНГ 9: 20), **обманывает** (*злыдарить* 'плутовать, обманывать ради ничтожной выгоды': *Злыдарить на копейке* Курск., СРНГ 11: 292; *злыдарничать* 'плутовать, обманывать' Курск., СРНГ 11: 293; *лихоманиться* 'обманывать, изменять' Горьк., СРНГ 17: 79), **отлынивает от работы, бездельничает** (ср. *злыдарить* 'лентяйничать, лодырничать': *Ен злыдарит теперь, а там есть будет нечего* Пск., СРНГ 11: 292; *злыдни творить* 'отлынивать от работы, бездельничать': *Злыдни творит у меня мужик* Олон., СРНГ 11: 295), **скупится** (ср. *злыдарить* 'скупиться' Терек., Пек., СРНГ 11: 292; *лихорадничать* 'чрезмерно скупиться' Самар., СРНГ 17: 81), **крадет** (ср. *зловредничать* 'красть' Перм., СРНГ 11: 289), **нищенствует, попрошайничает** (ср. *злыдарничать* 'нищенствовать, попрошайничать' Волог., Забайкал., СРНГ 11: 293).

Все эти глаголы, в которых по-разному актуализируется проявление Зла в поведении человека, говорят о его процессуальности, т. е. в языке русской традиционной культуры Зло предстает как категория деятельностная, активная. Об этом же свидетельствует и тот факт, что в русских диалектах существует целая вереница глаголов, передающих идею злого действия или **состояния как внутренне присущих человеку**, при том что глаголы с противоположным значением отсутствуют (ср. *злбляться* 'злиться' Яросл., ЯОС 4: 123; *благоваться* 'злиться' Костром., Яросл., СРНГ 2: 305; *борзиться* 'злиться' Яросл., СРНГ 3: 98; *вражиться* 'злиться' Ленингр., СРНГ 5: 184; *дуреть* 'злиться' Волог., СРНГ 8: 266; *жабиться* 'злиться' Яросл., СРНГ 9: 50; *козлиться* 'злиться' Яросл., СРНГ 14: 68; *крыситься* 'злиться' Смол., Влад., СРНГ 15: 349; *лихостовать* 'злостововать' Калуж., СРНГ 17: 83; *лютиться* 'злиться' Перм., СРНГ 17: 248;

мурзиться 'злиться, сердиться' Тамб., СРНГ 18: 355; *наторбучиться* 'разозлиться, выйти из себя' Курск., СРНГ 20: 225; *ненавидствовать* 'злоствовать' Моск., СРНГ 21: 91; *пиять* 'злиться, злоститься, язвить' Ряз., Новосиб., СРНГ 27: 63 и т. д.).

Доказательством этой действенности Зла является и тот факт, что в языке русской традиционной культуры корень *зл-* сочетается, как правило, с глагольной основой *дей-* (ср. *злодей, злодейка, злодейный, злодейня, злодий*), т. е. Зло апеллирует чаще всего к действию, тогда как Добро — прежде всего к **желанию** человека (ср. *доброхотиться, доброхот, доброхотинка, доброхотница, доброхотушка, доброхотный, доброхотно*) и лишь потом — к действию (ср. единичные *добродей, добродейство, добродетель, добродетельный*).

Все это не может не наталкивать на мысль, что противоречивый в своем многообразии мир земной реальности язык русской традиционной культуры воспринимает как «мир, лежащий во зле» (о чем говорит и русская пословица), отсюда народная сентенция — «доброе слово не уймёт злого» (Даль I: 686). Об этом же косвенно свидетельствуют и семантические трансформации лексем с корнем *прост-*, в которых излишняя доброта человека осмысливается как качество со знаком минус (ср. *простой* 1) 'добрый, щедрый' Калуж., Вят., Волог., Карел., Арх., Твер., Моск., Ряз., Свердл., Новосиб., Иркут.; 2) в знач. сущ. 'дурачок' Твер., Тамб., СРНГ 32: 245; *простуда* 'простой, бесхитростный человек' Пск. // 'дурак, простофиля' Пск., СРНГ 32: 254; *простодыра* 'чересчур добрый человек, простофиля' Краснодар.: *Ну что за простодыра! Взяла да и отдала сковороду, чай она деньги стоит* СРНГ 32: 245; *простуха* 1) 'добрая отзывчивая женщина' Калуж.; 2) 'простофиля' Ср. Урал, СРНГ 32: 256).

Итак, из приведенного материала отчетливо видно, что в языке русской традиционной духовной культуры лексико-семантическая парадигма Зла имеет значительно больший объем, чем в языке элитарной культуры: здесь лучше сохранилась и духовно-христианская преемственность в осмыслении языком этой категории, поскольку до сих пор остается актуальным такое восприятие Зла, которое существовало в старославянском и древнерусском языках (ср., например, оценку Зла с позиции веры, в соответствии с которой безверие считалось Злом: ст.-сл. *зълѡвѣръство* 'ложная вера, ересь' СС, 240; др.-рус. *зло* 'вероотступничество' СРЯ XI–XVII 6: 14; *зълѣрик* 'язычество, ересь' СРЯ XI–XVII 6: 19; диал. *злочесливый* 'неверующий, нечестивый' Урал, СРНГ 11: 292; или сохранение персонифицированного восприятия Зла, носителем которого является Дьявол: ст.-сл. *зълѡвѣсьнь* 'одержимый злым духом' СС, 240; др.-рус. *зълѣць* 'злодей (о сатане)' СРЯ XI–XVII 6: 15; *лихновець* 'дьявол' 8: 246; диал. *зльдня* 'черт' Саратов., СРНГ 11: 295; *зляна* 'нечистая сила' Калуж., СРНГ 11: 297).

Вместе с тем здесь появились и новые смыслы, которые свидетельствуют об актуальности этой категории для языка традиционной духовной культуры (ср., например, характеристику Зла в психологическом аспекте, в частности, таких душевных состояний человека, как *печаль, тоска, страх*; более глубокую «проработанность» Зла в социальном аспекте, в частности, восприятие *лени и денег* как зла; оценку некоторых признаков действия, таких, например, как *быстрота* и *громкость* как не соответствующих норме и потому воспринимающихся как Зло).

Несмотря на тысячелетие, отделяющее нас от старославянского языка, в языке русской духовной культуры сохраняется нормативно-оценочное определение этой категории. Это относится прежде всего к самому принципу осмысления Зла в этическом и социальном аспектах, в связи с чем в языковом сознании и современного, и средневекового человека как Зло воспринимаются злодеяния (в том числе преступления) и даже просто **злонамерения, недоброжелательство, враждебность, злословие, клевета, коварство, злокозненность**, а с социальной точки зрения — **нищета и бедность**, с одной стороны, и **ростовщичество и взяточничество** — с другой.

Таким образом, сам материал свидетельствует о том, что кирилло-мефодиевское лексическое наследие было довольно глубоко освоено языком русской элитарной и традиционной культуры и стало его органической частью, т. е. секуляризация русской культуры не затронула глубинных основ ее национальной модели, которая сложилась в предшествующее тысячелетие.

* * *

Итак, христианская этика Средневековья, отразившаяся в понимании сущности Добра и Зла, была глубоко осмыслена языком русской культуры, что во многом определило нравственные устои жизни общества, его этические и даже эстетические идеалы. Судьба этих концептов в истории русского языка, сама логика выстраивания их смыслов свидетельствует о глубоком интересе человека к философским основам его бытия.

Добро и Зло в языке русской духовной культуры образуют своеобразный текст, в котором заключены нравственные императивы русской культуры. Этот текст построен по определенным жанровым законам. В нем прослеживается зеркальность композиции, строгая симметричность идей и конфигурации смыслов, что проявляется прежде всего в общих принципах толкования этих категорий, идущих из глубины веков, — этическом, социальном, эстетическом и даже витальном, т. е. обе категории «работают» практически во всех сферах жизни человека — от витальной до социальной, от этической

до эстетической, оказывая влияние на формирование многих абстрактных понятий мира духовной культуры. В многочисленных номинациях, актуализирующих идею Добра и Зла, представлена своеобразная философия языка русской культуры, которая объясняет устройство мира и, указывая на нравственные ориентиры, подсказывает способы выживания в нем. Вместе с тем нельзя не признать, что понятие Зла в языке этой культуры покрывает значительно большую часть семантического пространства, чем понятие Добра, и этот факт, как представляется, говорит об известном пессимизме языка русской духовной культуры.

Выступая в форме дуальной оппозиции, Добро и Зло как нормативно-оценочные категории по-разному осмысляются этим языком, поскольку являются неоднородными образованиями. Если Добро воспринимается как нечто цельное, обобщенное (не случайно оно дает интенсификаторы чаще всего со значением *очень*), пронизывающее все бытие человека (в том числе и окружающий его мир), то Зло предстает как многомерное явление, способное реализовываться в жизни с разной степенью интенсивности, в связи с чем оно может передавать такие значения как *много, очень много, сильно и очень сильно*, т. е. сам языковой материал свидетельствует о том, что Зло многолико, оно сильно, и его в мире много.

Особенно пессимистичен в этом отношении язык элитарной культуры, который говорит нам о *реальности зла, его неизбежности*, поскольку Зло «укоренилось» в нашей жизни (ср. *корень зла*), оно имеет свои пространственные координаты (ср. *ось зла*), и даже государственность (ср. *империя зла*), а главное — силу (ср. *силы зла*), с помощью которой оно и утверждается в мире (ср. *мировое зло*). Заявляя о себе силой, оно столь прочно утвердилось в нашей жизни, что приобрело атрибут величия (ср. *великое зло*). Вместе с тем в душе русского человека живет вера в доброе, светлое начало, поскольку *добро разлито в мире*, и хорошего в нем тоже много, и эта вера в Добро позволяет человеку преодолевать пессимизм языка.

П Р И Н Я Т Ы Е С О К Р А Щ Е Н И Я

- Апресян 1999 — *Апресян Ю. Д.* Хотеть // Новый объяснительный словарь синонимов русского языка. М., 1999. Т. 1.
- Бахвалова 1996 — *Бахвалова Т. В.* Выражение в языке внешнего облика человека средствами категории агентивности. Орел, 1996.
- Вендина 2002 — *Вендина Т. И.* Средневековый человек в зеркале старославянского языка. М., 2002.
- Даль — *Даль В. И.* Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т. М., 1978–1980.
- Дионисий Ареопагит 1994 — *Дионисий Ареопагит.* О божественных именах. О мистическом богословии. СПб., 1994.

- Лурье 1998 — *Лурье С. В.* Историческая этнология. М., 1998.
- ОСВГ — Областной словарь вятский говоров. Киров, 1996-. Т. 1–4.
- НОС — Новгородский областной словарь. Новгород 1992–2000. Вып. 1–13.
- Попов 1883 — *Попов А.* Влияние церковного учения и древнерусской духовной письменности на мирозерцание русского народа и в частности на народную словесность в древний допетровский период. Казань, 1883.
- СВГ — Словарь вологодских говоров. Вологда. 1983–2000. Вып. 1–9.
- СДЯ XI–XIV вв. — Словарь древнерусского языка XI–XIV вв. Т. I–VI. М., 1988.
- СОГ — Словарь орловских говоров. Ярославль; Орел, 1989–2001. Вып. 1–12.
- СРНГ — Словарь русских народных говоров. М.; Л. (СПб.), 1965–2003. Вып. 1–37.
- СС — Старославянский словарь (по рукописям X–XI веков) / Под ред. Р. М. Цейтлин, Р. Вечерки, Э. Благовой. М., 1994.
- ССРЛЯ — Словарь современного русского литературного языка. Т. 1–17, М.; Л., 1950–1965.
- СРГП — Словарь русских говоров низовой Печоры. СПб., 2003. Т. 1.
- СРЯ XI–XVII в. — Словарь русского языка XI–XVII вв. Т. 1–27. М., 1975–
- СРЯ — Словарь русского языка. М., 1957–1961. Т. 1–4.
- Стефаненко 2003 — *Стефаненко Т. Г.* Этнопсихология. М., 2003.
- Толстой 1999 — *Толстой Н. И.* Неравномерность развития звеньев языковой и мифологической системы в этнолингвистическом аспекте // *Толстой Н. И.* Избранные труды. М., 1999. Т. III.
- Успенский 1994 — *Успенский Б. А.* Роль дуальных моделей в динамике русской культуры // *Успенский Б. А.* Избранные труды. М., 1994. Т. 1.
- ЯОС — Ярославский областной словарь: В 10 вып. / Под ред. Г. Г. Мельниченко. Ярославль, 1981–1991.

Н. А. Тупилова
(Волгоград)

**Функционирование лексических единиц
в старопольских деловых текстах начала XVII в.
(к проблеме лингвистического описания документов
в составе архивного комплекса)**

Изучение сохранившихся архивных комплексов является одной из важных задач, стоящих перед исследователями не только в области историографии, источниковедения, но и славянского языкознания, истории славянских языков.

К памятникам письменности, расширяющим представления о культурно-языковом взаимодействии русского и польского народов, развитии славянских литературных языков, относятся ранее не опубликованные тексты начала XVII в., содержащие сведения о событиях периода Смуты. Документы, составившие объект научного интереса коллектива исследователей Волгоградского государственного университета¹, относятся к деятельности Яна Петра Сапеги, заметной фигуры Смутного времени, гетмана Лжедмитрия II, а затем одного из командиров в войске Сигизмунда III. Тесное сотрудничество представителей разных наук при описании такого рода материалов является перспективным, поскольку оно связано с широким спектром вопросов, касающихся «истории культуры славянских народов, эволюции их этнического и национального самосознания»².

В историографическом аспекте и источниковедческом плане ученые неоднократно обращались к исследованию документов сапежинской канцелярии; в ряде работ высказывались предположения, что некоторые подлинные бумаги начала XVII в. являются остатками русского архива гетмана Сапеги³. Документы, имеющиеся в Рожанском собрании Сапег, коллекциях графов Брагге, Г. Д. Хилкова, С. В. Соловьева, родственников Сапеги по линии матери — Ходкевичей, по-прежнему представляют для ученых большой интерес. Особое значение приобретают новые находки. Так, обнаруженные профессором Волгоградского госуниверситета И. О. Тюменцевым рукописи в библиотеках и архивах России, Украины, Польши, Швеции⁴, позволили ученому выдвинуть важные аргументы в пользу ранее известной гипотезы: сохранившиеся документы являются, вероятно, частью архива канцлера Великого княжества Литовского Льва Сапеги — двоюродного брата и душеприказчика Яна Петра Сапеги, ведавшего в Речи Посполитой русскими делами. После смерти Льва Сапеги его богатый архив был разделен на несколько

собраний. И. О. Тюменцеву удалось выяснить судьбу интересующих нас источников: после того, как солдатами гетмана архив был доставлен в Речь Посполитую, его разделили между родственниками Яна Сапеги; впоследствии данные коллекции подверглись дроблению, пока не отложились в библиотеках и архивах названных выше стран. Березинское собрание Сапег, например, было захвачено в середине XVII в. шведами и до XIX в. хранилось в библиотеке Ску-Клостерского замка графов Брагге, а затем было разделено: часть бумаг была вывезена историком С. М. Соловьевым в первой трети XIX в. в Россию и продана Археографической комиссии, оставшаяся часть вместе с библиотекой Брагге поступила в Государственный архив Швеции. По-разному сложилась судьба и других собраний.

Сам факт существования отдельных писем к Яну Сапеге свидетельствует, что выявлена только часть бумаг, многие погибли или пока не найдены. Однако названный материал уже дал возможность перейти к реконструкции и комплексному анализу «русского архива» гетмана⁵ — разнообразных в языковом отношении текстов: старопольских, старорусских, а также написанных по-латыни либо в традициях «смешанных текстов», характерных для среднепольского периода, когда была представлена так называемая «mieszanka polsko-łacińska».

В результате изучения и систематизации документов составлен полный текст Дневника Яна Сапеги (1608–1611), включающий разночтения по всем известным обнаруженным спискам, выделена группа памятников, представляющих собой переписку Сапеги с Лжедмитрием II и его окружением, представителями наемного войска, с Мариной Мнишек и ее родней, с руководством Речи Посполитой — королем Сигизмундом III, гетманом С. Жолкевским; в состав комплекса, относимого к периоду 1607–1611 гг., входят также грамоты и послания видных деятелей Московской Руси, духовных иерархов, документы земского ополчения, инструкции, войсковые бумаги, письма частных лиц, челобитные, отписки из провинции и т. п.⁶

Основную базу «русского архива» составляют старопольские скорописные тексты, значимость которых для описания всего комплекса документов в их соотнесенности можно считать первостепенной. В культурно-языковом отношении изучение данных памятников письменности, содержащих сведения о событиях, затронувших судьбы народов России и Польши, представляется, прежде всего, методологически обоснованным. С одной стороны, открывая новые грани истории восточных и западных славян, эти, ранее не известные, источники выступают как часть языковой культуры, соотносимой с важнейшим периодом развития польского языка, который

Т. Лер-Сплавински называл «золотым веком»⁷ и с которого начинается история собственно польского литературного языка, постепенное формирование норм общенационального языка; с другой стороны, отражая доминирующие процессы «великолепного, ренессансного» расцвета «польщизны»⁸, данные тексты представляют собой еще одно свидетельство оригинального пути развития польского делового языка, в сфере функционирования которого утвердились новые способы выражения светского содержания с использованием «сырой» (по выражению З. Клеменевича) польской речи, подвергающейся обработке для нужд письменного официального общения. Расширение сферы функционирования является важным показателем возрастающей роли польского языка в общественно-политической жизни страны⁹, восприятия его языковой личностью¹⁰ в XVII в. как языка престижного (наряду с господствовавшей до сих пор латынью), воспроизводимого в текстах, которые выступают хранителями исторической памяти народа и одновременно не оставляют вне поля зрения человека как самого творца истории¹¹.

Реконструкция архива гетмана Сапеги позволяет говорить, что из поля зрения славистов выпал важный пласт свидетельств, которые в большинстве своем до последнего времени остаются неизвестными. Лингвистическое описание вводимого в научный оборот значительного массива текстов, написанных по горячим следам событий, участниками которых были представители России и Польши, должно учитывать, на наш взгляд, структуру и состав всего архивного комплекса, базироваться прежде всего на отборе наиболее значимых фактов и установлении связи между ними. Это важно, думается, потому, что, будучи продуктом определенной эпохи, рассматриваемые документы опосредствованно передают мировосприятие их составителей, авторов, осмысливавших современную им действительность; они являются источником информации о самих событиях, ключевые моменты которых воспроизводятся с различной степенью точности, маркируются социально и индивидуально в зависимости от ситуации, субъекта, ее воспринимающего и оценивающего. Это, видимо, и дает возможность, как образно выразилась в одной из своих работ Т. И. Вендина, «услышать голос человеческой личности»¹² далекого от нас времени, приблизиться к прочтению текста как культурно-исторического феномена¹³.

Анализируемые материалы представляют собой совокупность разножанровых текстов. Важнейшим компонентом архивного комплекса является Дневник Яна Сапеги, в котором секретари гетмана почти ежедневно фиксировали получение важных известий и документов, прибытие и отправку гонцов, посольств, перехват почты, сообщали о перебежчиках и допросах пленных, описывали войсковые операции, передвижение наемников, отношения с местным

населением и т. п. Характер этих записей, позволяющий использовать Дневник в качестве своеобразной описи при систематизации бумаг из личного архива Сапеги, дает возможность показать действие общепольских языковых тенденции в деловой сфере общения, а также соотнести приемы составления официальных и частных писем, дневниковых записей и документов, в них упоминаемых, выявить особенности выражения авторской оценки при описании одних и тех же событий в исторических свидетельствах сторон, придерживавшихся разных взглядов на Смуту, определить лингвопрагматические различия польских и русских текстов в составе реконструируемых групп документов архивного комплекса.

Поставленные задачи на первом этапе рассмотрения названного материала решаются в процессе анализа лексических единиц, что открывает возможность охарактеризовать основные пути изменения лексико-семантической системы языка; при этом особое внимание уделяется глаголу как организующему центру высказывания, в рамках которого возможно представить изображаемый «мир реалий... многообразные пути и линии их связей, отношений, зависимостей и... весь тот арсенал оценок и квалификаций», созданный языком «для «расцвечивания» как самих реалий, так и их отношений и связей»¹⁴.

Дневник гетмана, который впервые введен в научный оборот польским историком К. Когновицким, можно считать своеобразной хроникой, «летописью» деяний Сапеги и его войска в течение всего времени пребывания в России. Сделанные секретарями сапежинской канцелярии записи о тех или иных лицах и происходивших событиях, зафиксированные реалии русской жизни, обстановка, детали военных операций, переговоров, содержание многих документов, входящей корреспонденции и некоторых писем, подлежащих отправке, отражают, с одной стороны, влияние официально-делового стиля с его установкой на документальность и объективность изложения; с другой стороны, — специфику дневникового жанра, особенностью которого является однократность и одномоментность, спонтанность и произвольная логика рассуждения. Кроме того, стремление увековечить «*dzieje Marsa krwawego i sprawy odważne, guserskie...*» Вельможного Пана Его Милости Яна Петра Сапеги способствует проявлению летописных черт, когда стиль текста состоит «в чередовании заметок и повествований»¹⁵, монотонного фона и зарисовок, совмещающих правдоподобие рассказа очевидца с особым пафосом его самовыражения.

В зависимости от успехов или неудач войска гетмана Дневник велся более или менее регулярно. Описание событий всегда диктуется средой восприятия событий, временем, конкретной ситуаций. Пространность текста часто зависит от того, насколько пристальным

было внимание Сапеги к работе своих секретарей, какие заботы отвлекали его от просмотра записей, что, с его точки зрения, важно было зафиксировать в Дневнике. Рукопись может содержать уточнения, сделанные гетманом на полях, большие вставки с подробным изложением произошедшего.

Так, первоначально отмеченный в тексте эпизод похода гетмана за 20 августа 1608 г. был выдержан в бесстрастно-объективном тоне и состоял из сухого перечисления действий в их последовательности, характеризующей продвижение войска от Дрогобужа, расположение лагерем у Болдина монастыря Святой Троицы. Используемые в высказывании глагольные формы со значением перемещения (*ruszył się mil półtrzeciej, minawszy Boldyn*) и местонахождения (*położył się obozem*) способствуют лишь констатации фактов в их хронологической последовательности, вплетаются в структуру сообщения, выполняя роль фона, монотонно информирующего о событиях дня.

Фрагмент, далее внесенный в Дневник самим Сапегой, представляет собой повествование, ориентированное на то, чтобы передать запечатленную в сознании очевидца картину встречи в монастыре, «*gdzie Jego Mość sam stępował i czerńcy z chlebem i z solą wyszli przeciwko Jego Mości. Monaster murowany, z trapieżą, barzo cudny i kosztowny. Czerńców 100 mieszkają w nim. Obrazy zbyt śliczne i nadanie wielkie. Sam ihumen był w Moskwie, który wyszedł z Smoleńska po odciągnięciu Jego Mości do miasta*» (20.08.1608).

В приведенном контексте выражение *Jego Mość sam stępował* подчеркивает личное желание Сапеги посетить монастырь, указывается и на гостеприимство монастырской братии, вышедшей навстречу гетману по русскому обычаю: «*czerńcy z chlebem i z solą wyszli przeciwko Jego Mości*». Использование автором дневниковой записи фразеологизма «*z chlebem i z solą wyszli*» («вышли с хлебом-солью»), имеющего значение «оказывать уважительный, радужный прием»¹⁶ и раскрывающего содержание ритуального действия, символично. Известно, что к хлебу и соли славяне издавна относились с благоговением; в обрядах и поверьях как западных, так и восточных славян значение формулы «встречать (выходить) с хлебом-солью» связано с выражением доброжелательства и миролюбия к тем, кто приходит как гость¹⁷. Эта деталь представляется важной в сообщении, дополненном рукой гетмана. Кроме того, Сапега как будто не может удержаться от выражения восхищения дорогой отделкой монастыря, его богатством, прекрасными иконами. При описании монастыря им употребляются слова качества — «очень», «необычайно», «прекрасный», «дорогой»: «*Monaster... barzo cudny i kosztowny*»; подчеркивается впечатление от убранства храмов и монастырских построек: «*Obrazy zbyt śliczne i nadanie*

wielkie». Не случайно фиксируется и немалая численность братии, оказавшей сердечный прием гетману.

Однако данное повествование представляется немного искусственным, поскольку намеренно внесенная в Дневник во время редактирования запись свидетельствует о желании командующего наглядно продемонстрировать востребованность присутствия наемных войск на территории России, «раскрасить» встречу, передать личную симпатию участников события, позитивно-оценочное отношение субъекта к описываемой им действительности, а значит, — убедить потомков, для которых увековечиваются деяния Сапеги, в благородной миссии сапежинского похода. Жанр Дневника не позволяет гетману, тем не менее, обойти молчанием тот факт, что во время его пребывания в Болдине отсутствовал игумен монастыря, т. е. духовный пастырь братии, отношение которого к описанной встрече остается неясным.

Торопливость записей, пропуски в тексте памятника, немногословность сообщений, наоборот, сопутствуют тенденциозности подачи информации, если она касается военных неудач и ухудшения обстановки в наемных отрядах.

Анализ различных групп документов «архива» показывает, что «*słownictwo rodzime*» (З. Клеменевич) в текстах данного «синхронного среза» (культурно-исторического периода) преобладает при освещении практически всех событий и вопросов, требующих или не требующих безотлагательного решения в рамках деловой коммуникации, как то: осуществление дипломатических, военных, бытовых действий; прием на службу; выплата жалованья и обеспечение наемного войска продовольствием; отношения с властями Речи Посполитой и Москвой, с русскими воеводами, монастырями и духовными лицами, Лжедмитрием II и его окружением, с местным населением на территории Московского государства; проведение войсковых собраний и судов; объявление и исполнение наказаний по результатам разбирательств о нарушениях служебной дисциплины; защита имущественных прав видных представителей польского войска и местного населения и т. д.

Функционирование лексических единиц в анализируемых текстах начала XVII в. свидетельствует о развитии языка в тесной связи с историческими судьбами польского народа¹⁸, что находит отражение, в первую очередь в общепольской тенденции к постепенной замене латыни, господствовавшей во всех сферах общественно-политической и культурной жизни Речи Посполитой, «польщизной».

Обнаруженные архивные материалы говорят о жанрово-стилевом разнообразии польского делового языка, формирующихся нормах наддиалектной письменной речи, основу которой составили общеславянские и общеупотребительные слова. Особенностью

рассматриваемого периода являются смешанные контексты, в которых сочетания зависимых друг от друга компонентов могут включать элементы разного генетического источника. В частности, польские глаголы устойчиво используются со словами обстоятельственного значения, которые пишущий затрудняется передать аналогом из родного словаря и заменяет латинским выражением, например: *przyszło ad extrema* — дошло до крайности, *sobie postępował deliberate* — противился решительно¹⁹. Значение образа действия, заключенное в латинских лексемах *ad extrema*, *deliberate*, содержит указание на особую интенсивность проявления процессуального признака, заключенного в семантике славянских глаголов конкретного действия *przyszło*, *postępował*. Такие случаи, видимо, могут свидетельствовать о стремлении пишущего воспользоваться известным ему средством экспрессивного выражения мысли из книжного, принятого в письменном общении латинского языка. В то же время новые системные связи единиц, принадлежащих к общеславянскому фонду и составляющих словарь повседневной польской речи, демонстрируют возможности семантической системы польского языка (в данном случае — глаголов) выражать абстрактные, сложные понятия в процессе описания различных ситуаций, при характеристике субъекта и его действия.

Общеславянские лексемы используются в большом количестве описательных выражений, главным компонентом которых выступает глагол как ключевое слово этикетной фразы в письме: «*do rąk własnych należą*» (то есть «лично, лично в руки») и др., устойчивого сочетания с терминологическим значением, например, из военной сферы: «*zbić (pobić) na głowę*» («разгромить, разбить наголову») и др., оборота канцелярской речи: «*oddać sprawę*» («дать отчет, объяснение, отчитаться») и др. Это способствовало развитию польской синонимии, семантико-стилистической дифференциации лексем, обуславливающей функциональную избирательность при употреблении слова с учетом сферы общения.

Частотным является включение иностилевых, разговорно-экспрессивных и эмоционально-оценочных, элементов в текст делового содержания, что приводит к нарушению официальности повествования и объективности речи, к появлению фрагментов, не имеющих фактологической значимости, а отражающих субъективное отношение говорящего (пишущего). Примером такого использования слов является лексикон иноземца в одном из донесений доверенного лица Яна Сапеги от 30 апреля 1609 г.: «*Oznajmuję W. M. m. panu iż co stała straż nawieksza na Kiessme, J. Mci pan rotmistr Mikołaj Kosakowski za Bożą pomocą i szczęściem cara J. Mci (na co zrobili wzięli zapłate) na głow ich pobił a jam zaraz przybył po wszystkim przy tem z kilka set ludzi bojarzkich...*»²⁰ Автор письма, Эразм Бородич,

направленный гетманом к Устюжне-Железнопольской, в своем тайном по цели и небольшом по объему сообщении, состоящем из перечисления сухих фактов военного характера и ритуальных фраз («za Wożą potocą i szczęściem sąga J. Mści»), уточняя обстоятельства боя одной из сапежинских хоругвей со сторожевым отрядом московского ополчения, употребляет выражение, которое не относится к описанию событий и является средством субъективной оценки неприятеля: «na co zrobili wzięli zapłate» — «что заработали, то и получили». Такая фраза является достаточно странной в устах «лазутчика» и, возможно, включена в повествование в угоду адресату письма — Яну Сапеге, который, как показывают дневниковые записи, сам не скупился на эмоции в случае военных успехов своих отрядов. Появление новых контекстов с использованием элементов «сырой», непринужденной речи расширяло системные связи этих лексических единиц и условия, при которых данные средства приобрели статус общеупотребительных, допустимых в письменном деловом общении на польском языке.

Лингвистический анализ текстов в составе архивного комплекса дает возможность обнаружить историческую ценность сопоставляемых источников, подчеркнуть их роль в воссоздании объективной картины происходивших событий. Это предполагает соотнесение документов как одной, так и разных групп памятников письменности.

Языковое оформление документов в рамках одной группы источников позволяет, например, осветить некоторые «открытые» страницы истории Смуты. Так, в памятниках старопольской и старорусской письменности скупо представлены сведения об отношениях тушинцев с русской православной церковью. Имеющиеся в составе фонда письма Лжедмитрия II к Яну Сапеге дают основания говорить о стремлении властных структур наладить нормальную жизнь монастырей на захваченной наемниками территории. Переписка, как показывает анализ в рамках этой одной группы источников, велась на польском и русском языках. Гетману и его солдатам предписывалось оберегать вотчины и имущество духовных лиц. Однако язык и стиль распоряжений различен.

На польском языке послания «царика» более лаконичны, затрагивают вопросы, требующие, как правило, безотлагательного решения, как, например, незамедлительного принятия мер в отношении жалобы из владений Галактиона, архиепископа Суздальского, присягнувшего самозванцу²¹, или в отношении действий пахоликов, грабивших имущество в вотчинах тушинского «нареченного патриарха» Филарета Романова²².

Так, после традиционного зачина, включающего обязательное перечисление титулов адресанта (автора письма) и этикетную

формулу обращения к адресату, письмо Сапеге от 15 января 1609 г. содержит лишь сообщение о полученном неприятном известии и краткое «царское» волеизъявление Лжедмитрия II: «Czego aby tak w Rostowskim ujeździe jako i we wszystkich dzierzawach ojca patriarchy Uprz. W. zabronić starał się chcemy po U. W». Подчеркнуто любезному тону повествования сопутствует модальность категорического пожелания субъекту действия (адресату письма) запретить своим людям грабить во владениях Филарета. Текст письма при этом заканчивается традиционным выражением: «dobrego ot Pana Boga zdrowia».

Послания самозванца, которые написаны на русском языке, имеют конкретно-бытовой, пространственный характер, затрагивают вопросы, касающиеся содержания жалоб монастырской братии на денежные и кормовые поборы со стороны «ратных людей». Например, в грамоте Лжедмитрия II, датируемой 29 ноября 1608 г., Сапеге излагается суть претензий нескольких монастырей Переяславля Залесского и даются распоряжения (в расчете на знакомство с посланием «царика» русских людей, которые ждут от «государя» защиты) запретить собирать налоги. Однако, как видно из состава документов, письма с такого рода требованиями были посланы несколько раз и, следовательно, не давали никакого результата. Обращает на себя внимание длинное перечисление указаний в тексте документа, многочисленные повторы, дополнения и пояснения: «и ты бь... въ ихъ вотчины, въ села и въ деревни отъ себя не посылай ни по што, и кормовъ своихъ и конскихъ имати не велель, и своего полку нашимъ ратнымъ людемъ... въ загонъ въ ихъ вотчины, въ села и въ деревни, въезжати не велель, и кормовъ своихъ и конскихъ сило не имали, и людей не били и не грабили, и никокова насилства не чинили»²³. Приведенный контекст свидетельствует о том, что в высказываниях, которые нанизываются друг на друга при помощи союза «и», свойственного устной речи, глаголы, играющие организующую роль, разнообразны по семантике: это лексемы со значением деятельности, перемещения, приобщения объекта, физического воздействия на объект, интеллектуальной деятельности, волеизъявления, поведения, социальных отношений и др. Однако содержание предписываемых гетману действий имеет декларативный, отвлеченный характер и не связано с формулировкой конкретных наказаний за провинности в отношении монастырского хозяйства, хищений, наносимого ущерба или фактов насилия против личности, притеснения и оскорбления монастырской братии.

Сделанные наблюдения позволяют по-новому взглянуть на события, участниками и во многом инициаторами которых были авторы переписки, а также глубже осмыслить причины широкого участия русского духовенства в движении земских ополчений

периода Смуты и роль православной церкви в развитии патриотического сознания россиян.

При соотнесении разных групп источников — дневниковых записей, фиксировавших повседневные события, и корреспонденций, поступающих в канцелярию гетмана, обращает на себя внимание описание поведения социальных слоев населения на территории, подконтрольной наемникам.

Отношения с местным населением были едва ли не главным вопросом, который приходилось решать Я. Сапеге на территории России. В частности, анализ документов ярославского фонда, проведенный И. О. Тюменцевым, позволяет с исторической точки зрения уточнить факты деятельности иноземцев в Ярославле — крупнейшем торговом и ремесленном центре Замосковья, где тушинцами были созданы параллельные структуры власти.

Языковой аспект сопоставления документов ярославского фонда «русского архива» Яна Сапеги пополняет исследование интересными наблюдениями, существенными в процессе изучения названных проблем. Например, разная реакция жителей во время пребывания сапежинского войска на ярославской земле отражена в Дневнике Яна Сапеги (17–30 апреля 1609 г.) и в старопольских текстах посланий, в частности, в письме К. Янушковского Яну Сапеге (8 декабря 1608 г.).

Функциональная семантика языковых единиц в тексте Дневника Я. Сапеги свидетельствует об активном сопротивлении ярославских горожан — людей посадских и сынов боярских, которые изгнали «воровских воевод» и превратили Ярославль в один из главных центров сопротивления в Замосковье. В записях за апрель 1609 г. действия дворян и посадских фиксируются средствами военной лексики: «stali w sprawie, w tył uderzyli na ludzi naszych, zewsząd ogarnęli ludzi naszych (17 апреля 1609), następują potężnie» (18 апреля 1609) и др. Глагольно-именные сочетания со значениями «стоять в полной боевой готовности», «ударить в тыл», «окружить со всех сторон», «мощно наступать» и др. составляют основную базу дневниковой информации в указанный календарный период.

В записи от 19 апреля 1609 г. поведение ярославцев, открывших дорогу правительственным войскам, получает негативную оценку со стороны сапежинцев, которые предпринимали всяческие меры, чтобы не допустить перехода горожан на сторону Шуйского: «Jarosław zmienił, bronić się nie chcieli z miasta» (19 апреля 1609 г.).

В хронике событий за 30 апреля содержится информация о поимке двух стрельцов-ярославцев, шедших из города с грамотами в Троицу и в Москву; секретарь Сапеги посчитал важным процитировать фрагмент текста русской грамоты, в которой решительный настрой земского ополчения против тушинцев передается словами

с семантикой победы («wogów pogromiwszy»), целенаправленного перемещения относительно конечного пункта («idziem pod Trojce, prosto do Moskwy»), удаления объекта («Jarosławeśmy oczyścili»), избавления («wyguszać od ludzi wogowskich»). Стремление ярославцев помочь защитникам Троице-Сергиева монастыря, а затем присоединиться к правительственным войскам под предводительством князя Скопина-Шуйского окрашено в контексте этого послания выражением верноподданических чувств к московскому правителю: «idziem ku twoim preświałym oczom, Osudar, prawiedne sołoniszko». В качестве постоянного эпитета, используемого в русском речевом этикете при характеристике высокопоставленных или царских особ, в приведенном контексте функционирует прилагательное «пресветлый» в составе устойчивого сочетания «(к твоим) пресветлым очам»²⁴; кроме этого, позитивно-оценочная коннотация образного обращения «Osudar, prawiedne sołoniszko» противопоставлена негативной оценке сторонников тушинского лагеря как «wogów, ludzi wogowskich», т. е. преступников, злодеев, мятежников, совершающих противозаконные действия²⁵.

В отличие от дневниковых записей донесение К. Янушковского, подробно сообщающее о непосильных налогах, которыми облагаются жители городов и деревень, содержит иную характеристику поведения населения: «chołorów po derewniach nie ma rozbiegli się po lasach»²⁶. Как свидетельствует контекст, местные крестьяне оказывали пассивное сопротивление. Употребление ключевого слова выражения «rozbiegli się (po lasach)» — «разбежались (по лесам)» подчеркивает стремление автора письма убедить адресат в объективных трудностях, которые встречали сборщики «кормов на царский обиход». Будучи эксплицитным средством обозначения разнонаправленного перемещения субъектов действия, глагольная словоформа «rozbiegli się» в широком контексте имплицитно указывает на один из распространенных способов, к которому прибегали крестьяне, чтобы избежать грабежей и поборов сапежинского войска, — уход на территории, не занятые наемниками.

Разножанровый материал сопоставляемых групп текстов позволяют не только с большей точностью восстановить последовательность исторических фактов периода Смуты, но и охарактеризовать действия, отношения участников конфликта, выявить важнейшие противоречия внутри противоборствующих сторон, определить причины военных побед и поражений противостоящих друг другу сил, средства выражения политических амбиций.

Анализ архивного комплекса дает возможность говорить о том, что документы начала XVII столетия содержат уникальные сведения о взаимосвязи истории языка и деятельности творца, носителя данного языка. Рассматриваемые доминирующие тенденции свиде-

тельствуют о расширении состава контекстов для передачи делового и светского, официального и частного содержания, чередовании стилистических приемов повествования на основе взаимодействия различных по происхождению и функционально-семантической специфике лексических единиц в процессе формирующейся тенденции к полифункциональности польского языка. Лингвистическое изучение такого материала обогащает наши знания о феномене славянской языковой личности в ее культурно-историческом развитии.

П Р И М Е Ч А Н И Я

- ¹ Изучение и подготовка материалов архива к изданию проводились авторским коллективом в составе: доктор исторических наук, профессор И. О. Тюменцев, кандидат филологических наук, доцент Н. Е. Тюменцева, доктор филологических наук, профессор Н. А. Тупикова. Поставленные задачи решались при поддержке Российского гуманитарного научного фонда (грант № 00-01-00044а), без помощи которого проект не мог бы состояться. В настоящее время первый том издания с текстом Дневника Яна Сапеги готовится к изданию в серии «Памятники истории Восточной Европы».
- ² Смирнов Л. Н. К юбилею сектора славянского языкознания Института славяноведения РАН // Славяноведение. 2002. № 1. С. 75.
- ³ См.: Флоря Б. Н. Два письма начала XVII в. из Троице-Сергиева монастыря // История русского языка. Исследования и тексты. М., 1982. С. 319–325.
- ⁴ Архив Санкт-Петербургского отделения Института российской истории РАН (АСПБОИРИ). К. 124. Оп. 1; К. 145; К. 174. Оп. 2; *Sapiega J. P. Dziennik* // Hirschberg A. Polska a Moskwa w pierwszej połowie wieku XVII. Lwów, 1901; Отдел рукописей Львовской научной библиотеки Национальной академии наук Украины (ОР ЛНБ НАНУ). Ф. 103; Oddział rękopisów Biblioteki Polskiej Akademii Naukowej w Krakowie (OR BRAN) № 345, 360; Stockholm. Riksarkivet. Skoklostersamlingen. Polska brev. (SRSPB). E 8604, Ryska brev. (SRSRB). E 8610 (1 и 2).
- ⁵ См.: Тюменцев И. О. Смута в России в начале XVII столетия: движение Лжедмитрия II. Волгоград, 1999.
- ⁶ См.: Тупикова Н. А., Тюменцева Н. Е., Тюменцев И. О. Донесения иноземцев о ситуации в Замосковье и Поморье в 1608–1609 годы (из русского архива Яна Сапеги) // Россия XV–XVIII столетий: Сборник научных статей. Юбилейное издание. СПб.; Волгоград, 2001. С. 235–266; *Они же*. Пять писем тушинского гетмана Романа Ружинского из русского архива Яна Сапеги 1608–1610 годов // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 4: История. Регионоведение. Международные отношения. Волгоград, 2001. Вып. 6. С. 24–33; *Они же*. Письма по церковным делам из русского архива Яна Сапеги 1607–1611 годов // Мир Православия: Сб. науч. ст. Волгоград, 2002. Вып. 4. С. 167–180.
- ⁷ *Lehr-Sptawiński T. Język polski. Pochodzenie — powstanie — rozwój*. Warszawa, 1951.
- ⁸ *Klemensiewicz Z. Historia języka polskiego*. Warszawa, 1985. Cz. II. S. 216.
- ⁹ *Ibid.* S. 276–277.
- ¹⁰ Понятие «языковая личность» рассматривается нами в русле работ: Караулов Ю. Н. Русский язык и языковая личность. М., 1987; Лопушанская С. П. Языковая личность казака (по скорописным документам XVII века) // Вопросы краеведения. Волгоград, 1993. Вып. 2. С. 164–167.

- ¹¹ См.: *Свирида И. И.* Пространство и культура: аспекты изучения // *Славяноведение*. 2003. № 4. С. 14–24.
- ¹² *Вендина Т. И.* Языковое сознание средневековья и возможности его реконструкции // *Славяноведение*. 2000. № 4. С. 26.
- ¹³ См., например, об этом: *Гагаев А. А., Гагаев П. А.* Художественный текст как культурно-исторический феномен. Теория и практика прочтения. М., 2002. С. 3.
- ¹⁴ *Шведова Н. Ю.* Глагол как доминанта в системе русской лексики // *Филологический сборник: к 100-летию со дня рождения академика В. В. Виноградова*. М., 1995. С. 410.
- ¹⁵ *Трубецкой Н. С.* Лекции по древнерусской литературе // *История. Культура. Язык*. М., 1995. С. 568.
- ¹⁶ *Словарь современного русского литературного языка: В 20 т. 2-е изд., перераб. и доп.* М., 1991. Т. 2. С. 611.
- ¹⁷ См.: *Мокиенко В. М.* Образы русской речи: Историко-этимологические очерки фразеологии. СПб., 1999. С. 341–348.
- ¹⁸ *Ананьева Н. Е.* История и диалектология польского языка. М., 1994. С. 268.
- ¹⁹ См.: *Hessen D., Stypuła R.* Wielki słownik polsko-rosyjski: В 2 т. 2-е изд., испр. и доп. М.; Warszawa, 1979; *Петрученко О.* Латинско-русский словарь. М., 1910.
- ²⁰ ОР ЛНБ НАНУ. Ф. 103. Оп. 1. № 52. Оригинал. Польская скоропись.
- ²¹ ОР ВРАН Ms. № 345. № 65. Л. 129–129 об.
- ²² ОР ВРАН Ms. № 345. № 66. Л. 131.
- ²³ АСПБОИРИ РАН. 29.11.1608 — 145. Оп. 1. Кар. 368. № 28. Собр. кн. Хилкова.
- ²⁴ *Словарь современного русского литературного языка: В 17 т. М.; Л., 1961. Т. 11. С. 275.*
- ²⁵ См.: *Даль В.* Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т. М., 1981. Т. 1. С. 243; *Словарь русского языка в четырех томах. 2-е изд., испр. и доп.* / Гл. ред. А. П. Евгеньева. М., 1981. Т. 1. С. 211.
- ²⁶ ОР ЛНБ НАНУ. Ф. 103. Оп. 1. № 58. Польская скоропись.

В. И. Фрейдзон
(Москва)

Донесение российского посольства в Вене министру А. М. Горчакову (апрель 1858 г.)*

Представляем читателю архивный документ, освещающий тенденции политики габсбургского неоабсолютизма 50-х гг. XIX в. Стремясь укрепить централистский германизаторский режим перед лицом назревавшего финансового и политического кризиса, окружение Франца Иосифа в 1858 г. выдвинуло идею объединения Хорватии и Славонии («гражданских земель»), а также Далмации с Военной границей в особое генерал-губернаторство во главе с полномочным губернатором. Тем самым был бы нанесен удар по национальным и либеральным стремлениям не только венгров, хорватов и сербов (монархии), но и народов «наследственных» земель. Но в 1858 — начале 1859 г. предполагаемые меры не были осуществлены. Вероятно, власти колебались, стремясь сохранить возможность политических маневров в будущем. Поражение в войне 1859 г. окончательно сделало невозможным осуществление указанного плана. С этого времени Франц Иосиф стал искать пути к компромиссу с Венгрией.

Донесение российского посольства в Вене министру А. М. Горчакову

Вена 23 марта/4 апреля 1858г.

Его превосходительству г-ну князю Горчакову.

В одном из предыдущих донесений я имел честь сообщить о предстоящей отставке бана Елачича и временной замене его генералом Шокчевичем.

Последний, человек посредственный, как говорят, не пользуется симпатиями славянского населения ввиду своей фамилии¹ и потому, что он слывет абсолютно преданным нынешней системе правления. Генерал явится послушным орудием в руках г-на Баха², и его ролью будет проведение в землях, ему подчиненных, реформ, давно задуманных министром.

Звание бана будет ликвидировано. Хорватия и Славония, объединенные с Военной границей и Далмацией, составят единое гене-

* АВПРИ. Фонд Канцелярии. 1858. Д. 181. Л. 210–212.

рал-губернаторство. Военная граница будет иметь особое управление, но подчиненное генерал-губернатору. Должен отметить, что все эти меры, хотя их осуществление полностью приостановлено, все еще сохраняются в чрезвычайной секретности.

Как мне стало известно, на аудиенции, данной генералу Шокчевичу, уходившему в отпуск³, император Франц Иосиф сказал, что его часто просили упразднить Военную границу по политическим и финансовым причинам, «но, — подчеркнул он, — я полон решимости сохранить ее столь долго, сколько я буду царствовать». Его величество, однако, не отрицал, что эта институция не свободна от изъянов, которые важно устранить, и он приказал генералу, как только тот прибудет к месту службы, безотлагательно посвятить свое внимание и заботу этой задаче.

Когда будет завершена реорганизация, ненавистная населению, последствия неизбежно падут на того, кто явится ее непосредственным исполнителем, тогда генерала Шокчевича будет нужно отозвать, и, как уверяют, эрцгерцог Леопольд будет назначен генерал-губернатором с резиденцией в Загребе.

Австрийское правительство тем самым делает решающий шаг по пути административной централизации и денационализации, на коем оно себя уже проявило и чего домогается со всей настойчивостью. С нетерпением стремясь осуществить все это, оно не желало ждать добровольной отставки бана, который просил лишь о кратком отпуске для поездки на воды. Возобладало мнение, что это предлог для его окончательного устранения. Его брат генерал-лейтенант Елачич был послан императором для объяснения ему мотивов этого решения, столь для него (бана. — В. Ф.) неожиданного, и вместе с тем для сообщения о сохранении за ним в полном объеме жалованья, так же как пользования особняком, им занимаемым в Загребе в настоящее время.

Впрочем, состояние здоровья бана таково, что почти невероятно, чтобы он мог долго пользоваться благосклонностью монарха⁴.

Имею честь и пр.

Кнорринг⁵

П Р И М Е Ч А Н И Я

¹ По-видимому, речь идет о православном населении, так как Шокчевич — от «шокац» (областной, диалектный термин) — католик.

² Александр Бах — австрийский министр, по имени которого режим вошел в историю под названием «баховского абсолютизма» (50-е годы XIX в.).

- ³ *Congé* — переводится с французского языка, на котором написано донесение, как «отпуск» и как «увольнение». Здесь могло бы означать «увольнение с прежней должности».
- ⁴ В последние годы жизни Йосип Елачич находился в состоянии депрессии, переживая неудачу своей деятельности в 1848 г., и был настроен критически к режиму. Замененный Шокчевичем в 1858 г., он скончался в 1859 г.
- ⁵ Временно заменял посланника.

И. В. Матвеева
(Челтенхем, Великобритания)

Из жизни русской эмиграции в Болгарии: отрывки воспоминаний

Под наукой русской провинции обычно понимают теоретические и прикладные исследования, проводимые в областных центрах. Однако за последние годы интерес к научной разработке ряда проблем проник и в самую «глубинку» русской провинции. Причем среди вопросов, интересующих районных и сельских краеведов, учителей, других местных интеллигентов, наряду с сюжетами о русской, главным образом местной истории и культуре, определенное место стали занимать связанные с их «малой родиной» проблемы, которые представляют несомненный интерес в общеславянском контексте. В июле 2002 г. мне, например, пришлось выступать с докладом в небольшом ярославском райцентре Мышкине, где уже несколько лет осенью проводятся «Опочининские чтения», а летом — конференции «На земле Святого Кассиана» (первые названы по имени купца Ф. К. Опочинина, основателя местной библиотеки, построившего для нее лучшее в городе здание, вторые — в честь местного святого, основавшего разрушенный в 1930-е гг. монастырь в селе Учма)*. Я рассказывал о семье, давшей отечественному славяноведению академика В. И. Пичету, поскольку один из членов этой семьи серб Душан Семиз (1884—1955) долгие годы был связан с Мышкиным и закончил там свою полную невзгод и лишений жизнь. А в мае 2003 г. я получил приглашение из подмосковного Воскресенска рассказать о русских эмигрантах в Болгарии. Местные энтузиасты изучения своего края, инициатором многих начинаний которых является воскресенский житель, преподаватель физики одного из московских вузов Андрей Константинович Лебедев, заинтересовались биографией и деятельностью священника Андрея Ливена, представителя рода светлейших князей Ливенов, имения которых были до октября 1917 г. расположены в окрестностях их родного города. Князь Андрей Ливен принял сан в Болгарии, куда он эмигрировал в составе белой армии, и вскоре занял видное положение

* Материалы этих конференций уже в течение нескольких лет регулярно издаются местным краеведческим музеем и районной Опочининской библиотекой, печатаются в мышкинской типографии и продаются в Мышкине по самым низким ценам. Статья: *Горяинов А. Н.* Протоиерей Иоанн Пичета и его потомки: (Из родственных связей Душана Семиза) опубликована в недавно вышедшем выпуске 4/5 «Учемского сборника», заключающего в себе материалы двух последних конференций «На земле святого Кассиана» (Мышкин, 2003. С. 86—94).

среди русских священнослужителей в этой стране, став ближайшим помощником главы объединения русских церковных общин архиепископа Серафима (Соболева). В ходе подготовки к докладу я написал своей знакомой, бывшей москвичке Инне Валентиновне Матвеевой, жившей до 1954 г. в Болгарии и бывавшей в доме о. Андрея. Ныне эта почтенного возраста дама переехала к дочери в Англию. Сначала Инна Валентиновна любезно согласилась написать воспоминания об о. Андрее (они были положены мною в основу доклада), а затем, узнав от меня об итогах конференции, продолжила писать и присылать воспоминания о жизни русской эмиграции в Болгарии.

Вполне понятно, почему конференция в Воскресенске стала одним из стимулов, побудивших Инну Валентиновну продолжить свои мемуары. Воскресенские энтузиасты сделали все, чтобы она прошла интересно и закончилась на трогательных нотах. Представленные на конференции доклады в популярной форме познакомили участников с разными сторонами деятельности о. Андрея. Организаторы пригласили на нее родственников А. Ливена из Испании, Франции и Англии. Среди них была младшая дочь о. Андрея Мария. Другая его дочь Ольга, ныне монахиня Серафима, настоятельница девичьего монастыря Покрова Пресвятой Богородицы в Софии, прислала организаторам «Краткое описание духовного облика протоиерея Андрея Ливен». На конференции родственники выступили со своими воспоминаниями, в зале демонстрировались картины с видами бывших усадеб Ливенов работы местных художников, читались его стихи, а воскресенская журналистка О. А. Чеботаренко специально к конференции написала акварельный портрет о. Андрея. В зале присутствовало около ста человек, главным образом представители местной интеллигенции, интересующиеся прошлым своего края. Чтобы дать им возможность принять в конференции участие, организаторы проводили ее в субботу и воскресенье.

Ниже публикуются два отрывка из воспоминаний И. В. Матвеевой, написанных в связи с конференцией в Воскресенске. Сейчас автор продолжает работу над мемуарами, и есть все основания полагать, что новые их главы будут не менее интересны, чем предлагаемые читателю.

Воспоминания Инны Валентиновны Матвеевой написаны очень живо и непосредственно, но они нуждались в стилистической правке, которая сделана с согласия И. В. Матвеевой и одобрена ею.

А. Н. Горяинов (Москва)

Трудовая деятельность русских эмигрантов до войны 1939 г.

Для того чтобы понять, как складывались судьбы русских эмигрантов в г. Софии, надо представить себе условия болгарской жизни начала 1920-х гг. и ее характерные особенности к моменту появления в Болгарии русских эмигрантов.

После окончания Первой мировой войны Болгария, как побежденная страна, должна была в соответствии с условиями мирного договора платить репарации, что она и делала в течение многих лет. Это замедляло развитие страны, особенно провинции. В результате провинциальные жители стремились переселиться в столицу, где уже насчитывалось 250 тысяч человек. Приток коренного населения совпал по времени с появлением в Софии первой волны русских эмигрантов, и город оказался перенаселенным. В болгарской столице, состоявшей главным образом из небольших частных домов, было трудно найти свободную комнату. Много русских эмигрантов вынуждено было селиться в железнодорожных вагонах, стоявших на запасных путях. Гостиницы оказались до отказа заполнены русскими, поселившимися там на неопределенно долгий срок.

В начале 1920-х гг. не прошло еще и пятидесяти лет со времени освобождения от османского ига, и болгары не до конца освободились от привычек, сложившихся при турецком господстве, хотя уже зародилась болгарская интеллигенция — это были главным образом люди, учившиеся в России (большой частью учителя и юристы), или в Западной Европе, преимущественно в Германии (воспитанники различных технических институтов). Положение женщин в болгарских семьях было подчиненное. Женщина была женой, хозяйкой дома, растила детей, но то, что творилось вне дома, было ей недоступно. Она даже не ходила на рынок — продуктами, в первую очередь мясом, семью снабжал муж, а на жене лежала только покупка овощей, которые развозились по домам торговцами на специальных ручных тележках. С соседками общаться, правда, разрешалось, и болгарки ходили друг к другу в гости на чашечку турецкого кофе.

В помощь хозяйке часто нанимали служанку из деревни. Шестого мая (на святого Георгия Победоносца) и 8 ноября (на святого Дмитрия Солунского) в Софии устраивались «базары», на которые родители или специальный посредник («драгоман») привозили девочонок, обычно в возрасте 10–15 лет, которых и нанимали в услужение. Весной служанок предлагалось меньше — в это время года родители чаще забирали их из города в село для работы на огородах и в поле. За труд служанке платили в зависимости от состава семьи, наличия маленьких детей и прочих условий работы, но ее заработная плата всегда была мала; получали зарплату родители. Одевалась служанка так, как привыкла дома — в белую крестьянскую грубую

домотканую рубаху с длинными или короткими рукавами и в одеяние из грубой черной шерстяной ткани типа сарафана — без рукавов, с небольшим отверстием для головы. С головы часто свешивались две косички. Ноги были упакованы в грубые чулки и в лапти, которые потом заменялись сношенными ботинками хозяев. Хозяйка поручали служанке стирать, мыть полы и посуду, подметать двор и улицу перед домом. Она была все время занята, а если оказывалось, что все дела сделаны, хозяйка заставляла ее вязать носки или делать что-то еще, лишь бы она не сидела без дела.

В город выходили и в кофейнях поодиночке сидели только мужчины, женщины всегда выходили из дома только в сопровождении мужа или отца. Интересно, что пожилым людям их более молодые знакомые, как мужчины, так и женщины, целовали руку, а два пожилых человека, встречаясь друг с другом, целовали руки друг у друга. Когда в 1933 г. я, студентка университета (Софийский университет был одним из очень немногих высших учебных заведений в стране), пригласила домой на «чашку чая» своих коллег-болгар, все они, по сохранявшемуся обычаю, перецеловали руки моих родителей.

Поведение русских, довольно неожиданно для местного населения наводнивших Софию, было странно и непонятно болгарам, вызвало их осуждение. Русские мужчины целовали руки у замужних женщин, при чем не только у пожилых, но и у совсем юных. Русские женщины свободно ходили в одиночку по городу, без стеснения встречались и разговаривали со знакомыми мужчинами. Летом они носили привезенные с родины легкие белые платья из «шитья» с вышитыми или вырезанными медальонами, «мережкой» и другой «сквозной» вышивкой; талию их обычно обхватывала цветная или полосатая черно-белая лента, завязанная на спине бантом. Под платьями у русских женщин были красивые нижние юбки с воланами, кружевами и вышитыми медальонами, которые служили для защиты от нескромных глаз прозрачных частей надетого сверху платья, но воспринимались болгарками в совершенно противоположном смысле. Доходило до того, что болгарская женщина хватала русскую за подол платья, поднимала его и, завидя более нарядную, чем верхнее платье, нижнюю юбку, кричала: «Смотрите, они приехали соблазнять наших мужей!», причем это иногда происходило в присутствии мужа-болгарина. Словом наряды, совершенно обычные для русских женщин, вызывали у болгарок возмущение. Наконец, многие русские женщины привезли с собой меха и различные меховые изделия, которых не было у болгарок, и отсюда появилось выражение «одета, как русская княгиня», под которым подразумевалось наличие у какой-либо эмигрантки шубы, жакета или даже просто горжетки из любого меха. Как это ни обидно и ни несправедливо,

русских женщин часто называли «развалена рускиня», то есть «развратная русская».

Бывали в первые годы пребывания русских эмигрантов даже случаи дикой расправы с ними со стороны чинов болгарской полиции. Всю русскую колонию всколыхнуло однажды ужасное происшествие с 18-летней русской девушкой, дочерью царского генерала. Девушка работала кельнершей в русском ресторане «Счастье» на улице «Мария-Луиза» недалеко от вокзала. Этот ресторан появился вскоре после того, как большое число русских получило работу на каменноугольных копях в Пернике, в сорока километрах от Софии. С заработной платой новоиспеченные шахтеры приезжали в свободные дни в столицу, чтобы развлечься, и охотно посещали этот ресторан, повара и обслуживающий персонал которого состоял из эмигрантов; кельнершами в ресторане работали русские женщины.

Русские знали, что в русском ресторане их обслуживают настоящие дамы, что пойти на эту работу их заставили низкие заработки мужей и отцов, необходимость помогать семьям. Болгары же смотрели на кельнерш совсем иначе, считая их распутницами. Однажды дочь генерала, поздно окончив работу (софийские рестораны обычно закрывались только к полуночи, а затем надо было сдавать деньги и подводить итоги дня) возвращалась домой по безлюдному ночному городу, и к ней стал приставать болгарин. Тогда девушка направилась к находившемуся на посту полицейскому, но болгарин ее опередил, и сам обратился к полицейскому с просьбой избавить его от приставаний русской. Полицейский, несмотря на протесты, тут же задержал генеральскую дочь и доставил ее в участок. Разыскать девушку родители и знакомые смогли только через два дня. В полиции она была многократно изнасилована, заражена двумя венерическими болезнями и вскоре покончила жизнь самоубийством. После этого эмигранты стали охранять возвращавшихся домой кельнерш: за ними приходили родственники, их провожали работавшие в ресторане мужчины. Вскоре, однако, обнаружилось, что за провожающими следят полицейские; они требовали, чтобы «чужой» мужчина не заходил с женщиной в дом, а после его ухода продолжали следить за домом, заглядывая в освещенные окна (далеко не все русские в состоянии были купить себе занавески).

Одним словом, поначалу обстановка для русских складывалась сложная. Следует, однако, отметить, что у них были и искренние друзья, особенно среди болгарской интеллигенции. Расскажу здесь об одной статс-даме болгарского царского двора, бывшей русской фрейлине по имени Анна Сергеевна. Потеряв своего жениха, она приехала на время в Болгарию вместе с одной из российских правительственных делегаций, познакомилась там с адъютантом царя Болгарии Асеном Попадоповым и вышла за него замуж.

В 1920–1930-е гг., когда я ее знала, Анна Сергеевна была уже не у дел, но сохранила прочные связи при дворе царя Бориса III. Бывшая фрейлина и статс-дама дружила со многими русскими эмигрантами и всячески старалась им помочь. Она часто заступалась за русских и добивалась для них покровительства Двора. Вот один из таких случаев: подруга и одноклассница дочери П. М. Бицилли Маши Валя Рафалович познакомилась с офицером царской гвардии и хотела выйти за него замуж, но жених не получил разрешения от своего начальства жениться на иностранке. Анна Сергеевна поехала в царский дворец и добилась нужного разрешения. К Анне Сергеевне в Болгарию после русской революции приехала сестра Вера Сергеевна Ратькова-Рожнова. Она жила в Софии, но никогда не пользовалась какими-либо выгодами своего положения родственницы болгарской статс-дамы.

Постепенно русские эмигранты приспосабливались к стране, местному населению и новой жизни. Уехать в Западную Европу старались прежде всего одинокие мужчины. Что до семейных, то они обосновывались в Болгарии чаще. В 1924 г. некоторые белые офицеры смогли даже выписать к себе из России оставшиеся там семьи. Со мной в одном классе в Софийской русской гимназии учились две девочки, приехавшие из СССР, отцы которых работали в Пернике и в Софии.

Обычно мужчины-эмигранты начинали с того, что находили себе работу, связанную с физическим трудом. Те, кто занимался на родине земледелием, осели в деревнях. Там они не только работали на земле, но и скупали овечьи шкуры, дубили их и затем продавали, а впоследствии на этой основе в Софии одним из русских эмигрантов была основана фабрика дубленок, которую в 1947 г. владелец подарил Советскому Союзу. Многие эмигранты освоили шахтерскую профессию, другие стали рабочими на фабриках, трудились на стройках. Большое число русских работало на предприятии «Лоза», где производились вина и делались разные сорта водки, в том числе распространенные в России «Зубровка» и «Охотничья».

Особенно большой вклад внесли русские рабочие в строительство нового софийского водопровода с водозабором из озер на горе Рила (воды с горы Витоша городу уже не хватало), начатого после прихода в 1934 г. в Министерство строительства болгарского инженера Спаса Ганева. Когда в Софии началась прокладка трамвайных путей, в этом деле тоже принимало участие множество русских — от рабочих до начальников строительных участков. Летом в строительство включались русские студенты и гимназисты старших классов, которым в каникулярное время необходимо было заработать деньги на оплату учебы. Они гнули на специальных столах прутья для железобетонных конструкций, подносили каменщикам кирпич. Один

раз русский гимназист сорвался на уровне четвертого этажа с трапа, по которому поднимался с кирпичом... Мы долго не могли прийти в себя после этого ужасного события.

Были, конечно, и дети, состояние здоровья которых настоятельно требовало летнего отдыха. Для них врач Надежда Евгеньевна Дурылина (ее дочери Татьяна и Ольга учились в Софийской русской гимназии) сумела организовать крайне недорогой отдых на море близ Варны. Она добилась бесплатного проезда детей к морю, договорилась о предоставлении им летом дарового помещения. Быт и питание детей были крайне просты, но их отдых обеспечивался.

Наиболее тяжелым было положение в Болгарии инженеров, которые там были никому не нужны в виду слабого развития болгарской промышленности. В течение многих лет оставшиеся в стране русские инженеры различных специальностей вынуждены были работать землемерами, и получение ими такой работы считалось удачей. Все же группе русских инженеров удалось основать предприятие по устройству системы отопления в квартирах. В Софии постоянно росли налоги на недвижимость, и постепенно содержать небольшие частные дома с дворами и садами, составлявшие большую часть города, стало довольно дорого. Предприимчивые строители-болгары начали объединяться в артели для возведения трех-четырёхэтажных кооперативных домов с несколькими квартирами на месте частных земельных владений. В зависимости от стоимости владения его хозяин получал в возводимом доме одну или большее число квартир, магазин, который можно было сдать в аренду и получать значительный доход. Оставшиеся квартиры продавались желающим. Недостатком новых домов являлось неудобное отопление. В Софии оно было печное — в каждой комнате частного индивидуального дома имелась сложенная из кирпича печь, имевшая форму колонки четырехугольного сечения, иногда с круглыми трубчатыми выступами с двух сторон колонки (так называемая «румынская печь») для более протяженного пути горячего воздуха, и, значит, лучшего согревания помещения. В новых кооперативных домах ставили обычно железные печи, выложенные кирпичом изнутри. Такие печи надо было топить уже не дровами, а углем, что создавало грязь в комнатах, каждую из которых по-прежнему отапливала самостоятельная печь. Один из русских инженеров придумал новую, более удобную, тоже железную печь: она устраивалась в облицованной плиткой стене, разделяющей смежные комнаты, а топка находилась в одной из комнат или даже в коридоре. Процесс горения угля, который загружался в такие печи, начинался с верхней части печи и длился в течение целых суток. Руководство предприятием по производству новых печей осуществляли, конечно, русские инженеры, рабочих же они нанимали разных национальностей.

Постепенно русские стали создавать в Софии свои мастерские. Например, появился мастер-печник, бывший юрист; под совместным руководством одного болгарина и русского князя было создано предприятие по изготовлению деревянной мебели. В Софии в 20-е и 30-е гг. XX в. работали три колбасных фабрики, одна из которых славилась своей ветчиной. Русский предприниматель Суханов в обычной софийской квартире организовал свое колбасное производство, которое выпускало ветчину не хуже, чем болгарская фабрика. Он делал также популярные в России сорта колбас: малороссийскую, краковскую, «собачью радость» и другие, в том числе ливерную колбасу, которую болгарские производители делать не умели. При «мини-фабрике» Суханов открыл небольшой магазин, где в полдень ежедневно в продаже появлялась еще теплая ветчина и самые свежие колбасы. Он не только торговал колбасами в «фирменном» магазине, но и снабжал колбасной продукцией еще один магазин, хозяином которого тоже был русский эмигрант. Были и другие колбасные магазины, принадлежавшие русским, но они торговали колбасами болгарского производства. Русский эмигрант Максимович разбогател на селедке, вкуса которой болгары не знали. Он начал торговать так хорошо известной в России соленой сельдью, и товар этот пользовался такой популярностью, что торговец постоянно расширял свое дело.

Часть эмигрантов без специального образования, но с опытом или наклонностями к торговле, занялась продажей дешевой рабочей и подержанной одежды (их называли «бишбазаршики», что на болгарском языке означало «торговцы со вшивого рынка»). Постепенно некоторые из этих людей приобретали достаток, но от остальной русской колонии они были в стороне, и эмигранты относились к ним с известной долей пренебрежения: об образовании своих детей они заботились мало, в гимназии их не отдавали, считали достаточным, чтобы отпрыски умели писать и считать.

В 1929 г. в Софии открылось предприятие, прозванное русскими эмигрантами по образцу сокращенных названий, широко использовавшихся в то время в СССР, «Центрохлам». Оно тоже занималось торговлей подержанной одеждой, но исключительно в интересах русской колонии. Возникновение «Центрохлама» было связано с гонениями на армян в Турции. После этих гонений в Европе оказалось много армянских беженцев, которые были очень бедны. Для помощи им американцы начали собирать чистую ношенную одежду и обувь, паковать их в огромные тюки и посылать в те страны, где проживали армянские беженцы. Представитель в Болгарии старого Российского общества красного креста Леонтий Евгеньевич Фельдман во время своей поездки в США договорился, что в число нуждающихся в одежде будут включены и проживающие в стране его

пробытия русские эмигранты. В Софии были арендованы два соседних дома, в одном из которых помещался склад присылаемых из Америки вещей, а во втором — мастерская по их ремонту и переделке для русских эмигрантов. В «Центрохламе» работали исключительно русские, почти все женщины. В мастерской было занято около сорока человек, иногда бывших барынь, не умевших делать ничего, но научившихся когда-то ради забавы держать в руках иголку. Работницы гладили слежавшиеся в тюках вещи, которые потом поступали в ремонт и на переделку. Руководила и распределяла работу заведующая мастерской, она же следила за выполнением заданий. Рабочий день в «Центрохламе» длился восемь часов с двухчасовым обеденным перерывом, во время которого все расходилось по домам. Из отремонтированной одежды и обуви (в мастерской кроме женщин работало два мужчины-сапожника) работницам «Центрохлама» можно было выбирать кое-что для себя, все же остальное поступало в магазин, где вещи продавались по крайне низким ценам. Выручка шла на оплату труда работников предприятия. «Центрохлам» успешно работал около десяти лет, был закрыт только в 1937 или 1938 г., и многие русские эмигранты поминали его добрым словом.

Русские женщины зарабатывали на жизнь шитьем или открывали домашние столовые. В таких столовых можно было получить блюда русской кухни, при желании обеды выдавались на дом. Напитков в домашних столовых не продавали, но там обычно пекли очень вкусные пирожки, которые русские эмигранты охотно заказывали, когда ждали гостей. Подавали в домашних столовых обычно студентки, атмосфера там была домашняя, не ресторанный.

Впрочем, справедливость требует сказать, что далеко не все русские женщины сумели устроиться в Болгарии сколько-нибудь сносно. Например, признанная в Харькове красавица, жена начальника строительства Северо-Кавказской железной дороги госпожа Гирская, славившаяся в России выездами и одевавшаяся под масть своих лошадей, в Болгарии зарабатывала на жизнь уборкой квартир наиболее обеспеченных русских эмигрантов. В эмиграции это была уже немолодая скромная женщина, оставшаяся без мужа мать двоих детей. Впоследствии ее сын Алексей Гирский стал убежденным коммунистом и в 1940–1950-е годы возглавлял «Клуб советских граждан», в котором были объединены эмигранты, получившие после второй мировой войны гражданство СССР.

Большая группа русских эмигрантов стала учителями. Они преподавали в созданных эмигрантами нескольких русских гимназиях (о них будет рассказано ниже) и в болгарских средних учебных заведениях. В последних изучался русский язык, и эмигранты часто вели уроки русского, а также других языков. Русские учили своему языку и болгарских певцов. Дело в том, что оперная труппа Народного

театра по сложившейся издавна традиции исполняла как русские, так и западноевропейские оперы только на русском языке, театральными режиссерами оперы часто были русские специалисты. Языковой подготовкой хористов занялись русские эмигранты: они помогали актерам избавиться от акцента и добиться правильного русского произношения.

Верный заработок русским давало знание иностранных языков. Опытные преподаватели языков получали хорошие доходы. Особенной известностью и всеобщим уважением пользовался бывший генерал русской армии, потомок французских эмигрантов, бежавших в Россию от революции 1789 г., Ричард Иосифович Термен. Уже пожилой, но еще полный сил человек, он давал болгарам и дипломатам из некоторых иностранных посольств уроки французского языка за довольно высокую плату, а вечером каждый день в течение двух часов бесплатно занимался с русскими студентами и гимназистами. Термен применял при занятиях оригинальную методику, которая давала хорошие результаты. Я училась у него, когда была гимназисткой, и знаю это на собственном опыте.

Другие владевшие языками эмигранты были переводчиками или лакеями в посольствах, банковскими служащими в зарубежных банках, женщины работали гувернантками, а иногда и просто нянями в семьях богатых болгар. Я знала одного полковника (назову его Михаил Эдуардович), который был садовником и выполнял другие работы по дому в состоятельной английской семье; хозяйка дома в этой семье немного говорила по-русски. Однажды она при мне сетовала на то, что Михаил Эдуардович плохо почистил ее туфли. «Если женщина некрасива, да еще туфли у нее не в порядке — это совсем плохо!» — упрекала она бывшего полковника.

Большую помощь болгарскому населению в становлении медицинского обслуживания оказывали русские врачи. Они работали не только в Софии, но и в провинции, в округах и околиях. Обычно, устроившись в провинции, русские не думали о переезде в Софию или другие крупные города, так как это было связано с потерей работы, большими денежными затратами и неопределенностью в будущем. Русскую медицинскую науку представляли эмигранты-профессора, создавшие медицинский факультет Софийского университета. Русский врач доктор Трейман основал в г. Велико-Тырново клинику для туберкулезных больных. Несколько русских врачей возглавили отряды по борьбе с венерическими болезнями, которые обследовали население в ряде районов страны и проводили лечение выявленных заболеваний. Врач Чернецкая создала службу по борьбе с бешенством. Она спасла многих людей. Когда был создан Институт здравоохранения (Институт за народно здраве) Чернецкая возглавила в нем отдел по борьбе с бешенством, и в ее руках было

сосредоточено руководство всеми службами, боровшимися с бешенством на местах. По инициативе Чернецкой были не только организованы по всей стране пункты прививок против бешенства, но она научила бороться с этой страшной болезнью многих болгарских врачей и успешно занималась научной работой в данной области. Однако усилия специалиста, так много сделавшего для Болгарии, не получили должной оценки. Наоборот, один из подготовленных Чернецкой болгарских врачей обошелся с ней безобразно. Став сначала заместителем Чернецкой, он вскоре заменил ее на посту заведующего отделом и начал всячески мешать врачебной деятельности своей бывшей наставницы. В конце концов Чернецкой было предложено досрочно выйти на пенсию, а когда она не согласилась (на ее руках были недоучившаяся одинокая дочь и семилетняя внучка), ей предложили доработать до пенсионного возраста лаборанткой с маленькой заработной платой, что уменьшило размер ее пенсии.

При эвакуации из России белой армии в Софию попал русский военный госпиталь. Он обосновался в доме болгарского врача, русофила по убеждениям доктора Палчева. Палчев сохранил и свою клинику, куда принял на работу несколько русских врачей. Со временем русский госпиталь превратился в больницу, где лечились преимущественно эмигранты. В больнице оперировали хирурги Берзин и Абросимов, которые действовали настолько успешно, что вскоре стали известны всей стране. Особенно прославился своими операциями доктор Берзин, который проводил такие операции, которые не в состоянии был сделать ни один болгарский врач. В тридцатых годах он, например, спас руку одному болгарскому инвалиду первой мировой войны, которая стала неподвижной и почти отсохла после ранения. Берзин определил, что застрявшая в руке пуля задела нерв, и после ее удаления рука инвалида вновь обрела подвижность. Или случай с девушкой, от рождения страдавшей деформацией ступней ног (подъемы ступней у нее оказались внизу, а пятки тянулись вверх). Берзин поставил ступни девушки в правильное положение, и она стала ходить. А одной шестнадцатилетней ученице гимназии, в которой училась и я, Берзин успешно сделал операцию по поводу костного туберкулеза, от которого деформировался позвоночник больной. Он удалил пострадавшие позвонки, заменив их костью из голени девочки, и она вновь обрела стройность. Эта ученица прожила долгие годы, стала бабушкой и была вполне здоровой. Берзина даже приглашали оперировать за границу, там он делал нейрохирургические операции. К ним он был подготовлен своим образованием: Берзин окончил петербургский Нейрохирургический институт, а затем приобрел практический опыт во время первой мировой и гражданской войн, оперируя раненых в санитарном

поезде и в госпитале Добровольческой армии. В Болгарии за свое образование хирург подвергался нападкам молодых болгарских коллег, выпускников основанного в начале 1920-х гг. медицинского факультета Софийского университета, ставивших ему в вину учебу якобы не в медицинском учебном заведении. Однако болгарская общественность встала на защиту талантливого врача, и он продолжал свою деятельность в Болгарии до конца Второй мировой войны. Коллектив врачей и сестер милосердия «русской» больницы сложился еще в годы Первой мировой войны, и был хорошо вышколен. Когда прооперированные благодарили доктора Берзина за успешно проведенную операцию, он обычно отвечал, что надо прежде всего благодарить сестер милосердия за их усилия выходить больного. Обслуживание в «русской» больнице было платным, но русские эмигранты пользовались значительными льготами — плату за лечение конкретных болезней они могли заменять небольшими ежемесячными взносами, тогда их лечили бесплатно.

Вместе с военным госпиталем и частями русской белой армии в Болгарию приехало много раненых и военных инвалидов. Для них с помощью болгарского правительства и болгарской общественности был создан Русский инвалидный дом. Он располагался в окрестностях Софии, на дороге в село Княжево. Сначала под инвалидный дом болгарские власти выделили уже существовавшее здание, впоследствии был возведен еще один корпус, со временем для инвалидов удалось построить даже церковь. Обслуживали инвалидов исключительно русские. Со временем инвалидов, проживавших в доме, становилось все меньше, и их место постепенно занимали старики-эмигранты. Иногда сыновья помещали в инвалидный дом своих престарелых родителей (надо сказать, что русские женщины никогда не отдавали туда близких родственников), и тогда им предоставлялась отдельная комната, одинокие же старики жили по два-три человека в комнате. Инвалидный дом финансировался довольно скудно, для сбора средств на его содержание часто устраивались благотворительные балы.

Попытки русских начать в Софии создание индустрии развлечений не принесли успеха. Супругами Пагандци, бежавшими из России, было открыто казино, но болгары туда не ходили, а русским игра была не по карману, и казино, которое обслуживал русский персонал, через несколько месяцев закрылось.

Русские эмигранты работали честно и отвечали за результаты своего труда. Преодолев неприязнь и недоверие болгар, они превратились в желанных для болгарских работодателей и предпринимателей партнеров, которые пользовались большой популярностью, и с которыми стоило иметь дело, чтобы достигнуть хороших результатов в работе.

Постановка русского национального образования

Когда Добровольческая армия очутилась в Турции, и стало понятно, что русские солдаты, офицеры и просто беженцы станут эмигрантами надолго, встал вопрос о получении ими образования. В особенно сложном положении оказались те «добровольцы», которые, прервав свою учебу, пошли со школьной или студенческой скамьи воевать на стороне белых, а также те, кто в ходе военных действий и ухода в эмиграцию утерял аттестаты зрелости или другие документы. Для всех эмигрантов, желающих продолжить образование в высших учебных заведениях Европы, необходимо было предъявлять при поступлении документы о получении среднего образования, которых у многих не было. Выходом стало создание эмигрантами национальных русских учебных заведений. Почти одновременно в 1921–1922 гг. образовались русские гимназии в Варне, Софии, близ Тырнова, в Пештере, Шумене...

Для Шуменской гимназии болгарское правительство предоставило просторное крепкое здание, и туда вскоре отправилась из Турции большая группа офицеров (некоторым из них было уже больше двадцати лет), чтобы усестись за парты, пройти программу последних классов гимназии и сдать экзамены на аттестат зрелости. Гимназия в Варне в 1920-х гг. была передана английским благотворителям, директором ее стал англичанин, и она превратилась в англо-русское учебное заведение. При гимназиях обычно создавались интернаты для девочек и мальчиков, но Софийская гимназия долгое время имела только один «мальчишеский» интернат.

Гимназисты занимались по программам, не учитывавшим возрастной дифференциации учащихся, а ведь постепенно в старшие классы переходили из младших дети обычного гимназического возраста, вывезенные родителями из России. Они вынуждены были заниматься вместе со «стариками» под 30 лет, которые еще долго завершали свое образование в седьмом и восьмом (выпускном) классах. Помню двух таких гимназистов, учившихся со мной в одном классе (я окончила гимназию в 1933 г.). Им было по 28 лет, и оба они провалились на выпускных экзаменах.

Кроме гимназий русские эмигранты создали детские приюты и так называемые «детские садики», в которых наряду с группами для малышей были организованы младшие (для детей 7–8 лет), и старшие (для детей 8–9 лет) «подготовительные группы». В Софии работало два приюта. В начале 1920-х гг. в местности «Горна Баня» под Софией существовал детский приют для русских детей до восьми лет. Он помещался в двухэтажном здании, в котором находились спальни, но не было столовой. Дети круглый год ели во дворе, под навесом, за длинными столами. Многие были настолько малы,

что их приходилось кормить, причем воспитательницы делали это с нарушением элементарных санитарных норм. Вообще антисанитария царила в приюте: грязные простыни часто не стирались, а только просушивались, дети были вшивыми. Рядом с приютом протекал ручей, в котором летом ребяшня целыми днями купалась без всякого надзора, часто под жарким солнцем. В результате дети часто получали ожоги и страдали простудными заболеваниями. В середине 1920-х годов приют в «Горне Бане» закрыли, и вскоре был создан новый приют в городской черте Софии, рядом с парком «Борисова градина». В новом приюте воспитывались сироты или дети самых бедных эмигрантов. Здесь санитарные требования соблюдались безукоризненно: даже зубные щетки после каждого употребления дезинфицировались раствором марганцовки, отчего становились черными. Однако директриса установила в приюте режим полного молчания. Даже самые маленькие воспитанники не смели произнести ни одного звука, а воспитательницы говорили вполголоса. У детей были игрушки, но играли они молча. Когда детвору вели гулять в парк, она молча шагала парами по аллеям, и через полчаса в полном молчании возвращалась домой. Мне приходилось бывать в здании приюта у дочери директрисы, моей одноклассницы. Чтобы не нарушать установленного порядка, даже в директорской комнате мы должны были говорить тихими голосами. Неудивительно, что приютские дети выросли озлобленными и некоммуникабельными людьми. Особенно запомнилась одна девочка, учившаяся вместе со мной в гимназии. Ее взяла на воспитание бездетная замужняя женщина, которая спустя год забеременела и вернула девочку в приют. Для ребенка, начавшего нормально развиваться, это стало огромной моральной травмой. Последствия травмы сказались в гимназические годы: ученица, жившая уже в гимназическом интернате, оказалась злым и на редкость неприятным человеком.

Русские приюты и учебные заведения курировались Всероссийским союзом городов (в Болгарии эту организацию возглавлял А. В. Арцишевский, под его началом работали Ф. Л. Мартыновский, Б. Д. Горбатов и Жовнер) и Земско-городским комитетом (в Болгарии им руководил А. А. Эйлер).

Со временем русские гимназии в болгарской провинции прекращали свое существование. В начале 1930-х гг. закрылись англо-русская гимназия в Варне, Шуменская и Пештерская гимназии (последняя по имени школьной иконы носила название «Крестовоздвиженской»). Осталась только Софийская гимназия (патроном ее был чудотворец святой Николай Мирликийский). После открытия при ней «девичьего» интерната в эту гимназию перевели всех учеников и учениц провинциальных гимназий. Надо сказать, что вследствие сосредоточения всех учащихся в Софии количество учеников

Софийской русской гимназии увеличилось не намного: эмигранты уезжали из Болгарии и увозили своих детей в Западную Европу, да и количество подростков, воспитывавшихся в русских традициях, постоянно уменьшалось. Некоторые родители предпочитали отдавать своих детей во французскую школу при монашеском ордене кармелиток, в немецкую школу или в русский частный лицей В. П. Кузьминой. Однако иностранные школы не давали аттестата зрелости, и после их окончания ученикам приходилось продолжать образование в двух последних классах Софийской русской гимназии. Обычно таких учащихся в гимназию приходило два-три человека ежегодно.

Своеобразным учебным заведением был лицей Кузьминой. От петербуржцев русские эмигранты знали, что в северной столице России Варвара Павловна Кузьмина вместе с Гуревичем содержала частную школу, где обучались за большие деньги те ученики, родители которых добивались от детей не знаний, а получения документов об образовании. Нечто подобное Кузьмина организовала и в Софии. Сначала это была дорогая частная начальная школа с изучением французского языка, куда принимались болгарские дети младшего возраста. С увеличением возраста и ростом числа болгарских воспитанников (получавших, конечно, за свои деньги отличные отметки), для Кузьминой возникла опасность значительно превысить среднее для болгарских гимназий количество отличников, что могло вызвать подозрения со стороны властей. Тогда школа была преобразована в лицей. В лицей стали принимать, наряду с болгарами, бедных детей из семей русских эмигрантов. Эти дети учились бесплатно, но высоких оценок они не получали: учителя ставили таким ученикам в лучшем случае тройки. В 1933 г. Кузьмина при помощи влиятельных родителей своих учеников добилась разрешения выдавать окончившим лицей аттестаты зрелости. Тогда-то русские ученики лицея Кузьминой, желавшие поступать в вузы, а также их родители, поняли, что уровень знаний, которые дает лицей, намного ниже, чем в Софийской русской гимназии, и в русскую гимназию из разных классов лицея тоже стали переходить учащиеся. Уровень их знаний был настолько низок, что родителям приходилось приглашать репетиторов. Среди учащихся лицея Кузьминой, которых нужно было «подтягивать» до гимназического уровня, были известный впоследствии библиограф Андрей Мещерский (пришел в 3-й класс) и дочь зубного врача Нина Кончинова (пришла в 6-й класс).

В разных классах Софийской русской гимназии в 1930-х годах насчитывалось по 20–25 учеников, а в одном из классов училось, как мне помнится, всего 11 человек. Болгары в русской гимназии не учились — я помню всего одну ученицу болгарку, но она не справилась с программой и вынуждена была уйти из гимназии.

Чтобы иметь возможность поступать в Софийский университет и в другие (крайне немногочисленные) высшие учебные заведения Болгарии, учащиеся русских средних учебных заведений должны были учиться по программам, включавшим все предметы, проходившиеся в болгарских гимназиях. В Софийской русской гимназии, где я училась, не изучался греческий язык, как в болгарских классических гимназиях, но все остальные предметы преподавались по сравнению с ними даже в большем объеме. Это вызывалось необходимостью приспособления к требованиям, предъявлявшимся техническими вузами Западной Европы (ни одного технического высшего учебного заведения в Болгарии не было). Для учебы в этих вузах выделялись различные стипендии, но туда было трудно поступать ввиду отсутствия в русских гимназиях подготовки, которую в дореволюционной России давали реальные училища. Так как по причине недостаточного числа учащихся создавать для русских эмигрантов подобные училища было невозможно, пришлось заняться переработкой учебных гимназических программ. Они теперь включали предметы и темы, изучавшиеся как в гимназиях, так и в реальных училищах: было расширено преподавание математики и физики, факультативно преподавались такие дисциплины, как «Дескриптивная геометрия» и «Анализ бесконечно малых величин», затем необязательным для всех, но обязательным для учеников с техническим уклоном стало черчение.

Закон Божий изучался во всех классах, начиная с первого, где преподавался Ветхий Завет. Во втором классе проходили Новый Завет, в третьем — богослужения, в четвертом — катехизис. С изучения катехизиса начинались и занятия в пятом классе, а затем ученики переходили к усвоению истории христианского вероучения, которое продолжали в шестом классе. В седьмом классе учащиеся знакомились с различными религиями и сектами, а в восьмом закреплялись полученные ими ранее сведения по истории православия. Учителем Закона Божия в первом — третьем классах был до кончины в 1928 г. о. Василий Флоровский, настоятель Русской посольской церкви Святого Николая. Он преподавал также в «подготовительных группах», где учил малышей молитвам, рассказывал им о Священном Писании и готовил детей младшего возраста («семилеток») к первой исповеди. Перед Пасхой, в первые дни Страстной недели, когда говела вся гимназия, о. Василий исповедовал всех гимназистов. После его смерти Закон Божий во всех классах Софийской русской гимназии от первого до восьмого стал преподавать о. Георгий Шавельский, профессор богословия, который в России был протопресвитером военного и морского духовенства, то есть возглавлял военно-духовное ведомство. За героизм, проявленный во время русско-японской войны, о. Георгий был награжден Георгиевским

крестом; ордена он не носил, но священнический крест на его груди висел на георгиевской ленте. О. Георгий обычно оживлял свои занятия в старших классах чтением отрывков из Евангелий, а затем беседовал о прочитанном с учащимися.

Русский язык и литература. В первом и втором классах ученикам преподавалась грамматика, предлагалось заучить большое количество стихотворений. В третьем проходили синтаксис, в четвертом изучали древнюю русскую литературу, которую завершали в пятом классе. В пятом классе начинали также изучение классической русской литературы, и в 8 классе заканчивали курс литературой начала XX в. Параллельно, начиная с младших классов, учились писать сочинения, а также знакомились с основными этапами развития литератур Западной Европы: английской, французской, немецкой, отчасти итальянской.

География. В гимназии особое внимание обращалось на изучение географии России, причем ученики проходили не только физическую географию ряда стран, но и политическую географию.

История. Знакомство с прошлым начиналось с изучения истории русских царских династий Рюриковичей и Романовых. В третьем и четвертом классах проходили историю древних Греции и Рима, в пятом и шестом серьезно изучали историю России, в седьмом учили историю средних веков стран Европы, в восьмом классе повторяли русскую историю. Историю России учили по учебнику Елпатьевского, а по истории Греции и Рима учебников у гимназистов не было, единственный экземпляр имела только учительница истории в младших классах А. М. Попруженко (по мужу Куровец). Она сначала излагала на уроках задаваемый материал, а затем диктовала, заставляя учеников записывать основные фактические сведения — даты, названия древних городов, богов и мифических героев, причины войн и так далее. По этим кратким записям мы восстанавливали дома рассказы учительницы и потом отвечали на уроках домашние задания; такая подготовка полностью себя оправдывала. В старших классах историю преподавал бывший учитель истории одной из одесских гимназий Валериан Антонович Жуковский. В Одессе у него еще учились некоторые из наших родителей. Учитель имел особую книжечку, в которой каждому уроку была отведена отдельная страничка. Начиная урок, Валериан Антонович обращался к классу с вопросом: «Кто сегодня не может отвечать?». У тех, кто поднимал руку, учитель брал по одному леву и записывал эти взносы в книжечку. Затем он переходил к опросу других учеников, занося в классный журнал хорошие отметки. Если же ученик отвечал на тройку или двойку, Жуковский взимал с него также лев, и при уплате этой мзды в журнал отметку не ставил. На следующем уроке все уплатившие штрафные левы должны были ответить по материалу

предыдущего урока, из левов же постепенно составлялась солидная сумма, которая шла на оплату учебы в гимназии бедняков. Таким образом, создавался стимул для тщательной подготовки учащихся и одновременно решались проблемы оплаты учебы тех, кому за уче- ние платить было трудно.

Латинский язык. Его преподавала в 1–6 классах доцент Клавдия Васильевна Флоровская (вернулась на родину в 1955 и скончалась в Москве в 1964 г.). В двух старших классах латыни гимназистов и гимназисток обучал директор Софийской русской гимназии А. П. Стефанов, он требовал такого знания своего предмета, что на уроках Анатолия Павловича ученики говорили на латыни. Помню один курьезный случай: кому-то из великовозрастных учеников, бывшему офицеру белой армии Стефанов поставил двойку, а тот, идя на свое место, громко сказал: «С красными сражался, под об- стрелом был, так двойкой меня не испугаешь!»

Иностранные языки. Во всех классах гимназии изучалось два иностранных языка: французский и второй по выбору — немецкий или английский. Почти все ученики, как нашего класса, так и дру- гих классов, занимались немецким языком, и только один или два человека уходили во время соответствующего урока изучать англий- ский. Учебниками иностранных языков мы пользовались теми, ко- торые продавались в болгарских магазинах, но эти учебники были составлены применительно к программам болгарских гимназий, где язык изучался только на протяжении двух-трех лет. Поэтому в стар- ших классах мы занимались практическим изучением языков: чи- тали сказки Андерсена, «Письма с моей мельницы» и «Малыша» А. Додэ, покупали немецкие романы «Вторая жена», «Исповедь ста- рой девы» и др., писали диктанты, делали всяческие упражнения, шлифовали грамотность.

«Болгарские» предметы. В гимназии изучались болгарский язык, история и география Болгарии, но этим предметам не уделялось должного внимания, хотя какие-то сведения по ним мы все же по- лучили. Преподавали «болгарские» предметы болгары, учителя рус- ского языка болгарских гимназий, скорее практиковавшиеся, как мне кажется, в нашей гимназии в русском языке, чем учившие нас болгарскому.

Естественные науки. Их изучение начиналось в первом и вто- ром классах с природоведения, затем следовали ботаника (третий), зоология (четвертый), анатомия и физиология (пятый и шестой), химия и геология (седьмой и восьмой классы). По естественнонауч- ным предметам нас не вызывали отвечать на уроках, а проверяли знания учащихся письменными контрольными работами после изу- чения каждого раздела программы. Темы каждому ученику предстоя- ло выбирать из нескольких билетов, разложенных на учительском

столе на подобие экзаменационных, поэтому приходилось готовиться по всему разделу. Вели уроки естественных наук на протяжении многих лет А. А. Рязанов (он был одновременно школьным врачом), а затем последовательно выпускники русской гимназии, В. В. Кладов и Р. С. Берегов, окончившие Софийский университет.

Математика, физика и космография. Эти предметы преподавал профессор К. И. Иванов; в части классов математику вел также бывший одесский учитель Даниил Наумович Савченко, одновременно руководивший мужским гимназическим интернатом. Профессор Иванов обычно брал на себя преподавание математики в двух первых классах, с которыми проходил всю программу, а после окончания гимназии восьмиклассниками вновь брал себе часы по математике в первом классе; он преподавал по совместительству также на курсах стажеров при III образцовой мужской болгарской гимназии. В Софийской русской гимназии изучались следующие разделы математики: арифметика, алгебра, геометрия, стереометрия, тригонометрия, аналитическая геометрия. Физику учили еще по дореволюционному учебнику Краевича, к которому К. И. Иванов делал свои дополнения. Особенно интересны были занятия по космографии, оригинальный курс которой был разработан профессором Ивановым.

Философская пропедевтика и политическая экономия. Эти предметы изучались в седьмом классе. Надо сказать, что знания по последней дисциплине очень пригодились мне в 1990-е годы, когда пришлось делать переводы по экономической тематике и применять в них специальные термины. Редакторы Бюро переводов Российской академии наук этих терминов не знали и критиковали меня, например, за употребление словосочетания «привилегированные акции»; пришлось объяснять им значение термина, и я с благодарностью вспомнила гимназические уроки.

Черчение. Начинали мы с рисования в младших классах, потом черчение было введено как обязательный предмет, но требования нашего преподавателя, бывшего полковника артиллерии были так высоки, что мы очень страдали. В конце концов, черчение сделали обязательным только для тех, кто хотел поступать в технические вузы. Однако полученных навыков мне хватило, чтобы удивить вузовского профессора по курсу машиностроения, когда пришлось в Софийском университете изучать этот предмет. Профессор даже спросил меня, не работала ли я чертежницей.

В русских учебных заведениях весь воспитательный процесс осуществлялся на религиозной основе. Ученики Софийской русской гимназии были обязаны ежедневно посещать русскую церковь, и если в дни учебных занятий кто-то отсутствовал на обедне, ему приходилось представлять классному наставнику записку от

родителей с объяснением этого факта. Гимназия старалась участвовать в церковной жизни. Накануне Вербной субботы гимназисты делали бумажные цветы, украшали ими пучочки вербы, а в день праздника продавали свое рукоделие у входа в храм; выручка шла в пользу храма, к ней прибавлялись пожертвования, которые получали на церковь продавцы в виде доплаты к своему грошовому товару. В русской церкви часто пел гимназический хор. Хор, в котором пели гимназисты, разучивал преимущественно религиозные песнопения, которые исполнял в русской церкви во время литургий. На литургиях гимназический хор обязательно пел в дни святого Николая Чудотворца, патрона гимназии. Когда отмечался юбилей П. И. Чайковского, хор исполнил литургию на музыку композитора.

При гимназии существовала довольно приличная библиотека. В ней имелись произведения классиков русской литературы и некоторые дореволюционные школьные учебники. Учебников не хватало, их получали в первую очередь ученики, жившие в интернатах, туда давали один экземпляр на несколько человек. Приходилось меняться учебниками при подготовке уроков, но в конце концов все как-то утрясалось. Персонал гимназии (а все основные предметы, как видно из предыдущего, нам преподавали учителя из России) очень следил за тем, чтобы гимназисты регулярно пользовались школьной библиотекой и заранее читали произведения классиков русской литературы, которые должны были проходиться в том или ином классе. Поэтому дефицита времени на подготовку к занятиям по литературе не было, в ходе занятий о творчестве того или иного писателя приходилось перечитывать только некоторые, притом уже знакомые вещи.

Софийская русская гимназия не получала достаточных сумм из тех скудных средств, которые болгарское правительство выделяло на многочисленные нужды русской эмиграции (содержание больницы, амбулатории, гимназий и детских садиков, инвалидного дома и др.) Поэтому обучение было платным, и эта плата многим была не под силу. Родительский комитет постоянно собирал пожертвования, но наиболее активно он искал лиц, которые выплачивали бы ученикам стипендии. Некоторые ученики не знали, кто за них платит, однако были и такие благодетели, которые постоянно интересовались своими стипендиатами, помогали им в приобретении учебных пособий, даже приглашали их в гости. Несколько стипендий для отличников учредило также болгарское Министерство народного просвещения.

Наиболее значительные средства поступали обычно после устраиваемых гимназией традиционных рождественских балов, на посещение которых распространялись платные билеты. На балах продавались программки, устраивались лотереи и так далее. Худо-

жественная часть бальной программы исполнялась гимназистами и гимназистками всех возрастов, начиная с самых младших.

Гимназисты носили форму: мальчики — черные брюки и черные, большей частью сатиновые гимнастерки, подпоясанные кожаным ремешком. У них были также форменные фуражки с гербом гимназии: две веточки обрамляли буквы СРГ, означавшие «Софийская русская гимназия». У девочек было две формы — зимняя и летняя. Зимой носили черные сатиновые халатики с длинными рукавами (сначала они застегивались спереди, потом застежки зашили, и халат нужно было надевать через голову) или зимние платья из черной шерстяной материи. Халаты и платья подпоясывались матерчатым пояском, к ним подшивался белый воротничок, у выреза был черный бант. На голове девочки носили черные береты, опоясанные черной же лентой с гербом гимназии. Летняя форма состояла из темно-синей юбки, белой блузки с черным бантом на груди и белой панамки с черной лентой и гимназическим гербом.

Верхняя одежда у гимназистов была разная: некоторые старшеклассники всю зиму ходили, например, в осенних прорезиненных плащах, становившихся на морозе негнушимися, деревянными, у других вообще не было верхней одежды, и им приходилось во весь дух бежать из интерната в гимназию.

Помещалась гимназия там, где ей предоставлялось место государственными организациями Болгарии. До 1925 г. занятия проходили в здании 2-й софийской мужской гимназии на углу улиц «Царь Аспарух» и «Витошская». Утром здесь учились болгары, а с 14 часов — русские дети. В 1925/1926 учебном году гимназисты занимались в помещении болгарской 4-х классной прогимназии, но там было очень тесно и неудобно, и в следующем году гимназия переехала в училище «Васил Априлов», размещавшееся в прекрасном здании, с просторными светлыми классами, гимнастическим залом, где мы занимались маршировкой и гимнастическими упражнениями с булавами, с широкими коридорами (в одном из них на втором этаже ежедневно собиралась перед началом уроков на общую молитву вся гимназия), с большим двором и садом. В училище было только одно неудобство — маленькие парты, за которыми занимались болгарские школьники: там болгарам давалось начальное образование, и утром в здании учились малыши. После ухода болгар в начале первого служитель проветривал все помещения и обрабатывал их раствором карболки. Нередко, приходя в классы, мы обнаруживали лужицы этого раствора, но зато ни одна из эпидемий среди болгарских школьников нас не затронула.

Гардероба в училище не было, его заменяли доски с гвоздями, повешенные около каждого класса, но этими досками пользовались мало — отапливались классы только утром, для болгар, и в холодные

зимние дни на втором или третьем уроках приходилось накидывать пальто. Не было и электрического звонка. В коридоре второго этажа висели стенные часы, и около них стоял на табурете большой колокол, которым служитель оповещал об окончании урока. Урок длился сорок минут, перемена — пять минут.

Занятия в Софийской русской гимназии начинались в 14 часов. В 13.45 все учащиеся по классам со своими классными наставниками парами шествовали в коридор второго этажа; сбоку от гимназистов выстраивались участники хора. Начинаясь молитва. Гимназический хор исполнял «Царю Небесный», «Отче наш», «Богородице Дево радуйся», молитву покровителю гимназии святому Николаю Чудотворцу «Правило веры». Затем директор делал какие-либо сообщения, и ученики расходились по классам. В начале занятий дежурные сообщали об отсутствующих учениках. Они следили за состоянием доски, приносили тряпки и мел, доставляли в классы необходимые учебные пособия (карты, Евангелия на уроках Закона Божьего и др.). По окончании последнего урока дежурный читал молитву «После учения», и мы расходились по домам. На уроках Закона Божьего на обязанности дежурного лежало, кроме того, чтение молитв «Перед учением» и «После учения» в начале и конце урока.

У гимназистов бывали проступки, за которые их наказывали: ставили в классе к стене на время урока, под часы в коридоре на полчаса или на целый урок после окончания занятий; в редких случаях выгоняли из класса.

Гимназия имела знамя с изображением святого Николая Чудотворца. Обычно с ним гимназисты выходили на школьные парады в День святых Кирилла и Мефодия 24 мая. В этот день все софийские школьники строились со своими знаменами на площади около Собора Александра Невского. Обычно они уже были одеты по-летнему. После торжественного молебна царь Борис III обходил строй, здоровался с каждым учебным заведением и поздравлял всех с праздником. Потом царь направлялся к дворцу и, стоя в дворцовом саду у входа в здание, принимал парад; учащиеся проходили по дворцовому саду от восточных ворот к западным. Знамя русской гимназии, по сложившейся уже традиции, нес восьмиклассник, его сопровождали два ассистента.

В Софийской русской гимназии еще сохранялись многие из российских традиций. Большинство учителей обращалось к ученикам «Вы», в старших классах, вызывая к доске, учителя обращались к ученикам: «Пожалуйста, госпожа». Выходя к доске и садясь после ответа на место, а также встречая учителя в коридоре, девочки должны были сделать реверанс, а мальчики наклонить голову и шаркнуть ногой. Как и в России, в Софийской русской гимназии для оценки знаний, в отличие от принятой в Болгарии 6-балльной

системы, применялась 5-балльная. В 1929 г. болгарское министерство предложило ввести 6-балльную систему также в русских гимназиях, но многие учителя Софийской и других гимназий проигнорировали это распоряжение, за что впоследствии гимназистам пришлось расплачиваться. Через пару лет Министерством народного просвещения Болгарии было издано распоряжение об освобождении учащихся от выпускных экзаменов по тем предметам, по которым они имели за восемь лет учебы средний балл 5,5 и выше. Вследствие применения 5-балльной системы отметки учеников русских гимназий оказались заниженными, и перед выпускными экзаменами 1933 г. министерство потребовало от русских гимназистов экзаменоваться по всем 17 изучавшимся предметам, а они к этому оказались не готовыми. Родители протестовать не осмелились, и в гимназии в юбилейном для нее 1933 г. ни один ученик не был удостоен золотой или серебряной медали.

Болгарское министерство народного просвещения за программами и содержанием обучения в русских гимназиях следило очень внимательно, поскольку выпускники этих гимназий, как и выпускники болгарских школ, имели право поступать в болгарские высшие учебные заведения на все факультеты и специализации по конкурсу аттестатов зрелости.

На каждом факультете Софийского университета был выделен определенный процент мест, предназначенных для русских эмигрантов: на медицинский факультет ежегодно принимали, например, 100 болгар и 10 русских с «нансеновскими» паспортами (особыми действующими в разных странах удостоверениями личности, выдаваемыми эмигрантам, не получившим гражданства страны пребывания). На специальность «химия», куда поступала я, полагалось зачислять 22-х болгар и 2-х русских. Русские должны были набрать для поступления тот «проходной балл», который набирали болгары. Эмигранты, получившие болгарское гражданство, были приравнены к коренному населению и в «русскую квоту» не входили. В первые годы пребывания в Болгарии эмигранты еще не владели болгарским языком, и в Софийском университете им часто разрешалось отвечать на экзаменах на русском языке, поскольку на многих факультетах университета преподавали эмигрировавшие из России профессора или воспитанники русских учебных заведений, хорошо знавшие русский.

В 1920 г. в Софии по инициативе русского правоведа профессора П. М. Богаевского и болгарского академика С. С. Бобчева был организован Свободный университет, готовивший специалистов в области экономики и права. В Свободном университете обучение было вечерним, занятия проводились не каждый день, студенты в университет принимались без конкурса, обучение длилось четыре

года. Это давало возможность совмещать работу с учебой, и было особенно удобно для лиц среднего возраста, значительное число которых училось в Свободном университете вместе с болгарскими и русскими юношами и девушками.

В Софийском университете и в других высших учебных заведениях Болгарии обучение было платным. Существовал Союз русских студентов, который имел средства на оплату учебы, но его деятельность направляла ведущая военно-политическая организация русской эмиграции — Российский общевоинский союз (РОВС), стоявший на непримиримых антисоветских позициях. Поэтому от платы за обучение освобождались только студенты, угодные РОВС'у. Были и такие «счастливицы», которые одновременно жили и питались в студенческом общежитии, и даже получали небольшие суммы на карманные расходы. Те же студенты, взгляды которых РОВС почему-либо не устраивали, даже на самую минимальную помощь рассчитывать не могли. Таким студентам приходилось учиться, одновременно зарабатывая средства на жизнь и учебу. Я знаю случаи, когда молодым людям, чтобы получить высшее образование, приходилось один год учиться, а другой работать, и срок обучения в таком случае удваивался. Один студент-математик Софийского университета жил во время «учебного года» зимой в сыром подвале одного софийского частного болгарского дома, и вместо платы за квартиру должен был удалять скапливавшуюся там воду. В «рабочий год» он трудился на шахте под Софией. Этому знакомому нашей семьи удалось окончить университет и получить место учителя математики в одной из болгарских провинциальных гимназий. Он сделал неплохую карьеру, дослужившись до директора гимназии, но был совсем одинок, и школьные каникулы проводил в Софии, чтобы пообщаться с близкими ему русскими эмигрантами.

До Второй мировой войны кадры инженеров и других технических специалистов готовились за рубежами страны. Также дело обстояло с зубными врачами и фармацевтами — в Софийском университете существовал медицинский факультет, но там соответствующих специалистов не готовили. Те русские эмигранты, которые желали получить высшее техническое образование, должны были учиться за границей. Некоторым студентам удавалось получать для этого стипендии (большую их часть выделяла американская благотворительная организация, которую возглавлял профессор Уиттимор), нескольких выпускников ежегодно принимал на бесплатное обучение Лувенский университет в Бельгии. Однако университет в Лувене был католическим, и чтобы продолжать пользоваться льготами на старших курсах, там приходилось отказываться от православия и принимать католическое вероисповедание. Нашу гимназию окончили два брата, ставшие студентами университета в Лувене.

Чтобы не менять веру они пошли на то, чтобы удлинить время учебы: братья учились поочередно — один прерывал на год учебу, чтобы работать и содержать учившегося, а затем наступала очередь работать другого брата. Известны были и случаи перехода русских студентов в католичество, но таких было мало, и делали это те студенты, которые не отличались религиозностью. У многих студентов попытки заставить их принять католичество вызывали активный протест. Мне известен, например, юноша, который, совершенно не будучи верующим, ушел из университета в Лувене, так как считал спекуляцию на религиозных чувствах недостойной и недопустимой.

В заключение нельзя не вспомнить с глубокой благодарностью наших наставников — учителей русских гимназий, которые по мере своих сил старались, чтобы гимназисты и в эмиграции оставались русскими людьми, чтобы они полюбили Россию, чтобы в их плоть и кровь вошло все русское — история, культура, литература, причем старались при этом не подчеркивать своих политических пристрастий. Жалование русских преподавателей было низким, условия жизни нелегкими, иногда им приходилось брать дополнительную работу, однако они трудились с подлинным вдохновением и героизмом.

Россия — Польша: тяжкий груз соседских отношений

Изучение представлений соседних народов друг о друге, сложившихся в процессе длительных контактов между ними, становится одним из перспективных направлений исследований, способным постановкой общих проблем и их совместным решением объединить под одной крышей ученых разных дисциплин — историков, литературоведов, фольклористов и т. д. Об этом свидетельствует, в частности, плодотворное сотрудничество российских и польских гуманитариев, подготовивших вместе целый ряд коллективных трудов, включая рассматриваемый сборник (Поляки и русские: взаимопонимание и взаимонепонимание / Сост. А. В. Липатов, И. О. Шайтанов. М.: Индрик, 2000)¹.

Конечно, задолго до их появления чрезвычайно богатый фактами и событиями, полный противоречий и драматических столкновений опыт взаимоотношений двух народов стал (в разнообразных своих проявлениях) предметом громадной историографии. Задача восполнения «белых пятен» в истории разносторонних российско-польских контактов актуальна и сегодня². Но при всем значении дальнейших эмпирических изысканий достигнутый уровень развития российской полонистики (как и польской русистики) позволяет обратиться к решению более сложных проблем. Речь, в частности, идет о выработке «имиджиологического» подхода к изучению двусторонних культурных связей. Каковы устойчивые представления (стереотипы), сформировавшиеся в польском национальном сознании относительно России и русских, а в русском национальном сознании относительно поляков и Польши, в результате многовекового общения двух народов? Как изменялись эти стереотипы по мере расширения связей и обретения обеими нациями нового исторического опыта? Какое отражение они нашли в произведениях духовной культуры обоих народов? Серьезные попытки ответить на эти и некоторые другие вопросы требуют обновления методологии, тем более, что формы бытования стереотипов как в народной, так и в высокой культуре весьма многообразны. При этом в каждом конкретном случае историку культуры приходится выявлять в долгоживущих представлениях народов друг о друге соотношение объективного и субъективного моментов. Едва ли надо доказывать, что этнические стереотипы находятся в весьма опосредованной связи с исторической реальностью, пожалуй, в большей мере характеризую

породивший их тип ментальности, нежели объект своего отражения. Зачастую даже противореча фактам, они тем не менее играют активную роль в формировании сознания целых поколений.

С изменением социальных условий стереотипы могут, конечно же, претерпевать эволюцию, приобретать новые значения, сохраняя в то же время смысловое ядро и актуализируясь в новых конфликтных ситуациях. Порожденные памятью о прежних конфликтах устойчивые представления о других народах во все времена эксплуатировались политикой и пропагандой, особенно когда речь заходила об отношениях с соседями. Ведь на фоне этнической близости, языкового родства и географического соседства культурные и конфессиональные различия выступают с особой выразительностью.

Следует согласиться с А. В. Липатовым в том, что «сосуществование центробежных и центростремительных сил в пространстве определенной этногенетической общности — удел отнюдь не только славянства» (С. 8), можно тому привести немало примеров. В славянском мире сохраняется глубинная культурно-конфессиональная разобщенность между некоторыми даже очень близкими в языковом отношении народами, например между сербами и хорватами, что приводило их к политическому противостоянию и делало в XX в. нежизнеспособными (по крайней мере, на длительную историческую перспективу) разработанные в теории и «гладкие на бумаге» проекты югославянской государственности. С другой стороны, сам факт существования идей югославизма (как и чехословакизма), а тем более успешное претворение их в жизнь в определенных условиях напоминают о центростремительных тенденциях внутри славянства, оживление которых, как правило, происходило в моменты обострения внешних угроз, особенно германской³.

Что же касается российско-польских противоречий, то издавна пролегающая между двумя народами полоса отчуждения наложила глубокий отпечаток на историю каждой из стран за последние четыре столетия, проявляется и в сегодняшних межгосударственных отношениях. Надо признать, что «долгая традиция трудного соседства» не могла не сказаться на менталитете поляков, не могла не внедрить в их сознание синдром постоянной «угрозы с Востока».

Устойчивые представления о поляках в России и о русских в Польше восходят своими истоками к XVI в.⁴ Главный водораздел между этнически близкими общностями пролегал в конфессиональной плоскости. И отношение к полякам в России XVI в. (в письмах Ивана Грозного, других документах общественной мысли) в значительной мере было обусловлено их приверженностью иной (а значит «ложной»!) вере⁵.

Различия типов государственности также помогали осознавать непохожесть России и Польши. Анализ эпистолярного наследия

Ивана Грозного доказывает, что первый русский царь крайне негативно относился к шляхетской демократии, видя в выборности короля источник неполноценности и слабости власти: избранный государь, согласно логике российского монарха, не волен в своих делах, его свобода ограничена самовольством избравшей его шляхты. В сознании политической элиты Речи Посполитой различия двух государственных систем трактовались с противоположным оценочным знаком — польская свобода уже тогда противопоставлялась российской неволе, деспотизму.

Справедливости ради надо сказать, что часть российской государственной традиции находилась вне поля зрения поляков. Это касается, в частности, политической системы Великого Новгорода XIV–XV вв., имевшей немало общего с государственным устройством Речи Посполитой XVI–XVII вв. (сословная демократия, ограничивающая власть князя). Эта традиция, однако, оказалась в России подавлена вследствие натиска московской монаршеской власти. В Польше же типологически близкие явления продолжали жить, формируя «специфический менталитет гражданского общества в рамках одного сословия» (С. 85). К этому можно добавить, что в силу особенностей своей политической системы Речь Посполитая была прибежищем для гонимых из России. Для того чтобы избежать невольных упрощений в трактовке стереотипов восприятия Польши в допетровской Руси, вообще необходимо иметь в виду: в русском сознании существовал также (пусть на периферии) образ Речи Посполитой (включая Великое княжество Литовское) как более свободной, просвещенной, отличающейся большей веротерпимостью страны, где искали и находили пристанище те, кто не желал мириться с московской тиранией.

Притом, что принадлежность к разным конфессиям, системам государственного устройства действительно предопределила со времен средневековья различия в менталитетах поляков и русских, нельзя недооценивать и взаимопритяжения двух культур. Ведь при всей межконфессиональной конфликтности латинская и византийская сферы культурного влияния «не были взаимонепроницаемыми в силу самой первоначальной общности христианских ценностей и основанной на них универсальной (наднациональной) культуры Европы» (С. 8).

В петровское время Россия утверждается в ряду великих европейских держав, тогда как Польша, напротив, утрачивает прежние позиции. Соответственно ослабевает значение польского направления в российской внешней политике — объективное положение Польши в Европе, степень ее политической и военной мощи с каждым десятилетием давали все меньше оснований для беспокойств в Санкт-Петербурге. Все это порождало в правящих кругах ощущение

превосходства России над Польшей. Идеологи Петровской эпохи неизменно подчеркивали преимущества абсолютизма над сословным эгоцентризмом и шляхетской демократией с присущим ей, согласно их толкованиям, разгулом индивидуализма в ущерб общей пользе. Со временем высокомерно-пренебрежительное отношение российской дворянско-бюрократической элиты к государственному устройству Польши усиливается, и этот образ постепенно усваивается все более широкой массой русского дворянства. Особенно этому способствовала Семилетняя война (1756—1763), наглядно показавшая всей Европе слабость Речи Посполитой, чьи политические порядки все чаще отождествлялись с анархией и безвластием. Расширение Екатериной II дворянских привилегий убедило российских дворян в преимуществах собственного статуса над свободами польской шляхты. Аристократическая критика абсолютизма, апеллировавшая к примеру Речи Посполитой как страны, где максимально соблюдаются сословные права дворян, окончательно потеряла под собой почву.

«Некогда могущественная шляхетская республика, теперь постоянно унижаемая, постепенно к концу XVIII в. стирается с политической карты Европы соседними абсолютистскими монархиями» (С. 88). Как справедливо отмечает А. В. Липатов, решающим поводом для ее окончательной ликвидации стала конституция 1791 г., напугавшая абсолютистских соседей Польши, не без оснований увидевших в ней проявление идей Французской революции. С этих пор почти на полтора столетия общественное бытие польской нации оказывается включенным в систему координат иного, нетрадиционного для нее типа государственности, отныне условия существования нации впервые за много столетий создавались не самими поляками. Между тем, по образному выражению Вяч. Иванова (1914), разделы бессильны были затронуть «духовную и бессмертную личность Польши, когда видимая и осязаемая плоть ее была растерзана на части» (С. 173). В силу традиций шляхетской демократии и связанного с ней национального менталитета⁶ возникает столько проблем с превращением польского дворянства, особенно элиты, в лояльных подданных чужой империи. Борьба за выживание нации, лишенной своей государственности, поиски путей самосохранения становятся доминантой польской истории, причем на протяжении всего XIX — начала XX в. польский вопрос сохранял международное значение, оставаясь, по выражению А. В. Липатова, одним из «невралгических пунктов» европейской политики.

Три раздела Польши (1772, 1793, 1795) предопределили, таким образом, на многие десятилетия вперед вектор развития российско-польских отношений. Антиномия этнической близости и профессиональных, а также ментальных различий действительно

выступала «раздражителем особой силы», едва ли имевшим аналогов в отношениях официального Петербурга с другими этническими меньшинствами империи. Подавляя национальные чувства поляков, имперская политика их все более усиливала, дуя на раскаленные угли национального самосознания (С. 28). Россия теперь открывается польской ментальности с новой стороны — не просто как носитель восточных, деспотических начал, неприемлемых для польской государственности, и не только как один из источников потенциальной внешней угрозы. В России видится теперь вполне реальный притеснитель, насильник и поработитель. Недоверие и неприязнь к русским, сформировавшиеся на основании конфликтного исторического опыта конца XVIII—XIX в., стали стойким элементом национального сознания польского народа, в российском же сознании тот же опыт оценивается с противоположным знаком и в результате складывается образ Польши как коварного соседа, всегда готового нанести удар в спину. Таким образом, российское самодержавие, мало считаясь с польской спецификой и не учитывая особенностей национального менталитета, само создавало польский вопрос, имевший не только политическое и культурно-конфессиональное, но и социально-психологическое измерения.

Правда, в начале XIX в. был период, который мог предвещать несколько иную тенденцию развития. После третьего раздела наибольшие свободы поляки получили как раз в российской части Польши, что подтвердил своими решениями и Венский конгресс 1815 г. Но отношения царизма и польской элиты не сложились. В условиях усиливавшегося прессинга естественным самопроявлением национального духа становится сопротивление.

Польское восстание 1830 г., по словам известного историка XIX в. Н. И. Костомарова, «встрежило сердца и умы на Руси», напугав общество «призраком разложения государства»⁷. А. С. Пушкин вопреки идеалам своей юности предпочел увидеть в этом событии не байронический порыв, а прежде всего угрозу русской государственности (см. статьи А. Липатова, И. Шайтанова, В. Хорева). Реагируя в своих известных стихах «Клеветникам России», «Бородинская годовщина» на происходившее в российской части Польши, русский поэт обращался не столько к соотечественникам и не столько к полякам, сколько к Западной Европе, слишком уж возбужденно наблюдавшей за событиями на востоке континента и при этом не скупившейся на комментарии, подчас казавшиеся унижительными человеку русской культуры, воспитанному на тех же просветительских идеалах. Призывая европейское общественное мнение воздержаться от вмешательства в «семейные» дела, Пушкин отказывал ему в праве на решающий голос («оставьте, это спор славян между собою»). В «Бородинской годовщине» особенно отчетливо

прочитываются опасения утраты Россией Украины, Белоруссии, Литвы, речь, таким образом, шла в первую очередь о наследии Великого княжества Литовского, яблоке раздора между Польшей и Россией. В письме П. А. Вяземскому (1831 г.) поэт концептуально выразил позицию, нашедшую более яркое отражение в художественно-образной форме: «для нас мятеж Польши есть дело семейственное, старинная, наследственная распря; мы не можем судить ее по впечатлениям европейским» (С. 105).

По мнению современного российского исследователя, за формулой «семейной распри» просматривается четко выраженная государственническая (иными словами, великодержавная) позиция (С. 21). Поддержав действия официальной России в польском конфликте, русский гений, считает А. В. Липатов, «вонзал свой поэтический кинжал в кровоточащую рану Польши, раздавленной доблестной ратью великой державы» (С. 93). Поступок этот не может быть понят вне контекста российского имперского мышления. Согласно предлагаемой концепции, для российского мироощущения, самосознания, особенно в десятилетия наивысшего могущества Российской империи, определяющим было полное подчинение индивидуума институтам власти и находившемуся на вершине иерархии царю-самодержцу. Эта идея, согласно А. В. Липатову, обрела свое классическое воплощение в «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина и «Медном всаднике» А. С. Пушкина. Позиция Пушкина в отношении событий 1830—1831 гг. отнюдь не была, таким образом, случайной. Речь идет о типичной реакции представителя государственного общества со свойственным ему идеологизированным, деперсонализированным мышлением, контрастирующим с универсальной открытостью того типа мышления, который характерен для гражданского общества.

Российскому «национально-государственному» типу мышления здесь противопоставляется польский «наднационально-общечеловеческий». Гордость принадлежности к сословной общности у польских дворян неотделима от индивидуального чувства собственного достоинства. В отличие от российской историографии Карамзина, выполнявшей государственный заказ, польская историософия, развиваясь в условиях гражданского общества (пусть в ограниченных сословных рамках), исходила из внутренней свободы личности и «стремилась к осознанию судеб своего народа во взаимосвязи с общехристианской идеей всемирности, а не политической соподчиненности интересам национальной государственности» (С. 91). Распространенному в Польше персонализму западного мышления, утверждающему духовную автономию каждого индивида, противостоит, таким образом, свойственная православию соборность российского самоощущения.

При всем многотысячном обилии научных работ, посвященных А. С. Пушкину, можно, конечно, и дальше (едва ли рискуя исчерпать тему) говорить и писать о понимании им патриотизма и в этой связи о его отношении к российской государственной традиции, освященной для него именем Петра I; о преломлении этого отношения в художественных образах — как самого Петра (героя Полтавы), так и града Петрова; о почти гегельянском примирении зрелого Пушкина с современной ему российской действительностью, о неприятии им политического радикализма, о том, что изучение в качестве историка пугачевского бунта, «бессмысленного и беспощадного», заставило его оценить преимущества просвещенного самодержавного правления. Стоит ли, однако, преувеличивать державные устремления русского гения, отказывая ему при этом в персонализме мышления? Здесь можно было бы порассуждать об апологии частной жизни и связанных с нею ценностей в «Евгении Онегине», главный герой которого фактически никогда не находился на государственной службе, что не могло не казаться современникам фрондой. А еще лучше сослаться на хрестоматийное стихотворение 1836 г. «Из Пиндемонти» («Не дорого ценю я громкие права»), которое и сегодня воспринимается не иначе как торжество и апофеоз внутренней свободы личности в прямом противопоставлении как державным ценностям, так и какой бы то ни было «соборности», даже напрямую выступающей от имени народа («Зависеть от властей, зависеть от народа — / Не все ли нам равно?»). Думается, что и смысловое содержание «Медного всадника» неизмеримо сложнее защиты имперских амбиций, «отражения патриотической устремленности членов государственного общества, гордых теми грандиозными успехами, которые ознаменовали блистательное вхождение России в Европу и обретение ею роли одной из могущественных держав» (С. 89).

Некоторой «национальной ограниченности» А. С. Пушкина в определенной мере противопоставляется «всемирность» П. Я. Чаадаева. Осознав тупиковость российского византизма, Чаадаев, по мнению А. Липатова, искал пути выхода из национально-исторического лабиринта и духовной изоляции в общечеловеческой, универсалистской перспективе, и это сближало его с наиболее выдающимися польскими современниками, включая А. Мицкевича, «рыцарственно» не отреагировавшего на великодержавный жест глубоко уважаемого им русского поэта⁸. Здесь хотелось бы только напомнить, что в связи с польскими событиями 1830 г. Чаадаев занял позицию, близкую пушкинской (см. в этой связи статьи И. Шайтанова и В. Хорева).

Факты говорят о том, что такая позиция была, пускай и характерной для мыслящей части русского общества, но отнюдь не всеобщей.

Двадцать лет спустя, в 1851 г., А. И. Герцен вспоминал о проявлениях солидарности к полякам в среде университетской молодежи. Так или иначе, конкретно-историческая реакция на конкретные политические события (а речь шла об угрозе новой общеевропейской войны, в которой Россия противостояла бы превосходящей ее по силам коалиции держав, ведь Польша искала европейской поддержки) не дает, на наш взгляд, оснований отказывать во внутренней свободе, духовной открытости и универсализме ни П. Чаадаеву, ни А. Пушкину, историософские построения которых, выраженные как в «Философических письмах», так и в известном отклике на них А. Пушкина, не в меньшей мере, чем идеи ведущих польских мыслителей, были устремлены к выявлению взаимосвязей судеб своего народа со всемирным началом.

Формула «Россия и Европа», заботившая Чаадаева, нашла своеобразное преломление и в пушкинской поэме «Медный всадник», которую часто интерпретируют как полемику с Мицкевичем, его образом Петербурга как дьявольского города (одной из ключевых строк своей поэмы — «Люблю тебя, Петра творенье» — Пушкин по сути дела бросает открытый вызов своему польскому другу). Между тем, способность Пушкина увидеть красоту в государственном величии, с одной стороны, не перечеркивала сострадания к маленькому человеку, раздавленному державной поступью своего века, а с другой, лишь усиливала напряженность в восприятии поэтом дилемм российской истории, вписанной в европейский контекст. Подобно Чаадаеву Пушкин осознавал асинхронность развития России и Европы. Что же касается польского вопроса, то он не просто становится, особенно после 1830 г., проблемой государственного самоопределения России и сохранения целостности империи (т. е. входит в круг «роковых» вопросов российской истории), но и в огромной степени способствует самому оформлению тех идей, в основе которых со времен Чаадаева и Пушкина лежало драматическое противопоставление (в славянофильском либо западническом духе) России и Европы, охотное либо совсем неохотное признание того, что речь идет все-таки о двух рядоположенных, но все же различных, вплотную соприкасающихся, однако редко пересекающихся субстанциях, находящихся в сложных, подчас болезненных взаимоотношениях между собой.

Можно согласиться с И. О. Шайтановым: «в пушкинской формуле — «спор славян между собой» — звучала обида России, которую новая Европа откровенно оставляла за своими пределами, предварительно как бы сделав единственной ответчицей за очередной раздел Польши» (С. 83). Но справедливо и другое: пушкинский отклик на конкретные события 1830–1831 гг. и — шире — пушкинский взгляд на судьбы Польши в российском контексте на многие

десятилетия вперед предопределил отношение русской интеллигенции к польскому вопросу и, более того, стал ключевым моментом в упрочении негативного стереотипа поляка в русской поэзии (см. статью В. А. Хорева). Хотя в России были и другие по тональности поэтические отклики на польский 1830 год (например, стихи А. Одоевского), они мало повлияли на изменение стереотипа, как и более позднее знакомство с польской литературой, а также произведения русских авторов, с симпатией рисующие поляков.

Авторитет Пушкина преодолевался с тем большим трудом, что его стихи, написанные в связи с польским восстанием, по словам П. А. Вяземского, «не торжественная ода на случай: они изливание чувств задушевных и мнений и убеждений, глубоко вкорененных» (С. 93). Для государственника Ф. И. Тютчева борьба с мятежной Польшей также была «борьбой за сохранение целостности славянской державы, которой предопределена великая историческая миссия» (С. 104). Как интригу Запада против России расценивал польское восстание М. Ю. Лермонтов. Если же брать литературный процесс не в наиболее выдающихся его проявлениях, а в основном его потоке, то роль тенденциозно интерпретированных польских сюжетов покажется особенно значительной. Российское общество 1830-х гг. было всерьез напугано польским восстанием, угрозавшим целостности империи. Отсюда кажутся вполне понятными востребованность им державной идеологии и популярность верноподданнической драмы Н. Кукольника «Рука всевышнего отечество спасла» (1834) на тему событий 1612 г. и некоторых других произведений, в которых поляки предстают предателями славянства, прислужниками латинского Запада, орудием в руках внешних сил, стремящихся унизить «святую Русь».

Таким образом, неприятие польского восстания 1830 г. стало своего рода «пусковым механизмом» для создания в России негативного образа поляка в массовом сознании и его фиксации в художественной литературе. Укоренившийся после 1830 г. в России идеологизированный стереотип неблагодарного, коварного и кичливого «ляха», злоумышляющего на общественные и государственные устои, оказался очень живучим. Свое дальнейшее развитие и распространение он получил на волне антипольской шовинистической эйфории, охватившей значительные слои русского общества после восстания 1863 г. (достаточно вспомнить антинигилистические романы 1860-х гг.). Тот же миф сохранял инерцию и в дальнейшем, определяя ракурс восприятия широкой публикой всего польского, помогая выискивать «польские корни» всех негативных социальных явлений, унифицируя и генерализируя существующие пороки строго определенным образом. Так, М. Н. Катков видел в русском нигилизме прежде всего порождение полонизма, при этом явленные

«пророки и герои Русской земли» зачастую «сами не подозревают, чьих рук они создание» (С. 128). Даже самые крупные писатели не были свободны от предвзятости в своем отношении к польскому национальному движению. Достаточно вспомнить об антипольских мотивах в творчестве Н. В. Гоголя (у которого, впрочем, сильнее пробивался специфически украинский, нежели великорусский взгляд на польский вопрос) и Ф. М. Достоевского.

В то же время и в польской духовной культуре было, по выражению великого поэта-романтика Ю. Словацкого, наложено вето на пророссийские устремления. Противопоставление польского индивидуализма русскому духу общности, создающему угрозу для суверенитета личности, становится одним из стержневых направлений общественной мысли Польши. Право России на лидерство в славянском мире подвергалось сомнению (Вообще же сам факт существования польского вопроса подрывал изнутри доктрину официального панславизма, разрушая и демистифицируя эксплуатируемый в политических целях миф славянской взаимности).

Бойкот всего русского особенно усилился после подавления восстания 1863 г. Определяющим вектором российской политики становится стремление к полной интеграции «Привисленского края» в империю, что предполагало лишение царских подданных польского происхождения (насколько это было возможно) национальной самоидентификации в целях их последующей русификации. Изъятие из системы образования и делопроизводства национального стержня представило реальную угрозу утраты польским населением национального самосознания.

Польская нация, однако, оказалась способна к эффективному сопротивлению; вопреки массивированному противодействию Петербурга формируется альтернативная система национальных культурных учреждений (не только в польских землях, но и в центре империи). Власти так и не смогли запретить издание частных газет на польском языке, польские театры. Именно в условиях утраты Польшей независимости, в тисках сильного национального гнета, происходит расцвет польской литературы.

Успехи польской культуры в Российской империи были тем более впечатляющими, что ее развитие сталкивалось отнюдь не только с административными препонами. Приходилось преодолевать стойкое предубеждение общественного мнения, где укрепившимся после 1863 г. антипольским стереотипам усилиями властей при поддержке великорусских националистических кругов придавался ярко выраженный конфессиональный оттенок (зловещий образ фанатичного поляка-католика, извечного врага российской государственности, разрушающего ее изнутри, насаждался всеми средствами воздействия на умы — от школы до прессы и литературы). В польской

национальной мифологии утвердилась противоположная схема столкновения двух начал: России, поработанной атеистической псевдорелигией, противопоставлялась Польша как восточный бастион христианства, коварству российских политиков противостоял образ неповинной жертвы, закованной в кандалы.

Все-таки польская тема в русской литературе отнюдь не сводилась к тиражированию схем и негативных стереотипов. Осмысляя неоднозначный исторический опыт отношений двух народов, ведущие писатели часто преодолевали идеологическую заданность и тем более поднимались над политической конъюнктурой, иной раз даже вопреки собственным убеждениям создавали многомерные образы, постигая польский национальный характер во всей его сложности и противоречивости. Так, у Н. В. Гоголя создание польских персонажей не замыкалось на изображении стремления к роскоши, лукавства, вероломства. Они зачастую предстают храбрыми и умелыми воинами. Мучительным вопросом задавался И. С. Аксаков: мы сами, русские, «одушевлены ли наконец, хоть вполовину, тем чувством любви к своей земле, которым отличаются Поляки» (С. 128). «Антинигилистические» убеждения не мешали всерьез обращаться к польской теме Н. С. Лескову, склонному не к разоблачениям и вынесению приговоров, а к глубокому анализу проблем патриотизма (см. статью Д. П. Бака). Привлекательные образы политических ссыльных оставил в «Записках из Мертвого дома» Ф. М. Достоевский. Комплекс вины за политику царизма в Польше прочитывается у позднего Л. Н. Толстого, например, в «Хаджи-Мурате» и повести «За что?» (польской теме в творчестве Л. Н. Толстого посвящена статья Н. Д. Тмарченко).

Обращение Л. Толстого к польским образам неотделимо от его размышлений над противоречиями между интересами власти и природными правами человека. Показывая, как насилие государственной машины направлялось против тех, кто не принадлежал к этой государственности этнически, великий гуманист выражал сочувствие людям, наказанным ссылкой в Сибирь «за то, что они хотели быть тем, чем они родились, — поляками». Вопреки своим исходным идейным установкам он стремился примирить две малосовместимые позиции — смиренное претерпевание судьбы и активное отстаивание неотъемлемых прав человека на жизнь и свободу.

Усилиями выдающихся писателей формировался, таким образом, новый образ — поляка-страдальца. Более глубокое осмысление получали и польско-русские взаимоотношения. Так, Ф. И. Тютчев, оставаясь сторонником имперского панславизма, все-таки мечтал о временах, когда «с Русью Польша помирится». Великому поэту было не чуждо осознание трагической вины России перед Польшей, необходимости покаяния, христианского искупления.

Среди наиболее последовательных критиков насильственной русификации Польши были в 1850—1860-е гг. (в эмиграции) А. И. Герцен, в 1880—1890-е гг. В. С. Соловьев, своим универсализмом в трактовке христианства оказавший заметное влияние на польскую мысль (М. Здзеховского и др.). Немало сделал для популяризации в России польской литературы В. Г. Короленко, большой ее знаток и ценитель. Поднимая общечеловеческие проблемы, способные найти отклик российского читателя, крупнейшие польские писатели многократно издавались на русском языке, обсуждались в прессе. Достаточно упомянуть об огромной популярности в России Г. Сенкевича. Таким образом, вопреки всем обстоятельствам общение двух культур продолжалось, именно писатели, художники лучше кого бы то ни было оказывались способны выстраивать мосты над самыми глубокими пропастями, разрушать негативные стереотипы.

Задача эта была чрезвычайно непростой, ибо царская политика объединила нацию эмоционально, вызвав у миллионов поляков неудержимое стремление к мести. В Польше даже самые выдающиеся умы иной раз так и не смогли изжить в себе антироссийские комплексы. Так, для крупнейшего писателя начала XX в. С. Жеромского Россия была оплотом демонического зла, которое казалось ему тем опаснее, поскольку для достижения своих низменных русификаторских целей использовала «хорошие», привлекательные средства (т. е. механизмы высокой культуры, способные увлечь читателя и зрителя) более ловко, нежели отталкивающие (см. статью А. Менцеля). Показательна трактовка Жеромским роли Мицкевича как национального пророка, будителя нации — на кого пророк не действует, тот потерян для польской нации, исчезнет в «русской пропасти», ибо демоническое очарование — это путь, ведущий к духовному рабству.

Вопреки усилиям самых незаурядных умов сделать Россию табуированной темой, своего рода «великим отсутствующим» в польской культуре, контакты двух культур все-таки отнюдь не прервались. Не вся польская интеллигенция погрязла в радикальных антирусских настроениях. Хотя политика имперского центра часто лишала людей умеренных взглядов надежды на создание лучшего будущего вместе с Россией, давая больше козырей в руки сторонников активной антироссийской линии, в Польше всегда находились мыслители, рационально подходившие к проблеме отношений с восточным соседом. Учитывая реальную расстановку сил и общую геополитическую ситуацию в Восточной Европе, они делали ставку на сосуществование с Россией. Осмысление исторического опыта соседских и даже «семейных» взаимоотношений (пушкинский образ «семейного спора» не чужд был и некоторым польским романтикам) приводило к осознанию общности судеб, причем возникающей на почве страдания, а потому более глубокой. В зеркале

общечеловеческого универсализма проблем, поднимаемых русской литературой, польским мыслителям иногда казались ограниченными цели собственного движения, часто замыкавшегося на национальных задачах. Духовные искания русских писателей, таким образом, расширяли горизонты мировидения польской интеллигенции, что не могло не сказаться на образе России как страны. Если для С. Жеромского Россия оставалась объектом тотального отвержения, то в восприятии этой страны его современником С. Бжозовским присутствовал некоторый элемент «демонического очарования». Возможность «наведения мостов» сохранялась еще и постольку, поскольку в части польского сознания присутствовало противопоставление двух России — официальной и неофициальной, существовало сочувствие простому русскому люду, поработанному деспотической властью.

К концу XIX — началу XX в. польская общественная мысль уже все менее питалась воспоминаниями о былом могуществе и горьких поражениях, важнее было отразить исторический опыт последних десятилетий, отнюдь не однозначный. Характерное для польского романтизма восприятие Российской империи как пространства, насыщенного злом, не всегда находило подтверждение в реальной практике. Как показывает в своих работах Л. Е. Горизонтов⁹, тысячи поляков, людей разных специальностей, зачастую могли себя в полной мере реализовать лишь на бескрайних просторах этого пространства. Попадая вглубь России, поляки уже не могли бойкотировать все русское, многообразные контакты были неизбежны. Непосредственный опыт общения с русскими в ситуациях, когда могли раскрыться их человеческие качества, способствовал размытию стереотипов (см. в этой связи статью М. Бонфельда о польской культурной среде в Вологде середины XIX в.). Вернувшись из России в родные земли, многие поляки передавали свой опыт следующим поколениям и этот опыт продолжал работать вопреки новым историческим катаклизмам, лишь подливая масла в огонь антирусских настроений.

Польская политика царизма не всегда сводилась к грубому подавлению всех проявлений национальной жизни, но включала в себя широкий комплекс мер, направленных на удержание Польши в лоне империи (не в последнюю очередь речь идет о попытках укоренения в Польше русского элемента, в том числе крестьян-переселенцев). Как бы там ни было, интеграционная стратегия центра в отношении Польши не оправдывала себя и, более того, становилась антирусской по достигнутым результатам, ибо усиливала антиросийские настроения. К концу XIX в. наиболее просвещенная часть имперской элиты все отчетливее осознает недостаточную действенность прежнего курса и с точки зрения внешней политики. Ведь

жесткая линия в отношении Польши ставила преграды для российской дипломатии, искавшей союзов с Францией и Великобританией. Затруднялось также использование Петербургом польской карты как инструмента давления на Германию и Австро-Венгрию.

В Польше дальновидные умы также приходили к осознанию того, что вопрос независимости может быть решен не в изоляции от России, но только в контексте разрешения российских дилемм, в общем пространстве польского и русского. При этом сторонники наведения мостов к России различались в своих в исходных идейных, моральных, психологических посылах. Если умеренные политики подходили к проблеме отношений с Россией сугубо прагматически, то у некоторых представителей более радикального лагеря проявлялся мессианский подход. Лозунг «За вашу и нашу свободу!», возникший еще в первой половине XIX в., был связан с иллюзиями о том, что в первую очередь именно на долю поляков выпала миссия демократизации России.

Особое место среди польских политиков начала XX в. занимал Р. Дмовский, предложивший «новую программу отношений с Россией, родившуюся из трезвого, проведенного в соответствии с основами *realpolitik* анализа исторического опыта и отказа от пагубных для обеих сторон сентиментов» (С. 138; политическая деятельность Р. Дмовского, в том числе в российской Думе, анализируется в статье П. Вечоркевича). Дмовский исходил из того, что различие традиций собственной государственности у народов, входивших в состав Российской империи, требует от центра более дифференцированного подхода к национальной политике. «Поляков, — убеждал он графа С. Ю. Витте, — нельзя ставить наравне с другими «инородцами» в российском государстве, в отношении которых максимум уступок считается терпимость к их религии и признание «местного наречия» во второстепенных сферах общественной жизни... У Польши должен быть политический строй, созданный самим обществом, все его нужды должны быть удовлетворяемы на родном языке... ею должны править люди, взращенные этим обществом, понимающие его уклад, потребности и заботящиеся о его будущем» (С. 138). Более компромиссная линия в польском вопросе принесла бы, по мнению Дмовского, внешнеполитическую выгоду России, поскольку последняя нашла бы в Польше надежного партнера и проводника своего влияния в западном направлении. Польша со своей стороны также была бы заинтересована в России как партнере — прежде всего ввиду сохранявшейся германской опасности. Речь, таким образом, шла о заложении основ политического *modus vivendi* на новых условиях, выгодных для обеих сторон.

Подъем революционного движения в России вызвал в Польше неоднозначную реакцию. С началом революции 1905 г. в польском

обществе доминировала настороженность. Все-таки превращение России в конституционную монархию было встречено позитивно — как первый шаг на пути кардинального решения польской проблемы. В условиях относительной либерализации расширяются контакты в духовной сфере, выходит из моды бойкотирование русскоязычных культурных институций.

Легальным форумом для отстаивания национальных интересов становится Дума. Как доказывает П. Вечоркевич, польский потенциал в ней не был должным образом использован прежде всего из-за существенных внутренних разногласий в депутатской среде. Некоторые из польских представителей, ставя общегосударственные интересы выше национальных, тяготели к партии кадетов. И это при том, что российские либералы, претендуя на право защиты национальных меньшинств, как правило, «относились к полякам безапелляционно и патерналистски», «отрицая исключительный характер польского вопроса и стараясь привести его к общему знаменателю национальной политики» (С. 140). С другой стороны, как обращает внимание П. Вечоркевич, «польское коло», участвуя в закулисных политических сделках, подчас играло в Государственной Думе роль «стрелки весов», от которой зависело прохождение определенных законопроектов, в том числе внесенных П. А. Столыпиным. Поворот 3 июня 1907 г. ударил и по польским политикам. Ведь в соответствующем манифесте прямо говорилось, что иные, кроме русских, народности, хотя и могут иметь в Государственной Думе «представителей нужд своих», но не должны «быть вершителями вопросов чисто российских» (С. 141). Непонимание польских устремлений не только в монархических, но и в либеральных кругах, сыграло свою роль в распаде империи.

С началом Первой мировой войны в российском общественном мнении повышается интерес к польскому вопросу, чему способствовали и пропагандистские меры властей, проявлявших заинтересованность в позиции польских политиков. Так, великий князь Николай Николаевич обратился к полякам с манифестом, призвав их к поддержке России и при этом красноречиво упомянув о «растерзанном на части живом теле Польши»¹⁰.

Один из самых больных вопросов российской политики — польский — в условиях войны привлекает к себе внимание крупных деятелей культуры, выразивших сострадание к участи Польши, призывавших к взаимному искуплению братской вины. По мнению Вяч. Иванова, давнишняя вражда должна быть решена «по семейному, по кровному, по Божьему закону и прадедовскому завету» (см. статьи А. Дудека и Д. М. Магомедовой). Если в XVII в. именно поляки «брали грех на душу» в отношениях с Россией, то в XVIII в. грехопадение, напротив, совершили русские — своим участием

в разрыве польской души, которая теперь «как Исида блуждает и ищет нетленные члены святого тела». Мотив взаимной исторической вины был тесно сопряжен у Вяч. Иванова с мотивом взаимного покаяния и примирения. Звучавшие во времена Пушкина французские упреки в адрес России, попирающей просветительские принципы гражданственности в Польше, Вяч. Иванов считал беспочвенными, так как пропитанная именно просветительскими идеями власть совершила разделы Речи Посполитой. По мнению мыслителя, разделы Польши и все, что за ними последовало, включая 1830 г., явилось одним из закономерных следствий эпохи, породившей абстрактную рассудочность и безрелигиозную, антропоцентричную мораль (С. 164). А потому примирение с Польшей есть духовный подвиг, без которого невозможно осознание моральной чистоты собственной вселенской миссии. Делая акцент на религиозном аспекте примирения, Вяч. Иванов стремился придать российской национальной идее христианский характер. Оставаясь духовным преемником Вл. Соловьева, он возлагал надежды на сближение России и Польши в лоне будущей единой христианской церкви. При этом как польская, так и российская идеи должны будут воплотиться в идею общеславянскую.

Л. Андреев в октябре 1914 г. ожидал, что славяно-германское противостояние положит конец бессмысленной, братской вражде между Россией и Польшей. К прекращению «старой ссоры в славянской семье» призывал Н. Бердяев. «Россия, — писал он, — выросла в колосса, как государственного, так и духовного, и давно уже раздувание польской опасности, как и опасности католической, постыдно и обидно для достоинства русского народа. Более сильному обидчику не подобает кричать об опасности со стороны более слабого» (С. 173). Однако встречного шага к сближению ждали и от Польши. Наряду с высказываниями русских писателей, приводимыми в книге, можно было бы вспомнить не привлекавшее, насколько нам известно, большого внимания исследователей стихотворение О. Мандельштама «Polacy», относящееся к сентябрю 1914 г. и ставшее поэтическим откликом на геройский подвиг польских стрелков, сражавшихся против России под австро-венгерскими знаменами. 23-летний поэт не только осознал бессмысленность противостояния двух близких народов («Поляки! Я не вижу смысла / В безумном подвиге стрелков!»), но и указывал на противоестественность альянса польской нации с традиционно чуждой славянскому миру политической силой («Или о Габсбургов костыль / Пристало опираться Польше?»). При этом Мандельштам сумел включить события, современником которых являлся, в широкий исторический контекст, заставляющий вспомнить о вековом пути, проделанном Польшей со времени трех ее разделов, о том, что ей трагическим образом приходилось

выступать в истории не только самостоятельным субъектом, но иной раз всего лишь орудием проведения более крупными державами своей антироссийской политики («И ты, славянская комета, / В своем блуждании вековом, / Рассыпалась чужим огнем, / Сообщница чужого света!»).

Старые обиды, конечно же, не могли исчезнуть с обретением независимости. Появились и новые факторы усиления антироссийских настроений в Польше, как и ранее находившихся в тесной взаимосвязи с усилением антипольских настроений в России. Важнейшим из них стала советско-польская война 1919–1920 гг. Возрожденное после полуторавекового небытия польское независимое государство стало в атмосфере общенациональной эйфории тем крепким орешком, о который разбились усилия устроителей мировой революции¹¹. Не удивительно, что Польше не могли простить понесенного унижения. Образ польского пана, «помнящего конармейские наши клинки», на протяжении двух десятилетий был в СССР одним из самых живучих стереотипов классового врага, многократно обыгранным в литературе, театре и особенно кино. В условиях, когда недовольство значительной части населения СССР проводимой внутренней политикой власти стремились канализировать в направлении вражеского окружения, засылавшего шпионов и диверсантов, панская Польша поистине выступала идеальным образцом враждебной державы. Таким образом, под усилившимся идеологическим прессом возрождался, пускай и пропущенный сквозь призму классовой схемы, старый стереотип извечных, закоренелых врагов России. В изображении «белополяков» использовались прежние черты: высокомерие, надменность, хвастливость. Все же польские образы и мотивы в русской литературе межвоенного периода далеко не уместались в рамках идеологизированных схем — достаточно вспомнить «Конармию» И. Бабеля, ряд стихов Б. Пастернака и О. Мандельштама.

В Польше под влиянием нового исторического опыта противоречие между католицизмом и православной ортодоксией трансформируется в конфликт между христианством и безбожным коммунизмом, еще больше демонизирующим образ России. Угроза с Востока приобрела теперь отчетливый красный оттенок. Между тем, по мере укрепления сталинского режима прежняя революционно-интернационалистская идеологическая версия большевизма становится анахронизмом, на смену ей приходит обновленный вариант имперской идеи. Получив от власти новый заказ, историки занимаются идеализацией великодержавной политики царизма. Положительные образы поляков-революционеров утрачивают актуальность, польское бунтарство теперь воспринимается как деятельность, направленная на подрыв основ российского государства. Массированная

антипольская кампания достигла своей кульминации осенью 1939 г., в период IV раздела Речи Посполитой, который не только своим пропагандистским обеспечением, но и самим методом своего осуществления отразил преемственность политики СССР в польском вопросе старой, царской политике. За прозвучавшим с высокой трибуны тезисом о нежизнеспособности современного польского государства отчетливо проглядывала давняя, в такой же мере российская, в какой и германская имперская идея о неспособности поляков к собственной государственности.

Впрочем, молотовский тезис, отрицавший за польской государственностью право на существование, был детищем конкретно-исторической ситуации, следствием определенного расклада сил на международной арене. Уже в 1944 г. Сталин, никогда не чуждавшийся политического прагматизма, говорил на встрече с польскими некоммунистическими политиками о том, что война заставила оба народа извлечь уроки на будущее. Советизированная, но формально независимая Польша и во внешнеполитическом, и во внутриполитическом плане была для советского руководства несомненно предпочтительнее Польши, включенной в состав СССР. Понятны в этой связи и те решительные шаги в интересах новой Польши, которые предпринимались СССР на международной арене, в частности, в Ялте и Потсдаме, при обсуждении новых польско-германских границ.

Опыт войны и послевоенной советизации добавил к существовавшему в польском сознании комплексу Востока новые болевые точки и психологические травмы — здесь можно вспомнить о Катыни, о конфронтации сталинского руководства с польским эмигрантским правительством в Лондоне, о роли советских органов в устранении верхушки Армии Крайовой в 1945 г.¹² Таким образом, в исторической памяти многих поляков Россия стала знаком репрессий и мученической гибели тысяч сограждан. Налицо были также великодержавная политика СССР, диктат по отношению к союзникам, навязывание тоталитарной модели. Тем самым обретает новое, социалистическое воплощение живучий стереотип российской великодержавности и имперского менталитета властной элиты.

В то же время, для определенной части поляков была не пустым звуком традиция совместной антифашистской борьбы. Кроме того, существовало восприятие СССР как силы, способной предотвратить германский реваншизм. Таким образом, в польском сознании первых послевоенных десятилетий сталкивались противоречивые стереотипы восточного соседа.

Навязываемое, насильственно насаждаемое в советской культуре вопреки всем усилиям пропагандистского механизма не могло не вызывать реакции отторжения. Вместе с тем образ России и даже

СССР не сводился к ненавистному советскому строю, в ложном свете преподносимому официальной пропагандой. Существовали представления и о «другой» России, в которой вопреки всему существовала и существует «другая» культура, отстаивающая универсальные ценности, при этом гонимая и запрещенная. У польской интеллигенции параллельно с осмыслением собственной истории и настоящего возникало желание глубже познакомиться с восточным соседом, выйдя за пределы замкнутого круга пропагандистских клише. Многочисленные публикации самиздата 1980-х гг. позволили наверстать упущенное в знании современной русской литературы. Видный литературовед Анджей Дравич на протяжении ряда десятилетий в противовес насквозь советизированной польской академической русистике писал альтернативную историю русской литературы XX в. (см. статью Н. Ю. Стефанович), и его лучшие работы определили собой «оптику восприятия» несвободного русского XX в. стремящейся к высвобождению Польшей (С. 223). «В своем служении родине он избрал трудную дорогу — сближение нас с русскими. Во всем том, что перевел и написал, он показал нам такую Россию, которую можно полюбить», — писал в 1997 г. в некрологе на Дравича известный деятель польской оппозиции 1980-х гг. Я. Куронь (С. 213). Деятельность энтузиастов вроде Дравича, добровольно взявших на себя миссию посредничества между двумя культурами, чрезвычайно важна была именно в 1980-е гг., когда «опасность полной потери Польшей понимания опыта России и угроза отказа от принятия ее в каком бы то ни было виде были особенно велики» (С. 213).

Параллельно происходил и процесс ознакомления советской публики с ценностями польской культуры. Частью российской интеллигенции Польша с ее несколько большей, чем в СССР, свободой (или, точнее, несколько меньшей несвободой) воспринималась как общество, преодолевшее многие запреты, которыми насквозь была пронизана российская повседневность, а для кого-то даже стала труднодостижимым в условиях реального социализма идеалом свободомыслия. Такому восприятию способствовали географическая и языковая близость Польши, равно как и длительная традиция соседских взаимоотношений. Таким образом, в конце 1950-х — 1960-е гг. парадоксальным образом возродилась традиция восприятия Речи Посполитой теми русскими политиками и деятелями культуры XVI—XVIII вв., кто вступал в конфликт с властью и господствующей ортодоксией.

Иосиф Бродский, часто обращавшийся в своем творчестве к польским мотивам и многократно переводивший польских поэтов, замечал, что Польша стала не просто темой поэзии, но в некотором смысле «поэтикой» его поколения: именно через восприятие

Польши, а иногда и через польский язык в сознании этого поколения прорубалось окно в Европу. И дело здесь отнюдь не только в том, что меньшая несвобода сделала польские издания одним из важных посредников между советским читателем и не допускаемой к нему литературой (польский язык иногда учили лишь для того, чтобы получить возможность читать современную западную литературу). Романтизированный образ Польши стал для поколения Бродского одной из форм выражения собственного расширяющегося социально-психологического и гражданского опыта; полономания 60-х гг. в известной степени размыкала замкнутое пространство советской официальной культуры. Место польской культуры в общественном сознании поколения оттепели пытается обозначить в своем во многом исповедальном эссе один из лучших переводчиков польской поэзии на русский язык, В. Л. Британишский. По его мнению, польская поэзия помогала не столько образцами формальной поэтики, сколько самим своим существованием, ведь заключенная в ней традиция свободолюбия была способна составить нравственную опору творческим исканиям молодых российских поэтов.

Перемены 1989–1991 гг. внесли новые черты в процесс взаимного восприятия двух народов и культур, хотя, конечно, не могли искоренить сформировавшиеся на протяжении ряда веков предрасудки, переломить длительные традиции. Познание новой ситуации, пишет польский исследователь Я. Прокоп, зачастую «сводится к узнаванию старой, действительность укладывается в схему, известную с давних пор. Такая реакция помогает сохранить психологический комфорт» (С. 30). Отсутствие непосредственной угрозы с Востока не устранило недоверия значительной части польского общества, включая политическую элиту. Этому способствовала противоречивость процессов, происходящих в постсоветской России. По мнению некоторых польских политологов, имперская идея имеет все шансы остаться в обозримом будущем ведущей силой трансформации российского общества. Ностальгия российского общественного мнения по имперскому статусу страны воспринимается как лишний довод в пользу неизменности империалистических устремлений России, поддерживаемых ее народом и обращенных в значительной мере на Запад. Преимущество царской, большевистской и постсоветской держав акцентируется, большевизм предстает как органичное проявление русского национального характера, а россияне как народ, генетически неспособный к освобождению от тоталитарных склонностей (С. 32). Таким образом, в польском сознании происходит новая демонизация образа России и даже экономические реформы воспринимаются согласно этой логике как хорошо рассчитанный маневр, имеющий целью выманить деньги у Запада, чтобы восстановить пошатнувшиеся позиции постсоветской державы.

Поскольку программа имперских разделов Польши, якобы вынашиваемая российской элитой, представляется в определенных политических кругах неизменной, поиски соглашения с Россией, способа польского посредничества в ее отношениях с Западом, считаются противоречащими интересам польского государства (С. 34). Предпочтение отдается совсем иной внешнеполитической стратегии: окружение России санитарным кордоном призвано отгородить западный мир от процессов разложения, происходящих в ее недрах.

Такое отношение к России неотделимо от той восходящей своими истоками к первой половине XIX в. романтико-мессианской традиции, которая подчеркивала исключительность страданий поляков, уникальность и неповторимость исторического опыта собственной нации. В россиянах не часто видят таких же жертв насилия, как поляки, напротив, им приписывается ответственность за все грехи царизма и большевизма. При этом не всегда есть склонность вспоминать об огромном польском вкладе в российское революционное движение, включая его большевистскую составляющую.

Живущий по сей день стереотип извечного врага деформирует польское видение России, искажая в национальном сознании неоднозначную ситуацию, складывающуюся к востоку от Польши. Ожидая жестов покаяния со стороны российских властей (и народа!) и требуя безотлагательных моральных компенсаций за причиненное зло, польское общественное мнение редко вникало в сложные проблемы современного российского посттоталитарного общества. А между тем, как справедливо замечают некоторые польские исследователи, антироссийская риторика мешает постижению одного из важнейших начал польской национальной духовности. Ведь в ментальности двух наций, пожалуй, больше общего, нежели различий, пускай и существенных: «героические подвиги или эсхатологические размышления ставились выше, чем добросовестное выполнение ежедневных обязанностей, чем так называемая мелкобуржуазная добродетель» (С. 38). За неприятием российского менталитета зачастую скрывается нежелание принять в нем как в зеркале собственное малопривлекательное отражение.

Впрочем, негативистско-пессимистический взгляд на перспективы двусторонних отношений отнюдь не является в Польше общепризнанным. Пробивает себе дорогу и иная позиция — отношения к России как к потенциальному экономическому партнеру, тесные связи с которым выгодны для Польши. Происходящие в Восточной Европе геополитические изменения также способствуют заметному ослаблению эмоционального накала вокруг проблем, на протяжении ряда веков создававших почву для раздора. Речь идет здесь в первую очередь о так называемых «отнятых землях» (в польской терминологии) или о «западных губерниях» Российской империи.

Возникновение на них независимых государств — Литвы, Беларуси, Украины — медленно засыпает источник когда-то неразрешимых противоречий (С. 48). Преодолеть барьеры в двусторонних отношениях помогает и признание российской стороной давно известных в Польше фактов о «четвертом разделе» Речи Посполитой, Катыни, Варшавском восстании. Морально-психологические издержки, связанные с признанием собственной вины, менее существенны, нежели атмосфера взаимного доверия, возникающая в ходе добрососедского диалога, основанного на правдивом и уважительном отношении к общему прошлому. Обращение к исторической правде среди прочего помогает понять, почему насаждавшееся сверху целыми десятилетиями единство стран народной демократии оказалось фальшивым, мгновенно рассыпавшись в прах с изменением геополитической ситуации.

Негативные стереотипы Польши и польского достаточно живучи и в России — образ «неблагодарного поляка» и сегодня можно встретить в отечественной публицистике. К преодолению сложившихся на протяжении веков стереотипов ведет попытка увидеть себя глазами другого, тем более продуктивная, если речь идет о близком соседе. Поскольку история взаимоотношений с Польшей — важная составляющая российской истории, постижение «польскости» — это путь к более глубокому омыслению собственного исторического опыта.

Необходимость преодоления всего, что мешает добрососедским отношениям, особенно велика в условиях, когда Россия и Польша пытаются сбросить балласт, мешающий их вхождению в единый общеевропейский дом. Идея мира и прогресса на континенте не может быть осуществима без умения разрешать как глобальные, так и локальные споры, в том числе спор между двумя большими славянскими нациями, по удачному выражению А. В. Липатова, «не только приговоренными историей к географическому соседству, но и — вопреки всем своим распрям — объединяемыми универсальными ценностями общей для них Европы» (С. 99).

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ См. также: *Polacy w oczach Rosjan / Rosjanie w oczach Polaków. Zbiór Studiów.* Warszawa, 2000; *Поляки и русские в глазах друг друга / Отв. ред. В. А. Хорев.* М., 2000; *Россия — Польша. Образы и стереотипы в литературе и культуре / Отв. ред. В. А. Хорев.* М., 2002.

² Об этом свидетельствует появление в последние годы большого количества научных трудов. См., например: *Советско-польские отношения в политических условиях Европы 30-х годов XX столетия. Сборник статей.* М., 2001; *Мельтюхов М. И. Советско-польские войны. Военно-политическое противостояние. 1918–1939 гг.* М., 2001; *Парсаданова В. С., Яблоков А. Ю., Яжборовская И. С. Катынский синдром*

- в советско-польских и российско-польских отношениях. М., 2001; Русско-польские научные связи в XIX–XX веках / Отв. ред. В. К. Волков. М., 2003.
- ³ См.: Стыкалин А. С. *Метаморфозы истории и славянское братство: Размышления над книгой* // Славянский альманах. 2000. М., 2001. С. 236–246.
- ⁴ См.: Мочалова В. В. *Польская тема в русских памятниках XVI в.* // Поляки и русские в глазах друг друга... С. 33–44.
- ⁵ В русской публицистике XVI в. конфликт с Польшей неизменно расценивался как пролитие невинной христианской крови; православное войско, защищающее истинную, Христову веру, последовательно противопоставлялось именно по признаку наличия/отсутствия этой веры католикам-полякам, которых нередко ставили на одну доску то с мусульманами, то с язычниками. В начале XVII в. массовые случаи осквернения польским войском церковей и надругательств над иконами и мощами лишь укрепляли в русском сознании представление о католиках как о нехристях. Как проявление нехристианского образа действительности воспринимались также особенности бытового поведения, одежда, необычная для Руси, и даже бритые подбородки католиков. См.: Белова О. В. «Лях-девятьденник» и «москаль-людоед» (представления этнических соседей друг о друге) // Поляки и русские в глазах друг друга... С. 226–230; Левкиевская Е. Е. Конфессиональный образ поляка в русской народной и письменной традиции // Там же. С. 231–238.
- ⁶ Различия ментальности российского дворянства и польской шляхты, как неоднократно обращали внимание А. В. Липатов и другие исследователи, проявились и в языке. Так, заимствованные из польского языка слова «гонор» и «панибратство» получили в русском языке негативный оттенок — первое из них синонимично слову «заносчивость», второе означает непозволительное нарушение субординации.
- ⁷ Цит. по: Михутина И. В. *Украинский вопрос в России (конец XIX — начало XX века)*. М., 2003. С. 17.
- ⁸ Из новейшей литературы о взаимоотношениях Пушкина и Мицкевича — личностей и поэтов см. недавно изданную капитальную монографию: Ивинский Д. П. *Пушкин и Мицкевич. История литературных взаимоотношений*. М., 2003.
- ⁹ См.: Горизонтов Л. Е. *Парадоксы имперской политики: Поляки в России и русские в Польше*. М., 1999.
- ¹⁰ Впрочем, вопреки громким декларациям у имперской элиты не было склонности к далеко идущим уступкам. Об этом лучше всего свидетельствует вынужденная отставка в 1916 г. министра иностранных дел С. Д. Сазонова после представления им проекта автономизации Королевства Польского, отнюдь не радикального на фоне политической ситуации в России.
- ¹¹ При этом необходимо также учитывать заинтересованность Пилсудского и его окружения именно в Красной России, ибо только в этом случае Польша была нужна Западу в качестве санитарного государства. Белая же Россия могла договориться с Западом за счет Польши.
- ¹² Как показывает в своей статье А. Э. Гурьянов, устоявшиеся в польском общественном мнении привычные представления о масштабах советских репрессий и польских жертв нуждаются все же в уточнении и корректировке.

**Многолюдье маленькой страны,
или Парадоксы Альпийской республики
(Размышления над книгой)**

Страна Вильгельма Телля и «Шильонского узника», воспетых Шиллером и Байроном, страна Кальвина и посланного им на костер Серветта, открывшего кровообращение, страна Льютара и Песталоцци, республика, приютившая Руссо, Бакунина, Набокова, земля невиданных по красоте гор, озер, водопадов — издавна привлекала к себе иностранцев. Среди них всегда было много русских путешественников, писателей и художников, дворян и разночинцев, царствующих особ и революционеров, людей разных званий и сословий. Всем она раскрывала свои красоты, щедро поила целебным воздухом Альп, служила убежищем, источником вдохновения, объектом горячей привязанности или столь же горячей неприязни. Множество их безвестными кануло в Лету. Многие оставили свой след и свои имена в истории. Памяти и следам, оставленным русскими людьми за последние триста лет в швейцарских кантонах, обстоятельствам и событиям их тамошней жизни, причинам, которые привели их в Гельвецию, их швейцарским маршрутам и адресам, и дальнейшим судьбам за пределами гостеприимной страны и посвящена книга Михаила Шишкина «Русская Швейцария. Литературно — художественный путеводитель» (2. Auflage. Zürich, 2001)

Когда я впервые услышала о ней, то, не разобрав имени автора, решила, что ее написал кто-то из доживающих свой век эмигрантов. Опасаясь общеизвестных вещей или «развесистых клюкв», набивших оскомину в зарубежных произведениях на русские темы, — ведь эмигрант, даже при тесных связях с родиной, часто начинает не только говорить, но и думать с иностранным акцентом, — я не проявила к ней большого интереса. Однако любопытство взяло верх. С трудом отыскав ее в безлюдном магазинчике русской книги в Женеве (он сохранился там вопреки переменам последних лет, позакрывавшим подобные «точки» во многих братских славянских странах), я поняла, что мне очень повезло. Эту книгу в пятьсот девяносто страниц можно читать, не отрываясь, настолько ярко и увлекательно она написана. Скромно названная «путеводителем», «Русская Швейцария» сочетает в себе достоинства художественной прозы и глубокого, основанного на богатейшем материале (воспоминаниях, дневниках, корреспонденции, периодике, литературных произведениях), исследования судеб русских людей в этой стране, ее роли в российской истории и роли России в жизни швейцарцев.

Она помогает лучше узнать и понять как Россию, так и Швейцарию. Гости и хозяева Альпийской республики выразительно оттеняют друг друга.

Автором «Русской Швейцарии» оказался современный русский писатель — Михаил Павлович Шишкин, который родился (в 1961 г.), вырос и до последнего времени жил в России. Его роман «Всех ожидает одна ночь» (1993) был удостоен премии журнала «Знамя» за лучший дебют. Там же были опубликованы рассказ «Урок каллиграфии» и роман «Взятие Измаила» («о взятии этой жизни, о преодолении смерти собиранием слов и рождением ребенка»), за который он получил в 1999 г. Букеровскую премию. Об обстоятельствах переезда в Швейцарию в 1995 г. М. Шишкин рассказал так в интервью с корреспонденткой газеты «Белый медведь», Людмилой Клот на Днях русской культуры в Дивонне (Франция) в 2001 г.: «Моя супруга Франциска — славистка из Цюриха. Мы познакомились в Москве, поженились, жили на Пушкинской площади в коммуналке, и это было замечательно. Когда гостили в Швейцарии, порой мелькала мысль: а хотел бы я здесь остаться? И отвечал себе: нет. Понимаете, любой мир пронизан невидимыми линиями, которые все связывают, и живя в России, ты с детства чувствуешь, за какую нужно дергать, а какую лучше не трогать. В другой стране становишься слепым. Но когда Франциска забеременела, мы стали думать, что лучше для ребенка. Сейчас шесть лет нашему Константину, и столько же лет мы в Швейцарии» (Белый МЕДВЕДЬ / ours-blanc.ch. Journal des Russes de Suisse romande. 2002. № 10. Jeudi, 31 Octobre. P. 4).

В 1998 г. в «Иностранной литературе» (№ 9), представившем повести, романы, стихи, эссе У. Видмера, Н. Бувье, А. Кристоф, Ф. Дюрренматта, Э. Буркарт, М. Сутера и ряда других швейцарских авторов, была опубликована статья М. Шишкина «Уроки швейцарского». Она и стала (претерпев незначительные изменения), первой главой книги, над которой уже трудился писатель. Эту главу можно считать своеобразным дайджестом «Русской Швейцарии», ее сжатым, но ярко написанным конспектом, концентратом мыслей и раздумий над судьбами «одной шестой части суши и поднебесного пятачка», «связанных невидимой натянутой жилой» (С. 12). Одновременно, это и своеобразная «увертюра» к повествованию, где найдут развитие прозвучавшие в ней мотивы, намеченные сюжеты и обрастут подробностями истории швейцарских странствий мелькнувших там людей.

Как всякий большой писатель автор видит то, чего не видят другие. Это относится уже к заданному во введении образу Швейцарии, которая ассоциируется обычно с прекрасными ландшафтами, горными курортами, банковскими сейфами, производством часов,

сытыми коровами, сыром и шоколадом. Одним словом — с земным раем. Отдавая должное райским прелестям этой страны, автор заметил и подчеркнул ее парадоксы. Они заявлены уже в двух эпиграфах к первой главе. «Итак, я уже в Швейцарии, в стране живописной природы, в земле свободы и благополучия!» — ликует Н. И. Карамзин в «Письмах русского путешественника». «Скука здесь страшная, — пишет революционер С. Г. Нечаев в письме к Наталье Герцен 27 мая 1870 г. — ...Все кажется глупо, бессмысленно». Противоречивость субъективного восприятия улавливает некоторые объективные особенности страны. «Рай и скука... Странно все здесь русскому путешественнику. Нет шири, но есть горы. Земли мало, а молока много. Начальства не ждут, а улицы чисты. Национальный герой убийца, а граждане законолюбивы. Исправно платят налоги, правительства не боятся и живут не от войны до войны. Что это вообще такое, Швейцария?» Вместе с этим прозвучавшим вопросом, напрашивается и другой, скрытый в подтексте, но еще более сложный и волнующий — «А что же это такое, Россия», чью историю «в самых непривычных комбинациях» сцепляет «швейцарская география»? Разумеется, вопросы остаются открытыми, но само сближение двух стран, двух национальных менталитетов, двух историй и географий, которое происходит в «Русской Швейцарии», позволяет сделать какие-то выводы. Для швейцарцев приоритет — «обыкновенное земное счастье», «ценности частной жизни», что преломлялось в «русском зрачке в тошнотворное бюргерство, в лишенное одухотворяющего смысла презренное мешанское существование». Россия же на протяжении веков увлекалась служению «высоким идеалам» из-за «генетической предрасположенности к ним». Но, как оказывается, и законопослушная Швейцария внесла здесь свою лепту, став пристанищем российских революционеров и «колыбелью русской смуты, потрясшей XX век».

Разного рода парадоксы, противоречия, диссонансы, заявленные в начале, пройдут красной нитью через все повествование, превращаясь по сути дела в парадоксы истории, в противоречия самой жизни. Они во многом определяют и структуру текста, организацию материала, часто построенного на игре контрастов.

Кто только из россиян не побывал в Швейцарии после Карамзина, с которого начинается ее русское освоение! Здесь и Жуковский, и «северный принц» — будущий император Павел I, и Гоголь, Достоевский, Тютчев, И. А. Тургенев, Герцен, Огарев, С. Надсон, Л. Толстой, Чайковский, сестры Цветаевы, А. Белый, А. Бенуа, Дягилев, Нижинский, Волошин, Рахманинов, Бунин, Набоков, Солженицын и т. д. Ряды писателей, художников, композиторов, актеров пополняют полки революционеров — от Бакунина, Нечаева, Кропоткина до Плеханова, Ленина, Крупской, Арманд, Мартова,

Зиновьева, Радека с тесным окружением массы других более или менее знакомых фигур. По подсчетам самого автора его русская Швейцария включает в себя более пятисот исторических персонажей. Большинство из них не просто названы, но ярко выписаны. Жизнь в Швейцарии, их восприятие этой страны добавили новые штрихи и нюансы в биографии и портреты известных личностей. Прояснены и судьбы и тех, чьи имена мало что говорят большинству читателей. «На берегах альпийских озер тесно от русских теней» (М. Шишкин). В его «Русской Швейцарии» эти тени ожили, заговорили, обрели плоть и кровь, стали людьми.

Однако композицию «путеводителя» определяет не биографический, а географический, — как и надлежит бедкеру, — принцип. Главы книги воспроизводят карту Швейцарии. Начиная свой путь гида с ее «русской столицы» Женевы, расположенной на юго-западе страны, на границе с Францией, автор ведет читателя на северо-восток, в Цюрих, Берн и Базель, к Рейнскому водопаду, оттуда — к перевалу Сен-Готард, в края А. Суворова и Вильгельма Телля, потом в Люцерн, из него — в Бернский Оберланд к «вечным снегам Юнгфрау». От восточных курортов и Валлиса, «набоковского кантона» в горах Швейцарии, где писатель часто проводил лето, любуясь знаменитым Маттерхорном (другое название горы, ставшей символом Швейцарии — Cervin), автор устремляется на запад, а оттуда на юг, в кантон Тессин (или: Течино), на границе с Италией. Дальше он выходит на побережье Женевского озера, к Лозанне. От Лозанны, если двигаться на восток, совсем недалеко до Монтрё и Шильонского замка, а если на запад — снова попадешь в Женеву, откуда и начиналось путешествие «по русской Швейцарии».

Но композицией каждой из глав, привязанных к конкретному месту, и имеющих самостоятельное значение, управляет время. Здесь уже вступает в права хронология событий. Страна небольшая, и многие русские шли по уже протоптанным их согражданами дорогам. Поэтому имена и лица русских посетителей разных уголков Швейцарии в отдельных главах повторяются в той очередности, в какой с XVIII до XX вв. они посещали страну. (Порой повторяются и некоторые сведения о них.)

Документальная канва, которую составляют хронология, точные швейцарские маршруты и адреса героев (указано даже, сохранились ли прежние дома и названия отелей) богато расцвечена выдержками из воспоминаний, писем, архивных документов, периодики, художественных текстов. М. Шишкин то и дело дает слово своим персонажам, их соратникам и оппонентам, не пренебрегая и широко доступными публикациями. Но они впечатляют не менее сильно, чем редкие материалы. Собранные воедино и составившие своего рода антологию русских текстов о Швейцарии, они многое говорят

не только о ней, но и об их авторах. В отношении к Альпийской республике, ее порядкам и народу проявились, к примеру, сентиментальная восторженность Н. Карамзина, возвышенность В. Жуковского, насмешливость Н. Гоголя, настороженность, порой переходящая в ворчливость, графа Л. Толстого, нелегкий характер и тяжелое душевное состояние Ф. Достоевского. Скажем сразу, наибольший критицизм проявляли к чужой стране наши «критические реалисты». «Окрестности женеvские прекрасны, город хорош... Образ жизни женеvцев свободен и приятен — чего же лучше», — благодумствовал в уже упомянутых «Письмах...» Н. Карамзин (С. 35–36). Совсем другие чувства испытывал Достоевский. «Это ужас, а не город, — писал он Майкову о той же Женеве. — ...Ветры и вихри по целым дням, а в обыкновенные дни самые внезапные перемены погоды, раза по три, по четыре в продолжении дня. Это геморраидлисту-то и эпилептику! И как здесь грустно, как здесь мрачно. И какие здесь самолюбивые хвастунишки. Ведь это черта особенной глупости быть так всем довольным» (с. 34). Не поздоровилось и Веvе, которое столетие спустя облюбует Чарли Чаплин, чтобы именно там дожить свою жизнь. Достоевский, правда, отдает должное его красотам. «В самом роскошном балете такой декорации нету, как этот берег Женевского озера, и во сне не увидите ничего подобного. Горы, вода, блеск — волшебство. Рядом Монтрё и Шильон (Шильонский узник, не помните ли старый перевод Жуковского)», — пишет Достоевский своей племяннице. Но тут же ругает местечко за отсутствие русских газет, галерей и музеев: «Бронницы или Зарайск! — Вот вам Веvей! Но Зарайск, разумеется, и богаче и лучше» (С. 487). Какие-то черты Швейцарии порой раздражают не только страдальца Достоевского, но и вполне благополучного графа Толстого. Швейцарцы кажутся ему «непоэтичным народом», местные праздники «жалкими» (С. 252), счета, которые выставляют проводники в горах — «ужасными» (С. 375). Проявляя — в отличие от Карамзина, который любовался пастухами и пастушками, свежими «как горные розы» (С. 374, 377) — неравнодушие к «хорошеньким горничным», Л. Толстой тем не менее ворчит на «обычай иметь женскую прислугу в гостиницах» (С. 420). Ему не нравятся и поучительные надписи на домах (например, о бренности всего живого), в которых он видит «нелепое соединение невежественной гордости, христианства, мистицизма и тщеславной напыщенной болтовни» (С. 421). Но особый гнев вызывают у бывшего офицера и будущего непротивленца злу насилием учения швейцарской милиции, которые показывают «пагубное влияние мундира» и «военной обстановки» на человека, ибо превращают его в «бессмысленного злого зверя». «Утром вы видите швейцарца в своем коричневом фраке и соломенной шляпе на винограднике,

на дороге с ношей или на озере с лодкой; он добродушен, учтив, как-то протестантски искренне кроток Он с радушием здоровается с вами, готов услужить, лицо выражает ум и доброту. В полдень вы встречаете того же человека, который с товарищами возвращается из военного сбора... Он пьян, он груб, лицо его выражает какую-то бессмысленную гордость или, скорее наглость. Он хочет казаться молодцом, раскачивается, махает руками, и все это выходит неловко, уродливо. Он кричит пьяным голосом какую-нибудь похабную песню и готов оскорбить встретившуюся женщину или сбить с ног ребенка. А все это только оттого, что на него надели пеструю куртку, шапку и бьют в барабан впереди» (С. 422). Заметим, что тот же Карамзин к учениям «цирихской (цюрихской. — Л. Б.) милиции» отнесся вполне доброжелательно (С. 166).

Разумеется, необходимо учитывать жанры цитируемых отрывков, отделяя литературные произведения от частной переписки или дневниковых записей. Но, думаю, что и в самых личных заметках Карамзин остался бы верен духу сентиментализма, не опускаясь до откровений Л. Толстого или Достоевского. Играли свою роль не только личность и душевное состояние авторов, но и та степень искренности и критичности слова, которые допускал этикет разных литературных эпох.

Их стилистика отразилась и на зарисовках швейцарских пейзажей. «Снежные горы, позлащаемые заходящим солнцем», «помраченные густыми тенями вечера» (С. 237), «хладная стихия» (С. 314) и «дикая красота» водопадов (С. 374), и «ледяные пирамиды» Гриндельвальда, возбуждающие «пиитическое воображение» (С. 375), очень «полюбились» Н. Карамзину, оставившему потомкам их подробные картины. «Л. Толстой не будет столь многословен в описании своих впечатлений», — отметит М. Шишкин. Но и он расскажет о швейцарской природе, только в более спокойном ключе. «Погода была ясная, голубой, ярко-синий Леман, с белыми и черными точками парусов и лодок, почти с трех сторон сиял перед глазами; около Женевы в дали яркого озера дрожал и темнел жаркий воздух, на противоположном берегу круто поднимались зеленые савойские горы с белыми домиками у подошвы, — с расселинами скалы, имеющими вид громадной белой женщины в старинном костюме» (С. 491–492). Вот так — наглядно и просто — запечатлел Л. Толстой один из красивейших видов Женевского озера, который мало изменился за полторы сотни лет. Все та же, «толстовская», панорама, с теми же парусами и лодками на голубом Лемане, и белыми домиками у подножья савойских Альп открывается взору и сегодня.

Русские в Швейцарии (среди них, разумеется, были представители разных народов России) даром времени не теряли. Каждый делал свое дело. Н. В. Гоголь, оказавшись в Веве осенью 1836 г.,

с увлечением работает над «Мертвыми душами», переделав все начатое в Петербурге и следуя вновь обдуманному плану. Ф. М. Достоевский, приехав с молодой женой в Женеву в августе 1867 г., начинает работу над романом «Идиот». Он создавался на фоне хронического безденежья, проигрышей в казино страданий от потери трехмесячной дочки. «...Видно, путь к вдохновению ищется через отчаяние» (М. Шишкин. С. 46). Игорь Стравинский сочиняет в Швейцарии в 1910 г. «оркестровую вещь», «странный отрывок», стараясь найти к нему название во время долгих прогулок по берегу Женевского озера в местечке Кларан. «И вот однажды я вдруг подскочил от радости: „Петрушка!“». По предложению Дягилева написанное было переделано в балет (С. 504). В высшей степени плодотворными стали годы жизни в Швейцарии для В. Набокова. Приехав туда из США в 1961 г., он селится на берегу Лемана, в гостинице «Монтре — Палас» (С. 511), бывая с той поры в Америке наездами, последний раз в 1964 г. В Монтре он работает над переводом «Евгения Онегина» и комментариями к нему, переводит на русский язык свою «Лолиту», на английский — «Сентиментальный марш» Окуджавы — «единственный, — как отмечает М. Шишкин, — сделанный им перевод советского поэта» (С. 513). С 1966 г. пишет роман «Ада», который вышел в 1969 г. в Америке и был номинирован на Нобелевскую премию. Потом приходит очередь «Прозрачных вещей» и последнего романа Набокова на английском языке «Погляди на арлекинов». В Монтре 6 октября 1974 г. должна была состояться его встреча с А. И. Солженицыным. По чистейшему недоразумению она не случилась, что разладило отношения писателей, «определивших двадцатый век русской литературы» (М. Шишкин. С. 516).

Швейцарские впечатления отразились в произведениях Герцена («Былое и думы»), И. С. Тургенева (стихотворения в прозе), Л. Толстого (рассказ «Люцерн» и др), И. Бунина и множества других писателей. М. Шишкин очень внимателен к этой стороне их творчества.

Если одна часть русской Швейцарии занималась созидательным трудом, духовно обогащая и развивая Россию, то другая целеустремленно готовилась к ее разрушению. Место инспирации и создания многих шедевров русского искусства, и одновременно — «плацдарм русской революции», — все это одна и та же альпийская страна. М. Шишкин в этой связи напоминает о русских персонажах из «Тартарена в Альпах» Альфонса Доде, показывая, с чем ассоциировалась в общественном сознании Гельвеция.. «Отправляясь заниматься альпинизмом в Швейцарию, знаменитый Тартарен встречается там не со швейцарцами, а с русскими террористами» (С. 21). И это не выдумка французского сатирика. «Кто ищет бури — пристает к леманским берегам... Русская „освободительная“ мысль за отсутствием предохранительных средств приобретает характер эпидемии.

Альпийская республика — центр тамиздата той поры. Половина всех русскоязычных эмигрантских изданий с 1855 по 1917 год выпускаются в Швейцарии. Нелегальная Россия существует благодаря легальной Швейцарии... Под защитой гельветических законов располагаются со всеми удобствами штаб-квартиры всех радикальных партий. Подготовка покушений, „эксов“, взрывов проходит на фоне живописных нейтральных ландшафтов» (С. 20). Все это аргументируется, подтверждается документальными данными, которые приводит автор. (Заметим лишь, что царская Россия была беременна революцией, и место на земле для подготовки ее разрешения от бремени, нашлось бы и на других широтах.)

В Швейцарии не только открыто проходили международные форумы вольнодумцев, собрания русских революционеров, их встречи с иностранными братьями по оружию (Конгресс мира в начале сентября 1867 г. в Женеве, где Бакунин обрушивал проклятья на голову «русской империи», желая ей «всех унижений, всех поражений», Циммервальдская конференция социалистов-интернационалистов в сентябре 1915 г. с участием Ленина, Зиновьева, Мартова, Троцкого и т. д.). В этой стране готовился динамит, испытывались бомбы и даже совершались теракты. Потрясает, достойная античной трагедии история двадцатилетней Татьяны Леонтьевой, единственной дочери русского губернатора, студентки медицинского факультета в Лозанне. Ей предстояло стать фрейлиной царицы Александры Федоровны, а она вступает в партию эсеров, становится соратницей Бориса Савинкова, членом боевой группы, и в августе 1906 г. в отеле у подножья Юнгфрау стреляет в мирного парижского буржуа, по ошибке приняв его за русского министра внутренних дел. После швейцарского суда присяжных, готового было оправдать террористку (защитник сравнил ее с Вильгельмом Теллем), но помешали ее призывы к уничтожению русских и швейцарских «чудовищ», ее ждут тюрьмы, психиатрические лечебницы и смерть в тридцать девять лет от туберкулеза. Это лишь один из многих приведенных в книге примеров бессмысленности жертв, принесенных русской молодежью во имя революции. Примечательно и то, что именно университеты, где учились русские аристократы и разночинцы, становились в Швейцарии рассадниками крамольных идей, заставляя молодежь, не закончив образования, уезжать на родину для революционной борьбы. И поражает, с какой безрассудной легкостью вступали экзальтированные юноши и девушки на этот путь. Для рокового решения иногда довольно было лишь доверительной беседы под луной. «В один из поэтических швейцарских вечеров, — рассказывала Вера Фигнер, учившаяся в Швейцарии, о летних каникулах 1873 г. на побережье Невшатальского озера, куда она приехала вместе с сестрой, — во время уединенной прогулки среди виноградников

сестра... поставила мне вопросы: решилась ли я отдать все свои силы на революционное дело? В состоянии ли я буду в случае нужды порвать всякие отношения с мужем? Брошу ли я для этого дела науку, откажусь ли я от карьеры? Я отвечала с энтузиазмом. После этого мне было сообщено, что организовано тайное революционное общество, которое думает действовать в России; мне были прочтены устав и программа этого общества, и, после того как я выразила согласие со всеми пунктами, я была объявлена его членом. Мне был тогда 21 год» (С. 424).

Может быть, в самом воздухе Альпийской республики было что-то такое, что в соединении с «генетической предрасположенностью россиян к великим целям» давало гремучую смесь революционной одержимости?

В советское время практически всю русскую революционную эмиграцию в Швейцарии заслоняла мощная фигура Ильича. «Ленин — в Женеве», «Ленин — в Берне и Цюрихе» (М., 1972), — вот какие темы исследовались наиболее основательно и подробно. (Судя по всему, эти книги А. С. Кудрявцева, Л. Л. Муравьевой, И. И. Сиволап-Кафтановой, содержащие большой материал, известны и М. Шишкину. Возможно, они есть и в библиографии тех изданных в Базеле в 1991–1998 гг. исследований по швейцарско-славянским и восточноевропейским связям, на которые он ссылается как на источники на стр. 559). В новом «путеводителе» восстановлены швейцарские адреса русских революционеров разных времен и мастей — от анархистов, народовольцев до эсеров и большевиков. И не только адреса. Воссозданы характеры и судьбы, часто простирающиеся за пределы Швейцарии, друга легендарного Дж. Гарибальди и «кумира русской молодежи» М. Бакунина, его ученика, почитателя и теоретика анархизма — князя П. Кропоткина, террористов С. Нечаева и В. Засулич, отца русского марксизма Г. Плеханова и многих многих других. Не забыт и провокатор Азеф. Мне особенно запомнился колоритный образ Михаила Бакунина с его грандиозными проектами, абсолютной непрактичностью, странной семейной жизнью и неизбывной, как бы заложенной в натуре страстью к бунту. Об этом замечательно сказано в приведенной М. Шишкиным выдержке из воспоминаний младшего современника бунтаря: «Революция была его естественная стихия, и я убежден, что буде ему удалось бы перестроить какое-нибудь государство на свой лад, ввести туда форму правления своего образца, он на следующий же день, если не раньше, восстал бы против собственного детища и стал бы во главе политических своих противников и вступил бы в бой, дабы себя же свергнуть» (С. 67). В «путеводителе» изложена история «Юрской федерации», основанная Бакуниным «в пику марксистам» в горах Юры (С. 424). Жители этих мест, работавшие

в основном часовщиками, и стали, вопреки профессиональному «педантизму и любви к порядку» «главной опорой в Швейцарии Бакунина и Кропоткина», а юрцы долго не забывали Бакунина, признавая его большой авторитет.

Помню, как удивил меня однажды в Швейцарии лозунг «Свободу Юрэ!», выведенный по-французски огромными белыми буквами на высокой скале Юрского массива. «Чего еще надо этим швейцарцам, какой свободы им не хватает?» Как оказалось, жителям Юры не хватало превращения их области в самостоятельный — двадцать третий — кантон Швейцарии. Теперь юрцы добились своего. И, возможно, помог им в этом дух русского анархиста, не дававший спокойно жить мирным часовщикам.

Освещая жизнь четы Ульяновых и их соратников в швейцарской эмиграции, советские экскурсоводы представляли ее как настоящее испытание, как период, полный лишений. Так, во время походов по ленинским местам Женевы со слезой в голосе рассказывали, как Лепешинские организовали столовую с дешевыми обедами для своих голодных и безденежных эмигрантов, вынужденных бороться с царским самодержавием вдали от него. Столовая Лепешинских — исторический факт. Он вошел и в книгу М. Шишкина. Что же касается трудностей эмигрантской жизни Ленина и его соратников, то автор их не преувеличивает. Все они, за редким исключением, жили в Швейцарии вполне благополучно и даже счастливо, как и не снилось большинству их соотечественников в царской и особенно Советской России, которых они стремились осчастливить. Ленин регулярно посещал библиотеки, занимался интеллектуальным трудом, ходил с Крупской в горы, запасаясь плитками швейцарского шоколада, совершал длительные прогулки на велосипеде, который привезла теща, выступал с лекциями и докладами в разных живописных местечках. «Русские революционеры уютно устроились на берегах Женевского озера» (С. 500). И не только на этих берегах. «На живописном мысе, далеко выдающимся в Фирвальдштетское озеро, лежит деревня Хертенштайн. Неудивительно, что эти роскошные места выбирали для проведения каникул русские революционеры. Так, в 1915 г., когда кругом в Европе идет мировая война, здесь отдыхает чета Зиновьевых. В то же время по другую сторону озера, в Зеренберге, отдыхают Ленины. Семьи обмениваются подарками. Будущий вождь Коммунистического Интернационала отсылает Лениным черешню, а те в ответ присылают грибы» (С. 343). Перебирая имена будущих вождей Октябрьской революции и Советской России, окружавших Ленина в эмиграции и зная их трагическую судьбу в дальнейшие годы, можно сказать, что Швейцария была светлым пятном в жизни пламенных российских революционеров. Как и в жизни многих других известных людей, не

помышлявших о революции и погубленных ею. Достаточно вспомнить, например, Анастасию и Марину Цветаевых, воспитанниц пансиона в Лозанне, или О. Мандельштама, студента Гейдельбергского университета, приехавшего на каникулы в Монтрё. И приходит мысль, если бы огромные материальные и душевные средства, которыми всегда была богата наша страна, тратились бы россиянами на созидание, а не на разрушение, на эволюцию, а не на революцию, скольких бы человеческих жертв избежала Россия и насколько счастливее был бы ее народ.

Как же близка Швейцария России, и как бесконечно далека от нее!

На вопрос, заданный М. Шишкину в уже упоминавшемся интервью, что побудило его «взяться за такое, прямо скажем, локальное произведение, как книга о русских в Швейцарии», он ответил: «После приезда сюда мне просто необходимо было такую книгу прочесть, а оказалось, что ее не существует, пришлось начать писать самому... Подзаголовок „Литературно-исторический путеводитель“, конечно лукавит: эта книга, скорее, моя «разборка» с самим собой».

Иными словами, книга М. Шишкина была написана по зову души, а это — самый сильный импульс к творчеству, самая надежная гарантия успеха. Слово же «локальный» с его «путеводителем» не вяжется. Такие измерения вообще к искусству неприменимы (их можно использовать разве что в классификации жанров). Масштаб произведения напрямую зависит от масштаба таланта писателя. В данном случае он помог родиться глубокой и содержательной книге о швейцарских дорогах русской истории и культуры, многое проясняющей во взаимоотношениях и специфике двух стран. Разборка же автора «с самим собой» превратилась в плодотворную попытку разобраться — на исторических примерах — в целом ряде сложнейших вопросов, которые волнуют наших современников.

В заключение отметим, что книга прекрасно — с любовью к Швейцарии и России — оформлена. Основа лицевой части обложки — фотография русской церкви в Веве. На светлом небе выделяются синие очертания савойских Альп, с которыми почти сливается по цвету далекая полоска Женевского озера. На этом небесно-горно-озерном фоне — возвышается луковка православного храма с примыкающей к ее основанию по-осеннему красной кроной какого-то дерева. При переходе на тыльную сторону переплета белый цвет неба, синий — гор и красный — кроны образуют три полосы национального флага России.

О. А. Акимова
(Москва)

Исторические корни этноконфессиональных конфликтов: О XXI конференции «Славяне и их соседи»

27–28 мая 2003 г. Отдел истории Средних веков Института славяноведения РАН провел очередную XXI конференцию из цикла «Славяне и их соседи», посвященную памяти выдающегося русского палеослависта Владимира Дорощевича Королюка. Оргкомитетом конференции (председатель — чл.-корр. РАН Б. Н. Флоря) для обсуждения была предложена тема «Исторические корни этноконфессиональных конфликтов в восточной части Европы».

Интерес к эпохе Средневековья и раннего Нового времени определяется прежде всего тем, что именно в этот период закладываются истоки многих современных этноконфессиональных конфликтов, и изучение заявленной Оргкомитетом темы должно способствовать пониманию причин конфликтов, выработке типологии конфликтных ситуаций, выяснению того, насколько проблемы межэтнических и межконфессиональных отношений связаны со средневековыми сторонами жизни общества, и насколько — с тенденциями, характерными для Нового времени. В качестве приоритетных аспектов темы для обсуждения на конференции были выделены следующие: этноконфессиональная ситуация в Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европе в Средние века и раннее Новое время (христианство, ислам, иудаизм); православие и католицизм в славянском мире: взаимодействие и исторические корни конфликтов; христианские империи раннего Средневековья и славянские государства: этнические аспекты отношений; исторические корни немецко-славянских конфликтов; межэтнические отношения в Османской империи и корни балканских конфликтов Нового времени; национальные и религиозные конфликты в Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европе в эпоху Реформации и Контрреформации; раннее Новое время как эпоха зарождения современных форм этноконфессиональных конфликтов. 24 докладчика конференции представляли институты Академии наук, университеты и высшие учебные заведения Москвы, Иванова, Махачкалы, Твери, Коломны. К началу конференции были изданы тезисы докладов ее участников.

Несколько докладов было посвящено особенностям болгаро-византийских отношений. *Г. Г. Литаврин* выделил два основных фактора, определявших историю болгарской церкви в эпоху Первого Болгарского царства (865–1018) — полное подчинение

церкви верховной светской власти, которая с первых шагов церковного строительства обеспечивала болгарской церкви статус независимости от константинопольской патриархии, и непосредственное соседство Болгарии с Византийской империей, обусловившее самый факт принятия болгарами христианства в восточном варианте. Характер отношений болгарской церкви с Константинопольской патриархией во многом стал моделью для Сербии и Руси после принятия ими христианства. *Л. В. Горина* обратилась к тексту из Архивского сборника 1262 г. (список XV в.) «Начала царства Константинограда греческого». Полагая его компиляцией хроники Георгия Амартола, докладчица предположила, что эта компиляция была составлена в Болгарии периода правления Симеона (893–927), когда здесь укреплялось христианство как государственная религия. На Руси же он оказался востребованным в период монгольского завоевания.

Тема конфессионально-культурных отношений Болгарии и Византии была продолжена в докладе *Д. И. Польшанного* на материале славянской книжности следующего периода болгарской истории — периода византийского господства (1018–1186). Анализируя различные варианты реакции болгарской культуры и ее носителей на изменившиеся условия, автор выделил институты и сообщества, благодаря которым обеспечивалось сохранение культурной самобытности средневековой Болгарии. Прежде всего подчеркивалась культурная политика Охридской архиепископии, стремившейся выступать в качестве преемницы деятельности свв. Климента и Наума — учеников свв. Кирилла и Мефодия; была отмечена роль славянских монастырей на территории архиепископии, где формировались культы местных подвижников, а также значение малых монастырских сообществ на западе бывшего Болгарского царства и братии афонского Зографского монастыря св. Георгия.

В ином ракурсе проблема развития болгарской культуры в условиях византийского владычества была представлена в докладе *И. И. Калиганова*. Оппонируя точке зрения о гонениях на славянскую письменность в Болгарии XI–XII вв. (Г. Подскальский), автор в то же время отметил в целом неблагоприятные условия в этот период для развития здесь славянской культуры, обусловленные византийской политикой эллинизации национальных правящих династий и лишения болгарской церкви статуса патриархии. Закономерным поэтому выглядит появление в Киевской Руси этого времени в рамках единой византийской церкви основного репертуара переводной и оригинальной болгарской книжности Первого Болгарского царства. Наряду с официальным путем проникновения корпуса болгарских книг на Русь (отмеченным Г. Г. Литавриным) — вместе с болгарскими миссионерами, направленными на Русь

императором Василием II Болгаробойцей, автор предположил и наличие «бытового канала», сформированного болгарскими беженцами из Северо-Восточной Болгарии и русскими воинами, посланными князем Владимиром в помощь Василию II.

С. А. Иванов, анализируя роль конфессионального фактора во взаимоотношениях в XIV в. греков с принявшими православие болгарами, влахами, русскими, аланами, пришел к нетривиальному выводу о том, что для греков благочестие было не религиозной, а политической категорией. Поэтому крещенные «варвары» воспринимались византийскими авторами как «не вполне христиане», хотя общность веры ощущалась как гарантия политической лояльности.

В докладе Ю. Я. Вина был рассмотрен этноконфессиональный аспект развития сельской общины в поздней Византии в контактных, балканских и малоазиатских, зонах с использованием (с некоторыми оговорками) медиевистической концепции крестьянства как этнической основы средневекового общества, носителя этнического сознания и культуры. Отметив симбиоз, мирное сосуществование деревенского греческого с негреческим, славянским и тюркским, населением, автор усмотрел причину сглаживания этнических различий в самом сельском образе жизни, в тяжелом труде, нивелирующем всякие различия. Община, выступая в поздней Византии в качестве неформального объединения, тем не менее смягчала остроту возможных межэтнических конфликтов. Постепенное же их усиление явилось следствием ослабления общинных связей и социокультурной роли сельской общины в целом.

М. В. Бибиковым по материалам византийских рукописных сборников из российских собраний была уточнена хронология распространения в Византии антилатинских полемических сочинений: весьма ограниченное распространение их в IX–XII вв. и большая их популярность после Лионской унии и особенно после Ферраро-Флорентийского собора.

Ф. Б. Успенский в докладе об англосаксах в Византии XI в. (где они появились после поражения в битве при Гастингсе в 1066 г.) обратился к источникам, которые ранее для этой темы не использовались — это свидетельство из анонимной Хроники (*Chronicon universale anonimi Laudunensis*) и его вольный перевод в исландской Саге об Эдуарде Исповеднике. Автор, в частности, отметил необычное для этого времени противопоставление в Хронике восточной и западной церкви, а также уточнение о составе так называемой варяжской дружины в Константинополе, в которой именно англосаксы составляли значительную, если не господствующую часть.

В связи с появлением в Швеции многочисленных спекуляций и «теорий», касающихся ведущей роли в образовании Древнешведского государства племенного объединения гаутов (Гауталанд),

поглотившего объединение свеев (Свеаланд) и ранней датировки этого процесса, *Е. А. Мельникова* привела аргументы в пользу приоритета Свеаланда в процессах формирования Древнешведского государства, интенсивное развитие которых прослеживается лишь с начала XI в.

Постоянным внешним фактором, влияющим на ход истории Руси, было соседство со Степью и ее обитателями, и два доклада было посвящено этой проблеме. *И. О. Князький* проследил, как менялось восприятие противостояния Руси и череды тюрко-монгольских народов — сначала как борьбы христианства против язычества, а с XIV в. — христианства против ислама. *А. С. Щавелев* обратился к проблеме политического взаимодействия сторон для решения конфликтов в XI — начале XIII в., а именно — к летописным известиям о сменах — съездах русских князей с кочевниками (главным образом с половцами). Автор выделил некоторые особенности функционирования этого института, прежде всего обязательность встреч для киевского и, скорее всего, для переяславского князя (неявка на снем автоматически приводила к конфликту и войне).

В ряде выступлений преимущественное внимание было уделено проблеме этноконфессиональных отношений различных славянских народов. В докладе об истоках польско-украинского конфликта *Б. Н. Флоря* обратился к ситуации в крупных центрах на украинских землях Польского королевства (прежде всего во Львове), где в условиях длительного сосуществования двух народов, один из которых был неравноправным по отношению к другому, и возникли предпосылки для конфликта. Национальное противостояние переплеталось здесь с религиозным: «русскому» мещанству вменялась здесь в вину «схизматическая» вера. В качестве сочинений, отражающих обусловленное конфликтной ситуацией осмысление своего прошлого, в докладе выделены тексты, вышедшие из среды, связанной со Львовским братством, на рубеже XVI—XVII вв. Здесь поляки выступают как соседи, которые, будучи призваны на помощь русским князьям, захватили их земли, заставили отказаться от своей веры и обычаев, ограбили храмы, иными словами, названные тексты создают впечатление о целенаправленных действиях поляков, приведших к уничтожению государственности «русского» народа и к упадку его культуры.

В. Н. Ковалев обнаружил парадоксальную особенность в отношении массы польских солдат к своему противнику во время «московской войны» 1609–1619 гг. — отсутствие конфессиональной враждебности, которая была определяющей для той части русского общества, которая воспринимала события войны как угрозу православию со стороны иноверцев. Находя причины этого в области социальной психологии и практической политики, автор привел

доводы в пользу того, что польские солдаты обладали светским сознанием и относительно широким кругозором, война была для них прежде всего профессиональным делом на чужой территории, в то время как мировоззрение их «московских» противников во многом оставалось средневековым, а война стала для них национальным бедствием, виновниками которого выступали пришлые «еретики» и «литва».

Сообщение *А. А. Турилова* «„Слово о начале Русской земли“ — контрверза правам великих князей Московских на киевское наследие» было посвящено одной «тупиковой» исторической легенде второй половины XV в., не прижившейся в позднейшей историографии. Автор показал в нем, как с помощью минимального вмешательства в пересказ ПВЛ (назвав суздальских князей потомками Синеуса, а не Рюрика, и прославив Владимира Святого как правителя «Русского и Литовского») безвестный новгородский и западно-русский книжник отверг права и претензии современных ему московских князей на киевское политическое наследие. Но для того чтобы стать востребованной правящими кругами Великого княжества Литовского, легенде не доставало обоснования соответствующих прав Гедиминовичей, и в итоге она сохранилась как маргинальный текст в великорусской традиции.

В своем втором выступлении *А. А. Турилов* обратился к проблеме культурной консолидации болгар и сербов в эпоху османского завоевания и владычества (XV—XVII вв.). Автором был рассмотрен процесс миграции людей, святынь и текстов из болгарских пределов в сербские, а также встречное движение — распространение сербской (ресавской) орфографии в болгарских (по преимуществу западных) землях и в монастырских скрипториях Афона. В качестве наиболее активного района культурной консолидации во второй половине XV — первой половине XVI в.) *А. А. Турилов* выделил пограничье болгарских и сербских земель, северную и восточную Македонию. Исследованию феномена консолидации в современных южнославянских историографиях мешают, по мнению автора, суженное, сугубо национальное его восприятие, за которым неизбежно теряется целостность картины.

Тема религиозного и конфессионального взаимодействия и противостояния в славянских странах оказалась в центре внимания нескольких участников конференции. *М. В. Дмитриев* обратился к проблеме религиозной терпимости на примере украинско-белорусских православных сочинений конца XVI — начала XVII в. Автор выделил две противоположные тенденции в религиозных представлениях украинско-белорусских земель: сближение украинско-белорусского православия с западным христианством через ассимиляцию присущих католицизму и протестантизму представлений

и актуализация начал, свойственных византийско-православной традиции. Не обнаружив в текстах указанных сочинений нетерпимого отношения к католицизму и, напротив, убеждение в том, что принуждение не может быть признано нормой христианского взгляда на иноверие, М. В. Дмитриев предположил в этом влияние византийской традиции и, соответственно, иное, чем в традиционной культуре западного христианства, осмысление терпимости и нетерпимости.

В докладе *Г. П. Мельникова* была предложена концепция гусизма как этноконфессионального конфликта в рамках Священной Римской империи XV в. Основой гусизма служил чешский мессианиззм, представление о богоизбранности чешского народа, сформировавшееся в чешской хронистике во второй половине XIV в. при поддержке императора Карла IV. Превращение впоследствии Чехии в «страну еретиков» автор связал с падением престижа королевской власти внутри страны и в Империи в целом при Вацлаве IV. Рассматривая гусизм в исторической ретроспективе в качестве связующего звена между средневековыми ересями и Реформацией, Г. П. Мельников обратил особое внимание на то, что этническая составляющая конфликта (понимаемая здесь как «национально-освободительная») оказалась следствием конфессионального переворота, совершенного в умах чехов-христиан Гусом и его последователями: они открыли «правду Божию» как категорию, стоящую над земной церковной организацией и превратившие ее в постулат политической, социальной и военной борьбы.

В. В. Мочалова в докладе «Иудео-христианский диалог в Польше XVI в.» рассмотрела религиозные полемические тексты в контексте ренессансных диалогических сочинений межконфессионального характера. Отмеченная автором идеологическая полифония подобных текстов отражала становление модели плюралистического общественного сознания. Польские евреи, которые были заметной частью этноконфессиональной картины общества этого времени оказались включенными в межконфессиональное противостояние. В докладе было показано, как католики и протестанты использовали связанные с иудейской верой аргументы для дискредитации оппонента, причем в католических сочинениях протестанты выступали подчас более опасными противниками, чем иудеи (Петр Скарга). Для писателей арианского направления, наиболее радикального в польской Реформации, характерно отрицание божественности Христа и преимущественное внимание к Ветхому Завету, что дало основание для обвинений их в близости иудаизму.

История конфликтов в Далмации в XIV–XVII вв. между православными и католиками рассматривалась в докладе *И. Г. Воробьевой*. Заметное число греческих переселенцев появилось в Далмации после турецких завоеваний XV в., а православных славян — с начала

XVII в. после завершения венецианско-турецкой войны. Преимущественное внимание докладчица уделила особенностям политики венецианских властей в отношении православных: игнорируя жалобы православного духовенства на вмешательство в его дела латинских прелатов, венецианцы по сути активизировали процесс консолидации православных сербов в Далмации и движение за создание своей епископии.

В докладе *О. А. Акимовой* рассматривалось влияние на этноконфессиональное самосознание боснийского населения в период существования Боснийского королевства в XIV–XV вв. наличия собственной церковной организации, и прежде всего вопрос о том, каким образом слабость и замкнутость боснийской церковной организации, а также отсутствие четко определяемых вероисповедных принципов, отличных от католических и православных, способствовали сложению (по крайней мере в среде высшей боснийской знати) постоянно варьирующейся в зависимости от политической конъюнктуры картины конфессиональных приоритетов. Скорый переход боснийского населения в мусульманство после турецкого завоевания (дававший самые широкие права и привилегии) был во многом обусловлен именно этой конфессиональной необязательностью. В докладе также прослеживается превращение, начиная с XIX в., средневековой еретической боснийской церкви в мифологему, во многом определяющую самосознание не только боснийских мусульман, но и отчасти — хорватов. Специально проблема изменения конфессионального положения славян в Османской империи была поднята в докладе *С. И. Муртузалиева* «Конфессиональная политика Порты и роль налогового прессинга в исламизации балканских народов (XV — начало XVII в.)», где было показано что одним из наиболее действенных методов пропаганды преимуществ принятия ислама было налоговое послабление для мусульман и дискриминация в налоговом обложении христиан.

О. В. Хаванова в докладе «Этнический аспект конкуренции за доступ к образованию в монархии Габсбургов в XVIII в.» предприняла попытку применить к более-менее отдаленному прошлому современные антропологические методики исследования ситуаций, когда асимметричное распределение экономических, политических, интеллектуальных ресурсов влияло на межэтнические отношения. Так, было показано, что распределение учебных стипендий по национально-государственному принципу, институализировало национальное сообщество и, в конечном счете, объективно способствовало формированию венгерской нации. В то же время пропорциональное представительство различных народов монархии в привилегированных учебных заведениях вело к воспитанию единой политической элиты полиэтничной монархии.

В системе традиционной народной культуры отношение к представителям другой веры (конфессии) формируется в рамках стереотипных представлений, основанных на оппозиции «свой — чужой». Один из случаев определения конфессионально «чужого» был рассмотрен в докладе *О. В. Беловой* и *В. Я. Петрухина* на примере имеющего апокрифические корни сюжета — легенды о родстве иноверцев (иудеев, мусульман) с нечистым животным (свиньей), разные версии которой имеют хождение практически у всех славянских народов и служат объяснением «конфессиональных» особенностей иных вероисповеданий. При этом основным внешним показателем иудаизма и мусульманства для славян становится употребление в пищу свинины, и на этом основывается стереотипное представление о родстве и даже тождестве этих религий.

Тема массовых этнокультурных и языковых стереотипов была продолжена в докладе *Е. Е. Левкиевской* об эволюции восприятия русскими украинцев. По мнению автора, сформулированная официальной государственной идеологией в XIX в. политическая идея «большой» русской нации, включавшей в себя великороссов, малороссов и белорусов (переосмысленная позднее в рамках понимания «советского народа»), как единого народа с общей этнокультурной, языковой и религиозной самоидентификацией, оказалась прочно укорененной в общественном мнении русских. Причем настолько прочно, что претензии современных украинцев на собственную идентичность, не просто отличную от русской, но зачастую и противопоставленную ей, вызывают в русском массовом сознании неизбежный культурный шок, для преодоления которого, как один из возможных вариантов, создается новый, зачастую негативный образ украинца.

Содержание

Пленарное заседание

<i>В. К. Волков</i> (Москва). Место славяноведения в системе гуманитарных знаний	4
---	---

История

<i>Е. П. Аксенова</i> (Москва). А. Н. Пыпин как историк и теоретик славянского возрождения	22
<i>А. А. Поповкин</i> (Лиски, Воронежская обл.). Архиепископ Виталий (Максименко) как всеславянский деятель	69
<i>А. Л. Шемякин</i> (Москва). «Мир детства» сербов в путевых записках П. А. Ровинского	72
<i>М. М. Фролова</i> (Москва). А. Д. Чертков и Болгарское просвещение	94
<i>О. С. Данилова</i> (Екатеринбург). У истоков французской славистики — между полонофильством и русофильством — альтернатива XIX в.	104
<i>Л. П. Лаптева</i> (Москва). Профессор Юрьевского университета Е. В. Петухов как славист	121
<i>Н. Мизернюк</i> (Варшава—Москва). К истории Виленского Музея древностей	148
<i>Н. В. Жуковская</i> (Воронеж). Эмигранты из балканских стран на территории Соединенных Штатов Америки в первой четверти XX в.	164
<i>Никола Б. Попович</i> (Белград). «Одиссея от Одессы до Красноярска...». Сербы в Сибири в 1919—1921 гг.	187
<i>В. И. Косик</i> (Москва). Русский дом	196
<i>М. А. Робинсон</i> (Москва). Слависты и «новая религия» вместо науки (1920-е — начало 1930-х годов)	204
<i>М. Ю. Досталь</i> (Москва). Международные научные связи советских славистов в 40-е годы XX в.	244
<i>Протоиерей Георгий Митрофанов</i> (С.-Петербург). Русская Православная Церковь XX в. — Церковь новомучеников и исповедников	295
<i>Т. И. Чепелевская</i> (Москва). Развитие славистики в Люблянском университете	304
<i>К. В. Шевченко</i> (Прага). Вопреки пророчествам. Лужицкие сербы на пороге третьего тысячелетия	314
<i>А. В. Карасев</i> (Москва). Иван Николаевич Частухин (к столетию со дня рождения)	324
<i>С. С. Лукашова, Н. В. Лукашов</i> (Москва). Создание общедоступной базы данных знаний по украинско-белорусским религиозным объединениям православных мирян XVI—XVIII вв.	333

История культуры

- Е. Е. Левкиевская* (Москва). Представления о «том свете» у восточных славян 342
- М. Левитт* (Лос-Анджелес). Ода как откровение: православный богословский контекст одической поэзии Ломоносова 368
- В. Я. Мауль* (Нижевартовск). Русский бунт в зеркале перевернутого мира смеховой культуры (по материалам Пугачевского восстания) 385
- В. Андреева* (Москва). Гносеология целостного знания И. Киреевского и Вл. Соловьева 400
- С. В. Никольский* (Москва). К истории знакомства с пьесой Чапека «R.U.R.» в России. 406
- И. И. Калиганов* (Москва). Не останется ли Россия без Ивана Вазова в XXI в.? 419

Языкознание

- Т. И. Вендина* (Москва). Из кирилло-мефодиевского наследия в языке русской культуры (концепты Добро и Зло) 430
- Н. А. Тупикова* (Волгоград). Функционирование лексических единиц в старопольских деловых текстах начала XVII в. (к проблеме лингвистического описания документов в составе архивного комплекса) 475

Публикации

- В. И. Фрейдзон* (Москва). Донесение российского посольства в Вене министру А. М. Горчакову (апрель 1858 г.). 488
- И. В. Матвеева* (Челтенхем, Великобритания). Из жизни русской эмиграции в Болгарии: отрывки воспоминаний. Вступительное слово *А. Н. Горяинова* (Москва). 491

Рецензии

- А. С. Стыкалин* (Москва). Россия — Польша: тяжкий груз соседских отношений. 516
- Л. Н. Будагова* (Москва). Многолюдье маленькой страны, или Парадоксы Альпийской республики. Размышления над книгой 539

Хроника

- О. Акимова* (Москва). Исторические корни этноконфессиональных конфликтов: О XXI конференции «Славяне и их соседи» 550

Научное издание

Славянский альманах

2003

Корректор — *С. М. Хорошкина*
Оригинал-макет — *А. Ю. Зубков*

Издательство «Индрик»

INDRIK Publishers has the exceptional right to sell this book outside Russia and CIS countries.

This book as well as other **INDRIK** publications may be ordered by

e-mail: indric@mail.ru
or by tel./fax: **+7 095 938-01-00**

Подписано в печать 26.04.2004. Формат 60×90 1/16.

Печать офсетная. Бумага офсетная № 1.

35,0 п. л. Тираж 1000 экз. Заказ № 7488.

Отпечатано с готового оригинал-макета
в ФГУП «Производственно-издательский комбинат ВИНТИ»,
140010, Люберцы, Московской обл., Октябрьский пр-т, 403
Тел. 554-21-86

